

В-12

НИКОЛАЙ ВАГНЕР



НИКОЛАЙ ВАГНЕР

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ДВУХ ТОМАХ

том первый

БАГРЯНОЕ СОЛНЦЕ
ГОЛУБЫЕ ЗЕМЛИ

БИБЛИОТЕКА НГПИ

Инв. № 203654.



ЛЕНИНГРАД
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

1973

P2
III2

Оформление художника
А. Гасникова

В $\frac{0732-050}{028(01)-73}$ 42-73

ОТ АВТОРА

В одной из моих книг я писал: «Мой дом был всегда на колесах — я путешествую с полутора лет. В седле встречал утра, сквозь окна железнодорожных вагонов — закаты; шел на собаках по снегу тундры, на оленях — по краю лесов; бродил по Уралу и Сибири; у мыса Дежнева следил, как скользят среди льдин чукотские байдары; под Азовом плавал с ловцами дельфинов; реял над облаками Яблонового хребта и Душанбе на крыльях стальной птицы; спускался с водолазами на дно Черного моря. Жизнь — всегда движение, и голубые земли — вечный соблазн для тех, кто полюбил пути и неизведанные дали».

Я родился в Челябинске, жил и посещал множество городов, краев и республик — Томск, Пермь, Свердловск, Красноярск, Иркутск, Владивосток, Оренбург, Украину, Кавказ, солнечный Крым, Среднюю Азию...

Поездки по Якутии принесли мне первую книгу путевых зарисовок, раздумий, рассказов — «Человек бежит по снегу». К этой книге М. Горький дал свое предисловие.

Работая в экспедиционных отрядах Академии наук СССР как статистик и экономист, я мог хорошо рассмотреть быт якутской деревни, познать якутский характер. Мне посчастливилось увидеть эту новую Советскую республику еще в первое пятилетие ее автономии. Редкие любители путешествий посещали тогда Якутск или Средне-Колымск — добрый месяц трудного пути вместо двенадцати часов лета в современном комфортабельном воздушном лайнере. Единственный местный транспорт — медлительный конный караван, зимой — оленья или собачья упряжка. Бедные юрты, безграмотность, отсутствие врачей в глубинных районах.

Одному из первых среди моих собратьев по перу, довелось мне тогда наблюдать проявления новых взаимоотношений среди коренных жителей края, не так давно бывшего местом царской ссылки. Несмотря на еще царившие здесь суеверия, предрассудки, несусветную путаницу мыслей, мне привелось разглядеть бурный бег человека, через века переметнувшегося от феодализма к социализму — к торжеству братства и мира грядущего будущего.

Позднее я еще не раз навещал Якутию — так рождались новые путевые зарисовки: «Весна в Якутии», «Птица летит — я лечу за ней».

Поездки по Мурману открыли мне мое «Русское море» — трилогию о мужественных поморах, не раз уже увидевшую свет; дороги Урала и Сибири привели к «Ярам Красным» и «Багряному солнцу». Работа в газете блокадного Ленинграда и встречи в часы вражеских бомбежек с рядовыми героями, защитниками города, помогли мне собрать нужный материал для романа «Смерть не суждена мне» и записей трудных дней — «Самоотверженные сердца».

Север и поныне неизменно влечет меня к себе. Быть может, рост людей, культуры, экономики куда ощутимее именно там, на недавно еще голых землях. Быть может, властнее, первобытнее природа: петролутые громады лесов, дикие кряжи, реки «шириной в моря», снега, северное сияние. Все яркое тянуло меня за собой с детства — кони и верблюды старой Челябины, картинки в книгах и плакаты, дуги радуг и цвета спектра в учебниках физики, ярмарки и пестрые народные игрушки, море, леса, горы, полет птиц, луга в цвету.

Но не одна лишь природа с ее вольготными далями довлеет над чувствами человека, а сам человек, то сложное, что пытается познать в нем писатель. Не раз, с юности, часами готов был я следовать за незнакомым человеком, стремясь угадать, что таится за его чертами: драматизм событий, в которые попадает человек, идеи, которые определяют его путь, мужество, надежды, дела, без которых неммыслима паша жизнь.

И много раз приходилось познавать мне, что *все это* особо остро раскрывается во встречах с людьми в дни странствий. Возможно, человек доверчивее делится здесь своими сокровенными тайнами, не боясь, коротая досуг, рассказать о себе то, о чем не поведал бы в иное время, и уж никак не рассчитывая на цовую встречу со своим добрым случайным спутником.

Так, где-то на горнозаводской колее у Красных Яров, среди хребтов и оврагов, поросших осиной и ольхой, уже изъеденных розовато-рябиновым цветом осени, предстал перед моим взором люди, что пронесли в полные героики годы свои алые знамена и немеркнувшие чувства. Здесь, именно здесь увидел я Горбуша, и Дмитрия Севастьянова,

и Наташу Калачову с рассеченной соболиной бровью, и Юрия Маркова, и Алешу Алтухова.

Так в кратких непредвиденных встречах познал я небо Николая Краснова, героя Отечественной войны. Так узнал о хрупкой любви дворника Бори к той, кого мысленно именовал он — «фарфоровая».

Рядом с друзьями моими шли их спутницы, выносливые, терпеливые, сердечные русские женщины — Арина с проезжего двора, что лежит в сторону от Усть-Качи; и горячая, неутомимая в труде торфяница Антоня; и партизанка Катя в госпитальной палате; и сербиянка Нюра, полная своеобразных мыслей, желания распознать глубины человеческого сердца; и школьница Эль; и босвая верная коммунистка Аглая Ильинишна, и многие другие.

То были лица друзей, что помогали глубже постичь моих современников, людей моей родины, с их поисками правды и смысла жизни, чтобы сохраниться и жить в памяти и книгах.

Может быть, потому и полюбил я пути и версты. Но любовь, как всегда, являлась позже, чем возникали пути.

Порою невольно встает передо мной вопрос: кто же вложил в меня эту страсть, эту тягу к путям, к движению? Отец? Железнодорожник, как говорили раньше — путеец, мужественный, честный, предельно трудолюбивый, в прошлом — строитель Великого сибирского пути, исколесивший немало необжитых просторов, крупный специалист, занимавший большие посты еще до Советской власти, один из первых инженеров, набранный после Октября в первый комитет по управлению дороги, на которой работал? Моя мать, такая живая, подвижная, легкая на подъем русская женщина, до старости отзывчивая на все новое и неведомое, что приносила поля явь? Астрономы ли отцовского рода, вечно искавшие во вселенной пути звезд? Или дед-молдаваин, отец матери, со своей буйной кровью? Или — как говорят в пароде: «Уж такая выпала ему плагида»?

Странствия обостряют зрение и приносят раздумья. Беспокойная, пелегкая юность наша возбуждала неуемную жажду познать, видеть. С годами являлся опыт — он взывал к требовательности: увиденное и выношенное порождало потребность не просто «высказаться» и тем самым облегчить себя, а поделиться с людьми тем, что видишь, как видишь, припираешь, чувствуешь, — через

живые образы искусства. Быть может, это не так уж далеко от истины. Но судить об этом — знаю — людям.

Тогда я озираюсь вокруг и вижу, как идет рядом со мной, по земле нашей — по свету — множество крепких, выносливых, умных людей, друзей моих. Тех, кто шьет, находит, не знает усталости.

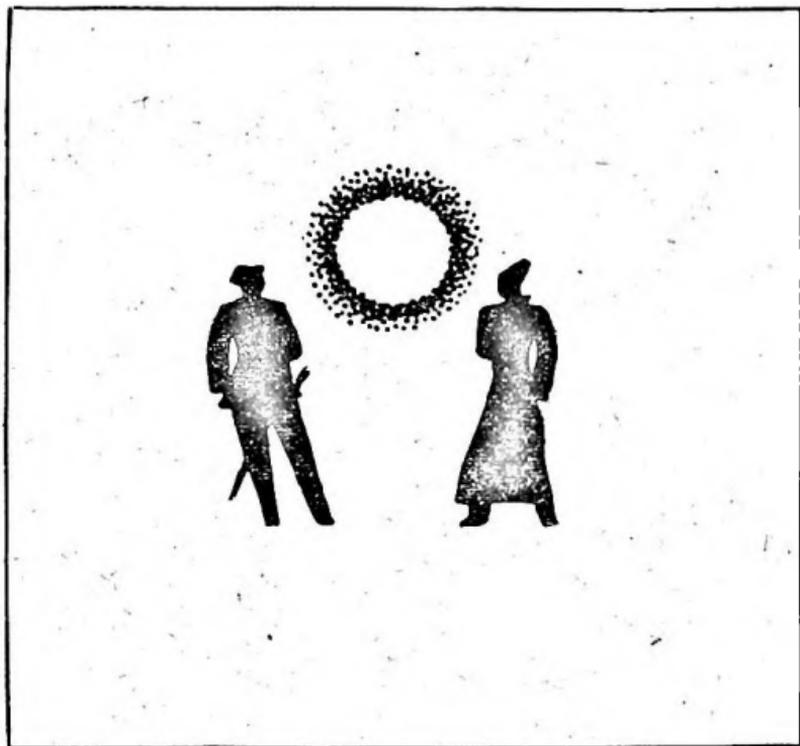
И тогда вспоминаются слова великого Горького: «...Таких людей у нас тысячи и десятки тысяч... Наш новый человек начинает чувствовать себя человеком на века. Так и надо».

Иннокентий Визнер.

Ленинград
1972

БАГРЯНОЕ
СОЛНЦЕ

роман





· ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Не скрою, личные архивы Алексея Антоновича Алтухова, которого я хорошо знаю, давно привлекали к себе мое внимание: я рассчитывал найти там интересный материал для литературной работы. Алексей Антонович не только известный ученый, но и человек со сложной биографией, со своей остротой зрения.

И вот три года назад я получил от него разрешение порыться в заветных папках: так познакомился я с личными архивами Алексея Антоновича Алтухова.

Ожидания меня не обманули. Среди дневников и разрозненных записей, в большинстве своем касавшихся наиболее сокровенных, личных переживаний, я обнаружил паспех сложенные, перепутанные, но добротнo выписанные страницы, не побоюсь сказать — главы романа о жизни двух друзей, Алексея Алтухова и Юрия Маркова.

Нетрудно было догадаться, что автором этих глав владею желание запечатлеть историю бурного поколения, проследить, как формировались характеры героев в детские и юношеские годы (это представлено в записях бегло), провести их сквозь незабываемые дни становления Советской власти — вплоть до нашего времени. Но многих связующих страниц не доставало, и вскоре мне стало ясно, что никогда этот роман Алтуховым написан не будет.

Можно было, конечно, пойти по пути наиболее легкому: расположить главы в хронологическом порядке, домыслить и дописать недостающее. Но нужно ли было поступать так? Я опасался, что правда жизни, вѣрнее — ощущение ее, от этого померкнет.

Отбрав главное и соблюдая законное право автора говорить своим языком, я почти не коснулся пером самого текста и лишь привнес в роман отдельные записи Алексея Алтухова, сделанные им от первого лица, дабы заполнить пропуски в повествовании.

Должен заметить также, что имена персонажей, названия иных селений и воинских частей, согласно желанию Алтухова, заменены вымышленными: нет надобности отыскивать, кто и что под ними подразумевается.

Этот роман, или, если угодно, беллетризованные мемуары Алексея Алтухова, не претендующие, разумеется, на

исчерпывающий показ событий эпохи, я предложил назвать: «Если бы не было любви» — к людям, человеку, справедливости. Но Алексей Антопович опасался, что глубокий смысл этих слов будет иными читателями истолкован превратно — как заявка на любовный роман. Поэтому эта книга выходит под названием: «Багряное солнце».

Я закончил вступление, почти всегда излишнее в книге. Мне нечего добавить — разве что те слова, которыми когда-то открывал я свою первую книгу: «Может быть, самое лучшее в литературе — письма и дневники. И в тех и в других — шаги настоящей жизни».

часть первая
ЧУВСТВО ВРЕМЕНИ

1

ДЕНЬ, КОГДА РАССЫПАЛИСЬ АПЕЛЬСИНЫ

...Свет был необычен и ясен.

От неба и свежей весенней листвы воздух казался почти голубым; и все, что омывал он — занавески окон, ветви деревьев за стеклами, — окрашивалось голубым, небесным цветом.

Дышать было непривычно и легко.

В тот день я узнал свою мать — молочную, нежную кожу груди и глаза, похожие на небо. Руки ее осторожно двигались, и все двигалось вместе с ними, качалось — занавески, ветви за окнами; и сам я летел по небесно-голубому, и было это легко и непривычно.

Я закрывал глаза, и они слипались, как ни пытался я приподнять веки: уголки глаз улавливали тогда все то же голубое и молочное-нежное. Я знал — рядом была мать, мне было хорошо от прикосновения ее рук, но слух постепенно пропадал, дурманило, я уже не слышал того, что выливалось из маленького рта, совсем близко у моих глаз. Я засыпал, вновь погружался в дрему, к которой привык за месяцы спячки в тиши, темноте, тепле.

Потом слух возвращался ко мне, и я открывал глаза.

— Смотрите, он улыбается, — говорила мать, — он проснулся!

...Те давние картины, бесспорно, игра воображения. Не к лицу верить этой игре, но видения того дня неотступны и неизменны. И если бы мне привелось когда-

побудь попытаться описать первый день человека — его вступление в мир, я начал бы именно так свое повествование.

Человек рождается — увы! — один раз, и все совершается в жизни один раз; и то, что повторяется, уже отличается от того, что было. И потому все в жизни неповторимо — и день рождения, и первые ощущения бытия.

...Сейчас — когда я пишу это — весна. Я люблю весну. Я люблю воздух, потому что он питает жизнь. Весною воздуха всегда много: кажется, не падышишься; и потому я люблю весну. Я люблю движение, потому что в нем — проявление жизни. И весна есть то же проявление жизни, и потому я люблю весну.

Но где же этот небесно-голубой воздух первого дня человека? ¹

Алеше Алтухову пятый год. Он любит пофилософствовать: почему это — луна? А как она ходит? А где у нее ножки?

Если мама скажет: «Она не ходит, она катится», — Алеша снова задаст вопрос. И не один. «А как она катается? А когда она — половинка, куда другая половинка девается? А чем она светит? А у нее есть фонарь?»

Луна притягивает к себе глаза Алешки. Глаза у него голубые, такие же, как у мамы. Но он еще не знает цвета своих глаз.

Соседка — девочка (в квартире слева от Алтуховых), одноклассница Любушка, высмеивает Алешу: «У тебя в глазах вода!» Алеше хочется тогда ударить Любушку, но она сразу же закричит на весь двор, если ее тронешь, и сразу же сбегутся люди. Федор Федорович со своей вонючей трубкой во рту (он Любушкин папа), и Вера Васильевна (она мама Любушки), и, конечно, тетя Варвара (соседка справа) — она всегда прибегает, когда кричат. И все станут шуметь на Алешу.

И мама тоже выйдет во двор или выглянет из окошка и скажет тихо и твердо: «Прошу не кричать на моего мальчика, я сама с ним поговорю». И все заворчат: «Да

¹ Из дневника А. Алтухова. В дальнейшем записи его (от первого лица) особо оговариваться не будут (И. В.)

уж этот ваш мальчик, задира!..» И мама прикажет Алеше сидеть дома.

А Алеша будет долго думать о человеческой несправедливости, — какой он задира?! — пока не увидит вповь, сквозь окно, Любушку (которая машет ему, зовет во двор!), и не испросит у мамы прощения, и не получит разрешения поиграть с Любушкой.

Алеша сбегает по ступенькам лестницы уже успокоенный и веселый.

«Ну, я покажу ей задиру!» — смеется он про себя.

А Любушка стоит у большой клумбы и делает вид, что не замечает его.

Любушка притягивает к себе Алешу так же, как луна. Только у Любушки есть ножки, и она не светится и никогда не бывает половпкой. Но сердит Любушка его часто. Тогда он говорит ей тихо: «Иди за мной». И, по оборачиваясь, идет к подъезду.

Он знает, что Любушка непременно пойдет за ним, хотя и болтается. И тут, у лестницы, Алеша дает ей «тынака» (что означает на его языке: «Ты! На-ка!»). И Любушка не закричит от его тынака. Даже улыбнется. (Правда, тынак легонький.) И все станет сразу хорошо и интересно, потому что Алеша обязательно что-нибудь придумает: устроит под лестницей овощной магазин, или играет в разбойника, или лечит зверей и кукол.

Лечить — специальность Алеша. Он всегда доктор. У Ляльки — кашлюха. Любушка даст ей по назначению врача капли. У зайца болит живот. А вот со слонем похуже: у него бессонница, и доктор назначает ему неспитив.

— А что такое неспитив? — спрашивает Любушка.

— Неспитив, — говорит Алеша, — это лекарство такое, это если не спит слон. Вот и пусть пьет неспитив.

У Алеша на все свои пояснения и свои слова.

Мыться по несколько раз в день скучно; может быть, потому и не любит Алеша свой «унывальник»! А кушать — приятно! Особенно уважает Алеша «матрушки» с творогом, которыми торгует тетя Матрена в «хлебнице», там же продают разный хлеб. Хорошо погулять по «гульвару» — это длинный садик, где все только и делают, что гуляют.

А когда мама устраивает в комнате сквозняк, вся квартира становится «продувной» и некуда спрятаться, а сам Алеша ходит весь «продутый». Тогда ему дают горькие

«кап!» (кап-кап!), и он просит маму поскорее «выгнать кашлюху».

После длинного дня, беготни, игр, Любушки, шарманщиков (которые заходят во двор) — самое приятное вечер. Вечером возникают увлекательные разговоры с мамой.

— А откуда, мама, земля?

— Оторвался кусочек от солища.

— А солнце?

— Оно вечно, Алеша.

— Нет, так не бывает, — говорит Алеша.

— Ну я читала об этом: так ученые пишут.

Алеша не находит нужным возразить, но про себя решает: «Тогда они еще не все узнали!»

— А откуда, мамочка, я у тебя оторвался? — спрашивает он. — Детей ведь не покупают, они не куклы.

— Я тебя сделала, — говорит мама. — Куклы ведь тоже делают. Вот и я сделала тебя.

— Куклы из тряпок, а я, мама, не тряпочный!

— А я тебя не из тряпки: взяла кусочек от своей ручки, кусочек от ножки, кусочек от щечки — вот и сделала.

Это нравится Алеше, он доволен. Теперь и ему хочется разъяснить маме то, что, быть может, она не знает.

— А почему цветки не бегают?

Алеша озорно смотрит на маму: вот и не знает!

— Не знаю!

— А я знаю, — шепчет Алеша, сейчас он раскроет тайну: — У них одна ножка! И потому они только стоят.

Кажется, разговорам не будет конца.

Детство Алеша Алтухова протекало обычно. Оно было наполнено своими развлечениями, опытом познания, огорчениями, разнообразием дней.

Вслед за шарманщиком с его визгливой «Маруся отравилась», крохотной обезьянкой, угловато поднимавшей свои мохнатые руки, приходили продавцы тканей — китайцы с железным аршином и тюком. Они ловко раскидывали туго запеленатые штуки материи, говорили быстро и малопонятно, хвалили товар.

Приходили фокусники со змейками, которые выполняли у них из лоздей, с пожами и с тарелками, кружившимися, как маленькие солпца, на острие палочки.

Приходили цыганки в широченных грязных юбках. Матери поспешно окликали тогда и уводили со двора своих детей: чтобы не украли! Но никто не крал детей, да у цыганок и своих-то было всегда в досталь.

Все это были развлечения. Алеша не уставал часами смотреть и слушать. Все это было праздник! Иногда вместе с мамой он ходил в городской сад, где по воскресным дням играл духовой оркестр. По дороге и у входа бродили квасники с большими кувшинами и полотенцами. Квас был малиново-багряного цвета; порою в нем плавали, как золотые рыбки, куски лимона. Продавали белые, из мела, домики и колокольни с цветными, из папиросной бумаги, окнами: поставь внутрь огарок, и окна засветятся как настоящие! На палочках поблескивали лакомые пестушки из сахара.

В саду продавали лотерейные билеты: Алеша знал, там можно выиграть корову!

Город был южный, живой. Алеша родился в Сибири, но Сибирь он не помнил. Отец перебрался сюда давно. Он работал в больнице. Полтора года назад уехал, мама говорила: «На японскую».

Алеша плохо помнил отца: только бороду — борода, черная, жесткая, завивалась мелкими колечками, щекотала, когда отец прикасался щекой к щеке Алешки.

С каждым днем все меньше говорили в доме об отце, и Алеша все больше забывал его.

Однажды Любушка спросила:

— А твой папа где? Или его нет?

И Алеша сказал:

— Кажется.

Вечером он спросил об отце мать.

— На японской войне, — коротко ответила она.

— Надолго?

— Война? — переспросила мать. — Кто может сказать, когда кончится война. Никто не знает, Алеша.

— А японцы гадкие?

— Давай лучше посмотрим книжки.

Но книжки смотреть Алеше не хотелось.

А потом все вокруг стало «быстрым». Мимо дома скакали на лошадях солдаты, мама говорила: «Господи! Казаки...»

Алеше хотелось подражать казакам. Вместе с Любушкой — тоже быстро — проносились они по двору, подхлестывая прутиками своих копей. Конями у них были палки, по добрые копи скакали резво.

Быстро бежали по улицам люди с флагами, с жердями, к которым были прибиты щитки с неизвестными надписями; иные падали и оставались лежать на мостовой; целкали выстрелы; быстро захолаживались ставни на окнах; лавочки закрывали свои лавки; матери быстро тащили детей в подъезды домов; быстро и четко отстукивали за закрытыми окнами удары лошадиных копыт.

Мать говорила:

— Отойди от окна! Отойди! Казаки — мало ли, пуля...

Все было теперь быстро. Алеше казалось, что даже обеды проходят быстро, спешно едят, молча, поглядывая на окна, прислушиваясь...

Был вечер. Как-то особенно весело было в тот вечер Алеше.

«Может быть, завтра воскресенье, пойдем в сад?» — думал Алеша.

Он сидел за большим столом, строил домики. Строительным материалом были папины игральные карты. Их никогда не разрешалось трогать. Но папы теперь не было, и мама дала сыну папины карты. Карты были чистые, блестящие.

Они строили вместе — мама и Алеша. Строить пужно было осторожно: чуть заденешь рукавом — и летят дома. Алеша терпеливо возводил этажи, один над другим, один над другим; когда кто-нибудь неосторожно сталкивал карту и многоэтажное здание рушилось, оба смеялись. Особенно — Алеша.

— Уже пора собираться спать, — сказала наконец мама.

Алеше хотелось упрямить маму поиграть еще, но стол — что было совсем неправдоподобно — мгновенно подскочил, словно его подтолкнули снизу, стены вздрогнули, задвигались; зацели, заплакали стекла окон. Грохот с улицы ворвался в дом, наполнил дикими голосами комнату.

Алеша ткнулся головой в мамину грудь, замер. Стало боязно, необычно. Он скорее услышал, чем увидел, как

распахнулась дверь и Фиса, кухарка, — так показалось Алеше — влетела в комнату.

— Барыня, — запричитала она, — барыня, в соседском доме, по тую сторону улочки...

Но мама не дала договорить Фисе.

— Помолчи, Фиса, возьми мальчика, — сказала она и вышла в гостиную.

— Господи помилуй, господи помилуй, — шептала Фиса.

И вместе с ней повторял про себя Алеша:

— Господи помилуй...

Мама вернулась скоро, взяла сына на руки, погладила по голове.

— Ступка в кухне упала, — сказала она, стараясь не выдать беспокойства, но голос у нее дрогнул. — Ступка упала, Алеша. Ух, Фиса! До чего неаккуратная!.. Ничего, мой мальчик! Испугался? Иди, Фиса, иди!..

Но Фиса не уходила.

— Я уж с вами посижу, с вами посижу, — повторяла она, и бледные губы ее подергивались.

Утром Алеша ходил с Фисой. По улице разъезжали казаки, заломив на затылок фуражки. У дома напротив один из них спешился, лошадь отряхивалась, вытягивала шею, шея была красивая, лоснилась.

Фиса гордо прошла мимо казака, не взглянув, а Алеша усердно рассматривал его лампасы, лошадь. Фиса останавливала соседей, спрашивала. Ее спрашивали тоже: громко ли слышно было, окна не треснули ли, перепугались спльно?

Алеша не понимал, о чем говорили взрослые. Разговоры кружились, путались: в доме напротив анархисты бросили бомбу в полицию, когда она явилась для обыска; пятеро пострадало; двое померло еще по дороге в больницу; вход в тот самый дом воспрещен, лужи крови там (по если дать полтинник городовому, то поведет, покажет!).

— Вот что делают безбожники, антихристы!.. — вздыхала Фиса. — Хорошо еще, дом наш не взлетел!

Она показывала на Алешу, и соседи вздыхали вслед за Фисой.

Алеша не понимал — были в его жизни шоколадные бомбы, их можно было есть, но грохота от них не было.

И зачем это так много говорит Фиса? Нет, слушать не стоило. Алеша и сам знал все: в кухне упала ступка. Так сказала мама.

Весной неожиданно приехал дядя Саша, мамин брат. Фиса называла его с умилением: «Господин Орлов, Александр Павлович». Алеше не верилось: разве у таких больших, как мама, бывают братья? У Любушки был брат, его называли Борька. Но это — у маленьких!

За полгода Алеша подрос, вытянулся. Дядю Сашу он видел впервые, хотя тот и говаривал:

— А ведь я тебя, Алексей, держал на руках! Ух и крохотный же ты был тогда, как лягушонок!

Дядя Саша ходил в длинном сюртуке с погонами (погоны очень нравились Алеше — он с Любушкой все время играл теперь в офицеры), рука — на перевязи. О войне дядя ничего не рассказывал, а спросить Алеша не решался. Был дядя бледен, подолгу в молчаньи распивал чай: и утром за завтраком, и в обед, и вечером. Спал в папином кабинете. Курил.

Мама не выносила запаха табака. Когда Федор Федорович заходил со своей воюющей трубкой, неизменно просила: «Только не курите!» Но дяде Саше мама не перечила; Фиса то и дело бегала в лавочку «за паечкой».

— Все шатается, все шатается кругом, Маруся, — говорил порой дядя Саша.

Алеша трогал стол — нет, стол стоял прочно, не шатался. И окна не плакали, не звенели, и стены не двигались.

«Это потому, что ступка больше не падает, — думал Алеша. — Но, может быть, еще раз упадет когда-нибудь ступка?»

— Что же теперь будем делать, Маруся? Скоро скину эту хламиду, — дядя указывал на свой офицерский сюртук. — Не дождусь! «Святую Русь» предали и проиграли, «ребятушек» попауложили, как положено...

— Саша! — мать многозначительно поводила глазами в сторону сына.

— Ничего, я аккуратно, он не поймет. А если и поймет — не вредно. Без Антона Севастьяновича, царство ему небесное, здесь тебе одной с малышом будет трудно. Как только освобожусь, вернусь на Урал, в свою Мотови-

лиху, варить сталь!.. А что, если тебе со мной двинуться, Маруся? Будем хоть рядом, в одном городе.

— Я и не знаю, как для него? — Опять взгляд па сына (а Алеша думает: «Чего мама косит глазами?»). — Климат там суровый, Саша.

— Климат, дорогой сестра, там хороший. Поверь мне. И мало ли что... всегда кто-то рядом. Так-то лучше, Маруся. Пока жизнь свою не устроишь. Подумай. Или уже все решила? Окончательно? Ну что ж, пошли тебе успокоения...

Мама не отвечала.

Алеша понимал: мама думает. Когда Фиса шумно вошла в комнату, а мама думала, Алеша шикал на Фису:

— Шш! Тише! Не видишь?!

— А чего не вижу-то? — вспыхивала Фиса.

Нет, Фиса совсем ничего не умела видеть!

Алеше все нравилось в дяде Саше.

Порой даже путалось, казалось — по дядя, скорее — папа. И то, что мама думала и, уж наверное, скоро надумает, и они уедут вместе с дядей туда, на Ур-рал (слово это урчало, от него несло холодком, снегом), туда, где у дяди Саши завод (что же он там заводит?), — наполняло Алешу радостью.

Только отчего же так долго думает мама?

Алеша ходил по двору и раздумывал, когда мама оклинула его из окна. Было воскресенье. Дядя предлагает поехать за город. Посидеть в ресторане.

Алеша не знал, что такое ресторан, по с дядей Сашей?! С ним он согласен был хоть куда!

— Надо приодеться, — улыбнулась мама, — чтобы дяде Саше с нами было не стыдно. И чтобы никому не было стыдно. Давай скорейко.

Алеша переодевался быстро — мама даже останавливала и все улыбалась.

«Чему она улыбается?» — думал Алеша.

Когда они вошли в гостиную, дядя Саша уже поджидал их, покуривал у окна.

— Хороши! — воскликнул он. — И ты, Маруся, — такой еще не видел тебя.

Мама опустила глаза, покраснела. Казалось, она расплачется.

— Ну, что ты! — сказал дядя. — Незачем себя мучить: счастье в алтаре не выдается, и не твоя вина, что сердечко твое осталось холодным. Не кори его, смотри вперед и иди смело... Человек он, кажется, добрый, и к тебе, Маруся, я сказал бы, отнесется...

Он не договорил.

— Ах, Саша, страшно мне. — Она оправила шляпу, взяла сына за руку. — Все кажется, вышвата я перед Антоном.

Дядя не ответил. Квартал они прошли молча. На Главной, где людей было особенно много, он сказал:

— Купим апельсинов, посидим где-нибудь в саду. А спадет жар, и поедем.

В магазин с Алешей мама не зашла.

«Мама меня в магазинны по любит водить, — думал Алеша, — а у дяди Саша рука ра-не-пая, и нести апельсины ему трудно».

Дядя Саша вернулся скоро, подал маме кулек, доверху полный крупными, густоцветными плодами, и Алеша сразу ощутил их запах: апельсины!

— Ну, что смотришь так? — спросил дядя.

— Ап-пель-спичпки! — запинаясь, проговорил Алеша.

— Дай ему, Маруся! Видишь, как молодому человеку хочется!

— Нет, — сказала мама, — дойдем до сада, на улице нехорошо.

— А апельсины и верно хороши. Как гранаты!

— На войне? — спросил Алеша, и дядя понял:

— На войне.

— Чем папу убили? — вдруг спросил Алеша, мотнув головой на кулек, который несла теперь мама.

— Твой отец погиб от сваряда — это тоже была «граната», Алеша.

— Такая же? — Вновь кивок в сторону кулька.

— Нет, много больше. — Дядя руками отмерил в воздухе: — Вот такая! Разорвется на куски и бьет.

— И папу убила?

— Твой отец, — помедля, сказал дядя, — твой отец погиб как герой, настоящий герой. Ты это запомни, Алеша, на всю жизнь.

И, словно позабыв о ребенке, — быть может, позабыв о том, что идет он с сестрой и Алешей, быть может — не им вовсе рассказал дядя Саша:

— Я лежал на соседнем столе, рядом оперировал солдата Антою. Моя рана была пустяковой в сравнении с тем беднягой. В палатке светло, душно, пахло тошнотно, и все хорошо видно, очень хорошо. Он уже заканчивал операцию, когда раздался взрыв. Дым потянул в палатку, с одной стороны прорвало парусину, я подумал: «Пронесло!..» И тут же увидел, как набухает китель на спине Антона. Пошже плеча.

Осколок попал ниже левой лопатки, но он не выпустил скальпеля. Я вскочил, забыл о боли и тут вдруг увидел, как хлещет кровь, — никогда я не думал, что в человеке столько крови, — и услышал, как он говорит, указав на солдата: «Защивайте!..» Но голос, понимаете, голос!.. Как с того света, ей-богу... И я не мог подхватить. Упал рядом со мной. И ни слова, ни вдоха.

Дядя Саша рывком расстегнул крючок на воротах кителя. Лицо пожелтело. Остановился, тяжело перевел дыхание.

— И все. В полминуты какие-нибудь. И нет человека. Погиб.

— Погиб? — переспросил Алеша.

— О боже, боже! — прошептала мама.

Кулек вывалился из ее рук, и апельсины рассыпались.

Слезы бежали по щекам мамы, по лицу оставалось ко всему безучастным, холодным, и это было страшно, и разобратся в этом Алеша не мог.

Он тоже заплакал и, склонясь над мостовой и все поглядывая на маму, пытался собрать апельсины, а они разбегались, выпрыгивали из рук, катились по булыжнику. И Алеша не мог собрать их.

— Ах, оставь, оставь! — говорила мама.

Но Алеша не мог бросить апельсины на булыжнике, по которому катили пролетки. Слезы текли по лицу, он собирал апельсины и видел отца — и черную жесткую бородку, что завивалась колечками и всегда щекотала. Жалость заползла в Алешино сердце. Была ли то жалость к убитому отцу, или к себе самому, потому что теперь уже никогда не будет больше у Алешы папы, или к тому, что на свете так жестоко причиняют люди другим людям боль, — разобратся в том Алеша тоже не мог.

Он плакал и собирал, всё собирал апельсины, а они разбегались, и мама кричала: «Оставь их, сейчас же оставь!» И мельтешили в глазах спицы легковых колес и колеса, крашенные в черное и красное — как кровь на

земле, и выпрыгивали из рук, рассыпались, каглись, убежали оранжевые плоды, апельсины, которые так любил Алеша и собрать которые не мог.

Тогда он сел на булыжник, прямо на край мостовой, и закрылся руками, чтобы не видеть эти апельсины. И сразу возненавидел их, как будто впервые познал им цену.

Все было как впервые: как никогда не было. Как будто раскрылись у Алеши вторые глаза — они вбирали все, что раньше скользило мимо, не задевая. Даже сквозь пальцы, прикрывавшие глаза, он видел. Что-то обрывалось в нем, падало, становилось другим: и мама, и улица, и разорванный кулек — ветер играл теперь им. Что-то покидало, рассыпалось, уходило. Но Алеша не понимал — что?

Может быть, то было детство, которое уходило от него.

К вечеру они взяли пзвозчика и поехали за город. Мария Павловна с тревогой поглядывала на сына: ничто, казалось, не веселило его. Он сидел рядом с дядей замкнутый, молчаливый.

Было тепло. Вечерело. Весенняя едко-зеленая листва окутывала кусты, деревья. Ветер шевелил ее; он приписал не то что прохладу — скорее непривычную для горожанина ласку. И эта ласка, щедро посылаемая людям природой, и едкая зелень, и тишина умиротворяли, успокаивали.

Понемногу разговорились.

Дядя Саша занятно рассказывал о стрижах, и Мария Павловна, глядя на сына, вздохнула свободнее: «Оживает!»

— А почему — стрижи? — спросил вдруг Алеша. — А кто их стрижет? А у них есть стригун?

— Парикмахер, — поправила мама.

— Парикмахер-стригун? — уточнил дядя. — Есть, конечно: вот с такими нож-пи-цами!

Алеша рассмеялся: такие крохотные птицы — и такие громадные ножницы!

Дорога шла по холмам, вдоль речки, через мост, в гору. Никогда еще не видел Алеша такой речки, таких холмов, полос вспаханных полей, настоящего леса, напомиавшего издали зубчатую ограду, настоящего деревян-

ного моста, бревна которого подрагивали под колесами пролетки.

И наконец — сам ресторан, издали папомпнавший замок!

В ресторане тоже многое было любопытно. Алеша соображал: «Столовая, где много столов. Называется листоран. На каждом столе тарелки, рюмки, вилки. И листочки на каждом столе. Вон мама читает по листочку. За столами сидят люди. Едят, разговаривают, смеются. И читают листочки, как мама. Потому что — ли-сто-ран. Так пазывается!»

Рядом с мамой сидел теперь дядя Ваня. Он смотрел на маму все время. Рядом с Алешей — дядя Саша.

Дядя Ваня был уже здесь, когда они входили. Он поднялся навстречу, провел маму к столу, удобно усадил Алешу. Он улыбался — глаза, рот, даже борода его, рыжая и как венчик, улыбались. Он сказал что-то Алеше, но Алеша не расслышал. Наверное, что-то хорошее. И маме он говорил много и хорошее. И борода улыбалась, как солнце.

Дядя Ваня тоже понравился Алеше, но было боязливо думать: «Может быть, и одного дядя довольно? Дяди Сашин!»

Потом Алеше налили в большую рюмку лимонаду, и дядя Ваня кашнул туда из бутылочки красной воды. Мама ахнула, но дядя засмеялся, оборачивая бороду к маме: «Дорогая! Только пять капель — он такой бледенький!»

Алеша тоже рассмеялся — все чокались — и чокнулся как большой.

Летом дядя Саша уехал на Урал. Мария Павловна говорила: «В Пермь»; Алеша повторял по-своему: «Пер-р-м!»

Но Алеша не уехал за дядей Сашей на Урал. Мария Павловна вышла замуж за Ивана Матвеевича — дядю Ваню, врача, давнего знакомого Алтуховых. Потом они переехали в Томск.

Пахнет снегом. Широкие, пастежь распахнутые ворота. Добротно строенный деревянный двухэтажный особняк. По ту сторону его — сад с высокими елями, березами,

Здесь, в этом доме, живут Алеша, и мама, и Фиса, и дядя Ваня. Теперь он и «дядя-папа», только зовут его Бороздиным, а маму — Бороздиной-Алтуховой, а Алешу просто — Алтуховым: так уж решила мама.

Все в снегу вокруг дома. И сад, и ворота, и двор. И во дворе — ледяная гора.

С Фисой, неугомонной Фисой, на крохотных санках скользит с горы Алеша, за ворота, в белую кипень улицы. Улица круто падает вниз в свисте и снеге, колющий воздух бьет в лицо, прикрытое шарфом.

Фиса правит лихо, ее растопыренные валенки на поворотах бороздят снег. Но сапки крепятся, падают; и уже без саней, кувырком, как на крыльях, летят, летят смельчаки, не иначе как в ледяное царство деда-мороза. Лицо в снегу, ноги задраны в небо. Нестерпимо пахнет снегом.

Ночью горел дом купцов Сурных, он стоял напротив докторского дома, через улицу. Алеша, поднятый с постели, в шубке и валенках, застыл у окна маминной спальни.

Горело споро — весь дом был объят пламенем. Пламя упиралось в небо, словно волшебный факел, поджигало скрытые тьмой облака. Они клубились, разламывались, завивались огненным вихрем.

Мама предлагала вывести сына во двор, но дядя Ваня успокаивал: пожарные работают отлично, все обойдется. И верно, огонь вскоре спал.

Утром Фиса ходила с Алешей осматривать пожарище: от дома остались одни развороченные, обугленные, остро пахнущие гарью бревна. Старший из Сурных, в распахнутой дохе, ходил у бревен, клял «пожарников-прохвостов», плакал.

— Ну и потушили! — посмеивалась Фиса, и Алеша тоже посмеивался, глядя на свою вдруг повеселенную спутницу.

— А если бы наш дом вспыхнул?

— Ты еще попробуй мне мать свою поугаты! — прикрикнула Фиса.

Пугать маму было нельзя. «Мама больна» — так говорил дядя Ваня. Эти дни с особой заботой подходил он к Алешинной маме,

— А чем больна? — раз двести спросил Фиса Алеша, и Фиса не выдержала «Алешкиной пытки» — открылась: — Только чтоб никому, пошел? Сестренка у тебя скоро будет.

Алеша не решился задать дополнительные вопросы. Как это — «будет сестренка»? И когда же отрежет это мама для нее по кусочку от своих ручек, ножек и щечек?!

И вот появилось то, что называли теперь уже вслух: «Сестренка». Крохотная, крикливая, с каждым днем все больше отнимавшая всех от Алеши — и маму, и Фису, и дядю Ваню.

Но — с каждым днем — все больше любил он теперь эту «разбойницу» (так называла сестренку Фиса, так мысленно повторял за ней и Алеша), все больше влюблялся в свою Лизоньку.

Появилось много веселых дней, когда она просыпалась, позывала, увлекательных вечеров, когда он помогал Фисе купить сестренку.

Потом его вдруг не стали пускать к Лизоньке. Говорили шепотом, ходили на цыпочках, обедали когда придется, почками не спали: Лизонька болела. Потом Лизонька умерла.

...Потом люди стояли в комнате; я видел, как теплились свечи, и сюртук дяди Вани, беспомощно повисавший на его широких плечах, и серебряный гробик с кистями, тоже серебряными.

Я плакал, мне было жаль сестренки, моей Лизоньки, разбойницы. Я помню, как меня увели в другую комнату, утерли слезы, дали шоколадку. Я помню даже обложку той шоколадки: на обложке были нарисованы пидейцы, цвет ее был красновато-коричневый; шоколадка — чуть короче ладони, пальца в два с половиной шириной, плоская; крест-накрест шли по ней утолщенные полоски. Картинки с обложек мы вырезали и наклеивали затем вместе с Фисой в мой детский альбом.

Все это никто не мог рассказать мне, припомнить подробности. С Фисой мы никогда не вспоминали об этом, как бы по немой договоренности. Фиса вскоре вышла замуж, и я больше нигде не встречал ее.

Зимой меня сводили на кладбище. Помню чугунного ангела с чугунными ручонками, скрещенными на груди.

И снег на его плечах. И снег на холме. И лицо матери. И снег на вуалетке ее шляпки, и снег на варежках. Белый, жесткий.

Но Лизоньки нигде не было.

Потом заболел дядя Ваня и умер в больнице; и в Томске не осталось ничего, кроме двух могильных холмов и чугунного ангела.

Мама все говорила, что дядя Саша зовет на Урал, и мы переехали в Пермь, и я поступил в гимназию.

Мы жили теперь в большой квартире — в ней всегда было пусто. Но когда приходили товарищи или Юлька, двоюродная сестра (я всегда звал ее сестрой), комнаты оживали.

Дядя Саша заходил тоже — жить маме было нелегко, — он приносил деньги, и фрукты, и всякие вещицы, и мама отказывалась брать, сердилась, но он не слушал, говорил: «Вот пустяки!»

И я соглашался с ним. Шли годы, я учился легко, приближалась юность — ожидание великого праздника стояло вокруг.

2

МИНУС ДЕТСТВО

До весны было уже недалеко, хотя снег за окнами лежал плотный, морозило. Все труднее становилось выживать до конца урока. В раздевалке Добермейер допымал Алешу, дергал за шинель, мешал. Алтухов сердился: еще этот дурацкий крик во все горло! Но разве Добермейера удержишь.

— Ну, Алексей, Юлька в тебя втюрилась!

Валентин Добермейер усмехался с прищуром. Алтухов считал его пошляком, на три года старше, а всего на два класса выше! Дурак, или, как говорила Юлька, «пошлый циник»!

Алтухов не ответил, он спешил домой, сделать уроки — и па каток. И, конечно, посмотреть на Ирину!

Но Добермейер не отставал:

— Смотри не укатай сестренку на лыжах! В воскресенье опять с ней пойдешь?

— А тебе что! — крикнул Алтухов. — Моя сестра — вот и хожу.

— А мне что?! — Валентин поджал губы, он злился. — Ладно, проваливай! А то хуже будет!..

Идя домой, Алексей думал: чем вызван гнев этого дурака? И вдруг ясная мысль осенила его: «Да он в Юльку влюбился!»

Дома ждала мама, — она все еще была молода и красива. Наспех поглощая обед, Алеша смотрел на нее с горечью: вот ведь судьба какая у мамы!

К вечеру, когда он доставал уже с полки кофки, зашла Юлька.

— Здравствуйте, а я на каток! — сказал он. — Мама у себя.

— А я тоже на каток, Алеша! Мне только маму твою поцеловать сбежать!

Юлька умела молниеносно обделывать дела. На «поцеловать сбежать» не потребовалось трех минут. Алексей не дошел еще до калитки, а Юлька уже прощелбетала за его спиной:

— Вот и я!

— Вижу.

— А чего сердишься? — спросила Юлька.

Алеша посмотрел на сестру, насушился:

— Валентин Добермейер втюрился в тебя. И как могла ты допустить это — вечное твоё кокетство!

Он наблюдал за Юлькой сквозь панорамную строгость, ему хотелось продлить шутку, но Юлька быстро разгадала Алешу; теперь и она уже издевалась над «пошлым диванком».

Отношения между Алешей и Юлькой сложились особые, они были погодки, и Юлька оказалась другом надежным, Алеша ценил это. Никакие насмешки всяческих Добермейеров значения здесь не имели. На Юльку можно было положиться — веселая, живая, твердая, словом — товарищ номер второй (после Юрки Маркова, конечно!); Алеша Алтухов, пожалуй, не замечал даже, что она девочка.

Каток сверкал, играл оркестр. За руку с Юлькой быстро бежал по кругу Алексей Алтухов — «первый фигурист». Девочки любовались — он знал это; лед скрипел под копытками — «восьмерка»... дуга, «тройка»... прыжок!.. Юлька не отставала, ею, конечно, тоже любовались — мальчики и этот «пошлый диванк» Добермейер!

Хватит! Они выписали широкий полукруг на льду, где было почти пусто. Остановились.

— Как на луку летишь! — проговорила Юлька.

— На лупу? — переспросил Алеша.

И увидел Ирнику. Она плыла по льду неторопливо, плыла и исчезала за спинами конькобежцев.

Юлька и здесь все угадала сразу:

— Леша! Я на минутку, что-то с ботинком.

— Да, да, — рассеянно проговорил Алеша и снова увидел Ирнику.

Рукам стало жарко. Он скинул рукавцы, ему хотелось бежать к Ирнике наперерез через ледяной круг, — круг казался ему теперь непреодолимо большим.

— Э-хэ! Алексей! Попался! — кричал Добермейер где-то за спиной. — Теперь не уйдешь, давай цепь! И ты — на самый конец! Что, струсил?!

Алтухов остановился. Он готов был броситься на Валентина, сшибить, смять... хотя Добермейера не так-то просто сбить — туша! Но Добермейер (сомнения не оставалось: чтобы очернить Алтухова) кричал уже на песь каток:

— Струсил! Алешка Алтухов струсил!..

К нему спешно сбегались друзья; цепь конькобежцев — рука в руку, как звено к звену — складывалась мгновенно. А Добермейер все кричал:

— Бойтся на конец встать! Струсил Алешка! А еще первый фигурист!

— Брось! — закричал теперь и Алтухов. — Криком порою пугают! — Коньки быстро несли его на край цепи. — Пошли!

Юлька подбежала, когда цепь неслась уже стремглав по ледяному полю, и все спешили от нее в стороны. Кто-то истошно кричал:

— По-од-дай! Под-дай!..

И вот Добермейер на конце цепи, что ближе к Юльке, тормозит, резко заворачивает цепь. И чем дальше от его напряженной руки, от склоненной на сторону спины, тем быстрее несутся конькобежцы. И быстрее всех, на том, дальнем конце, скользят по льду Леша.

«Сейчас оборвется, разобьется! — Юлька сжимает кулаки. — О, негодяй, негодяй этот Валька!»

Кажется, разорвутся руки, Алексей летит, проклинающая про себя Вальку, и цепь, и эту центробежную силу, которую он, Алеша, обязан преодолеть, не струсить!

И вот вновь перед ним Ирника, прямо перед ним, на пути, медлительная и маленькая, и уже не свернуть, не обогнуть, не обойти, не остановиться. Он видит — на мгновение, как во сне — ее лицо, беспомощную улыбку, шапочку из розового гаруса — Ирнику, которую сейчас собьет.

В последние секунды, через силу, он вырывает руку из руки соседа — чертова центробежная!.. И, перемахнув через сугробы сваленного по краю катка льда и смерзшего, задубевшего снега, уже не видя Ирники, — «не сбился ли?» — ничего не видя, летит Алеша в белое марево.

Он не может определить, как долго длится полет и падение. Он лежит в чем-то холодном и влажном. Он ничего не испытывает. Кто-то поднимает его, над ним склоняются лица. И на мгновение он видит среди них одно. То, что напоминает ему Любушку.

«Но причем тут она, — думает он. — Ирника!»

И слышит:

— Алеша! Алеша! Это я, Юлька, ты видишь?

Неделю Алеша пролежал дома. Порезы на лице заживали, голова не болела.

Но неделя была счастливой.

Врач, заходя по утрам, хвалит:

— Все идет отлично, на поправку. Удачно, что ребра не задеты. Лежать!

Мама уже не плакала, улыбалась, не упрекала в безрассудности, не сердилась на Добермейсера, не грозилась сходить к директору — пожаловаться.

Юлька все дни бывала здесь. Юрка, друг, товарищ номер один, однопартийчик (что означало: сидящий на одной и той же парте), также проводил вечера у кровати Алтухова.

Юрка не обладал талантом развлекать людей. Юмор его оставался всегда тяжеловатым. Он не мог поспорить в этом искусстве с Юлькой. Но одно присутствие неповоротливого, крепко сбитого паренька, на лице которого порой смешно сбегались морщинки у носа (Алеша знал — это улыбка!), одно присутствие Юрки прибавляло силы. Глядя на друга, Алеше хотелось вскочить с постели, сказать всем болячкам своим: «Копчено!»

Но вставать было запрещено — врач опасался дурных последствий: как-никак сотрясение мозга!

Навещал Алешу и дядя Саша. Последние месяцы он ходил сумрачный, жаловался Марии Павловне: «Троих рабочих арестовали, а люди хорошие! Плохо, Маруся! Свобода, свобода, где она у нас, эта святая свобода! Ни сказать, ни подумать не смей, кроме того, что позволено».

Но в этот вечер дядя Саша не говорил о заводских неполадках. Шутил, посмеивался над неудачей племянника.

В общем, все было хорошо, за исключением одного: о катке думать не приходилось. А Алеше все виделась Иринка, ее лицо в растерянности, ее вскинутые руки, и то, как летит он, Алеша Алтухов, на Иринку, вот-вот собьет, изуродует...

Но и здесь помогла Юлька.

В конце недели, раздеваясь в прихожей, Юлька долго шушукалась с Алешинной мамой, но Алеша не слышал, о чем шепталась двоюродная сестра, а спросить маму не решился.

И вот в воскресенье скрипнула дверь — Алеша раскрыл глаза, он дремал, не слышал звонка — в пролете двери, держась за руки, стояли Юлька с Иринкой.

Юлька с Иринкой?! Нет, этого не могло быть. И это — было. Иринка тотчас отделилась от Юльки, почти пробежала к постели, присела на край. Алеша увидел глаза — так близко никогда не видел он Иринкиных глаз. Да, это была Иринка. Конечно, не Иринка — Ирина Сергеевна Воловая, не так давно еще — Иринка Богданова.

Он смотрел на дверь, но Юльки в дверях уже не было. Иринка наклонялась, ее рука коснулась головы Алешы, пальцы легонько перебирали спутанные волосы.

— Я знаю, ты сделал это из-за меня, — говорила Иринка, — не испугался и сделал. И вот теперь лежишь, Алеша. А я во всем виновата и все время виню себя.

— Да что там, Ирина Сергеевна, — проговорил он, зивкаясь, — что там! Сам виноват! Это я... Это глупая цепь... в которой я давно... решил... не хотел принимать... участвовать, то есть... Это глупая... Эта пустая затея...

Он запутался, оборвал речь, просительно глядя на Ирину Сергеевну. Ему думалось: «Сейчас уйдет». Сил было мало, даже для того чтобы связать слова воедино. Но она не уходила, понимала.

— Помолчи, тебе нельзя волноваться. Все хорошо. Все будет хорошо. Ты хороший мальчик и не сердись, что я обижала тебя.

— Да что там! — повторил Алеша. — Что там, Ирина Сергеевна.

— И вот в театре, в последний раз, не захотела оставаться, поговорить. Я упрямая, и мне стало потом жалко. Но тут подошел...

— Воловой, — подсказал Алеша.

Ирина Сергеевна вадрогнула, убрала руку.

— Поправисься — заходи. Муж скоро придет, он к тебе хорошо относится. Не смотри на меня сердито, он неплохой человек. И на каток ходим, поправляйся!

«И на каток ходим! И поправляйся! И заходи!» — повторял про себя Алеша, глядя в окно. В окне, как разрезавшая дыня, сочная, яркая, стояла луна.

Позднее зашел Юрка Марков, ругал Добермейера. Оказалось, он успел уже столкнуться с ним на большой перемене, но появление Викентика, инспектора, не терпевшего на переменах никакой анархии, помешало: драка не состоялась. Юрка был мрачен.

Потом он ушел, и Алеше припомнилась первая встреча с Юркой.

Два с половиной года назад, с явным запозданием, вошла в класс учительница русского языка Анастасия Ефремовна — за глаза ученики называли ее Дисциплинкой.

Она шла несколько торжественно, прихватив за руку незнакомого ученика.

— Здравствуйте! — сказала Дисциплинка. — Я привела вам нового товарища: Юра Марков будет теперь учиться в вашем классе — познакомьтесь!

— Здравствуй! — все еще стоя за партами и глядя на новичка, закивали ученики.

— А теперь садитесь. Петров! О чем ты болтаешь? Забыл...

— Дисциплинку! — поспешно договорил за учительницу ученик с третьей парты.

— Савельев, ты сказал правильно: дисциплину нужно соблюдать всем. А теперь подумаем, куда нам посадить Юру. Может быть, к Петрову, у него место свободно.

— Что вы, Анастасия Ефремовна! — вскакивая, запримчал Петров. — У меня Витька педелек болеет, инфлюэнца, как же без него можно?! Больного?!

— Хорошо. Тогда — к Савельеву?

— Как по мне? — воскликнул Савельев. — Ведь Валя Калачик тоже болеет. Дисци... Анастасия Ефремовна!..

— Не Калачик, а Калачев, — поправила учительница. — Так!

И посмотрела на Маркова.

И все посмотрела на нового ученика.

И Алеша Алтухов, также сидевший один на парте, посмотрел на нового ученика.

Юра Марков казался спокойным. Невысокого роста, на вид очень крепкий, с лица желто-коричневый, как от загара, он стоял и не то улыбался, не то смешно морщил кожу у щек и носа. Потом он перестал улыбаться, и в карих глазах его проступило что-то стальное, колющее.

«Крепкий этот Юра, — подумал Алтухов, — глаза стальные».

Сказал, подымаясь с парты:

— Анастасия Ефремовна, а посадите нового ученика ко мне, место свободное.

— Хорошо, — согласилась Дидея. — Садись, Юра, рядом с Алешей Алтуховым. И постарайтесь подружиться.

Юра сразу прошел к указанной парте. Посмотрел в глаза Алтухова с выдержкой, как бы оценивая. Протянул руку:

— Юрка Марков!

— Алтухов! — пожмал руку, ответил Алеша.

С того дня однопарточки подружались.

Но дружба их развалилась скачками, перово. Порой обоим казалось, что для нее, для этой настоящей дружбы, нет у них никаких данных. Алеша любил стихи, спорт, книги, дружил с Юлькой, ходил на гимназические вечера, танцевал охотно. Юрка же любил стихов, посмеивался над книгами, которые глотал Алеша, над дружбой с девочкой, спорту уделял мало времени, любил охоту, лес, природу. И ненавидел всякие пидилли и всякую поэзию.

Быть может, дружба выбирает свои пути, не считаясь с тем, кто что любит, к чему стремится в своей личной жизни? Об этом не задумывались тогда ни Алеша, ни Юрка. И постепенно привыкли друг к другу, сжились.

Юрка Марков приехал с запада. («От Беловежской пущи, понимаешь, ты, идеалист?») Отец его, фельдшер, обосновался вблизи Верещагина. В Перми у Юры не было ни родных, ни знакомых, он сплмал комнату, перее — угол, куда пристроил его отец, привезший учиться сына.

Юрка полемитому обвыкся в доме Алтуховых. Маму Алешин полюбил. «Ну и мамка у тебя, Алеха! — нередко

говорил он. — Чудесная у тебя мамка!.. К Юльке тоже привык; порой Алеше казалось: «Даже больше!» Впрочем, удивительного в том ничего не было — в Юльку влюблялись многие и пепадолго. Но Марков был человеком постоянным, упорным.

Потом заметил Алеша Алтухов еще одну страсть Юрки Маркова. То была его любовь к своему старшему брату, Валерию Алексеевичу, студенту, учившемуся в Петрограде, «экономисту», как говорил Юрка.

Отсюда шло *все то*, с чем вовсе не был знаком Алексей Алтухов: интерес к политике, те книги, которым с увлечением отдавался Марков (он никогда не показывал их Алеше), суждения о царском строе (чем дольше длилась дружба, тем чаще говорил о том Юрка), мечты о будущем.

И — как догадывался Алеша — жажда подвига в борьбе за свободу.

Наслушавшись Юрки и дяди Саши, Алеша порой пытался повторять их суждения.

— Свобода, свобода! Где же эта святая свобода! — говорил он.

Но Марков обрывал друга:

— Не слишком болтай: «Свобода!» Дадут тебе за эту свободу, что и своих не удержишь.

Но Алексей не обижался на слова друга.

3

ЧУВСТВО ВРЕМЕНИ

Его величество король Франции Генрих IV выехал на площадь. Под ним была белая лошадь, и лошадь играла, и на площади была толпа.

Балконы, мансарды, окна, подъезды домов пестрели складками юбок, буфами, шпагами кавалеров, перьями шляп. Всюду его встречали восторженные глаза; и на десятую долю секунды, въехав в толпу, король задержал лошадь.

Тогда перед ним покорно склонились древки, и знамена упали к копытам лошади. Он поднял руку, бросил слова, слышимые за рокотом толпы, и толпа ринулась к лошади — быть может, за этими словами, как за мотамп.

Но король тронул поводья, высокий сапог коснулся лошадиного бока. Толпа раскололась надвое, и с балконов, мансард, крылец, окон — подобно снегу — упали на него, на лошадь, на булыжник площади цветы.

Лошадь бережно несла его среди множества рук, копий, шпаг, упитанных торсов, плюмажей. Он подвигался все ближе к месту, где сидел Алеша...

Сзади неясные споры, возгласы, голоса на этот раз загремели отчетливее. Кто-то кричал:

— Долой картину! Долой немецкий фильм!

Голосу перечили другие:

— Это провокация! Продолжайте!

В третий раз вспыхнул свет: лошадь Генриха IV из белой стала прозрачно-серой, быстро теряя контуры; оборвался крик толпы — той, что была впереди; сзади напугали, люди задвигались вокруг, кто-то крикнул еще раз «долой!», кого-то придавили, и зрители, тесня и давя друг друга, рванулись в сад, к выходу.

Возле кассы кинотеатра, окошки которой, несмотря на раннее время, были темны, кучками толпились люди. Против зала, на перилах террасы, размахивал руками приземистый человек в студенческой фуражке.

Слов его — как минуты назад слов короля Генриха — нельзя было расслышать. С боковой аллеи сада к театру двигалась толпа, и у самого запасного выхода, там, где мигал едко-розовый транспарант, кто-то развертывал длинное трехцветное полотнище.

Юлька тянула за руку, как в тумане Алеша слышал ее высокий, дрожащий голос:

— Идем, идем! Это демонстрация!

— Какая? — спросил он, наснех застегивая гимназическую шпидельку.

Он хотел еще посмотреть на людей, на трехцветное полотнище, хотя она все упорнее тянула его к воротам сада.

— Не знаю, не знаю, идем же! — повторяла она. — Ты понимаешь, демонстрация! Всегда может быть выстрел во время демонстрации! Паника! Идем!

Но вот полотнище было наконец поднято — на середине его заколыхался овальный портрет.

— Да ведь это же царь! — крикнул Алеша. Юлька уже бежала мимо людей, не выпуская руки и не слушая его. — Царь!

Непонятный страх певольпо передавался ему. Не раздумывая, он бежал вместе с Юлькой по сырой вечерней дорожке сада к бульвару, и предметы, ничем не связанные с событием вечера — чужие следы на дорожке, сторож с бляхой, чужие оборванные слова, желтые акации у решетки, ветвями хлеставшие по рукам, — принимали вдруг новое определение: демонстрация!

Юлька остановилась. Набухшие от дождя липы бульвара надвое рассекали его, бросали на мостовую слабою тень; и Алеше в последний раз вспомнились те цветы и тени, что падали на бульжники у ног королевской лошади.

Мимо цокали копыта — извозчик вяло подергивал вожжами, и человек с лестницей уже перебежал проспект, наискось от столба к столбу, все ближе и ближе к саду, и зажигал фонари. Так добежал он до толпы, и последние фонари остались пезажженными.

— Большой! — вдруг сказала Юлька и усмехнулась: — Большой, а испугался хуже, чем я!

В глазах ее был смех, страх исчез, вповь выплыло любопытство; они шли тихо по мостовой проспекта, как влюбленные касаясь плечами, оглядываясь. Их нагоняла толпа, заражая беспокойством, тесня. Они пропускали людей мимо себя; резкие вскрики, слова, обрывки споров плескались вокруг, тонули в глубине улицы:

— Мы протесту... проть... нецк... насилля!..

— До-о-лой!.. Ур-ра-а!..

— Поля... единень... верноподданных!..

Им вторили стены домов, мостовая, почь, надвигавшаяся на город.

— Поодд!.. О-оо! Ра-а!..

Над тротуарами, в свете фонарей, качалась фуражки полицейских.

— Ужасно, это ужасно, — твердила Юлька, — будет война, вот увидишь, будет!

— А, что ты понимаешь! — воскликнул Алеша.

Шум нарастал, уже трудно было слышать друг друга, теснили к ограде, дышать становилось тяжелее, и Юлька все крепче сжимала Алешины руки.

Внезапно что-то приподняло его, рвануло вперед, Юлька вскрикнула. Но толпа потопила слова, разорвала руки. Чужие плечи вклинились между ними, все побежали, закричали, зацокали каблуками по мостовой; их понесло в

стороны, и Алеша терял, и находил, и вновь терял среди множества возбужденных лиц лицо Юльки, совсем маленькое, все дальше и дальше уходящее в толпе.

Прошли дни, и Алеша Алтухов прочел в газете:

«Многочисленные патристические демонстрации, происходившие за последние дни в столице и других местах Империи, показывают... что твердая и спокойная политика Правительства пахла отклик в кругах населения... Черная сила в подъеме народного духа...»

Был конец июля тысяча девятьсот четырнадцатого года, — в этот день к Алтуховым зашел дядя Саша.

— Начиная воевать, и безо вся-ко-го смысла! — сказал он, еще не переступив порога гостиной. — Хорошо, Алешка еще младенец! Война обеспечена.

Мать Алешки вздрогнула, но брат не дал ей возразить.

— Да, Маруся, да! — сказал он. — Разве еще можно сомневаться? Закон наш гласит: «Объявление мобилизации считать объявлением войны!» Бойня обеспечена! И потом вся эта шумиха, манифестации, усиление военных заказов на заводах... Что говорить! Если к войне готовятся годами (хотя мы, как всегда, совсем не готовы!), да к тому же пмеется чудесный предлог — Сербия, чего же ждать?

Алеша не мог не прислушаться к словам дяди. Он знал: дядя Саша был ранен на войне, проявил храбрость (Георгиевский — хотя его и не послал дядя — награда почетная!). Конечно, не боясь тревожила дядю. Но эти слова: «Бойня. Чудесный предлог...» — что должны были тогда означать эти слова?

Он пробовал отогнать их, но они возвращались. По утрам, когда оркестр проходивших на ученье солдат будил его, при виде погон офицеров, постовых у губернаторского дома, трехцветных полотнищ демонстрантов, проносимых по улице.

Они возвращались с настойчивостью. Их вспоминал Алеша Алтухов, перечитывая строки первого манифеста:

«...Следуя историческим своим заветам, Россия, единая по вере и крови с славянскими народами...»

Он вспоминал их, просматривая правительственные сообщения:

«...Проявленное этим самым Австро-Венгрий стремление... утвердить свое преобладание на Балканах...»

Прошли еще дни — война была объявлена, — и Алеша вновь вспомнил слова дяди.

«...Мы... Мы... Мы...
...И прочая... И прочая... И прочая...
...Германия вопреки нашим надеждам... объявила войну...»

Люди сбегались, читали приказы, охали, обсуждали, шептались, плакали, негодовали, торопились.

Алеша Алтухов вспоминал слова дяди. Но понять и разобраться в них не мог. Война казалась ему оправданной поведением Австро-Венгрии: можно ли было поступить иначе.

Повсюду была спешка. Бесшумные сборы, проводы, расставанья. Шум этой спешки прорывался сквозь газетные передовицы, сквозь вопли газетчиков, гром полковых труб, песни, молебны, колокольный звон. Он заполнил площади, по которым яростно закружили колонны солдат, рассыпались в перебежках шеренги, взметая в воздух винтовки; отравил вечер тревогой ожидания, беспокойством экстренных выпусков новостей:

«Русские войска установили соприкосновение с неприятелем...
...Немецкие войска отступили...
...Занят Бейдин...»

И толпа повторяла возбужденно: «...Соприкосновение... Отступили... Бейдин...»

4

СОЛОВЬИ ПОЮТ

Впереди вокзал. По запасным путям маневрируют поезда, и тянутся гудки паровозов, и стрелочники помахивают флажками.

К вокзалу, к главному зданию, ведет один путь прямой улицей, через весь город и окраину, мимо множества

окоп домов, и уже за городом расщепляется пядвое: прямо — к белому, за полверсты всплывающему в небо дому, палево — к железнодорожной трубе¹.

Труба — такая же, как тысячи железнодорожных труб, темных, невзрачных, сырых; видно, такими уж положено им быть покою веку.

Эта труба делит теперь для Алеши Алтухова весь мир на две части. До нее — все хорошо изучено, известно давно: и дома, и люди, и семьи друзей, и тревоги, и развлечення. За ней — ровно четыреста пятьдесят шагов до первой воинской платформы.

Город отрезан отсюда насыпью железнодорожного полотна, полукругом уходящего к вокзалу; слева теснит платформы березовая роща, теперь всегда полная двуколок, колеи, шинелей; роща словно стремится прикрыть небо, но небо прорывается сквозь кропы, повисает за ними, пахущее и серое.

Здесь совсем иной мир, песчожий с тем, что оставлен по ту сторону трубы. Он затаен и, вероятно, неизмеримо шире и неожиданнее того, обычного мира. И каждый раз, как входит Алеша Алтухов под камень трубы и видит грязь, и лужи, и еще свежий конский помет, он знает, что с тем миром, откуда пришел он, связь кончена. И постепенно перестает думать о нем.

Все здесь — военное. Чужое. И если Алеша Алтухов не знает еще, насколько и кому пужен этот военный мир за железнодорожной трубой, то распорядок дня, обычай и забавы, которыми он живет, уже хорошо знакомы ему.

Каждый раз машинист подает к платформе порожний состав; долгие часы проставляет он у платформы, мерзнет в осенних ветрах; вагоны грузят пехотой, пушками, двуколками, лошадьми, повозками, с красным крестом.

Грузят в вагоны по восемь лошадей; лошади упираются, бьют копытами, вышибают вагонные доски, встают на дыбы, как будто не хотят покинуть платформу, хотя и не знают, что там, где-то на другом конце этого железнодорожного полотна, будет впереди много трудного и что многие из них никогда не вернутся обратно. Упрямятся. Но все же их грузят и грузят без конца. Так же,

¹ Топсель в железнодорожной насыпи.

как пехотинцев, хотя те знают, что *будет*, и не хотят о том думать.

К новой обстановке солдаты привыкают быстро, они тащат в котелках кипяток, балагурят, потопыивают погами; кто-нибудь пройдет вдруг дробью и с выкриком по дощатой платформе; кто-нибудь прыснет смехом. Что ж, здесь еще только вокзал, остановка, мирное житье!

А посторонние — бабы и бабы, в платках и нередко уже в валенках, — жмутся к теплушкам, охают; да редкие дамы в городской одежде неловко стоят у классного вагона. К бабам подбежит то один, то другой солдат, скажет что-то, разведет руками, помнется на месте. И опять побежит к теплушке.

Потом все выстроится вдоль платформы, дамы отойдут от офицерского вагона, горнист сыграет положенное по уставу, кто-то из офицеров скажет о войне, отечестве, царе, о порядках в пути. Наспех попрощаются с остающимися, сядут в вагоны. Теплушки звякнут, столкнувшись буферами, и поезд медленно пойдет, как бы раздумывая — не остаться ли?

Но он непременно уйдет, оставив воющих баб на платформе. Видно, мир этот не знает промедления, отсрочки. Иногда заиграет музыка, и бабы завоют сильнее. Но никто на них не обратит внимания. Все это — теплушки, солдаты, прощание наспех, вой баб — столь обычное явление, что, кажется, ничего нельзя изменить здесь и что все это так уж положено по закону.

Утром подадут новые составы. С утра потянутся новые роты, батальоны, по булыжнику мостовой загромыхаст артиллерия, пройдут положенные кварталы — до трубы — санитарные повозки. Мужчины, женщины, мальчишки выберутся за ворота проводить и поискать в рядах знакомые лица. Протрещат по улице барабаны — самые поздние уже в белесых сумерках; и роща за путями будет на время принимать новых и новых серо-однаковых людей.

Почему каждый день, приходя из школы, обедает наспех, и ждет последних барабанов, и меряет длинные кварталы до воинских путей Алеша Алтухов? Почему товарищи его только посмотрят вслед и идут к своим книгам, приятелям, развлечениям, а он как заведенный проходит и проходит эти пять верст пути туда и обратно и за полночь просиживает у своего ученического стола?

Ответить себе на это Алеша Алтухов не умеет.

Все началось на шестые сутки после объявления войны. В доме, где жил Алеша, служил дворником Евграф Потрясов, но человек — великан. Жена Евграфа, румяная, как яблочко, низкорослая хохотушка Марфа, пришла однажды к Марии Павловне одолжить денег на проводы: мужа забирают!

Алеша всегда с завистью поглядывал на Марфины щеки — редко кто мог бы похвастаться таким румянцем.

Жена Евграфа долго беседовала с Марней Павловной. Когда Марфа уходила, в руке у нее были кредитки, а на глазах слезы. Первый раз видел Алеша Марфу печальной.

— Такого пуля не возьмет! — подбодрил ее во дворе второй дворник, кривобокий и злой. — Ишь богатырь — как на заказ для войны!

Назавтра Алеша пошел проводить Евграфа, нашел его в первой роте, в первом ряду — на голову выше других. Чувство подсказывало: идут на смерть, но барабаны возражали, бравировали:

...И-и-дем на бой,
И-и-дем на бой,
Бой, бой!
И-и-дем на бой!..

«И-и-дем на смерть!..» — отзывалось в груди Алеша.

Но штыки блестели, шеренги держали равнение, погн отбивали шаг, и бодрость против ожидания закрадывалась в Алехова; ему хотелось вот так же идти вместе с этими людьми — людьми, которым отстучивали барабаны:

Бой, бой!
И-и-дем на бой!..

«Отечество! Конечно, отчество, — думал Алехов. — Германия напала, Россию нужно защищать!»

Но когда тронулся поезд и завопили бабы, бодрость покинула Алешу. И вновь зазвучали барабаны.

Всем назначено было пройти сквозь *трубу*. Морозным вечером уехал дядя Григорий, старший брат мамы, отец Юльки. Алеховы были с ним в ссоре. Когда солдаты уже сидели и стояли в теплушках, Григорий Павлович

выпел из офицерского вагона и поглядел на Алешу, обнял, поцеловал.

Глаза стали у него совсем другими, в них нельзя было отыскать обычного осуждения или презрения ко всему, что его окружало, — Алеше показались они влажными. Усы поднялись выше, как будто хотели закрыть глаза. Дядя ничего не сказал, слегка оттолкнул племянника и вернулся в вагон.

На Главной, сбегавшей к реке улице неизменно ходили по «зачарованной», левой стороне, три квартала вверх, три квартала вниз; «разочарованная» обычно пустовала.

— Посмотри, совсем как до войны, — говорила Юлька. — Все считают, что скоро кончится, два-три месяца, не больше. И папа вернется.

— Так и должно быть, Юля!

— И, может быть, папа даже не успеет доехать и вступить... как это там говорится? — «в соприкосновение с противником».

Юлька вдруг прижалась к Алеше, посмотрела в глаза.

Он не знал, чем бы ее утешить. За спиной окликались: «Алтухов! Знакомых замечать надо!» Смех был веселый.

«Ковечко, Лидка Смазова! — подумал Алеша. — Воображала и дура!»

Но Лидка Смазова была все же хороша (хотя Алеша и не хотел в том признаться). Волосы совсем белые, шевельнет головой — и они смеются, звенят; и все лицо смеется, светлое, тонкое. Глаза чуть косые в разрезе, зелено-желтые, и губы всегда влажные.

— У меня сзади глаз пет! — ворчливо произносит Алеша.

— Вежливо! — говорит Лидка. — Впрочем, прощаю! Через пять дней вечер в пользу Красного Креста: можешь продавать цветы?

— Этого я не умею, — Алтухов смотрит Смазовой в глаза, и она потупляет взор, и это злит Алешу. — Ты лучше Добермейера возьми — он подойдет!

Лидка кривит губы:

— Ты, Алеша, не в погу со временем. Минус патриотизма! — Она немного растягивает последнее слово, и оно звучит на ее губах скорее как «па-трио-сизма». И это еще больше злит Алешу. — Уверена, добровольца из тебя никогда не получится!

— Да оставь ты Алешу! — одергивает ее Юлька.
Вот уже и тополя, что растут возле губернаторского дома. Здесь меньше народу и говорить легче.

— Хоть бы уж поскорее все кончилось, Алеша! — вновь начинает Юлька.

И сразу где-то в конце улицы высокий, чистый врывается в тишину голос:

...Соловей, соловей... пташечка!..

5

ДРУЗЬЯ И ЗАБАВЫ

Юрка Марков не ходит провожать солдат. У Маркова о войне особые мысли: он считает войну неправильной, для народа непужной — бойней (так же, как говорил о ней дядя Сама); благотворительные вечера в пользу Красного Креста презирает, «дамочек-патропесс» ненавидит.

Эти мысли у него заимствованные (так считает Алеша Алтухов): миновавшим летом презжал к отцу под Верещагино брат Юрья, студент Валерий; и Юрка под строгим секретом сообщил, что Валерий — социал-демократ, большевик.

Но заимствованы ли мысли Юрки, или сам пришел он к таким выводам, понаслушавшись брата и поначитавшись книг (которых и в руках-то никогда не держал Алтухов), — все же интересно и убедительно (хотя и редко) говорит обо всем этом Марков.

Но тут же он добавляет наставительно, что болтать ни о чем не следует, а то из гимназии вылетит и угодит — «ядрена копалка!» — туда, куда Макар телят не гоняет. А свою присказку (вовсе бессмысленную!), эту «ядрепу копалку», Юрка употребляет лишь в тех случаях, когда либо изумлен, либо взволнован серьезностью положения, в которое он или его друзья попадают.

Прошло почти два с половиной года. Юрка Марков заметно повзрослел за эти два с лишним года войны, еще больше замкнулся и, пожалуй, только с Алешей бывал откровенен (хотя и ему говорил не все). Но Марков хороший товарищ, слабого в обиду не дает, а кулаки его как кремь, и лучше под их удары не попадаться.

Заметно усерднее готовит теперь уроки Марков и, не в пример многим, куда внимательнее к словам учителей,

хотя даются ему знания нелегко. Но то, что он постигает, уже ничем не выбить из его памяти. Даже Дисциплинка, которая ведет сейчас литературу, не может порой по удивиться этому.

Прошло почти два с половиной года. За окнами по-прежнему были барабаны, манифесты, обрывки оперативных сводок на стенах заборов. Укатанным снежным полотном уходил неизменный путь к воинским платформам. Люди спешили к не яркой и не тусклой, средненькой какой-то, провинциальной жизни, спорили, смеялись, плакали, когда поступали вести о гибели родных «на полях брани», любили, ненавидели.

Война стала обычным делом, таким же, как всяческие заботы. К тому же отстояла она далеко от домов, где обитали люди.

Марфа Потрясова уже полгода вдова (пуля в два золотника весом убила богатыря Евграфа, созданного, по словам кривобокого старика дворника, «как по заказу для войны!»), Марфа жила теперь в квартире Алтуховых, служила прислугой «за одну» (и горничной, и кухаркой), и Мария Павловна привыкла и подружилась с ней.

После смерти мужа Мария Павловна много работала на дому — шила знакомым. Это называлось «делала одолжение для друзей». Но друзьями этих людей Алеша назвать не мог. Они приходили на дом, шутили, высказывали недовольство, хотя и было признано, что у «Марии Павловны — вкус!» Когда они уходили, лоскутки оставались на полу столовой — Алеша ненавидел и эти лоскуты, и этих знакомых.

Дядя Саша по-прежнему помогал сестре и племяннику, как и отказывалась Мария Павловна. И Марфа тоже помогала, совсем по-иному: обметывала, подшивала, гладила, мыла полы. Приходя домой, Алеша нередко заставлял их обенх за работой и беседой. И Алеша полюбил Марфу, и стала она своей в семье Алешы, со своими почти не поблекшими от времени яблочками-щеками.

Алеша любил слушать Марфу на досуге. Говорила она просто, четко выделяя мысли: «Что ж, война — горе общее». Или: «Не вам, барышня, а богатеям нужна война». Или: «Правда рядом стоит, да говорить о ней нельзя». И когда Мария Павловна просила: «Не зови меня барыней, пожалуйста!», Марфа посмеивалась лишь: «А как иначе? Люди меж собой что проволокой колючей

Но веры уже не было.

А дядя Саша говорил, говорил:

— Стремление разобраться во всем — жилка русской интеллигенции. Пытаемся думать, не хотим быть баранами. Это пока еще не запрещено у нас в России всяческими держимордами. Без высказывания вслух, разумеется!..

Нет, Марию Павловну не интересовали все эти высказывания. Только Марфа, устанавливая самовар, соблазненно смотрела на Александра Павловича. И Александр Павлович заметил, спросил с улыбкой:

— Что, Марфа, не так считаешь?

— Что уж нам! — проговорила с достоинством Марфа. — Мы темные. Только народу гибнет. Много, Александр Павлыч.

Дядя Саша оборвал улыбку, пахмурлся.

— Правда твоя, Марфа. Много. Излишне много.

В город приходили транспорты рабeных. Когда сирены, установленные на вокзале, начинали истошно вить, Алтухов прикреплял на рукав шинели повязку с красным крестом и спешил к вокзалу.

Всегда неожиданно врезался в вечерние сумерки треугольник желтых огней паровоза, и, замедляя ход, катился вдоль пассажирской платформы полевые, защитного цвета санитарные вагоны; транспорт стоял долго, разгрузку начинали не торопясь; и только в передних теплушках, за тендером, поспешно начинали гроыхать сбрасываемые со скоб затворы, и санитары спешно выносили посылки, как бы желая разделаться поскорей с пеладным грузом. Солдатские одеяла неровно обвисали на этих посылках — под ними угадывал Алеша Алтухов распластанные тела бывших солдат.

Вот и сегодня стоит Алеша рядом с Юркой и ждет очередной встречи с теми, кто еще жив.

— Ну, принимай, Алексей, первый — твой! — подталкивает в спину Марков.

С вагонной лестницы, поддерживаемое санитаром, на костылях спускается на платформу раздутое в груди (видимо, под шинель поддет ватник или жилетка из меха), неуклюжее, однопогое существо. Солдатский Георгий покачивается на шинели, костыли скользят с неприятными вычками.

Алтухов подхватывает раненого, свободной рукой принимая от санитаря вещевой мешок, и ведет к ожидающим у вокзала извозничьим санкам. От мешка стелется на морозе запах грязного белья, мешок быстро седеет. Алеша старается поудобнее усадить солдата в санки, но раненый отстраняется:

— Оставь, сынок, усядусь... Вот так... Сам устранивайся... Замерз, поди, дожидаясь?

От этих слов становится и легко и жутко. Незнакомый, изуродованный войной человек говорит с Алешей без натуги, как с родным. И Алеше тоже хочется ответить тепло, и он не знает, с чего начать.

— Какого полка будете?

Теперь раненый отвечает неохотно:

— Все полки, сынок, одинаки.

Они едут молча, и Алеша испытывает неловкость. Но спутник вдруг вскрикивает:

— О-ей, забыл! Валенок в поезде, сынок, оставил, эка незадача! Может, воротимся, сынок?

Но извозчик не соглашается вернуться, да и поезд наверняка давно ушел. И потом — к чему валенок, раз ноги нет?

— К чему правый тебе? — наставительно повторяет извозчик. — К чему?

Но солдат все вздыхает, вспоминая:

— Валенок-то хорош! Ох, хорош валенок! Как без валенка? В доме своем разве к чему не пригодится? Разве не заслужил? Ногу я, сынок, родине отдал.

Алеша спешит домой — на улицах темно. Дома, в передней, упав на стул, плачет Юлька.

Алеше хочется приподнять Юльку, успокоить (всегда у девочек глаза на мокром месте!), но она отворачивается, не смотрит на Алешу.

— Поди к маме, — говорит она, вдруг переставая всхлипать. — Поди к маме: она плачет — папу моего убили.

Алеша хочет обнять Юльку, успокоить — смысл ее слов не доходит до него, но она отворачивается, почти кричит:

— Не на-до! Не падо!

И Алеша вдруг понимает: дядю Григория убили. Убили. И видит трубу, и воинские эшелоны, и баб, и лошадей, что вышибают доски вагонов, и пушки, и дву-

колки в березовой роще. И дядю Григория. Его усы, поднятые вверх, как будто для того, чтобы закрыть глаза и не видеть.

Идет третий год войны, дни трудно отличить один от другого, разве что чаще приходят поезда, да госпиталь, куда заглядывает Алеша почитать раненым книжки, отнимает больше времени.

В пятой палате, рядом со Степаном Корнеевко, лежит одворукый Семен Семпчук. Другой, что лежит от Степана слева, Иван Дормиденков, часами стоит, недвижим и бледен.

Но если подойти к Дормиденкову и заговорить, он охотно расскажет про войну:

— Так что к югу от Крякова шли мы лезервами, а он у Дунайцу мост разбил, а берег-то высокий-высокий, — он его и занял. Вот нашему полку приказ: лезь, сибиряки, в воду, переходи Дунаец и сшибай его с высоты. Приступом. Ну, кто перешел, кто нет, вода-то — лед! А мы дошли и вышибли все ж: больно лютые были, как па воды вылезли. С их высоты — Тыпобръжи¹, так называется! — значит, выбили. Ну, полегло тут наших без счету. А через три дня руки-ноги, всего скручло — и не разгибаются! Ребята сперва — смеяться! А потом сами видят. И в госпиталь!

— А врач что говорит?

— А врачи с нами не разговаривают.

О врачах Дормиденков не любил распространяться. Черные зрачки Дормиденкова в ржаво-карих ободках. Зрачки — величиной в медную копейку; и весь мир в этих зрачках встает ценою в копейку; все подсчитывается копеечным свипцом пули, зубцом проволоки, сталью штыка. Или водой-льдом, что сделала Дормиденкова калекой.

Руки Дормиденкова скрючены, что печной ухват, и белые, как степы мазанки: пасквозь белые, прозрачны руки, и лишь ногти обведены желтым. Руки пробуют разогнуться, пошевелить пальцами, но пальцы лишь слабо колышутся в воздухе, тугие, как бы облитые густым воском.

¹ Высота Тепгоберже на левом берегу Дуная. (Здесь и ниже примечания автора.)

— А еще в траншею бежим раз на помощь третьей роте, а впереди, смотрю, ход завален телами, перешагнуть боязно — щелкнет. Ну, думаю, смотрю, внизу под трупом, как сквозь лаз, пролезу! Раз, супулся, а рука-то прямо в кровь... Вот грех-то!..

— И что ты все теребишь, падаешься, — удерживает рассказчика Степан Корнеевко. — Что сердце мутишь? Не навоевался? Вылечат — довоюешь! Али боишься, без тебя война кончится?

— А п то, Степа, как думаешь — скоро? — без обиды спрашивает Дормиденков.

— Оставь, браток, оставь, — не отвечая на вопрос, продолжает с одышкой Степан. — Весь скрючон, а все сражешься да смерти солдатское помываешь. Все теребишь! То и бой есть, что вон и ты, хоть скрючон весь, а все войну еще подымаешь. Не очухался, не обмозговал ее, войну-то!

И помолчал:

— Еще будет она, война. Потому как много еще таких, вроде тебя, на свете.

И еще помолчал:

— Я-то хоть свое отвоевал.

У Степана Корнеевко кусок чужого свипца уперся в сердце. Алтухов знает это от сестры: Степан Корнеевко — самый безнадежный среди раненых пятой палаты.

Неделю спустя Степан Корнеевко умер. Умер тихо, без стопа, без мучений. Заснул с вечера, а ночью поманил к себе одноногого, что спел на своей койке и не спал.

— Паня, пособи встать, — сказал Корнеевко.

— Куда тебе, лежи до утра. Куда у ночь пойдешь? — прикрикнул одноногий и проковылял к Степану.

Но Корнеевко хотел встать. Он присел на кровати и стал складывать в кучу халат, полотенце, одеяло, простыню, как будто собирался и впрямь покинуть палату. Халат его был совсем новенький, непошвеный.

— Куда тебе идти, одни кости, — повторил одноногий. — Лежи до утра напролет.

— Надо идти, — указал на дверь Степан.

— Куда у ночь попрешься, лежи до утра!

И Степан послушался одноногого, лег и до утра не встал.

Утром позвал сестру одноногий, сказал ей:

— Унести надо, кончился товарищ, — и утер рукавом глаза.

Сестра вздохнула с облегчением, и тогда Дормиденков вздрогнул:

— Что ты, сестра, обрадовалась: человек ведь помер!

Степан Корнеевко умер с раскрытыми глазами, такой же желтый, как всегда, такой же худой, такой же плоский; рука его выкатилась из-под одеяла, и в плотно сжатом кулаке блестел острием осколок, тот, что вынут был из правого плеча Степана. Пальцы разогнуть и вынуть осколок одноногий не мог.

— Сросься, что ли? — говорил он.

Так, с осколком в руке, который не убил Степана, и похоронили Корнеевко в общей могиле на братском кладбище.

Перед новым, тысяча девятьсот семнадцатым годом директор решил собрать в актовом зале учеников. Речь была хорошо подготовлена, сквозь очки в отличной золотой оправе директор любовался стройными рядами гимназистов.

— *Divide et impera*¹, — говорил директор, — это слова римлян. Но и до наших дней пользуются еще ими некоторые державы, стремящиеся расчленить родственные племена одного народа. Но надо со всей твердостью воли и со всей силой наших знаний ответить им на это: славянская великая ветвь не склонится! Мы знаем, за что боремся, мы знаем, что всем нам дороже жизни, мы знаем, за что отдадим свою кровь до последней капли...

Говоря, директор пристально смотрел на учеников и думал:

«Как хорошо понятны мне все помыслы ваши, ваша юная отвага, благородная преданность вере, царю, отечеству...»

— Преданность вере, царю и отечеству — это, — заканчивая речь, говорил директор, — это непобедимая сила.

Алексей Алтухов стоял в двадцатом ряду и не слушал директора. Рядом стоял Бочаров Петр, за ним Юрий Марков, чуть подалее — Валентин Добермейер.

Никто не слушал директора, каждый думал о своем: Алтухов — о смерти Степана Корнеевко, об Иринке, о том, что Юлька стала заходить реже, и все это

¹ Разделяй и властвуй (лат.).

скачками, вперемешку; Марков — о брате Валерии и о директорской речи — вот уж ни в чем не разбирается человек! Добермейер — о Юльке или вообще ни о чем.

Резкий звук оборвал мысли Алтухова. Зал вздрогнул. Алеша взглянул на Юрку — Марков стоял прямо, руки по швам, но усмешка шевелила губы.

«Конечно, кто-то свистнул! — подумала Алеша. — В самом конце речи директора. Вот это да!»

Классные наставники побежали по рядам, всматриваясь в лица учеников. Грузный, в летах, превосходный латинист, немец по крови, русский по родине, патриот по подданству, директор негодующе поглядывал на ровные ряды своих учеников.

Когда волнение поулеглось, он спросил вкрадчиво:

— Кто и почему свистел? Прошу этого ученика выйти из рядов.

Никто не шевельнулся.

— Так! Никто? Оставить всех на два часа! — сказал директор, не спеша спускаясь с кафедры.

Лишь только его длинная спина скрылась за дверью, в задних рядах, неуловимый в общем движении, кто-то отчетливо и громко крикнул:

— Здорово!

В коридоре, догнав Маркова, Алеша спросил:

— Ты, Юрка?

— Что фантазируешь, ядрена копалка! — возмутился Марков. — Фантазер ты, Алтухов, друг мой любезный!

Юру Маркова Алеша знал хорошо: не захочет — ничего не скажет. Жизнь Юры протекала в стороне, были у него и друзья, но Алтухов не дружил с ними — как-то уж так не получилось. О родителях Марков говорил: «Отец у меня тихоня! Мама — доброта сплошная! Славные старики, жаль, что не знаком с ними. Но ничего, ошибку исправим! Приедешь, с моими познакомлю, летом в ночное на копытах сбегает — люблю!»

«Но все же мог бы сказать мне, что свистнул», — это и сейчас думал Алеша.

Он шел с катка рядом с Ирпикой, нес коньки и думал о Юрке. Снегопад кончился, было тихо, легко поскрипывали на снегу ботинки.

— До чего хорошо, Алешенька! — вдруг сказала Ирпика.

— С тобой всегда хорошо, Иринка!

— Во-первых, не Иринка...

Возражать не было смысла: испортишь прогулку и по пригласит Иринка зайти к ней.

У дома на Ирбитской они остановились. Иринка посмотрела на Алешу, ее глаза затеплились.

«Как лампы!» — подумал Алеша.

Покачалась с каблука на носок:

— Ко мне хочешь? Вернее, к своей Ирке?

— К своей Ирке! — почти зло повторил Алеша.

— Алексей Антонович сердится! — Это было смешно.

В передней улыбалась старушка Богданова, Мария Панкратьевна, мама Иринки, — здесь, в квартире Воловых, знали и любили Алешу, он не мог не почувствовать это, и сразу на душе стало хорошо.

С того дня, как заходила к Алтуховым Ирина Сергеевна, Алеша неузнаваемо вырос, окреп. И казалось Алеше, что прожил он с того памятного дня не три с лишним года, а быть может, пять или десять. И уж если говорить начистоту — радости было не так-то много за эти годы. Даже в доме Ирины Сергеевны.

Но, помимо старшей Иринки, существовала здесь еще — как луна в детстве, что светится, — маленькая Ирка — так называли ее у Воловых. Скоро ей стукнет уже два; и говорит она, и бегают, и смеется, и все называет Алешу Лёмой!

Порой Алеше чудится, что это не Ирка, а Лизонька. Та, что уместилась где-то у ног чугунного ангела, руки которого скрещены на груди. «Сестренка», «разбойница»! И тогда все путается, и Ирка становится дочкой; и когда он смотрит, как деловито разливает старшая Иринка крепкий-прекрепкий чай, и мир, полный строгой нежности, повисает над тихим семейством, Алеше хочется назвать Марию Панкратьевну (п имя-то у нее такое, как у Алешинной мамы!) мамой.

Тогда он отводит взгляд от Иринки: он боится, что она прочтет его мысли.

Но сегодня непокорность одолевает Алешу. Награвшись с маленькой Иркочкой, он проходит из комнаты Марии Панкратьевны к Иринке. Его трясет, он отказывается от чая и ходит из угла в угол по коврику, все узоры которого изучены досконально.

Ирина Сергеевна молчит, не смотрит и все видит.

— Что с тобой сегодня, Алеша, уж не болен ли? — говорит наконец она.

— Да, болен, тобой болен, Иринка! — вдруг вскрикивает Алеша.

— Во-первых, не Иринка. — Розовые пятна проступают на ее щеках. — Не Иринка, а Ирина Сергеевна. А я зову тебя Алешей, и говорим мы друг другу «ты», как старые школьные товарищи. И Вячеслав Мартынович не возражает. И не запрещает тебе заходить к нам. Даже сейчас, когда он на фронте.

— Но ты же не любишь его, не любишь! И зачем вышла ты за него замуж? — кричит Алеша.

— Ты еще мальчик, — Ирина Сергеевна останавливает Алешу, — глупый мальчик, и не знаешь, что говоришь. А я уже старуха, Алеша, я старше тебя на три года. И все это чушь, всё твои выдумки.

— А оп? Он старше тебя на девять! — кричит Алеша. — А мне скоро будет восемнадцать, и я по глупый мальчик. Лермонтов в двадцать четыре года...

Ирина Сергеевна, прищурясь, смотрит на Алешу: ему, пожалуй, можно дать и все девятнадцать!

— Лермонтов в двадцать четыре, — повторяет она, — Шекспир в двадцать два, Данте!.. Сейчас последует аргументация. Перемени тему, Алеша.

— Нет, не переменяю, Иринка! Не переменяю. И я знаю, как проводит твой Вячеслав Мартынович свой отпуск, когда приезжает сюда.

И чем громче кричит Алеша, тем тише говорит Ирина Сергеевна:

— Замолчи, слышишь. И уходи. Сейчас же. И никогда...

И Алеша бежит из комнаты, вниз по лестнице, в ночь, едe накинув шинель и комкая в руках шапку.

Алеша возвращается домой, не замечая кварталов; может быть, и но домой вовсе идет он. Холодно, ни души. Деревья городского сада вдруг вырастают перед ним, и он останавливается. Или это кто-то останавливает Алешу. Он оборачивается и узнает Лиду.

— Ну вот! Словно знала, что тебя встречу. Иду от знакомых, а тут скребет! — Она прикладывает руку к груди. — Ну право!

Алеша смотрит на Смазову: глаза Лиды не лгут,

— Киснелъ? — спрашивает она и улыбается. — Может быть, чем помогу? Пройти-то с тобой можно?

Они идут через сад, как будто путь Алтухова должен проходить именно здесь, по этому саду, и Лида говорит и говорит и смеется. И дергает Алешу за рукав. Но он не слышит, что говорит Лида, и не знает, чему смеется она.

В саду тихо, неправдоподобно тихо. Деревья в снегу и дорожки в снегу; и на душе становится свежее, спокойнее.

— Что же ты к нам никогда не зайдешь? — говорит Лида. — Папа и то спрашивает. Он и твоему дяде Саше говорил.

— Да, да, — невпопад отвечает Алеша.

— Так зайдешь? — улыбается Лида.

— Времени нет, — говорит Алеша.

— Глупый ты человек, Алешка! — Лида вдруг останавливается и протягивает руку. — А вот и твой дом — до встречи!

Она уходит быстро, и Алеша забывает попрощаться. Но оборачиваясь, он открывает дверь и идет вверх по лестнице. Мать спит, Марфы нет дома. Сбросив шинель, проходит Алеша к себе в комнату. Не раздеваясь, не зажигая огня, ложится на кровать. И сразу проваливается в тьму.

Ночью он просыпается как от толчка и видит лицо Смазовой.

«Глупый ты человек, Алешка!» — говорит она.

И, засыпая, Алеша думает:

«А неплохая все же Лида. Может быть, и несправедлив был я, думая о пей плохо».

В тот же вечер Юрка Марков, угрюмый, сидел в накуренной комнате друзей. Флажки на карте, висевшей на стене, выделяли все ту же, неизменно скатывавшуюся с севера на юг линию фронта. Такие карты висели во многих домах, и у Алтуховых, и у Юльки, и люди переставляли на них флажки, отмечая наступления и отступления войск.

Было переговорено обо всем, что волновало пытливые умы собравшихся здесь, в душевной комнате, друзей: о безнадежном положении на фронте, о бездарности верховного командования, об империализме. Только Марков почти не принимал в этом участия.

— Что это с Юркой сегодня? — заметил вдруг кто-то, и сразу все зашумели: — И верно, что это с тобой, Юрка?

Юрий вскочил со стула, подошел к карте. Смотреть по хотелось — карта эта по мере возможности была хорошо изучена Марковым. После Тарновского прорыва немцев, после отхода русских армий к Пинским болотам и Брест-Литовску, в июле минувшего тысяча девятьсот шестидеятого года еще раз заволновалась Россия: то был славный Брусиловский прорыв. И вновь окаменела линия фронта — никто не передвигал больше флажков.

Юрий отвел глаза от карты.

— Плохо! — сказал он поцурясь. — Все плохо, други. И на фронте, и революцией даже не пахнет, и у меня лично — тоже.

— Что лично?

На мгновение Юрке подумалось: «Зачем это я еще со своим лезу!.. Но раз начал?..»

— Вот что, други, — с трудом выговорил он, — брат мой, как знаете, па фронте. И вот, ядрена копалка, сколько месяцев уже нет от него писем!

Друзья задохнули:

— Не расстраивайся, придет письма.

Прошли дни, и Алеша вновь стоял у дома на Ирбитской. Ему открыла Иринка.

— Пришел? А я что сказала?

— Пришел, — повторил Алеша. — «И никогда...»

— Что ж, раз пришел, входи. — И уже в комнате: — Теперь будешь объясняться?

— Не буду, — сказал Алеша.

Было похоже, что Иринка колебалась. Потом она подошла почти вплотную, посмотрела в глаза Алеше.

— Хорошо, — сказала она, и голос ее дрогнул. — Но чтобы больше — никогда.

Февральскую революцию Алексей Алтухов припал посвоему. Ему представлялось: лучшие люди станут у пульта управления страны; идеи справедливости, братства восторжествуют; произойдет конфискация заводов —

у капиталистов, земли — у помещиков (может быть, незначительная денежная компенсация будет им выдана?); улучшится материальное состояние всех слоев населения; воцарятся свобода и равенство.

Если как следует пораздумать, можно, вероятно, прибавить к этим разделам и другие пункты: например — всеобщее образование. Без знаний ничего не сделаешь, а народ безграмотен, темен.

Керепский! Его патетические речи поначалу тоже привлекли к себе внимание Алексея. Но Юрий усмехался:

— Твой Керенский и все его Временное... «беременное бредом», с позволения сказать, правительство... того гляди, покатится с божьей милости к монархии!..

— Почему мой? — возмущался Алексей. — Не я его ставил!

— Ты-то не ставил, по ты восхищен кисейно-лилейными речамп: «Революция! Мир!..» Месяцы идут — ни тебе земли, ни мира — война!

— Нельзя же предать Россию! — Алексей пытался остановить Юрия: — Немцы — наши враги.

— Квасной патриотизм! — вскрикивал Юрий. — Почему думаешь, немецкий солдат не хочет мира? Он так же хочет, как наш. Что даст ему эта бойня? Что сделало для народа это «беременное бредом» с двадцать седьмого февраля?!

Но Алексей и сам замечал, что все, в сущности, оставалось тем же, каким было до Февраля (даже портреты царя не везде были уничтожены, как будто их приберегали для случая). В одном только чувствовалось веяние революции — в митингах: митинговали на каждом перекрестке улиц, в сквере у городского театра, в городском саду, спорили повсюду — в домах, дворах, подворотнях.

Юрий Марков был старше всего на полгода, по умел разобратся во многом.

— Читай газеты! — говорил Юрий. — Ходи на митинги! Слышал вчера, как кричал тот солдат — борода во, до самых глаз!.. «За что воюем? За чей интерес? За буржуев, за капиталистов? А лам их — метлой гнать! Нам нужен мир, земля нужна — вся власть Советам!..» Новая революция, Алеша, парастает, и будет она против буржуев, то есть капиталистов и помещиков!

— Тебе только бы митинговать! — ворчал Алексей. Но до конца разобраться во всем он не мог. Он жил все еще как бы в другом мире, в стороне от событий. Другие чувства и мысли влекли его.

Юрия хорошо было слушать; насмешки его не оскорбляли: казалось, старший разговаривает с младшим. Но и у Юрия наступали порой не то что сомнения, скорее замки. Это замечал Алеша, замечала и Юлька. Одержав легкую победу в споре, он вдруг «съезживался», уходил в себя, как бы смущаясь.

Юлька, как всегда, догадывалась скорее, чем Алеша:

— Трудно все-таки Юрию. Труднее, чем нам с тобой, Алеша.

— Почему трудно? — спрашивал Алексей.

— Потому что пужна поддержка. Все новое, небывалое. Товарищи у него путанки, колеблющиеся — Юрий сам говорил. Нужно, чтобы тот, кому веришь, стоял рядом, сказал: «Правильно, Юрий, думаешь!» Вот если бы брат у него был здесь...

Но от брата у Маркова вестей не было, в разговорах Юрий не упоминал теперь имени брата.

После сдачи экзаменов Марков решил ехать к родителям. О получении высшего образования в «этой безвременности» — так считал Юрий — думать пока не приходилось.

Алтухов соглашался с мнением друга. Жизнь становилась труднее, дорожала, Марфа служила теперь рассыльным в банке, матери помогала мало, ночи напролет просиживала над книгами. Несмотря на поддержку брата, Мария Павловна с трудом сводила концы с концами; целые дни просиживала она теперь за швейной машинкой.

Матери нужно было помочь, это понимал Алеша. К тому же открывалась заманчивая возможность: дядя Саша через знакомых обещал пристроить племянника в канцелярию по народному образованию.

— Надо поднимать просвещение! — говорил Алексей Юльке. — Десятилетия нужны, чтобы подняться простому человеку. Вот почему я охотно пойду в отдел просвещения.

— Что же, хорошо, — посмеивался Юрий. — Только... по твоей теории, настоящая революция совершится так

лет еще через пятьдесят! Если не позже! Нет в тебе чувства времени, Леха.

В начале июля Юрий уехал.

В эти дни у Иринки болела Ирка, а Алеша передко проводил вечера у постели девочки.

Порою Алеше мерещилось теперь: глядит на него Иринка пристальнее, теплее; и движения ее становятся доверчивее, мягче, хотя все оставалось тем же и расстояние между ними, казалось, даже увеличилось.

«Непрочно, все непрочно, — думал он, — появишься пу-стячок, порожек — разобьется».

В один из поздних сентябрьских вечеров, томный сомнениями, Алеша ушел из дома Воловых рано, солгал — матери нездоровится.

— Но ты придешь? — закрывая за ним дверь, спросила Иринка.

И Алеше послышалось, что в голосе ее что-то надломилось.

...Я ушел от Иринки и по дороге домой встретил Смазову. Везет мне на эти встречи! Когда нехорошо, я уже начинаю оглядываться по сторонам: нет ли где Лиды?

Лида сразу учуяла мое плохое настроение. У себя дома налила мне чаю — чай у Смазовых невероятно крепкий и душистый, я нигде не пил такого чая.

Отец Лиды, Афанасий Иванович, сидел за столом, читал газету, хмыкал:

— Пфэ!.. Советы! Советы!.. Всё понимают!.. «На-скрозь зрят!..»

Потом спросил, заметя наше молчание:

— Я не мешаю?.. А то пожалуйста! В гостиную!

Он указал рукой на дверь, и Лида словно обрадовалась:

— Верно, Алеша, пойдем, посидим, поболтаем! И чай принесу.

Она так тепло проговорила это, что я не стал отнекиваться. Комната, куда привела меня Лида, очевидно, и была гостиной. Очень просторная комната, две огромные тахты, одна против другой, покрытые коврами, скатывавшимися на пол, много мягких кресел, пуфов, банкеток, роаяль, цветы на окнах, никаких безделушек, одна картина — портрет молодой женщины, чем-то хорошо знакомый по манере письма,

— Серов! Нравится? — спросила Лидка. — Садись на пашу «лужайку» — так мы зовем эти сооружения. — Она указала на тахту. — Сейчас привезу чай.

Она прикатила маленький чайный столик на колесах, со стеклянным подносом, уставленным чашками и плоскими вазами.

— Ну, пей, пожалуйста, я очень рада, что наконец ты зашел, ты никогда не хотел посмотреть, как мы живем с папой. А папа у меня умница, нет вопроса, на который бы не ответил.

Я посмотрел на Лиду, сядевшую рядом со мной на тахте. «Вот невеста!» — так не раз говорил дядя Сама, посмеиваясь. Лидка была хороша, как-то особенно хороша и проста, непосредственна в этот вечер.

— А почему ты зовешь это «нашей лужайкой»?

— Когда мы собираемся, и напалмимся, и надуримся, и напосмся, и натапцуемся, и устанем, и уже поздно, и идти нигде не хочется, а до утра далеко, мы — вот так! — устраиваемся все на лужайке. Лежим, слушаем, как кто-то что-то рассказывает, и время проходит незаметно, и все довольны.

Я знал, что матери у Лиды нет, и никто не наблюдает здесь за гостями дочери, которую отец обожает. Но сейчас как-то придирчиво глядела она на меня, как бы проверяя мои мысли, и я не отвел глаз — глаза у нее были хорошие, правдивые.

— Ты плохо думаешь обо мне и о всех нас, — сказала она тихо, но твердо. — Нехорошо, Алеша. Мы — лучше.

— Может быть, так, — ответил я.

— А папа у меня умный и, хотя старый, больше верит в молодежь, чем ты, молодой старик!

Она рассмеялась непринужденно, и мне стало легко. — Папа говорит... Да ты привались, возьми подушку, не бойся, устал ведь, вижу. Папа говорит: «Все должно быть просто, естественно в жизни. Натура свое все равно возьмет, а здоровая натура глупостей не наделает. Я тебе, дочка, верю». И знаешь, Алеша, могу поклясться, ни разу я его не подвела. И никто не подвел, ручаюсь, — у нас правило: «Никаких амуров на лужайке. Соседа не обижать!» Не веришь?

— Не знаю.

— А я говорю правду — зря не веришь. — В голосе ее прозвучала обида, и мне стало жаль ее.

— Ну по сердись, — сказал я. — Я не хотел обидеть.

— Вот ты — пай! — вновь засмеялась Лида. — А знаешь, здесь, на лужайке, я часто вспоминаю тебя: ты хороший, Алеша, и если я говорю иногда злые вещи, то это так! Хочешь, скажу еще что-то?

Лежать на тахте после чая было хорошо. Все казалось мне тогда хорошо. Мы лежали и болтали обо всем, что приходило на ум, не подбирая слов. Потом она вдруг замолчала. Может быть, уснула? Я повернул голову и увидел ее лицо совсем близко от моего. Глаза ее были открыты, мягкие, бархатные.

— То, что я скажу тебе, я никому не говорила, Алеша, — верь не верь, как хочешь. Но если бы на лужайке был ты, вот как сейчас...

Что-то подзадоривало меня. Мне хотелось спросить то, что не нужно было спрашивать. Я увидел мгновенно и как бы со стороны всю сложность, всю трудность моих встреч с Ирнкой, вечную настороженность, боязнь оступиться, потерять дружбу, если уж не любовь. А здесь, рядом со мной, лежала красивая наивная женщина с воухом своих, пусть взбалмошных, но жарких желаний.

— А что же было бы тогда? — замечая, как неестественно растягиваю слова, спросил я.

Лида не ответила, мне показалось, не шевельнулась. И я не знаю, как это произошло — я ощутил вдруг все ее существо: и глаза, что были рядом, и губы, и ее грудь, и руки. Дыхание во мне остановилось, я обнял Лиду.

И в то же мгновение услышал — как издалека — знакомый дрогнувший голос, ошибиться в котором не мог: «Но ты придешь?»

В том, другом голосе различал я не то испуг, не то сожаление; быть может — боязнь потерять меня. И я увидел другие глаза, которые никогда не будут принадлежать мне. И услышал, как плачет Ирка в своей кровати: «Дядя Лёма, дядя Лёма!»

Я осторожно высвободился из объятий; мне тяжело было говорить, не выдавая голосом дрожи, которая все сильнее охватывала меня.

— Я знаю, верю тебе, Лида.

Я поднялся и пошел к передней.

Лида догнала меня. Погладила по щеке, пока я одевался, кивнула, но не стала удерживать. Я не мог не заметить, как прекрасно держала она себя, хотя все бунтовало в ней. Проводила до двери, вышла на крыльцо.

Над улицей висела большая желтая луна, но она не светилась. Чуть подморозило. Я помахал рукой, мне вновь стало жаль Лиду, — глаза у нее походили на большие окна в ночи, и окна светились. Но я не мог поступить плаче.

Скрипели деревянные мостки, по которым я шел. Воздуха было много. Дрожь покинула меня сразу. Я не корил себя тем, что впервые испытал сейчас — не с Иринкой: был ли я виноват в том?

«До зны недалеко, — подумал я. — Скорее бы снег. Как будто снег мог изменить что-то в моей жизни.

Как бы поздно ни возвращался домой Алеша, в одном из окоп квартиры Алтуховых всегда теплился свет.

«Значит, все еще не спит Марфа Иннокентьевна», — думал Алеша, глядя на это окно.

Он отворил ключом дверь, стараясь бесшумно подняться по лестнице. У внутренней двери неизменно встречала его Марфа:

— Иди в кухню, чаю попей, полупошлик!

Раздевшись, Алеша охотно пробирался в кухню.

Вот была же еще одна удивительная женщина на его пути — Марфа Потрясова.

«Сколько ей лет? — думал Алеша Алтухов. — И ни класса школы ведь не окончила она, а все понимает, все знает!»

— Все побегуши-поскакуши! — деланно-ворчливо шептала Марфа, боясь разбудить Марию Павловну.

— Не ругайте меня! — просил Алеша. — И так хватает!

— Да знаю, знаю уж, что и так! Садись, ешь!

И в этот раз, возвращаясь от Смазовых, Алеша присел к столу и жадно потянул чай из стакана. Хотелось пить, хотя этот чай был совсем не таким, как у Лиды.

— Свой крест несешь? — вдруг спросила Марфа.

— Я креста не пошу, Марфа Иннокентьевна.

— Вот как? — спросила Марфа. И тут же добавила: — Рассказывай, что нового слышал?

— Корниловский мятеж разгромили солдаты — генералы поднялись против революции.

— А ты понимаешь, Алеша, что такое революция?

— Не знаю!.. А вы, Марфа Иннокентьевна?

Но этого вопроса ставить не следовало. Марфе Иннокентьевне Потрясовой понимать революцию было «положешо». Вскоре после Февральской, проездом в Сибирь, разыскал Марфу солдат, друг покойного Евграфа, чтобы «передать привет, завещанный Евграфом», и «чистую правду» о кончине.

Евграф Потрясов, не раз ходивший в штыковые атаки, не раз испытывавший на себе тяжесть палатов немецкой артиллерии, пал не от руки врага. Евграф Потрясов был расстрелян по приказу начальства, как большевик-агитатор. Кусок свинца получил Евграф от взвода своего полка. Неправильно к этой войне, к «буржуям-грабителям» завещал Евграф жене своей Марфе. Могла ли Марфа не понимать революции!

Но Марфа ничего не говорила Алеше. Тихо смотрела она на этого незаметно возмужавшего юношу, в глазах ее светились ласка и боль, словно угадывали они, эти тихие, твердые глаза, сколько еще положено будет выпести и познать Алеше (с годами ставшему и «ее Алешей»), прежде чем попятить то слово, которое так часто и так легко произносили сейчас многие.

Юлька скучала, с тех пор как уехал Юрий. Как ни трудно было разгадать что-либо в этом отчаянно крепком, затаенном характере, Юлька явно скучала. Нередко в глазах своей двоюродной сестры ловил теперь Алеша вопрос: «Пишем нет от Юрия?»

Письмо от Юрия пришло, когда в воздухе пахло уже прелью листвы. В тот день Юлька с утра пришла к Алтуховым, бродила по комнатам, поглядывала в окна, невпопад отвечала на вопросы Марии Павловны. Было воскресенье.

— А вот идет почтальон! — сказала она вдруг и побежала открывать дверь, — письмо было от Маркова.

«Леха! — писал Юрий. — Собираюсь в Питер, к тете, поразузнать у нее или у товарищей брата о Валерии, слышно, будто приехал, а от него все нет вестей, и старики, понимаешь, шибко переживают. Прости, что не сразу ответил. Как ты с мамой? Как Юлиа? Всем передай от меня привет, и Марфе тоже. И Юлии. Как вернусь, черкну. Жму твою лапшу. Юрий».

— Ну, где же он там узнает о брате! — воскликнула Юлька.

— Может быть, среди товарищей, — сказал Алеша.
— Ехать сейчас в Петроград неспокойно, — заметила Мария Павловна. — Вот Саша рассказывал, правительство меняется, многие недовольны, большевики, говорят, готовят восстание. А Юра горячий.

Вечером зашел дядя Саша. Много курил, прихлебывая густой чай. Юлька, Алеша, Мария Павловна сидели за столом притихшие, все ждали, дядя Саша разговорится.

Поздно зашла в столовую Марфа.

— Здравствуйте, Александр Павлович! Простите, не знала, что зашли, слышу — тихо, думаю, одна Марья Павловна, — с уважением проговорила Марфа.

И дядя Саша вдруг оживился:

— Присаживайтесь, присаживайтесь! Давно не видел вас!

Марфа присела к столу, но от чая отказалась.

— Ну, как у вас в банке? — с усмешкой, но тепло спросил дядя.

— А что — в банке? Как надлежит быть: кто золото имел, тот его и ныне хранит.

— О! — весело воскликнул дядя. — Да вы, Марфа, уж не большевичка ли?

— Где уж нам, — улыбнулась Марфа, — мы люди темные.

Все помолчали немного, хотя никого не смутили слова Марфы; и только дядя Саша несколько раз коротко побарабанил пальцами по столу.

— Люди-то темные. Но видят. Только те, кто наверху сидит, не хотят видеть.

Он еще побарабанил по столу.

— Вчера разговорился с одним слесарем. Брат к нему из Питера приезжал, на Путиловском работает. Зачем приезжал?.. Видно, по каким-то делам, — это слесарь не уточнял, а я не охотник что-либо выпытывать. И вот... все об одном: «Даеть всю власть Советам!..»

Дядя прихлебнул из чашки и с улыбочкой посмотрел на Марфу.

— Ну что, Марфа, будете поднимать восстание?

— Кто это? — переспросила Марфа.

— Как кто? Вы! Большевики!

— А вы их не хайте, — спокойно проговорила Марфа. — И у них спрашивайте.

— Вот я и спрашиваю. А хаять — не хаю.

— В партии не состою, Александр Павлович.

— Чего ж так?

— Мало еще знаю я.

— Ничего, научат, они знают, что делать.

— Саша, ты стал совсем красивым, — сказала Мария Павловна, и было не понять, осуждает она или гордится братом.

— Я тоже в партии не состою, Маруся, так же как Марфа... Но мы ведь не зарекаемся! — Он вновь обращался к Марфе, и тоже было не понять, с усмешкой ли говорит это инженер Орлов или в раздумье.

— Не зарекаюсь, — подтвердила и Марфа.

— А без восстания у них ничего не выйдет. Все это знают. — Теперь дядя Саша уже не усмехался больше. — Никто им власти не отдаст — боятся их потому, что народ идет за ними. Вой и в Советах побеждают! А народа боятся. — Он зло оттепил это слово. — Боятся. И наши правители, и все, кто вкупе с ними.

— И это будет лучше? — спросил Алеша.

— Кому лучше, кому хуже. Буржуазии хуже будет. А большинству, народу? Народу, конечно, лучше. Вот и Марфе тоже будет лучше.

— А я о себе не думаю, — сказала Марфа.

— А это справедливо? — спросил Алеша. — Интеллигенция — цвет народа.

Дядя Саша ответил не сразу.

— Цвет? — переспросил он. — Цвет-то, Алеша, бывает разный.

7

ЮРИН ПИТЕР

Целыми днями бродил Юрий Марков по городу, и дня не хватало. Тетка оказалась в отъезде, гостила у друзей, где-то под Клевом, но соседка все же вручила ему ключ от двери — тем самым квартирный вопрос был решен.

Куда хуже складывалось с поисками Валерия, а только ради этого и приехал сюда Юрий. Впрочем, если говорить начистоту, влекло сюда Маркова и другое: очень уж хотелось Юрию посмотреть, что делают здесь, в столице.

Товарищей брата, немногие адреса которых перед отъездом сообщил Юрию отец, Марков на дому не застал: кто был в армии, кто невесть где.

Петроград кипел, все ждало *чего-то*. Один — прихода казачьих войск; другие — грабежей; большинство — восстания большевиков. Отряды вооруженных красногвардейцев появлялись повсюду; проезжали казачьи патрули; на заводских дворах окраин, где не раз побывал Марков, обучались военному делу рабочие. Тротуары проспектов были загромождены людьми, все спешили, толкались, говорили: «Советы стали большевистскими!..»; «Вот увидите, они поднимут восстание!..»; «Они такое устроят!..»

И, попирая слухи, уверенно звучало повсюду:

«Вся власть Советам!»

Юрий вслушивался в голоса воззваний. Все авало к борьбе: кризис настал! Но проходили дни, а восстания не было. И Юрию представлялось вдруг, что ничего он толком не знает, ни в чем не разбирается! ЦИК? За что стоит сейчас ЦИК, на чьей стороне — большевиков или меньшевиков и эсеров? И как же это принять ему, Юрию Маркову, в новой революции участие?

«Эх, нет Валерия рядом — все бы он по местам в моей башке расставил, подсказал — он все знает!» — выдыхал по себе Юрий, шагая по улицам.

Все остальное было в конечном счете хорошо. Этакое видишь! Стоишь, можно сказать, на грани редкостного явления: кризис настал!

Дни смешались, смешивались, проносились: Юрий Марков не мог уже их разделить, отнять один от другого. Было ли то двадцатого октября, когда читал он впервые этот № 30 «Рабочего пути», эту лепинскую статью? Или двадцать первого?.. Когда, в какой день кричало со ступеней контрреволюционное «Общее дело», своим крупным шрифтом наводняя газетные листы: «Граждане! Спасайте Россию!..» (Где-то в малолюдном переулке Юрий яростно срывал ненавистные листы.) Не вчера ли под арку Главного штаба проскакала к Зимнему батарея юнкеров? А может быть, это видел Марков третьего дня или четвертого?..

Улицы несли его по взбудораженному городу, и вокруг по-прежнему шумело, ползло: «В Зимнем — юнкера!..»; «Женский батальон смерти!..»; «У красных — броневики!..»

На Литейном проспекте Марков купил брошюру: «Удержат ли большевики государственную власть?» Ночью он читал ее не отрываясь. Какими словами мог бы он,

Юрий Марков, ответить на этот вопрос? Конечно, только словами того, кто писал эту брошюру. Они представлялись ему поэмой, песней. Он повторял их по памяти, вслух и про себя. Как строки стихов:

«Не найдется такой силы па земле,
Которая помешала бы большевикам...
Удержатъ ее до победы
Всемирной соцпалистической революции...»

Наступало новое утро. Юрий шел по Большому проспекту. Васильевский остров был пронзан сырым ветром. Люди перебегали с угла на угол, останавливались у фонарных столбов, киосков, выспрашивали, высказывали то, что считали для себя истинным, спорили. Они хотели знать последнюю новость: каковы намерения правительства, солдат, большевиков? Каких событий ждать? В воздухе перекликались, сталкивались привычные слова: «Эсеры... Демагогия... Учредительное собрание... Советы... Большевики... Восстание!..» Слова имели свой круговорот, они возвещали о неизбежном, — год назад этих слов не было, не существовало.

Трамвай медленно вез Маркова, звенел, тормозил. Через мост Юрий шел пешком. Невский расплывался рекой, разлив ее выходил за берега тротуаров. На углу Морской мужчина в бекеше возглашал:

— И-де-ет Крон-штадт! Крон-штадт!..

Проезжали казачьи патрули, лошади натыкались на прохожих, шарахались, — казаки выглядели тускло, былого ухарства как не бывало.

За мостом через Мойку какой-то паренек ехидно подмигнул Маркову:

— Броневики у большевиков, братец! Не то времечко — народ лошадами топтать!

Он шел рядом, поглядывая по сторонам. У Казанского собора солдаты останавливали легковые автомобили, высаживали пассажиров, угощали машины к Зимнему дворцу. Кому подчинялись эти солдаты — никто не знал, вступать в разговор они не желали, отмахивались.

— Мракобесы! — сказал вдруг паренек.

— Чьи они? — спросил Юрий, но паренек не ответил. Он свернул к Невского.

— Может, но по пути — тогда валяй! — сказал паренек. — Мне к типографии. Опечатали на рассвете.. Юнкерей!..

У типографии тоже было много людей. В этой типографии, как узнал Марков, печатались большевистские газеты, значит, о ней говорил паренек. Но паренька не было уже рядом.

Юрий Марков стоял у опечатанных дверей, смотрел по сторонам. Вот из-за угла дома выплыли броневики. Красной краской горели на них намалеванные буквы: «РСДРП», «РСД»; примчались грузовики; солдаты выбравшись из машин, оцепили здание, стали срывать печати.

— Литовский полк! Смутьяны! — сказал господин, стоявший рядом, меховой воротник на его пальто хохрился.

К вечеру Юрий добрал до Смольного.

На пути повсюду дымилась костры. С запада несло ветром, красногвардейцы грелись у костров, пели «Варшавянку», «Интернационал». Пели с душой. Мирно трещали поленья: восстанием не пахло.

Но когда Марков дошел до площади и увидел пылающие огнем окна Смольного, и пулеметы с боевыми лентами над ступенями каменной лестницы, и насупившиеся броневики, моторы которых все время работали, и толпы народа у площади — так же, как он, Юрий, глазевшие на столь необычное; когда услышал выхлопы машин, то и дело подъезжавших к главному подъезду, и хлопки отдаленных ружейных выстрелов в городской ночи, и за спиной смех: «Юнкера мосты разводить собрались — кукиш выкусят!»; когда вдохнул в себя вместе с сырм морским ветром скрытое беспокойство и собранность скопившихся здесь людей, — тогда Юрий понял вдруг, что восстание началось.

Событий не было видно, но они совершались. Сомпваться в том Юрий не мог. Его охватила дрожь: «Может быть, так бывает перед боем?» С шумом уносились в улицы грузовики, красногвардейцы на них выглядели стальными. Прохожие останавливались, смотрели им вслед затаив дыхание.

Проходили часы. Ноги мерзли, глаза начинали слепеть: ничто не происходило! У ближнего костра уже не пели «Варшавянку», и Марков решил попытать счастья, заговорить с кем-нибудь о своем. Он присмотрелся к красногвардейцам — воп один скручивает сигарку. Ко-

гда человек закурит, лучше всего и пачать разговор. И Юрий подошел, выждал:

— А как записаться в отряд?

— А на своем заводе.

— А если не работаешь?

— Ты кто ж будешь — профессор?

— Нет, — сказал Юрий. — Я такой же, как ты. — Он не знал, что сказать еще, и, к стыду своему, добавил: — У меня брат большевик на фронте. Значит, восстание тоже мое дело!

Не следовало хвастаться чужими заслугами. Это паверьяка пошмал красногвардеец; но он встал от костра, приобнял Юрия, чуть отвел в сторону. Сказал приглушенно, между затыжками:

— Верю. Только, парепь, про то говорить пока подожди! Спать иди, поздно. Еще ко всему доспеешь.

Юрию стало хорошо от этих простых слов.

«Спать так спать, и то глаза слипаются», — подумал он и зашагал на свою Петроградскую.

В то утро Юрий проспнулся поздно, болела голова, не хотелось двигаться. Он лежал на диване, укрытый по горло теплым теткинм одеялом, когда ключ в двери звякнул и кто-то вошел.

«Соседка!» — опасливо подумал Юрий.

— А я вам газету припесла, — с переворотом вас!

— Как с переворотом? — спросил Юрий, приподнямаясь.

— Проспали, молодой человек! — протягивая газету, насмехалась соседка. — Свою революцию, большевицкую, проспали!

Юрий взял газету — черным по белому в пей стояло: «...Государственная власть перешла в руки... Военно-революционного комитета... Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян!»

«Проспал! Черт побери, все проспал, — думал Юрий. — Революция! Восстание! Все!..»

Никуда не хотелось идти — все равно ничего уже не увидишь, ни в чем не примешь участия! До вечера он провалялся на диване. За окнами темнело, когда он вышел из дому.

Теперь с неудержимой силой влекло его к центру города. Посмотреть на Зимний дворец (уже не царский!), на Невский (паверное, весь в огнях — иллюминация!), на Смольный! «Аврора» стояла у Николаевского моста — орудия ее, как показалось Маркову, были направлены на Зимний. Заметно темнело, улицы были нелюды, на ступенях Исаакия, словно хоронясь между колонн, стояли военные.

Юрий прислушался — за спиной шептались.

— Все же... В Зимнем правительство еще держится..

— Что там держится?! Все большевичками занято — вокзалы, телеграф... Почтамт! Казармы!.. Все войско на их стороне...

— Но Зимний!.. Казаки, юнкера там!..

— Час всего Зимнему твоему остался!

Кто-то сплюнул смачво, прокашлялся:

— Подохло, считай, твое Временное!..

«Но власть-то перешла в руки Военно-революционного! — подумал Юрий. — Может, переговоры ведут, чтобы сдались? Все одно — крышка буржуям!..»

Во мгле Невского он увидел, как мерно покачивается колонна, поблескивают штыки винтовок, — бесшумно к площади продвигался красногвардейский отряд. И вдруг Юрий заметил еще, как из-за углов улиц, от подворотен, от подъездов бегут к этой площади вооруженные люди.

И Юрий побежал тоже.

«Нет, не все еще пропустил, не все проспал! — Веселость и дрожь входили в него одновременно. — Только бы догнать, не отстать!.. Только бы вместе!..» Юрий бежал. «Вот и площадь! Вот и отряд, штыки винтовок, бушлаты!.. Вот и догнал!..» Люди спешили, было скользко, безмолвно, сыро, ноги у Юрия разъезжались... «Вот и вместе! Теперь только...» И не додумал... Сразу затрещало кругом, горячий стрекот прорезал от дворца воздух, взорвал тишину. Засвистало.

— Ложись! — кричали на Юрия, и Юрий повял: стреляют.

Рядом с ним лежали бойцы на мокрой, грязной мостовой. Лежать было холодно. Короткие вспышки разрывали мутную темноту.

Когда Марков поглядел по сторонам, он не увидел ни одного зажженного фонаря: площадь и дворец показались ему аспидно-черными.

«Вот тебе и праздничная иллюминация! Карманьо-ла! — думал Юрий; повизгивали пули; он утешал себя, бодрился: — Ничего, лежать можно, по задевают. И главное — не один ты!..»

Страх не угнетал, пожалуй — страха и не существовало: было непривычно, любопытно (как всегда, когда надо рискнуть!). Но сколько же лежать в этой сырости?!

Слух улавливал каждый шорох. Вот, словно из-под земли, потянулся сдержанный голос:

— Баррикады перед дворцом. Юнкера, батальон смерти. Прорвать надо. Проверить затворы, гранаты переложить в карманы.

И резко:

— Поднимайсь!..

Все бежали, и Юрий бежал тоже, стараясь не отстать, к столбу с ангелом, к ограде, к баррикадам. Все колыхалось. Треск винтовок и пулеметные трели заглушали слова команды. Люди бежали, падали, натыкались на раненых, и Юрий тоже бежал, паткнулся, упал.

— Ложись!..

Он лежал подле красногвардейца, кепка валялась рядом, что-то алое, густое стекало с обнаженной головы.

«Кровь!» — понял Юрий, и во рту стало солено, заму-твило.

— Жив? — Он потряс руку, что лежала рядом и все не выпускала винтовки. — Жив?

Человек не отозвался. Осторожно высвободив винтовку из мертвой руки, Юрий услышал как в полусне:

— Вплотную подойти к баррикадам!.. Прорвать!..

Огонь стих. Все лежало не шевелясь, словно боясь оторваться от земли. От реки загрохотало, и Юрий подумал: «Что это еще?» — и услышал команду:

— Впе-ре-ед!.. Впе-ре-ед!

Площадь дрогнула, приподнялась, изогнулась. Топали сапоги, бил пулемет. Юрию казалось, бежит не он — площадь несет его к дворцу, к пулемету. И пулемет не остановить, и Юрию не остановиться, хоть задохнись, и только топот сапог, и рядом бушлаты, куртки, кепки, винтовки, согнутые спины, плечи — упасть негде!

Но огонь приутихал. Явно приутихал, стреляли реже. Бушлаты карабкались уже по плахам и чуркам, сложен-ным перед дворцом, скользили, обрывались, падали,

лезли, словно крюками цепляясь за мокрое, скользкое дерево, бросали сверху гранаты, прыгали в черноту, псечезали. И новые бушлаты, кепки, куртки, бескозырки карабкались на штабеля дров. И Юрий вдруг увидел, что стоит он уже по ту сторону, за баррикадой, размахивая винтовкой.

Кто помог ему перебраться через эти плахи, он не знал: он бежал уже по мрамору лестницы. Он не знал, как добежал сюда, как уцелел, как не отстал, но это не имело сейчас никакого значения.

— Зпмний! Дворец! — закричал он вдруг, осозная, где он сейчас и что с ним. — Взаял!.. Товарищи!.. Дворец!..

Задыхаясь, он посмотрел на друзей, бежавших с ним рядом. Их было много. Они тоже задыхались, так же как он, смеялись, кричали; и, так же как он, размахивали винтовками.

Он посмотрел наверх. На площадке второго этажа, сорвав с головы шляпу, человек широко разводил руками: — Товарищи! Временное правительство арестовано! Да здравствуют моряки! Да здравствуют красногвардейцы и солдаты...

Юрий тоже сорвал с себя кепку, отер пот с лица. Кто-то обнимал его, и он обнимал кого-то и кричал, пожалуй и сам не сознавая, что кричит.

Двадцать шестого октября они стояли в Смольном. В этот вечер заканчивал работу Второй Всероссийский съезд — Юрий Марков все же пробрался на порог зала. Смерч рукоплесканий потряс Юрия. Он глядел на людей, стремясь угадать, кому рукоплещут.

Первое, что увидел Юрий, была голова человека. Повторенная на стене невероятно крупным очертанием, она была также невероятно подвижна. И оттого и голова человека, стоявшего у трибуны, и руки его, и глаза, и лицо — все, показалось Юрию, было огромно. И самый голос, когда человек заговорил, тоже, казалось, был огромен.

Никогда — ни в жизни, ни на портретах — Марков не видел этого человека. Но он сразу понял, что таким только и мог быть Ленин.

И Юрий заорал во всю глотку, так же как кричали теперь соседи по залу, и забил в ладоши:

— Ленин! Ленин! Ленин!..

Казалось, обвалится потолок. Но человек у трибуны сделал неумовимо простое движение, и зал умолк.

— Вопрос о мире, — сказал он, — есть жгучий вопрос, большой вопрос современности...

8

ЕЩЕ РАЗ ЮРИИ ПИТЕР

На первых порах Юрию Маркову все представлялось не столь уж сложным. Дело у революцгги оказалось не впропорот. Каждому доставалось свое. В своей десятке Юрий ходил на обыскы — выявлять сокрытое оружие, конфисковывать припрятанное буржуями золото, драгоценности — молодой республике нужны большие средства. Надвигался голод, разруха, повсюду возникал саботаж, скрытое противодействие.

Шла уже вторая неделя с того памятного вечера, когда в последний раз покинул тетушкину квартиру Юрий. Следовало бы, конечно, подать о себе весть, навестить соседку. Наверное, волнуется — жив ли молодой человек? Но Юрий решил побывать сперва на вокзале, разыскать поезд, уходящий на Урал, отыскать попутчика — пусть он и отпустит письмо родителям (я стыду сказать — первое из Петрограда!) в почтовый ящик Верецагино.

В этот субботний вечер он отпрашился у начальника, покинул Смольный. В кармане пиджака лежал теперь у Маркова пропуск, выписанный по всем правилам: «Дано сие... на право свободного входа в Смольный институт».

Злобило. С вечера ломило голову, но Юрий отмахивался: пустяк, пройдет!

Вот и вокзал. Дней десять назад здесь и разгружал он вместе с товарищами залы от сыпнотифозных. Много солдат лежало там на скамьях и полу, грязных вшивых. Бредили. Санитаров не доставало.

«Где это прохватило меня?» — думал Юрий, подходя к вокзальным дверям.

Накануне ему повезло: «Интуиция, ядрена копалка! Надо ж было, словно почувствовал вмиг!»

В тот вечер Прохорову, шустрому, щетинистому, приказано было проверить еще одну квартирку. На звонок открыли сразу. Девушка-красавица выглядела удивленной:

— Que voulez vous? ¹

— Смотри, учепая мамзель — экономка, впадты!

— Et bien? ²

Выручил Юрий, собрал в уме крохи познаний, полученных на уроках французского языка (мысленно ругнув себя за былое нерадение):

— Мосье, лё полковник... Колóппель!

Поняла! Провела в комнату. Да, это была квартирка, па редкость роскошная, мебель, картины, ковры.

Обыск произвели аккуратно: полковник, хозяин квартиры, предлагал свои услуги Советской власти. Складов оружия не обнаружил, но два кольца все же нашли в ящичке большого письменного стола. Этих пистолетов наверняка не нашли бы, если бы не «мамзель»: она и указала на ящик, все шепча по-французски:

— Ces canailles!.. C-e-e-s can-nailles!.. ³

Полковник спокойно поглядел на предъявленные ему пистолеты, сказал приветливо:

— Вот уж не помню. Запомятовал. Их ведь у меня столько было. Я любитель оружия. Сбирал. Уж простите. Ради бога, смотрите всюду, может быть, где-нибудь еще что валяется.

Прохоров приказал слова осмотреть комнаты тщательно. Юрий оставался теперь в столовой.

— У господ офицеров побудь, — пошутил Прохоров.

С Юрием остался Грошев, совсем молоденький слесарь; он сидел в удобном кресле, не выпуская из руки винтовки; сидел с явным удовольствием — кресло и столовая были «на зависть ладные»; сидел и потягивал козью ножку, поглядывая, как бы искры не осыпались на персидский ковер.

— А мамзель сопровождать не будет? — осведомился Прохоров, уходя из столовой.

— Non! ⁴ — почти дерзко заявила ффранцуженка.

— Как угодно, можете и один, — любезно сказал полковник.

¹ Что вам угодно? (франц.)

² Ну и что же? (франц.)

³ Эти негодяи! (франц.)

⁴ Нет! (франц.)

Юрий тоже сел в кресло, оглядывая комнату и не выпуская из вида хозяйню, беседовавшего с гостями у стола.

«Мамзель» грациозно опустилась чуть в стороне на диван, прошептала не то вслед ушедшим на обыск красногвардейцам, не то просто по привычке все те же, единственно понятные Юрию слова: «Ces canailles!» Теперь она заметно усилила «п».

«Что-нибудь знает! — подумал Марков. — Или насолили они ей чем-то, эти офицеры? Девушка-то красивая!»

И вдруг что-то показалось Юрию нечистым во всем, что совершалось здесь за этим столом, в этой роскошной комнате. И слова французенки звучали назойливо, и подозрительным выглядело подкупающее спокойствие полковника.

Юрий пригляделся. Люди, мирно настроенные, отдыхали за беседой, собирались пить кофе. Полковнику лет сорок пять, один из офицеров — штабс-капитан — чуть старше, поручику-щеголю — двадцать пять, не больше.

Все, очевидно, из «высшего общества». Держат себя с достоинством, не кичатся, просты. Говорят по-французски, по-русски, переходят с языка на язык непринужденно, как бы шутя. С красногвардейцами льстиво не заговаривают. Может быть, и верно, они не выступили?

Но вот опять эти чуть слышные — одним губами: «Ces canailles!» И неожиданное открытие делает для себя Марков: «А ведь не пьют кофе господа офицеры!»

На столе чашки, вазочка с сахаром, кофейник. Большущий мельхиоровый кофейник! Остыл, что ли? А в чашках?..

Юрий, как бы разминаясь, рассматривая картины на стенах, обходит комнату. Но глаза его рыщут незаметно по столу. В чашках пусто. Отпили кофе? Не похоже: чашки чисты. Но почему же не пьют? Стесняются? А болтать не стесняются. Болтают вовсю, непринужденно, как будто обыск не идет вовсе в соседних комнатах. А уж Прохоров все перевернет теперь, будьте спокойны!

Нет, не беспокоятся! Но не пьют. А уж если не беспокоятся, то самое время, между разговором, пить кофе.

«Спектакль! — восклицает про себя Марков. — И кофейник — реквизит! Сплошной спектакль!»

И замечает: такой же кофейник среди хрусталия и фарфора стоит за стеклом буфета. Видимо, не один пистолетники коллекционирует полковничек!

Юрию очень хочется потрогать кофейник... «Ces sa-
nailles!..» Но приказ есть приказ: без хамежа!

И вот возвращаются братки с Прохоровым.

— Так, полковник! — усмехается Прохоров. — Чисто. Или хорошо припрятал?.. Ну-ну, обижать не будем, а эти пистолетники заборем. И еще позвольте.

Офицеры тотчас встают, дают обыскать себя. Нет, оружие при них не паходится. Ничего подозрительного, все в порядке.

— Ладно, поверим, — говорит Прохоров, — поверим, что запомитовали, собирали. Так сказать, себе для музея! Счастливо — и не саботировать!

Он оборачивается к бойцам, машет рукой: «Пошли, братцы!» Но Марков вдруг говорит озоровато:

— Постой, товарищ начальник!

Он быстро касается рукой кофейника и замечает, как забавно подергивается лицо у «мамзели»: кофейник холоден и тяжел.

— Постойте, друзья! — голос Маркова становится звонче, кожу у губ и носа прорезают быстро подергивающиеся морщинки, кажется, Марков расхохочется сейчас. — Надо же за господами офицерами малость поухаживать! А то кофейку из-за нас даже не попили!

Юрий Марков решительно приподымает кофейник и, но слушая Прохорова: «Но, по, не балуй, браток!» — опрокидывается над столом.

Крышка кофейника отскакивает, и на белую накрашенную скатерть изобильно сыпятся перстни, жемчужные ожерелья, бриллианты, золото, броши, цепи.

— Пейте кофеек, господа офицеры! — кричит Марков.

Бросаясь к буфету, он пытается распахнуть дверцы, но они не поддаются. Он бьет с размаху прикладом по стеклу, тащит тяжелый кофейник к онемевшим офицерам.

— Пейте кофеек!..

И слышит с дивана уже не сдерживаемое:

— Ces can-n-n-ailles!..

Но все уплывает, уплывает, меркнет. Юрий замечает, что стоит на каменной площадке, привалясь плечом к каменной стене.

Голову ломит. Зачем пришел он к этой стене? Он поднимает голову, читает на стекле двери: «Вход».

Люди потоком текут через этот «Вход».

«Ну да, это вокзал, — думает Юрий, — найду поезд и отдам ключ. Пусть ро-ди-те-ли порадуются!»

Людской поток несет Маркова к входной двери. Здесь, внутри вокзала, тепло,людно. Сотни, тысячи солдат, обсрапых, засаленных, грязных, с винтовками и без винтовок, с мешками и без мешков, перепоясанных и в растопыренных шинелях без ремней, сотни бород, тысячи горячих глаз, ругань, толчел.

Солдаты облепляют лавки, обтекают залы, наводняют платформы и снова тащат свои мешки под кровлю.

«Бессонница! — думает Юрий. — У всех бессонница! Сейчас лягу и высплюсь».

И вновь вспоминает: ключ! Надо вернуть. Родители порадуются. Он нащупывает в кармане шинели конверт.

— Не ключ, — говорит он громко, потому что никто не слушает его, — не ключ, а письмо ро-ди-те-лям!

Жарко. Он бродит по платформам, ищет попутчика, ищет поезд, который пойдет на восток. Но никто ничего не знает, никто ничего не знает. Кофейники! *Ces sap-p-ailles!* Мамзель! Может быть, поезда идут теперь только в Вест-Индию? Возят вино в смоляных бочках, — вино зовется мадера. Кто говорил об этом? Полковничек!

Первый класс еще сохранил свою вывеску, пытается удержать былую чванливость, хоть скатерти давно порыжели. Народу здесь меньше.

В углу лежит на полу богатырь. Папаха, смятая, под головой, лицо красное, словно посыпанное снежком. Марков наклоняется, смотрит: в волосах — вши.

«Нужно отдать кофейники, найти попутчика, — думает Юрий, — родители порадуются. Весточка! Но где поезд? Как разыскать поезд?»

Он поднимается — богатыря трогать не надо. Он стремится собрать осколки расколовшейся мысли, и на мгновение осознает ясно: письмо нужно послать в Верещагино.

Он вновь идет к поездам, к платформам. Но платформы далеко. Перед ним — залы. Их много — из одной в другую проходит Юрий, из одной в другую. И вот опять первый класс, по богатыря нет.

Знобит. Немножечко бы кофейку. Пожалуйста, по-двиньте кофейник. Никак, Леха сидит, с угла пятый. Раз два, трп...

Юрий подходит, но это не Леха, этот кричит:

- Куда ты, сыпной?
- И Юрий падаёт, просит:
- Подвignite кофейники!

Юрий Марков не помнил, как он очутился и сколько дней или недель пролежал в сыпнотифозном бараке.

Когда он открыл глаза, под потолком, серым, пудным, он увидел глаза Юльки. Они были ясные, зелёные, чуть коричневатые.

Услышал слова — приглушённые — губы, казалось, не разомкнулись:

— Ну, ягодка, выкрутился! Думала, отдашь богу душу.

«Ягодка» и «выкрутился» были тёплыми. Но голос не походил на голос Юльки. Юрий закрыл глаза. Кругом стонали, метались, бредили люди.

Прошли годы — быть может, десятилетия. Перед глазами Юрия вновь повисали в воздухе Юлькины глаза, ясные, зелёные.

Но это была не Юлька, и Юрий промямлил что-то и сам не услышал своего голоса. А она поняла. Губы её разомкнулись — под ними дрожала удивительно белая полоска зубов.

— Манечкой зови.

— Манечка? — повторил Юрий.

Кругом стонали, метались, бредили.

И ещё прошли — вероятно, годы. Он лежал, не в силах поднять руки, в Манечка терпеливо кормила его ложкой, приговаривала:

— Ешь, ешь, помрешь иначе, кожа да кости. Где тут на таком питании поправиться, рацион нужен, а где он?

Потом спросила:

— Как звать тебя?

— Юра, — прошептал Марков.

— Значит, Юрий! — вздохнула Манечка.

Кругом стонали, вскрикивали, бредили, или в атаку, плакали, проклинали. Юрий закрыл глаза.

Через неделю — Юрий уже научился считать дни — он заметил, что Манечка изменилась. Подходила редко, не присаживалась на койку, не улыбалась. А он, Юрий Марков, не мог теперь жить без этого.

Силы покидали Юрия. Он закрывал глаза, видел кофейники, полковник размножился: десять, двадцать, тридцать одинаковых полковников сидело перед Марковым. Кто-то тряс его за руку.

Манечка сидела теперь на его койке, держала за руку.
— Что, плохо тебе? — спрашивала она.

Потом Юрий вновь потерял счет дням.

Но однажды сон покинул его. Манечка подошла сразу. Не присела, только наклонилась, сказала строго, словно прочла приказ:

— Обо всем договорилась с начальством. Завтра увезу тебя к маме. Мама и меня выходила после тифа. И тебя выходит. Молчи и не возражай.

Так попал Юрий Марков в крохотную квартирку Манечки. Так выходили и вернули его к жизни Манечка и Манечкина мама. Так стала Манечка для Юрия Маркова первой женщиной, которую познал он.

Лишь только Марков поднялся на ноги, он пошел в Смольный. Манечка провожала, поддерживала под руку — путь оказался трудным.

«Сейчас Прохорова увижу, Грошева, ребят!» — думал Юрий.

Но отряда, в который входила десятка Прохорова, в Смольном уже не было. Марков долго ходил по коридорам, пока не столкнулся случайно с Грошевым. Но Грошев не сразу признал Юрия.

— Милбой! — протянул наконец Грошев. — Так ты Марков?! Болеет, что ли?

— Тиф у меня был, — сказал Юрий. — Мне Прохорова бы разыскать.

— Не разыщешь, он по другим заданиям. Теперь здесь из наших, кроме меня, никого. Пойдем...

Он назвал фамилию, которую Юрий не разобрал, и потащил Маркова в одну из комнат. За столом несколько человек спорило.

— Тебе что? — спросил один из них, поглядев на Маркова.

— В свой отряд хочу, — сказал Юрий, протягивая пропуск.

Но человек не посмотрел на пропуск.

— Из тифозного? — спросил он и тут же добавил: — Отдыхать тебе падо.

— Это и есть начальник, — прошептал Юрию на ухо Грошев. — Проси хорошенько.

— Я уже выздоровел, — проговорил Юрий.

— Вижу! — усмехнулся начальник.

— Он тот самый! — вдруг сказал Грошев. — Про кофейники слышали? Это он и есть, Марков.

Начальник со вниманием поглядел на Маркова, взял пропуск.

— Так! — сказал он и помолчал. — Хорошо!

И обернувшись к соседу, очевидно к секретарю:

— Заготовь, Петя, Маркову удостоверение: «Выдано спе красногвардейцу Маркову Юрию... ну, по форме... уволен в месячный... пет, в двухмесячный отпуск...»

Спросил Юрия:

— Питерский?

— Из-под Верещагина, Пермской губернии, — сказал Юрий, — только зачем же в отпуск?

— Так! Пиши, Петя: в Верещагино, Пермской, по месту жительства, как перепешший...

— Вы б за кофейники отметили, — прервал его Грошев, — как проявивший себя...

— Верно, напиши, Петя, после «красногвардейцу» — «как проявивший себя на работе». И дальше — «после перенесенного тифу». Ясно?

Минуты через три Марков держал уже в руке удостоверение. Начальник просьб Юрия больше не слушал, сам проводил до двери.

— Не тревожь себя, товарищ Марков, — сказал он. — Еще и на тебя дела хватит, достанется!

У ступеней Смольного ждала Манечка.

— Ковчился мой Питер, домой отправляют! — Юрий с тревогой глядел на Манечку. — Вот что понаписали!

Манечка быстро прочла бумажку.

— Все верно! — Она явно старалась казаться веселой. — Все как надо, Юрий. Ведь еле ходишь! А я приеду в твоё Верещагино, не сомневайся. Там ведь и с продуктами лучше, окрепнешь...

— Приедешь? — переспросил Юрий.

Респицы у Манечки дрогнули.

— В такое время не до лжи, — строго проговорила она и взяла Юрия под руку.

И вот опять вокзал. Купе набито людьми до отказа. Место Юрия у окна, за окном бледное солнце и Манечка.

— Так ты пиши! — говорит она, утирая кулачком слезы.

— Конечно! И ты сразу, сегодня же, как приедешь домой: И приезжай! Как только мама поправится: вот простудилась ведь не вовремя. Бери маму и приезжай!

— Конечно! — говорит Манечка и машет.

Поезд движется медленно.

— Ты знаешь?.. — спрашивает Юрий, высовываясь из окна: ему надо еще спросить Манечку о многом.

— Знаю, знаю! — машет, бежит за поездом Манечка, отстает.

Холод забирается под шинель. Кто-то закрывает окно, но щель остается, дует. Дама в плюшевом пальто в рисунок, в модной шляпе косо поглядывает на соседей.

— Ах, солдатик, — говорит она вдруг Юрию, — хорошо, что вы мой сосед. Видать, из интеллигенция, — с интеллигентными приятнее, хоть вы тоже солдатик!

— Нонче певажность какая и с мужиком переспать, — хрипит с полки счастливый обладатель спального места. — Лазь сюда, хоть выспитесь!

Дама не слушает мужицкую воркотню.

— Я привыкла к обществу, — говорит дама. — Высшему, понимаете? Мне сам Георг Бельгийский — он разрешал его так звать! — «Поедьте, говорит, со мною в Ниццу!..» Ну, что вы, я не такого воспитания, разве я позволю!

— Брось молоты! — ворчит с полки солдат. — Георг! Во пустемеля!

Но дама не унимается.

— Ах, Георг, какой он мужчина! Понимаете, до последней точки! Интеллектуал... Но я не уступила.

«Вот еще наказание: сумасшедшая или дура?» — думает Юрий.

Мысли его заняты Манечкой: идет сейчас домой и плачет. Но ведь придет, придет, и хорошо будет, все хорошо будет!

Паровоз с силой дергает состав, убыстряя ход. Постройки, пакгаузы, порожняк уходят назад, к Питеру. Юрий смотрит в окно.

«Ничего, силы вернутся, — думает он, — придет ко мне Манечка, все направится! Время-то сейчас такое, что и не объяснишь даже, — чудесное время!..»

И от этих чувств, от повизны, что встает за каждым поворотом, за каждым днем, хочется пить.

Но сон одолевает Юрия, голова его клонится к плюшу в рисунок, веки сжимаются.

«Ягодка! Выкрутился!» — говорит он себе и видит Манечку,

часть вторая
ЧЕРНОЕ — КРАСНОЕ

1

ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ ВОСЕМНАДЦАТЫЙ

Юрий Марков работал теперь в городском комитете комсомола. Он не переставал твердить:

— Есть только два полюса: крупная буржуазия (сила у нас низвергнутая) и пролетариат (сила, победившая у нас). Все, что болтается между ними, будет раздавлено революцией. Пойми это, тупая голова Леха! Наша дряхленькая интеллигенция — сущее барахло, хлюпки и бледная немочь!

— Но Ленин — интеллигент! — возражал Алеша. — Ты сам столько рассказывал о нем.

— Ленин — вождь. Творят революцию — массы! Пролетариат...

Алеша не слушал. Он вспоминал то, что рассказывал Юрий; порою Алеше казалось, он видит этого изумительного человека. Изумительного! — иное слово подобрать было трудно.

И все же сомнения не угасли: массы агитировать легко, язык без костей. Но как это — «минус интеллигенция» — удержать революцию, победить? А многие, очень многие из этой интеллигенции только и ждут возвращения вчерашнего дня.

Дядя Саха говорил, в сущности, то же самое, что и Марков, но в словах его не слышалось ожесточения. Быть может, он жалел русскую интеллигенцию, видел ее трудный путь, ценил прошлые заслуги лучших представителей ее, хотя и осуждал многих в настоящем.

Он тоже поставлял Алешу:

— Время сейчас острое, быстрое. И надо в нем найти себя, не потеряться, время, Алеша, следует *чувствовать!*

В том году, в марте, Алексею Алтухову исполнилось восемнадцать. Он работал теперь в губнаробразе, состоял инструктором в содвесе. В расшифровке это обозначало «Сектор социального воспитания»: детские учреждения — приемные, пропускные пункты, детские дома, столовые, беспризорники, сироты... Всем пужно было руководить, и всегда оказывалось слишком много всяческих совершенно неотложных и текущих дел.

Алексею нравилась работа, хотя эти совершенно неотложные и текущие дела и сама постановка социального воспитания, как представлялось ему, велись суматошно.

— Посуди сама, — жаловался он Юльке, — что смыслю я в воспитании детей, да еще в воспитании социальном? Да и руководство наше — посмотри сама! Оставим Марфу Иннокентьевну — здесь я преклоняюсь перед ее умом. Ведь ни одного класса образования! И какое понимание жизни. Но вот начальство губернского масштаба... завсодвесом! Шеф! Какая самоуверенность: «Проверните с пропускиником!.. Выявите моральную правдивость обслуживания!»...

Юлька оказывалась терпеливее. Работы содвеса Юлька не знала, она обучалась на курсах медицинских сестер, работала при больнице. Но Юлька лучше понимала трудности времени:

— Нельзя требовать, чтобы все были сейчас предельно культурны, — где взять все сразу!

— Но тогда не берись руководить! — восклицал Алексей. — В банке директор — бывший швейцар! Или это только потому, что он члп партии?

— А почему ты не вступишь в партию? — спрашивала Юлька. — И потом, директор банка — бывший счетовод.

— Швейцар! — вновь вскрикивал Алеша.

— Не повторяй чужие вымыслы: еще до Октября он работал счетоводом. А относительно твоего «только потому». Да, конечно, он потому директор, что проводит в банке политику партии. Тебе ведь тоже доверяют, Алеша? А на членов партии, естественно, больше надежды. Революция, Алеша, пужны не только знающие, но верные люди. А ты за деревьями не видишь леса с его богатством.

Богатством? Алтухов не раз приглядывался к Марфе Потрясовой. Вчера она сказала Смазову:

— Визу, стопт легкая автомобиль. Взяла ее. Вы, Афанасий Иванович, знаете, я бы лучше пешком пробежалась, да испугалась: а вдруг умрет?..

Смазов, которому говорила это Марфа Иннокентьевна, потом смеялся, оставшись педине с Алексеем:

— Говорить правильно не умеет: «легкая автомобиль!» А туда же — начальство!

Смазов, в доме которого редко бывал Алтухов, смеялся над всем, и в особенности над революцией пролетариата. Смеялся язвительно, немногословно (здесь ему как бы заменяло адвокатское легкоговорение). На людях он выглядел безупречно, лояльностью его ко всем мероприятиям, проводимым органами Советской власти, не вызвала сомнения. Он работал сейчас в том же губнаробразе, где работал и Алтухов, и считался незаменимым юристом. Но он был «явная коштра».

— Подумать только: обеспокоились, что умрет этот старый хрыч Пузырев! — смеялся Смазов. — Педагог... возмнивший себя перед самым гробом коммунистом!.. Выбежала как девочка на улицу. И... «стоит легкая автомобиль»... бросилась спасать: а вдруг умрет? Умрут, Алеша, когда-нибудь все. И эти раньше других... погибша! Движение большевизма обречено, оно противоестественно.

— Не думаю, Афанасий Иванович! — Когда корпели Советскую власть, Алтухову хотелось защищать ее. — Наоборот, несомненно, укрепитя, за нее — массы!

— Массы? А вы посмотрите: в госбанке директор... из швейцаров! Бросьте! Не повторяйте чужие вымыслы... А ваш шеф?.. Функциональный нуль... пользуюсь его же фразеологией.

— Но есть ведь и по-настоящему культурные люди.

— Да. В Москве. И то единицы.

— А Потрясова? — говорил Алтухов. — Женщина из народа!

— Не нужно идеализировать: новую шубку купить можно, равно как брюки. Культуру не купишь...

Это напоминало брюзжание, Алтухов не слушал Смазова.

Марфа Иннокентьевна Потрясова имела в конечном счете право говорить «легкая автомобиль». В глазах Алеши такое, пожалуй, даже украшало Марфу. Дело было

не в том, как произносила она слова, правильно или неправильно, а в том подходе, который определял ее отношение к людям.

Марфа Потрясова была все той же, только ушла прежняя робость. Твердость ощущалась теперь за обычно негромкими словами, решения были обдуманны. В движениях все еще молодых рук, в улыбке на все еще не отгоревшем румянце лица снята тихая уверенность. Детей, беспризорных, сирот следовало прежде всего отмыть, излечить от болезней, накормить по возможности досыта, найти для их сносного существования помещенье, воспитателей. Сделать это было нелегко, но дело поемному делалось.

«Легкая автомобиль» в ушах Алтухова звучало скорее как нечто народное, вроде «белая лебедь», смело перенесенное на косяную, мутную городскую почву, как камень, брошенный в смазовскую заводь, давно покрывшуюся рясой.

Порой Марфа Иппокентьевна говорила Алексею (тоже паставляла):

— Так и думай, Алеша, так и поступай, как лучше другим. Правильно решил — не только твоя, всего народа победа.

Все наставляли, поучали, втолковывали Алексею Алтухову, как жить, поступать, куда идти.

Только Мария Павловна, мать, не настаивала ни на чем. Было похоже, она сама приглядывалась к жизни. Переучивалась. Ее потянуло вдруг к тому труду, которым она никогда ранее не занималась; ей захотелось быть со всеми. Мария Павловна пошла на службу сына; в губнаробразе ее определили на работу в бухгалтерию. Здесь же работала сейчас и Лидя Смазова.

В январе к Ирине Сергеевне на два дня приезжал муж. Он направлялся в срочную командировку в Сибирь, с солидным мандатом, облеченный большими полномочиями (мандат, хвастаясь, Вячеслав Мартынович показывал Алексею). Он ехал по продовольственным заготовкам, много рассказывал о Москве и той ответственности, которая была возложена на него.

Дома Вячеслав Мартынович теперь не ночевал, с Ирпикой разговаривал покровительственно, с Алтуховым — чрезмерно любезно, благодарил за заботу о семье,

просил, как друга, не забывать домочадцев в его отсутствии.

Алексей думал: «Не то у него на уме!»

В своем вагоне на запасных путях Воловой угощал Алексея сточлиным коньяком, познакомил с секретаршей. Она была не так молода, как красива.

Вагон Волового быстро пристегнули к составу, уходившему на восток. Прощаясь, словно намекая на что-то, Вячеслав Мартынович усмехнулся:

— Жди! Скоро увидимся!

Злые огни метнулись в его зрачках. Алексею долго припоминались эти злые огни, вагон Волового, секретарша.

...Два месяца спустя жепплся Юрий Марков. Жепплся «скоропостижно» — я никак не мог этого ожидать от Юрки. Невеста прибыла из Петрограда седьмого, восьмого они расписались в загсе.

Марковы свадьбы не праздновали. Юрий считает мещанством «всякие там свадьбы, обручения и прочую мишуру». Все должны решать мысль и чувство. Жену Юрия зовут Манечкой.

Я не встречал женщины более непосредственной, чем Манечка. Мне представлялось, когда я смотрел на нее, что навсегда, до самой смерти, она останется такой, какой увидел я ее в первые дни нашего знакомства.

Трудно подобрать эпитеты к этому образу: он стал бы оттого лишь беднее. Манечка не походила на жепплщину города, тем более города большого, откуда она прибыла. Можно было подумать, что пришла она из деревни и припесла с собой запах травы и кусок неба, не омраченного дымом.

Ее успели полюбить раньше, чем присмотреться к ней. Характер у нее непростой, покладистый, но вместе с тем чувствуется в нем твердость. Твердость не выпирает, нежность не претит. Манечка проста в обращении с людьми, терпелива и обаятельна своей юностью. В ее ясных зеленых глазах уживаются одновременно порыв и настороженность, полнота как бы собранных в горстку чувств и воля. На мужа она смотрит с плохо скрытым благоговением, не думая о себе и явно ничего в себе для него не жалея.

Юлька, моя добрая, бедная сестра, приняла жепитьбу Юрия как успех брата. Глаза ее говорят: «Я ли, другая ли, пусть только Юрию будет хорошо».

Манечка начала уже работать в городской больнице. Ее устроила туда Юлька. Юлька утверждает, что Манечку полюбили сразу, что у нее «такая улыбка»!.. Мне не правятся подобные высказывания, но не ответить на улыбку Манечки трудно.

Как-то — как бы шутя — я спросил Манечку:

— Ты здорово любишь Юрку?

Она ответила, помолчав:

— Об этом я никогда не думала. Ведь не думаешь о том, нужен ли тебе воздух.

В июле Юрий Марков получил письмо от брата. Валерий писал с дороги:

«Долго валялся по лазаретам — осколок спаряда задел крепко, мамке о том не пиши. Теперь вполне оправился, еду на юг, построение — что надо, за меня не волнуйтесь! Как прибуду на место, сообщу».

К концу месяца Юрий Марков был послан на партийную работу в крупный железнодорожный пункт Верещагино, и сразу же после отъезда Марковых поползли по городу слухи о выступлении белых в Сибири.

Слухи эти не удивили Алтухова: он вспоминал Волового, его злые огни глаз, слова: «Жди! Скоро увидимся!» Но Алтухов не ждал никого, тем более Вячеслава Мартыновича.

В доме Иринки было невесело, писем от Волового не поступало, его не вспоминали, — порой Алеша говорил как бы шутя: «Разведись — теперь это просто!» И Иринка, казалось, уже не сердилась на Алешу.

С Лидой Смазовой Алексей встречался теперь чаще. Как бы непароком появлялась она на его пути, нередко поджидала у выхода из губнаробраза.

— Тебе куда? — И, не дождавшись ответа, смеялась: — Мне по пути.

Однажды на перекрестке улиц, задержав в своей руке руку Алеши, она сказала:

— А пути наши все равно скрестятся, вот увидишь!

— Дура ты, только и всего! — рассмеялся Алексей.

— А друзей ты все-таки не ценишь! Другьям говорят обо всем, а тебе-то и недостает этого. Ты все считаешь меня пустой, скверной, легкомысленной, потому что ничего не хочешь видеть, а сам головой стучишься в стену. Но стена не раскроется. Ты упрямый.

— Давай без инскаказаний и намеков, Лида!

— Когда-нибудь ты еще поделитесь со мной! — Лида уже не смеялась. — Что ж, топай, Алешенька. От судьбы своей не утопаешь! До завтра!

Повсюду было неспокойно. Алеша жадно листал газеты: «Мятеж левых эсеров в Петрограде подавлен в полчаса... В Австро-Венгрии забастовочное движение разрастается... Казаки организуют полки в Оренбурге... Дутовский фронт... На Златоустовском направлении... на Шадринском...»

В помещении бывшего «благородного» офицерского собрания расположился теперь штаб Красной гвардии — мятежи поднимались по области. Третьего дня, идя по улице, разговорился Алтухов с хромоногим солдатом. Солдат приехал из Оренбурга, где-то под Оренбургом был ранен.

— Казаки Дутова страсть лютые, — говорил солдат, — ни единой души живой в семье не оставят, как узнают, кто из родни у красных.

Потом он спросил вдруг:

— А ты что ж, целый, а не в отряде?

— Я здесь работаю. По народному образованию, — пояснил Алексей.

— Просветитель, значит! — Солдат с сомнением посмотрел в глаза Алешки. — Только в отряды шибко людей нужно, в те, что белое казачье бьют. Ишь не надумал еще?

— Еще не надумал, — признался Алеша.

— Что ж, думай! — сказал солдат. — Кабы не поздно!

На Перми-второй разгружали казачьи части, проходившие с Запада в Сибирь... На Царицынском направлении противник терпел поражение... Англо-французы стояли на севере России...

«Вот еще сволочи, хотят оттяпать кусок нашей земли! — думал Алеша. — Ни в чем толком не разобраться!..»

Четвертого сентября газеты сообщили о покушении на Ленина. На заводе Михельсона Ленин был ранен двумя выстрелами.

«Подлые люди! — восклицал про себя Алтухов. — Стрелять из-за угла!»

И вспоминал рассказы Юрия.

В ноябре дядя Саша уехал по командировке в Москву, — Мария Павловна говорила: «Саша вступил в партию». От Юрия не было писем. Выпал снег, и стали поговаривать об эвакуации: сначала шепотом, доверительно. Шеф молчал. Сообщали, что белыми взята Кушва. Люди вздыхали, Алеша замечал: кто с облегчением, кто зло-радио. Смазов приглушенно вещал:

— Плохи дела у нашей Третьей армии. Весь левый фланг отрезан от центра. Первого декабря сдали Крутой Лог, девятого — Лысьву, пятнадцатого — Чусовую. Мне это хорошо известно.

Но Смазов был «контра» — это знал Алеша. Говорили, что вокруг города оборудована отличная артиллерийская оборона, но где проходил сейчас фронт, никто точно не знал.

2

СЕРЫЕ БУДНИ

Двадцать четвертого декабря белые войска подошли к Перми. Артиллерийская оборона, о которой так много говорили по городу, предательски молчала.

В военном комиссариате, куда заглянул Алтухов, было пусто; со стороны Мотовилихинского завода доносились глухие ружейные выстрелы; по длинному пути — до трубы, до вокзала — шли теперь потрепанные батальоны красноармейских частей. Алеша сбегал на берег Камы, смотрел, как спускались они на лед, тянулись на тот берег.

Марфы Иннокентьевны нигде не было, в губнаробразе не работали, газета не выходила. Алеша сбегал в городскую больницу, вместе с Юлькой побывали они на Перми-второй. В спешке уходили эшелоны, паровозов не хватало, люди кричали, грозилась; на запасных путях с потушенными топками стояли обмерзшие локомотивы,

пустые составы, эшелоны раненых, эшелоны подготовленных к эвакуации заводских механиков.

Все сместили, брашились, никто не знал, где находился неприятель, сдадут ли Пермь, будут ли драться за город; суматоха царила в вокзальных залах.

Вечером, вместе с Юлькой, Алеша вернулся домой. Мария Павловна поджидала их. Прошла длинная ночь — Юлька почевала у Алтуховых, — а к утру Пермь была уже занята белыми.

Улицы лежали пустые, голые: люди боялись покидать дома, посматривали из окон. Потом понемногу стали показываться прохожие; проезжали на конях офицеры в погонах; проходили парные патрули.

К вечеру тревожные вести дошли до Алтуховых: повсюду идут обыски; ищут большевиков; раненые, оставленные в эшелонах на Перми-второй, вырезаны.

Небо удивительно серое.

Марков любит природу, лес, рыбалку, стук дятла, тяжелое хлопанье глухаринных крыльев, след зайца, охоту. Если бы мир наступил окончательно и безраздельно, Юрий забился бы в непролазную чащу, хлюпал леса — выводил ценные породы, сгружал древесину городам или прокладывал свежие просеки по дебрям, — пусть плыли бы по ним горделивые столбы телеграфа да поскряпывали санки по первому снегу, пока метели не занесут пути.

Но мира нет, им не пахнет даже. Вот ведь в октябре почти без крови взяли в свои руки власть Советы. Открылись дали: живи, создай, радуйся! А мира нет.

Юрий Марков не уважал стихи — выпендюющую речь, не предавался чтению вслух, редко впадал в лирическое настроение. Но, как любой русский человек, в душе своей был и он лирик.

Юрий по умел петь, хотя и пел, когда бродил по лесу. Вряд ли, впрочем, можно было бы назвать это пением: голос грубоват, надтреснут, сух — ни птичьих трелей, ни звона родниковой струи не отыскать в этом пении. Глухое, нудное завывание — серое, как это верещагинское небо.

Нагоняло тоску. А Юрий Марков презирал «всяческую мерихлюндию», хотя и он, конечно, интеллигент, а интеллигенции это свойственно. Но, во-первых, интел-

лигент интеллигенту рознь, а во-вторых... Во-вторых? Ядрепа копалка, не только небо серое! Небо — сущая видимость, ни для кого не опасная. Серо все и нудно невообразимо.

Месяц назад предлагал Юрий закрыть депо, железнодорожные мастерские. «Закреть» — понятие, разумеется, условное. Паровозы, конечно, нужны, транспорт — живой нерв страны. И потому «закреть» следовало применить с известной мерой и непреклонной жестокостью: оставить для обслуживания минимальный контингент рабочих, всех остальных мужчин мобилизовать, сколотить боевой отряд и бросить его в помощь армии под Пермь. Но Юрия не поддержали, а теперь Пермь вместе с Мотовилихой — кузницей пушек! — в руках белых.

И поползали слухи. Их следовало опровергать, но точных данных о положении на Восточном фронте не было, приходилось говорить лишь общие слова. Это-то и было по-настоящему серым.

В-третьих! — не терять бодрости, не позволять людям поддаваться панике.

Вот сейчас состоится собрание, оно будет многолюдно и шумно; и сумеет повести людей по правильной стезе — это сейчас главное!

И в-четвертых?.. Хватит! Четвертого касаться не следует. Но оно прет, как росток весной, который не остановить, не удержать в разогретой, распаренной почве... С этим ли, верещагинским, или другим каким-нибудь боевым отрядом уйдет Юрий Марков на передовую, и они расстанутся, Юрий и Манечка. Впрочем, Манечка нынче утром заявила непререкаемо, что пойдет с мужем, куда его ни пошлют. И это тоже проблема!

Марков ускоряет шаг. Вот и депо.

«Ишь как шумит рабочее море — железнодорожники! — думает Марков. — На полкилометра слышно».

И вливается в это море.

Мгновенно перед ним предстает знакомая до мелочей картина: железнодорожное депо, недостроенный паровоз, бронесозада, объявления и плакаты на стенах: «Бой Колчака!..», «На Восток!..» За окнами небо выглядит отсюда черно-синим; сумерки надвигаются быстро, депо освещено бедно, множество острых глаз устремляется на Юрия.

Грохот далеких орудийных выстрелов порою доносится сюда. Железнодорожники сидят где попало, стоят, полулежат на чем привелось. За ящиком, красным от кумача, рядом с председателем, шупленький мужичина. Марков знает: это товарищ, ответственный за эвакуацию Перми.

Юрию становится весело — серое небо отступает, предвидится драчка! Он с напряжением ловит слова, долетающие от кумачового ящика трибуны:

— Что же, товарищи, так предвзято относитесь вы к моим высказываниям? Я не успел еще сообщить главного, а вы со своими сомнениями! А сомнения эти необоснованны!

Ответственный говорит несколько театралью, жестикулирует, но его речь — видимо, уже не первый раз — прерывают возгласы. Теперь они переходят в рев:

— Бежали — голову потеряли!..

— Сталь где? Броневики чем крыть?

«Так! Начинается по существу!» — думает Марков.

— По вашей просьбе, — невзирая на окрики, продолжает ответственный, — по просьбе вашей, если соблаговолите...

— Ближе к делу! Давай ближе! — кричит от броневика рабочий; его тяжелая рука поднята высоко — Юрий узнает по ней кузнеца Власова Дорофея: таких рук во всем депо ни у кого не сыщешь.

— Дай высказать! Не перебивай! — кричат из-за броневика. — Пусть выскажется!

Председательствующий с трудом успокаивает собрание, люди возбуждены, — Юрию кажется, воздух раскален, шевелится и плавится, как над наковальней.

— По вашей просьбе, — повторяет ответственный, — я уже изложил общую обстановку, при которой происходила эвакуация города и завода. Механизмы Мотовилихи удалось погрузить своевременно, и они вывезены.

И опять поток голосов:

— А нефть?! Бросили нефть!..

— Драпу дали!..

И чей-то резкий, на грани срыва, неистово тонкий голос:

— Что о нефти говорить!.. Братьев наших раненых забыли... сволочи!..

Буря голосов сотрясает депо. Никто не слушает председателя, как ни стучит он кулаком по ящику; никто не хочет слушать выступления ответственного,

«Пусть кричат, — думает Марков, — ужиматься ни к чему, здесь свои законы! Пусть выльется гнев, ждате надо, пока не остынут».

И вот понемногу утихают люди. Лицо ответственного белее, невинно звучат слова:

— Верьте, товарищи, раненых вывезли. Всех!..

И снова рев, крики, грохот:

— Врешь!.. Погибли!.. Всех вырезали!..

Люди встают в наступившей тишине, мертвой тишине. Снимают шапки. Лица устремлены к кумачу ящика, губы сжаты. И тем страшнее тишина, тем тяжелей взгляды. Никто не слушает шупленького человека. Руки сжимаются в кулаки. И Марков понимает вдруг: пора!

Он спешит, пробираясь к трибуне, и уже у трибуны говорит тихо:

— Товарищи!

Густые волосы скатываются на лоб, глаза стальные, поздри напряжены, меховая шапка зажата в поднятом кулаке:

— Товарищи, отомстят!

И тихо, как отзвук, доходит до него от серых закопченных стен, от черного неба за окнами, от броневика:

— Записывай! Власов... Николаи-младший... Шевцов! Зорины, Иван и Федор!.. Любка Мельникова... Заваруйко...

И где-то у входа в депо:

— Маркова Маня!

В этот день в доме Воловых между супругами состоялся трудный разговор. О нем поведала Алеше Мария Панкратьевна, взяв с него строгий обет не разглашать тайны.

В кутеже позавчерашней ночи, взбудоражившем общественное мнение, имя Вячеслава Мартыновича выделяли особо. Этого капитана считали зачинщиком непристойностей, совершавшихся на улицах и в одном из окраинных домов.

Вымыслы и факты переплетались. Говорили об оргии, о похищении девиц, об избивании уважаемых горожан; называли участников кутежа, среди них — Лидию Смазову; имя ее сочетали то с именем Добермейера, то — Волового.

Милувшим днем Алтухов по навестил Воловых. Было удивительным думать, что и это не оттолкнет Ирину Сергеевну от мужа.

«Простят! Конечно, простят!» — безнадежно думал Алексей.

И еще огорчала Смазова: что там ни говори, человек она добрый. И товарищ неплохой. В этих раздумьях милувшим днем и встретил Алтухов Лиду.

— Хорошенький видок! — глядя в упор в красивое и бледное ее лицо, сказал он. — Как в книге все написано.

— А, пустяки! — проговорила Лида. — Хотелось повидать белоо офицерство, согласилась на просьбу Волового посетить вечеринку. Вначале казалось забавным. Пили пзрядно, и вина, к чести офицеров, и закуски не оставляли желать лучшего. Кто-то хорошо пел. Танцевали. И тут дала я одному красавчику капитанчпкку по мордасям, потому что он захотел поступить против правила «сосода не обижать». А потом стало просто скучно. — заключила она. — Я не любительница смотреть на голые факты. И Кравцов, такой миленький капитан и совсем трезвый, — у него такие же глаза, как у тебя, Алеша, — проводил меня до дома. И была я такая пьяная! И все — не поверишь — думала о тебе: если бы ты был тогда со мной!..

Она рассмеялась, и Алексей вдруг ударил ее по лицу.

Весь следующий день вспоминал о том Алтухов. И вечером, пдя к Воловым, он думал о том же, и об Ирине, и обо всем, что навалплось вдруг на город.

Говорили, что Воловой занимал сейчас видно место в одном из белогвардейских штабов. Какое именно — Ирина Сергеевна не могла объяснить. Вячеслава Мартыновича Алтухов видел всего один раз — Воловой диевал и почевал в своем штабе. Ирина Сергеевна ходила по дому вотупленная.

Дверь открыла Мария Павкратьевна. Проведя Алексея в кухню, притянула к себе, зашептала:

— Ох, плохие дела, Алешепька! И сказать, может, не надо, но скажу. Не видела я еще Ирину мою такую. И все-то без крика она, понимаешь? А он струхнул. Калялся. По службе у него плохо. На фронт посылают. Вот и просил прощения: мало ли, говорит...

— Такие не погибают, — зло прервал Марию Павкратьевну Алеша.

— Плохо говоришь, — Мария Панкратьевна ближе склонила лицо к Алексею. — Хотя и не люблю я Вячеслава Мартыновича... А тут... мобилизация будет, и твой год, Алеша, под нее попадет. Вот и поставила ему условие Иринка: под пули-то его, ясно, не пошлют — больше для отлода глаз! — вот и пусть тебя к себе вытребует. «Алеша, говорит, нам столько помог, столько добра сделал, и не хочу я, чтобы его убили».

Помолчала немного.

— Стара уж я, помирать скоро, болею, и что сказать — не знаю. Только вижу, что на душе у нее...

— Что там «на душе»? — вскрикнул Алексей.

На этот раз Мария Панкратьевна молчала дольше.

— Грех тебе, — через силу выговорила она наконец. — Еще увидишь, если не слепой. Я Иринку мою не хуже тебя знаю — чем дышит. Так мужу о другом не говорят.

Две педели спустя рядовой артиллерийского полка Алексей Алтухов, вместе с рядовым Василием Сметаниным, вез к линии фронта на паре армейских коней, на укрытых брезентом розвальнях, скрепленные печатами железные ящики. Капитан со своим вестовым Персиковым, тезкой Алексея, с утра дросхал верхом в сторону Нытвы. Канцелярия, обгоняя обозы, спешила за начальством.

Где-то за горой лежала Нытва. До горы тянулось под серым небом блекло-серое поле, в чахлам, голом кустарнике, иссеченном ветром. За полем вырастал лес.

По этому полю трое суток назад повел дневной атакой своих сибирских стрелков полковник Измаиловский. Измаиловский не довел наступления до горы, полковник был убит на первых десяти саженьях проворной красноармейской пулей.

Измаиловского сменил подполковник Шайтапов, подполковник был убит, едва приняв командование. Позиции красных, удачно выбранные для обороны, лежали у самой горы. Под горой извивалась речка, скованная льдом. За рекой естественный земляной бруствер, за ним ложбинка — второе, весеннее, русло. По реке легко было зимним путем добраться до Нытвинского завода, другая дорога ползла через гору, поросшую лесом.

Мало-мальски разбирающийся в науках войны командир без труда установил бы всю бессмысленность

наступления днем по открытому полю. И капитан Зарудный, сменивший подполковника Шайтанова, также понимал это. Он был самым молодым и едва ли не самым опытным из трех командиров, втянутых в бессмысленное лобовое наступление. Но приказ дивизионного начальства, отданный полку сибирских стрелков, предписывал наступать, а оспаривать приказ не положено.

Капитан Зарудный, проваливаясь в снегу, на виду полка пробежал хорошо простреливаемое поприемлем пространством там, где залегла первая цепь стрелков. Поднять их со снега было невозможно.

Храбрость, проявленная самим капитаном, лишь случайно не оказалась для него смертельной. Это прекрасно понимал офицер, прошедший минувшую войну на немецком фронте. Здесь, правда, стояли перед ним не немцы, а большевики, по огонь их был исключительно точен, хотя и не так мощен; боеприпасов не оставалось: патронов у противника мало, но противник стоек.

Капитан Зарудный сделал для себя из всего этого соответствующий вывод. Дневное, бездарное наступление явно потерпит неудачу — потеряешь живую силу и позиции не возьмешь. Следовало ждать сумерек, подтянуть незаметно отставшие цепи, поискать обходных путей, попытаться ночным ударом взять рубеж красных.

Но лежать часами на снегу не представлялось возможным. Солдаты были голодны, их пужно было накормить, мороз усиливался. Вскоре первые вести об обмороженных дошли до капитана. Тогда Зарудный принял новое решение.

Отправив офицера в штаб дивизии, заверив командование в успешном продвижении сибирских стрелков, он тут же оговорил неизбежность некоторого замедления атаки в связи с превосходными позициями противника и значительными людскими потерями.

В ожидании ответа Зарудный быстро оттянул боевые цепи к исходному положению, накормил людей, подбодрил, помороженных отправил в тыл.

Два часа спустя капитан Зарудный получил жесткое приказание продолжать наступление и взять гору. Он пытался вновь перейти поле, порезанное ветром и чахлым кустарником, но попытка успехом не увенчалась.

Дивизионное командование, напуганное количеством потерь, к вечеру выслало в полк Зарудного артиллерийского офицера Добермейера, — Зарудный изложил поло-

жепке на своем боевом участке и попросил Добермейера возглавить наступление. Добермейер был кольщен: опытный боевой офицер просит его о помощи.

Вернувшись в штаб дивизии, Добермейер доложил:

— Зарудный — офицер достаточно опытный. Нам следует только поддержать огнем этих толстозадых сибиряков — и дело в шляпе!

«Толстозадые сибиряки» были поддержаны артиллерией неудачно, огневой шквал обрушился на них, нанеся потери; от Зарудного в штаб поскакали ординарцы с требованием прекратить стрельбу. В штабе переполошились.

Тем временем капитан, не испрашивая разрешения командования, повел своих стрелков в обход горы. Прошли еще сутки, и позиции красных под Нытвой были взяты, а Зарудный утвержден командиром полка и представлен к повышению в чине и награде.

...Лошади везут нас к Нытве, на захват которой понадобилось немало дней.

Пехота давно перевалила через гору, дорога тянется по краю поля, избитая санями и копытами.

Поотставший от нашего полка артиллерийский взвод с пушками, поставленными на сани, калеча колей, неуклюже ползет вперед. Его нужно обогнать, чтобы выйти на свободную дорогу. Но Сметанину, который правит санями, все не удается найти места, где плотнее лежал бы снег.

— Давай, Василий, давай, — тороплю я его, — здесь снег утопан, обходи, капитан ждет.

Оба мы со Сметаниным приданы капитану Воловому, а злить Вячеслава Мартыновича не следует. Две с лишним недели мы ездим уже с ним (похоже на то, что он не торопится на передовую). Сначала — без этих железных ящиков — в дивизию и по всякому начальству — и безо всякого для нас дела, лишь сопровождая капитана. А у него, как давал он нам знать, всюду дела были неотложные.

И вот в дивизии вручили нам эти ящики, которые мы теперь возим. («канцелярию», как их называют), а Вячеслава Мартыновича прикомандировали к артиллерийскому полку в помощь штабу.

Ирняка перед прощанием сказала:

— Ты его не раздражай. С ним ладить можно, поговори меньше, он не любит чужого мнения. И, прошу тебя, не напрашивайся ни в какие заварушки: я не хочу, чтобы тебя убили.

Она но смотрела па меня, отворачивалась, а Ирка плакала: «Не хочу, чтобы дядя Лёма уезжал!» И Юлька плакала тоже, — чего плакать?

А мама не плакала и только говорила:

— Вот ты и уходишь от меня — и куда уходишь?! Береги, береги себя, Алеша!

И глаза у нее были голубые-голубые, какого-то особого ответа.

И сейчас еще вижу я эти глаза.

Порою я думаю о Воловом и не понимаю его. Вячеслав Мартынович веровен, жесток, вспыльчив. Самое страшное, когда он говорит тихо, несколько растягивая слова, и глаза его стекленеют: этот голос и эти глаза пропизывают человека.

Бывает, капитан потрeплет по плечу, «побалуеет» (он добыл мне и Сметанину добротные светлые дубленые полушубки, в них тепло, у них крепкий запах овчины), но он не терпит малейшей распуценности; сразу окрикает резко, губы сойдутся в пичокку: «Рядовой Алтухов, как приказано докладывать?»

Капитанскую кобылу Злобу (и клычка-то какая!) чистит и холит Сметанин. Кобыла поровиста и перхата, и Василлю нередко влетает за нее от Волового. Но Сметанин Вячеслав Мартынович ценит за силу и молчаливость. Из него и верно ничего не выудишь.

В армию Сметанина взяли из завода, парень как парень. Невысок ростом, мощен. Руки крепкие, глаза водянистые, как выцветшее вебо, нос толстый, волосы ершом. Настоящий увалець, но не туп — третьего дня объяснил мне устройство трехдюймовой пушки четко, детально.

Персяков, мой тезка, вестовой Волового, совсем много склада, его не сравнить со Сметаниным. Все мелко — и в росте, и в лице, и в характере. И фамилия — Персяков — дана ему как в насмешку. Никакого благородства, никакой твердости, — ему бы Квашенкиным пазываться! Низок ростом, не по годам полон, цвет лица сероватый, глазки черненькие, неустойчивый взгляд, пальцы с пабухшими суставами, ногти обгрызены. Смотрит на капитана

словно собака на хозяина. Говорят — служат с самого Омска, боится Волового.

Вчера, на ночевке, Сметанин спросил востового:

— Персигов, смерти трусшь?

— Чего бояться, — ответил востовой, — двум не бывать, одной не миновать!

— А большевики поймают? — лукаво подмигнул Сметанин.

— А я при себе гужажку завсегда ношу, что мобилизован.

— Любуйся, милой! — вдруг прокричал помощник фуражира, верхом обгоняя сани. — Воп оно — обратно с кладбища не возят!

Маханий указал плетью на поле — Алтухов приглядывался к нему.

Поле, что тянулось обок, было покрыто серыми буграми, ночью пургой замело бугры; лишь поравнявшись с ними, можно было угадать, что здесь лежат люди, товарищи по несчастью, кобылка, как называл их Добермейер.

Ледяной ветер сковал тела, едва солдаты упали. Они лежали, смешно скорчившись, смешно заломив руки, вичком, уткнувшись головой в снег, навзничь, пелено подогнув ноги. У ближнего к дороге сугроба присел за кусты человек: он спрятался от пули. Но пуля нашла его в села лиловой мушкой между глаз; и глаза остались открытыми, стеклянные глаза, на ресницах которых повисал снег; и мертвец продолжал прятаться у куста за хилыми голыми ветками.

— Сибиряки, хлебоборбы!.. — ворчал Сметанин.

Поле мертвецов в снежных покровах. Алексей Алтухов с тупым ужасом смотрел на него.

Вот еще трое совсем молодых царней, растеряв папах, тяжело придавили придорожные кусты. Снег еще не занес тела, — если смотреть со стороны — казалось, что они все еще бегут, размахивая руками, вскидывая ноги.

Куда же бегут эти люди, думал Алексей, ради какой славы или цели? Что нужно им здесь, этим сибирякам-хлебоборам? За что отдают они свои жизни? Куда гонит лошадей Сметанин, куда бегут лошади, куда бежит он, Алексей Алтухов? Как остановить этот бег, ненужный бег, ненужные смерти?

Лошади то и дело шарахались в стороны, Сметанин покрикивал:

— Балуй! — Добавлял: — Испахали полюшко... хлеборобы!..

«Когда-нибудь здесь встанут кресты, — думал Алексей. — А затем время снесет их».

Лошади дернулись, остановились. Алтухов посмотрел вперед. Огромный, плетенный из прутьев короб, стоя на развалынях, загораживал дорогу. Сметанин ругался с возницей, худая лошадевка заиндевела; сняв рукавичку, возница сморкался невозмутимо, не слушая Сметанина, а лицо морщилось, губы съеживались; из короба, груженого тяжело, торчали зазеленелые неповоротливые куклы, сведенные морозом ноги, застывшие на ветру руки, пальцы, задубевшие, в львовых подтеках, с ногтями желтыми и обломанными.

«Зачем их подбирают? — подумал Алексей. — Разве не все равно, где лежать?»

И услышал Ириюку: «Я не хочу, чтобы тебя убили».

У берега реки лошади остановились вновь — Сметанин оправлял упряжь. Повсюду по пасту валялись расстрелянные гильзы, цинковые коробки от патронов; кусок порванной пулеметной ленты походил на змею. Естественным бруствером поднимался над полем берег; по реке к Нытве уходили бесчисленные следы ног.

«А что, если вместе с другими шел здесь и Юрка?» — вдруг подумал Алексей.

Сани уже поднимались в гору, и Алексей рядом со Сметаниным подымался по обочине дороги. Лошадь с задранными ногами, уронив морду на снег, лежала у сломанной ели; казалось, она катается по снегу. Снег у ноздрей ее выглядел оранжевым.

— Позиции выбрать сумели, — как в полусне доходил до него голос Сметанина. — Понакрошили...

Нет, это были уже не бугры: желтоватые листочки покрывали обочину, черные полоски прошивали их, терялись в снегу, выплывали.

«Откуда эти листки?» — подумал Алексей, поднял, прочел не вникая:

«...За кого боретесь? За помещиков, генералов! Получите нищету... бросайте оружие... Идите к вашей власти... Она даст вам землю...»

Спросил:

— Что скажешь, Сметанин: «Идите к вашей вла-
сти...»

Сметанин зло поглядел на Алексея:

— Брось лучше! А то капитану скажу.

На крыльце Алексей оббил валенки. Персиков, ехидно поглядывая на Алтухова, спросил:

— Намерзся? А мы с капитаном давно отужинали! — И шепотом: — Капитан на ваш полк зол, хотел бумажку написать, что по своим били!.. Разве что Добермейера покалечит!

— А тебе что от этого? — Алексей открыл дверь — в избе готовились ко сну. — Разрешите?

— Заходи!

Наутро предстоял поход. Воловой ходил мрачный, потягивался, Добермейер сидел у стола, принужденно смеялся:

— Ну что вы, Вячеслав Мартынович! Разве теперь их догонитесь, голоштанников! Теперь будут тикать до самой Вятки... и без оглядки!..

— Напрасно смеетесь, — оборвал капитан.

«Видно, Валентину не по вутру! — не без удовольствия подумал Алексей. — Персиков не врет: «мой» полк бил по своим, батареей командовал Добермейер!»

Ему стало смешно: «мой»? Правда, Алтухов был «запасец» в артиллерийский полк, но тут же «придан» капитану Воловому вместе с Василием Сметаниным.

Он сразу вспомнил злое лицо Василия, его слова: «А то капитану скажу». Подумал: «Надо поосторожнее со Сметаниным».

И вновь вспомнил поле с буграми.

Воловой все так же ходил по избе, из угла в угол.

— Садись, Алеша, — вдруг проговорил он, тепло улыбувшись.

Подошел, оперся руками о стол, у которого сидел Добермейер, весь подался к нему, выговорил слог за слогом:

— За такую оплошность, поручик, лишают чинов или расстреливают. И вам это знать положено, как офицеру.

— Но в присутствии рядового...

— Знаю, при ком и что говорю. Кстати, вы с Алексеем на ты, товарищи?

Добермейер сдержался.

— Хорошо! — Воловой вновь прошел по избе. — За-
нимем. Но это только ради тебя, Добермейер.

И обернувшись к Алексею, который все еще стоял
у двери:

— Довезли в целости?

— Так точно, господин капитан!

— Что захмурел?.. Помню... впервые, под Гнилой Ли-
пой... Ой, жутко было мне тоже! А потом... и не такое
видели!

Алтухов вышел.

— Ну как? — полюбопытствовал на крыльце Перси-
ков — он явко поджидал Алтухова. — Высыпали Добермей-
еру?

— Подлюга же ты, Персиков! — прикрикнул Алтухов.

Он знал, Персиков и не такое стерпит, дрожа за свою
шкуру.

Утро стлалось над землей на редкость серое.

Алтухов шел вдоль улицы, разыскивая Волового. На
имя капитана прибыл срочный пакет, а капитан с утра
покинул свою квартиру.

У избы, правее церкви, курил унтер-офицер Егорушкин.

— Волового не видели? — спросил Алтухов.

Егорушкин кивнул на дверь.

Изда была полна солдат, они стояли, прижимаясь
к стенам, насторожась. Посреди, на кровати, копошилась
баба. В красном углу под образами сидел Воловой.

— Так не скажешь? — медленно вопрошал Воловой,
постукивая по столу хлыстом. — Куда твой большевик
винтовки запрятал?

Лицо бабы морщилось:

— Родимый ты мой, где знать, разве мужик скажет!

— В последний раз спрашиваю, — все так же мед-
ленно и тихо произнес капитан.

Бабе лицо морщилось сильнее:

— Откуль, отец родной, знать? Бабы мы!..

Двумя шагами капитан подскочил вдруг к кровати, п
хлыст его дважды со свистом рассек воздух. Баба не-
уклюже задержала задом, ноги ее резко рванулись, она
хотела вырвать их из чужих рук, и Алексей увидел, что
солдаты в нерешительности отступают, выпускают из рук
одетые в грубые чулки ноги.

— Как держишь! — яростно закричал капитан. —
Слизняки, не солдаты! Навались!

Грубые слова наполнили избу, и Алексей увидел, как солдаты валяются на бабьи поги, хлыст взвивается и чавкает, опускаясь на грязное белье.

— Оголи зад! — на всю избу кричит теперь уже Воловой. — Вспомнит, вспомнит сейчас, где запрятано!..

Алтухова мутит. Он готов бежать и не может сдвинуться с места, и вдруг замечает среди настороженных лиц тупую, с ухмылкой, рожу Персикова. Тяжелее капитанского хлыста бьет по Алексею эта тупая ухмылка. С трудом отрывая от пола валенки, он выходит из избы.

Серые дома плывут мимо него. Серое небо. Серый снег. Он замечает в руках своих серый пакет, о котором забыл. Серый пакет нужно передать капитану. Серый пакет — срочный, медлить нельзя, капитан Воловой разыскателен. Несчастливая баба!..

Мысль пробивается толчками — как сквозь туман, сквозь сон. Алтухов останавливается.

«А что, если этот пакет — если отвлечет?.. Несчастливая баба!.. Но почему сам Воловой, штабной офицер! Зачем он это?.. Может, отвлечет?..»

Алексей оборачивается и видит, как из избы правее церкви, уже без хлыста, идет Воловой.

— Пакет!

Капитан грязно ругается и берет пакет.

3

КРАСНОЕ — ЧЕРНОЕ

В тот вечер немало железнодорожников записалось в боевой отряд. Но винтовок не доставало, патронов было паперечет. Никто, казалось, не думал о верещагинцах, на запросы ответов из Глазова не поступало; фронтовики, голодные; беспатронные, шли через поселок; зарева по ночам да глухой гул пушек говорили о том, что фронт приближается.

В те же дни дошли до Верещагина вести о комиссии ЦК, посланной из Москвы в Вятку Лениным. Обсудив положение, командиры новосозданного отряда решили направить в эту комиссию своих делегатов, Маркова и кузнеца Власова: там им надлежало получить директивы. Вместе с ними увязалась и Манечка.

Комиссию ЦК делегаты застали в Глазове. В приемной комнате было людно. Ветер, как барабанщик, бил по окнам, лица людей пламенели с мороза, топорщились бороды, забитые снегом. За окнами, сквозь лед, полихало глазовское небо: где-то горели деревни, подожженные кулаками и белыми, оказавшие удары орудий наваливались на город.

Куда спешили люди в шинелях и полубубках, командиры, ординарцы, красноармейцы, приходившие в дом, где заседала комиссия, знал здесь каждый: одни — в уезды, громить кулацкую гидру, повсюду поднимавшую голову в связи с приближением белых; другие — с поручениями на фронт; третьи — в формировавшиеся боевые отряды. Те, что ожидали приема комиссии, чинно сидели в стороне у стены, на лавках и на полу.

Здесь говорилось мало. В комнату выходило несколько дверей; у ближней стоял часовой, там заседали послатцы ЦК: сюда, в крошечную выюгу, в Глазов, к подходам залитой кровью, отданной врагу Перми, прислал своих верных друзей товарищ Ленин.

Левее от двери, где заседала комиссия, у окна сидел за столом еще молодой военный. Голос у него был тихий, он сообщал приказы, подписывал пропуска, справки, мандаты; порой уходил за дверь, у которой стоял часовой, — тогда в комнате замирало движение, прятались сигарки, тишина становилась пастороженней.

Марков сразу отметил собранность этого человека, глаза, что позволяли людям без страха задавать вопросы. По всей видимости, то был один из хорошо осведомленных в делах комиссии исполнителей — бойцы называли его просто: Петр Елисеич. Кивнув Маркову и Власову, он подозвал их к себе, расспросил, откуда, зачем прибыли, и велел ждать. Манечка уже сидела на полу у стены, рядом с ожидавшими приема, и Марков с Власовым присоединились к ней.

В комнате было жарко, душно. Юрий оглядывал людей — слева у стола Петра Елисеича стоял приметный человек в добротной шубе, в шапке с ушами, падавшими на грудь.

Марков не сразу признал его.

«Ну конечно, ответственный по эвакуации Перми! — припомнил наконец Юрий. — Старая лиса, что ему здесь надобно?»

Иные тоже, по-видимому, знали этого человека, — здесь он вовсе не выглядел беспомощным, как на собрании в верещагнском депо. Приглушенный ропот пробежал по комнате: взгляли этого человека в черном деле эвакуации Перми, шептали о раненых красноармейцах, оставленных в эшелонах и вырезанных белыми, о железно-подорожных составах и паровозах с потушенными топками, брошенных на колее.

Но человек, очевидно, не ощущал ужаса совершенного им преступления, он обращался теперь к Петру Елисеичу с надменностью, постукивая нетерпеливо ногой:

— Прошу и требую доложить. Мне срочно нужно увидеть представителей комиссии ЦК.

Петр Елисеич отложил наконец бумаги, которые подписывал. Посмотрел не на просителя, скорее на его добротную шубу, указал на скамьи у стены — скамьи были заняты ожидающими:

— Присядьте. Доложено.

И человек неожиданно присмирел, отошел в сторону.

В ту же минуту из-за второй, приоткрытой двери высунулось курносое, толстошеекое девичье лицо, и голос, хрипота которого вовсе не соответствовала задорной улыбке, возвестил:

— Петр Елисеич! Не отвечает Стальной Карамышский!

— Вызывай, Люба, — приказал военный.

Люди в комнате явно не прислушивались к этому разговору, глаза их были обращены теперь к входной двери, и Юрий Марков тоже посмотрел туда.

— Командарм! — произнес кто-то.

В штаб одновременно вошли двое военных. Они продвигались по комнате неторопливой, уверенной походкой, их сторонились и не спускали с них взгляда.

Марков заметил, как спешно укрылся за спинами людей ответственный за эвакуацию, лишь только вошли эти военные. Приподнявшись от пола, где он сидел на корточках, Юрий протиснулся поближе к прашедшим. Телефонистка вновь высунулась из-за двери, прохрипела улыбаясь:

— Товарищ командарм, Стальной Карамышский не отвечает!

— Вызывай, Люба, — вновь и настойчивее сказал Петр Елисеич, как будто командарм и вовсе не находился в комнате.

Командарм усмехнулся, останавливаясь у третьей двери, проговорил негромко, но так, чтобы военный у стола расслышал:

— Если у Верещагина прорвут фронт, не только Глазову, Вятке не удержаться! Пора закончить писание сказаний о причинах сдачи Перми. Факт есть факт. Нужны действия.

— У Верещагина? — подойдя незаметно, с тревогой переспросил Юрия Власов, но Марков движением руки остановил его.

— Слишком уж вклиниваются в чисто военные дела, — в тот же миг откликнулся на слова командарма пришедший вместе с ним командир. — Пишут? Пусть себе пишут что хотят! Но не мешают нам; комфронту, видите ли, предложен новый план действия — Третьей армии стоять на месте. — Он усмехнулся. — Насмерть — понимаете?!

— Насмерть! — передразнил командарм. — В полках по двести штыков. Еще этот мне конный Стальной Карамышский! Дутое геройство показывает, не отходит. А потом скажут: у нас вполне боеспособные части — Карамышский, Путиловский, Лесновско-Выборгский!.. Боеспособные?! То есть без патронов, без пушек, без снарядов — можно сказать, без хлеба, с двумя пулеметами на полк. Нужно отводить армию.

— Куда? — вдруг поднимаясь от стола, резко спросил Петр Елисеич.

— За Волгу! — в бешенстве выкрикнул товарищ командарма, резко толкнул дверь и скрылся за нею.

— Но обращайтесь внимания, первые шалят, — как бы успокаивая, кивнул в сторону двери командарм. — С комиссией, конечно, мы считаемся полностью, только находим нужным не замазывать трудностей... Жалоб, пожеланий нет?.. Если что нужно, приказывайте, сделаем!

Петр Елисеич не поддержал разговора. Командарм крикнул телефонистке: «Люба! Установишь связь — вызовешь меня!» И не снеша прошел в третью дверь.

Петр Елисеич долго сидел у своего стола, просматривая бумаги. Потом, словно вспомнив о чем-то, поднялся со стула. Казалось, он намеревался пройти в комнату, где работали члены комиссии, но дверь ее отворилась, и Юрий увидел товарища в шпелли, без пояса и головного убора.

Все было в нем просто: волосы, что слегка вились у висков, усы, что топорщились немного, сжатые губы.

Видно было, человек не мог еще расстаться с тем, о чем думал минуту назад. Потом он поглядел на ожидавших его людей, на Петра Елисеича, поднес руку к подбородку, и взгляд его потеплел.

Словно вздох облегчения колыхнул комнату. Юрий, так же как и многие, не знал, кто этот товарищ, не знал, как зовут его; как многие, он видел его впервые, но, так же как все, понимал, что это товарищ из ЦК!

— Кто следующий — прошу, — сказал он, голос прозвучал непривычно неторопливо.

И так как никто из них не решался опередить соседа, Петр Елисеич подсказал: ответственному по эвакуации полагалось пройти первым.

— Прощу, — еще раз проговорил товарищ из ЦК, поворачиваясь в комнату.

Человек в добротной шубе явно съезжился, стянул с головы шапку с длинными ушами, бочком пролез в дверь мимо часового, и дверь за ним затворилась.

— Теперь скоро и нам! — подтолкнул Власова Марков.

Но кузнец не обратил на это внимания: входная дверь вновь распахнулась, и глаза ожидающих потянулись к ней. На пороге стоял незнакомый командир. Он был в потрепанном полушубке; лоб под папахой, заломленной на затылок, до самых бровей покрывали бинты; сквозь грязную марлю проступал след застывшей на морозе крови.

Командир словно застрял в проеме двери, створка ее поскрипывала на петлях. Пошатнулся. Разорвал полушубок у ворота, сдернул папаху. Перевалив через порог, неверным шагом дошел до стола.

Петр Елисеич мигом подсунул табурет, усадил командира, пагнул к его лицу, проговорил: «Так, так, ясно!..» Крикнул: «Воды!» Дождался, пока отпил из кружки командир. Вновь повторил: «Так, так!» Подхватил под руку: «Давайте, товарищ командир, все вам рады здесь будут!» И провел через заветную дверь.

Когда Петр Елисеич вернулся, в комнате вновь воцарилась тишина. Только ветер сильнее бросал снег в окна, и за закрытыми ледяным узором стеклами ярче металось зарево.

Вдруг что-то грохнуло, зашумело за дверью. Командир в явном беспокойстве пробежал через приемную. Кто-то прошептал: «Не иначе Верещагино!..» Люди

приподнялись со скамей и пола. Но Петр Елисеич не тронулся с места и лишь поглядел на дверь.

Дверь отворилась вскоре: ответственный в добротной шубе вышел, волоча по полу шапку; дико озираясь, остановился у косяка двери. Красноармеец, что следовал за ним, поторапливал, но ответственный все переминался на месте, ухватившись рукой за косяк, и вдруг увидел командарма и закричал со слезой:

— Товарищ командарм, заступитесь!

Никто не отозвался на его крик, только красноармеец кивнул секретарю:

— В трибунал этого!

— Увести! — крикнул теперь и Петр Елисеич. — Быстро!

Лицо его стало жестким. Он дождался, пока вывел арестованного, быстро прошел в комнату, где заседала комиссия, вернулся, сказал:

— Придется, товарищи, сделать перерыв: есть дела поважнее. Тем, кто из подразделений, — вернуться в свою часть. Остальным можно прийти сюда часа через два. — Помаппл к себе Маркова, дождался, пока люди покпнуля приемную. — Возвращаться в Верецагино сейчас не надо. На конях ездить можете?

— Умеем! — одновременно ответили Марков и Власов, и Манечка повторила за ними:

— Умеем!

— Добро! — заключил Петр Елисеич. — Утром отсюда подойдет подмога карамышцам. Давайте с ними.

Он посмотрел на Манечку, на ее сумку с красным крестом:

— Сестра?

— Сестра, — подтвердила Манечка. — В Петрограде курсы окончила.

— Добро! — вновь произнес Петр Елисеич. — С медперсоналом в Карамышском плохо, — поедете?

— Конечно, поеду! — подтвердила Манечка:

Село Лопухово лежало на взгорье, село было большое. Нытва давно уже осталась позади.

Повсюду говорили: взят Глазов! Но это было вранье. Алтухов понимал, что это вранье: никаких донесений не поступало, — только Добермейер кричал вопиюще: «Даеть Москву! Адмирал Колчак — на белом коне, а мы в столицу до него — на наших рыжих жеребцах!»

Жеребцов, кореплых, артиллерийских, чистили старательно, осматривали погы, задавали обильные корма: дорога сюда была трудная, коренникам досталось изрядно.

В доме, где стоял теперь Воловой, было просторно, чисто; вдовец-священник приветлив — бессменная улыбка, застывшая на губах, библейски тиха; дочка-поповна цухла, смазлива.

Большую часть дня Воловой проводил в штабе артиллерийского полка, — ходить туда Алтухову было запрещено капиталом. Вечерами на дом являлся порой поручик Латвинин, приносил бумаги, аккуратно уложенные в серую папку, — Алексею удалось однажды прочитать надпись: «Секретно».

Капитан просматривал бумаги, подписывал, одни возвращал поручику, другие прятал под замок в один из железных ящиков.

«Что там секретно?» — глядя на серую папку, думал Алексей.

Нередко Вячеслав Мартынович уезжал в штаб дивизии и в соседние пехотные полки и никогда не брал с собой Алтухова. Минувшим днем Воловой вповь ускакал в дивизию, обещал к ночи вернуться, но задержался.

Свободного времени оставалось излишне много, и Алексей пристрастился к пулеметному делу, заходил к пулеметчикам, принимал участие в учебных стрельбах. Унтер-офицер Егорушкин, что постоянно навещал капитана, частенько зазывал Алтухова к себе в пулеметный взвод, которым командовал, хвалил перед строем: «Хорошо «максимку» освоил — пулеметчик! Бьшь без промаха — глаз меткий! Вот что оно значит, старание!»

Унтер-офицер Егорушкин числился отменным пулеметчиком. Подобран, учтив, мягок в разговоре. Улыбочка почти ласковая. Худощав, хорошего роста. Бледное, пожалуй пригожее лицо, бесцветные, отсутствующие глаза. На коротко подстриженной головке маленькие, словно подрезанные уши.

Но эти глаза и уши все видели и все слышали, что совершалось и говорилось у артиллеристов, — в полку пошмеивались: «Просился Егорушкин в разведку — не взяли: слишком уши малы».

Егорушкин преклонялся перед Воловым. Командир полка Щукин выделял Егорушкина среди унтер-офицеров. Офицеры побаивались, делали поблажки.

Заместитель Щукина Кравцов не терпел унтера, хотя скрывал это от других. Солдаты звали его Сука. Привидели примеры, кто и чем поплатился за непочтение и трепотню. Там, где появлялся унтер-офицер, откровенные разговоры мгновенно прекращались — это не раз замечал Алтухов.

С утра Алтухов побродил по улице, дошел до конца села, вернулся. Смотрел, как жуют сено батарейные лошади. У церкви заметил двух незнакомых офицеров. Против них, упав на колени, неистово занося руки над головой, крестился человек в поддевке. Славословил:

— Благодарение господу! Освободителя, благодетели...

«Купчина! — подумал Алтухов. — Видно, дрянь прешрядочная!»

Воле забитой лавочки (там временно располагалась медчасть) стоял прислоненный к стене труп с лицом, растушеванным углем. Папироска, прилепленная к бесцветным губам, нацеливалась на прохожих, как будто мертвец показывал язык.

— Эй, Алтухов! — окликнули Алексея. — Ишь сыскалась родня среди бела дня?!

Махинин, помощник фуражера, стоял у перекрестка рядом со Сметаниным и манил к себе Алтухова своими длинными руками. За плечом Махинина покачивался мешок, папироска, так же как у мертвеца, была приклеена к губам. Но губы у помощника фуражера, крупные, чувственные, напоминали спелые помидоры.

— Эх, дорогуля! — Он подцепил Алексея под руку. — Пошли, по пути будет! — Притворно вздохнул: — Горькому искусству в царстве черни! Нету поля деятельности — таланту развернуться негде!

— Чего это ты? — изумился Алтухов.

— Скука! Что мне фуражная часть — прикрытие: сено пуля не любит — любят лошади! А я, понимаешь, артист! Кем только не был: поваром, столяром, коповалом! Но главное — смейся, паяцол! На вербах в ансамблях и сольно! В балаганах на Амуре, цирк — в Микусинске, театр эстрада в Барнауле — там и мобилизули! С профессией слезнули — хорошо, не вовсе с жизни.

Он рассмеялся раскатисто — голос у Махинина напоминал трубы органа.

«Ему бы в церкви, протодьяконом!» — подумал Алтухов.

— Ничего, милоч! Жизнь, не тухни, хоть последний шар запухни! Жизнь — первое: всё в ней! У меня мать еврейкой была, отец незаконный — русак: вроде я как ин-тернациональный, ни урод, ни гений, словом Гамлет семи-палатинский! Батяка жить любил весело, — продолжал он, — на веку, как на долгом волоку! Ну, а мать красавицей была, красивой всегда легче: па красивого смотреть, что с умным жить! Вот я воспитала, к чтению приростила. Страсть любил книжицы! И стал арти-стом.

Махинин скривил рожу, сдвинул папаху на затылок; глаза его перекошлись, крупные уши заметно задвига-лись.

— Уморить — нам это дело простое! Помню, в Иши-ме тогда еще не Щукин — Кусиков покойный, у Екате-ринбурга снарядом его разорвало — командиром был. Ушел я в город без увольнительной и па полковника пар-вался... «Как так?!» — кричит. Думал — изобьет. Ну, я ему тут изобразил свое расстройство. Сам по швам руки стою, а колени ходуном пустил, ушами задвигал и слезы фонтаном — пробилло полковника. Впжу — улыбает-ся. Тут я уж полностью ему свое искусство показал — весь мимаж!.. Потом повторять заставлял при офице-рах! — Махинин блаженно вздохнул. — Чуть попоюшка, клпчет: «Давай, Махинин!» Ну — даю. А мне — водка да закусь!

Они шли через площадь, забитую снегом. Ближе к до-мам, один в офицерском френче без погон, другой в ши-нели без кушака, босой, лежали двое. Оба низкорослые, плотные, круглолицые, как братья, оба вытянутые в струнку, оба окаменели на морозе.

— Эх, живой не без фатеры, мертвый не без моги-лы! — сказал Махинин, отворачиваясь. — В Нытву всту-пали — матроса сняли: агитировал! Залез на голую бе-резу и — речугу: к нам переходи, у нас лучше! Его и сняли. Пулей. Упал — голова в снег, как на ярмарке. Не испугался, видать, что снять могут.

— Значит, верил в то, что говорил.

— Верил? — с усмешкой переспросил Махинин. — А ты, Алтухов, как сюда попал — верил?

— По мобилизации.

Помолчали. Потом фуражир сказал:

— Так вот и я, христоробивый воин Алексей, — мо-билизованный!.. А у меня брат на копяx работал.

Пришли на копи под Алапаевском, дом его разорен, а сам в колодце ногами кверху. Жёну его потом в поселке разыскал: «Большевиком, что ли, стал?» Клянется — нет! Похоже, и верно. Брат. Больше на всем свете родни нет. А он в колодце, ногами кверху, и ноги белые, что известно.

— Может, не белые его расстреляли? — спросил Алексей.

— Может, и не белые. Только шахтера красные, будь им пеладно, не побили бы. Заметь, дорогуля, это закон у них уже, почву под собой не гадят, берегут. Вернуться если б пришлось — чтобы приняли. С почтением!

Он засмеялся деланно, и было не понять, осуждает или оправдывает он красных; посмотрел искоса, прикрикнул на Алтухова:

— А мы освобождаем — это понимать надо! Только вперед!

В его огромном мешке вздрогнуло, но Махинин, казалось, не обратил на это внимания.

— Что у тебя там, освободитель? — усмехнулся теперь и Алексей.

— Күри! — оглядываясь, нет ли кого поблизости, проищал Махинин. — Наша невестка все трескает: хоть мед да жорёт! — И повел глазами: — Поручик Добермейер обожают!

И приложив палец к губам — они стояли у дома Востового:

— Ты это, дорогуля, проглоти, о чем философствовали. На меня не пагадь, — сказал он, взглядываясь («Глазки у него, как у свиньи, светленькие!» — подумал Алексей). — Может, когда пригожусь еще. Ишь! Пага пёстру видит за версту! — тут же заметив востового, отрезал Махинин.

А Персиков кричал уже Алексею:

— Капитан прибыл, тебя спрашивал!

И фуражиру:

— Что, дружок, в мешке несешь?

— Мы с тобой дружки в обед, — неприветливо оборвал Махинин. — Обед не станет, дружить перестанет.

— А мешок-то грязен!

— А грязь не сало — помыл и отстал!

Так они стояли и перекидывались приговорками, пока, подойдя ближе, Персиков не коснулся рукой мешка.

— Мамочка! — Лицо его расплылось в улыбке, он зачмокал губами. — Курушки!

— А катись ты к чертовой матери! — отталкивая Персикова, закричал фуражир.

Алтухов вошел в дом. В большой комнате за обеденным столом без кителя сидел капитан Воловой, но не его первым заметил Алексей. Взад-вперед, взад-вперед, как зверь в клетке зверинца, ходил по комнате вдовец-священник. Наискось, по диагонали, и от окна к степе, и от стены к красному углу, где перед иконами лиловая лампада, и от угла к двери, и от двери к окну, и вновь по диагонали, наискось.

Библейская улыбка дрожала на его лице, как ответ затухающего огня. Порой он останавливался, заламывал руки, и тогда на мгновение улыбка гасла, лицо становилось мертвым; длинные полы подрясника и длинные буро-седые волосы переставали раскачиваться; он не то вскрикивал, не то шумно выдыхал воздух, отчего слов было не разобрать; и лишь последние, все повторяясь, как всплеск прибой, рассекали тишину комнаты:

— Василек!.. Василек!..

Тогда капитан, отводя папиросу ото рта, произносил наставительно:

— Успокойтесь, батюшка.

И, словно очнувшись ото сна, священник вновь припал к бегать по комнате. Останавливался, заламывал руки.

— Господин офицер, господин офицер, помогите! — страстный голос его сверлил воздух, а улыбка оставалась все той же библейской, даже горе не смывало ее. — Пожалейте отца, он только техническим, техническим был секретарем в сельсовете! Не идейно, поверьте! Техническим! Господин офицер, он пальцем никого... Василек!..

— Плохо, что не воздействовали, — вдруг тихо сказал Воловой и посмотрел на священника.

Но это был тот голос, страшнее крика, и те глаза, что пронзали человека.

— О, я же не предполагал, не уразумел, не предвидел! Господин офицер! Если бы я знал, если бы...

— Надо было не заблуждаться, — слова Волового звучали почти ласково. — Духовенство — одна из ступеней здания, которое мы восстанавливаем, и вам это знать следует. Вы должны были воспитывать, Тем более — сына,

Он отвел глаза от священника.

— Не тревожьтесь, бог милостив, батюшка. Сыпа ва-
шего, конечно, не тронут. Слегка пожурят. Мы караем
только активных.

— Господин офицер!.. Васплек, Васплек!.. Замолвите
о нем слово!..

«Неужели и этого расстреляют? — замерев у двери,
подумал Алексей. — Только за то, что он был техниче-
ским секретарем в сельсовете?»

И услышал, как, уже нетерпеливо, произносит Во-
ловой:

— Я сделаю, конечно, все, что смогу, поговорю с ко-
мандиром полка.

4

СИРЕНЕВЫЕ СНЕГА

За ночь поамело, но к полдню зазвенела капель. Ма-
хипин говорил: теперь весна свое возьмет!

Он стоял у крыльца в ругал ездových:

— Аллаверды вас в печень, ступайте к эйфеловой ма-
тушке! Все выдано вашим лошадам, что положено!

Махипин любил «подзавернуть» в ругани, п ездových
оседали, как коня, осажённые умелым возницей, отсту-
пали.

Лошади у Сметанина тоже сдали. Бурыи еще хорош, но
Ласка засекала ногу — нужно обмыть, наложить повязку.

Сметанина во дворе не было, когда подошел подпол-
ковник Щукин. Остановясь у крыльца, командир погля-
дел на лошадь — Ласка стояла близко к крыльцу — глаза
у него были павыкате, красные. Подполковник Щукин
слыл за страстного любителя коней.

— Лошадь не бережешь! — крикнул он на Алтухова.

«Глаза у него всегда красные, большие или от вод-
ки?» — подумал Алексей.

— Был бы на походе, показал бы я тебе кузькину
мать! Артиллерист, дерьмо!

— Так точно! — воскликнул Махипин, подходя к ко-
мандиру. — Дорогу б подправить падо, господин полков-
ник! Красные пробовали подравнять — не вышло! Не та
манпуляция!

Махипин говорил четко, по-деловому, как бы декла-
дируя о дельном. Напоминание об обстреле красных было

явно неприятно подполковнику: нанесен ущерб материальной части и людскому составу. Выражение глупого восхищения начальством, которое умышленно придавал сейчас своему лицу помощник фуражира, вызывало усмешку на лицах ездových — этого также нельзя было не заметить. Алексей с опаской поглядывал на командира: слова Махинина явно не нравились Щукину.

— Дурак, дрянь! — закричал он, набрасываясь на помощника фуражира. — Брюхо распустил, на передовую выгону!

Лицо Махинина оставалось неподвижным — не придраться, и это сердило Щукина. К тому же шинель на Махинине сидит хорошо — в талию, ремень плотно затянут, плечи развернуты. И на передовую не пошлешь: где найти другого такого помощника фуражира! Копи всегда сыты, ничего не скажешь. Золото, не фуражир! И это знает Махинин, и это веселит его.

— Так точно, господин полковник! — отчеканивает он.

— Зажрался! — Кулаки подполковника сжимаются. — Не солдаты — бабы! Научу язык за зубами держать!

Кулаки подполковника поднимаются, отборная брачь обрушивается на Махинина.

«Сейчас ударит!» — думает Алексей.

Но внезапно на вид трусоватый, покладистый Махинин чуть подается вперед. Движение это почти неощутимо, и тем неотвратимее оно; и Щукин сразу замечает это движение, замечает махининские кулаки, которые также незаметно поднимаются. Три человека стоят во дворе у квартиры Волового и с насторожкой ждут того, что последует.

Конечно, подполковнику стоит только выпнуть из кобуры пистолет, и все разрешится само собой. Но — «возмущение среди солдат», «преступные настроения» артиллеристов его части?! Все это весьма неприятно и может быть истолковано криво. И как поглядят на это в дивизию?

Как-то секунды Щукин колеблется. Потом, переломив себя, опускает кулаки, решает обратить недоразумение в шутку.

Обрывая ругань, он пристально вглядывается в Алтухова:

— Фамилия?

— Рядовой Алтухов!

— А! — мягче тянет Щукни. — Ты у Волового? Так! Вольно! Капитан у себя?

— Никак нет, в штабе, господни полковник!

— Доложишь, что заходил! — Кажется, Щукни желает что-то добавить: — Да! Смотреть за лошадью надо, лошадь — наши ноги!

Подполковник не спеша поворачивается, идет к воротам. Алексей видит, как пристально следит за ним фуражир; лишь только командир скрывается из вида, Махнин оборачивается к Алтухову:

— Видал? И то говорят: не тронь — запахнет. Сволочь! — И сразу остывает: — Ничего, Алеша, всякое видели! Сдается мне — чахнем! Все словно и так — «продвигаемся»! А больше-то мечемся, как собака, что по хребту ударили — нюх у меня на это. Ну, хай так! В соседнюю деревеньку, к сибирякам, еду: говорят, сибирские стрелки стога сена разнюхали в лесу.

Он повертелся на месте, закурил, беспокойно сплевывая — что-то тревожило этого всегда веселого человека. Последние дни Махнин был явно не в духе. Он уже не соревновался больше с вестовым капитана в остро-словии, словно позабыл все уральские и сибирские поговорки.

— Весна, Алеша! — сказал он вдруг. — Солнце! Вот и, матушки-бабушки-солдатушки, бабу мне надо!

— У тебя их всегда в избытке! — усмехнулся Алтухов.

— Я не о тех: ба-бу! Мою бабу. Аннушку. Тоска.

— Что это еще за Аннушка? — спросил Алтухов.

Махнин долго поводил плечами, усевшись на бревно, строил рожи:

— Есть такая, что в печенки зашла. Да где тебе такое знать! Гложет. Как червь изнутри. Жива ли она там, не испортил ли кто? Бабе одной быть трудно. А в наши дни! — Он свистнул. — Усмехаешься, дорогуля? Хорошо, что у тебя такой нет.

— А может, и есть! — почти выкрикнул Алексей.

Махнин не успел порасспросить Алтухова — Перспеков, выбежав на крыльцо, прокричал:

— Капитан идет!

И верно, во двор с улицы входил Воловой.

— Знаю! — прикрикнул он, останавливая Алтухова. — Не докладывай. Седлай коня — свезешь пакет. Срочно! И смотреть в оба!

Он поднялся на крыльцо, помавив за собой Алтухова, и вошел в дом.

— Седлай, седлай, — сразу повеселев, крикнул Алексею Махнин. — Выпг прискочу — кобыла оседлана, вместе поедем!

И верно, не успел Алтухов получить пакет и оседлать Гнедка, как Махнин вернулся. Кобыла у него была статная, поджарая, воропая.

— Где раздобыл? — спросил Алексей, взбираясь в седло.

— Уметь надо, — неохотно отозвался Махнин. — Двинулись!

— В оба смотрите, как через поле ехать! — крикнул им вслед Персигов.

— Понамело за ночь — перипа, чертов снег! Ходу копы нет! — ругался Махнин. — Этот Персиков еще мне дотошливый!

У разбитых ворот околицы они ненадолго остановили лошадей: свежие следы валенок бежали вправо — там, на утоптанном снегу, скрестив руки на груди, словно святой на старой иконе, еще не припорошенный снегом, лежал человек.

— Отслужил! — вздохнул Махнин. — Поповский сын. Секретарь тоже тебе сельсоветский, прости господи!

За несколько дней, проведенных в Глазове, Юрий Марков узнал многое: и повидал и понаслушался рассказов очевидцев. Железнодорожные пути были забиты эшелонами, спешившими на запад, — здесь скопилось немало теплушек с личными вещами всяческого пачальства. Военным составам пемоготу было продираться к фронту, а фронт требовал боеприпасов, питания.

В Совдепах, в штабах водились еще враги, встречались порой и в ЧК, кулаки лютовали в уездах; в губкоме, в Вятке, копилась тысяча пудов мяса.

Трудно было переоценить весь размах деятельности комиссии ЦК! Все подчинялось теперь здесь одному: все для фронта! Пути расчищались без жалости: кое-кто из армейского командования был смещен, кое-кто полетел с ведущих постов; снаряжение, продовольствие, надежные воинские части потянулись к линии фронта.

С конным Стальным Карамышским полком, в который направлены были из Глазова Марковы и Власов, пройдено уже немало верст. В Карамышском полку Марковы прижились сразу. Карамышцев трудно было полюбить — то оказались безотказные люди, стойкие, делившие друг с другом трудности походов, обожавшие своих командиров. Здесь не знали «не могу, не хочу, не сделаю». Бойцы говорили: «Хоть морду в кровь, а выполни!»

Само название «Стальной Карамышский» звучало легендарно — боевая история части, никем не записанная, жила в сердцах бойцов. И Юрий тоже боготворил теперь командиров, в особенности — командира, товарища Небывалова Павла Ефремовича.

Боевое крещение Юрий принял, едва вступив в полк. В тот день командиру полка пришел срочный наказ выбить мятежников из села Власовка. В эскадроне, которому поручалось провести налет, состояли теперь рядовыми конниками Марков и Власов. Марков посмеивался над Дорофеем: «Твоей фамилией кулаки прикрываются: Власовка!»

Незаметно подойдя к околице Власовки и выдав себя за казаков белого Барнаульского полка, эскадрон торжественно въехал в село. Вооруженные кулаки вышли на встречу «братцам-казакам» с хлебом-солью, крестясь и кланяясь. Но хлеб-соль карамышцы не приняли, вскинули ручные пулеметы, перебили изменников.

На обратном пути к своему полку шли эскадроны окружной дорогой и вновь повстречались с мятежниками.

Хилая деревушка поднималась на взгорье, — вниз по скату бежал человек в военной шинели. Карамышцы остановили лошадей, человек приблизился.

— Из десятого кавалерийского, что ли? — спросил человек, приглядываясь.

— Нет, не перебежчики! Мы из третьего, из Барнаульского! — усмехаясь, крикнул в ответ командир эскадрона. — Что же, веди к своим.

Но человек в военной шинели насторожился, взмахнул рукой, у деревни закопошились люди, и пулемет ударил по воздуху — быть может, для острастки.

— Сволочи! — слыпя конем человека, закричал командир. — Клинки наголо!

Лошади взвились, — подъем был нетрудный; рядом с Марковым уже яро рубились умелые конники, и Юрий тоже старался не отстать от своих друзей-товарищей.

Все это было давно, но Маркову постоянно вспоминались пройденные дни и первые походы.

Сиреневый ответ лежал на снежных завалах, сосны и ели плыли в сиреновом тумане, лес тянулся густой, чащобный — красота!

Юрий Марков торопил коня. Вечерело. Коня покрывались плеем, становились тоже сиреневыми. И Манечкина кобыла, час назад еще булавая, и караковый жеребец Власова, и гнедой мерин Степы Назарова. Глухо — ни души. Всю дорогу к мельнице (а существует ли эта мельница?) Маркову вспоминались первые походы.

Конь Маркова ступал мягко, проселок впляс среди деревьев, давно незженный снег лежал глубокий, сойдешь в сторону — провалишься. Ехали по одному, молча, выдерживая дистанцию на случай нечаянной встречи. Впереди на гнедом мерине — Степа Назаров, за ним — Власов, третьим — Марков; Манечка, подстав саженей на семь, замыкала отряд.

«Вот и едем — опять разведка. Хорошо! — подумал Юрий и вспомнил Алтухова, выругался: — Ух, бандюга. может, где-нибудь здесь и он прячется?!»

Ему стало смешно. Он посмотрел вперед: ели, ели, снег, ели-исполнены!

— Что ж, товарищ командир, мельницы этой не видно? — вдруг шепотом спросил Власов, придерживая коня и оборачиваясь.

Манечку рассмешил шепот великана кузнца.

— Дорофей Фомич! — крикнула она. — Муку готовят белые на мельнице! Дай им зерно смолоть, не спеши, а то зацапаешь их прежде времени!..

Юрию не понравилось Манечкино острословие. Не надо было ей ехать, со своей медицинской сумкой, в разведку. В разведке глаза и ухо держи остро, язык спрячь, поздрами впитывай воздух. Или как Павел Ефремович говорил: «Разведчик — чуй обстановку!»

— Помолчи, Маня, — сказал он тихо и резко. — Сейчас мельница должна быть. Не о муке, а о муке думай — разведка не шутка.

И верно, у полянки, что сворачивала влево, Степа Назаров натянул повод, остановил коня.

Юрий увидел поднятую руку Степы в дубленой рукавичке: на общем фоне она тоже выглядела спрессованной, подбодрил коня. Все трое одновременно подъехали к Назарову. Он указывал влево:

— Смотрите!

Влево, за деревьями, на снежной поляне, стояла мельница. За ней выплз — очевидно к реке — намечался спуск. Черное дерево угловатого, приземистого строения напоминало отшельнический скит — древние скиты Юрий видел когда-то в книгах, на иллюстрациях. Снег тяжелым настилом прикрывал мельницу, пластинами укутывал высокие ели; от спуска к реке, где деревья слегка расступались, шел как бы тусклый свет, хотя небо было стыло, затянутое облаками, и солнца не намечалось за ними.

«До чего красиво и страсть жутко! — подумал Юрий. — Ни человека, ни зверя!»

Он тронул коня, медленно, к спуску, объехал с разведчиками строение. Следов нигде не было видно, дверь замкнута, ступени покрыты снегом.

«А может, мука там припрятана, посмотреть следовало бы, — подумал Юрий и тут же решил: — Сперва спуск поглядим и речку, этой речкой и намечено вести обходное движение во фланг».

Конь уже ступали по спуску, когда Степа коснулся рукой своего командира:

— Юрий Алексенч, смотри, следы! Вон, левой, у ельничка.

Марков остановил друзей, поглядел в бинокль: свежие следы козских копыт поднимались к мельнице левее спуска и терялись на взъеме.

— Проедем верхом, смотреть в оба! — приказал он, заворачивая коня. И еще подумал: «Жаль, надо бы вправо поглядеть, да ладно, потом уже!»

Они вновь объехали мельницу, прошли шагом меж елей, но следов, выходящих на взгорье, нигде не смогли обнаружить.

— Пошарь на полянке, Степа, — сказал Юрий, — да смотри осторожней.

Назаров толкнул мерина, вылетел на полянку. И вдруг, по ту сторону проезда к спуску, за елями Марков увидел конника. Он стоял неправдоподобно бланко и недвижимо, прикрытый ветвями елей, и защитного цвета погон бугрился на его плече. Дрожь охватила Юрия, он

вырвал из ножен клинок, толкнул Власова: «Прикрывай!» и рванулся к коннику.

Как нанес он удар — Юрий не помнил. Он успел лишь заметить, что всадник вываливается из седла, запутавшись ногой в стремя; лошадь его заржала, взвилась на задние ноги и, почти падая на коня Юрия, понесла вшия к реке, волоча за собой раненого.

— Догнать! — закричал было Юрий, но услышал выстрелы и увидел мгновенно, как скатывается на шею своего гнедка Степа Назаров и пятеро конников, размахивая клинками, мечутся вокруг него по полянке.

Власов, притулясь к стволу ели и вскинув карабин, бил уже раз за разом по всадникам. Двое свалились один за другим, и лошади их металась, путаясь в опущенных поводьях.

Марков тоже сбросил с плеча карабин и выстрелил, но лошадь его толкнуло, он ощутил, что летит вместе с ней в снежный сугроб, и тут же острая резь расколола голову.

Он успел еще крикнуть:

— Дорофей, Маня, к своим!..

Пытаясь приподняться, увидел дикого власовского жеребца — по брюху проваливаясь в снег, он выбирался к дороге; и руку Дорофея, неустово размахивающую клинком; и где-то в сиреневой хмарь буланый круп Малечкиной кобылы. Но сизая хмарь давила на глаза, глушила, тушила мысли.

«Неужели все?» — еще подумал он и услышал, как шепчет Малечка: «Ну, ягодка...»

Он хотел спросить: «Что?» Но Малечка не договорила.

Алтухов сжал молча, чуть поотстав от Махинина. Дорога вилась приземистым лесом, в конце было поле, лошади шли крупной рысью. Поле тоже отовсюду замыкалось лесом, посреди поля вздымался холм, снег лежал на нем воздреватый, у холма виднелись окопы.

От опушки дорога на Лубки разветвлялась: кроме главной, уезженной и припорошенной снегом, в сторону за холмом сворачивала обходная, плохо пробитая, в ухабах; по пей, очевидно, и прошла пехота — следы валенок были еще хорошо заметны.

Махилин взял прямо, отклонившись от обходной, — он хотел выпграть время и аря не мучить кобылу. Дорога полегоньку взбиралась на холм.

— А здесь, пожалуй, захватит! — вдруг сказал он.

— Кого захватит? — спросил Алтухов.

— Нас — если захочет! — пояснил Махинин. — Неладно выбрал: видишь, никто здесь не ездит, следов свежих нет.

Кобыла его пофыркивала, Гпедко слегка припадал на засеченную, оббитованную у щиколотки ногу. Они проехали еще с полсотни саженьей, и пули над папахами просверлили воздух.

Из окопов всадникам махали, указывали на обходный путь. Пехота сразу ввязалась в перестрелку, поле затопила трескотня.

Махинин повернул кобылу, и Алексей увидел, как, топчя снег, проваливаясь и хрюпя, понесла она Махинина вправо от дороги; толкнул Гпедка, и Гпедко, так же проваливаясь и отдуваясь, испуганно заковылял за кобылой.

«Вынесет ли?» — подумал Алексей.

Он поднял нагайку, подбадривая коня, но Гпедко равнулся, вытянул шею, задрожал и стал падать.

Что-то теплое потекло по ноге Алтухова; и уже лежи, неуклюже пытаюсь высвободиться из-под навалившегося на него Гпедка, Алексей подумал: «Видно, не вынесло — ранен».

Он лежал ниже холма на плоском валуне, пули цели высоко; из раскрытой лошадиной пасти била кровавая пена. Потрогал рукой ногу — рукавица окрасилась красным, но боли он не ощутил и тут же заметил на лошадином плече, к которому на скаку припадал иначе, голос, красно-розовое пятно.

«Немного выше — и лежал бы я, а Гпедко скакал бы по полю, — подумал Алексей. — Или это судьба?»

Поле умолкло мгновенно. Руки становились легкими, валялись в снег, и только бедро наливалось чугуиной тяжестью.

— Алешка! Алешка! — словно издали услышал и не признал он взволнованный окрик.

Холодный снег окропил лицо, глаза приоткрылись: черные, сильные ноги махавинской кобылы взвихривали у виска снежные бураны.

— Алешка, жив?

Махинин соскочил с седла, приподнял голову Алтухова, с трудом вытащил друга из-под Гпедка.

— Ранено? Ишь беда!

— Нет, — проговорил Алексей. — Только бедро. Силы уходят.

Руки Махинина уже шарпили по Алешкиному телу.

— Ничего, пройдет — придавило! Ранило — было б хуже! — Вытащил из кармана шинели фляжку. — Пей, враз легче станет!

Горячая влага потекла в горло, Алексей отстранял флягу.

— Пей, пей! — настаивал Махинин. — Ничего, Алеша, доведу. Кобыла двоих вынесет. Мигом!

5

ИСПЫТАНИЕ

За три дня до переезда в село Травниково Алтухов ходил уже по избе слегка прихрамывая: кровоизлияние — по все бедро, но кость цела. Махинин часто навещал Алексея, веселил. Заходил Егорушкин.

Травниково гнезилось в низочке. Позиции для обороны были бы здесь крайше неудобны, но никто и не запкался теперь об обороне: «На Вятку — на Москву!»

Добермейер, батарея которого стояла в соседней деревушке, захватив в Травниково днем, заглянул к Воловому — капитан был в штабе.

— Генерал Ханжин выходит на Волгу!.. — кричал он захлебываясь. — Бугульма, Бугуруслан!.. Генерал Белов... Еще удар, и конец красным!

Но выглядело это так, словно подбадривал он самого себя.

Потом он хлопнул Алексея по плечу, усмехнулся:

— Ну, как? Что плепные сообщают?

Добермейер знал уже все: красных разведчиков привезли в Травниково мишувшей ночью. Их захватили конники, высланные вверх по речушке обследовать, пройдет ли там артиллерия. Речушка оказалась явно непригодной для продвижения.

— Я бы не церемонился — в расход! — восклицал Добермейер. — Все равно набрешут, такой уж народ. Помню, допрашивали мы под Кунгуром одного типа...

Алтухов не слушал, он знал — последует сплошная мерзость.

— А может, перебежчики они? — прошипел Персиков.

— Какие там перебежчики?! — прикрикнул на него Добермейер. — Были бы перебежчики — помпловали бы. Мы не красные! Те всех расстреливают, кто к ним перебегает.

Это было тоже не ново — всюду говорили о том, что перебежчиков красные не милуют; унтер-офицеры твердили о том неустанно.

К вечеру к Воловому зашел Кравцов.

— Как нога, Алтухов? — спросил он, проходя к лавке и усаживаясь.

— Спасибо, господин капитан, в порядке.

— А капитан Воловой ушел давно?

— Так точно, с полдня.

— Садись! — Он пристально посмотрел на Алексея, в избе никого не было, Сметанин вышел проведать коней. — Болит?

— Немного, господин капитан!

— Вольно! Не величай! — Глаза у Кравцова, как всегда, были печальны, но говорил он весело: — Шел бы назад в полк, артиллеристом тебя сделал бы. Воловой, конечно, боевой офицер — заслуги в прошлом перед Россией у него имеются... Ну, ждать капитана не буду.

Он быстро прошел к двери и вышел.

«Странный человек, — подумал Алексей. — По службе, говорят, строгий, к солдату внимателен, блестящий артиллерист. Волового не терпит».

Говорят, у Кравцова высокая поддержка в дивизии. Но держит себя просто, на серебряном блюде не подносит. Вячеслав Мартынович, конечно, другого склада — его не поймешь! Был боевым офицером в прошлом? Возможно! Говорят, так. Сып мелкого чиновника, но к «знати» тянется. К солдату презрительен. Откуда это «презрение к черни»?

Персиков прервал размышления, ввалился в избу с шумом, с воздыханиями и хихиканьем:

— Деваху подцепили! Один-то... из красных... из разведчиков... деваху! Малинка! Дал б мне! Я б спросил!.. А зубки — вокруг прорубки белые голубки!..

Персиков долго разглагольствовал еще о пойманных разведчиках. Алтухов не слушал. Надев полушубок, он вышел, наказав вестовому:

— Вячеслав Мартынович вернется — скажешь, я на минутку.

Светило солнце, подтаивало. Алексей побрел вправо, улочка бежала к лесу. У сарая, заваленного снегом, стоял солдат.

Алтухов признал его: кто-то дал прозвище этому солдату: Петров-длинноносый. Прозвище прилипало к человеку прочно.

— Кого караулишь? — крикнул Алексей.

Длинноносый шикнул, кивнул на дверь сарая:

— Капитан!

— Воловой? — спросил Алтухов.

— Нельзя, — вновь зашикал Петров.

— Меня не заругает, — сказал Алексей. — А заругает — ты не в ответе!

Он приоткрыл дверь, спросил: «Разрешите?» и вошел согнувшись. Сарай был темен и пуст, только напротив, у самой стены, громоздился не то ящик, не то ларь для зерна. Он припирали корявую доску или, быть может, вторую, забитую дверь — разглядеть было трудно.

Алексей посмотрел на окно и увидел пленного: у крохотного окошка, со шрамом у брови, стоял Юрка Марков. Полушубок распахнут, шапки на голове нет, волосы и висок в крови.

«Юрка!» — Алексей не мог отвести глаз и боялся, что проговорится, выдаст...

Теперь только заметил он и Волового. В руках капитана тускло поблескивала сталь пистолета, капитан кричал:

— Нашим морды сечете!

Юрия, казалось, не испугал этот крик.

— Контрразведчик, беляк, сволочь! — закричал и он, не глядя на Алексея, словно и не замечая его прихода; подался на шаг в сторону, как для прыжка. — Шкура белоохранительская!

Но Воловой рывком метнулся к Маркову и дважды ладонью ударил по лицу пистолетом.

— Вон отсюда! — заревел он теперь на Алтухова. И вновь на Юрия: — Не скажешь — расстреляю, комиссар жидовский!

Алексей, как от удара, вывалился из сарая. Подтаивало. Большое бедро пыло.

Он бежал по улочке, мимо домов, как будто этим бегом и можно было только помочь Юрию. У леса Алтухов

остановился. Улочка упиралась в холмы снега. «Юрка?.. Жизнь Юркина упиралась сейчас в ствол пистолета. Идти вперед было некуда. «Юрка!» И Юрке было некуда идти, некуда податься: четыре стены, оконце, сквозь которое только мыши пролезть, пол, два патрона! А Юрка не скажет, не скажет, значит — смерть.

Где-то за спиной все еще гремел голос капитана. Алексей повернулся и пошел обратно...

...Я шел от леса, мысли пережегались, сталкивались, и я не знал, что делать.

Надо спасти Юрку!.. Не спасешь!.. Погиб!.. Поджечь сарай?.. Убить?.. Сразу заметят — не уйти Юрию.. Петрова-длинноносого тоже убить?.. Упросить Волового?.. Нет, заподозрит, не освободит!.. Молчать — вида не подавать, что знаю, вернуться... Вернуться, чтобы вне подозрения!.. И придумать, обязательно придумать!.. Что придумать?

И я услышал, как кричит в лицо Волового Юрий: «Коптрразведчик, белогвардейская шкура!»

«Так неужели капитан из коптрразведки? — подумал я, и мне стало страшно, мысль обожгла меня: — И я же замечал, не видел!»

И сразу все, что было связано с Воловым, всплыло предо мной. Так вот в каком «штабе» занимал Вячеслав Мартынович «видное место», перед тем как направлен был в армяно? И Иринка, конечно, тоже не знала этого, не могла знать, объяснить.

Так вот почему постоянно пасажал в дивизию капитан Воловой... «прикомандированный в помощь штабу» артиллерийского полка! Штабу, куда мне запрещалось являться. Вот почему совершал так часто свои таинственные поездки в соседние полки капитан... а Добермейер, Кравцов и сам комполка Щукин приходили справляться, не дома ли Вячеслав Мартынович, давно ли выбыл и когда ожидается?

И память все подбрасывала и подбрасывала мне — пакеты, поступавшие лично Воловому: срочные, срочные! И серую папку поручика Латвинина с надписью: «Секретно!» И бумаги, которые поручик вынимал из нее, а капитан подписывал и клал под замок. И эти железные ящики (никогда не оставляемые без присмотра), которые возили мы вместе со Сметаниным.

И я увидел вновь в душной пэбе бабу, что неуклюжо дергала задом, и хлыст капитана, и тело поповского сына, «технического секретаря», еще неприпорошенное снегом, и трупы расстрелянных по подозрению «в сопричастности к большевикам».

И Юрия Маркова, у крохотного оконца сарая, и пистолет, которым бил его по лицу Воловой.

Контрразведчик! Нет, больше служить у него не буду, решал я, не буду, хоть что, хоть расстрел!

Но Юрка — как помочь Юрке?

Ноги не слушались, несли мимо пэбы, где стоял капитан.

«Сейчас не могу, не могу, — думал я, — выдам себя, всем выдам — по лицу поймет».

Мне припомнилась ухмыляющаяся рожа Персикова: «Вокруг прорубки белые голубки... Деваха!..»

— К черту деваху! — крикнул я и оглянулся в опасении.

Рядом никого не было. Я вновь прошел до околицы — у сарая по-прежнему стоял длинноносый. Я посмотрел на сарай — с той стороны, пожалуй, была все же вторая дверь, но подойти не решился.

Вечерело, когда я вернулся в пэбу.

На столе чуть коптила лампа. Друг против друга, как на празднике, распрямив плечи, сидели два капитана. Воловой угощал Кравцова, пили из стаканов, уже не по первому.

— Кто еще там? — недовольно спросил Воловой и, поглядев на меня, пробурчал: — Ложись, отдыхай, утром поедешь в Пермь.

Я подумал, что он оговорился или я ослышался.

Сметавица и Персикова в пэбе не было.

Я прилег на скамью, подвернув под голову полушубок. Тело чесалось. Подумал: «Вши!..» И еще: «Как помочь Юрке?» И все поплыло перед глазами.

Алтухов проснулся как от толчка.

«Юрка?!» — подумал он, но Юрки не было.

Очевидно, он спал недолго, потому что оба капитана по-прежнему сидели за столом.

Алексей вновь закрыл глаза и прислушался к разговору.

— Да, союз-ни-ки! — говорил Воловой. — Они настаивают на темпах, и считаются с этим необходимо. Ты, Петр Васильевич, поминяй мне, к идеалистам не причислен.

— Но и в монархисты не зачислен.

— А ты как мыслишь: есть еще цная платформа? Ты что — меньшевичок?

— Я ни в какой партии не состою и не состою, ты, Вячеслав Мартынович, знаешь это. Но за монархом не пойдут: не то время.

— Плевать мне, «не пойдут!» — запальчиво выговорил Воловой. — Виятовки погонят!

— Я имею в виду более широкие круги. Те, что готовы дать нам деньги. И всяческую поддержку. Купечество, промышленники, интеллигенция. Как бы не оттолкнуть. Да и тех, кого называешь «меньшевички». Этот народец ненавидит красных. Ты дай ему только немного поговорить — по-бол-тать! Не перетягивать вожжей — нельзя этого не учитывать, Вячеслав Мартынович, и ни к чему переходить на личности.

— Полно, — вдруг примпрительно сказал Воловой. — Обидеть не хотел. Прости. На душе у меня сегодня такое!.. Полюбуйся! — Вячеслав Мартынович вскинул руку. И Алексей, приоткрыв глаза, заметил на кисти капитана запекшуюся кровь.

— Поверь, в мыслях не имел! А все эта большевичка!.. — Капитан говорил теперь тихо, беззлобно. — Думал, по-доброму. Спрашивал ее, спрашивал... Скажи, Петр Васильевич, из какого материала сделаны эти бабы? Ни слова по сути, все около да с издевочкой... И стало мне жаль ее. И, знаешь, смотрю, баба сочная, и так свежатины захотелось. Ну, право! — Он провел рукою: по горло. — Думал, отпущу, отправлю в тыл, жива останется. А она меня — зубками, и ни в какую. Ну, не стерпел, сама виновна. Теперь на огородах валяется, за штабом, дура. Да черт с пей, не таких приходилось: каких людей, Петр Васильевич!.. Выльем.

Алексей заметил, что Кравцов стакана не поднял.

— У тебя расстроенные нервы, — сказал он.

«Сволочь, дерьмо, стрелять таких Воловых мало!..» — кричал про себя Алтухов, а Воловой говорил монотонно, нудно. Мысли сбивались, паскакивали одна на другую. Укачивало, как в поезде. Алексей отвернулся.

Наверное, он вновь заснул: когда глаза увидели всю ту же бревенчатую стену, грязный потолок, стол с бу-

ылками, разговор капитанов не был уже тем спокойным, как раньше. Воловой постучивал стаканом о столешницу, сидел развалиясь, раскинув ноги; Кравцов, напротив, выглядел подобранным, строгим.

— Мы, Вячеслав Мартынович, все родное оставили, все идеи растеряли, — говорил Кравцов. — В Самаре и где-то еще у черта на куличках. Ду-ма-лп, как яп смешию, о родине! Пропадет без нас великая держава!.. Увезли с собой с Волги одну шинель и офицерскую, русскую честь... которую теперь пропиваем... Давай хоть раз откровенно. У Щукина в Орловской — свои конные заводы, помещаю на лошадях. Покойный Измаиловский — у него под Тамбовом было поместье. У Добермейсера, у отца, хрустальный завод. А у нас что, господин капитан? Ниче-го! Шли потому, что не верили, что чернь может править.

— Философствуешь!

— Нет, — твердо сказал Кравцов. — Боюсь, оттолкнем всех, одни останемся.

— Брось молоть чушь, — заплетающимся языком прервал капитана Воловой.

Алтухов незаметно приподнялся, взял полушубок, прокрался в сени, вышел. Деревня спала. К ночи прихватило морозцем, — Алексей шел мягко, валенки чуть поскрипывали. В конце улочки он остановился, замер: сидя на снегу у сарая, спал часовой.

Алтухов оглянулся, перебежал улочку. Замок на скобе был не замкнут.

Подумал: «А что, если ту, вторую дверь изнутри?.. Но если зацапают?..»

Снял осторожно замок, приоткрыл дверь и вошел в сарай.

Юрий все так же стоял у оконца. Он не двинулся с места, не ответил на шепот: «Беги, Юрка!» Но ждать не было времени — часовой мог проснуться, закричать.

— Юрка! — вновь зашептал Алексей. — Беги, беги.

— Чтобы «при попытке к бегству?» — вдруг спросил Юрпй. — Бандит, кончай сразу.

— Дурак ты! — уже зло прошептал Алексей. — Давай здесь! — Он кивнул на ларь у стены. — Скорее: зацапают — конец.

Кажется, впервые за годы дружбы он увидел, как растерялся Марков.

— Ядрена копалка... Леха?.. Так ты?..

Он уже хватался за ларь — ларь был вовсе не так уж тяжел, помалу он поддавался их рукам, без скрипа отлипал от стены. И Алексей с облегчением убедился: за ларем была дверь.

Они палегли на нее с силой, но она не поддавалась. Только одна доска чуть покачивалась.

— Пстой, вот доска, — зашептал Юрий, — ее падо. Давай, давай, Леха!

Они вновь навалились на дверь, на доску, доска качалась, но снег припирал ее с той стороны, мешал.

— Давай, давай, — молил Юрий, кровь узенькой струйкой текла по его щеке, но он не замечал ничего и повторял только: — Давай, Леха!

Страшный треск оборвал его слова, или это показало Алексею, — головы их упирались теперь в проем между досок, в снег, в лицо била пороша.

«Все, конец, часовой!» — он не мог отстраниться от двери, встать. Но Юрий уже разгребал снег, лез в пролом, руки его дрожали.

— Пролезу, пролезу, ничего!.. — шептал он. Ноги его были выше головы. — Подсоби малость, Леха... Спасибо...

Он копошился в сугробе, словно плыл в густой белой лавине.

— Леха!

Он уже выгребал из сугроба.

— Манечка! Манечка!.. Не знаю, вышла ли?..

— Беги! Беги! — торопил Алтухов.

Взгляд у Юрия был пустой.

— Друг!.. Спасибо!.. — еще раз прошептал он, отвернулся и смешно, как заяц, запрыгал к лесу.

«Все! Как же теперь я?» — подумал Алексей, но страха не испытал.

Он подошел к двери, прислушался. Приоткрыл. Часовой спал. Вышел, навесил замок. Осторожно выбрался на дорогу.

«Ни души! Слава богу! Юрка!..» — подумал Алексей и пошел, сдерживаясь, чтобы не побежать.

Знобило, зуб не попадал на зуб. Алтухов шел по пустому Травникову, окна многих домов светились, но людей нигде не было видно.

«А почему я не побежал вместе с Юркой?» — вдруг спросил себя Алексей и услышал, как окликают его:

— Что бродишь — в лесу грибы ищешь?

То был Сметанин. Он сидел на перилах крыльца, и Алтухов разом признал избу Волового. Сметанин смотрел на Алексея, посмеивался:

— Поздненько!

— А сам что не спишь? — спросил Алтухов. — Может, тебя искать ходил?

Он подождал, не ответит ли Василий, и пошел мимо, нарочито не торопясь. У дома, где стоял штаб полка, остановился. Огляделся. Страшная мысль вдруг сковала его: «Что наделал, что же теперь будет? И как же Юрка? И что с тем часовым? И что со мной?..»

Он постарался загнать эту мысль поглубже, но она возвращалась. Потом он вспомнил о Манечке и подумал: «А что, если это она?»

Он прошмыгнул в калитку, во дворе лаял пес, было видно, как за окнами штаба двигаются люди.

Алексей побежал. Вот и огорода, заметенные снегом. «Теперь на огородах валяется!..» Свежие следы: видно, шли двое, оступались. Вот и труп. Женщина лежала между грядами, утоптанными валепками. Военная форма, рост небольшой, ворот гимнастерки расстегнут, гимнастерка в пятнах, голова завалилась, запорошена снегом.

Алексей подошел вплотную, нагнулся, чтобы поднять голову этой женщины, увидеть лицо.

Он приподнял голову — теперь он хорошо видит лицо, залепленный снегом лоб. Светлые волосы тоже забиты снегом, бескровные губы, глаза тусклые.

«Хорошо, что лицо не исковеркал», — думает Алексей.

Он выше приподнимает голову, но голова сразу выскальзывает из рук, словно Манечка не хочет, чтобы на нее смотрели. Он нагибается и снова приподнимает голову, но голова каждый раз падает в снег, зарывается глубже. И Алексей не может удержать головы Манечки.

— Манечка! Манечка! — говорит он и идет назад, к дороге.

У избы Волового с верховыми лошадьми стоял перепуганный Персиков. Еще издали, увидев Алтухова, он замахал свободной рукой, заверещал:

— Где провалился? Уходим сейчас — тикаем! Разведка донесла, по большаку наступают, уж спля! Канитан бешепствует: позиции здесь плохи, пулеметчиков к большаку выслали. С Васькой канцелярию в Лопухово

повезете, а мы с капитаном вперед верхами. Сейчас только Васька того пристукнет: капитан приказ отдал — разведчика красного пристукнуть! Ох, не хотелось Ваське! Давай беги, что стоишь!

«Пропал, все сейчас узнают!» — подумал Алексей и услышал выстрелы.

— Одни! Еще! Дает Васька! — с замиранием протянул Персиков.

«Пропал!» — еще раз повторил про себя Алексей и, оттолкнув вестового, вбежал в избу.

В своей серой офицерской бекеше капитан стоял у стола, оправлял поясной ремень.

— По бабам шляешься! — язык у него ворочался туго. — Сметанин придет, погрузите ящики. До Лопухова поедете вместе. Там разыщешь меня. Ясно?

— Так точно, ясно, господин капитан!

Сметанин уже стоял у двери.

— Выполнено, как приказал! — твердо докладывал Сметанин.

— Слышал. Пошли!

Ящики оказались погруженными. Воловой не без труда взобрался на кобылу, сказал:

— Если и отступим, то ненадолго.

Махнул рукою Персикову — быстрее! Лошадь уже уносила вдоль улицы его серую бекешу. Со стороны леса ударил пулемет.

Алексей с ненавистью смотрел вслед.

«Пулю бы между лопаток!» — думал он.

В Лопухове Алтухов застал Вячеслава Мартыновича в доме, где стоял ранее штаб артиллерийского полка.

— Довезли в исправности? — спросил капитан, увидя Алтухова. — Так! Этот пакет доставишь сейчас же в Пермь. Хранить как зеницу ока. Потеряешь — расстрел!

Он отвел Алексея к окну.

— Это передашь Ирине Сергеевне. Лишнего не болтать: все в письме. Недельку — дней десять побудешь дома. И назад.

— Нет, — сказал Алексей, — лучше в полк, разрешите.

— От меня удрать захотел? — спросил капитан. — Но отпущу. Слов своих не нарушу: зарок дал! — Смех искавил лицо Волового, оно дергалось, багровело. — Мол-

чать! — Потом, до хруста выламывая переплетенные пальцы: — Ладно, забудь об этом.

— Лучше в полк, — повторил Алексей, — прошу.

Становилось страшно, но он стоял вытянувшись, не шевелясь, всем видом своим стараясь не выдать страха.

— Щенок! — Воловой говорил тихо, но это был тот голос, мороз пробирал спину. — Запнешься еще, — худо станет. Пальцы грызть себе будешь, Алтухов. Пошел!

Когда Алексей вышел на крыльцо, у однокошной подвода уже поджидал его Сметанин.

— Вот подвода, что приказано тебе подать! — сказал он, нескладно улыбаясь. — Кати в Перму — ни пуха тебе, ни перьев! — Склонился к Алексею, проговорил тише: — А я думал, ты гаже, Алешка! Ну, бывай, трогай!

На путях к Перми Алексей не раз возвращался к этим словам.

6

ДОМА И НЕ ДОМА

Таяло. Словно пеплом покрывалось, серели снега, обнажали землю. Под полозьями плыли дымящиеся, талые воды, шуршали камни.

«Прощайте, Вячеслав Мартынович!» — зло думал Алексей.

Под Пермью дорога расползлась вовсю, гуще пахло сырой землей, известью; город показался Алексею замызганным, одряхлевшим, Кама — трясной, взбухшей.

«Вот сейчас буду дома, — думал Алеша, — маму увижу, Юльку. Сдам допесенки, сбегая к Иринке! — Но сердце не заполняла радость. — Отвык от мирной жизни, честное слово, отвык!»

Знакомые дома уже мелькали перед Алтуховым. Сани скребли булыжник, возница ворчал.

— Давай, кати назад! — крикнул Алексей, соскочил с розвальней, помахал рукой с тротуара, побежал, пытаясь припомнить: сколько же это времени прошло с того дня, как уезжал он из Перми?

Но все отвлекало его. Вот и церковь из красного кирпича, сейчас поворот, а если подниматься вверх и вверх — там дом Иринки. Да, еще семь кварталов до мамы, всего семь! Было утро, низкое солнце золотым серпом срезало крыши, окна вторых этажей блестя;

женщины шли с коромыслами, несли воду; покачивались ведра; мальчишки уже играли по дворам в вечную войну.

На перекрестке он налетел на щегольскую пролетку, кучер обругал его, патягивая пожжи, лошадь заупрямилась. Алтухов посмотрел на седока и узнал в нем Смазова.

Встреча была несвоевременна и нежеланна. Он хотел отвернуться, но все продолжал разглядывать Смазова, его самодовольное, сытое лицо, руки в перчатках, которыми он обнимал и поглаживал свой пухлый портфель; и Афанасий Иванович признал встречного.

Приподнимаясь, придерживал кучера за плечо, он закричал:

— Алешка! Нет, черт, живой! А мы вчера еще вспоминали, Лидка даже к Марии Павловне бегала!

К счастью, Афанасий Иванович спешил по делам, времени на «большой разговор» не оставалось.

— Зайду, честное слово зайду! — прокричал Алексей, перебегая улицу.

Еще десять, восемь, пять домов, два — вот! Алтухов бежал к крыльцу, не признавая ни знакомых заборов, ни голых тополей. Он узнал за дверью шаг матери; руки ее торопливо поворачивали в замке ключ — дверь отворилась.

— Мама! — по-детски зашептал он, бодая ее головой, и стал целовать заметно постаревшее родное лицо.

Юлька Орлова жила теперь вместе с Марией Павловной. Мать Юльки, вдова, еще в марте обвенчалась с полковником, приехавшим в Пермь из ставки Колчака. Пышная свадьба состоялась в кафедральном соборе — об этом рассказывалось по всему городу, но дочь на свадьбе матери не присутствовала. После свадьбы молодожены выехали в Омск.

В комнате его все оставалось таким, как месяцы назад, когда Алексей уходил на фронт. Даже ручка на его столе. Он заглянул в чернильницу. «Видно, подливает чернила, не высохли!» Чистое полотенце висело на спинке кровати. «Ой, мама, мама! Есть ли еще в ком такое сердце!» Во дворе уже поднялся тонкий дымок — Юлька растапливала баньку.

Но все это — и чернила, и ручка на столе, и полотенце, и то, как поднимался из трубы баньки дымок, — все

отстояло. Алексей не знал, как иначе оговорить то, что он ощущал теперь здесь. Было далеким, чужим? Нет, конечно. Навным, чуть смешным — пожалуй! А главное — *отстояло.*

«Словно я сюда после своих похорон забрел, — думал он, — и всякая вещь, и сама комната, даже воздух, как в детстве говаривали, «пензаправдашские». Жил вот здесь и ничего не знал о жизни некий Алексей Алтухов!»

В этот день Алексей, казалось, и вовсе не мог погнуть бабки. Когда же это мылся он в последний раз — вся жизнь на полозьях! Тело зудело, грудь была расчесана. Два раза в предбанник стучалась Юлька, и Алексей вскрикивал с азартом:

— Жив! Пусть мама не волнуется!

И вот наконец сидит он в кругу родных людей — чистая скатерть, чистые тарелки, салфетка у прибора. И снова все это далеко *отстоит* от него: как будто из другой жизни вынута и положено на блюдо вместе с поджаренной картошкой.

— Ты Расскажи хоть что-нибудь, — просит мать.

Какие у нее изболевшиеся глаза! И у Юльки тоже измученные.

«Но что рассказать? — думает Алеша. — Что рассказать? И потом, нужно еще ведь зайти к Иринке».

— Знаешь, мама, рассказывать нечего!

Но он все же рассказывает: про «бугры» на поле у Нытвы, про обстрелы, про убитого Гледка, про Махивша (это, пожалуй, может позабавить!). И замечает, как сжимаются их лица.

— Нет, право, рассказывать нечего!

И вновь рассказывает.

Он не говорит только о капитане Воловом и о Марковых.

...Был уже вечер, когда я открыл дверь ее дома и увидел Иринку.

— Господи, Алеша, Алеша! — проговорила она и стала пятиться, как будто это был не я, пока не уперлась спиной в косяк двери своей комнаты. — Алеша!

Я подошел к ней, ее губы дрожали, мплые, ненавистные губы, и я стал целовать Иринку. Я целовал ее губы,

глаза, лоб, и она не отстранялась, не отводила лица, отвечала.

Потом она сказала:

— Довольно, Алеша, — погладила по лицу. — Приехал, жив? Я все не верю. Сейчас прибежит Ирка, она во дворе. А мама болеет, лежит, пройдем к маме, Алеша!

И мы пошли к Марии Панкратьевне, и она заплакала, увидев меня, а Ирка, прибежав со двора, вся в снегу, обвиняла, покрывала: «Мой дядя, мой дядя Лёма!»

Я отдал Иринке письмо Вячеслава Мартыновича, но она не стала читать, спрашивала, и я отвечал и рассказывал обо всем.

Потом она спросила:

— А оп?

— Что он? — сказал я. — Оп в боях не участвует.

И тогда она спросила еще: правда ли то, что ей написали, и показала письмо — оно было без подписи. И я рассказал ей все, что видел и что знал теперь о Вячеславе Мартыновиче Воловом, и о Юрке, и о Манечке.

Я знал, что это жестоко, но не мог иначе. И я сказал, что не вернусь к Воловому и что, наверное, то, о чем рассказывалось в письме без подписи, — тоже правда.

Лицо ее побледнело, я боялся, что она заплачет. Но она не заплакала, сказала:

— Я и тогда уже думала, что это так. Но он отрицал, не признавался.

Я не мог снять тяжесть, придавившую ее, слова застревали в глотке.

— И расстреливает, и пытается, и мучает, — как в бреду, не слушая меня больше, говорила она. — О, в нем есть это, есть. Я не могу больше, я все вижу кровь, я не хочу, чтобы мои руки были тоже в крови, и руки Ирки.

— Тогда уйди от него, — сказал я, по Иринке, казалось, не слышала меня.

— Я ненавижу его, ненавижу. Пальцем до него не дотронусь. Кончится война — уйду. Все равно когда-нибудь кончится. Ты мне веришь, Алеша, уйду. — И опять: — Пытает, расстреливает...

Я старался успокоить Иринку, но она не слушала.

— Нет, не сейчас, не сейчас. Ты не знаешь, какой он, па что способен. Тебя не покажет, Ирку. Он сейчас в силе, Алеша, он все может.

Я пытался остано­вить Иришку, но в глазах ее стоял страх, и она все говорила:

— Он убьет. Он все может.

Дорофей Власов, при­жав к столу и колотя кулачи­щам по столешнице, не­п­сто­в­ст­во­вал. Но Павел Ефре­мо­вич по­п­п­м­ал, что творилось сей­час с разведчиком.

Вместе с Небываловым, на­су­пясь, смотре­ли на Вла­со­ва его товарищи. Великая беда постигла друзей — Степа Назаров убит. Марковы Юрий и Мавечка схвачены бе­зы­мы — сомнения быть не могло: замучены, убиты.

Не воз­п­ка­ло сомнений и в том, что все возможное для спасения их Доро­фе­ем Фо­ми­чом было сделано.

Никто не об­мол­вил­ся словом: все было ясно и не­ис­правимо, и вина в том не лежала ни на тех, кто погиб, ни на этом добром разведчике, что уделел.

Власов оторвал на­ко­нец от столешницы кулаки. Об­вел глазами язу, бойцов и командиров: без испуга, твердо и не вопрошая глядели его глаза, ни­ко­го, кроме погибших друзей, все еще не видевшие. Вернулся взглядом к Павлу Ефремовичу.

— Расстреляй. Сделай м­п­ло­сть. — И опять нельзя было это назвать голосом человека; казалось, нутро человека выворачивалось в муке и хрипоте.

— Вот что, Дорофей Власов, приказываю, — пет­ро­п­п­ливо проговорил комполка, — приказываю: по­ди, вы­спи­сь. Расстреливаем врагов, трусов, предателей. Тебя среди них не числим.

Власов встал пошатываясь. Друзья вздрогнули, под­хватили под руки, повели к себе: человеку нужен был отдых.

Комиссар Грузденко сидел чуть поодаль на табурете. Так и не раскуренная сигарка по­кру­чи­ва­лась в его длин­ных и белых пальцах. Лицо, всегда розовое как у де­вушки, выглядело блее обычного.

Когда Власов и друзья вышли, Грузденко встал, до­шел до двери, подергал без дела, как будто хотел убе­диться, плотно ли замкнута дверь. Вернулся, подтянул табурет к столу, взглянул на Небывалова:

— Павел Ефремович, что думаешь делать?

— Наступать, — обрубил Небывалов и разложил на столе карту. — Смотри, Иваныч.

Вправо от деревни, где стоял конный Карамышский, убежала узкая ниточка-речушка. По ней идти не было смысла, хотя и завидно огибала она Травниково, уходила во вражеский тыл. У мельницы побывали уже белые. Неожиданность набега отпадала, а она, эта неожиданность, только и могла принести успех. Бить в лоб — как ни слабы естественные позиции у Травникова — трудно: многих людей потом недосчитасья! Но есть еще один выход. Лаз! Тропа, забитая снегом, что ползет влево.

— Здесь паши пройдут, — сказал Небывалов. — Для отвода глаз разведем стрельбу на большаке, что в лоб Травникову, а сами, главными силами, лазом.

— Не слишком рискуем? — спросил Грузденко.

— Не слишком. А народ как?

— Сейчас все на пути снесут. Только без своей артиллерии нам белых не одолеть. Разве что из Травникова выпьем!

— И то хлеб, — заключил комполка.

— А в дивизию?

— Сообщим в дивизию, что позиция здесь у нас слабая, решили дислоцироваться, улучшить.

Комполка сложил карту, убрал в планшет.

— Так, Иван Иванович, готовь людей, побеседуй.

Компсар кивнул. Помолчали.

— Ох, жаль Марковых! — сквозь зубы выдавил вдруг комиссар.

— Может, еще отобьем?

— Так они тебе их и выпустят!

Небывалов ударил кулаками по столу. Такое случалось с ним редко.

Сутки спустя, пройдя лесным лазом и для отвода глаз противника проведя ложное наступление со стороны большака, конный Карамышский полк ворвался в Травниково.

Сибирские стрелки отступили спешно, но изрубить пехоту, как рассчитывал комполка Небывалов, не удалось. Белые успели вовремя выкатить свои трехдюймовки и отсечь неприятеля от сибиряков. Позиции в Лопухове оказались трудными для наступления; карамышцам приходилось наскоро окапываться на восточной окраине Травникова.

Здесь же, на огородах, возводя временные укрепления, нашли конники тело Манечки. Здесь же похоронили, поместив краской на деревянном щитке:

*«Погребена Маня Маркова,
славный боец конного Стального Карамышского полка,
затваченная белыми при выполнении задания
и замученная».*

Следов Юрия Маркова в Травпиково нигде обнаружить не удалось. Но сутки спустя, объезжая дальние подступы к селу, конный наряд обнаружил в снегу у лесной опушки человека.

Разведчики полагали — мертвец, но это оказался Юрий Марков, без папахы, с помороженным лицом, потерявший сознание, но живой.

В полку, среди друзей, Марков постепенно пришел в себя. Он оглядел бойцов и командиров, отыскал взглядом Дорофея Власова, несуклюже присевшего на край скамьи, не нашел ни Степы, ни Манечку, кивнул головой, как бы подтверждая и не веря и теперь уже все зная наверняка, вернулся взглядом к Небывалову.

— Да, Юра, да, — сказал Павел Ефремович. — Ничего тут не сделаешь. А тебя — на почивку в лазарет.

— Не могу полк оставить, как хотите, — проговорил Марков.

Язык у него заплетался.

Комполка смотрел на Маркова: отправить в тыл этого человека было, пожалуй, нельзя — свихнуться может.

— Ладно, останешься при полку, — сказал Небывалов.

Дома, в Верещагине, Юрий так и не побывал после Глазова. Теперь с особой силой тянуло его к отчому крову. Только побывать бы, повидать отца, мать.

С матерью даже говорить-то особенно было нечего. Мать и так уже знала, о горе, Юрий сообщил кратко: «Маня погибла...»

Мать поймет, у матери сердце — вещун. Вот и поспать бы рядом, помолчать, погладить руки. Как поставили у матери руки! При отъезде в Глазов впервые заметил это Юрий.

Но о побывке и думать не приходилось. Три дня спустя, после того как подобрал Маркова разъезд, Юрий уже сидел на коне, сдвинув назад папаху, как поспли карамышцы.

— Ишь, прядочку белую себе вплеп надо лбом! — шутли между собой горькие шутки разведчики. — Женку потерял — словно от ее волос взял себе прядку на память.

Три дня спустя комполка Небывалов позвал к себе Юрия:

— Садись!

В избе никого по было. Сквозь окно виднелись огороды.

— Возьми разведчиков сколько надо. Хочу забрать Лопухово, если удастся. Обойти. Смотри по карте. Дорогу брось, простреливается, тут нельзя. Фланги? Вот сюда по край-лесу, выше по ручью. Как там, есть ли дозоры? И здесь, с этой стороны. Заставы? Попробуй, захвати с собой ручные пулеметы. Пощупайте. Ясно? Но долго не задерживайтесь. Коня себе выбрал?

— Конь хороший, выбрал, — подтвердил Марков.

— Так. Дальше развилки не ходить. Сперва здесь просмотрите, а потом по ручью, — боюсь, там у них все учтено. Давай.

Павел Ефремович только теперь посмотрел Юрию в глаза: можно ли положиться на командира.

— И еще вот что: зря на смерть не лезь и людей не гробь. Отвечать будешь.

Марков кивнул, пожал руку и вышел.

Тянуло ветерком, в нем стояла уже теплота и сладость, чуть вечерело; Марков сдерживал коня, обок ехал Власов; узкая тропка порою сближала коней, и пога Дорофея касалась ноги Юрия. И хотя Дорофей молчал, Юрий знал, что горюет друг, и о ком горюет, и что на сердце.

Вправо, где этого менее ожидал Павел Ефремович, засады белых приоткрылись сразу. Лишь только всадники выехали на лесную опушку, заговорили легкие пулеметы, враг залег куда ближе, чем можно было рассчитывать.

Разведчики Маркова для проверки ударили в ответ. Белые подались на приманку — теперь заработали уже и станковые пулеметы, пришлось спешиваться, залечь за стволами деревьев, отведя в укрытие лошадей.

— Сколько, Дорофей, насчитал? — лежа в снегу, спросил Марков.

— Четыре ручных, два «максима».

— И по-моему так, — подтвердил Юрий.

Разведчики усилили огонь.

— А этот? Вои как повизгивают пчелки. Не наш, видимо, бьет? — вновь спросил Юрий.

— Не наш, — согласился Дорофей. — Америка или французский, не знаю. Нет, не пройди тут, вои они, на взгорье, что белки прыгают. Сниму?

— Сними, — сказал Юрий. — Здесь пехоту надо и пушки, чтобы пройти.

— А как?! — подтвердил Дорофей и выстрелил.

У кузнецца глаз был верный, серая фигурка за ложком всплеснула руками; сразу отчаянно заработали пулеметы, и Марков подытожил:

— Еще два ввели, итого ручных не менее шесть, два «максима» и два — пазовем — американских. Так, двинулись!

Зарываясь в снег, они поползли от опушки в лес, к лошадям, укрытым за скатом. Там было тихо, только лошади нервно перебирали ногами. Марков похлопал по спине гнедого в яблоках, подумал: красавец конь! Вскочил в седло.

Разведка ручья прошла мпрно. Здесь предположения комполка не оправдались, ни одного дозорного не было встречено до развилки; все, что просматривалось на глаз и в бинокль, оставалось непо тревоженным, словно белых войск не было нигде поблизости. Верст за пять до Лопухова, откуда открывался вид на одинокие, на отшибе избы, Марков повернул разведчиков к Травникову.

Час спустя он доложил результаты разведки. Командир полка отнесся к ним недоверчиво: за развилкой, а то и ближе, засады у белых должны были быть непременно.

— Еще раз проверь, Юрий. Нет ли следов свежих со стороны Лопухова? Засады должны быть. За развилку ходить не надо.

Марков, забрав разведчиков, вновь прошел на рысях недавно проверенный путь — до развилки. И за развилку. Неспokoйней, чем в первый раз, пробежали этот путь конники. Останавливались, шарили по сторонам — снег лежал повсюду глубокий, следов нигде не было.

— Нового ничего, — заметил Власов.

— Похоже! — Марков прислушался. — Нет, стой!.. Слышишь?

Но Дорофей не слышал ничего.

— Кукушки кукуют, что летом!

Теперь и Власову показалось, что кукуют. И сразу рухнула тишина. Где-то далеко впереди, слева застрочили тяжелые пулеметы, дважды ухнула пушка.

Прорваться в Лопухово карамышцам не удалось — без артиллерии здесь было нечего делать. К утру, подержавшие орудийным огнем, белогвардейские цепи двинулись на Травярково: не оставалось сомнения, что к неприятелю подоспели свежие части.

Так началось новое наступление колчаковских войск по широкому фронту. Ему надлежало стать последним, хотя никто еще не мог предвидеть конца.

Карамышский полк вновь отступал, задерживаясь в деревушках, отбиваясь; отступал в арьергарде, отстреливался, скакал вдогонку своим друзьям, боясь потерять их, и Юрий Марков.

Небывалов по-прежнему не щадил Юрия. И все эти дни неотступно вспоминались Маркову Петроград, Смольный, Ленин на трибуне, его слова, воля, непреклонность. Это вселяло силы, и горечь по Манечке как бы притуплялась.

Только однажды, на почевке, когда, шатаясь, ввалился Юрий в штабную пзбу, где стоял командир полка, Павел Ефремович по-мужски грубо потрепал Маркова по плечу:

— Нелегко, Юра? — И тут же ответил: — Знаю, повалилось на тебя: много чего дано человеку выпести.

Потом что-то как будто переменялось, словно дрогнуло в воздухе. Еще отходили, но медленнее; оставляли деревушки, но больше вражеских трупов ложилось у подступов. Прибывало подкрепление, надежные люди сменяли раненых — вместе с пополнением добсгали до карамышцев вестн о Бузулуке, о Фрунзе.

Карамышцы улыбались: «Теперь уже скоро белякам казать пятки!..»

Лидя ни о чем не расспрашивала Алешу: после трудного разговора с Ирипкой Алтухову в домо Смазовых было легко,

— Мне до смерти надоели все эти газетные сводки и похвальба! — говорила она, уводя Алексея в гостиную. — По-моему, бред собачий, скука!

Она рассказала о городской жизни, о знакомых — в копейном счете жилось неплохо.

— И лужайки твои, конечно, процветают? — спросил Алексей.

— М-да! — неопределенно протянула Лида. — Впрочем, теперь нет. Я ведь вышла замуж, Алеша. Ты не взял — другому приглянулась. Должна сказать — он неглуп и очень красив. — Она указала на фотографию, вписавшуюся под роялем. — Жаль только, что на фронте. Но пишет часто. Капитан Мичуров!

«Вот тебе и любовь! — подумал Алексей. — Замуж вышла за «неглуп и очень красив»... И очень хорошо!»

— Вот так! — заключила Лида. — Человек предполагает, а боженька располагает, хотя я и не верю в него. Но все это у меня ненадолго. Не то что его убьют, а не-на-долго.

— А что надолго? — спросил Алексей.

— Ты, — рассмеялась Лида. Прислушалась: звонили. — А теперь тебе придется задержаться: папа! Он тебя очень хотел видеть.

— Прекрасно, — кричал уже с порога Афанасий Иванович. — Чай будем пить или вино? Возвращение юного воина вспырнуть следует!..

И снова сидел Алеша в столовой Смазовых и слушал.

— Так, говорившь, покинули село, — пустыки! Тактика, временно! Весеннее наступление наших войск развивается прекрасно. Ну, что ты?

Он рассмеялся.

— Посмотри, Алеша, на карту. Генерал Гайда, правда, несколько топчется на месте — у вас здесь на вятском направлении кислотовато: Глазов всего на один день взял? Выправят — детали! Смотри сюда, — он стоял уже у карты, висевшей над столом, где, безучастные ко всему, постукивали часы. — Север! Архангельск, Мурманск — Мюллер, англичане, французы. Северо-запад — Юденич с финнами и британский флот на Балтийском. Здесь — Каспийско-Кавказский. И, наконец, наш, Восточный фронт, самый для нас трудный — огромная территория, за спиной вся Сибирь, уральские заводы, Дальний Восток, хлеб, топливо, людской материал. А здесь — Советская

Россия, без Сибири, Урала, Кавказа, то есть без хлеба, угля, нефти. Надо уметь видеть — лекции тебе читать не собираюсь.

Афанасий Иванович вновь присел к столу, поднял рюмку, посмотрел на свет.

— Хорошее вино прозрачно, деяния людей — не всегда, — сказал он. — Но... бесспорно одно: смертельный круг для Совдепии будет замкнут. Генерал Ханжин блестящ! Четвертого апреля взят Стерлитамак, десятого — Бугульма, шестнадцатого — Бугуруслаи. Сто каких-нибудь верст до Волги. Там — смык с Денкиным, на Севере — с Мюллером. И все: смертельный круг!

— Значит, генерал Ханжин блестящ? — переспросил Алексей.

— Алеша иронизирует — это мне нравится! — усмехнулась Лида. — Скоро ли вы кончите, папа?

Афанасий Иванович отмахнулся от дочери.

— Победу, — теперь он говорил спокойно, — торжествовать еще, разумеется, рано. Там, по ту сторону, тоже не дремлют. Недооцениваем: войска у них, как передают, теперь лучше оснащены, крепче дерутся, много товарищей коммунистов влито в их армию. А мы на своем опыте знаем, до чего напористы эти «товарищи»! Но хватит о войне, а то Лидуся совсем скиснет. Ведь ее Мпчуров тоже у Ханжина!..

Нет, не ошибался в своих чувствах Алеша: все изменилось, отошло. Вся эта жизнь, и речи Афанасия Ивановича, и Лида, и Пермь, и дом матери. Было жарко, болела голова.

И ночью, в постели, тоже было жарко. Подушка жгла. Он просыпался от своего крика, раскрывал глаза, смотрел в темноту. Дважды заходила Юлька, спрашивала, не нужно ли чего. Алеша смущался: «Прости, во сне это!» Проваливался и вновь видел сны.

Ему снились снаряды. Как летят они, бороздя тучи, и рвутся, взметая фонтаны глины. Снаряды падали на дом матери, и Алеша испытывал смертельный страх — убьют маму! Снаряды падали на дом Иринки, и Алеша испытывал смертельный страх — убьют Иринку. Снаряды падали в садик, где гуляла у дома маленькая Ирка, и Алеша испытывал смертельный страх — убьют Ирку.

И убьют Марию Папкратьевну (он не знал, что этой ночью умерла Мария Папкратьевна), и убьют Юльку, и убьют Юрия Маркова, и Манечку, хотя она уже была убита.

Снаряды падали на него, на рядового Алексея Алтухова. Тогда он переставал кричать: он не испытывал больше страха.

7

ПРОЩАЙ, УРАЛ

Днем Алешу увезли в госпиталь.

— Бедный сынок мой: тиф! — вадыхала Мария Павловна.

Свиданий не разрешали. Только в июне главный врач выдал Марии Павловне пропуск в палату к Алтухову. — Иногда вместе с ней заходила Юлька.

Рядовой Алтухов лежал уже в терапии, когда в палату вошла рослая женщина в белом халате, — он не сразу узнал в ней Смазову.

— Алеша, — пролепетала Лида, присаживаясь на койку, — да от тебя половиночка только осталась!

— Теперь уже хорошо, — вяло отозвался Алексей.

— Как же осточертела тебе эта обстановочка... и воздух и атмосфера! — Лида старалась говорить весело. — Воображаю!

— Привык. И люди славные. И за окном — тополя. Я очень люблю их.

Он говорил медленно, и Лида поняла, как трудно было ему прогнестись столько слов сряду.

Она погладила его руку, приподняла, поцеловала. Алеша не убрал руки.

— Теперь скоро выпишут, — сказал он. — Домой, наверно.

— Я знаю. Юлька говорила. Они вот заходят к тебе, а меня все не пропускали.

— Я очень люблю их, — снова сказал Алеша, глядя в окно, и Лида не сразу поняла, о чем говорит он.

— А меня? — Она улыбалась. — Немножко?

Он закашлялся, спросил:

— А твой Мичуров?

— Его убили, Алеша.

Она осмотрелась — в палате было душно, койка прижималась к койке, у окна стонал солдат. Она хотела спросить Алешу, сказать что-то, подбодрить, но глаза у Алеши были закрыты. Он спал.

Прошло еще две недели, и главврач Зубов вызвал к себе Алтухова. О полковнике медицинской службы Зубове ходили меж больных противоречивые слухи. Говорили — жестковат к чужой боли, холоден. Хирург перво-классный. Иные утверждали — добрый. Разговорчиков всяких во терпит, — с ним глаза да уши иметь надо, сестры и те трепещут при обходах.

— Алтухов Алексей Антоныч? — холодно, как бы устанавливая расстояние между собой и солдатом, спросил полковник, лишь только вошел Алексей. И затворил за ним двери.

— Так точно, господин полковник, рядовой Алтухов...

— А теперь садись, батенька, и слушай, — перебил Зубов. — Я к тебе присмотрелся: что это ты в бреду все дядю Сашу звал? Оказывается, племянник Орлова Александра Палыча!

— Племянник, — подтвердил Алтухов.

— Так-с! По мирному времени — тебе три месяца горного Крыма под осень. Хорошенький сынишочек подцепил. И еще — крупозное! Ну-с, а сейчас — усиленное питание, воздух, солнце в меру. Дадим отпуск. Два-три месяца. Что, наскучило в госпитале?

— Нет, я благодарен, — сказал Алтухов.

— Постой. Дяде Саше своему — когда встретишь — кланяйся. Знаю и люблю, славный и умный человек. А я дураком был и его не слушал. Скажешь — Дмитрий Дмитрич Зубов просил сердечный привет передать.

— Спасибо, господин...

— Помолчи! — резко проанес Зубов. — Я рад, Александр Палыча для тебя что могу сделаю. Он о тебе рассказывал. Влип? Давай послушаю.

Зубов прослушал Алтухова, сморщился.

— Недельку еще полежишь. Проведу через комиссию, в следующую пятницу выпишу... будет все благополучно.

Он повторил:

— Благо-получно!

— А разве что не благополучно? — спросил Алексей.

— Не задавать вопросов! — прикрикнул Зубов. — Ступай.

Задавать лишние вопросы, конечно, не следовало. Тем более про «благополучно». По этому поводу немало шушукались теперь в госпитале: газеты провозглашали доблестное наступление войск, а по палатам все чаще поговаривали, озираясь: «Плохие дела! Драпасм!»

В четверг Алтухову выдали справку, наутро предстояла выписка.

«Два-три месяца погуляю! — радовался Алексей. — Срок солидный, прощайте, Вячеслав Мартынович!.. Что-нибудь да придумаем, чтобы с вами не встретиться!»

Утром должна была зайти Юлька — помочь дойти до дому. Он проснулся рано, непривычно хлопали двери, по коридору бегали сестры, шумели.

Лежачим еще не разносили утренний завтрак, когда санитар распахнул дверь, крикнул:

— Кто здесь Алтухов Алексей будет?

— Я, — приподымаясь, сказал Алтухов.

— К главному в кабинет!

«Зачем это еще?» — думал Алексей, выходя в коридор.

Зубов был один в кабинете. Как и в прошлую встречу, он закрыл за Алексеем дверь, указал на стул.

— Ох и слаб же ты еще, — сказал, поглядывая на Алтухова. — Так вот, завтра, как говорят французы — о-ревуар! Приказ отдан, отбываем на восток.

— Всем госпиталем? — спросил Алтухов.

— Отбываем, форменное бегство, — не слушая Алексея, продолжал Зубов. — Хапжин разбит, разгромлен — отборные войска! Генерал Гайда катится, Пермь будет оставлена на днях. Дядюшка твой, видимо, был прав — «сила восставшего народа»... И так далее! Плох ты совсем! — Зубов снова придирчиво оглядел Алтухова. — Слаб. На вокзале черт ногу сломит, вагоны берут с боя. Никого из госпиталя выписывать не разрешено. Днем будем грузиться. — Он выругался, прошел по кабинету до окна. Вернулся. — Поедешь с госпиталем. Справку храни. А там видно будет. Ясно?

— Ясно, — подтвердил Алексей.

— Твоих пропущу к тебе, ступай! — Зубов махнул рукой.

— Благодарю вас, — сказал Алексей. — Вы и так мне много доброго сделали.

В полдень зашли в госпиталь Мария Павловна и Юлька.

— Вот ты и уходишь от меня, и куда уходишь?! — вповь, как тогда, перед фронтом, говорила мать, и Алексей не знал, что сказать, чем утешить ее.

Юлька все гладила Алешу по плечу и тоже говорила, торопилась, как будто боялась, что не успеет обо всем сказать:

— Все бегут, Алеша, бросают квартиры, вещи, с одними чемоданами! Смазовы уже с неделю как укатили, в отдельной теплушке! Ирпика... — Юлька запинается, — Ирпика несколько раз заходила, узнавала о тебе, мама у нее умерла.

— Умерла? — с горечью переспросил Алексей.

— Умерла, Алеша, а они уехали, — еще быстрее проговорила, запинаясь, Юлька. — Ты только не расстраивайся, третьего дня, перед отъездом, забежала, очень не хотела ехать, и тебя все повидать нужно ей было, но он силой погрузил все вещи и Ирку забрал, ну как было Ирпике остаться?

— Кто он? — спросил Алексей.

— Воловой. Полк их разбили сильно! Он ее с Ирккой и забрал, когда полк в эшелон грузили, солдат за ней прислал — бедная Ирпика!

— Да, бедная, — повторил Алексей, как заученное. — А вы как?

— Ничего нам не сделают, — говорила Юлька, и мать, успокаивая, повторяла:

— Ничего!

И вот Алтухов сидит уже на нарах теплушки, рядом с больными и ранеными. Некоторых из них он знает. Люди молчат. Одноногий низкорослый пехотинец, искоса поглядывая на Алтухова, вздыхает:

— Значит, опять и дома-то не побывал, и сызнова в перепутки попал! А мне до дому и конца краю не видно!

Алексей думает: «Дома? А побывал ли я вообще дома?»

Два дня спустя войска Красной Армии без боя заняли Пермь; вместе с войсками вступил в город и полк,

в котором служил Марков. Было тридцатое июня тысяча девятьсот девятнадцатого года.

Вечером Юрий сбежал к Марии Павловне. Она сидела с Юлькой в столовой и плакала. Парадная дверь была незакрытой, — когда Юрий показался у двери, женщины вскрикнули.

— Как Леха? Жив? — с порога спросил Марков. — Не узнаете?

Седая прядь падо лбом не по годам старила Юрия, но Юлька все же признала его:

— Юрий!.. Но ты стал совсем взрослым.

— Так жив Леха? Жив? — переспросил Марков и понял: жив! — Я ведь ему жизнью обязан — рассказывал?

И, присев у стола, целует «славную Лехину мамку», начал о Травпикове...

Наутро в частях оглашали телеграмму Ленина. Грузденко читал перед строем, не торопясь: «Поздравляю героиске красные войска, взявшие Пермь»... Марков смотрел на друзей, все трепетало в нем: «Взяли, вернули, освободили!»

Три недели под Пермью стояли карамышцы, пополнялись людьми, боевым снаряжением; порой вместе с Юлькой ходил по городу Марков, и Юльке казалось — Манечка тоже идет рядом, хотя говорил Юрий о другом, о друзьях, о своей полковой жизни:

— Вот Небывалов меня сагитировал: «Ты, говорит, культурнее других, большевик, книги читал, понимаешь, что есть марксизм! Значит, просвещай товарищей!» И сразу приказ по полку! Смехота — я, при моем красноречии, лектор!

— И читаешь? — спрашивала Юлька.

— Разве от него отделаешься? — Юрий смешно морщил губы. — Читаю, конечно. И знаешь, Юля, как слушают! Ядрепа копалка — прости! — прямо не шеловутся!

— А комиссар ваш тоже читает? — спрашивала Юлька.

— Нет. С теорией марксизма он, конечно, не слишком! Но с бойцами беседует — все отдашь! Ох, Грузденко у нас золото. А теперь пойдем к Лехиной мамке, свою не повидал, как из Верещагина выехал, хоть с Лехиной отведу душу.

ПЕРЕПУТЬЯ

Шли теплушки, позвякивая буферами. Шли, оставившись, часами стояли на месте. Жгло солнце. За Уралом, под выцветшим, раскаленным небом, плавилось сухое, без дождей лето.

Повсюду разжигали костры, тут же, у насыпи; они так и дымлись, угольки тлели от одного эшелона, что вот-вот только подался вперед, до другого, еле успевшего подойти.

Новые люди высыпали из вагонов, ставших их новым жилищем: военные — строевые, и штатские, и хромоногие, безрукие — большое «христолюбивое войско»; вспыхивали притухающие костры, повсюду пекли бесшумные оладьи, сковороды черпели от копоти, стряпня отдавала дымком.

И над всем этим, над полотном железной дороги, над полями и перелесками, над кострами и спичками, склопенными подле них, разливалось в переливах несмолкаемое, насмешливо-горькое:

...А-а-ах, шара-баа мой,
Амери-каа-ка!..

Алексей Алтухов только что отстрипался у своего костра. Одноногий стоял уже в очереди, дождался сковороды. Немолодая чета, наверное — мелкие лавочники, нетерпеливо поглядывали на солдатика.

— Сейчас, сейчас! — приговаривал одноногий. — Испекем первый сорт, будете довольны!

...А-а-ах...
Да я дев-чонка!
Да шарла-тан-и-ка!..

— А муку не спортить; пшепешка? — беспокоилась хозяйка муки. Но одноногий не умолкал:

— Солдат на все руки мастер, шилом бреется, дымом греется! Будьте уверены!

...Да Пе-пеля-ев, ах!..
Да у Кур-га-ва
Продаа ко-ле-са
От шарра-ба-ви-ва!..

Жидкое тесто шипело на сковородке. Хозяйка мучилась:

— Ой, не спали олады!

...Па-а-гов рос-сийский!
Мушдир ан-гг-лий-ский!..

Алексей не слушал песни, смотрел на однополого, на чету лавочников, ел свои олашки. Аппетит за долгие дни кочевья по полустанкам, от стоянки в поле под солнцем до стоянки в теплые вечера, вне расписания и графика, под вольным небом, — аппетит возрос невообразимо. Теперь Алексею всегда хотелось есть.

...Таб-бак янов-ский,
Пра-ви-тель омский!..

За соседним костром, в подряснике, орудовал полно-телый поп. Он давно прилепился к госпитальному эшелону и, как птица небесная, что не сеет, не жнет, питался ото всех. Серые от грязи мажеты под засученными рукавами его грязной хламиды вздымались, как для благословения, вместе с его громадной сковородой, — олады пригорали явно.

— Отец благочестивый, возьмите маслица, — проскрипела лавочница, — подлейте, пригорает у вас.

Отец благочестивый, как для благословения, вновь поднял руки вместе со сковородой.

— Всякое дальнее да благо!..

Он щедро возяпл чужое масло, дух бодрости мгновенно сплзшел на него. Обернувшись к одноному, он процедил сквозь зубы:

— Какими стопами, служивый, я доколе чаешь про-двигаться в сибирские дали?

— Отвоевали мы, батюшка, хватит болтать! — рассмеялся ему в лицо одноногий. — Пятый годок шинелку за собою таскам — вся в дырках, свинец-то не хуже молги!

— Велит господь, и всю жизнь да не тяжела она будет!

— А ты попробуй, батюшка!

Но шутки такой поп не принял, заворчал:

— Бунтарь, бунтарь ты, гибнет христолобивое воинство.

Прислушался.

...Ма-а-лчте стру-пы,
Ма-ей гит-тары,
Да я девчонка
Из-под Сам-ма-а-ры!
Ах, шара-бб-аи...
Не будет де-е-нег..

Сплюнул.

— Себя продаст! — договорил одноногий. — Ет-та из офицерского вагона, голосста! Кто только с пей не хоро- водится, хоть ростом невеличка...

Он выругался.

— Получайте олашки!

...Ма-а-ляте струны...

Сколько дней все то же, все те же люди, все тот же голод из офицерского вагона!

Алексей посмотрел вдоль насыпи: сколько хватал глаз, дымилась костры, копошились вокруг них люди. И вся Сибирь, с ее железной магистралью, вдруг привиделась Алтухову безмерным перспутьем, край и конца которому не было.

В единственном офицерском вагоне госпитального эшелона, вместе с Зубовым и врачам, едет полковник Буранов Леонид Захарович: говорят, что он из верховной ставки, по Алтухов думает иначе: симулянт-дезертир!

С полковником Бурановым Алексея познакомил Зубов. Полковник страдал острым воспаленном седалищного нерва и, когда не забывал об этом, кричал и остро стонал на резких поворотах.

Лежал в госпитале (и эвакуировался с ним) полковник с незапамятных времен. О нем все уже говорили: «Наш полковник». Был млл, обходитель, «предельно интеллигентен» (так тоже говорил о нем), многоречив. Когда он порядком наскучил Зубову, Дмитрий Дмитриевич свел полковника с Алтуховым:

— А вы полюбоществуйте, Леонид Захарович, прештереспейший паренек этот Алеша Алтухов.

С тех пор ежедневно встречался с Алексеем Буранов.

Вот и сейчас, заметив у костра Алтухова, Буранов подошел к нему.

— Любуется стройной картиной эвакуации? — говор его, всегда медлительный, звучал непринужденно, Алексею казалось, полковник слегка картавит, но это впечатление создавала общая модуляция.

Вблизи посторонних не было, чета с одноногим солдатиком давно поели, — полковник без стога легко опустился на обрубок бревна, подложив под свой седалищный

перв чистый носовой платок. Бурапов тщательно берет свою форму.

— Это еще цветки, Алексей Антонович! — Он тоже смотрел теперь вдаль, где по насыпи голова в хвост стояли эшелоны. — То ли еще будет!.. Новое наступление? Блеф: игра проиграна, это все понимают. Даже у нас, там! — Он поднял вверх холеный указательный палец, что должно было означать — в ставке.

Алтухов не ответил.

— Хорошо, еще погода благоприятствует!

— Может быть, желаете олашек, Леонид Захарович?

— Благодарствуйте, — отрицательно покачал головой Буранов. — Впрочем, если у вас есть настроенные... покулипаричать...

Но кулипаричать па этот раз не пришлось: у штабного вагона засуетились. Голос певицы взобрался на недосягаемую высоту:

...Ах, ты, пзвозчик,
Да трогай, т-рр-огай!
Да я пойду своей...

На слове «дорогой» он оборвался. Кто-то взволнованно крикнул из окна:

— Леонид Захарович, беда!..

Полковник оглянулся:

— Опять что-то! Без меня прямо ни один инцидент разрешить не могут, но при чем тут я? Здесь я не начальник!

Но Буранова окликнули снова.

— Сходим вместе, а потом пройдемся немного, порассуждаем?

Буранов пропустил вперед себя Алексея:

— Забирайтесь и дайте руку!

И, тяжело вздыхая, с трудом подавляя стоны, поднялся по лесенке в тамбур.

— Ну, просто нерв моей жизни! — пошутил он. — Заходите, посмотрим. Конечно, опять кто-то чем-то докучет нашему милому Дмитрию Дмитриевичу!

Возле купе главного врача толпились санитары. Полковник отослал их и вошел, — в купе лежал Зубов, необычно бледный, с закрытыми глазами. Над ним участливо склонялся молоденький терапевт.

Дмитрий Дмитриевич раскрыл глаза, сказал:

— Конеч!

— Что такое?! — воскликнул полковник. — Не может быть! Надо принять меры!

— Все меры приняты, господин полковник, все, что можно, — подтвердил молодецкий. — Теперь только покой.

— И затем, — Дмитрий Дмитриевич загнулся, — затем — тоже покой... Алешу попросите.

— Он здесь, Дмитрий Дмитриевич, — сказал Буранов и обернулся: — Алексей Антонович, войдите! — И опять к терапевту: — Но как же это, я уходил — подполковник был в полном здравии!

— Сердце, не тревожьтесь, — Зубов, казалось, говорил не разжимая губ. — Все в нормочке. Спасилось, Алеша!..

Алексей опустил у изголовья, подумал: «Какие тусклые глаза». И вспомнил Манечку: у нее тоже были тусклые глаза. Только совсем тусклые. Одернул себя: «С ума я сошел!» И понял, что подполковник умирает.

— Я здесь. Я здесь, Дмитрий Дмитриевич!

Зубов отозвался не сразу, потянулся рукой, рука обессилела, упала. Но голос звучал еще четко:

— Алеша. В портфеле. Мои деньги, там немного, ты возьми. У меня — никого. А то турнут тебя отсюда, и пропадешь. Леонид Захарыч, подтвердите...

— Да, да, — заспешил Буранов.

— Да вы не умрете! — зашептал Алексей, хотя и знал, что уже все.

— Все, — подтвердил терапевт. — Жаль: был человек!

Он приподнялся. Полковник Буранов поцеловал лоб Дмитрия Дмитриевича, перекрестился, взял со стола портфель.

— Пойдемте?

Алтухов тоже поцеловал Зубова и вышел.

— От денег не отказывайтесь, — сказал Буранов, когда они вновь сошли на полотно железной дороги и, спустившись с насыпи, двинулись вдоль состава. — Деньги вам понадобятся: на что будете жить эти полтора месяца вашего отпуска? Найдете ли еще за это время свою часть?

— Мне ничего не надо, — сказал Алексей. — Бедный Зубов.

— Сердце! — Многозначительно произнес полковник. — А деньги возьмите.

На ходу он просмотрел содержимое портфеля. Не слишком много! На клочке бумаги мелким почерком

Зубова было написано: «В случае моей смерти, завещаю находящиеся здесь мои деньги отдать сыну моего друга Алексею Антоновичу Алтухову».

— Мне ничего не нужно, — повторял Алексей.

— Ну уж, голубчик, надо быть реалистом: тем, кто остался жив, нужно жить. Я бы не отказался.. Не обидел покойника.

— Тогда возьмите себе, — сказал Алексей.

— Ну что вы! — неподражаемо деликатно воскликнул полковник. — Они — ваши. Если хотите, частично, в долг? До будущего, так сказать? Но частично, иначе — нет. Нет!

В конечном счете полковник Бурапов согласился взять треть, как ни упрашивал его Алексей взять все деньги.

— Вот чего она стоит, вся наша жизнь, — рассуждал полковник. — Такой, казалось, здоровенный человечине, как Дмитрий Дмитриевич, и вдруг?.. А жаль мне вас, Алексей Антонович, — может быть, пристроить в наш вагон?.. А то с этими митюхами!.. — Он отпустил слово: — Митюхами!.. вам не сладко.

— Нет, спасибо, — Алексею не хотелось ни говорить, ни слушать. — Нет, ничего и с митюхами! Я ведь уйду, все равно турнут, как сказал Дмитрий Дмитриевич.

— Турнут? Кто посмеет?

— А я не буду ждать, пока посмеют, а есть такпе, кому поднадоел я! — вдруг зло проговорил Алтухов. — Я не вернусь больше в свою теплушку. Пойду туда! — он указал рукой вдаль, где непрерывной лентой тянулись один за другим эшелоны.

— Ну что ж, — согласился Бурапов. — Идея, Алексей Антонович! Так даже скорее доберетесь до цели: до своей чащи или до какого-нибудь приличного города, где можно будет устроиться, отдохнуть. Сил у вас теперь больше. Вы молоды! А молодость...

— Да, я пошел! — вдруг прервал полковника Алексей. — До свиданья, Леонид Захарович.

— Что же, счастливо вам! — Бурапов любезно пожал руку. — Только отпускной документ берегите!.. А долг за мной, не беспокойтесь!

Целыми днями продвигался теперь Алексей Алтухов все дальше и дальше в глубь Сибири. Где-то впереди уходил полк, к которому он был приписан, полк, вместе

с которым продвигались Воловые, полк, в который он, Алексей Алтухов, не мог вернуться.

Там, где шли попутные эшелоны, Алтухов вскакивал в тамбуры вагонов; там, где стояли они в ожидании свободного пути, — шел. Десятки и сотни километров отделяли уже его от Урала.

Алтухов пристальнее приглядывался к обступавшим его людям, прислушивался к словам у костров. Разные заботы, боязни и настроения охватывали пезадачливых пассажиров большой сибирской магистрали. Неизвестность того, что будет, как сложится судьба, чем закончатся эта гигантская эвакуация, мучила всех.

Но были и такие, особенно среди военных (которым все домельзя надоело), были и такие, что воспринимали этот медлительный, однообразный ход поездной, бивуачной жизни как некую передышку в трудной, изматывающей душу действительности бесконечных военных лет.

«Ешь, спи, отдыхай, что на курорте!» — эти слова сказал Алтухову солдат, немало уже повидавший всего за свой век. Но Алексей не мог следовать такой заповеди — если это только была заповедь. А как перейти на *ту сторону* — никто вокруг и не заикался об этом.

«Нет у них о том мысли, а уж горького хлебнул досьта, — думал Алексей. — Или держат языки за зубами, бояться офицеров, унтеров и тех, кто может донести?»

Чем глубже в Сибирь увозили его поездные составы, эта безмерная, розовато-коричневая змея, протянувшая свое подвижное тело на сотни километров, — тем грузнее оседала в груди тоска одиночества, тем тверже становилось решение.

Здесь не оставалось ничего, что связывало бы Алексея с этим миром. Армия, которая была ему чужой? Идеалы (впрочем, то, к чему здесь стремились пиные, идеалами назвать не представлялось Алтухову возможным)? Не только друзья и родные, но даже приятели по несчастью — Махинин, Сметавин — все были растеряны, рассеяны. Даже Лидка Смазова. Даже дурак Персиков.

Иринка? Но идти к Иринке — значило идти к Воловому, и это отпадало.

Оставалось одно — податься поглубже в тыл, осесть в городе покрупнее, может быть — в Омске, затеряться среди людей, благо справка об отпуске в кармане, а деньги Зубова — бывает же такое в жпэни! — зашты под гимнастеркой.

«Полтора месяца, что еще остается от отпуска, — думал Алексей, — как-нибудь перебыюсь. Спл немного паберу. К тому времени и война, видно, кончится, войну они проиграют — проиграли уже! Кто еще жаждет сражаться?!»

Он осматривался: все бежало здесь на восток. Отдать было опасно: па каждом метре земли — человек. Сидит у костра, ждет, когда тронется эшелоп. Идет день за днем. Едет. Друг он или враг? Тот, кто стоит рядом, глядит на тебя? И тот, что за его спиной?

«А если заберут снова, когда кончится отпуск? Тогда — на передовую и там переходить! — решает Алексей. — Всегда у человека есть выход. Вот только Ирника!..»

Ирника не давала покоя. Он искал ее в каждой теплушке, вглядывался украдкой в окна офицерских вагонов, в переполненные тифозными стапционными комбаты, в женщины у костров.

Но Ирники нигде не было.

Еще в Шадринске командованию Карамышского полка стало известно, что в районе Челябинска противник разгромлен и ушел за реку Тобол. Красные дивизии выхдили к Кургану, к Упорову.

С сентября потянулись за Тоболом длительные бои. Вместе с Карамышским полком вышли к Тоболу и пехотные полки дивизии. Юрий Марков с болью и гордостью смотрел на ппх. От самой Вятки вымахивали они сейчас, пожалуй, восьмую уже сотню верст, прокладывая путь на восток.

Страшное впечатление оставляли они по себе. Одетые куда бедней карамышцев, разношерстные — кто в зипуне, кто в шинельке, в буденовке на голове или шапке с красным доскутом и без оного, в сбитых ботинках, в сапогах, в лаптях с заскорузлыми онучами; бородатые, выплвые, грязные, неумные и шумливые; с гранатами у ремней и винтовками, которые, казалось, никогда не выпускали из рук; согретые неостудным огнем, потушить который не могла никакая беда или случайность.

Обозы с провпнantom не поспевали за ними; питались чем доводилось. Спали где заставал привал. Патронов выдавали теперь перед делом по десять, по двадцать штук

на бойца, на станковый пулемет — по двести; гранат и снарядов всегда не хватало.

Бойцы ворчали, поштучно пересчитывали патроны. Тиф косил их, как хороший косарь. В Тюмени, в Упорове, в Кургане, по всем городам, деревням и селам, где пробегали на своих копытах карамышцы, немало встречалось изб с сыпнотифозными, — бойцы пошучивали: «Избы смерти».

Все это повпал за свои походы Марков. В Карамышском полку тоже было нелегко. Тиф не миновал его людей, с едой было плохо, патронов наперечет. «На клинок больше надейся!» — подбадривал Павел Ефремович. На переходах теряли конников, редели ряды, падали кони, по спайка крепла.

Юрий Марков смотрел на бойцов: что за люди были эти красноармейцы! Всем бедам наперекор, выживали, выправлялись, отлеживались на ветру, на сквозняках, брели за своими полками, разыскивали дружков по роте, набирались сил и шли, шли, матерясь и громя проклятых беляков.

Странной войной казалась Юрию эта война за Тоболом. Небывалов называл ее «тобольская карусель». Комиссар Грузденко говорил: «Два шага вперед, один назад!» Перейдя через реку, полки споро подались вперед, но смежную дивизию крепко потеснил противник; откатываясь, она обнажила фланг, и, боясь флангового удара, Стальной Карамышский тоже повернул назад.

С реки, с тыла, тревожила белогвардейская бляндированная флотилия, болота раскисли, грязь облепляла сапоги — ног не вытащить. Люди ярились, лезли на огонь — все равно двум смертям не бывать! Перли, сбивали врага с позиций, зарывались в землю, откатывались и вновь наступали.

Из освобожденных городов и селений шли на подмогу красноармейцам добровольцы. В Стальной Карамышский тоже пришло пополнение. Бойцы ожили. Из Тюмени спешно подбрасывали боеприпасы — впереди стояли еще сильные, щедро оснащенные «союзничками» белогвардейские части, сокрушить их было нелегко.

Два месяца то наступал, то отходил вместе с другими и вновь продвигался вперед полк Небывалова.

— И верно, тобольская карусель! — говорил теперь и Юрий.

Но подморозило — болота застыли, река стала, выпал легкий снег; умолкла пражеская речная флотилля. С севера дошли вести — взят Тобольск, пленные, орудия, боеприпасы; только отдельные белоказачьи сотни ушли в глубь Сибири. Штаб дивизии уже стоял в Ишиме.

Карамышницы повеселели. С каждым переходом все больше бойцов вступало в партию; Марков знал: третий, а то и второй в строю был теперь большевик. Но и беспартийные дрались лихо — это тоже знал Юрий.

«Колчак добьем — дашь Сибирь!» — звучало кругом. Оживление царило в полках. Школы грамоты создавались повсюду; учились в ротах, батареях, эскадронах — жажда знания одолевала людей:

В Карамышском полку пели:

От голубых уральских гор
С боями до Ишима
Кавалерийский шел Стальной
Средь пламени и дыма!

Судя по множеству путей, стрелок, красных огней, семафоров, эту станцию следовало считать крупным железнодорожным узлом. От последнего полустапка доехал сюда Алтухов на площадке с орудиями. Здесь его ссадили. Вечерело, хотелось есть; прошли тяжелые ливни, — Алексей кашлял, ноги с трудом несли его, в теплушки не пускали, патрули шныряли между составами.

Алексей нырнул под буфера, перелез через рельсы. Поезд с большегрузными американскими вагонами выглядел нескончаемым. На вагонах красовалось выведенное мелом: «Срочно! Срочно! Срочно!»

«Этот пойдет быстро, примоститься бы!» — подумал Алексей и услышал, как его окликают.

— Алеша, Алешенька! — кто-то догонял Алексея. — Миленький мой, я тебя по походке узнаю!

Жаркие женские руки охватили его, губы прильнули к лицу, не отпускали.

— Але-е-шенька!

— Неужели ты? — вглядываясь, спрашивал Алтухов. — Ты, Лида, ты?!

— Я, я! — словно обезумев, кричала Смазова. — Идем, патрули здесь, идем скорее. Сюда — вот теплушка!

Она почти втокнула Алешу в душное утро вагона. Убрала стремянку внутрь, закрыла дверь,

— Подожди, зажгу коптилку, — говорила она, задыхаясь и все целуя. — Ну как я рада, как рада! Алешенька! И Алеша тоже целовал Лиду, и было это как черствый черный кусок хлеба в голод.

— Да ты совсем стал худющий! И кашляешь. Я сейчас покормлю тебя, — щебетала Лида. — Папа у нас в офицерском — выпивают и полемизируют с его превосходительством, генералом медицинской службы! А я туда не хожу — надоели! Здесь мое царство. Сейчас генеральский денщик, или как это у вас — вестовой?.. словом, Вася принесет кипяток. Будем пить чай, Алеша! И у меня есть бутылочка — французский коньяк! Настоящий! Ты не думай: получила ни за что, ты знаешь меня, не вру, сказала бы прямо, как тогда про Мичурова, царство ему небесное.

В дверь теплушки постучали.

— Вася?

— Так точно! — рывкнуло по ту сторону.

— Давай, давай чайник. Утром придешь? Спасибо!

Лида вновь закрыла дверь, закрутила проволокой.

— Теперь никто не зайдет. Сейчас тронемся.

Она ловко наладила коптилку, тусклый свет озарил высокие нары слева. Под ними громоздились ящики, чемоданы, тюки; справа в теплушке стояли шкафы, закрепленные досками, диваны, поставленные на попа, пружинные матрацы, столы.

— Да ты не смотри на барахлишко, смотри на меня, Алеша! Изменилась?

Она разыскала коньяк, налила в две рюмки. Сказала, вдруг присмирев:

— Вот что я тебе скажу, Алеша: подлой никогда не была. Все будет так, как ты захочешь, ничего против твоей воли. По нашему закону: «Соседа не обижать!» И потому предупреждаю, спавать тебя не собираюсь. — Она засмеялась не скрываясь: — Хотя бы и очень холода!

— Ну, я не маленький! — засмеялся и Алеша. — И никого у меня нет, все потеряны. И если по правде, я рад тебе, Лидка!

Они чокнулись и выпили.

— Ешь, ешь, Алеша! А потом еще выпьем. Чуть-чуть! — Она смотрела, как жадно он ест, и глаза ее блестели, становились влажными. — Ешь, Алеша, у нас много всякой жратвы!

А знаешь, Лидка, давно я не ел такое вкусное, удобно даже! — сказал он вдруг. — Давай еще выпьем.

И они выпили снова — за встречу и Пермь.

Наконец Алексей отодвинул тарелку. Посмотрел на Лиду:

— Спасибо!

— Вот пустяки! — удивилась она. — Разве за это благодарят?

Они посидели молча, и она спросила еще:

— О себе расскажешь? Я так ничего и не знаю о тебе за все эти несусветные полгода.

— Давай еще выпьем по маленькой, — сказал Алексей, — легкий у тебя коньяк, словно оттаиваешь. Ты уж прости меня за все мои прошлые грубости.

— Может быть, за них я и люблю тебя, — Лида наполнила рюмки. Они выпили. — А теперь говори все, что можешь. Давай только потушим свет и зайдемся к окну.

Она затушила коптилку, поставила времянку к парам, — все было хорошо приспособлено в этой теплушке, словно люди собирались жить здесь годы. На парах у окна разостланные ковры уползали по стенке к потолку, подушек было в избытке, мягкий свет падал сквозь раскрытое оконце.

— Как у тебя на лужайке! — воскликнул он.

Вагон толкнуло, дернуло, колеса заговорили.

— Вот и поехали. Дай твою руку, Алеша.

Алексей дал руку. И вдруг захотелось ему рассказать все как на духу — полностью, без утайки.

— Если бы я был поэтом или писал повести, я начал бы так: шли теплушки, позвякивая буферами... Все мы куда-то едем, спешим, шагаем; иногда мне кажется, вся жизнь за последние годы — сплошное движение, сплошной бег. Куда? Вот это хотел бы я разгадать. И еще: что удерживает нас от падения? Смешно сказать, я, кажется, начинаю философствовать. Или это коньяк?

— Говори, говори, Алеша.

— Волной шел порядком, хотя влчто ему не грозило и удачи сопутствовали. Наступление развивалось; красные отступали, и он мог беспрепятственно мучить, убивать, расстреливать. Чего ж было нервничать? Но чего-то ему не хватало. Чего-то у него не было. Я стоял на крыльце, Персиков седлал ему кобылу, — выдумать тоже, кличка у нее Злоба! Да, злобы у капитана было в излишке. А не было знаешь чего, Лида? Подожди!..

Да, капитан нервничал. Нужно было седлать Злобу, и нужно было найти ответ: «Чего не хватает ему, почему нервничает?» Найти причину — найти ответ, то есть, как говорил Козьма Прутков, «поглядеть в корень».

А не было у него, Лиды, любви. Теперь бы я назвал по-другому. Любовь — смешное слово. Не знаю, как явилось оно мне тогда. Но оно оборачивалось, как будто имело другую сторону. У друга моего Юрия Маркова была любовь. А у Волового не было.

И потому он рвал и метал, и был сволочью, у него не было любви. Не было любви. Ни к кому: человеку, женщине, труду, народу. Если бы с него снять китель — ему нечего было бы делать. Расстреливать — не было бы простоя; убивать — права; мучить, пытать, бить — возможности; жить, буйствовать, иметь женщин — на это у него нет ни доходных поместий, ни заводов, а отсюда — денег. А много он не умеет и не хочет делать.

Знаешь, Лиды, иногда я думал: что стало бы с нами, с человечеством или человеком — если бы не было любви. А отсюда — любви, идеи, назови как хочешь. А у Юрия Маркова она есть. Ты Манечку знала — ее пристрелил Воловой.

— Что ты говоришь? — вскрикнула Лиды.

— Он потерянный. У него везде злоба. Я стоял на крыльце. На окраине подавали команду: «По коням!..» Длинно тянулось это «ко-о-о!..» И я тоже повторил это «ко-о-о!..». И увидел, как набираются тусклым цветом снега. И понял: потерявшие люди, у них нет любви и стало быть, нет любви... Я стоял на крыльце. Тогда я, наверно, не мог бы сказать так, как теперь. Но это было. Это уже копошилось во мне, я это знал. Кто написал, помнишь: «Мысль, войди в мой дом, потому что ты друг мой?..» Лиды, я тебе все скажу. Может быть, не встретится больше, — я иду Ирину, Лиды. Но я благодарен, что ты слушаешь меня, словноходишь в мой дом, и не осуждаешь мои скудоумия. И потому я говорю тебе...

В эту ночь Алексей Алтухов рассказал о своей жизни женщине, которая слушала его. Он не знал (как ни коротка была еще полоса пройденной им жизни), что никому, никогда уже (хоть будет пройдено и пережито куда больше) не расскажет он так о своем.

Лиды молчала. На востоке громоздились тучи, ветер бил в окно, но Алеша не замечал ни ветра, ни туч,

«Вот и все, и нет ничего больше», — думал Алеша, и ему становилось спокойнее, легче.

Он посмотрел на Лиду, в сумерках ее лицо выглядело бледным, взгляд робким.

— Алеша, обними меня, Алеша, — сказала она.

Алеша протянул руки. И ему показалось, звезды сыплются в душную темень вагона. Они были красивые, гладкие, эти звезды, их можно было поддержать на ладонях, во волшебного огня для него в них не было.

Алексей проспался рано, едва зарождалось солнце, после дождя посвежело. Лицо Лиды лежало у его плеча. Прекрасное лицо, но Алексей не смотрел на Лиду. Ему было душно, стучали колеса, вагон качало.

Лида открыла глаза.

— Вот, Алеша, — сказала она, — так мы и встретились с тобой. Но ты не любишь, — женщина знает, когда ее любят, ну пусть! Я еще должна сказать тебе, Алеша, не хочу скрытичьать. Может быть, вшивата, что раньше не сказала. Сначала не до того было, а потом поздно — колесики затрещкали, побежали. У Ирпы Сергеевны большое горе. Там, на той стоянке, где мы встретились, мужа ее, того самого Волового, пристрелил кто-то.

— На той стоянке? — как-то безразлично переспросил Алексей.

— На той, Алеша.

Он сделал движение, как бы порываясь спуститься с вар. Лида не удержала, только погладила по щеке.

— Где найдешь? И теперь не сойти, Алеша, слишком скоро идет наш экспресс. Он так и пойдет до большого города, забыла какого. И слишком уже далеко мы отъехали.

В Омске Лидин «экспресс», как называл его теперь Алеша, остановился, и теплушку, и офицерские вагоны, и тот, в котором беспробудно спл и ораторствовала Афанасий Иванович Смазов, отделили.

Но в офицерском вагоне все же пребывал некий генерал (правда, медицинской службы); быть может, его генеральские погоны или нещепетильная речь воздействовали на запуганное железнодорожное начальство, и новый состав, куда спешно подцепили и Лидину теплушку, к вечеру покинул станцию. Поезда шли теперь быстро,

в пути до Новоиколаевска¹ не было ни остановок в поле, ни горячих оладий.

В Новоиколаевске Алтухов обнял Лиду, они поцеловали друг друга, постояли, глядя друг другу в глаза.

— Я знала, что так у нас будет, — сказала Лида. — Теперь прощай, уже навсегда. Мы едем дальше — на край земли! Одно только скажи по правде: не сердись на меня и здоров ли ты?

— Все хорошо. Спасибо тебе, Лида! — сказал Алексей.

Здесь он решил затеряться, и ждать своей судьбы, и действовать.

...Я бред базаром, мимо низкорослых деревянных домишек, пока не уперся в широкий проспект.

Несомненно, здесь находился центр города, его купеческое сердце. О том говорили богатые витрины магазинов, разряженные пешеходы, польские цукерки. Все выглядело царядно; после дыма костров, грязи теплушек, замыганных платформ и полустанков мне почудилось, что бреду я по неведомому царству, — может быть, в давних сказках Фисы только и существовали такие царства и города.

И верно, у перекрестка улиц, словно в сказке, ослепил меня блеск чьих-то непомерно высоких щегольских сапог: они сверкали как солнце. Я приподнял глаза и увидел роскошные бриджи и блестящий мундир. Мне стало неловко за свою потрепанную гимнастерку. Я увидел фуражку с квадратным верхом и пястовским орлом на околыше.

«Конфедератка?! Уж не в Варшаве ли я? — подумалось мне, но я припомнил то, о чем уже слышал: — Польские легионеры, тыловики!»

А возле церкви, откуда тянуло густым запахом кофе, открылось мне еще одно чудо: у военных, нашитые на повешке гимнастерки, чернели во всю грудь большие, почти до пояса кресты.

«Ну да, крестоносцы Колчака, отборные тыловые части!» — воскликнул я про себя.

Какая-то баба, стоя у плаката, крестилась не то на пх, не то на церквушку, выправшую с проспекта. На плакате, прикрепленном к забору, кривилось лицо чело-

¹ Пыте Новосибирск.

века с большими ушами; под плакатом крупно выделялись буквы: «Слухи».

А слухи гуляли по городу, я слышал, как говорили повсюду то шепотом, то не скрываясь:

- Тоболяки перешли к красным!..
- Крестоносцы — шваль!..
- Колчак переезжает в Иркутск!..
- Омск не сдадут!..

Воззвания были развешаны по степам домов: «Обещаю вам Учредительное собрание!..» Но никто не читал. Беспечность и суета владели проспектом. И мне увиделось вдруг, что весь этот город, этот блестящий проспект с легионерами и крестоносцами, и эти воззвания, и цукерки с запахом кофе, и даже баба, что крестилась на новоявленных военных, — все шумит и песется вопреки здравому смыслу — *в никуда*.

«Так вот за что гибли сибиряки — «кобылка», как называл их Добермейер!» — думал я, и мне стало страшно, что многим еще предстояла та же пикетная гибель на таких же полях Нытвы, где каменели бесчисленные серые бугры. И мне хотелось кричать в откормленные, холеные лица, отовсюду наплывавшие на меня: «Не будет этого больше, не будет!»

Пошатывало. Болела спина, было очень жарко, несмотря на то, что лил дождь. Кашель раздирает грудь, я по знал, где найти пристанище в этом сумасшедшем городе, не комнату — угол.

Мысли путались, набегая одна на другую. Я был теперь совсем один в чужом большом городе. Иришка была потеряна навсегда — я понимал это; где разыскать ее, беспомощную, с ее малолетней Иркочкой, в этом столпотворении поднятых со своих мест, потерянных, мечущихся людей?

К вечеру, мокрый, продрогший, я вернулся на вокзал. Лидина теплушка все еще стояла на запасном пути, и я подумал: «Зайти согреться?»

Новый состав пронесся мимо меня по смежному пути, пар обдал лицо, голова кружилась. Но я вновь поглядел на теплушку и увидел, как бежит от нее, протягивая ко мне руки, женщина. Нет, не Иришка — Лида.

И слова лежит в военном госпитале Алексей Алтухов. Сюда, в этот повоницколаевский госпиталь, в офицерскую, привлеченную палату, устроило его, по просьбе

Лиды Смазовой, его превосходительство, генерал медицинской службы, предварительно внимательно выслушав и поставив диагноз: «Повторная тяжелая пневмония».

Лида давно уже уехала в неведомые сибирские дали. Быть может, и не в Сибири уже она, и не на своей земле потянутся дни ее жизни.

Алексей Алтухов всего несколько дней как пришел в сознание. Он еще слаб. Он сидит на койке, смотрит, слушает.

9

ОСВОБОДИТЕЛИ

Первым, кого увидел в палате Алтухов, был полковник Буранов. Алексей закрыл глаза; ему показалось, снится сон, все тот же, что не давал покоя за последние дни: эшелоны, костры, теплушки, речи Ленечки Буранова на выпрепные темы, которых никто не хотел больше слушать.

Но полковник говорил. Он стоял посреди палаты, слегка замахивая рукой, и Алексей понял, что это не сон и что судьба вновь свела его с Леонидом Захаровичем.

— Освободить страну от большевиков, объединить Россию — наша миссия!

Он обернулся к койке, на которой сидел теперь Алтухов с лицом худым и желтым, и полковничья выхоленная рука на мгновение повисла в воздухе.

— О, воскрес Алексей Антонович! — полковник прищелкнул пальцами — не то в удивлении, не то с радостью. — С выздоровлением, молодой человек, с возвращением к жизни!

Он шагнул в сторону Алетинной койки, слегка вскрикнув и прихватив рукой поясницу: несомненно, полковник страдал все той же болезнью — затяжной формой воспаления седалищного нерва.

«Но где же это я, что это за люди, почему стоит передо мной этот Ленечка?» — подумал Алексей.

Мгновенные события память восстанавливала скупо. Он снова закрыл глаза, лег — так по крайней мере можно было не слушать и не отвечать полковнику, хотя Буранов явно не хотел прервать беседу.

— Ну, вот! — говорил он. — Вот и на поправку. Мужайтесь! Говорят, его превосходительство, что устроил вас сюда...

Алексей не слушал. Он вспомнил Лиду и то, как, протягивая руки, бежала она к нему от теплушки.

«Значит, сюда меня устроила Лидя, добрый человек», — думал Алексей.

Леонид Захарович лежал здесь, как вскоре узнал Алтухов, всего несколько дней. Он был так же любезен и общителен со всеми, бодр и в добром настроении, исключая те минуты, когда страдальчески постанывал: «О! Нерв моей жизни!»

В офицерской палате много свободнее и светлее, чем в других. Рядом с Алтуховым умирает от брюшного тифа молодой поручик. Напротив двое больных, переведенных сюда из психиатрического отделения по «выздоровлению и легочным заболеваниям». Один из них — Мартынов, среднего роста, с черно-рыжей бородкой и сросшимися бровями; другой — маленький человек с птичьим носом — капитан Гинзбург. Он похож на большеголовую птицу в коричневых перьях — в своем больничном халате.

Крепкий, бородатый, бровастый подпоручик Мартынов считает себя поэтом и находится под больничным арестом за какие-то темные дела, говорят, за кражу солдатских пайков.

Ночами он не спит. Нередко, когда воцаряется молчание в оживленной дневными разговорами палате, придвинув свечу к изголовью Алтухова, подпоручик Мартынов садится рядом на табурет.

— Понимаете?... Написал сегодня... — обрывает он слова одно от другого, — поэму... о сверхчеловеке... стихозу характера... вот! Сверху паникадильная тьма бурлит... Да это все в лесу... между боями... понимаете?... В тайге... Вы были когда-нибудь в тайге? Нет... ну, вообразите... лес, лес, лес... Костры, ко-ст-ры. Чер-н-ые потроха ночи... слушайте!.. Сейчас разберусь, как тут написано... Это на громкий голос, но я... отрывочно... тихо... вот...

Сверху... паникадильная... тьма бурлит.

Бурлишь или нет... ком красноватый?

Это сердце на ложке... вынуто... лежит,

Выванное еще Карпатами...

Черные... потроха ночи... отрубн снега...

Под самую бурю, в почках без сна...

Подпоручик Мартынов вращает белками, вертит шейю, как будто хочет вывернуть из тела голову, мохнатую, растрепанную, теряет строку, волнуется, Алексей плохо

попмаает подпоручика, еле успеваает следить за концамп фраз, просит успокоиться, но подпоручик Мартынов дико вскидывает глаза:

— Нет, что вы, за сумасшедшего, что ли, меня считаете?

Он впивается глазами в Алексея.

— Я вам скажу... все стихи у пастоящего поэта всегда посвящены ей, одной ей, пусть она многолика п но поддается... слову. На Карпатах мы стояли в деревушке... Я должен вам пачать издалека... Я был женат до войны... три года... по последние два я уже не жил с женой... Она догадывалась... Я, Алтухов, не вполне как все... Я... мальчишкой еще... я был в корпусе... Там... Это неправда, что меня обвиняют в воровстве солдатских пайков!.. Да... так вот... Жена была женщиной как все... Я был мужчиной, упрямым от рождения... Я поссорился, разошелся с пей, хотя... жил под одним... под одним... как это говоритса, а?... кровом, верно! И вот на Карпатах, в деревушке, — я был уже тогда командиром батальона... это певерно, что я подпоручик!.. Уже два года, как я полковник. Впрочем, это не идет к делу.

Мартынов схватывает предложенную Алексеем папиросу и, оглянувшись и пряча ее в кулак, жадно затягивается. Он выпускает дым Алексеем в лицо п смеется дребезжащим смехом; п этот смех, как постукивание костяшек, долго шевелится в груди Алтухова.

— В деревушке была девушка... *девушка*... уверяю вас! Отца и брата убили. Ее привелл ко мне, п командир полка сказал мне, что она... шпионка!.. Шпионка... Вы понимаете: осина... ха, ха, ха!.. Но это была ложь. Я сказал командиру, что расстрелял... солдаты меня любили... никто не знал, откуда появился у меня новый денщик... Она... она была совсем мальчишкой...

Мартынов взмахнул руками, отчего широкпе рукава халата опали, как темные паруса. Он подержал волосатые руки над головой п вдруг обрушил с силой, почти вскрикнул, как от боли:

— И я страдал!.. понимаете?.. Черные потроха почи... Боши отступили... И после боя мы стояли в халупе. Ночью она подползла ко мне, п я оттолкнул ее... Но она говорит: «Ты добрый, зачем ты не хочешь?.. Я твоя жена... может быть, завтра по будет тебя п меня: *никто ведь не знает*, что будет с нами *завтра*»... Моя кошма была па полу... А *завтра*, понимаете, ее убило. Зачем я говорю вам?

Подпоручик Мартынов разорвал на себе рубашку. Ему было плохо, он попросил пить. Алтухов приподнялся и подал кружку. Но кружка выпала из рук подпоручика и с грохотом полетела на пол. Проснулся Гипзбур, подошел, взглянул на Мартынова.

— Идемте спать! Вам опять нездоровится, — пробурчал он, — это потому, что вы по почам не спите...

Птицеподобный офицер увел своего соседа. Алтухов слышал, как долго и упорно убеждал он Мартынова уснуть. Когда Алексей засыпал уже, внезапный переполох в палате разбудил его. Он открыл глаза и присел. Большинство больных, так же как он, спало на койках. Те, кто свободно передвигались по палате, сгрудились у постели Мартынова. Кто-то требовал врача. Люди суетились, шумели, предлагали советы.

Вытянувшись и подпрыгивая на жестком матраце, подпоручик Мартынов прятал в подушку мохнатую голову. Оттуда вылетали чудовищные хрипы.

У подпоручика Мартынова начинался припадок.

Алтухов уже ходит по палате, присаживается на койки к больным.

Утром умер сосед Алексея от брюшного тифа; его выспл, в койка осталась пустой. После припадка Мартынов спал тяжелым сном. Его клювоносый сосед, капитан Гипзбур, ссутулясь, быстро ходил по палате. Когда он вышел в коридор, левый сосед Алтухова, высокий и худощавый есаул Закуренко, сказал:

— Этот — фанатик и сумасшедший! Проспект покорения Индии сочиняют господни капитан! И — выхода России к южным морям! Не веришь?

Есаул вынул из-под халата увесистую записную книжку, протянул Алтухову:

— Читай! Да не бойся! Гипзбур к дружку, к дежурному аскулапу, двинул — назад теперь не скоро будет! Вот я ее из-под подушки: всегда там хранит! Смехота, право!

Алексей полистал книжку. Закуренко говорил правду: со страниц на страницу текли рассуждения капитана о «наиболее удобных путях и маневрах» докорения Индии; разрабатывались маршруты продвижения войск; указывались их численность и места боевых стычек; схемы и карты были вычерчены старательно; следовали

пескопчаемые подсчеты потребного оружия, боеприпасов, обмундирования, продовольствия, медикаментов, общей стоимости кампании и отдельных походов, так же как времени на их выполнение.

— Огромная работа! — соглашался Алтухов и спрашивал: — Только для чего это он?

Есаул смеялся.

— Для чего?! Он себя Наполеоном, лопатка моя поясница, считает!

Вторым от двери лежал подполковник Гурин, пожилой, полный человек. Он самый надменный и строгий среди обитателей палаты. Так же, как подпоручик Мартынов, он находится под больничным арестом, обвинен в крупной растрате.

Еще до чая вошел в палату доктор в сопровождении военного и, пройдя к подполковнику, передал ему запечатанное письмо. Руки подполковника дрожали, когда он читал письмо.

Подполковник прочел, выронил письмо и упал на койку. Есаул Закуренько, стоявший подле него, поспешно поднял письмо. И пока возились с подполковником, приводили его в чувство, Закуренько успел пробежать бумагу.

— В помпировании отказали полкачу, ха-ха! — сказал он Алексею много позже. — Сам прочел, дерг меня в пещень, если не верите!.. То-то и свалился, как барышпенка, проворовались, господин полкач...

Есаул крoutil усы.

— Что же это все здесь проворовались? — спросил Алтухов. — Вот про подпоручика говорят тоже...

— Х-ма! Да-а, — протянул есаул, — кто и проворовался, а кто и по другим делишкам сел... Я бы на его месте, — мотнул он головой в сторону подполковника, — сюда раз, — он приставил вытянутые пальцы к виску, — и раз-з, — он щелкнул пальцами, изображая выстрел. — И весь расчет — ха-ха-ха... Не полкач, скажу я вам, б...!

Закуренько выругался, направляясь к коридору.

Алексей оглядел еще раз офицеров палаты. Он перебрал по очереди всех (место умершего брюшнотифозника еще оставалось свободным). Кроме Буранова, есаула, подполковника Гурина, Гинзбура, Мартынова, в палате лежал еще один человек — прапорщик Нечаев.

По всему было видно, что Нечаев — боевой офицер, и слушал его Алтухов охотно. Вот и сейчас сидит прапорщик на койке Алексея и говорит:

— Знаете, Алеша, я рад, что встретил вас. И рад за вас. То, что вы не офицер до сих пор, тоже хорошо! То, что вы молоды, хорошо! Может быть, вы еще найдете себя.

Рядом никого нет — все спорят с Гинзбуром, и потому можно беседовать не скрываясь.

— Давайте прямо, без посторонних. Что главное? Отступление? Нет, отступить всегда можно, можно пережить прорыв фронта, потери, и все же выиграть... Есть нечто худшее!

— Это худшее — тыл?..

— Не один тыл, Алеша! Сражаться — значит отдавать свою жизнь, рисковать, во всяком случае... А рискуют в наше время по двум причинам: по принуждению и по убежденности... Да, вероятно, и всегда было так. А за что?.. Объединение России?.. Но какой России?..

Нечаев посмотрел Алтухову в глаза.

— Надеюсь, вы верите, я не большевистский шпион и, верно, где-нибудь сложу свою голову. Но я много болел за эти последние месяцы, лежал в Тюмени, в Петропавловске, в Кургане, слушал многих, и я все больше убеждался, что нас еще терпят, понимаете, терпят. Но скоро терпеть не будут. У нас глиняные ноги, Алеша.

«Это верно, — думал Алтухов, — только зачем говорит он мне это?»

Полковник Бурапов по-прежнему постанывал, и доктор, сочувственно поддакивая: «Придется еще, голубчик, полежать», — спешил перейти к другому больному, у которого скорее рассасывалась болезнь.

Ни для кого не была теперь тайной эта нерассасывающаяся болезнь, не мешавшая полковнику, по совету доктора, предпринимать по временам небольшие прогулки по городу, употреблять в ограниченном количестве вино и два раза в неделю погружаться в ванну, из которой выходил он розовый, как младенец. И сам Бурапов как будто мало смущался своей назойливой и затяжной болезнью. Он был самый старший в палате, часто подходил к Алеше, спрашивал о всяких пустяках.

— Ну как, герой, поправляемся? Скоро покатаем опять на фронт?.. Освобождать Россию?..

— А вы? — спрашивал Алтухов. — Прямо в Омск?

— Нет!.. Фью! На фронт я не поеду, — покачивал головой полковник, когда никого поблизости не оказывалось, — я уж где-нибудь здесь устроюсь... При создавшихся условиях не на фронте же быть с этими митюхами! Это ведь не прежние солдаты! Нет, я где-нибудь здесь устроюсь... Здесь дела хватит...

— А как же Омск? — спрашивал Алеша.

Бурапов слегка раздражался, отшучивался:

— Ну, в Омске верховный, он прекрасный командующий! Надежные люди нужны и в тылу. Умные!

Однажды, услышав такие слова, есаул Закуренко язвительно заметил:

— Умные-то умные, вот и сам верховный — умный! А когда люди на фронте дрались — в тылу пили? Пили! Проедали солдатские пайки? Проедали! А теперь, когда к Омску подкатываются красные, на фронт спальные мешки посылают! И об учредпловке на всех заборах пишут!.. Тоже умные... А большевики прут себе да прут! Пусть я их ненавижу, бил и бить буду! А прятаться да считать себя умниками — это как?

— Господин есаул!.. — воскликнул Бурапов.

Но есаул всегда доканчивал свою тираду, как взрыв ракеты с шумом разряжавшую тишину палаты:

— Господин-то я господин, а свое мнение не скрою. Вон в тылу у нас «надежные часты», легпоперы, есть опять же анпенковцы, мародеры, и еще этих скоморохов-крестопосцев понаделали!.. А я вам скажу, всех помелом на фронт гнать: пусть уж лучше перебьют, чем такому дерьму в тылу загнивать!.. Все одно, господин полковник, жалеть печего!.. А что верховный!..

Здесь, как старший, считающий недопустимым такое свободомыслие среди офицеров, полковник Бурапов резко заметил, прекращая спор:

— Г-дин есаул, я попрошу вас!.. Я попрошу вас, г-дин есаул!

Казалось, от волнения полковник начинал заикаться.

Алтухов выходит уже в госпитальный коридор — разговоры офицеров, их самомнение надоедают. В солдатских палатах множество косяк, воздух тяжел. Алексей заговаривает то с тем, то с другим, пытается разыскать среди раненых коренных горожан-повониколаевцев, чтобы

затем, по выходе из госпиталя, пайти себе пристанище. Он замечает, что на него поглядывают косо: как-никак, а из офицерской палаты! И зачем сюда шляется — ума не приложишь! Никто не хочет ни о чем говорить: ни о себе, ни о том, что вокруг. Люди томятся по дому, по воле; несомненно, им все осточертело.

«Скорей бы всему конец!» — читает Алексей в пх гла-
ях и думает: «Да уж скорей бы! Выйти из этого чертова
госпиталя, распрощаться с «освободителями», дотянуть
свой отпуск, этот еще оставшийся месяц. А там, может
быть, и бойне конец!»

Была суббота и на душе гнетущая тяжесть, когда
Алтухов зашел в одну из палат.

— О! Алтухов, дружок! Вот и встретились! — вдруг
услышал он и мгновенно узнал голос Егорушкина.

«Чертoberп, только его еще здесь не хватало!»

Но Егорушкин уже обнимал Алексея за плечи:

— А я здесь два денька как прибыл! Вот не ждал, по
гадал! Давай в коридор выйдем. Чего-чего про тебя только
не думал. Полковник Щукин шумел: «Сбежал, пой-
маю — расстреляю!» Ты Щукина знаешь, крутоват!

— Сыпняком и крупозкой болел в Перми, дали от-
пуск, эвакуировали, — присматриваясь, сказал Алтухов.

— А здесь? — мягко улыбался Егорушкин.

— Снова воспаление легких.

— Ай, ай, ай! — сочувственно завздыхал Егоруш-
кин. — Не повезло же тебе! Да и мне вот, упал с вагона,
сорвался и сотрясение мозга заработал. Недельки две-три,
говорят, — и выпишут. Полк наш недалеко стоит, городок
небольшой, зеленый! Кос-кого недосчитаешься, ну, а
главное-то — основа — в целости: капитан Кравцов, До-
бермейер, Латвигин...

Егорушкин перечислял командиров, что остались в
живых.

— А Волового Вячеслава Мартыновича нет, — гово-
рил он с грустью. — Пристрелила какая-то сволочь, на
своих видно, хоть не дознались... царство им ве-
бесное.

«А Ирина Сергеевна, Иршка?» — не решался спро-
сить Алтухов.

Но исправный унтер-офицер добрался и до этого
пункта своего обстоятельного рассказа:

— А супруга их с дочкой при полку. А Перспеков — при них. Только дрянь, заважничал! — И, меняя разговор: — А ты в какой же палате?..

Они стояли как раз у палаты, где лежал Алтухов.

— Здесь.

— В офицерской? — переспросил Егорушкин. — Так это как же, значит?..

— Да меня сюда один генерал устроил, — успокоил его Алтухов, — в одном эшелоне ехал.

— А! — многозначительно произнес Егорушкин. — Так ты все же приходи к нам. К вам-то пеловко.

— Да ничего, заходите, — перебарывая себя, предложил Алексей.

С того дня Егорушкин стал постоянно навещать Алтухова, каждый раз как в оправдание оговариваясь: «Однополчанина навещать зашел».

Но унтер-офицера принимают здесь приветливо. Он почетнее, выдержан, без сомнения надежен. А таких не так то много теперь — это, видимо, понимают господа офицеры.

Дней десять спустя прибыл в офицерскую палату и капитан Кравцов. Увидя Алтухова, обрадовался:

— Я сюда на недельку, с легкими неполадками, — врач говорит: «Фокус!» Но рассосется! Полк переформировывается, стоит недалеко. О себе можешь не рассказывать — все уже от Егорушкина знаю!

Алексей не удивился, подумал: «Сука! Все уже доложил!»

— Да, бывает! — словно думая о своем, покачал головой Кравцов. — Капитан Воловой погиб. Пуля винтовочная. Винтовку, не состоящую у нас на учете, нашли на рельсах. Ирина Сергеевна с нами. Чудесная женщина, жаль ее. Ну, поправилась — прямо к нам, я уж позабочусь. Вместе с Егорушкиным и доберешься, а ты исхудал основательно... не годится.

«Теперь не выбраться! — подумал Алексей, и злоба охватила его: — Егорушкин! Надо же этой дряни здесь появиться! Не выпустит. И еще капитан Кравцов! Все благодетели! Как поговору!»

И вдруг ему привиделась Иринка, одна с дочкой.

«Но как вызволить ее оттуда, как вызволить? — повторял про себя Алтухов, не находя ответа.

Кравцов выписался точно через неделю, как предполагал.

— Ну, Алеша! — прощаясь, похлопал по плечу. — Крепись! Воздух тебе нужен!

Обернулся у двери, кивнул Буранову:

— Желаю скорейшего выздоровления!

Но Буранову явно не пришлось по душе такое пожелание. Подойдя к Алтухову, полковник поморщился:

— Страшный этот капитан! Все торопит, шутит, как будто болезнь зависит от нас. Впрочем, шутка не обязана быть всегда остроумной, иначе не существовало бы плохих шуток!

Серая, однородная лазаретная жизнь — как пескочае-мый дождь осенью. Новости не выходят за край окон, за порог дома. События известны до самого вечера, неожиданности редки, как выигрыш в лотерее.

Десять человек лежат в одной палате. Они надоели друг другу и потому стремятся уйти друг от друга, замкнуться. И оттого, что люди не могут никуда уйти и вдобавительное друг другу, они постепенно становятся раздражительными, нетерпеливыми. Хуже всех чувствует себя подполковник.

Подполковник Гурин находит все не соответствующим требованиям военной диктатуры. Он не согласен с постановлением суда, не видит опытности в докторам, обнаруживает должной дисциплины и субординации в подчиненных, недоволен лазаретным режимом, интендантским делом, своим положением между жизнью и смертью, ведением войны, высшим командованием, дождливой погодой.

Но больше всего недоволен подполковник поведением капитана Гинзбура, его заносчивостью и пренебрежением к остальным офицерам.

Каждую среду и воскресенье приходит навестить капитана Гинзбура его молодая светловолосая подруга — не то жена, не то невеста.

Ее движения слишком легки и порывисты. Она садится всегда на постель и тихо разговаривает с капитаном. Иногда Гинзбур дает ей записную книжку, и она ее бегло просматривает; иногда они тихо спорят, и тогда она упорно качает головой, как бы отрицая слова капитана. Перед уходом она прощается,

Прощание — предмет пристального наблюдения палаты. Девушка прощается слишком долго, она слишком низко склоняется над клювоносый капитаном (Гнизбур всегда ложится в постель в дни прихода подруги), она почти ложится на распростертое тело Гнизбура и смыкает с ним свои губы. Потом она быстро уходит, мишура взглядом офицеров и нагло усмевающегося подполковника.

Так продолжается из недели в неделю; и все к этому привыкли настолько, что лежное воркование и подслух подруги Гнизбура кажутся им уже обычным, положенным по ритуалу делом. Но сегодня подполковник особенно раздражен.

— Я думал бы, капитан, — говорит подполковник, как только скрывается за дверь женщина, — что вам следовало бы сказать вашей жене, что так вести себя в присутствии других господ офицеров немощно неудобно...

Капитан Гнизбур мгновенно вскакивает с постели и в одних рейтузах, с расстегнутой на груди рубахой, из-за которой лезет черная шерсть, подходит к подполковничьей койке.

— Я вас... Я вас... — начинает он, — я бы вас просил... я бы вас просил не делать мне замечаний!..

— Я принужден к этому! — возражает подполковник пачальственным голосом. — Я принужден, потому что это... это компрометирует господ офицеров... Помолчите, обниматься, прижиматься... это не у себя дома... Помилуйте!..

И вдруг капитан Гнизбур подымается на носки своих больничных чулок и, сразу оцетинясь, как петух, подлетает вплотную к подполковнику. Голос у Гнизбура срывается, когда он начинает кричать:

— Я прошу!.. Я прошу!.. Это не ваше дело!.. Оставайтесь со своими интендантскими делюшками!.. Я вам не мальчишка!.. Я вам!..

Подполковник пытается приподнять контуженную руку.

— Молчать, молокосос!.. Молчать!..

— А, молокосос!.. — визжит Гнизбур. — Молокосос! Фронтальной офицер — молокосос?.. Я вас не видел ни при Чусовой, ни при Сылве, хоть вы и были в нашей армии!.. Тогда капитан Гнизбур не был молокососом!.. Тогда вы прятались по тылам!.. пока вас чудом не контузило в штабе!.. Я вам покажу, как говорить!.. Где мой паган?

Он бросается к своей койке, переворачивает постель, сбрасывает подушку; он забывает, что паган отобран у

него еще при первых проявлениях болезни. К нему подбегают Мартынов и Закуренко, его успокаивают понемногу, в то время как подполковник Гурин, кряхтя, бормочет ругательства.

...Дождь. Окна в струйках. Сейчас, наверно, сырые улицы, сырой запах булыжника, тополевого листа и прибитой шпиди. Когда же наконец я распрощаюсь с этой палатой?

Есаул Закуренко ходит, напевая вполголоса:

...Так для чего же тогда пробуждешне-е?..

Он фальшивит и подымает вверх концы фраз:

...Осени холод... и тьма-а?...

Слова сливаются с шумом дождя, оттого становятся еще тоскливее. Порой мне видится, что сижу я за решеткой тюремной камеры, в кругу смертников, давно приговоренных к казни.

Мне не хочется ни с кем говорить, никого слушать. После отъезда Кравцова Егорушкин не отходит от меня: держит на прицеле, как говорится. Знаю, не отступится, не отпустит, и его не перехитришь.

И еще, конечно, не могу я забыть Ирипку. И все думаю, что она среди *этих* людей и что бросить ее я не могу. И не могу больше быть среди *этих* людей!

Вчера я попросил каптера достать мою гимнастерку, я отдал ему за это пачку первоклассных американских сигарет. Их подарил мне Кравцов перед отъездом, как я ни отказывался.

Каптер отыскал мою гимнастерку. Я осмотрел ее тщательно: пришитый мной потайной карман отпорот, деньги исчезли. С ними исчезла и справка об отпуске. Считали ли они, что я не посмею поднять шума, не рискну (откуда, мол, у рядового деньги?) или просто не выживу?

Когда мне становится невмоготу, я достаю перо и блокнот, забиваюсь куда-нибудь в уголок (а закоулки и уголки все же здесь существуют) и пробую занести на бумагу то, что проходит мимо меня. Вот и сейчас я пытаюсь заняться этим.

Множество лиц, утрат, событий больших и мелких выползает тогда из «тьмы небытия». Но они были, были. И я хочу сохранить их в памяти. Я пишу:

«Они мнят себя освободителями России. Они все кричат вроде Лесечки Буранова: «Объединить Россию! Какая чепуха!»

Мне вспоминается вся моя жизнь, и я вижу как никогда ясно, что все лучшее в ней лежит на другом берегу. И я выберусь, все равно выберусь на тот берег...

Нет, и здесь не укрыться от всевидящего ока Егорушкина — он словно шухом своим везде обнаружит меня. Вот и сейчас приближается ко мне из глубины коридора, даже в больничной одежде всегда по-военному подтянутый, унтер-офицер Егорушкин. На лице его приветливая улыбочка, голос неизменно мягок. Еще десять секунд, и он остановится подле меня. Сука Егорушкин, ты бесподобен — чтобы тебе поскорее сдохнуть!

Но, закрывая небрежно блокнот, я отвечаю на его любезный вопрос: «Чем, любопытно, занимаешься?» — по менее утонченно: «Желание появилось письмоцо с приветом друзьям черкнуть!»

Когда Карамышский полк достиг хуторка, не отмеченного на карте, за околницей его, у опушки леса, наспех уже окапывалась пришедшая сюда ранее пехота.

Разведка, проведенная Марковым, показала, что сил у противника было сосредоточено на этом куске земли не много. За опушкой лежало большое поле, кругом обнесенное густым перелеском. Преимущество в технике было на стороне врага: много пулеметов, две четырехорудийные батареи французских скорострельных пушек.

Артиллерия не подошла еще вслед за карамышцами. Упрятав своих лошадей за стволами деревьев, копытки с нетерпением дожидались дела. Комполка Небывалов дважды сбегал к окопам — прикинуть, как лучше помочь пехоте. Комиссар Грузденко выехал вновь в разведку: снаряды колчаковцев попадали в окопы, пехотинцы несли урон.

— Дело паршивое, — сказал он, вернувшись, — эти белляки ведут работу по-новому. Кроют прямой наводкой и ручную подкатывают пушки вперед, а пулеметам прикрываются. Так, пожалуй, и от пехоты ничего не останется. И приказа нам никакого нет, — заснули там, что ли, в дивизии!

Положение заметно ухудшалось, вражеские гранаты разрушали плохо отрытые окопчики.

— Пошли связного, — предложил Грузденко.

— Что посылать, их штабной здесь, при пехоте: тоже ведь эту психическую атаку видит!

Конники подтягивали подируги, осматривали лошадей. День клонился к вечеру, хотелось есть, кой-кто уже покусывал сухие былинки, сорванные у леса.

— Ох, погодка! — сказал Власов, подходя к Маркову. — В такую погоду... он не договорит. — Кажись, связной катит.

Полным карьером мчался по проселку кавалерист.

— Не иначе из казаков! — сказал еще Дорофей. — Посадка!

— Сейчас в дело пойдем, — проговорил Юрий. — Нет хуже ждать!

Но в дело пошел только второй эскадрон полка. С эскадроном увязался Грузденко.

— Зачем комиссар?! Славный, да пекладный парень! — вздохнул Власов. — Всюду ему быть, где жарко!

Передав копей взведчику, друзья пробрались к опушке. Прилегли. Пухлыми облачками близко рвалась в небо ирашнель, взрывы гранат потрясали землю, и она взметывалась пыльными хвостами и медленно оседала.

Юрию было видно, как, скрываясь за деревьями, готовится к делу второй эскадрон; видны были и пушки белогвардейцев по ту сторону широкого поля.

«Не перебежишь этого поля против пушек, — подумал Юрий. — А они что же это, решили так прямо в наши окопы и въехать?!»

Но белогвардейские пушки находились еще далеко.

«Дело еще поправимое!» — вновь подумал он, и услышал, как знакомо отзывается земля на удары множества лошадиных копыт, и понял, что второй эскадрон пошел в дело.

Лежа рядом с Власовым, он ждал, притаясь за кустами. Как всегда, длинными казались минуты ожидания — не терпелось. И, как всегда неожиданно, зарокотали, надрываясь, пулеметы оттуда, куда ушел эскадрон.

Когда Марков и Власов подоспели к своим, горькая весть уже дошла до полка: двадцать раненых среди эскадронцев, убит комиссар Грузденко.

— Грузденко! Комиссар! — клокотало кругом.

Он лежал на полянке, чуть в стороне от других, весь собраный, с вытянутыми вдоль тела руками, и нельзя было, глядя на него, поверить, что комиссар мертв.

Павел Ефремович стоял рядом и смотрел неотрывно на мертвого комиссара. Было похоже, что слова коман-

двух эскадрона, докладывавшего о неудавшейся атаке, по доходили до командира полка, по он все слышал.

Оторвав глаза от Груздепко, кивнув комэску, он поманил к себе рукой связного, только что прибывшего из дивизии и стоявшего теперь шагах в трех от Небывалова.

— Докладывай, — негромко произнес Павел Ефремович.

— Велено взять батарею! — крикнул связной. — Сейчас пехоте пулеметы подбросят. Вам, Павел Ефремович, самому решать, как ловчей дело вести!

— Возьмем, — все так же тихо отозвался Небывалов.

Он наклонился над комиссаром, закрыл глаза Груздепко. Оглянувшись, подозвал Маркова:

— Вон, по-за тот лесок, поглубже, проверь, Юра.

Юрий вскочил в седло. Сжимая зубы, боясь разреваться, погнал коня. Трое разведчиков с Дорофеем шли в хвост. На рысях пробежали по краю леса в сторону от вражеских пулеметов, вползли, озираясь, вглубь. Засад не было.

Час спустя, смиряя лошадей, эскадронцы лесом обходили поле. И вот стояли они уже, прячась за елями, за спиной невинных пушек.

— Внимание! — Возможно, шепотом произнесил слова командиры Небывалов, по голос хлестко ударил по конникам. — Памятью друга и комиссара нашего Вани Груздепко... При выходе к батареям... первому, третьему эскадронам... податься в стороны... двойной лавой!..

Никогда, ни раньше, ни позже, ни в одну из кавалерийских атак Юрий Марков не запомнил, чтобы пела так, надрываясь под ногами коней, земля. Выстрелы, вязкий стальной плач клинков спутали мысли. Марков не видел и видел: все, что совершалось подле, проносилось мгновенно и гасло. И то, как всадник упал на полном ходу и конь покотился; и то, как топтал офицера конь Власова; и артиллериста, что бил из нагана; и то, как взлетала глина и падали люди; и то, как замолкла, словно вымерла вдруг земля.

Здесь, посреди отвоеванного за Тоболом поля, похоронили Ивана Груздепко. Новым комиссаром был назначен Марков, командиром конных разведчиков — Дорофей Власов.

Еще одно поле было освобождено — красные освободители шли к Омску.

часть третья
СМЕРТЬ ИЛИ ЖИЗНЬ

1

ПЕРЕМИРИЕ ЧУВСТВ

Вместе с Егорушкиным прибыл и Алексей Алтухов в городок, где расположился артиллерийский полк, к которому они были приписаны.

«С Егорушкиным под ручку! — усмехался Алексей. — Ему только конвоиром быть! А городишко заштатный. Прибыл! Увижу все тех же. Михаила и Василия. И всех господ офицеров, которых не видеть бы вовсе! Увижу...»

Он не договаривал себе. Давило грудь: не зналось, как встретит Ирипа Сергеевна.

В штабе полка (не без воздействия Кравцова, как тотчас догадался Алексей) вместе с Егорушкиным подполковник принял и Алтухова, не заставив ждать долго. Пошутил с унтер-офицером, поглядел пристально на Алексея:

— Думал, сбежал ты от нас, но капитан проверил в госпитале твои документы. Так! Красив же ты — одни кости.

Кравцов посмеялся:

— Наладится!.. Дадим нагрузку полегче.

— Так! — повторил Щукин. — Направим тебя к Воловой. В строй все равно сейчас не возьмешь, свалишься, пожалуй.

— Слушаюсь! — проговорил Алтухов, чувствуя, что краснеет. — Разрешите?..

— Ступай! Но смотри там, не распускаться! С достоинством себя держать. Помнить: Ирипа Сергеевна —

вдова нашего погибшего офицера... А то эта скотипа... Персиков!.. Ступай!

Домик, где жила Ирина Сергеевна, был маленький, светленький, с палисадом. Палисад запорошил снег; домик прилепился к самому краю предместья. Нанюсенок, через лог, в чьей-то бывшей усадьбе расположились батареи полка.

Сбросив полушубок, он рванулся в комнату, перешагнул через порог. Ирника, настороженная, стояла у двери в смежную комнату.

— Господи, Алеша, Алеша! — проговорила она, так же как тогда, в Перми, в день его приезда, и, так же как тогда, стала пятиться. Вскринула руки: — Алеша!

Он приподнял лицо Ирники: глаза у нее были испуганные, родные.

— Ты? — спросил он, не понимая, что говорят, и обнял, не осознавая, что делает.

Потом они сидели у стола кухни, и Ирника все повторяла: «Какой ты худой, какой ты худой!» И все уговаривала: «Ешь, Алеша!..» Не спрашивала, не рассказывала о своем, потому что главное было рядом: жив!

Уже за Тоболом, в один из почтовых пабегов, конный белогвардейский отряд ворвался в село Яровое, где стоял Карамышский полк. Карамышцы отбили врага, многих порубили, преследуя, но немало друзей недосчитались они в своих рядах поутру.

То, что осталось от эскадронов, было выстроено вдоль широкой улицы села. Только теперь можно было воочию убедиться, насколько велики оказались потери. И хотя командир полка Небывалов знал о каждом убитом и раненом, не увидеть в строю знакомые лица оказалось куда труднее. Он ехал мимо всадников, мимо своих друзей, то и дело остававшаяся копя, ропя слова, словно камни:

— Васильев Ваня... Вот и нет тебя среди нас... Нет Павлуши Скорого... И Ваня Зеленичко тоже нет... И Федя Басманова. И Васи Алябушкина... Хороший был командир, нам блюсти твои навыки, твою правду... И Женечка Окунев!..

Новый комиссар Юрий Марков, с левой на перевязи, так же как у Небывалова, новый комиссар, недавно утвержденный в дивизии, ехал, поотстав на полкорпуса от командира полка. Слезы текли по его щекам и по щекам

многих испытанных бойцов и командиров — никто не замечал их, этих слез.

Марков понимал: они не расхолаживали, не убивали; с ними выливалась горечь; ее уносили эти слова, как уносит река к морю свои воды, набираясь силы.

«Одна беда за другой, — думал Юрий. — Только Грузденко похорошили — и опять каких людей потеряли, каких людей!»

Объехав эскадроны, Павел Ефремович повернул коня, резко ударил нагайкой, прошел паметом до правофлангового. Юрий, не отставая, следовал за ним. Здесь они остановились и еще раз осмотрели полк.

— Многих мы потеряли — того не забыть, — негромко проговорил Небывалов. — Всех будем помнить, за все воздадим.

Он приподнял руку, призывая к вниманию; теперь пужно было сказать о деле: кем заменить погибших, хотя сердца людей были полны другим. Но сказать следовало именно сейчас, пока горячо горе, — тем тверже станет решение.

Голос командира стал тверже.

— Многие славные командиры ваши полегли, но Карамышский — Стальной, стальным останется. И надо решить, кто станет теперь командирами.

Он вновь повел свою лошадь вдоль строя, уже не приговаривая, не поминая утрат. Его взгляд стал жестким, сверлящим, это сразу заметили коньки, сразу подобрались.

— Сафронов! Взводом командовать будешь? — спросил Небывалов.

— Буду, Павел Ефремович, — почти по-домашнему отозвался Сафронов. — Прикажете — буду!

Был он немолодой, этот Сафронов, и от этого домашнего «прикажете» потеплело на душе стоявших рядом с ним людей; и Маркову почудилось, что кони — и те легко переступили с ноги на ногу.

— Прпказываю! — сказал Небывалов. — Первый взвод — твой.

Он проехал еще шага два и вновь остановил лошадь. Его глаза испытующе вглядывались в красавца конька на буланом мерине.

— Асатолов? — спросил он.

— Есть Асатолов! — откликнулся конник.

— Как, Коля, со вторым взводом: осплешь?

— Если поможете!

«В этом сомневаться не приходится, — подумал Марков. — Коммунист и безотказный парень».

Еще два шага прошел конь командира.

— Пермянин? Третьим? Как полагаешь?

— Не! Куда мне, товарищ командир полка! Не справлюсь, боюсь... И неграмотен я...

«Не пойдет!» — подумал Марков.

Но Небывалов уже оцепил свою ошибку:

— Ладно! Боец ты славный — так и будь бойцом. Не настаиваю.

«Кого же теперь? Может быть, Дубасова?..» Юрию самому хотелось разобраться — кого выбрать. Что ни человек — рубаха-парень!

Но Небывалов не окликнул Дубасова.

— Мережков? А ты как?

— Как прикажете, товарищ комполка! — крикнул Мережков, выпрямляясь в седле; и здесь каждому стало ясно — твердым и славным командиром станет Мережков.

— Так! — подтвердил Небывалов, продолжая путь.

Оставалась еще одна самая сложная задача — найти замену убитому в бою командиру второго эскадрона.

— А что, комиссар, если Горина?

Небывалов склонился к плечу Маркова, выслушал ответ: «Невыдержан, хоть и храбр». Прикинул в уме, согласился.

— А Строгова?

Вновь выслушал: «Блестящий командир — повышай!» Кивнул. Выждал секунды две, крикнул помолодевшим голосом:

— Строгов, Савеллий Палыч! Хотим тебя в эскадронные!

Строгов ответил сдержанно:

— Приказывайте, товарищ командир полка.

— Приказываю, товарищ Строгов! Будешь, Савеллий Палыч, комэск два.

«Тысяча вопросов у комиссара!» — ужасался про себя Юрий Марков в первые дни пребывания на новом посту.

Вопросов наплывало действительно много. После набега белогвардейской кавалерии и ночного тяжелого боя

полк был отведен на отдых в богатое село Ивановцы. Люди отдыхали, и на отдыхе, как бывает часто, возникали всяческие неполадки и дела.

Закон «уважать местное население» карамышцы считали для себя первостепенным. Но к утру второго дня пребывания в Ивановцах поступила комиссару жалоба на командира взвода Николая Асатолова, того самого, в котором «сомневаться не приходилось». Хозяйка дома, где стоял командир, молодая и красивая, обвиняла его в домогательстве.

Марков вызвал Асатолова.

— Садись, Николай Васильевич, — сказал Юрий притворно. — Жалуетя на тебя хозяйка, что обижаеть?

— Я? — Асатолов смешино повел руками. — Кого? Апку-то? Так ее, Юрий Алексеевич, и надо было б обидеть: муж у нее у белых!

— Но она-то с белыми не ушла. Чем она виновата?..

— Мобилизован, мобилизован! — перебивая комиссара, закричала Анка. — А он домогается!..

— Вот видишь, Николай Васильич! — Марков стараясь говорить строго, но веселое лицо Асатолова смешило. — А может, он и в самом деле мобилизован, ее муж?

— Все они так говорят! Да мне что, разве я ей чего сделал? Да я ж ее пощекотал только, по чести, не в обиду... Что ты, Апка?!

— Какя я те Анка! — вновь закричала женщина. — Да пусть твои руки сломаются, язык отсохнет, да я те, если!.. А еще молока требуешь... да я те!..

— Какое еще молоко? — спросил Юрий.

— Ну, уж это ты брось, Анка, — твердо, как отрезал, сказал Асатолов, и женщина сразу утихла. — Молока не требовал. Попросил только. Сказал — уплачу. Ты меня не позорь. За нами этого не водится.

— Покопчим с этим. Вот что, Николай Васильич. — Марков был теперь убежден, что дело выведенного яйца не стоило. Но видимость справедливости перед женщиной соблюсти следовало. — Переведу тебя в другую пабу.

— Как знаете, — сказал Асатолов. — Только от корешков уходить неохота.

— Устраняет вас? — не слушая командира, спросил женщину Марков.

Но женщина, видимо, колебалась, не уходила.

— Зачем переводить? — спросила она вдруг, пскоса

поглядывая на Асатолова. — Нешто места у пас мало, пусть стоит. И молочка дам. Жаль, что ли? Мужик-то мой жив ли еще, может и нет больше его па свете, и детей у меня нет, одна я, кругом бьюсь-маюсь, хозяйство поддерживаю, не понимаю, что ль, что и другим трудно, изранены да приустали... Разве я о молоке?..

Ее глаза повлажнели, она не смотрела уже больше с запосчивостью на пригожего, молодого Асатолова, и сам Николай вдруг присмирел, словно осунулся.

— Лошадь свою как холит, посмотрела я, — продолжала женщина. — Придет, спицу потрогает, не стерлась ли? Прежде чем седло надеть... А мы что ж, хуже кобыл, что ли? Раз-два, и хватай за титьки!..

— Ну, это я не так, — смущенно пробормотал Асатолов. — Такого подхода к гражданам не имеем.

— Нет? — уже мягче цыкнула на него Анка. — У всех вас нет! Ладно, товарищ комиссар, пушай останется...

— Ну, смотри, Коля! — тоже мягче сказал Марков. — Ладно, ступай, и чтоб жалоб не было.

Не успели Асатолов и Анка покинуть комиссара, как вошел новый командир второго эскадрона Савелий Палыч Строгов, принес заявление о вступлении в члены партии.

— Давно пора, Савелий Палыч! — обрадовался Марков.

— Вот что, товарищ комиссар, — сказал Савелий Палыч, малость выждав. — Может, не тебя это касается, да вот что с людьми делают! Поразмыслил — к тебе зайти решил.

И Савелий Палыч рассказал Юрию о бабусе, в доме которой остановился. Сына ее и внука расстреляли на селе месяц назад белые каратели. Они искали в окрестностях Ивасовцев партизан, и выдал сына бабуси односельчанин Шубин.

— Совсем полумертва старуха, внучка девочка-малолетка с ней и никого боле. Хоть чем бы помочь, внимание оказать, товарищ комиссар, — говорил Савелий Палыч. — Может, что из полкового довольства хоть малость выделить или от нас? А то, может, сходили б сами, проведали? — тут же добавил он.

— А этого мерзавца не задержали? — спросил Марков.

— Идут, соседки сказывали. Да иголку в сене поди сыщи!

Марков ходил вместе со Строговым к бабуся. Седая, худая старуха с пустыми глазами сидела на скамье у печи, молча кланялась всем.

Юрий долго и, как казалось ему, бессмысленно говорил с ней, шутил с малолеткой внучкой. Бабуся отвечала сдержанно: да, сын красным партизанам помогал; да, все на селе молчали, кроме Фомы Шубина; да, он выдал, из богатеньких он, говорят в город перебрался; да, расстреляли Петра и Фимочку. Она говорила без слез. «Словно душа у нее выжжена», — думал Юрий.

Марков ходил к Небывалову, поговорил; вместе со Строговым принесли они бабуся подарок — муки, масла, мяса. Бабуся приподнялась со скамьи, низко поклонилась, спросила:

— Себя-то сами не обделите?

Марков вышел на крыльцо. Не первое горе видел уже он на земле. Сколько убитых, расстрелянных, замученных; сколько разоренных, спаленных деревень. Следы остались следовали по путям белых, и эта бабусяна история пчем существенным но отличалась от многих других. И все же глаза старухи стояли перед Марковым: «Словно душа выжжена».

Днем в Ивановцы прибыли из лесов местные партизаны — их оказалось более шести десятков, и были они преимущественно конные. Карамышцы приняли их к себе с радостью — после потерь бойцов в селе Яровом подмога пришла как нельзя вовремя.

Привели с собой партизаны и чернявенького паренка — оказался он им подозрительным, с лицом невообразимо грязным, в поношенной одежде. Паренек, смущаясь, прятался за спинами партизан.

Небывалов поручил уже партизан комиссару (следовало ознакомиться с прибывшими, порассказать о порядках в полку), когда, незаметно для Маркова, подошла Анка, та самая, что утром еще приходила жаловаться на Асатолова.

— А тебе что? — недовольно спросил Юрий, вновь увидев подле себя эту женщину.

— А мне то, товарищ комиссар! — зло выговорила Анка, указывая на чернявого паренка. — Это и есть убийца бабусяна сына: Шубин Фома это!

Дознаппе было пропозведено быстро: жители Ивановцев подтвердили слова Анки. Час спустя перед лицом односельчан был расстрелян предатель Фома Шубин.

Вечером комиссар возвращался к себе. Проходя мимо дома Анки, он увидел ее: вместе с Асатовым сидела она на крыльчке, — беседа, вне сомнения, велась у них непринужденная и согласная.

«Поладили! — подумал Марков. — Ну и хорошо, что поладили!»

Ирка спит в большой комнате рядом, Ирке скоро три с половиной года. Весь день либо гуляет она в палисаде, переглядываясь через окно с дядей Лёмой, либо вписет на его руках в комнате. Обедают в кухне втроем, — это напоминает мир и семейный уют. Обед и ужин Алеша приносит из полковой столовой; помогать по дому Иринка ему не разрешает. «Поправляйся, поправляйся, набирайся сил!» — говорит она то и дело, но Алеша по-прежнему худ, бледен, кашляет.

В доме тепло, за окнами бело, тихо. Можно подумать — нет войны, нет горя, нет трудных дней. Но война есть, и есть горе. Та тишина, что покинута в доме — Алеша знает, — лишь некая передышка.

Но и эти часы, эти дни с Иринкой — все же хорошо. Хуже то, что Кравцов приезжает часто, следит, справляется, все ли в порядке у Ирины Сергеевны. Но Алтухов понимает: у капитана свои, особые планы, свои чувства к вдове Воловой.

И еще докучает Егорушкин, постоянное появление которого в доме Воловой подобно ничем не прикрытой слежке.

Но это не главное. Незнание — что будет впереди, и вопрос, разрешить который ума не приложишь: каким путем выбраться из этого проклятого стана вместе с Иринкой и Ирккой? — не дают Алтухову покоя, как ни подбадривает он себя, что все разрешится в конце концов само собой.

Проходят дни, и снова сидят они рядом, все трое. Если смотреть сквозь окно, можно увидеть офицеров, что проезжают мимо Иринкиного дома, можно увидеть солдат, что спешат с поручениями. Порой Алтухов и сам

проходит мимо этого дома и машет Иррике в окно, это значит: пошел в казармы проведать дружков.

С Махиным теперь неразлучен Сметанин. Оба они рады приходу Алтухова, и оттого с ними легко: и поговоришь по душам, и новости узнаешь. Сегодня поутру всполошились на батареях: часовой, крайний у дороги, в три поль-поль заметил пятерых всадников на тракте; всадники приблизились; на них были полушубки без погоп. Часовой окликнул, по всадники по тропулись с места. Он хотел выстрелить в воздух — всадники повернули назад, ускакали.

С конной разведкой, вслед всадникам, ушел Латвинин; разведка осмотрела ближние поселения, но никто и не видел всадников, и не слышал про них.

— Значит, подполье работает, битте-дритте! — прикрывая рот рукой, проговорил Махинин. — Не представляешь ведь: такая тишина и благорастворенне воздух, и на тебе — подпольники!

Он помолчал.

— А может, партизаны-щепкиницы?

— А почему думаешь? — спросил как бы нехотя Сметанин.

— А потому, значит, знали, что ослаблены караулы. Щукин-то наш решил, незачем дальние пикеты выстав-лять, никаких-де тебе ни подпольщиков, ни партизан не-ту!

В этот день, провожая Алтухова до дому, Махинин больше помалкивал.

— Чего хмуришься? — спросил Алексей.

— Эх, христолюбивый воин Алешка! — проворчал Махинин. — Как бы ноги целыми унести. Хорошо еще, что тебя к твоей Аннушке прикрепили да я Сметанин Ваську к себе по фуражной части выпросил. А то пошлют в разведку, а пулька-то из-за уголка... Что, не веришь? Заготовлено!..

— Все может быть, — согласился Алексей.

— Все, все! Хорошая у тебя хозяйка, твоя Аннушка! Вот уж не пара была муженьку! Хорошо еще, кто-то снял сго, Вячеслава Мартыновича, не кuchi будь сказано. А то патворил бы беды многим. Да и Аннушку твою высвободил!

— Опа не Аннушка.

— Аннушка! Я таких, как она, Аннушками зову. Присмотрелся я к пей, когда сюда отступали. Добрая опа, ласковая к человеку. Верная. И за дочушку переживала,

что отец у нее такой. Жаль бабу, и впередт тьма: кто на нее вынырнет?

Улица была пуста. Две тройки пропеслясь к окраине и, описав кругую дугу, вметая вихри снега, вновь умчались к центру. Там, в офицерском собрании, бал — об этом знали в полку все. Капитан Кравцов днем заезжал к Ирине Сергеевне, приглашал посетить собрание.

— Вот, кутят наши прославленные офицеры! — усмехнулся Махшип, глядя, как заворачивает к центру последняя тройка. — Сам подполковник Щукин. Катай, катай, пока батареи почью как-нибудь черт не украдет!..

Он рассмеялся деланно:

— А сами под пушечки вновь изготовили! Чуешь? Не иначе топать скоро! Омск-то, говорят, качается. Добермейер недавно вернулся... Из похода...

— Из какого похода? — спросил Алтухов.

— Не в казарме живешь — жизни солдатской не знаешь. — Огляделся, шепотом: — Две пушки катали. На усмирнее. Теперь это просто, восстали — дома разнесут, село — с землей сравниют, пойманных на мушку... как при каком Юлии Цезаре!.. Антошов, вестовой, с Добермейером ездил, плакал, рассказывал. Только вот... село выкорчевывают одно — два повых встает, к партизанам уходят. С зуботычки начали, стиранием с лица земли кончаем. «Махшип! Готовьте фураж!..» Снова я главный фуражир полка — конец поговоркам, последнюю скажу: гром не из тучи, а из навозной кучи! Аминь!

Смех его звучал тяжело.

— Теперь из казармы не так-то просто, — без пропуска ни шагу! Посты выставляют — и то все с унтерами, кто поважней! Ну да не болтли смотри, — пока!

Он пожал руку, толкнул Алексея в бок и зашагал назад к батареям.

2

СИБИРЬ В СНЕГУ

Уже на пути к Омску с белым флагом прибыл в Карамышский полк отряд оренбургских казаков во главе с есаулом.

Командир полка сам опрашивал перешедших на сторону Советской власти казаков. За всех отвечал есаул, он был уже немолод.

— Да, в боях участвовали — это точно. Но ни в карательных экспедициях, ни в расстрелах люди эти участия не принимали.

— А сами лично?

— Также не принимал.

— А почему перешли?

— Спросите их, — предложил есаул.

— А чего нам там делать? — ухмыльнулся правофланговый. — Что у нас за спиной — земля? Землицы у каждого из нас мало. Не из богатых мы. Вот подумали и решили. Листовки ваши почитали (он вынул из-за пазухи аккуратно сложенную бумажку и подал командиру полка). Отблизь, значит, ночью от своих и ушли.

— А офицер? — спросил Небывалов.

— Этот человек дюжий, — сказал казак, — никто словом дурным его не помянет.

— А вы, господин есаул, что о себе скажете? — усмехнулся Небывалов.

— Ни в чем остальном перед Советской властью не грешен. Потому и пришел к вам.

— Как приходит, так все незапятнаны! — крикнул стоявший за спиной командира полка Асатолов, но Павел Ефремович остановил его.

— Всю войну провел на германском фронте. Имею семь ранений и Георгиевский крест. После демобилизации жил в Оренбурге. В заговорах не участвовал — политикой не занимался. Как относился к солдатам — сами скажут. В Оренбурге был мобилизован. Никаких постов ответственных не занимал.

— А почему не занимал постов? — придиричиво переспросил Небывалов.

— Уклонялся. Можете не верпеть.

— А не поверим — расстреляем! Чин какой? — спросил Небывалов.

— Есаул.

— Все вы есаулы, ни одного полковника! В германскую на каких постах были?

— Сперва рядовым офицером. В конце войны начальником штаба конного полка.

— А у белых?

— На эскадрон съехал, были неполадки с начальством, — сказал есаул.

— Врете всё! — прикрикнул Небывалов. — Все у вас невинные! Коммунистов не расстреливали? В карательных

экспедициях не были? Словом, ангелы белые, а как туго пришлось, с небес к нам, значит, на грешную землю?

Есаул молчал.

— Что молчите? — распаяясь, крикнул Небывалов. — Не зверствовали?! А вои, в Яровом, почью ребят наших — каких ребят! — порубили. Стервятники, беляки чертовы! Расстреливать вас мало!

Злоба исказила лицо комполка; всегда выдержанный, он явно терял самообладание — горечь за бойцов, порубленных в селе Яровом, не давала ему покоя.

Есаула, казалось, не тронули слова Небывалова.

— Смерть мы видели, — сказал он, — расстреливайте, если так у вас положено.

Но казак, стоявший рядом, возразил:

— А в листовках у вас не то сказано.

Но Павел Ефремович, казалось, забыл и приказ, и листовки.

— Вас, казаков, возьму. На испытанье! Проверим! — говорил он. — А его — в расход!

Есаул сошел с копя. Казаки явно приуныли, молчали.

— Все же неправильно будет, — заметил старый казак.

Вечером между командиром полка и комиссаром возник спор. Марков отстаивал жизнь есаула: нельзя расстреливать лишь потому, что человек был офицером у белых, — всюду проводилась мобилизация, да и приказ не разрешает этого. Но Небывалов, казалось, не хотел менять своего решения.

Юрий понимал, конечно, что происходило в душе командира: слишком свежа еще была память о Яровом.

— Нельзя расстреливать, — сказал Юрий. — Плохо подумают о нас казаки, да и свои про себя не одобряют. Решай.

— Как его звать? — спросил Небывалов.

— Многих. Сергей Сергееч. Фамилия уральская.

— А нам многих и не надо. — Острота, видимо, повредила Павлу Ефремовичу. — Он повторил: — Нам многих не нужно, нам надежных надо: на кого положиться можно.

— Начштаба полка! — сказал Юрий. — Специалисты нужны, использовать вовсе не плохо!

— И в расход пустить такую птицу тоже не плохо.

— В расход всегда успеешь пустить. Решай, командир!

— Решу, комиссар... Головой своей за него поручиться?

— А знаешь, вот возьму и поручусь! — вдруг рассмелся Марков. — Чуеться, не подведет этот... Сергей Сергееч.

Павел Ефремович тоже засмелся.

— Ладно! Под твою ответственность тогда, комиссар.

— Ладно, Павел Ефремович, — подтвердил Марков. — Отвечу. Думаю, ядрепа копалка, не ошибусь в этом старом хрене!.. Хотя чутью отдаваться не слишком рекомендовано.

Так есаул Многих был придан штабу Карамышского полка как «специалист для разработки военных операций».

Когда Юрпй зашел в дом, где под охраной Асатолова пребывал есаул Многих, он застал перебежчика у стола окруженным плотным кольцом карамышцев: есаул доходчиво и увлекательно рассказывал об одной из конных операций Брусиловского прорыва.

Марков прислушался: обстоятельный рассказ выдавал недюжинные познания в военной тактике.

— Вот что, есаул, — парочито строго сказал Марков. — Давайте выйдем. Асатолов, сопроводжай нас. Остальным — не надо.

Он увидел, как, поднявшись, офицер оправил фуражку, португую. Сказал покорно, но с достоинством:

— Слушаюсь!

«Думает, на расстрел!» — отметил про себя Марков.

Они прошли от дома под тень редких деревьев. Здесь Юрпй остановил есаула.

— Вот что, Сергей Сергееч, командир полка, товарищ Небывалов Павел Ефремович, решил включить вас в состав конного Карамышского полка. Будете работать при штабе как специалист. Только давайте договоримся.

— Благодарю и слушаю, — подавляя волнение, проговорил есаул.

«Понятно, волнуется!» — Марков знал, что такое смерть. — Не ждал, видать, такого оборота! Ну, Юрпй, держись — свою голову под заклад дал».

— Я за вас головой поручился, — сказал Марков. — Поверил в вас. Не подведете и меня, и Советскую власть?

— Буду честно служить Советской власти, п вас... — Многих не знал, как обратиться к Маркову. — И вас... простите, не знаю, как называть?

— Комиссар полка Марков. Зовите Юрнем Алексеевичем.

— И вас, Юрий Алексеевич, тоже не подведу. Будто уверены.

— Вот и хорошо, — заключил Юрий. — А теперь отдыхать. Утром явитесь в штаб, товарищ Асатолов проведет вас. Ясно, Асатолов решение Павла Ефремовича?

— Ясно, товарищ комиссар! — весело крикнул Асатолов.

Тишина вновь обволакивала городок, в котором проживали сейчас Алексей Алтухов с Ирпной Сергеевной.

Только в положенные утренние часы на батареях раздавалось обычное: «Прицел семьдесят, трубка семьдесят... Огонь!..» Огня, конечно, не было. Проводилось очередное занятие. Потом умолкали команды, орудия устанавливались на прежние места, часовые похаживали у ограды.

Прошло еще несколько недель. Поутру зашел мимоходом Махинин, принес зайца.

— Аннушку свою угости, — сам свежеевал, дружок мне принес. Только зачем мне — сыты!.. — Он помялся, переступая с ноги на ногу, как бы раздумывая, сказать ли. — Лошадей, сапп, кошевы по всему городу реквизируем. Провиант, сено тоже — вить, скоро! Соберитесь на случай, мало ли экстренность!

«Значит, опять путн-дорожки! — подумал Алтухов, проводя до крыльца Махинина. — Куда еще бежать?! Но как отстать, как перейти?»

События развертывались в тот день необычно. Во второй половине заглянул в дом Ирпы Сергеевны капитан Кравцов. Уже не первый раз заезжал он сюда — «приведать, как живется». Но сегодня капитан не задавал своего обычного вопроса.

— Мне нужно с вами поговорить, Ирпна Сергеевна, — сказал он, проходя в ее комнату и закрывая за собой дверь.

Из кухни Алексей слышал громкие голоса — разговор в комнате Ирпны был бурным.

Вскоре Кравцов вернулся вместе с Ирпкой, поглядел на Алтухова, проговорил: «Распустился! Вида, выправки не осталось. Надо тебя погонять на запятых».

Но Ирина Сергеевна показала неожиданно твердо:

— Нет, Петр Васильевич! Нет! Алексей Ксаверьевич отдал мне его полностью.

— А вы, оказывается, шутить любительница? — посмеялся Кравцов. — Пусть так! Я еще загляну к вам сегодня. Подумайте все же, о чем говорили с вами, Ирина Сергеевна!

— Нет, не надо, Петр Васильевич, не надо, — почти с мольбой произнесла она.

Кравцов не ответил. Вышел, сел на коня и неторопливо поскакал к батареям.

— Где Ирка? — спросила погода Ирпка.

— В палисаде.

— А ты чего дуешься, Алеша? Знаешь, что предложил мне Петр Васильевич?

— Догадываюсь — замуж выйти! — крикнул Алексей.

— Как это люди не понимают, — сказала она. — И ты еще дуешься.

Ирпка ушла из кухни и долго не возвращалась.

Потом прибежала с мороза Ирка и начались «вопросы и ответы».

Потом обедали втроем, и снова казалось — мир и уют заполняют компаты. И нет ни войны, ни смертей. И никто словно не думал в этом заметном снегами городке, что на подступах «сибирской столицы» стоит окрепшая, несокрушимая уже теперь Красная Армия.

Вместе с пехотными полками дивизии все дальше на восток пробирался Стальной Карамышский вдоль великого сибирского пути. Спешили от Ишима к Омску, превозмогая усталость: нельзя было дать врагу укрепиться в своей новоявленной «столице».

Пленных и перебежчиков было много. Покачиваясь в седле, Юрий Марков вспоминал Алтухова, думал: «Где же этот бандюга, чертовый Леха, подевался? Тикает, сдаваться, что ли, не надумал еще, а уж всему скоро конец!»

Дорофей Власов, хорошо знавший со слов Маркова об Алексее, не раз вздыхал:

— Не видать дружка твоего. Зря пропадает человек,

Комполка Небывалов то и дело высылал вперед разведку.

— У беляков силы еще есть, — говорил он. — В Омске, сообщают, тысяч тридцать штыков и сабель.

Силы у белых, вне сомнения, еще оставались, вдобавок имелось и вооружения — Марков не сомневался в правильности слов командира полка. Не сомневались в том бойцы и командиры, но былой стойкости у врага уже не стало. Белогвардейские части откатывались, не принимая боя.

У большого села на Оби вдруг возникла непредвиденная заминка. Павел Ефремович поджидал допесенки разведки, когда в избу ввалился смущенный Власов и доложил, что в село пройти не удалось: противник держал дорогу под сильным огнем.

Пока подоспевший пехотный полк занимал исходные позиции, Небывалов вновь выслал Власова прощупать боем подходы к селу.

— Только не зарываться, за реку не ходить, — приказал он. — Возьми в поддержку Асатолова со взводом.

Снег валил крупными хлопьями, когда разведка вновь двинулась к Оби. Далеко впереди маячили на том берегу запесенные снегом избы.

Лес, краем которого пробирались теперь конники, прикрывал дорогу, в обход уходившую к селу.

— Давай обожди здесь, Дорофей, прикрой на случай, — сказал Асатолов, — а мы с дружкой пощупаем, проберемся леском.

— Только на ту сторону не ходить! — приказал Дорофей. — Да поаккуратней.

— А то как! — подтвердил Асатолов и тронул коня.

Прошло не менее двадцати минут, а Асатолов не возвращался.

«Куда же он, черт, не на ту ли сторону?» — подумал Власов, но пулеметный огонь оборвал мысли.

Он толкнул коня на дорогу и увидел, как скачут вразброд от реки конники Асатолова.

Уже в штабной избе понурый Асатолов докладывал Небывалову:

— Прошли до реки — никого на той стороне не видно. Думал — ушли, посмотрим, что на селе. А они до берега того не допустили — и как дадут!.. Еле ушли.

— Скольких потерял? — тихо спросил Небывалов.

— Троиш: Петрова, Саперова, Малышева.

— Выйди, — тихо произнес командир.

Было бы легче, если бы накрычал, — Асатов помялся у порога, вышел.

— Спать надо его, комиссар, с должности заслушавше, — сказал Небывалов, считая разговор закопченным.

К вечеру пехота пошла на приступ села. Крупный снег все так же падал на поля, на лед реки. Быстрыми перебежками бойцы продвигались к правому берегу. Село молчало, как нежилое.

— Опять подпускают, чтобы в упор бить, — решал Небывалов, паблюдая за боем.

— Может, ушли они? — спросил Марков.

Павел Ефремович не ответпл. Река молчала, молчало село. До ближних паб пехотинцам было уже недалеко.

— Сейчас ворвутся, — сказал Марков, но Небывалов спросил вдруг:

— Слышишь?

Но Марков не слышал.

— Слышишь?! — повторил Небывалов. — Человек кричит с того берега... «Стой! Лед! Стой!..»

Густой пулеметный рокот мгновенно потопил крик человека. Было видно, как падали на снег люди, пытались ползти, но огонь прочло держал их на месте.

Быстро темнело, первые раненые приползали от реки, — лед у села был подорван.

В ночь Стальной Карамышский, с батальоном пехоты, посаженной на сани, пробирался в обход к вражескому селу. Пехотинцы па реке не знали о том. Когда под утро крики «ура!» и шум стрельбы донеслись до них с улицы за домами, они поднялись и побежали к селу. Тоже крича и стреляя, они скатывались в реку, брели посреди взорванного прибрежного льда, карабкались па берег Оби к избами. Туда, где рубились с врагами карамышцы.

До самого Омска Стальной Карамышский уже не встречал сопротивления врага — колчаковцы откатывались поспешно, теряя по пути орудия, лошадей, снаряжение. Карамышцы торопили коней. Но все же не им первым довелось вступить в эту «сибирскую столицу» —

прославленные блохеровские части в середине ноября заняли колчаковское логово.

Огромные трофеи достались победителям: бронепоезда, сотни паровозов, тысячи вагонов, десятки орудий, множество пленных, хотя часть гарнизона и успела отойти. Успел вместе с «союзничками» умчаться в Иркутск и «правитель омский».

Но город, когда со своими коняками въехал в него Марков, показался Юрию каким-то мирным — словно и войны не было. И только военных повсюду было много.

К вечеру первый вестник грозы долетел до казарм, всколыхнул мирную жизнь белых артиллеристов. В двадцать ноль-ноль часовой, стоявший у тракта, внезапно вскинул винтовку и выстрелил. Сразу за выстрелом огласила окраину заливающая трель свистка. Когда к часовому подбежал наряд караула, часовой указал в сторону реки:

— Стреляют! У затона!

Люди прислушались: стреляли где-то далеко. Далекая, осторожная, редкая стрельба, как воровская поступь, еле слышно пробиралась сквозь вечерний воздух.

— Это не у затона! Это куда дальше, на той стороне реки, — сказал кто-то.

В доме Ирины Сергеевны стрельбы не было слышно. Капитан Кравцов, заехав во второй раз, разговаривал с Ириной Сергеевной, когда к дому подскакал ординарец и доложил о случившемся.

Кравцов был явно обижен разговором с Ириной Сергеевной. Выслушав ординарца, он попрощался с хозяйкой дома и приказал Алтухову следовать за ним.

— Мы пробежимся немного с Алешей по свежему воздуху! — сказал он. — Не волнуйтесь, Ирина Сергеевна, скоро вернемся, а малость подышать порохом молодому человеку полезно... Тем более что он не из трусливых!

Когда Алтухов прибежал в казармы, стрельба стала намного слышнее. Разводчики, посланные к берегу, уже принесли первые сведения: внизу, у затона, шла перестрелка. Кто и в кого стрелял, оставалось неизвестным, и для остротки командование полка решпло выкатить два орудия к берегу и дать несколько выстрелов по затону.

Вместе с орудиями выехал к берегу и Кравцов. Алтухов следовал за ним, не понимая, чего ради понадобилось капитану вытащить его в эту пенужную поездку.

«Все равно пользы от меня никакой, ни стрелять, ни даже заряжать пушку не умю: не обучен! — думал Алексей. — Или Кравцов, леужели Кравцов, неглупый Петр Васильевич, ревнует Ирину? Но этого не может быть!»

Пушки устанавливали долго, берег был ровен, бугрист, лошади проваливались в ямы, прикрытые снегом, офицеры бранились. Алтухов смотрел на Кравцова, лицо капитана становилось жестким, работа артиллерийской прислуги ему явно не нравилась.

— Ни к черту ваши артиллеристы! — кинул он Добермейеру, когда орудия были наконец установлены. — В солдатике вам играть, а не командовать!

Добермейер почтительно улыбнулся, отъехал, махнул рукой, стволы пушек дернулись, залп расколол воздух.

В затопе заметно оживилось, послышались очереди пулеметов, взрывы ручных гранат. Быстрее заработали орудия Добермейера.

— Охрана затона обороняется, — как бы рассуждая с самим собой, произнес Кравцов. — Вот что, Алтухов, скажи к Ирине Сергеевне. Быстрелько соберите пожитки на всякий случай... Хотя видимой опасности нет. Кошеву Махиши пригонит. Ступай!

«Значит, начинается вновь, — думал Алексей, торопя кося. — Куда же теперь — назад в Новониколаевск?»

До дома Ирины Сергеевны орудийные выстрелы доносились глухо: казалось, кто-то раскупоривал огромные бутылки. Ирина Сергеевна дождалась в кухне, сама открыла дверь, как будто стояла у двери.

— Я так боялась за тебя, Алеша, — проговорила она.

— Велят складываться, — сказал Алеша. — Черт бы их всех побрал, со всей их затеей! Бросить, все бросить, скрыться куда-нибудь, затеряться!..

Кто-то стучал в двери, но Алеша не слышал или не хотел слышать. Ирина Сергеевна сама откинула крюк, впустила военного.

— Унтер-офицер Егорушкин! — военный приложил руку к папаше. — Господин капитан Кравцов приказал справиться, не нужно ли какой помощи? Кошеву сейчас пригонят — чтобы наготове!

— Ничего, справимся, — сказал Алтухов. — Сейчас начнем складываться.

Когда Егорушкин ушел, они стали молча укладывать чемоданы.

Часа через два Махинин пригнал кошеву. Чемоданы спесли и увязали, запасные одеяла разложили на спеленья. Кошева, прочно крытая брезентом, напоминала пещеру.

— Валенки у вас теплые, Ирина Сергеевна? Ножки не поморозите — ножки спасители наши! — спрашивал и шутил Махинин. — А дочушке мешок надо сплить из кошмы, хорошо б мехом выложить изнутри. Кошму найду, к утру не мешок — дом целый будет, в мороз не замерзнет дочушка.

Старый мех нашелся, Махинин забрал его в казарму, уходя, повторил:

— К утру будет! Спите до утра спокойно, Авнушка!

— Почему он назвал меня Аннушкой? — спросила Иринка.

Пушки все еще били на берегу. Ночью, когда Алеша отводил глаза от Иринки, он видел в окне звезды.

К утру стало известно, что связь с Новониколаевском прервана. Утром Махинин принес Ирине Сергеевне обещанный мешок. Ирку усадили в него, вынесли. Запрягли коня — конь выбран был Махининым крепкий.

Конные разведчики ехали уже мимо дома, на тяжелых санях двигались к центру городка пушки, везли боеприпасы.

Ирина Сергеевна с Иркой сидели в глубине кошевы под навесом. Слегка мело.

— Пороша к доброй дороге! — напутственно проговорил Махинин, взбираясь на своего коня. — Трогай, Алеша!

Алеша ударил вожжами, конь рванулся и резво вывез кошеву за ворота.

3

ТРУДНЫЕ ДОРОГИ

Помимо всех прочих забот и обязанностей, которые лежат на комиссаре, была у Маркова теперь еще одна добровольно возложенная им на свои плечи — Многих. Сергей Сергеевич своим поведением не вызывал, казалось, беспокойств; был оперативен и искушен в военном деле; четкость штабной работы, которую он незаметно и упорно внедрял ото дня ко дню, гибкость расчетов тех небольших

боевых операций, которые проводились Карамышским полком со дня его прихода в штаб, — ничто не возбуждало сомнений. Помощник командира дивизии, побывавший в полку, с одобрением отнесся к высказываниям Сергея Сергееча в ходе обсуждения предстоявших действий дивизии.

И все же Юрий Алексеевич — если уж говорить откровенно — не был спокоен. Работа работой, знания знаниями, исполнительность исполнительностью, а что на душе — тайна. Враг хитер — он может прикинуться другом; только на острие событий, в делах, в поступках раскрывается и распознается внутренний мир человека.

Дня за три до той самой операции, которую совместно с другими полками должен был проводить и Стальной Карамышский, в тесной штабной избе засиделись далеко за полночь над картой Марков и Многих.

— Итак, все! — сказал вдруг Сергей Сергееч, оглядываясь и улыбаясь, словно разыскивая еще кого-то в горенке, но в избе никого, кроме них, не было.

— Все! — повторил он и посмотрел с усмешкой в глаза Юрия Алексеевича. — Если, конечно, он, этот бой, вообще состоится.

— Почему «если»? — спросил Марков, настораживаясь.

— Я хотел сказать, товарищ комиссар: если бой вообще состоится, или вернее, будет развиваться именно так, как мы его планируем! — не торопясь, пояснил Многих. — Иначе — если никакие предварительные факторы не вступят в действие и не изменят общую картину.

— Вы предвидите возможность неожиданных действий со стороны белых еще до нашего выступления? — спросил Юрий Алексеевич.

— На войне всякое бывает.

— Всякое? — переспросил Марков, взглянув в Сергея Сергееча. — А Павлу Ефремовичу доложили о своих сомнениях?

— Не счел нужным. Хотя Павел Ефремович не принадлежит к тем, кого легко расхолодить. И потому сказать ему было бы возможно. Думаю, белогвардейские части боя не примут, войска отведут заблаговременно. Но высказывать предположения, основанные лишь на размышлениях, так сказать на интуиции, — не сторонник. В бой надо идти собранным. С предожиданием худшего, а не возможно лучшего.

— Ах вот что! — воскликнул Юрий Алексеевич. — По-
пимаю.

— Вскоре увидим! — подытожил Многих.

Они покурили.

— Сергей Сергеич, — вдруг спросил Марков, положи-
в руку на плечо Многих. — А позвольте вы мне задать вам
один питимный, так сказать, вопрос?

— Сделайте одолжение, — сказал Многих.

— Скажите, Сергей Сергеич, что привело вас к нам?

— Докапывастесь до истины?

— Если хотите!

— Хорошо. — Многих с любопытством смотрел теперь
на Юрия Алексеевича: несомненно, он представлялся ему
крайне молодым. В голосе Сергея Сергеича ощущалось
уважение, быть может — подобие нежности к этому ко-
миссару-мальчику. — Хорошо, Юрий Алексеевич. Позволь-
те некоторое сопоставление. Вам доводилось в детстве
возмущаться приказанием матери, если это приказание
противоречило вашему желанию? Приходилось. А потом
вы вдруг (или постепенно) убеждались, что материнское
приказание справедливо. Да и в корне своем оно не про-
тивно вам. И вы его принимали. Уже не как неизбежное,
а как единственно нужное в данном случае решение. Не-
что подобное... если отклонить высокие слова, вроде
«матери» или «родины», произошло, очевидно, и со мной.
Рассказывать об истоках? Или резюмировать вкратце?

— Как пожелаете!

Но Сергей Сергеич видел: комиссар ожидает не ре-
зюме, а рассказа.

— Тогда, если будете слушать. Мой отец — из сред-
них уральских казаков. Человек жесткий, побывал в
двух войсках, на германской сложил голову. Безусловно
честный, любил свой Урал, считал себя прирожденным
казакон, служил земле своей и царю-батюшке верой и
правдой. Я? — Многих задумался, как бы подыскивая
слова. — Я?.. Пожалуй, проще всего было бы опреде-
лить так: прирожденным казакон себя не ощущал. Учился
в гимназии и после гимназии в особенности стал чу-
ждаться всего казачьего. Влияние, конечно, друзей, со-
товарищей! Хотя социалстов, — он усмехнулся, — соци-
алистов не знал и сам таковым не сделался. Но некоторой
широты мнений, если хотите, набрался. И, казалось
мне, что мно-огое у нас неправильное, устаревшее. Вот
с этими мыслями и поступил — по требованию отца —

в кавалерийское училище. Училище совершенно не пришлось по духу, но кончить кончил. Потом — полк. Казачий. Тоже по воле отца. И война! Позвольте, закурию? — Марков поддержал предложение Многих, они закурили. — Ну, о войне сейчас не к месту. Одно только отмечу, да вы это и сами знаете, — бездарность высшего командования.

Юрий Марков, казалось, глядел мимо Сергея Сергеевича, быть может, не слушал его, но ни один жест, ни одно слово Многих не проносилось мимо неотмеченным, невзвешенным.

— А потом дали по шапке, демобилизовали. Погоня сиял раньше. Почему? Сочувствовал? Нет, не то. Просто сиял, как отделяешься от пепужкой обузы. И домой, в Оренбург. В Красную Армию не призывали. Добровольцем? Скажу честно: воевать ни за что не хотелось. А потом стал смотреть по сторонам, приглядываться, прислушиваться. Вздвешивать. И, черт возьми, знаете, все это новое, что приходило, было уж совсем не так глупо, как думали о том еще многие. А для народа и вовсе хорошо. Словом, как я вам вначале говорил — о материнском приказании. Хотя никто мне не приказывал. Просто солдата я знал и верил ему: тут наш солдат на мысли, а раз уж что выбрал — сбить его с пути трудно. Но... пришли белые, и было уже поздно.

— А здесь, в полку, вам нравится, Сергей Сергеевич? — обождав, спросил Марков.

— Ну, комиссар, об этом уж судите сами. По поступкам.

— Значит, по поступкам? — переспросил Юрий Алексеевич.

— Словами-то чего-чего только пельвя понараскачать! — Многих словно в смущении развел руками. — И так уж я себя чуть ли не социалистом разрисовал!..

Наутро разведчики Дорощея Власова донесли, что основные части белогвардейцев покинули позиции. На местах укреплений оставались лишь незначительные заслоны. Их можно было смять одним налетом, но особого интереса это не представляло. Ночью сиялись с позиций и последние заслоны — враг отступал.

И Юрий Алексеевич задумался вдруг над словами бывшего есаула Многих: «если оп, этот бой, вообще состоится»... А ведь бой-то и не состоялся!

«А что, если знал о том есаул! — вдруг подумал Юрий. — То есть имел сведения? И так только, лишь бы укрепить доверие к себе, — чтобы завоевать его! — как бы проговорился комиссару в беседе с глазу на глаз? То есть проговорился мне?»

Забота, возложенная самому себе на плечи, становилась тяжелее: человек сложен, как разгадать?..

«А что, если все слова его — одно усыпление бдительности? Как говорится, сверху шелк, а внутри — щелк? Как разгадать эту загадку, ядреа копалка?!»

Город был оставлен без боя. Гарпизоп отступал по узкой проселочной дороге к железнодорожному полотну; в гуще обоза, зажатаая саамяи и круамяи лошадей, двигалась, торопясь за другими, и кошева Воловой.

Алтухов погонял копя. Мutilo, хотелось есть, весь день, не останавливаясь, полз обоз; под навесом кошевы, в своем кошмовом мешке, спала Ирка; Ирина Сергеевна, высываясь, с беспокойством поглядывала по сторонам.

— Ничего, Иринка, потерпи, — успокаивал Алексей. — Скоро, говорят, будет большое село, отдохнете.

Бессмысленное бегство удручало. Самым разумным было, конечно, затеряться, как Персиков, зацепиться в каком-нибудь городке, выплеснуться из общего потока, выйти из невужной, осточертелой игры. Но как зацепиться, как выплеснуться.

И подумать только — память не давала покоя: трус, подлюга, замухрышка Персиков выплеснулся, вырвался из водоворота, как верткая рыбепка! Выпросился у самого Щукина «попрощаться с родственниками»; бросил перед самым уходом из города — «на мипутку!» — лошадь; с одним заплечным мешком и винтовкой вошел в ограду дома по ту сторону площади и исчез. Напрасно подпоручик Латвинин с пристрастием обшарил соседние дома, Персикова нигде не оказалось.

«Но Персикову было проще, чертову Персикову! — восклицал про себя Алексей. — Он один. А вот попробуй-ка с этой кошевой, с Иркой, с Иринкой «выплеснуться»? Да еще Кравцов подъезжает по несколько раз за день, справляется, все ли в порядке. А ты изображай из себя к тому же идеального вестового, никаких личных отношений к Ирине Сергеевне не имеющего!..»

Ложились первые сумерки. Вести, доходившие от головы колонны, сулили близкий отдых, село называли по-разному, названия путались. Но сани, обступавшие кошеву Воловой, чаще останавливались теперь, сперва на минуту, па две, потом стояли среди снегов значительно дольше и снова тскли проселком, торопясь; и Алтухов вновь понукал копя.

К вечеру обоз подошел к железнодорожному полотну; войска пытались выйти к окраинам Новоиколаевска, к его сортировочной станции, — предполагалось, что она еще в руках колчаковцев, — и там погрузиться в эшелоны. Но в трех верстах хода от станции обоз остановился прочно: навстречу от сортировочной также отступали войска. Слух пробежал по батареям — путь к сортировочной закрыт; и тем, кто не знал ничего, стало ясно, что Новоиколаевск сдан.

Тогда был отдан приказ двигаться вправо, куда сворачивал боковой проселок. Лошади налегли на постромки, затрещали шлеи, отдирая примерашне полозья, колосна двинулась вправо, пересекла несколько широких полей, порезанных перелесками, и вошла в лес.

К ночи обоз остановился вновь. Разведка доносила — впереди, в деревне, войска.

Никто не знал, какие войска стояли в деревне. Сзади, в пяти верстах, оставалось полотно железной дороги. Когда войсковые колонны огибали его, бронепоезд пронесся по насыпи, холодно постукивая колесами. Кому принадлежал бронепоезд, этого также не знал никто.

Дорога к деревне спадала пологим склоном. По обе стороны тянулся лес, ночь наползала на деревья.

Чуя близкое жилье, лошадь потягивала вожжи, — Алтухов сдерживал ее, кошеву качало.

К ротмистру голубых уланов, что ехал теперь впереди Алексея, с донесениями прибывали разведчики, и ротмистр вполголоса повторял:

«Так, так... Разведка подходит к деревне, никого не обнаружено...»

«Разведка вошла в деревню... Так, так!..»

«Разведчики продвигаются по деревне...»

Конь ротмистра позвякивал трензелями. Дорога становилась уже, ухаблстей. Разведка возвращалась; и ротмистр вновь поддакивал:

«Так, так... только подходят к деревне?»

«Неверная информация?.. Так!..»

Он все повторял еще это «так, так», конь его покусывал удила и тянул белой губой воздух, просясь вперед, но тишину ночи вдруг словно пробили выстрелы, и Алексей услышал, как, оборачиваясь корпусом и закидывая ногу над седлом, ротмистр закричал режущим голосом:

— Спеш-пвай-сы!.. Лош-дей!.. в лес!..

И сразу опустела дорога; спереди, с боков — кругом был теперь лес, лиственницы и снег по колено. Алексей увязал в нем; он тянул свою лошадь за узду и никак не мог убрать кошеву с обочины дороги.

«Кто же это стреляет? — думал он. — Откуда?»

Улапы среди деревьев в смущении покрикивали на лошадей; лошади беспокойно переступали с места на место.

Кошева все еще упиралась, цепляясь за корни и мерзлые бугры снега, и Алексей ударил лошадь ногой. Кошева неожиданно рванулась, увлекая за собой Алексея, и он побежал рядом с ней, по снегу, среди деревьев, путаясь в полах шипели и теряя силы.

— Ирипка! Не волнуйся, не волнуйся! — кричал он, не зная, слышит ли его она.

В бою нужна не безмерная храбрость, а выдержка — это понимал Алтухов. У войск не было теперь ни того, ни другого. Артполк отступал от деревни вместе с другими полками, имея сотни солдат, орудия, снаряды, пулеметы, ящики пулеметных лент. Путь ложился теперь в обход деревни, через железнодорожное полотно, у моста или пониже речкой.

У моста поток розвальней, сапеев, всадников разбился на два ручья: одни пошли напрямик через железнодорожную насыпь, другие окольной дорогой, под мост, по речке. За мостом дорога сворачивала влево; но те, что спустились с насыпи, пришли сюда первыми. Теперь сбоку на них наседали шедшие речкой и анненковские голубые улапы (в большинстве своем уже сменившие фуражки с голубым околышем на доморощенные крестьянские ушапки); колонной гнали они сюда своих заводных коней.

Кони были забраши в городе и окрестных деревнях. Кони были рослые, сытые, вскормленные на даровом уланском овсе (овес притекал к уланам из тех же крестьянских дворов), и Алексей невольно залюбовался, глядя на их дикие, встревоженные морды.

Но здесь подошел обоз сверху, сани столкнулись, разваляки и кошевы затрещали, никто не хотел уступить дороги, каждый спешил уйти вперед.

Обозы шли на рысях, все торопились скорее добраться до ближайшей деревни, выбрать себе лучшую избу или хотя бы лучший угол в избе и, главное, как можно скорее выйти из ненавистной полосы огня, чтобы спасти жизнь.

Бронепоезд ожидал за мостом, пока спускался верхний поток, но так как конца ему не было и так как многие учли, что с насыпи, с раската, легче врезаться в общее русло, чем идти понизу, и продолжали топиться на полотне, — бронепоезд стал медленно подходить к мосту, подавая тревожные свистки и поворачивая на колонну нахохленные башенки.

По отступающим пробежал страх; никто ничего не сказал, и никакой команды не было подано, но сразу, как по команде, ринулся поток с насыпи, настегивая лошадей и давя нижних; полотно мгновенно опустело, только черная рама моста зияла теперь провалом в предутреннем рассвете. Бронепоезд подходил к мосту.

В центральном вагоне, у бойницы блиндированной башни, стоял полковник Буранов. Бронепоезд шел к Краснойрскому, но Алтухов не видел и не мог увидеть Буранова. Он думал сейчас лишь об одном: как бы уберечь кошеву, где, перепуганные, голодные, замерзшие, покачивались, валясь с боку на бок, Иринка со своей дочкой.

Бронепоезд коротко свистнул и прошел мост.

Потом обозы еще раз пересекли железнодорожную линию, задевая полозьями за рельсы и обивая коням ноги; запрыгали на ухабах правой стороны полотна и, резко отгибая к востоку, покатали, успокаиваясь по-прежнему, занятые теперь только одной целью — скорее дойти до деревни.

Деревня была богата, широка, длинна. Но изб не хватило и на десятую часть войска; и многие обозы, не убавляя рыси, проходили дальше, к следующим деревням, за десятки верст, где их встречали такие же богатые, просторные избы, вабитые солдатней.

Тогда, потеряв надежду на просторные избяные углы, оставались солдатские подводы, люди высыпали во дворы, тут же разводили костры, переполняли до отказа избы, ища тепла. Люди вскрывали амбарушки, набивали

окоченелые рты крестьянской снедью; меняли лошадей и разбитые розвальни; нагорлапив, чаевшись, тут же папились на пол и засыпали.

Так закончился первый переход и для Алтухова с Ириной Сергеевной.

В одной из безвестных сибирских деревень, где со своими пупками па санях и уже покалеченными ездовыми лошадьми остановился артиллерийский полк, нашлось место па почлег и для Воловой. Алексей сам разыскал дом с отдельной крохотной горенкой; в пей с трудом можно было повернуться и сложить до утра вещи. Но после беспокойной езды, обстрела, изба показалась Ирине Сергеевне землю обетованной.

Правда, в просторной соседней комнате шумно спорили подвыпившие офицеры полка, и Добермейер, быстро охмелевший с мороза, рычал и сквернословил, забывая о том, что за тонкой перегородкой отдыхает вдова погибшего сотоварища. Но все это казалось теперь мелким, никакого значения не имеющим.

— Вот так и жить бы нам втроем, — не обращая внимания па шум и выкрики за стеной, говорила Иринка. — Так и жить бы нам где-нибудь, Алеша. Честно жить, пусть небогато, пусть в такой же вот комнатенке, и никуда не спешить, никуда не бежать, ни от кого не скрываться, не прятаться.

Узкая лежанка едва умещала ее вместе с Ирккой, коптилка чадила, расплывчатые тени колыхались по углам.

— Так и жить бы...

Но и в этой каморке не было покоя. Кто-то стучал в дверь, кто-то хотел «хоть приткнуться», пристроиться здесь же на почь; дважды заходил Кравцов, и Алтухов, дремля у порога двери, просыпался, докладывал: «Спят, устали очень, господин капитан, все в порядке!..»

Кравцов приветливо смотрел на Алексея, произносил предупредительно: «Береги! Головой отвечаешь!..» Уходил.

Алексей впадал в полусон: он дремал и слышал, как шумят офицеры; дремал и слышал, как тяжело дышит во сне Ирка; дремал и видел, как приподымается с лежанки Иринка, настороженно обводит глазами горенку, ищет его.

Тогда он медленно подымался, подходил к ней, целовал холодные губы, прикрывал Ирку. Возвращался к двери, которую и во сне нужно было охранять.

— Мы этим голодранцам еще покажем кузькину мать! — свирепел за стеной Добермейер.

На десятые сутки при выезде из села где-то далеко в тылу пробежала пулеметная очередь, и все поняли — позади начинается бой. И хотя бой был далек и никому еще не угрожала опасность, над лошадиными спинами вновь засвистели кнуты, и обозы, удвоившиеся за эти дни, торопко задергали оглоблями.

Редкие солдаты шли теперь пешком; большинство по двое — четверо ехало в копевах, розвальнях, выездных сапках, кибитках, окутанные награбленным тряпьем, стеганкой одеял, кошмой, самоткаными ковриками, армяками, бабыми салопами.

Люди ехали теперь дни и ночи, останавливаясь на короткой ночлег, когда отказывались идти кони, и там, где можно было найти полуголодный стол и тепло. До зари они подымались, варили заваруху из муки, сухарей, хлебных крошек, шныряли по пустым амбарам и снова поголпья своих четвероногих исхудавших друзей.

По пятам шли красные. Говорили — партизаны, щетинкипцы. Нередко гогот пулемета нагонял теперь замешкавшиеся на дневном привале возки, и солдаты яростнее начинали настегивать лошадей.

Дороги, по которым в обычную зиму проходил за месяц какой-нибудь десяток розвальней, несли теперь на себе тысячи груженных саней, кошев, кибиток. Отяжелевшие, обледенелые, забитые снегом орудия тяжело оседали в выбоинах, лошади падали, надрывались.

Зима неожиданно принесла несколько теплых солнечных дней, потом подморозило, дороги укатались за эти дни, как добрый каток, и выбоины стали подобны ледяным лоханям, в которых утопали сани с лошадьми. Лошади бились на их черном от навоза и лошадиной мочи дне. Солдаты выпрыгивали из саней, боясь, как бы не придавили их идущие сзади; дергали лошадей за уздцы, ругались с соседями, дрались, кричали на лошадей. Пулеметы где-то вдалеке не умолкали порой от зари до позднего вечера, ночью высоко по небу полыхали варева,

И то, что выносили люди — недоспавшие ночи, еду впроголодь, крутые морозы, — то не выносили лошади. Брошенные в пути, обессиленные, покалеченные, они копошились в снегу, подышали и трупами метали спешные пути отступления.

Орудия, что везли на тяжелых санях, мешали быстрому продвижению, крепко увязая в ледяных выбоинах; артиллерийский полк отставал, его оттесняли к хвосту колонны, на которую наседали красные партизаны; и, опасаясь потерять не только пушки, но и орудийную прислугу (как бы присматривали за солдатами пастырные унтер-офицеры), командование полка призадумалось.

На одной из стоянок, осмотрев упряжки, Щукин вынес решение: «Орудия не вывезти — лошадей и людей потеряем. Пушки — получим, людей — нет!..» И пушки были брошены.

Обозы продолжали расти. Все ехало теперь, все лежало в санях, дралось за свои две сажени в общем потоке обоза, за свое место в избе. И, раз попав в этот поток, человек с санями, по стальному закону движения, не мог ни задержаться, ни отойти в сторону, ни выйти из общей полосы, дабы не отстать от своих, не замерзнуть, не погибнуть с голоду, не быть пристреленным, как умышленно отставший. Место его было строго определено спешившими за ним людьми, потому что каждое место, выигранное в общем ряду на одного человека, на две сажени, удаляло его от неприятельского огня.

Формула движения оказалась пайденой. Формула была проста и кратка, как истинная формула. Она гласила: «Гони!.. Пошел!.. Гони!..»

4

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ

Прошли дни, Кравцов больше не навещал уже Ирину Сергеевну. Он ехал верхом, впереди полка, рядом с выездными санками, в которых передвигался теперь подполковник Щукин. Лошадь в санках Алексея Ксаверьевича была рысистой породы.

Не верилось, как могла эта красавица, статная, белая, в серых яблоках кобыла, выдержать столь тяжкий путь; правда, шла она уже в засечницах и бинтах, но все

еще, словцо на дорожке ипподрома, легко выбрасывала вперед точеные поги. Командирского верхового коня вел заводным вестовой следом за выездными санками.

При встречах Кравцов не улыбался, но заговаривал больше с Алтуховым. Алексей знал, Ирина Сергеевна па- стояла на своем: никаких забот о ней со стороны Петра Васильевича не должно было быть, незачем привлекать к себе ненужное внимание офицеров; и Петр Васильевич отошел — он не мог поступиться своей гордостью.

Дни текли пудные, трудные, как близнецы, схожие одни с другим. Ирка чаще плакала; она уже не просила- лась больше в свою кроватку и только уныло всхлипывала: «Опять в мешок, дядя Лёма?»

Морозы крепчали, люди худели, лошади тощали. Счет суткам терялся: мало кто помнил уже, какой день месяца наступил, какой миновал. Мысль притуплялась. Все стало однородным, обычным, как бы положенным по закону природы: снег, лошади, версты.

Слева от дороги, у самого леса, тропой, где не пройти обозным саням, огибая кусты, занесенные снегом, едут верховые. Они обгоняют обозы, идут на рысях; и обозники, полукая своих захоженных лошадей, с завистью и злобой смотрят вслед конникам. А конники все тянутся нескончаемой полоской.

Города остаются где-то в стороне.

«Видно, умышленно обходят, — думает Алтухов. — Умышленно, чтобы не растерять последнее — живую силу. Ибо без этого делать нечего. И как здесь отбиться, скрыться, уйти?! Унтера на санях повсюду, и это не случайно! Чертовы унтера, тайга, снег!»

Три дня назад двое пушкарей послушались офицера, не подчинились Добермейеру. Вечером Егорушкин доставил их Щукину. Наутро сапи пушкарей заняли другие солдаты, — Махинин пожимал плечами: «Исчезли — один туман!..»

Вчера расстреляли двух полковых пулеметчиков за «попытку перебежки к красным». Так докладывал Щукину Латвиини. Поговаривали, однако, что у незадачливых пулеметчиков треснули полозья саней — нужно было задержаться, наладить.

Большинство солдат молчало. Насупясь, полукали они своих лошадей, хотя погукать, собственно говоря, не было

смысла: здесь не обогнать, не вырваться вперед; сани следуют за санями; возница хорошо слышит, как дышит лошадь, словно прижавшая к задку его розвальней. Перестановка возможна лишь, когда падает чья-нибудь лошадь. Множество услужливых рук, без просьб и уговоров, оттянут тогда и отшвырнут к обочине остановившиеся сани; и лента обозного ряда (а едут по дороге уже в несколько рядов) вновь потянется, поползет.

В полдень упала лошадь, шедшая в санях саженей на десять впереди. Сани проворно отбросили в сторону — заводных коней на смену не было, — лошадь оттащить не успела, задние возки наспрали. В безудержной беспощадности своей готовы были они все снести на своем пути. И сани, шедшие за неудачливой подводой, двинулись.

Лошадь, та, что лежала на колее, пробитой чуть ли не до самой земли, была когда-то доброй гнедой кобылой с черными, огненными глазами и гордо доставленной шеей. Встать теперь она не могла, ноги ее протянулись, словно окостенели, и сани, следовавшие за ней, прошли по ее ногам. За ними прошли вторые, третьи, четвертые сани.

Кошева Воловой тоже проехала по ногам кобылы; огромные черные, огненные глаза животного словно с укором смотрели на путников.

— Господи, как беспощадны мы! — плакала в кошеве Иринка.

В небе, как зеркало у огня, горела луна. Было морозно, звонко, все звенело вокруг: снег, копыта коней, полосья, воздух.

Здесь, в глухомани, деревни отстояли одна от другой непривычно далеко, многие версты отделяли их друг от друга. За день было не добраться до ночлега, ехали глубокими вечерами, ночами, утрами, под снежной пелюхой неба. С обеих сторон — великаны деревьев; в непролазном снегу леса невозмутимо дремала тишина.

На постое Кравцов подошел к Алтухову, хлопнул по плечу:

— Как вы там?

— Все в норме, — буркнул Алтухов.

— С нами пойдешь, — скорее утверждая, чем вопрошая, сказал Кравцов.

— Куда? — спросил Алексей настораживаясь.

— Есть предположение, Алеша, что Ачинск оставлен. Дней через пять дойдем до большой деревни у тракта, — он подчеркнул это слово с усмешкой, — тракта, или, проще, у такой же дорожки, как эта. — Он указал за окно. — А тракт ведет в Китай, в Маньчжурию. Будем сворачивать на юг. Понятно? Говорю не для распространения. Потому, знаю, ты пойдешь с нами. Остальных оставим. Там приведем себя в порядок: вести войну придется по-новому, на новых началах. Совсем по-иному, Алеша, — родина требует! Деревня у тракта, по-видимому, большая, — повторил он, помолчав. — Денек отдохнем — и на юг!

«Вот и хорошо, что большая — затеряться легче! — Алтухову хотелось крикнуть это в лицо Кравцову, но поступать так не следовало: молчок! — Очень хорошо, и уж не беспокойтесь, господин капитан, на этот раз затеряемся: вы на юг, мы на север!»

Он не знал еще, как осуществится это решение, но верил, что осуществится. Сразу стало тесно в избе, хотелось двигаться, действовать, предпринимать что-то. Конечно, прежде всего нужно было повидать Махинина.

Он вышел из избы. Мороз лютовал, ресницы леденели, становились тяжелыми. Луна в зеленом и лиловатом венцах сушила большие морозы. Все спало — в редких избах, в кошерах, зарывшись в сено розвальней, под тулупами, обледевшими, крытыми снегом.

Но Махинина нигде не было.

В тот день все говорили об одиноком возке. Ночью в деревню прибрел одинокий возок. Возок дотянул до ближней избы, остановился. Никто не вышел из возка погреться — в возке сидел замерзший солдат. Мертвец держал в руках вожжи, уткнувшись мертвым подбородком в свою суконную мертвую грудь.

— Но это ужасно, Алеша! — повторяла Иринка. — Я теперь еду и все смотрю и смотрю на Ирку — и так боюсь, так боюсь за нее.

— Ничего, Иринка, ничего, — утешал Алеша, — есть же где-то конец, есть: последние дни, Иринка!

Ощущение последних дней возникло у Алтухова недавно. Было утро, голодная Ирка плакала, просила хлеба, Иринка повторяла: «Потерпи, потерпи, дочка!» Сани подходили к мосту, древний мост покачивался, казалось — рухнет, на той стороне реки жгли костры, и Алексей подумал: «Вот сгорел бы мост! Сгорел и отрезал бы, пересек дорогу! И всему бы конец!»

И вдруг он увидел горы. Голубые снега покоились на них под голубым небом. Облака разошлись — вот-пот должно было подняться солнце. Но оно не поднималось, лишь отсвет его венчал вершущики хребтов.

И тут он увидел Махнинца. Фуражир бежал мимо кочевы Воловой, словно и не замечая Алтухова.

— Смотри, голубизна какал! — окликнул его Алексей. — Где это ты все пропадаешь — разговор большой есть!

— Саяны! — заорал Махнинца, по голос его не нарушил покоя гор. — Делов много, Алеша.

Лошади стояли на пологом холме, лес расступился, Иринка выбралась на снег, потянулась, разминая затекшую спину, и тоже смотрела на горы. Алексей не видел ее, но знал, что она стоит за спиной и улыбается, несмотря на ночь без сна, и утренний свет ложится сейчас на ее лицо.

Теплая жалость к женщине, и свежесть утра, и чистота воздуха, и робкие краски гор вдруг охватили его.

— Саяны! — повторил он, оборачиваясь. — Саяны! Тянь-Шань, Яблоповый хребет, Стаповой хребет!.. Помнишь, как на уроках, — я уже позабыл, что за чем, все, что знал, забыл, но это ничего, Иринка, все вернется, вспомним! Смотри, как голубо небо. Ты знаешь — последние дни, Иринка!

Как решился он произнести эти слова, глядя на попурых солдат на санях, в этой бессменной полосе обоза, среди бесчисленных трудных судеб людей? Но чутье его не обманывало, он знал: последние дни! А там хоть смерть, хоть солнце.

— О чем ты говоришь? — спросила Иринка, она смотрела на горы, губы ее подергивались. — О чем ты говоришь, Алеша?

Снова шли лошади, и снова подымался по сторонам лес. Стволы его высились до неба, Саян не было больше видно,

Мелкой трусцой бежали лошади, Иринка мяла, разогревала во рту захолодевшую муку и катышки масла (его доставал еще где-то Махишин), совала в Иркин рот. Руки Иркин дрожали.

— Когда же конец, Алеша, когда же?

— Теперь скоро! — утешал Алексей.

К почве мороз стал крепче; редко кто ехал лежа, люди шагали, попрыгивали у саней, — только сыпнотифозные на розвальнях лежали неподвижно.

«Этим не холодно», — думал Алексей.

Алтухов проснулся как от удара — сани стояли.

От конских боков валел пар. Люди спали, только у розвальней с сыпнотифозными копошились солдаты. По двое приподнимали они больных, что обвисали подобно большому, обмерзшему куклам; раскачивали, ухватясь за то, что являлось, по-видимому, руками и погами, хотя во тьме нельзя было рассмотреть ни рук, ни ног. Раскачивали.

И вот одна за другой летели, смешно кувыряясь в воздухе, эти неправдоподобно большие, обмерзшие куклы за обочину дороги. Легкая белая пыль вздымалась в том месте, и куклы сразу уходили в снег.

— Так-то легче будет! — улавливал на слух Алексей. — Все конец один, а лошадям маяться, шпль тяжест!

— Давай, давай! — торошил чей-то охрипший голос.

Вновь вздымалась пыль, и куклы вновь уходили в снег.

— Ясно... конец им один!

И Алексей повторял про себя:

«Один!.. А лошадям маяться! Маяться!»

Под утро Алтухов пробрался к выездным санкам подполковника, — Щукин неодобрительно поглядел на Алтухова, на то, как стоял этот нижний чин, бледный, вытянувшийся, как положено по уставу, приложив руку к потертой палаше.

— Чего тебе? — выждав, спросил Щукин.

— Разрешите доложить, безобразия! — голос Алтухова сорвался. — Безобразия! Господин полковник, больных скидывают ночью с саней. Это же солдаты, люди! Нельзя допустить... Сам видел!..

— Ничего ты не видел, во сне примерещилось. — Подполковник не дал Алтухову договорить. — Вы-дум-ки!

— Никак нет, господни полковник! Бесчеловечно... — Кажется, Алтухов повысил голос. — Видел.

— Молчать! Большевик еще мне пашелся! Научу, к-как разговаривать!

Санки тронулись, спина Щукина откачнулась и поплыла перед Алешиными глазами.

— Сволочь! Мерзавец! — сквозь зубы шептал Алтухов.

...В полдень, на стоянке в пути, я разыскал Махнинна.

Только за последние дни бесконечного бегства вновь ожила в нем его бывшая веселость, хотя особых причин, казалось, к тому не было. Трудности пути возросли, хлеба достать становилось сложнее — мелкие деревни с их жалкими амбарчиками, вычищенными под метелку, стлыи у дорог; свежих лошадей на смелу пельзя было отыскать, беглецы-солдаты говаривали: «Кати на своих, пока не сдохнут, ежели сам не сдохнешь доперед их!»

Вновь, как в былые дни, словно из рога изобилия сыпались поговорки, накопленные емкой памятью Махнинна. Они сопровождались столь щедрой мимикой, что пельзя было безучастным пройти мимо них: кто отплевывался, кто улыбался, кто докатывался со смеху. Но чаще других, как замечал я, торжествовала среди них одна: о родной стороншке, о чужом крае.

Теперь мне стало ясно: Махнинни догадывался о том, что предстоит всей этой солдатской братве; отсюда и поговорки о родной стороншке.

Я не мог также не заметить, что Михаил часто отлучался за последнее время от своего возка, в котором ехал вместе с однополчанином Фомой (фамилии его никто не помнил), прозванным Копченый. И правда, был он невероятно смугл, чернобород, черноглаз. Сметанина тоже нигде пельзя было найти, казалось Василий вовсе позабыл меня и Махнинна.

Я разыскал Михаила и сразу приступил к разговору — я знал, что он не продаст и не донесет. Махнинни хотел было обратиться все в шутку: «А и то на дороге счастье ваходят!» Но я рассказал ему о разговоре с Кравцовым и спросил прямо, доверяет ли он мне.

И тогда он перестал посмеиваться и спросил:

— А с Авиушкой как? Не заупрямится?

Я сказал, что поговорю с пей, и она поймет. Я сказал ему также, что нужно бы договориться с пулеметчиками, мало ли что может возникнуть при переходе, и спросил: не знает ли он, где сейчас Сметанин.

— Василий? — переспросил Михаил, и глаза его загорелись, как будто кто-то зажег их пзнутри, как огни в доме. — Василий? — Махинин огляделся, переходя на шепот. — Голова ноги ведет, вот что, Алеша!

— Василия пгде не видно, а падо сколачивать людей! — Мне казалось, что Сметанин слишком невиден, слишком бездействен. — Чем больше ребят, Мпша, согласится, тем надежней, легче будет нам!

— И верно: лес шумит дружно, Алеша, когда деревьев много. Только Василия плохо знаешь. А Волового?..

— Что Волового? — спросил я.

— А Волового кто снял, как мыслишь? А это гляди — кто достал это? Опять же Василий...

Он выпул из кармана листок, — я взял листок в руки и подумал о Воловом и Сметанине. На серой бумаге было напечатано:

«Билет на право входа в Советскую рабоче-крестьянскую Россию.

Действителен на одно лицо и целую воинскую часть до дивизии включительно».

Нпже стояло:

«Правом беспрепятственного входа пользуются все солдаты... за исключением монархистов, помещиков, кулаков, спекулянтов и... всех тех тунейдцев, которые из Советской России изгоняются... Билет предъявить в политотдел любой из советских армий».

«Так вот какой оп, Василий Сметанин?» — думал я.

И понял, что таким «невидным» и следовало быть («голове, что ведет ноги») среди офицеров, унтеров и подхалимов-доносчиков, которых всегда хватает вдосталь.

— Ты только с Аннушкой не подкачай, да подальше от барских кошев, что в хвосте плетутся. Поостерегись!..

Но мы не поддерживали связь с теми кошевами, в которых, вместе с семьей Латвинина, передвигалось в конце

полковой колонны еще несколько офицерских семей. И они, считая Воловую необщительной, никогда не подходили на стоянках к нашей кошеве.

— И вообще молчок! Буду в курсе держать, ясно?

Махивин несколько театрально взмахнул рукой и побежал прочь.

5

ДОВЕРИЕ

Та загадка, которая не давала Юрию Маркову покоя, разрешилась вскоре после памятного ночного разговора с Сергеем Сергеевичем Многих.

Вернувшись в штаб из разведки, куда Сергей Сергеевич выезжал с Дорофеем Власовым, Многих обстоятельно и точно изложил командиру полка обстановку. Село, лежащее впереди, день назад было оставлено белогвардейскими частями. Для постоя полка, нуждавшегося в отдыхе после больших переходов, лучшего желать не приходилось: избу много, сена для коней хватит; разведчики, ушедшие за село верст на пятнадцать, ни вражеских застав, ни окопов не обнаружили.

В сумерках Карамышский полк занял село. Крестьяне встретили красных конников как братьев; многие женщины плакали: попотчевать освободителей было нечем, сельчане сидели впроголодь.

Вместе с Небываловым, как было заведено в полку, комиссар обходил избы, осведомляясь о самочувствии и настроении бойцов и командиров; и хотя люди валились от усталости и засыпали на марше в седлах, и хотя мороз опускался за сорок, все было весело, больных и помороженных не оказалось, карамышцы, не скрываясь, радовались предстоящему отдыху и, главное, чаю.

— Сейчас и мы почаевничаем, Юра, выспимся, отдохнем денечка два, помоемся! — говорил Маркову Небывалов, возвращаясь к своей избе. — Вот банек сколько! У себя долго не задерживайся, комиссар, кати к нам быстренько и своего Сергея Сергеевича тащи за собой!

Марков быстро вбежал по крылечку отведенной ему избы; в горенке, кроме хозяйки и Сергея Сергеевича, никого не было; слегка чадила воткнутая в стену лучина, тускло освещая лица.

— Так, Сергей Сергеич! — вскрикнул Марков. — Сейчас к командиру ходим, приглашает чайку попить! Наши, видать, за харчами побежали?

— Так точно, — сдержанно проанес Многих, — Но мне необходимо поговорить с вами.

— Вот и поговорим обо всем у Павла Ефремовича.

— Нет, я хотел бы поговорить с вами, — повторил Сергей Сергеич.

— Ну, давайте, давайте, присаживайтесь, если совершенно секретно! — Марков посмеялся. — Только короче, хорошо? Командир ждать не любит.

— Я предвижу большие трудности. Я хотел показать вам вот этот документик. Но сейчас вы узнаете еще кое о чем.

— А, листовка, сволочная белая листовка! — сказал Юрий Алексеевич, принимая от Многих небольшой типографский листок.

После «тобольской карусели», где особенно щедро рассыпала белогвардейская контрразведка эту дрянь, и здесь еще местами наткнулся Марков на такие листовки. Красноармейцы шути называли их «любовными записочками беляков». Их содержание было трафаретно: белые призывали бывших царских офицеров переходить фронт, соблазняя повышенным в чине.

В Карамышском полку, наполовину состоявшем из коммунистов, хорошо дрались за Советы все командиры, в том числе и комэск один — Филиппов Алексей Степанович, и Зорин Саша, которого все называли адъютантом комполка. То были бывшие царские офицеры, но положиться на них можно было, как на своих. Кажалось, можно было положиться и на Многих, — так почему же Сергей Сергеич принес теперь эту листовку своему комиссару?

— Что же предполагаете, Сергей Сергеич? — спросил Марков, возвращая листовку. — Или эта писанина соблазняет?

— Не соблазняет, — сказал Многих. — И я хотел вместе с вами посмеяться над этим. Взрослые дурачки в дурачки играют. А им, по-старому говоря, молиться следовало бы за спасение своих душ. Но случилось иное, Юрий Алексеевич, пока вы ходили с командиром по измам. И я хотел о том поговорить с вами.

— Ну, что ж, давайте, — согласился Марков, вслушавшись со вниманием.

— Вы обо мне знаете все основное — уже беседовали недавно. И то, что я скажу теперь, увязывается лишь с моими прошлыми отношениями к иным людям. И я хочу, чтобы вы это знали, потому что предвижу большие трудности. Скажите, Юрий Алексеевич, есть у вас кто-нибудь из друзей в белом стапе?

— Есть, — сказал Марков. — Мой школьный друг.

— Настоящий друг? — переспросил Многих.

— Он спас мне жпзнь.

— А что сделал бы вы, если бы он оказался преступником в отношении к Советской России? Покрыли бы или выдали? Ведь другие могли бы ничего и не узнать о его былой деятельности.

— Слушайте, выкладывайте начисто, не люблю я, ядрена копалка, играть в кошки-мышки.

— Об этом я и хотел доложить вам, — сухо проговорил Сергей Сергеич. — Извольте выслушать. Пока вы ходили по избам, наши разведчики привели троих пленных. Говорят, сдались добровольно. Я видел их. Два молодых офицера, их я не знаю. Третий — о нем и идет речь. Его я знаю. Точнее, очень хорошо знаю. И он мне тоже спас когда-то жизнь. Но и вы мне однажды спасли жизнь, Юрий Алексеевич. Впрочем не в том дело, — продолжал Многих. — Третий — полковник Бахчев. Мы оба кончили одно и то же училище, служили в одном полку, дружили как братья, вместе проделали немало походов. В Брусловском прорыве он отличился. Круто пошел вверх, зазнался. Должен признаться, человек он с большим честолюбием, способный. В белой армии стал одним из руководителей контрразведки. Я встретился с ним уже в Оренбурге. Жесток он чрезмерно. Пытался с ним как-то говорить — бесполезно. Сейчас он не узнает меня. Себя выдает за некоего подпоручика Старкова. Но это Бахчев.

— Понятно, — заключил Марков, но Многих не дослушал комиссара.

— Дело не в том, кто кому спас жизнь. Но вы мне доверили, и раз я перешел к вам, изменить себе и своему слову не могу. Вот что я хотел сказать вам, Юрий Алексеевич.

— А вы сможете доказать, что это полковник Бахчев? — спросил Марков.

— Так точно, товарищ комиссар. У Бахчева искалечено левое плечо. Рубец от удара немецкой саблей.

— Где пленные, Сергей Сергеич?

— Я велел их препроводить к командиру полка, — сказал Многих.

— Тогда пойдемте к Павлу Ефремовичу. И еще, — Марков быстро обнял Многих, прижал к себе: — Спасибо тебе, Сергей Сергееч!

Подумал: «Значит, не зря тогда поверил. Зря сомневался».

В пабе Павла Ефремовича заканчивался уже допрос белогвардейских офицеров, когда Марков и Многих переступили порог. Рядом с командиром полка сидели красноармеец и Зорин.

— Сергей Сергееч, — спросил Небывалов, прерывая допрос, — вы этих случайно не знаете?

— Одного знаю, товарищ командир полка. Вот этот — полковник Бахчев.

— Нет, я подпоручик Старков и этого военного не имею чести знать, — вежливо возрадил сидевший подле Зорина офицер.

— Так! — Небывалов посмотрел на офицера. — А вы бывшего есаула Многих не знаете?

— Никак нет!

— Как же это? Бахчев, что вы говорите! — воскликнул Многих.

— Не имею чести знать. Выслуживаетесь, очевидно! — сдерживаясь, возрадил офицер.

— А зачем ему выслуживаться? — усмехнулся Небывалов. — Он и так доверие у нас заслужил... Так не Бахчев?

И, обращаясь к Сергею Сергеечу:

— А вы подтвердить свои слова можете?

— Я доложил уже обо всем товарищу комиссару, — сказал Многих. — Ошибки быть не может, упорствовать полковнику Бахчеву и притворяться ни к чему.

— А где он работал у белых?

— Был строевым командиром! — воскликнул офицер. — Я перешел добровольно! Это нечестно.

— Вы полковник Бахчев, — вновь сказал Многих.

— Лжесвидетельствуете! — повышая голос, сказал офицер.

— А вы когда-то смерти не боялись, Бахчев, — лицо Сергея Сергееча посуровело. — Ее ведь и вам и мне не раз приходилось в глаза видеть. Стыдно, полковник.

— Я не полковник! — закричал Бахчев, по Сергей Сергеич не отступал:

— Бахчев! Зачем спорить? вспомните Карпаты, рубцы... не стираются! Не позорьте себя. Не заставляйте меня унижать вас.

Полковник вдруг приподнялся, затряс руками и вновь опустился на скамью.

— Ну, чёрт с вами — Бахчев! Расстреливайте, — проговорил он глухо. — Чертова жизнь. Надоело!

— Мы вас отправим в штаб дивизии, — сказал Небывалов. — А все же интересно, кем вы работали у своих?

— Я уже сказал — служил строевым офицером.

— Подтверждаете? — спросил Павел Ефремович, глядя на Сергея Сергеича, и улыбнулся.

— Никак нет. Последнее время полковник работал в контрразведке.

— Так я и думал! — протянул Небывалов. — Ну, там разберутся. Выведи, Зорин!

Зорин и красноармеец увели Бахчева и остальных офицеров. Юрий Алексеевич посмотрел на своего командира полка, на Сергея Сергеича — на душе стало вдруг удивительно легко, как будто снял кто-то пудовую усталость и не было вовсе за спиной изнурительных переходов.

— Ну, что, Павел Ефремович? — весело спросил он.

Небывалов тоже посмотрел на друзей, протянул Сергею Сергеичу руку, сказал:

— Спасибо тебе, старик!

Шум где-то позади за кошевой привлек Алексея.

«Что там еще?» — подумал он, пробираясь к хвосту колонны, где бушевал поручик Добермейер.

Дело принимало здесь явно дурной оборот — это сразу угадал Алтухов. День назад в строй обоза артиллеристов вклинилось немало саней с пехотинцами. Какому полку принадлежали они, Алексей не знал, да это и не имело особого значения.

Пехотинцы крепко держались завоеванного места, и теперь Добермейер, пользуясь ночной остановкой, несомненно стремился продвинуть свои сани вперед, ближе к выездным саякам Щукина.

Расталкивая пехотинцев, он обошел уже с полдюжины розвальней, но здесь дорога заметно сузилась, и

сапи с голубоглазым приземистым солдатом подать было некуда, разве что сбросить на придорожные сугробы, под откос, и тем накрепко отрезать ему дальнейшее продвижение. Голубоглазый хорошо понимал это и яростно сопротивлялся.

— Осади, скотина! — кричал поручик, размахивая кулаками перед лицом солдата.

— Где осадить, гос-дин поручик! — упрямо твердил пехотинец. — Не размигуться же!

— Осади, сатана, дерьмо! — нещадно ругался поручик. — Сваливай под откос! Вороти!

Пехотинцы с других саней не спеша подходили к со товарищу, пытались унять офицера:

— Куда же воротить?

— Вороти! — кричал поручик.

— Не могу! Хотя что хошь, — вдруг сказал голубоглазый и безбоязненно поглядел в лицо Добермейеру. — Хотя что, не могу. И саней не поднять, грузеные...

— А мне на твой груз на... — орал Добермейер. — Скидывай шинель, легче будет, а то помогу!

— Да что груз, что шинель, — все так же безбоязненно глядя на офицера, повторил солдат. — Мы что ж, не люди? Вам вперед надо — все одно не убогчи.

— С солдатами не считаются! — зашумели вокруг. — Что на скотину смотрят!..

— Разговорчики!.. Снимай шинель!

Добермейер вырывал уже из кобуры нагап, пытаясь левой рукой схватить солдата за ворот шинели.

— Скотина, сволочь! — Рука с револьвером влетела над головой солдата. — Пристрелю!

«Сейчас пристрелит! Сейчас!» — подумал еще Алексей, бросаясь к солдату, отталкивая, заслоняя его от офицера:

— Валентин! Что делаешь?

Офицерский паган был теперь на уровне глаз Алтухова, Алексей понял: «Конец!» Но чья-то рука легла на плечо поручика, чей-то голос — чей именно, Алексей не мог угадать — коснулся слуха:

— Поручик, уберите револьвер. Следуйте за мной.

Поручик Добермейер выругался. Погрозил Алтухову. Повернулся, сквернословя, нехотя пошел в сторону от солдат. Перед ним, прямой, несгибающийся, шел по неровному снегу капитан Кравцов.

Алексей поглядел на пехотинцев. Голубоглазый трясся в своей шинельке, словно его знобило; расталкивая людей, бежал к Алтухову Махипп.

— Что ты, милоч! — прохрипел он, подбегая, и молча потянул Алтухова к кошеве, откуда в страхе смотрела на него Ирина Сергеевна.

Час спустя, на марше, подошел к кошеве Воловой Кравцов. Шагая рядом с Алексеем, притушил голос:

— Зачем вмешиваешься в офицерские дела? Как маленький в игрушки играешь! Должен не забывать — ты солдат. И у подполковника на подозрении. Но я за тебя поручился, — могло кончиться плохо.

— Ну и черт с ним, — пробурчал Алексей.

— Храбрость не там, где надо, показываешь, — продолжал Кравцов. — Поручик, конечно, неправ, считаться с ситуацией следует: чем больше сэкономим людей, тем для нас лучше. Но ты — солдат, солдат! Неплохой, давно приглядываюсь, надежный, но...

«Держите карман шире!» — думал Алексей.

— Упрямый!.. Толк из тебя выйдет...

Алтухов не слушал больше капитана.

Штабные тройки мчались к Томску; дабы не отставать от передовых частей, штаб дивизии был посажен на сапи; в сапях коротали дорогу, в сапях спали, ели что доводилось.

Карамышцы шутили: «К рождеству к Томи прикатили!»

Стояли тяжелые морозы, было двадцатое декабря, когда эскадроны без выстрела ворвались в Томск; за ними мчались по улицам штабные тройки.

Здесь, в этом городе, необычный подъем испытал Юрий Марков. Впервые за походы первыми вступали в такой большой город карамышцы!

«Победа! Ну, право, как там, у Зимнего! — говорил он себе, глядя на друзей. — Дышать легко! И даже тех малых потерь здесь нет — все свои рядом, целехоньки!»

Он улавливал ту же радость на их словно помолодевших лицах, и во взглядах горожан, выбегавших навстречу, и в оживленности вчера еще белых солдат,

сорвавших с себя наконец опостылевшие им колчаковские погоны.

Горы виштовок и клинков выростали на прибитом снегу; множество добровольцев осаждало приемные пункты; всю ночь до утра светились окна гостиницы «Европа» — там шли проверка и прием белогвардейских офицеров, не пожелавших следовать за своими генералами.

Богатые интендантские склады раскрывали свои двери перед советскими войсками.

Ликование стояло кругом: «Добить гидру — в Ачинск, Красноярск, Иркутск!..» Туда стягивали теперь белые горе-полководцы свои последние отборные войска.

И здесь трофеи были велики: новенькие, хорошо оборудованные бронепосада, захваченные на станциях Тайга и Томск, орудия, пулеметы, тридцать тысяч пленных.

В те короткие томские дни необычное возбуждение ли на час не покидало Юрия. И все ему вделась Манечка, как едет она на своей буланой кобылке, смеется и говорит о мельнице, шутит. И не было тягостным это воспоминание; и столько забот и дела было у Маркова; и все удавалось; и ощущение праздника не покидало его.

С уходом из Томска вновь навалились на карамышцев испытания: многоверстный переход, ледяные ветры, бой у Ачинска, жестокие потери.

Ряды конников заметно поредели. И хотя в штабе дивизии уже знали об этом, Стальному Карамышскому приказывали не задерживаться, пополниться спешно и двигаться на Красноярск.

Выйдя из штаба дивизии вместе с Небываловым, Марков сразу увидел комэска-два Строгова: он стоял у крыльца угрюмый, держа в поводу своего коня.

— Ну что? — спросил Небывалов, подходя.

— Асатолов помирает, комиссара просит, — сказал Строгов.

Марков, так же как Небывалов, знал уже о ранении Асатолова. В бою второй эскадрон отличился особо, комвзвода-два был убит в первые минуты схватки, — Николай Асатолов заменил командира, второй взвод первым прорвался во вражеский город.

И вот Асатолов умер. Умер, когда война шла уже явно на убыль.

— А врач, врач наш? — спрашивал Марков. — Что врач говорит, Савелий Палыч?

— При нем врач.

По тому, как ответил Строгов, стало ясно: Асатолов умирает.

— Веди, — приказал Небывалов, садясь на коня. — Жаль Колю. К ордену хотел представить, лихо дрался.

— Зачем орден: разве за него бьемся? — спросил Строгов.

Асатолов лежал на койке городского лазарета. По всему было видно, не жить и не веселиться больше этому непоседливому бойцу и командиру. Сквозь бинты, покрывавшие голову по самые брови, проступала кровь, глаза запали, голос был тих необычно.

— Пришли?.. Вот, помпрую, друг.

— Что это ты, Николай, — пробовал пошутить Небывалов, хотя и он понимал, что этой славной и юной жизни наступает конец. — Победу праздновать хотим, а ты что ж это задумал, Николай?!

— Прости, Павел Ефремыч... не по своей воле...

Он перевел взгляд на Маркова, проговорил, сплевывая кровь:

— Матери, Юрий Алексеевич... отпущите... Она у меня такая... самая что есть...

Губы его распались, он выдохнул легко и затаил.

— Все, — сказал Небывалов, складывая на груди Асатолова руки. — Прощай, герой наш!

Юрий Марков шел по улице и все не мог примириться с мыслью, что Николая Асатолова больше нет.

Вот ведь и власть Колчака, принесшая столько бед России, рушилась. Отступали последние, еще верные своему правителю белогвардейские части в надежде удержаться где-то — быть может, под Красноярском. Бросив «русских друзей», спешили к военным транспортам у Владивостока американские, английские «союзные» эмиссары, увозя с собой своих, уже бесполезных здесь, солдат. А люди, какие чудесные люди гибнут! — думал Марков.

Ночью обоз остановился вновь. Ирпика не спала. Выбравшись из-под навеса, она уселась на край облучка. Луна поднималась над лесом. Заиндевелившие спины ло-

шадей, казалось, были покрыты белыми попонами, и только мокрая от пота шерсть на брюхах дымилась и чернела.

— Послушай, Иринка, — вдруг сказал Алеша, — за этот год я тоже познал что-то. Быть может, меньше других, но разве одинакова для всех мера?

— Ты все философствуешь, Алеша?

— Нет, я говорю то, что понял. Я всегда думал, Иринка, что жизнь дана человеку для счастья, а сейчас вижу, как далеко до него, до этого счастья. Вот стоим мы с тобой на краю откоса, и ты словно не видишь этого. Может быть, то, что я говорю, тебе смешно, но ведь правда тоже выглядит порою смешной. Я часто думаю, Иринка, за что погибают люди?

— Я тоже думала об этом, Алеша, но так уже в жизни.

Мысль растекалась, память все выволакивала видения, давно минувшие, лишние в этой беспокойной ночи. Ему вспомнилась другая, тоже беспокойная ночь, теплушка, лицо Лиды. И тот разговор, тоже трудный тогда и нужный, а теперь не имевший никакого значения. Сейчас надо было сказать совсем о другом: о главном, о решенном. Убедить, заставить поверить Иринку.

— Через несколько дней мы прибудем в деревню, Иринка. Оттуда пойдут на Китай. Но я не пойду с ними.

— Мне говорил Кравцов, — сказала Иринка. — Но я ничего не знаю, и я боюсь за тебя, за Ирку.

— Ничего не будет ни с тобой, ни с Иркой.

— Как ты можешь так говорить — у них спла! — вскрикнула Иринка. — Кравцов еще не худший. Есть у них страшные люди, Алеша. И пулеметы — они их везут при себе.

— Петр Васильевич еще не худший, и пулеметы при них есть. Но не только у них, Иринка. Им теперь ничего не сделать.

— А куда мы пойдем? К красным — они убьют нас!

— Они не убьют, послушай меня, Иринка.

Но она не хотела слушать:

— Нет, убьют, убьют!..

— Убьют скорее эти. Эти бы всех убили, кто им не подходит, если б могли!

— Да, и эти, — подхватила она, — эти, конечно, тоже убьют, если узнают, что ты надумал. И куда мы пойдем одни?

— Но послушай, Ирпика: почему — одни? Многопе...

Но она не хотела слушать, но она должна была слушать.

— Однажды я что-то понял, хоть что-то понял, — вновь сказал Алексей и вдруг, словно со стороны, услышал, как холоден его голос. — Если бы я верил Кравцову, если бы я ненавидел этих людей... — Алексей указал на солдат, спавших на саях вповалку. — Я пошел бы с Кравцовым, Ирина. По-бе-жал бы! В Китай, в Маньчжурию! К черту на кулочки. Чтобы потом вернуться и драться. Я ничего не пожалел бы. Но я люблю их: это неплохие люди, Ирина. Сметанин? Махнин?.. А Юрка, дядя Саша, Марфа Иннокентьевна?!. Знаешь, мой отец был врачом на войне. — Алексей глядел теперь на нее: слышит ли его Ирпика? — Еще в японскую. Его ранило, когда он оперировал солдата, но он не бросил скальпеля. Он погиб, потому что не мог поступить иначе. Погиб как герой. Я не герой, Ирина! Но я не могу пойти против совести. Я не пойду с этими офицерами.

— Что ты говоришь, что ты говоришь! — вновь вскрикнула Ирпика, но он остановил ее.

— Помолчи. Не можешь ты не видеть, что несут они с собой смерть, расстрелы. Они ненавидят их, — Алексей вновь указал на саях, обступавшие кошеву, на солдат. — Они ненавидят человека. Вот этих. Простого человека. Народ? Что для них народ — скот, кобылка. Родина? Что они принесли ей? Германскую проиграл, революцию отвергли. О какой родине они думают? Только о себе, о том, как бы вернуть себе то, что потеряли. Господа! Они хотят быть господами, и больше ничего. А там пусть хоть всех перебьют. Нет, они ничего не видят, у них нет пути. Они потерянные люди, Ирина. И я не пойду с ними.

— Что ты говоришь, — еще раз произнесла Ирпика.

— Нет, не пойду. И дурак был, что не бежал раньше к Юрке. И уж если кого ненавижу, то Щукиных, Егоро-вских, Добермейеров, Латвининых...

— Воловых, — договорила Ирпика.

— Да, — сказал Алексей, — и Воловых, не плачь, но твоя вина в том. И Кравцова! Потому что он слеп. Глуп, если хочешь! Не плачь.

Но Ирпика плакала.

— А теперь слушай. Из той деревни многие не пойдут с ними, очень многие. И мы не пойдем. Не бойся, п пулеметы, и винтовки, и гранаты у нас тоже найдутся.

Но *они* ничего не посмеют, щупальцы! Увидишь, не посмеют.

Она синела, и ему стало до боли жаль эту женщину, и он не знал, как утешить ее.

— Я говорю тебе, что так это и будет. И никто из *них* не должен знать то, что я говорю тебе, Ирина. Ты понимаешь — никто. И говорю я тебе это потому, что верю тебе и верю в то, о чем говорю.

6

ГОРИТ МОСТ

До деревни у чайного тракта оставалось, как говорили, верст пятнадцать, а беспокойство усиливалось. Все ждали чего-то, погоняли копей. И тут-то и остановился обоз, поползли слухи: «Красные сзади!..»; «Красные наступают!..»; «Налетят — сомнут!..»

Было уже далеко за полдень. Коричневое солнце смутно проглядывало сквозь мохнатые облака. Лес теснил дорогу: бурелом, громады стволов. Над обозом, над спинами лошадей поднимался морозный пар.

Оставался один перегон. Впереди была деревня, тракт, — загадочный тракт, за которым для каждого открывалось свое. И большая деревня, тепло, быть может — хлеб.

И люди кричали надсадно:

— Что-о-о там?! Гоня!.. Пошел!..

Но впереди прочно стояли розвальня, возки, в стороны податься было некуда. И только по краю леса, как обычно, нескончаемой цепочкой тянулись всадники.

И, глядя на вих, отчаяннее орала в обозе:

— Что там, гови!..

Уже зачинались первые сумерки, а обоз стоял; и улегшееся было беспокойство сильнее прежнего овладело людьми. Алексей неотступно следил за обозом, успокаивал Ирину. Виртык к кошеве красовались выездные санки, подполковник Щукин сидел в них выпрямившись, он выглядел спокойным. Оседланный командирский конь был привязан на длинном поводке к спинке санок. И все же по тому, как искоса взглядывал Щукин на своего верхового коня, по тому, как напряжена была спина подполковника, Алтухов угадывал, что Щукин обеспокоен.

«Да, Алексей Ксаверьевич беспокоен! — с издевкой подумывал Алексей. — Чуют неладное!»

Чем иным было объяснить и внезапную реплику, через плечо брошенную нижшему чину Алтухову: «А, впадать, крепко засели!..» С визжными чинами командир полка разговаривал лишь в одном случае: когда следовало кого-то распечь.

— Так точно, господин полковник, крепко засели! — отчеканил Алексей. — Уж не случилось ли что впереди?

Подполковник не считал нужным ответить на столь явное вольнодумство рядового, по словно в ответ Алтухову, выиг все зашевелилось вокруг. Выштовочные хлопки прорезали воздух; кто-то закричал истошно: «Красные, топ!»

— Гоня!! — подхватил повсюду.

И так как гнать было некуда, вся громада нескончаемого обоза дернулась, зашевелилась. Солдаты рванулись с сабей, стали рубить построики, как будто времени не оставалось на то, чтобы выпрячь коней. Кошеры, розвальни, кибитки вручную оттягивали к краю дороги, сбрасывали в сугробы.

Бросали все: ящики патронов, гранат, пулеметы, мешки с оставшимся провизантом, ящики канцелярий, всякое награбленное добро, сумки с медикаментами.

Никто никого не слушал. Люди вскарабкивались на избитые спины лошадей, спешили вперед, бранясь и паясая друг на друга.

Алексей в недоумении смотрел на этих людей. Чем беспокойнее становились они, тем большую отчужденность ко всему, что совершалось вокруг, испытывал он. Необъяснимое спокойствие пашло на него, как будто все это происходило в стороне, не трогало ни его, ни Иринку.

«Ну, красные, пусть красные! — думал он. — Чем скорее, тем лучше!»

Стоя у кошеры, обхватив руками мешок, из которого высовывался носик Ирки, Ирина Сергеевна, вопрошая, смотрела на него, не зная, па что решиться. Подполковник Щукин, уже на коне, кричал непривычным фальцетом, указывая на санки:

— Ирина Сергеевна, садитесь!.. Так быстрее домчит!.. Спешите!.. Что же ты, Алтухов!..

Подполковник не договорил, ковь тронул с места, заплясал,

— Что же, Ирника, верно, садись, — сказал Алексей, помогая забраться в выездные санки. — Ирку крепче держи. В деревне жди: никуда дальше. Слышишь?

— Как же без тебя, как же?! — молила Ирника, по он не слышал, все несло мимо, кричало. — Пропадем без тебя, пропадем, Алеша!

— В деревне жди. Никуда дальше! Ирника!

Ездовой Щукина ударил кобылу вожжами. Кобыла варжала, санки покатались полегоньку.

— Я догоню! — кричал вслед Алексей, что-то толкнуло его, и, падая, он повторил еще: — Жди — догоню!

Когда Алексей поднялся, он увидел перед собой огромные сани с рыжими жеребцами. То были орудийные сани, те самые, на которых везли когда-то полковые пушки.

Жеребцы были крупные, они храпели, разводя орудийных саней сшибались с разводями розвальней и возков, стоявших у плохо расчищенной колеи тракта, и жеребцы бесились, взвивались на задние ноги, продираясь вперед и сокрушая на пути преграды.

«Чертовы жеребцы!» — подумал Алексей.

Он собирался продвинуть свою копыту в общее узкое русло, где шли теперь почти поголовно одни верховые, и вдруг увидел впереди выездные санки.

«Господи! Они собьют, собьют Ирнику!» — успел еще подумать Алексей, бросаясь за орудийными санями.

Рядом с ним, отступаясь, размахивая длинными руками, словно наперегонки, бежал человек, но Алексей не узнавал этого человека. Рыжие жеребцы уже наступали выездные санки.

...Я не сразу признал Мпхайла Махнина, который бежал рядом. Я не видел его, я слышал только чье-то прерывистое дыхание и понимал, что бегу непростительно медленно.

Рыжие жеребцы были уже подле выездных санок на свороте дороги, где справа, суживая ее наполовину, выпирали задки в беспорядке сгруженных крестьянских розвальней; и я увидел, как, зацепившись разводями своих саней за чей-то возок, храпя и дико ворочая глазами, жеребцы пытались прорваться, наводя страх на всадников, теснившихся на дороге.

Жеребцам не удалось все же свернуть возок, по тяжелые сани рывком покатались влево; и, почув опасность, серая, в яблоках, рысистая кобыла, впряженная в выездные санки, рванулась вперед и вправо.

То, что последовало, свершилось молниеносно. Иркин кошмовый мешок взлетел над головой возницы. Затрепало. Санки опрокинулись, Ирника исчезла.

Движение заторилось, лошади наконец стали. И только впереди, по ту сторону артиллерийских саней, видно было, как, вырвавшись вперед, мчится серая, в яблоках, волоча за собой изуродовавшие санки и возницу, не решавшегося выпустить из рук вожжи.

Солдаты уже осаживали жеребцов, когда я подбежал к артиллерийским саням. Я увидел Махмудна. Вместо с ним вытащили мы из-под саней Ирнику. Я поднял ее на руки и почувствовал, что спина ее переламывается и вся она складывается пополам, как раскрытая книга; и понял, что человек не может складываться так пополам и что у Ирники перебит позвоночник.

Я отнес Ирнику сквозь прогалину между развальней к обочине дороги па чистый снег. Чуть дальше за елкой ворочалась в своем мешке Ирка, и Махмудни уже занимался ею. Я усадил Ирнику на снег, примостив спиной к елке и стараясь не причинить ей боли, но она не стояла, не шевелилась. За елкой, чуть поодаль, цепочкой бежали конники. Я посмотрел на Ирнику и подумал: «Конец!» Но губы ее шевелились, хотя я не мог расслышать ее слов.

Тогда я припал ухом к ее губам, потому что я должен был услышать все, что скажет Ирника:

— Алеша, Ирку береги. Знаешь...

Слова прервались, и я вновь подумал: «Все!»

Но Ирника вдруг оживилась, припала к моему лицу. Теперь она говорила медленно, слова прерывались, терялись в хрипах:

— Алеша. Мальчик. Обними. Ты слышишь. Теперь, Алеша... все... Поделуй, теперь ведь все...

Она два раза повторила еще мое имя, и я не знал, что хотела она сказать: «Теперь ведь все можно». Или: «Теперь все кончено».

Потом я заметил, как подошел Махмудни, принес Ирку, сказал: «Эта в порядке». Положил девочку, все в том же кошмовом мешке, на снег рядом со мной. Снял шапку:

«Не укори нас, Аннушка небесная». Закрыв Ирпке веки. Сказал: «Бери». Поднял Ирку.

Мы снесли их в кошеву. Она стояла петронутая. Кругом по возкам, в поисках, чем бы поживиться, пнырjali голубые уланы. Другие солдаты подбирали оружие, поделовому грузили на сани, прикрывали сеном, одеялами, ковриками. Всадники двигались вдоль расчищенного тракта уже спокойнее, редкие розвальни вылетались в общее русло.

Мы вывели кошеву и вклипились не без труда между конников. Наступал вечер, серые тени полосовали дорогу, конь торопился, похрапывал.

В сумерках кошева прибыла в деревню у тракта, который называли «чайным». Поток солдат, в большинстве своем передвигавшихся теперь верхом без седел, был густ. У самой деревни образовался затор. Ни офицеров, ни упертов пигде не было видно — быть может, на ходу миновали они эту деревню; никто, казалось, не руководил здесь движением, не указывал, кому куда сворачивать, но и Махинин и Алтухов вскоре приметили у развилки дороги солдат, словно поджидавших кого-то. Среди них был и Колченый.

— Давай сюда, — тихо проговорил он, когда кошева поравнялась с ним, и указал влево.

Ночью здесь же, у северной окраины, похоронили Ирину Сергеевну. На куске фанеры Махинин вывел химическим карандашом: «Ирина Сергеевна Алтухова. Почти, солдат, жену солдата. И душу, что ценнее золота». Кивком головы Сметавин одобрил, прибил фанерку к шестку, пожалел: «Только снега смоят». Шесток приладил у могильного холма.

Алтухов стоял еще у могилы, хотя нужно было идти в избу, где спала Ирка, — когда, вынырнув из темноты, явился Егорушкин.

— Похоронили? — не глядя на могилу, спросил он Алтухова. — В штабную избу подполковник тебя требует.

— Как и наши-то нас, господин унтер-офицер? — спросил Махинин. — Деревня велика, а мы думали, начальства не видно, значит, на проход двинули.

— Все тут: солдат начальство не бросит, — назидательно произнес Егорушкин, зорко поглядывая по сторонам. — А где кто и как пристроился, мне знать положено.

— Ну я к тебе подожду, только Ирку проведу, — вслед Алтухову крикнул Махинин и побескал к избам.

Во дворе штабной избы стояло много развалысь, валялись па снегу какие-то ящики и сумы, седла, захоженные лошади были привязаны у изгороди; у крыльца, заледеневший на морозе, прикорнул труп солдата, с лицом, жестоко посеченным шашкой.

Теперь эти трупы уже не вызывали в Алтухове остроты былой боли — видно, притупляются чувства и ко всему привыкает человек.

В избе, истопленной по-черному, было дымно, тесно.

Подполковник Щукин отборной бранью осыпал солдат. Солдаты теснились к печи, забивались под нары.

— То от своих отстали: сыпняки! — пояснил шепотом Егорущкин. — Гонит их на мороз подполковник.

Кравцов, стоя у окна, успокаивал Щукина:

— Алексей Ксаверьевич, бросьте! Если уж не заразились до сих пор... стоит нервы тратить!

Заметив Алексея, Кравцов подошел, спросил об Ирине Сергеевне: весть о смерти уже дошла до офицеров. Добермейер сидел на краю нары, курил и поплеывал на пол. Подполковник перестал наконец брашиться, посмотрел на Алтухова, приказал:

— Докладывай все как было.

Глубокое безразличие к этим власть имущим вдруг охватило Алтухова.

«Что им рассказывать? Что им Ирина Сергеевна?» — думал он, глядя на офицеров.

Только Кравцов слушал еще со вниманием то, что выдавливал из себя через силу Алексей, по не обмолвился словом. Добермейер звал: «Холодюка бисова!» Щукин, поеживаясь, подошел ближе.

— Захоронили? Так! Хорошо! — сказал он. — Царство небесное! Завтра отсюда пойдут только одни военные. Девочку оставишь здесь у хояев, дадим денег. Приведешь сюда, устроим. Ступай!

Кравцов отвернулся. Алексей подождал: может быть, все же скажет хоть слово. Но Кравцов молчал.

«Есть ли у них все-таки совесть?» — подумал Алтухов.

— Ступай, ступай! — повторил Щукин, но Егорущкин придержал за рукав Алтухова.

— Может, господин полковник, разрешите в их избу проследовать? — мягко произнес он. — Помог бы девочку

доставить и барахлишко просмотрел бы, что ей понадобится?

«Сволочь, хитрит, вынюхивает, все разузнать хочет!» — подумал Алексей, ожидая, что ответит подполковник на это неожиданное предложение, но подполковник, видимо, понял из слов унтер-офицера нечто большее.

— Да, да, давайте, давайте! — горячо поддержал он Егорушкина.

— Слушаюсь! — сказал Егорушкин. — Пошли!

Внизу у крыльца попрыгивал с ноги на ногу Махнин.

— Что долго? — спросил он. — Знать перчили? А вы, господин унтер-офицер, никак, воздухом подышать вышли?

— Приказапо девочку сюда доставить. С вами пройду, — не отываясь на шутку, сказал Егорушкин.

— Чего беспокоить себя! — вскрикнул Махнин. — Вмиг сами доставим!

Но Егорушкин не ответил.

Пропуская унтер-офицера вперед, Махнин чуть задержался у калитки, шепнул: «Знак сделаю — в ноги ему — сбивай!..» И показал руками, как бы досказывая: «А я остальное!» И помахал возле рта: «Только тихоцько, без шума чтобы!» И Алексей понял.

«Чует, конечно, чует, сука, — думал он, следуя за Егорушкиным. — Нельзя привести его туда, на окраину. Все выведает, а если что... стрельбу подымет, переполошит — услышат. Без шума чтобы!..»

Дрожь охватила его. Ни мороза, ни усталости не ощущал Алексей — только дрожь. Махнин вышагивал впереди, рядом с унтером, смешил, рассказывал что-то, жестикулировал; разок рассмеялся и Егорушкин.

«Здесь ближе пройдем по-за избам», — услышал вдруг Алексей голос Михаила. Подумал: «Смекнет, не согласится». Но унтер-офицер не возразил.

Сейчас!.. Дрожь павалилась сильнее — Алтухову казалось, он не идет, а бежит по пятам унтера и ждет, ждет знака. За избам было темно, снег звонче хрустел под валенками, и Алексей боялся: пропустит, не угадает знака.

«А вы смелее шагайте, снег прибит!.. — слышал он. — Дорожка здесь гладкая, давеча шел...»

И вдруг увидел руку Махнина — легкий взмах. Подумал: «Не ошибся ли?.. Но Михаил снова коротко

взмахнул рукой; и, вкладывая всю силу, Алексей рухнул на погибшего перед ним человека.

Удар оказался сильным. Унтер-офицер как бы споткнулся и тут же упал лицом в снег. Алтухов лежал теперь на Егорушкине, обхватив его, навалился, не давая подняться. Он видел лицо Михаила, и клубки пара, вылетающие из его рта, и руки у ворота унтера и слышал крик и возню.

— Держи, крепче держи! — приказывал шепотом Махнин. — Сволочь, убийца, сука, не выпущу! Держи!..

Ноги Егорушкина вырывались, перекатывались, держались, но Алексей не выпускал их из-под себя, наваливался плотнее, валенками упираясь в снег.

— Держи! Держи!.. Не уйдешь! С-с-собака!

Потом ноги замерли, туловище вытянулось. Михаил отвел руки, поглядел на Егорушкина, и Алексей тоже поглядел: ему показалось — унтер-офицер показывает кому-то язык.

— Ух, крепкий да жилистый, без тебя бы не управиться. — Махнин отряхнул руки, как от грязи. — Готов — собаке собачья смерть! — Он расстегивал пояс Егорушкина, снимал портупею с кобурой. — Пошарь, Алеша, в карманах, может, еще что там у него есть?

— Вот, пристолет, — сказал Алексей, вынимая из кармана унтер-офицера браунинг. — Английский. Две обоймы. Больше ничего.

— А теперь тихонько — и за кусты! — командовал Махнин.

Они подняли труп, раскачали и бросили. Снег за кустами был глубокий, с тропы Егорушкина не было видно.

В полночь у проселка, уходившего на север к магистрали, Сметанин приказал выставить все имевшиеся пулеметы. Нужно было обезопасить отход на случай выступления офицеров и голубых уланов.

Сани с подобраным на тракте оружием все прибывали, их отводили к краю деревни — на север.

— Поди, не сунутся к нам! — усмехался Махнин, грохаживаясь у пулеметов. — Жив смерти боится! Пулеметов у нас на каждого из них хватит.

К трем часам пошли по избам подымать людей. Оружие предлагалось сложить на особо выделенные сани,

самим распределиться по развалинам, припасенным по дворам и оградкам окраины. Встреча с красными партизанами, как объявляли, намечалась километрах в тридцати от деревни, по проселку; оттуда — путь на Ачинск или куда будет указано, в Красную Армию.

Повсюду говорили: представители красных партизан уже в деревне, но никто их не видел, а те, кто видел, молчали.

Вместе с Махиным стояли у прикрывавших проселок пулеметов и Сметанин, Алтухов, Копченый. Люди все еще выходили из изб, относили впитовки, патроны, клинки в положенное место. С южной стороны, видно прослышав о намечавшемся переходе, с насторожкой пробирались люди. Шли пехотинцы, поотставшие от других полков, кавалеристы со своими лошадьми; были среди них и улапы, были обесконевшие казаки. У пулеметов они останавливались, сдавали оружие, их наскоро опрашивали стоявшие на часах, пропускали.

— Вот и конец нашему горю, — тихо говорил Сметанин. — Дождались, Алеша! — Поглядывал на сани с пулеметами, на одних из саней, на сене, спала в своем кошмовом мешке Ирка. — Дочурка боевая у нас! Мороз, как говорят, рождественский, а она хоть тебе что! Боевая у тебя дочка, Алеша!

Он отводил глаза от саней, — глаза Сметанина сверлили ночь: в пей, друг против друга, молча и настороженно, таились два лагеря. Одни пулеметы разделяли их, потому что много языка быть между ними теперь не могло.

Тянулось последние часы — ни шороха, ни возгласа, ни крика.

Вот подошли и связные, тоже шепотом доложили: в избах пусто, все на санях, оружие сложено.

— Давай в путь! — Сметанин помахал рукой. — Выйдут последние за околицу — сообщать!

Тянулось последние минуты. Падал снег. Луны не было. То погасая, то разгораясь, играло за лесом зарево.

— Последний переход! — с облегченным вздохом Махинов. Он держит на коленях Ирку и машинально похлопывает рукой по мешку. — Хоть голод, да в город, хоть вагишом, да с пряниками!

Рядом с Махиппным спит Алтухов. В ногах, у пулемета, все еще настороженно по-босвому, лежит Копченый.

Чем дальше отползают крайние избы деревни, тем ярче впереди играет зарево. Лошади идут бодро, сани постукивают, скатываясь со снежных бугров.

— Говорят, мост пожгли, — ни к кому не обращаясь, произносит Копченый.

Падает снег, луна заволочена облаками. Неровный розовый свет подкрашивает их. Глаза у Махиппина слипаются, и Алексей говорит:

— Дай поддержку Ирку.

— Последние беляки сюда проходили, говорят, мост подожгли, — повторяет Копченый.

Бодро бегут лошади.

«Четыре ноль-ноль, — думает Алексей. — Через час двинутся к юго-востоку Щукни, Кравцов, Добермейер и те, что с ними, будь они прокляты!»

И опять видит он артиллерийские сани, и рыжих жеребцов, и выездные, искалеченные санки, и ему все кажется, что держит он на руках Ирину, спина ее переламывается, и вся она складывается пополам, как раскрытая книга или перочинный ножик. Но на руках его спит Ирка.

Где-то едет теперь несурзная и добренькая Лида Смазова? Может быть, Юлька вместе с мамой вспоминают его сейчас. И дядя Саша напоминает о том, что время острое, в котором и потеряться нетрудно.

Где-то, быть может за тем лесом, идет Юрка.

Деревни давно не видать. Там лежит Ирпика, но Алексей не помнит даже названия этой деревни.

— Как название той деревни? — спрашивает Алексей, но Махиппин спит, Копченый не помнит названия.

Обоз прорезает лес, на рысях выходит к реке, и зарево опалает глаза. Алексею кажется — горит снега. Он отводит глаза, шурится и вновь глядит на реку. Горит мост.

Мост деревянный, высокий, на бревничатых быках. Огонь бежит по ним желтыми и оранжевыми полосами; полосы взметываются по бревнам, тянет дымом — горит мост.

Лошадь сворачивает влево, ныряет под откос; и сани, что бегут впереди по речному покрову, ярко освещены.

Валются бревна в золотых языках, под ударами их звездчатые искры вспыхивают и разлетаются в воздухе. Пахнет гарью — горит мост.

— Ирника, Ирника! — говорит самому себе Алексей.

Огни поднимаются выше, в прогалинах неба видятся Алексею звезды; и когда он смотрит на эти звезды, взору его вновь представляются необозримые пространства снегов, забитые санями.

Он оборачивается. За спиной с берега скатываются на белый пух реки новые и новые сани. Но лошади бегут бодро, и люди без опаски смотрят, как горит мост.

Алексей тоже смотрит, как горит мост. Вот лошадь поднимается на угор, и новый берег красновато-белой пеленой ложится под полозья. Мост отступает, поворачивается, меркнет. Бревенчатые быки потухают, пролеты провисают, расплавленный воздух колыхается над ними, и Алексей ждет — сейчас рухнет.

И мост рушится.

— Сгорел мост, — говорит себе Алексей и смотрит вперед: туда, куда бегут кони.

7

ВЕСНА В СИБИРИ

Задержаться в городе пришлось дольше, чем ожидал Марков. Полк был потрепан крепко. У Красноярска, по сведениям, поступавшим в дивизию, сосредоточивалось не менее двух армий противника — следовало ожидать боев.

— Проверять поступающих в полк придирчиво! — приказывал Небывалов. — По классовому признаку в первую очередь, и не одним словом верить. Белые, как говорят в театре, под занавес дадут еще нам полной выкладкой!

Второй день занят был этим отбором и комиссар полка. Эскадрон Строгова понес большие потери, пришлось перемещать людей из эскадрона в эскадрон; ядро в каждом из них надлежало сохранить падежным, испытанным, подлинно карамышским; но люди сжились друг с другом, не хотели покидать свои подразделения; здесь нельзя было руководствоваться одним приказом — приходилось убеждать, уговаривать.

К вечеру, усталый, Юрий добрался до своей койки. Но сон не шел. Сидел, курил, не выпуская из пальцев закрутки, поругивался:

— Уж лучше бы в бой, легче! А то дело будто не делаешь, весь день только языком работаешь и вот тебе — устаешь, спать даже не можешь.

Сергей Сергеич сочувственно кивал, предлагал перед сном освежиться. Они вышли из дому, шагали по улицам. Слегка мело, воздух был чист, морозен, Сергей Сергеич говорил:

— Сибирским спешком пахнет. У нас в Оренбурге суше, морозней. Здесь, замечаю, мягче. Никогда раньше не бывал в этих местах и в вашей Перми не бывал. Хороша она, Юрий Алексеевич, эта ваша Пермь, скучаете?

Если сказать по правде, Юрий Алексеевич скучал. Все было хорошо, поскольку применимо это слово к войне: переходы удачны, бои выиграны; не оставалось сомнения — конец боям близок. По крайней мере на этом фронте. И тебя самого пуля помиловала. Но, может быть, то, что не всех пуля минует, и навело тоску.

Многих друзей недосчитывался в полку Марков. И не только в полку. О многих не знал, живы ли: Юля, Алешка, отец с матерью. И еще не давал покоя Николай Асатов: надо же было приключиться такому!

Юрий Алексеевич с тревогой мысленным взором окидывал однополчан, думал: «И кого еще не минует та же участь, черт его знает!»

— Тревожит вас что-то, Юрий Алексеевич? — как бы утверждая, произнес Многих, не дождавшись ответа. — На откровенность не напрашиваюсь, хотя откровенностью отвечал вам всегда. Не примите за нескромность. Вот бывало у меня так не раз: заканчивается операция, и неплохо заканчивается, а на душе неспокойно. Вероятно, от былого напряжения, от пережитого.

— Возможно, — отозвался Марков.

— Юрий Алексеевич, могу вам задать один вопрос? — Он выждал, как бы взвешивая, уместна ли все же откровенность. — Скажите, мы никогда не говорили об этом, вы женаты?

— Был, — сказал Марков.

— И я был, — как бы повторил Многих. — Жена умерла прошлым годом.

— А мою убили в этом.

— Кто? — спросил Многих.

— Вы, — сказал Марков жестко, — то есть не вы лично, конечно. — И тут же подумал: «За что обижаю человека?»

Но Многих уже отвечал, принимая вину на себя:

— Не поясняйте, это законно, ваше чувство.

— Нет, черт возьми, — сказал Юрий, — к вам у меня никакой неприязни нет.

Они дошли до реки, до ветхих пристаней, занесенных снегом. Постояли, поглядели, как метет снег вдоль реки.

— Чулым! Приток Оби, — сказал Сергей Сергееч, — так на карте значится. Летом здесь, наверно, хорошо. И взял Маркова под руку.

Так, без слов, и дошли они до дому. На крылечке, обивая валенки, Юрий спросил:

— Ну что, обидел?

— Нет, комиссар, — ответил Многих.

— Или еще что-то сказать хотите?

— Я скажу вам это в другой раз, — тепло проговорил Сергей Сергееч. — Вот, кажется, и Павел Ефремович идет.

И верно, вместе с Сашкой Зорыным от другого конца улицы шел Небывалов.

— А мы к вам чай пить! — издали еще закричал Сашка.

— Давайте, сердечно рады! — весело отозвался Марков.

Этот город чем-то напоминал Алтухову Пермь. Широко расплзшийся, с купеческими о два этажа особняками, с улицами в снегу, типичный стародавний город, от которого знакомо пахло дымками. Резные наличники окон, резные украшения крылечек, деревянные колонны, поддерживавшие навесы над входом. Было уютно, падал мягкий снег, город не казался незнакомым.

Горе, томившее Алтухова, как бы затихало на этих улицах, быть может потому что было оно густо перемешано с радостью.

Стоило только поглядеть на лица встречных горожан! Это чувствовал Алексей: лежал на всем, что встречалось на пути, как бы привкус свободы или частичного искупления вины. Никуда ни от кого не нужно было больше бежать, и незнакомые, но уже близкие друзья шли рядом.

Город был еще полон войны. Полон лошадей, заезженных, заморенных. Они бродили вдоль улиц, брошенные, костлявые, со стертymi плечами и сбитыми холками; стояли поперек тротуаров, обгладывая плакаты и приказы,

расклеенные по заборам. Лежали, полуживые и мертвые. Их не замечали. Они были словно вписаны в этот пейзаж зимней войны, подобно голым, черным, суковатым деревьям, ограждавшим дома.

Множество военных шло по тротуарам, по мостовой. Алтухов с любопытством разглядывал их. Вот командир — алые брюки, стянутый у пояса дубленый полушубок (их смешно называли сибиряки «полуперденчик»), папаха, круто заломленная на затылок, ремень портупей через одно плечо, маузер, клинок. Лицо грубое, решительное. Вот артиллерист, постарше, тоже в папаче, в распахнутом поперек шинели тулупчике. Вот пехотинец в шинели, крест-накрест перетянутый ремнями. Лицо резкое — как по дереву, глаза острые, румянец яркий, смоляные усы.

«Так вот они какие, победители! Все в них по-поному! — думал Алтухов. — Простые, хваткие! Крепкие какие-то, как клинки. Идут вразвалку, степенно, и сколько крови в них свежей! Твердости! Как Юрка говорит: «Ядрена копалка!» Эти не сдадут, не отступят, не бросят в беде!»

Махипин шел рядом, нес Ирку. Детский пропускник-приемник, о чем в комендатуре узнали друзья, по описаниям, должен был находиться уже близко.

— За собором, вторая улочка вправо, деревья у дома огромные! — вслух перебирал приметы Михаил. — А там детшек веселых, олашек, кроваток чистых — красота-матушка!..

— А придете? — спрашивала Ирка. — Как я там буду?

— Ничего, ничего! — подбадривая скорее самого себя и Алешку, чем Ирку, балагурил Махипин. — Ненадолго тебя здесь оставим, малость поживешь, отдохнешь в детском домишке, поиграешь с ребятками в кошки-мышки!.. А там войне конец. Приедем, заберем тебя в саму Пермь! А тут тебя и в баньку сводят — вон сколько не мылась! А банька да пар — божий дар!.. Мы тебя с дядей Лехой не забудем.

— А дядю Лёму не возьмут? — спрашивала в беспокойстве Ирка.

— Дядя Лёма твой — солдат! А солдат — казенный человек! Здесь — только дети!

— Дядя Лёма, я хочу, чтоб тебя тоже взяли в детский домик! — просила Ирка.

«Что делать — ничего не сделаешь!» — горевал Алексей. Отшучивался:

— Оглянуться не успеешь, как приеду к тебе, заберу!

— И в Пермь! — восклицал Махнин. — А вот и пути копец, всему венец! Принимай дочку, Леха! Входим — вот он, благоприемный детский пункт. И деревья огромные!

В приемной комнате детского пропускного пункта было тепло и пусто. Женщина в платке, прикрывавшем седую голову, сидела у окна за большим и пустым конторским столом. Другая, молоденькая, писала в глубине комнаты, низко навалившись грудью на столешницу. Столик ее был шаткий, ломберный, казалось жидкие ножки вот-вот обломятся.

— Девушку привели? — приветливо произнесла седая женщина.

— Привели! — рывкнул Махнин, и девушка в глубине комнаты, вдруг оторвавшись от письма, рассмеялась:

— Ой, напугал!

— Пардон-с, извиняемся! — Махнин смешно скривил рожу. — С дочкой нашей к вам пожаловали!

— Чья же дочка-то будет? — спросила седая.

— Обоих! Два отца — один ребенок, — пошутил Махнин, и девушка вновь рассмеялась у своего ломберного столка:

— Ой, умора прямо!

— Помолчи, Леха, — назидательно проговорила седая, и девушка смолкла, вновь погружаясь в работу. — Так чья же эта маленькая?

— Это девочка, у которой погибла мама, — сказал Алексей.

— Дочь солдата, — вставил Махнин, поясняя.

— Так! Фамлия?

— Богданова, Ирина, — Алеша выждал, — Сергеевна... — «Да, пусть лучше так. Пусть имя отца не коснется ее». — Четыре года. Родители погибли.

— Батя — от тифа, — вставил Махнин. — Мать — от несчастного случая.

— А вы оба кто будете?

— Однополчане — в Красную Армию вступаем! — сказал Махнин.

— Я ее возьму к себе, к моей матери, как только кончится война, — добавил Алексей. Подумал: «И сейчас заберут ее, и расстанемся! И увидимся ли? — И вдруг

заприметил, насколько похожа на Ирпину Ирка. — Совсем Ирпика — никогда не видел я в лей этого!»

— Но-но, приободришься, спрашивают тебя! — толкнул Алексея Махнин.

— Адрес ваш постоянный? — спрашивала седая.

— Алексей продиктовал адрес. «Ирпика, совсем Ирпика!»

— Дня через два зайдите, сообщим, в каком детском доме будет Ирочка.

— Спасибо! — Алексей все глядел на Ирку.

— Навестите дочку! — Седая женщина тоже смотрела теперь на девочку, шутила, и Ирка отзывалась на ласку. — Пойдем, девочка, поцелуй своих дядей!

— Хорошо, тетя, сейчас поцелую.

— Ой, мама! — вдруг вскрикнул Махнин, обхватил Ирку, нелепо ткнулся губами в мех шапочки и побежал к двери.

— Ну, маленькая, маленькая моя, — говорил Алексей и все не мог отпустить от себя то, что еще оставалось от Ирпки, пока седая женщина не увела в смежную комнату словно повзрослевшую вдруг Ирку.

И вот дверь приемного детского пункта закрыта за спиной Алтухова.

— Соцвос! — говорит он глухо, вспоминая. — Сектор социального воспитания! Работал я в нем, Михаил. В Перми, инструктором. И никогда не думал, что приведу сюда свою Ирку.

— Мпр не без добрых людей, Леха! Или у вас там одни изверги были?

— Люди там были хорошие, — раздумчиво произнес Алексей и вспомнил Марфу Иннокентьевну.

— Через два дня прикатим сюда! — Махнину тоже жаль было оставлять у чужих людей Ирку: привык. Но что поделаты! — Что скажешь, Леха, солдатик горе мыкал хуже лапотного лыка! Духом не падать, мозги набекрень, хвост трубой! Сейчас и мы к своему приемному пункту прикатим.

Улбцы казались теперь Алтухову уже не такими шумными, лица людей скучнее, только лошади по-прежнему стояли поперек тротуаров, мешали прохожим. Люди торопились. Хотелось есть. Идти до воинского приемного пункта было далеко.

«Вот и все! Все растеряно — мама, Иринка, Юрка, дядя Саша, Юлька, Ирка! — думал Алексей. — Никого рядом, только еще Махнин!»

Тянуло к своим. К знакомым лицам, хотя бы к Сметанину, к Копченому. Махнин явно хмурил, но не сдавался, каламбурил. Но постепенно говорливость покинула его. Друзья шли теперь молча, уйдя в себя, поднимая воротники полушубков, — мороз донимал сильнее; пересекали улицы, пропускали мимо себя на перекрестках упряжки артиллерийских батарей, отряды всадников, пехотные взводы. Сумерки напоздали на дома, подобно серебряному туману. В окнах уютно загорались огни, но уюта на душе не было.

— Смотри! — вдруг сказал Махнин. — Во плакатнице: «Рабочие и крестьяне! Вступайте в партию большевиков».

Они вновь стояли у перекрестка, на поперечной улице приплясывали под всадниками лошади.

— А здорово! — добавил, чуть помолчав, Махнин. — Правильный плакат.

Огромный фанерный щит висел на заборе по ту сторону улицы. Алтухов тоже посмотрел туда, вздрогнул. Секунду, казалось, он сомневался, не верил тому, что открывалось по ту сторону; потом рванулся, бессвязно закричал, бросаясь под самые лошадиные морды и увлекая за собой Михаила, как будто внезапная угроза нависла над друзьями.

Невольный страх переметнулся на Махнина, пока они перебежали улицу, хотя понять было невозможно, в чем заключается опасность. Но Алексей не замечал больше ничего, глаза и руки его тянулись к той стороне: там, вправо от плаката, стоял молодцеватый военный в хорошо пригнанной бекеше. Положив на рукоятку клинка руку и постукивая о тротуар носком валенка, он смотрел, не скрывая восхищения, вслед удалявшимся всадникам.

— Орлы! — вдруг сорвалось с его губ, но тут же, насупясь, он отвернулся от перебежавших улицу солдат, видимому признав в них бывших белых.

Он двинулся не спеша вдоль улицы, все еще держа руку на клинке, но Алтухов закричал снова, хотя голос у него срывался и слова путались:

— Стой!.. Да постой ты!.. Куда?! Да это ж ты!.. Да ты стой же!..

Выкрики Алтухова остановили военного. Он обернулся, видимо догадываясь, что окликают его; глаза стали твердыми.

— Вы что это? — спросил он строго. — Чего кричите?

— Не узнаешь?! Да ты что!.. Да я!.. Да Юрка же!..

И Махнин заметил вдруг, как меняется лицо военного, как разжимаются губы, и кожа у носа начинает смешно морщиться, и постепенно теплеют глаза, и руки в растерянности тянутся к Алексею.

— Лешка?! Не может быть?! Ты!..

Алтухов тоже протягивает вперед руки, останавливается, как бы ожидая еще какое-то им одним только известное слово. Но Юрий, словно поперхнувшись, отталкивает от себя и вновь обнимая друга, вдруг говорит:

— Нет, смотри-ка, ягодка, выкрутился!

Так стоят они, долго обнимая и похлопывая друг друга по плечу, забыв о Махнине, быть может обо всем на свете. Но Алексей замечает внезапно, что руки Юрия словно ослабевают и объятия становятся холоднее, умреннее. И видит, как щетинятся брови, и проступает атаккая марковская издевочка со смешком, и губы морщатся, когда, чуть отступая, говорит он:

— А далеко же бежал ты, дружок!

Холодком встает от слов, но Алексей не хочет оправдываться, молчит.

— Значит, к нам пожаловали? — спрашивает Юрий. — Приперло, как говорится?

— Давно-таки приперло, не то что переть некуда. Просто, простите, плюнуть — и то с осторожкой пришлось, что уж там!

Это говорит Махнин, и Марков впервые вглядывается в него — взгляд недоверчив, произносящий.

— А ты кто будешь?

Махнин мгновенно вытягивается, шутовски распрямляя плечи, прикладывая руку к пахае.

— Вместех драпали, вместех и перешли! — выкрикивает он. — Спец по фуражной части, особенно когда кормить коней нечем!

Голос Махнина и шутовской вид озадачивают Маркова; мороз донимает, и место не для стоянки и обстоятельных разговоров,

— Прекрасно! — говорит Юрий. — Что ж, ко мне пошли, что ли? Поговорим, может, все же?

— Без сумления возжелательно! — умышленно коверкает речь Махиниц, но Марков уже не слушает его и, поворачиваясь, повторяет:

— Поговорим! Пошли!

Они идут все той же улицей, где проезжали конники, где ползут сейчас обозные пароконные санки, груженные, крытые брезентом. Идут долго, пока Марков не сворачивает на боковую тихую улочку.

У четвертого от угла дома он останавливается:

— Сюда, на второй этаж!

Уютно скрипят под ногами ступеньки. Марков распахивает дверь:

— Входите!

В комнате одна койка, стол, два стула, шкаф с книгами.

— Спимайте полушубки, усаживайтесь! — Голос Маркова сдержан, напряжен. — Ты, Леха, на койку, ты, — он указывает Махиницу, — стул возьми.

И сам присаживается у стола.

«Никак, начальство, по осанке видно!» — думает Махиниц и, придвигая стул поближе к Алтухову, спрашивает:

— Разрешите, товарищ... Не знаю, как по должности?

— Комиссар полка, — говорит Марков. — Садись.

— Слушаюсь, товарищ комиссар, — повторяет Михал и усаживается поплотнее: нет сомнения, предстоит «разговорчик».

Марков молчит долго и вновь произносит те же слова, что при встрече, только теперь они обращены к обоим друзьям:

— Далеко же бежали! — И в них по-прежнему звучит явный укор.

— По билету к вам заявили, — улепивая, говорит Махиниц. — «На право входа в Советскую рабоче-крестьянскую Россию»... как не являемся ни мопархистами, ни помещиками, ни кулаками, ни спекулянтами!..

— За билет теперь, значит, цепляетесь? — спрашивает Марков. — Билет — и вся суть в том!

Нет, не такой представлялась Алексею встреча с Юрием.

— Думал, поверите, — говорит Алтухов,

— Не слишком доверчивы мы! — барабанит пальцами по столу Юрий. — Жалости маловато осталось!

И опять эта усмешка, издевочка. Она словно взрывает вдруг Алтухова, и он кричит в лицо Юрия:

— Ты что ж думаешь, милости просить пришли?

— А хоть бы и милости, — подтверждает Юрий.

— Что ж думаешь: расстреливали, руки в крови, деваются пекуда — вот и прикатили?

— Ты, может, на то намекаешь, на Травниково? — вдруг спрашивает Марков, и кожа у носа морщится, подергивается заметнее. — Мол, искупил свою вину в прошлом? Так теперь и с тебя все скинуть следует?

— А и не без того оно, товарищ комиссар, — пытается вновь шутить Махипп, — резали по малости, расстреливали, пытали, а теперь — куда же? Во и по билету!..

Но Марков обрывает шутку:

— Брось балаган! Я Алексея не хуже тебя знаю. Не мыслю, чтоб до этого дошел! Только равьше перемахнуть к нам нужно было.

И Махипп говорит теперь со вздохом:

— История у него, товарищ комиссар. Не то что моя. Прямо сказать — серьезная.

Марков глядит на Алексея: ненависть к белым не дает видеть друга таким, каким помнился он все годы. Сколько людей, сколько жизней загублено, искалечено, искромсано! Но против воли встают перед ним Пермь, школьные дни, Лехина мама, Юлька, Манечка. И, врываясь в них, путая мысл, — Сергей Сергееч, ночной бой, и недоверие комполка Небывалова, и жесткие слова его в лицо есаулу.

«Но ведь Многих — офицер казачий, а перешел давно, в силе была еще тогда белая власть!.. — думает Юрий. — А Леха, черт дерн его, щенок! Теперь-то понабило-понастукало, пасмотрелся, пришел, блудный сын. Не доверять легко! И о путях алтуховских ничего неведомо. Поди разберись!»

Теперь Алексей сидит тихо и улыбается. И Юрий думает еще: «Чему же он улыбается, что Христос какой?! Тому вот есаулу поверил, а Лехе — нет, что ли?»

— Вот об этом я и хочу знать. — Губы Юрия больше не дергаются, взгляд становится мягче, но голос все так же сух. — Об этом и говори, все говори, времени хватит. Только не привирай, а то сразу учую. Коль вины, считаешь, за собой нет — все выкладывай. Не скрывай,

— Вина за мной, — говорит Алтухов и смотрит в глаза Маркову. — И первая в том, что не ушел тогда с тобой в Травниково.

И начинает рассказывать.

За окном стало испня-черно, когда Алексей закончил свою исповедь.

— Хочешь, верь, — хочешь, расстреляй: все правильно, — заметил Махнин.

— Солдат, которые к нам переходят добровольно, мы не расстреливаем. — Марков поглядел на Махнина, на Алтухова, повременил. — Кем же была тебе, Леха, Ирина Сергеевна?

— Жепушкой была, считай, — ответил за Алексея Махнин.

— Волового... того самого, о ком говорил? — спросил Марков, хмурясь.

— Да, — сказал Алексей. — Но опа-то — вот уж кто действительно без вины.

— Зато горя хлебнула, — добавил Махнин.

— Ну, горя кто не хлебнул! — Марков встал, подошел к окну, заглянул в ночь, повторил: — Кто не хлебнул!.. Что же теперь надумали?

— К вам пришли, — развел руками Махнин. — Значит, с вами теперь, — как прикажете!

— Так! А выдержки хватит, не заколеспите?

— Нет, — сказал Алексей. — Не сверну.

— Делом это доказать нужно. Не верить тебе, Леха, не могу. И не за то, что ты для меня сделал тогда в Травниково. Но и брату родному не доверился бы, не испытал. Не то время.

— А вы нас к себе возьмите, испытайте! — воскликнул Махнин.

— К себе? — переспросил Махнин Марков. — Трудно. Полк у нас, прямо сказать, отборный. По классовому принципу пополняем. Правда, отец у Алексея погиб на японской, враг. Не из помещиков и прочая. И ты тоже... Фуражира нам как раз надо бы, заболел у нас фуражир: сыпняк, а копей кормить надо!

— Если не веришь, не бери. — Алексей тоже поднялся. — Что же, пойдем на призывной, попросимся.

— А ты с чем знаком? — остановил его Юрий. — Артиллерист ведь, мы-то конники.

- С пулеметом знаком. Говорили, бью метко.
 - По красненьким?
 - Рук не марал — руки чистые. И за Михаила поручусь. Одного только с ним вместе прикопчили мы, как переходили.
 - Суку! — пояснил Михаил. — Унтера.
 - Ну, это не в счет! — Марков задумался. — Взял я одного как-то на свои поруки... тоже перешел к нам...
 - Подвел? Бывает! — покачал головой Махнин.
 - Нет, оправдал доверие.
- Марков постоял, как бы ожидая: не воспользуется ли этим примером Махнин. Но фуражир молчал.
- Ладно, попробую, — решил Марков. — Ночь на дворе. Койка одна, — остаетесь, или есть где прибежнице?
 - Нет, — сказал Алексей. — Какое у нас тут прибежнице.
 - А мы на полу: глаже — не свалмся, — ухмыльнулся Махнин.
 - Тогда оставайтесь, чай пить будем, — сказал Юрий,

Чуть светало, когда Марков разбудил Алексея и Махнина, увел в штаб полка. Но Небывалову не достало времени поговорить с перебежчиками, он предложил комиссару решать самому, зачислять ли в полк Алтухова с Махнинным, и Марков не считал нужным вновь выяснять «за, или против». И они были записаны в Стальной конный.

Два дня усердно занимался в пулеметном взводе Алтухов, — взводный решил: «Ладный паренек, знает «максимумку», глаз точный — зачислить в расчет!»

На третьи сутки Стальной Карамышский срочно перебрасывали к Красноярску. Покидая город, Алтухов так и не сумел понаведаться к Ирке.

Здесь, под Красноярском, еще раз было положено измериться силами: как доносила разведка, сюда стянула белогвардейщина свои многочисленные части.

— Силы же у них еще, ишь прут! — говорил Павел Ефремович, глядя в бинокль, — Видно, решил не

уступать, хоть всех перебей. Но разве папих удержишь! Гляди, вон опять, опять пошла!..

С этих корявых сосен хорошо просматривался весь правый фланг позиции противника: пулеметчики конного Карамышского спереди, слева вновь отражали атаку — которую по счету, Марков не мог уже уточнить.

Этот вражеский фланг путал карты. Белые, несомненно, решили прорваться здесь, ударить сбоку, зайти в тыл — красным пулеметчикам приходилось туго.

— Подкинуть бы парочку пулеметов? — предложил Марков.

— Обойдутся пока. Хорошо бьет левый! Кто это там у пулемета?

— Это повестький, Алтухов, — сказал Марков, сдерживая голос. — Все же подкинуть бы, Павел Ефремович: туго им. Вон и средний расчет что-то замолк, не разглядеть отсюда.

Средний, вправо от алтуховского, «максим» молчал; и цепи белых вновь поднялись. Но пулеметчики все же уложили на снег цепи, и первую, и вторую, продвигавшуюся почти вплотную за ней.

— Точно бьют! — выдохнул Небывалов. — Попятились беляки.

Но уже свежая цепь бежала в поддержку отступавшим в беспорядке белогвардейским солдатам. Средний пулемет вдруг заработал, и Юрий подумал: «Живы!»

— Людей у них много, у беляков! — сказал он и полез в карман за кисетом.

Но рука его сразу потянулась назад, к биноклю. Вторая, третья, четвертая, одна за другой вновь и вновь поднимались и поднимались цепи — белые упорно вводили все больше и больше людей в дело. Пулеметы захлебывались.

— Придется добавить! — крикнул Маркову Небывалов и полез вниз по сосне. — Понаблюдай, Юрий Алексич!

— Торопи! Торопи! — крикнул ему вслед Марков.

Все еще не поступало утешительных вестей — пропавшая в боях пехота не могла прорвать вражескую оборону. Юрий смотрел в беспокойстве на пулеметные расчеты, вздыхал: «Эх, Леха, туго тебе, Леха, держись!»

Он перевел бинокль вправо: поле боя казалось там пустым, безлюдным, только взлетали порой фонтаны снега вместе с землей — была белая батарея,

Он вновь навел окуляры на пулеметчиков и вскрикнул. Солдаты в погонах, резко забирая влево, тянулись теперь к скату оврага, и Маркову показалось, что огонь Лехиного пулемета заглох.

— Молчит! И верно, молчит! — вскрикнул он и вдруг увидел, как бегут, пригибаясь, от того пулемета двое. И в длинноногом признал Алтухова.

— Дьявол, черт, пристрелю! — закричал Марков.

Он готов был кубарем скатиться с сосны и бежать навстречу удивившим горе-пулеметчикам. Но вот упали беглецы. Залегли. Поползли. Теперь было хорошо видно, что пулемета они не бросили.

«Пулемет за собой тащат, что это они там задумали? Подобьют, ой подобьют!»

Но пули белых, видимо, пролетали выше; не выпуская из рук «максима» и коробки с запасными лентами, уже не пригибаясь, бежали теперь эти двое все влево, как бы соревнуясь с белогвардейцами.

«Ой, молодчаги, молодчаги! — повторял про себя Юрий, видя, как валяются вновь на снег пулеметчики, устанавливая свой «максим» за бугром снега. — Яд-дрен-ша копалка, позицию под огнем сменили!..»

Ручные гранаты рвались уже чуть правее. И вот по ревущим рядам белых в упор зататакал «максим».

Рубаха Юрия становилась сырой от пота, ему хбетлось кричать, смеяться.

— Ну, молодчаги! Позиция, позиция какая! Ну, Леха!..

Два пулеметных расчета, высланные Небываловыми, подбегали к огневому рубежу — оба «максима» почти одновременно открыли огонь, и Марков вздохнул с облегчением и, отведя бинокль, на секунду прикрыл глаза: «Полегче Лехе теперь будет!..»

Белые цепи откатились, но за спиной их сразу рывнула пушка. Когда Юрий посмотрел в бинокль, ему почудилось, что пулемет Алтухова подпрыгнул. Снежный фонтан вместе с бурой землей прикрыл пулеметчиков и стал оседать, осыпаться. Пулемет лежал теперь на боку; метрах в двух от него, разметав руки, лежали пулеметчики.

— Леха, черт, конец! — закричал Марков.

Ярость охватила его. Беспомощно озираясь, он махивал руками, словно не зная, что предпринять. Снизу ему кричали, но слова не доходили до него.

Потом он опустил глаза, посмотрел вниз.

— Юрий Алексич! Спускайся! Выступаем! — кричал ему снизу Власов.

Марков не сразу признал Дорофея и стал спускаться.

— Скорей, Юрий Алексич! Сейчас в дело! — торопил Власов.

В ночь Стальной Карамышский вступил в город. Поотстав от полка, Марков проехал к разбитому пулемету Алтухова. Власов следовал за ним на своем изнуренном коне. Конь тяжело хралел.

У пулемета они не нашли никого.

— Подобрали, — решил Власов. — Может, медицинскую палатку понаведедем, недалско?

В палатке Марков узнал, что Алтухов подобран в тяжелом состоянии: коятужен, нога разбита, руки поморожены; куда отправлен боец, указать не могли.

Уже в предместье города они столкнулись с Махиппым, — он знал о ранении Алтухова и разыскивал комиссара.

— Командир Многих вас к себе просит, помпрает.

А Алеши в том госпитале нет, — сказал он, — видно, в другое место отвезли.

— Многих?! — переспросил Марков и поскакал вместе с Дорофеем и Махиппым.

В наспех оборудованной палате Юрий сразу отыскал Сергея Сергича. И сразу повял: «Готов!» Бывший есаул говорил медленно, трудно, — Юрий почти припал к его лицу, чтобы расслышать:

— Помпите... от Чулыма шлп, не досказал... Полюбились вы мне, комиссар... Юра... как сын... Сыновой у меня не было... Как перст...

Он хотел приподнять руку. Рука упала.

— Кончился человек, — проговорил Махипп и снял папаху.

Юрий ехал по почному городу. Где-то стреляли, редко вдали било орудие. Черные улицы были полны солдат; вели пленных; вили обозы; санитары везли раненых.

Марков хорошо знал уже это послебоевое возбуждение — оно всегда бодрило, несмотря на потери людей, дорогих и близких. Утрата Сергея Сергича шла за ним, не отступал; ранение Алтухова, гибель друзей — кому, кому рассказать об этом, да и расскажешь разве?! Но общее лико-

ваппе, скрытое за грубыми окриками, шуточками, смехом, постепенно приуменьшая боль, охватывало и Маркова.

Усталые лошади потягивали поводья, встряхивали шеи. Махиции (быть может, больше подбадривая самого себя) шутил:

— Алешка живуч, как уж! На хвост наступишь, а он тебе головой крутит! Так, товарищ комиссар? А дело-то какое своротили: история мировая! Господ офицеров теперь паголову! Так?

— Так, так, — машпально подтверждал Марков, думал: «Если на Урале хребет перебили, то теперь им копец: паголову! Верно этот фуражир кумекает. Не без мозгов, как говорится, — история мировая!.. Вторая весна наша подходит... Верст-то, верст сколько отмахали!.. К третьей — закончим: счастье же тебе выпало, Юрка Марков, вот так на коне идти и идти!..»

Багровое солнце, словно в изморози, вставлено в стекло окна, у которого лежит Алтухов. Нога в лубке болит пестершмо, кружится голова, и тошнота подкатывается к горлу. Тогда Алексей сплевывает.

Как привезли его в лазарет, Алтухов не помнит. Но порой видит стены, багровые, тоже чуть в изморози, как это солнце, вставленное в стекло окна. Наверное, то были стены церкви, собора, казенных домов, торговых рядов и лавок. А до этого ему помнятся склоны яров, красных яров (не их пменем ли назван город?), склоны, по низу которых катились розвальни.

Потом все заволакивается, голова вот-вот треснет, расколется. Но солнце не уходит, изо дня в день держится в раме, вставленное в окно.

Ночами, когда темно и только стонут такие же искаленные, как он, дружки, приходит к Алеше Ирника. Сидит на краю постели, перебирает (как давно когда-то у самого истока весны!) спутанные мокрые пряди — волосы у него теперь всегда мокрые, сестра говорит — от слабости.

Ночами, когда Ирника уходит и говорить больше не о чем и не с кем, Алеша пробует пошевелить ногой, но это удаётся плохо. Нога в лубке толстая и тяжелая пevero-ятно; болит спина, Алеше хочется повернуться набок, но ноги не поднять, не сдвинуть.

Порой Алеше кажется, что он лежит на снегу и видит, как бегут на него цепи солдат в погонах.

Но теперь он знает, что лежит в Красноярске. «Этот красноармеец ранен в бою под Красноярском, — однажды сказала врачу сестра, — город он паш освобождал». И потому Алеша знает, что он тоже участвовал в этом освобождении, и ему хорошо от этого сознания.

Потом Иринка начинает проходить режю. Пропадает. И в памяти проносятся лишь отдельные видения. Они не связаны воедино, они напоминают полотна в картинных галереях. Но постепенно между ними — тем, что далеко, и тем, что недавно вышло, — возникает связь; и Алеша видит теперь множество подробностей (которых, кажется, и не придумать).

Вчера врач сказал: «Сознание хорошо восстанавливается, состояние лучше, ногу, вероятно, удастся сохранить. Хорошо бы эвакуировать на запад, где поспокойнее».

«Значит, к дому поближе!» — подумал тогда Алтухов; тогда же впервые возникло желание: а если попроситься в Пермь?

Но дни проходили, и никто не вспомнил больше об эвакуации. Багровое солнце не стояло уже в оконной раме; завывали метели, ночами не приходила Иринка. Но сил становилось больше, меньше звенело в голове, и только нога досаждала, мешала сну.

В один из обходов врача Алеша решил:

— Хочу вас спросить, доктор!..

Он услышал, как дрожит его голос; попытался говорить суше, сдержаннее, но голос выдавал волнение, и врач сказал:

— А вы не волнуйтесь, молодой человек. Вам выпала великая честь: вы ранены при освобождении старинного русского города от мрази и человеконенавистничества. Не волнуйтесь и спрашивайте, что вас беспокоит.

— Так вот, насчет эвакуации... У меня на Урале, в Перми, дом, мать, сестра.

— Так, — подтвердил врач. — Понятно. Подумаем.

Но прошли еще дни, Алтухов ковылял уже на костылях по палате, а врач молчал.

Боль в ноге, против надежд Алексея, усиливалась, но следовало показать медперсоналу, что самочувствие прекрасное. Алтухов весь день ковылял по палате на костылях. Сестра сердилась:

— Разбегайся, последние силы потеряешь, лежать!
К вечеру зашел врач. Осмотрел Алтухова, сказал сестре:

— Этого завтра покажем комиссии. Неплохо бы его эвакуировать на Урал. Там у него родные. Маяться с ногой ему еще долго. И контузия головы — покой нужен, питание, забота.

Сестра поддакивала сочувственно.

Потом в комиссии врачи спорили: оставить или отправить? Приводили доводы, спрашивали Алтухова: «Боль уменьшается? Как самочувствие? Голова?»

— Боли нет, самочувствие прекрасное! — утверждал Алексей.

— Ну, батенька, прет! — усмехался старший. И вдруг решил: — Отправим на этих днях, рискнем, больно уж парень хочет. Противопоказания? А кто гарантирует здесь? Заготовьте документы.

— В Пермь, — пролепетал Алексей.

— В Пермь... С последующим амбулаторным (при показаниях — госпитальным) лечением. — Сказал старшей сестре: — Договоритесь с комендантом вокзала. Заготовьте документы.

И бодро, Алтухову:

— Так чтобы с «прекрасным самочувствием» и ехать, не подвести нас!

Накануне отправки состояние Алтухова ухудшилось. Но к утру температура упала, и врач решил: «Доедет. Очевидно, нервное возбуждение». Алексей поспешил заверить: «Чувствую себя прекрасно!»

— Что «прекрасно», это бросьте! — прикрикнул врач.

Но сестра подмигнула Алтухову: «Поедешь!»

До вечера в беспокойстве Алтухов пролежал на своей койке. К ночи ему принесли одежду, полушубок, валенки. Больную ногу сестра обмотала овчиной, повязала ремешками: «В вагоне скинешь!» Второй валенок, вместе с продуктами и тремя пачками где-то раздобытых папирос, уложили в солдатский мешок. Алексей попрощался с соседями и заспешил, скользя и отступаясь, по коридору.

— Тише, больной! — кричала сестра вслед.

Воздух показался Алексею густым от мороза или, быть может, с отвычки. Ногой никак было не уложить на саях,

хотя соломы подстелили щедро; на ухабах подбрасывало, Алтухов вскрикивал, багровые в изморози стены тянулись вдоль улиц, там, светили фонари.

До Ачинска поезд шел долго. В Ачинске перевели на запасной путь.

«Это хорошо, — думал Алтухов. — Выберусь как-нибудь в город. Теперь самое сложное — выцарапать Иркут!»

Привокзальные пути были сплошь заставлены воинскими и санитарными эшелонами. С великим трудом добрался Алтухов до коменданта станции.

— Сутки простоят твой состав, воинские в первую очередь пропускать будем! — закричал комендант, не дослушав Алтухова. Глаза у коменданта были красные, видимо человек не спал ночь. — Валяй, валяй себе в город, если приспичило, с такими ногами!

Алексей спустился по обледенным ступеням вокзальной лестницы. Какой-то мужичишка, привезший на станцию пассажиров, за пачку папирос согласился подвести Алтухова. Было уже за полдень, когда он вошел в канцелярию детского пропуска. За ломберным столом сидела все та же девушка.

— Вам что? — спросила она, не отрываясь от бумаг. «Кажется, Леночкой зовут?» — припомнил Алексей.

— Я, Леночка, узнать зашел относительно девочки! Девочку меньше месяца назад сюда привели, сдали: Ира Богданова, четырех лет, помните?

— Где всех упоминишь? — Припоминая, кто же этот солдатик, что знает ее имя, спросила: — Девочка? Тут косяком детей повалило. И Марья Сергеевна, начальница, больна, одна я здесь!

— А вы посмотрите в книге, маленькая такая!

— Все маленькие! — резонно заметила девушка.

— Да мы еще вдвоем приходили. Товарищ еще вас рассмешил тогда, сказал: «Два отца — один ребенок!»

— А! — припомнила вдруг Леночка. — Такой длиннорукий? Умора!

И рассмеялась, но тут же сказала официально:

— Не знаю, где девочка. Многих эвакуировали. Кого на периферию, кого подальше в тыл, в другие губернии. Но Алексей не отставал, и она задумалась.

— Радио уж, заходите завтра: утром к Марье Сергеевне сбегая, может, что и узнаю.

— Куда завтра! — взмолился Алексей. — Я проездом, мне с собой девочку захватить надо!

Она взглянула на Алтухова теплее, видимо возглаголю тронул Лепочку. Улыбнулась: что-то в нем явно нравилось ей.

— Плохо, товарищ, но что сделаешь!

— Завтра уеду, и почевать пегде, но здесь же! И до вокзала не дойти! — Он указал на ногу: — Болит.

— Ой, бедпенький ты солдатик! — Лепочка сочувственно вздохнула. — Не знаю, что и делать с тобой. — И вновь официально: — Здесь ночевать не положено.

— Так как же? — спросил Алексей.

— А нога-то цела? — вдруг спросила она и вновь принялась за работу, махнув рукой на Алексея, как будто ответ не являлся обязательным.

Но Алтухов решил не уходить.

— Как звать? — спросила она вдруг, записывая себе на бумагу. — Ирппа? Богданова, четырех лет... Ладно, узнаю. Адрес твой?.. Так!.. А теперь иди.

— Некуда мне идти, — твердо сказал Алексей.

— Ну, жди здесь, в три колчу, — пораздумав, решила она и вновь с теплом посмотрела на солдатика. — Ел? А то перекуси!

Она протянула Алексею ломоть хлеба, но он не взял.

— Ел я, спасибо!

В три часа ровно, как по уставу, Лепочка сложила на столе бумаги. Сказала строго:

— Тогда пошли!

Но в голосе ее не звучали уже официальные потки.

— Куда же пойдем? — спросил он.

— Да уж ко мне, что ли. Комнатка только — перешагнуть можно!

Дом, где жила Лепочка, находился на той же улице, наискосок. Глядя, как тяжело перекатывается на своих костылях Алтухов, девушка все предлагала теперь с жалостью: «Дай подсоблю!.. Может, обопрешься на руку?.. Поддержать?..» Но он отказывался, пытался шутить.

Комнатка Лепочки напомнила чулан.

— Невелика! — посмеялась Лепочка. — Зато самостоятельная! Ни через чью проходить не надо, в стороне, никому не мешаешь, и тебе — тоже.

Она усадила Алешу на кровать, занимавшую здесь почти все свободное место, и стала расспрашивать о нем и об Ирке. Но Алексей отвечал сдержанно. Потом Лена принесла кастрюлю со щами, достала тарелки и ложки, хлеб. Разлила по тарелкам щи.

— А теперь съешь, сама утром варила. На коняге! Ничего, с наваром.

Она проговорила это с усмешкой; усмешка скрасила ее некрасивое, простое лицо.

В комнатке было тепло. За окнами густо спешело.

— Вот и у меня был такой, как ты, — сказала Лепочка, положив на столик ложку. — Кушай еще, или не нравится? Был. А теперь, видно, нет. Погиб где или изменил. Все вы, мужики, одинаковы. А ведь любила...

Она рассказала о своей любви, о дружке, который — тоже солдатик — уехал, и след простыл.

Алексей слушал, и жалость к девушке трогала его:

— Вялко бывает. А может быть, и жив он, и пишет, а письма не доходят.

— Нет, письма доходят! — вздохнула она. — Если кто пишет. Вот Маня Марошина каждый месяц от своего получает. Что ж, ложиться пора. Нога болит-то?

— Болит, — признался Алексей.

— Ну, ясно, ложись. — Она указала на кровать, оправляя простыню, — простыни были свежие.

— А ты?

— Уместимся, — улыбнулась Лепочка. Улыбка у нее была тихая, чистая. — Ведь не звери, не подеремся.

— Ну, вот, — говорила она, укрывая Алешу и устранившись рядом. — Хороший ты парень, видно, тихий. Лежи, не стесняйся, места хватит.

Тихое тепло шло от нее, она все говорила, говорила, находя какие-то свои слова, гладила рукой Алешины волосы, щеки, — пальцы у нее были маленькие, мизипчик в черепках.

— Удобно ль тебе, ногу-то осторожнее, не повреди, болит? Эх, бедненький солдатик ты, бедненький, дома-то ждет кто тебя, девушка, красивая?

— Умерла моя девушка, — для самого себя неожиданно сказал Алеша. — Санями ее придавило.

— Боже ты мой, — простонала Лепочка, в словах ее не было пангрыша. — Ну и вынес же ты сколько.

Она вдруг потянулась, прильнула к нему, словно стремясь успокоить, утолить боль той немудреной лаской, которую в избытке таила в себе.

Утром Лепочка принесла кипятку, помогла Алешу одеться, спросила, тихо заглядывая в глаза:

— А может, ехать тебе сразу не надо, слабый ты, млдый мой, кожа да кости! Как с такой погой, путь-то длинный!

— Надо ехать, не обижайся, — сказал Алеша. — Ирку с собой взять — и ехать.

— Ну ладно, здесь полежи, а я сбегая, узнаю, — сразу согласилась она. — Может, Марья Сергеевна что скажет.

Лепочка ушла. И не было радости от минувшей в небытие ночи, и стало пусто, как будто еще незамысловатая чья-то и добрая жизнь покидала его.

«Куда я теперь с такою погой? — думал Алеша. — В армию не возьмут! Вместе с Юркой не коротать версты! Вот Махнин и то счастливей меня!»

Час спустя Лепочка вернулась.

— Ну, невезучий ты, — сказала она. — Не помнит Марья Сергеевна, да и где всех упомянуть. А с места назначения ответа не отписывают, что детей приехали. Эх, люди! А тут еще эти дни многие замечали начальницу — поди разберись теперь!

«Значит, по выцарапать!» — подумал Алеша.

И, глядя, как лицо Алексея набирается печали, Лепочка поспешно заговорила:

— Да ты не тревожь себя, найдется! Адрес оставил? Оставил! Наведем справку, известим!

— Спасибо тебе, Лена, за все спасибо, — сказал Алеша. — Пошел!

— Куда же ты, до вокзала далеко! — вскрикнула Лепочка. — Постой, узнаю у соседа, может подкинет.

Она выбежала из комнаты и вскоре вернулась:

— Подвезет, согласился, одеваться надо!

На вокзале Алтухов узнал, что поезд его ушел почью, по Лепочка быстро разыскала коменданта, и Алексей еще раз подивился этой подвижной настойчивой девушке. Комендант сам проследовал вместе с ней к ожидавшему отправки санитарному составу; место для Алтухова нашлось в третьем от паровоза вагоне; поезд направлялся через Пермь к Ярославлю.

— Вот все и вышло, Алеша! — говорила Лепочка. — А теперь попрощаемся.

Она обняла Алексея, поцеловала, наставляя:

— Осторожнее, Алеша, в пути, погу-то не ушиби!

«Мир не без добрых людей! — думал Алеша, вспоминая свою случайную подружку. Вспоминал Юрку, Махнина: — Где-то они теперь? Скоро будет весна. В прошлом году тоже была весна — смерти. Белой смерти. Все

косившей без мысли, без жалости, без разбора. А это будет — другой».

Какой она будет, он не пытался уточнить. Но будет.

За окном тянулись поля, безмерные, белые-белые. Лошадиные трупы черным пунктиром метили по шим пройденные бесславные пути белых войск. Водонапорные башни почти повсюду были взорваны. У подездов к вокзалам лежали опрокинутые паровозы, разбитые вагоны.

Нога пыла, бинты были пропитаны гноем. Алешу знобило. Ночами ему спились цепи белых, пулемет и крутые красные яры. Сосед по койке будил Алтухова:

— Милой, а милой, очнись! Не кричи: народ будишь! Я-то не сплю — бессонница, а им-то спать надобно.

Тянулись дни. Ночью вновь приходила Иринка. Порою Алексой видел ее у чугунного ангела, руки которого были скрещены на груди. И тогда он вспоминал еще разбойницу, Лизоньку.

Из Екатеринбургa Алеша послал телеграмму матери. «Если еще жива?» Поезд продвигался теперь быстро. От Кунгура Алеша не отводил глаз от окна.

Солнце за облаками поднималось багровое.

«Солнце в багрянце — мятежное солнце, как говорят в народе», — думал Алтухов.

Падал редкий, легкий снег. И Алеше вспомнился вдруг весь несусветный путь его через Сибирь, от этого города, к которому он теперь вновь приближался. Весь позор, весь ужас — все, что совершалось на этом пути: застывшие глаза расстрелянных, бесславная доля «кобылки»; и унтера, и эти потерянные люди — господа офицеры; и бегство — в никуда; и смерть Иринки; и Манечка; и разоренные деревни, и вокзалы с паровозами, сброшенными под откос, и взорванные мосты; и трупы, трупы...

Солнце низко повисало над домами. И Алеше вспомнились еще белогвардейские цепи, которые все поднимались и поднимались со снега; и пулемет, дрожавший в его руках; и Юрка Марков; и та ярость, что охватила тогда его, Алтухова; и красные яры.

Пермский вокзал всплыл перед ним — он не узнал его. Вагоны замедляли ход. Он все смотрел в окно, стремясь увидеть родные лица, но их не было.

— Алтухов! Одейся? Пермь! — окликала сестра.

— Да, да, — отзывался он, все не отрываясь от окна.

Какне-то нескладные фигуры в платках до бровей да высокий военный в дубленом полушубке, со звездой на шапке, бежали возле вагона.

«И зачем бегут? Или встречают?» — думал Алеша.

— А эти не твои? — вновь спросила сестра.

— Нет, не мои.

— Но почему машут? Тебе машут, смотри!

И вдруг Алеша узнает эти лица: Юлька, конечно Юлька! И еще кто-то. Господи, да это же Марфа! Марфа Инокентьевна!

Он кричит сестре:

— Нет, подумайте, Потрясова! И дядя Саша!

Но кто же эта старушка, что бежит позади всех?

— Никак, мамка! — замечает сосед. — Совсем задохнулась.

И Алексей узнает и не может повторить: «Мамка!»

«Родные мои! Родные!» — кричит он про себя, быстро натягивая ляжки вещевого мешка, и спешит по коридору. И сестра кричит ему вслед:

— Тише, упадешь!

Но Алеша не слышит ее. Он стоит уже у распахнутой двери тамбура, ветер резко врывается в проем, но Алеша не ощущает ледяного холода. Он стоит, повисая на костылях, с мешком за плечами, из которого нелепо торчит валенок. Стоит такой же громоздкий, раздутый, как тот пехотинец с германской, которого принимал когда-то вот у такого же санитарного вагона он сам, Алеша Алтухов.

Но воспоминание мимолетно, оно меркнет тут же. Алеша видит родные, измученные лица. Ему хочется крикнуть им какие-то необычные, забытые слова. Но из горла выкатываются лишь хриплые восклицания.

Буфера лязгают, поезд останавливается, и, неумело выставляя костыли вперед, Алеша падает на широкую, в дубленом полушубке, грудь дяди Саши.

В эти дни Юрий Марков боевым маршем продвигался на восток: сила белоштерветов была сломлена.

Ленинград. 1963—1968

ГОЛУБЫЕ
ЗЕМЛИ

*путевые зарисовки
раздумья, рассказы*



*...В области литературы даже и для того, чтобы немного сделать, нужно очень много знать. Наша литература работает в действительности, где старое от нового отграничено еще недостаточно резко, и эта действительность — текущая чрезвычайно быстро...

Тем труднее познать человека на бегу, а у нас он именно бежит к своей цели...

...Книга Н. Вагнера имеет — на мой взгляд — двойную ценность. Это — одна из тех неоспоримо полезных книг, которые рассказывают нам, как огромная страна Союза Советов, как она мало исследована, как много надо эти неисследованные места изучать...

Октябрьская революция непрерывно обогащает нашу страну множеством людей активных и любознательных, какими и следует быть подлинным хозяевам страны.

Затем книга Вагнера показывает нам «человека в пути». Этими словами автор совершенно правильно определил вторую ценность своего труда. Он показал «человека в пути» не только к познанию своей страны, но и к самопознанию. Его человек — в пути к развитию в себе самой новой индивидуальности. Таких людей у нас тысячи и десятки тысяч. Путь их не легок, и задача нашей критики — облегчать, освещать, расширять его. Человек буржуазного общества всегда чувствовал себя человеком на короткое время, приблизительно — до впуков. Наш новый человек начинает чувствовать себя деятелем на века. Так и падо».

М. Горький. Из предисловия ко 2-му изданию «Человек бежит по снегу», 1932.

ЧЕЛОВЕК БЕЖИТ ПО СНЕГУ

КРАЙ ЗЕМЛИ

ДЕВЯТЬ ИЛИ ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ

Иногда мне кажется — колеса пролетки, сигналы машины, отсчеты сердца, забывшего счет, шаги, опущенные на панель, слова, уроненные рядом, и рука газетчика, потонувшая в пожаре рекламы, — как вот эти поля, стоят на месте. В этом убеждает меня глаз путешественника: множество лиц, просмотренных, как на кинолентке, и множество земель, прирученных к глазам, как дикие звери в зоологическом саду.

Тогда мне начинает представляться, что это не я бегаю по заседаниям, читаю стихи, пишу знакомые письма всегда незнакомым людям или путаюсь неумелыми руками в грудe чужих мыслей и чужих книг: я вижу себя неподвижным, немым, с закрытыми глазами, чуждым тому, что вчера еще было неподдельным кружением земли.

Но вагон стучал и дергал корпусом: он имел свой ритм, в это было единственным, что всегда заставляло меня видеть кружение земли. Да! Земля и в самом деле вертелась; и все пелось вокруг своим головокружительным путем. Даже профессор на нижней полке, успокоенный железнодорожным одеялом, покачивался в такт поезду; подрагивали занавески на окне, подрагивали и приоткрывались, как будто хотели добавить к сказанному, губы женщины, настоящего племени которой я никогда не узнал. Я открыл дверь и вышел.

Мимо пульмановских окон летели угольные горящие звезды. Их гнал из трубы паровоз. За их блестящей и

перовой рекой пухлыми комьями выходили и упослились какие-то предметы и огни стрелок. Мы подъезжали к новому городу.

Вперед было еще много таких городов. Мне предстояло проехать девять или десять тысяч километров, точно не помню: если бы я писал научный трактат, я справился бы непременно по путевому справочнику. Словом — мне предстояло пройти поперек землю, где я родился, где принял боевые азы и робкие уроки осознания, для того чтобы ощупью идти вперед и думать, что я все вижу, — так же как это думают тысячи на тысячах лежавших предо мною километрах. Я вышел на станцию.

Был 1928 год. Вдоль платформы бежал смазчик с молоточком и лейкой. Он был высок и плотен; в правой руке залпвался топенькой струйкой красного света фонарь. Кудрявые тополя отходили в стороны поля. Носильщики тащили в вагоны вещи и подсаживали тучных гражданок. У багажного вагона стучала тележка и хлопал замочный засов. Словом, все было на месте, но место было другое: над электрическим солнцем фонаря в первый просвет зарис четкими надписями плыл Новосибирск.

Как правдива литературная ложь: я никогда не видел тополей у вокзала Новосибирска. Эти тополя привиделся мне гораздо позже, так же как и поля. Кругом были степи; и поезд спова нес по ним свои стальные ребра, грохоча буферами на стрелках новых городов. На маленьких пошехонских станциях поезд скупо раскидывал мшиуты стоянок, чтобы взять воду и пассажиров. На станциях пошехонские торговки скупо расценивали свои куски масла, горшки молока и пороссячи пожки; и вот над ними-то и бежали в стороны кудрявые ряды тополей. Но было уже утро и новые места; и новые лица смелись, встречали, выкрикивали слова и уносились в многотысячном километраже фильма.

Ночами горели степи — это пускали пал на траву местные жители. Но рельсы сверкали, как амеи, и полотно твердой насыпью уводило из степей. Уже появлялись горы и красные яры Красноярска. И новый паровоз с новым машинистом бросал вперед размашистым ходом наши десятидневные жилища на покательцах.

Каждое утро профессор вынимал дневник из кармана френча и по-профессорски хмурил брови. Затем он говорил своему спутнику несколько деловых слов, видимо советовался о предстоящей работе; а молодой спутник глядел

профессору в рот, нагоняя на лицо строгость. Но юношеская и еще не заштампованная мысль вспыхивала в голубых его глазах и оставалась где-то в стороне — может быть, в сутулом небе полузакрытого окна, может быть, у самой занавески, где спала четвертая паша спутника. И профессор, на вид невозмутимый, сердился про себя на этого юношу с голубыми, не думающими и не слушающими его, профессора, глазами, на полузакрытую занавеску и на то, что за ней лежало не уважающее его взглядов существо — и к тому же женщина.

И каждое утро, несколько позже, просыпалось маленькое личико женщины, и губы, от которых еще пахло сном, выпускали с колечками дыма какие-нибудь незначущие, ни на что не рассчитанные слова.

И тотчас же улыбка полунасмешки-полууважения спускала на губы профессора, и он неизменно спрашивал:

— Ну, как вы себя чувствуете? Хорошо ли отдохнули сегодня?

И, точно по словам профессора, наступало новое сегодня. В купе входил проводник с веероподобным венчиком, официант обегал вагоны с записью на обед, в ресторане буфетчик раскупоривал бутылки, и услужливый машинист подсовывал пассажирам свеженькие станции.

Вечером показывалась потрясающая видовая: Байкал. Но картина затянулась до самого утра; и многие зрители, не вынеся плотного ужина и прелести природы, нежно похрапывали и качивались в такт с невозмутимым телом профессора и легкими одеялами международного экспресса.

Однако ни я, ни моя соседка, ни спутник профессора не спали в ту ночь. Поезд нырял в портки и туннели. Коридор вагона погружался в темень. Вспыхивали электрические лампочки. Поезд вылетал к морю — электричество гасло; и снова плыли по ту сторону Байкала меловые горбы. Под самыми колесами плескалась вода, трава ползла по откосу. Пустой Байкал, казалось, проглотил людей и птиц. И туннели глотали поезд.

Так длилось долго; возможно, мы уснули бы так же, как профессор, если бы на маленькой станции по неведомой причине веселый машинист не остановил наш путь и не позволил сойти нам к дикому Байкалу.

По влажной траве мы спустились к самому берегу: крутым обрывом он летел вниз, в синюю, слегка зеленую воду, Немногие деревья и платформа блестели в росе, и

свежий, нетронутый воздух взмывал вокруг нас своими широкими рукавами. Нас поразили и эта тишина и этот воздух. Мы были почти одни на станции; экспресс спал. Суровый и старый Байкал глядел нам в глаза, и не к чему было вспомнить излюбленные и избитые сказания и песни о нем: можно было просто ходить и дышать этим воздухом и наслаждаться этой невозмутимой тишиной.

Я взглянул на моего спутника. Глаза наши встретились и сошлись на лице женщины: оно было покойно и жестко, как утро, как море-озеро, как тишина.

И тогда случилось то, что разбило тишину и разорвало молчание.

— Хорошо... Хорошо здесь, — сказала она.

А утром на одной из глухих станций, где солнце играло на каждой ветке, произошло еще одно удивительное событие.

— Послушайте, — сказал спутник профессору, — вы чувствуете, какой сегодня воздух, профессор! Как пахнет! Я никогда не дышал так легко, как сейчас.

И тогда самоуверенная улыбка сошла на губы профессора.

— Да, — сказал он, — да, вы правы. Это зависит от местных условий. Надо не забыть записать облачность и смерть температуру.

— А эти деревья, это солнце! — продолжал спутник.

— Да, да, — согласился профессор.

И, вытащив записную книжку, он написал: «Облачность 8, t + 17».

Да, несомненно, кинооператор все-таки существует. Кто же иначе мог бы придумать такие кадры!

Однако и он устал крутить ручку на второй неделе пути. Или ручка отломалась? Или спутник машинист перевел рычаг на галоп?

Где же остались покой степей, насупленность лесов, кедровые шишки на стационарных панелях? Еще вчера ачинские долины колыхались цветом черемухи, и волны ее полнее воли Байкала заливали открытые тамбуры и спущенные рамы; за рамами бежали дети с полными руками почти огненных кувшинок; кому-то украшалась жпзль пенным букетом черемухи в черных от солнца руках. В Иркутске продавали газеты. Вихорками пыль завивалась за последним байкальским туннелем; и одинокая будка лесного человека говорила о спелости лета.

И вот уже позади пыльная Чита. Пыльной тоской ударило кондовье благовещенских подходов. Да, это, конечно, кондовье, кондовье, бывшие каторжные места, российская тупая горечь с азиатским привкусом желчи и жестокости. Эти бурные сопки ошипаны буранами нарочито; и нарочито набиты пески под тугие дерны; и нарочито выбриты лбы холмов, и эхо нарочито вторит кандалное позвякивание паровой игрушки. Здесь гнили надежды, и гибкий в расцвете своем костенел голос. И человек разучался понимать просторы, страну, породившую его, и числа, стертые ею. И только жалкой коробке, в пашмешку снабженной парю глаз и лбом, таким же выбритым, как эти плешивые сопки, дано было следить, как медленно хоронят удинские пески самоцветные россыши человеческого чувства.

И только профессор, слегка отклонившись и заложив ногу на ногу, был неизменен и невозмутим. Всегда на своем заброшенном, пятом от входа, месте, он наслаждался просмотром корректуры своего труда, принимая уютную теплоту вагона-ресторана как привычный уют своего городского кабинета.

А на следующее утро, немного раньше обыкновенного, проснулся веселый голос молодой женщины.

— Граждане, — кричала она, — будет спать, да вы поглядите, совсем другие места, совсем другие!..

Ее голос бился колокольцами; и колокольцами звенело солнце в стеклянные окна. Дорога неслась, вперевалки с сопками, к югу, и голубое море приморского неба вскармливало пушистые шары облаков.

Но это не были уже вчерашние сопки и вчерашнее небо; зелень затопляла долину. Поезд летел меж ольховника, клена, дубовых рощ и зеркальных лужиц рисовых полей. Мы, кажется, выпрыгнули окно, несмотря на протесты профессора, и ветер трепал теперь его седеющие на висках кудри. Сладкий запах берез и рябины и разбег полей врзались в упрямый квадрат окна. За ним была настоящая, правдивая жизнь будней с солнцем, трудом, холемыми, богатыми зеленью селами, с игрушечными лошадами, с пегими стадами коров.

Мне хочется сделать отступление. Мне хочется сказать, что в детстве я любил лошадей и солдатиков, а из последних больше всего — конницу. У гусар были

зеленые ментики, и красные шнуры стягивали их груди. Артиллеристы всегда имели защитный цвет. Французы были синими.

Когда я подростом, меня перестали увлекать потешные игры, но лошади остались моей всегдашней страстью. Право, я не раз, и в детские годы и позднее, мечтал стать владельцем большой конюшни, может быть — целого японского завода. О пет, я никогда не мечтал ни о каких выгодах. Я даже готов был сделаться простым извозчиком, ямщиком. О, я целыми днями ездил бы по улицам, за город, по полям, по деревням! Я, паверное, распряг бы в конце концов лошадь, чтоб, оставив все тяжести, проехать вот эти девять или десять земных неасытных тысяч верст, проехать весь мир, эту планету с дьявольской жаждой видеть...

Впрочем, это уже не относится ни к девяти тысячам, ни к профессору, ни к Приморью.

Паровоз спешил к Владивостоку.

САФЬЯНОВАЯ ЗВЕЗДА

С вокзала он пачпшался шумом и суетой посильщиков. Они отступают со своими пашпшными носилками, грозясь забрать багаж и мой, и моего соседа, и, кажется, всего мира. Извозчики с фонарем с левой стороны бешепобьют своих несчастных лошадей; ломовики с упряжкой без дуги — и все это китайцы — претендуют на «заграничный вид». Рвутся однопюкне звючки почных трамваев. Подкова бьется о камень. И над всем этим — небо Владивостока, седеющее без звезд в предрассветной мути.

И везет меня извозчик в чужеземные края,
В расписные номера...

Есть во Владивостоке лучшая гостиница и ресторан — «Золотой Рог».

С вокзала по Алеутской — теперь 25 Октября — город берет сразу в гору мимо поджарых, вздыбившихся домов. Он оживлен и особенно кипуч у большой улицы, еще недавно посившей такое паивное имя — Сметланка. Здесь лучшие дома, лучшие магазины, лучшие гостиницы. Здесь «Золотой Рог», не паостоящий, не бухта — ресторан.

Я приехал ночью, ночью же ходил на вокзал за почтой, и на китайскую улицу, и на телеграф. В «Золотом

Рого» ел котлету с пожкой, обернутой бумажным султаном, и на окна надавливал рассвет, такой же мутный, как в Ленинграде.

Не было ничего особенного в этом ресторане; почти как всюду, играл жидкий оркестр. Но привычному глазу сразу представало пестрое отличие, то, что зоркой чертой проходит по всему Владивостоку: в ресторане — русские, евреи, японцы, китайцы, немцы; на улице — корейки с привязанными за спиной детьми, американские резиновые подошвы, китайские цирюльнички в стекло парикмахерской, русские смазные сапоги и английские роботы.

Здесь пульс Владивостока: он зажал в своей руке разплеменность, ибо Владивосток прежде всего — порт. Отсюда уходят и сюда приходят корабли, пароходы и парусники разных флагов и с разным товаром. Отсюда уйдут, сюда придут капитаны, старью волки, карабкающиеся по мачте к марсу, свежие матросы и юнги-юнцы и будут уходить вновь, прощаясь с застывшими в порту пароходами, и будут, подрагивая, провожать их оставшиеся в порту пароходы рывками прощальных гудков, потому что и им скоро двинуться в морские переходы.

Когда стоишь на высоком берегу сопки — а весь город лепится, надает и взбирается вновь по сопкам — и смотришь вниз, внизу оmyивает песок и гальку морская пена. Здесь море синее — аквамарино, морская прозрачная голубоватая зелень, и белая пена, и брызги на больших камнях; и здесь же, на камнях, сафьяновые морские звезды и мокрые, намытые плесы берега в изгибе,

Здесь край земли, берег — и от него уйдем и мы в море, в полярные переходы, в зыбь, покой и бунт моря, как старые пожатые на маленьком пароходе.

От хлесткого ветра, от фисташкового цвета волн в шторм тянет за едкую зелень сопки и бухт. И от этой неудержимой тоски по пространствам, по дальям, по скаплию дрожат палубы и стоит в воздухе — в порту, на улицах, в гостиницах, гостиницах, домах, учреждениях, газете, «Золотом Рого» — прятная спешка.

Моросит дождь. Прохладно. На Ленинской улице падрываются искусственные китайские соловьи. Продаются сирень, и крупные водяные дышцы, и какие-то заморские сиреневые шишки. Корейки в больших платках несут за

спивой черноглазых детей. Китаец выкрикивает владивостокскую газету на своем непонятном языке. Чистильщики чистят сапоги. На углу, в кафе, дымятся сосиски в сладкой капусте и пахнет кофеом.

Поднимаюсь выше, до здания телеграфа, и иду перпендикулярно к улице, вниз, в китайские кварталы, кишачие пародом, таким же древиним, как еда, продаваемая в этих кварталах.

Китайский базар. В старых домах ворота — они ведут закоулками и проходами, где фонари с аляповатыми, крупными кистями, — в китайские столовые.

В проходах и на самой улице, прямо на мостовой, продают незатейливую еду: усатых скрюченных трепангов, пельмени, морскую капусту или какие-то диковинные овощи. В ведрах на мостовой зеленеет суп; рядом с ним, в пыли, присев на корточки, китайцы, корейцы едят этот палитый из ведер суп и длинные, колбасообразные пироги. На земле, у тротуара, в грязи дождливого вечера, стынет скорлупа раздавленного краба.

Ниже, к молу, где лес мачт, скользит липкая улица: по пей быстро дойдешь до толкучки. Но толкучка пуста и безжизненна. Ни широких полотен японского шелка, ни пассивной пестроты китайских будней, ни яркости монгольской экзотики — как хорошо бы устроить здесь сад, смыв древнейшую мелкую пыль наших, а может быть, и мировых, барухолок! Непривычны только лица корейнок, китайчата-фокусники, вязкие чужие слова, халаты, и шапочки, и женские, искалеченные драконовой красотой, колочки-ножки в широких шальварах.

Самое прекрасное у китайцев — длиннопольные халаты и шапочки; самое прекрасное сейчас во Владивостоке — море, с краем земли, с сафьяновыми звездами, домами со всех сторон взметнувшегося на сонки города.

Здесь впервые почувствовал я край земли. Никогда я не видел, и никто никогда не мог рассказать мне о том, где кончается земля. Был конец земли в детстве, как конец света — с падением звезд на сушу, с великими чудесами воли и видениями иных земель. Стал он теперь — карандашом вычерченный берег, сафьяновая звезда на мокром песке. И — вперед — полоса луны, то падающая, то взлетающая, как мысль, — море.

...В порту стоят иностранные и наши, советские суда: «Ильффорд-Лондон», «Кахи-Мару», «Товарищ Красин», «Колыма».

На норвежском — нашем арендованном — пароходе капитан-норвежец угостит вас сода-виски, от которой пахнет клопами и старым бургундом, и покажет образцовую чистоту своего корабля. Он родом из Бергена, он пришел из Кобе и скоро будет обратно: там ждет его жена. Тоже из Бергена, из того же Бергена, где умерли его отец, его дед и дед деда; и чопорный, подчищенный, такой фотографический, игрушечный Берген в опрятной рамке висит над окном кают-компани. А за окном, за волной, за Чуркип-портом купается в зелени Владивосток. Сампуньщик-китаец, грозясь опрокинуться на волне, за гривенник везет вас обратно к берегу, откуда плывет на вас морскими звездами этот последний на краю земли и на половине морской город.

ПЕРВОЕ МОРЕ

До сих пор еще сохранился обычай: когда уходит пароход в полярное плавание, остающиеся обмениваются с ним прощальными приветствиями гудков.

Есть в этом прощании особая торжественная прелесть — не то трогательная заботливость остающихся, не то жесткое пожатие товарищеской руки.

Вчера ушла «Колыма» в море, к ледяным устьям лепского привозья. Наши суда провожали ее грудными криками. И многими платочками провожали ее с пристани мужские и женские руки. А мы всё еще стоим у причала и продолжаем грузиться, как будто в нашу скорлупу, грецкого ореха можно вместить тысячи тонн.

Хотя грузовая ватерлиния уже давно потонула в нефти и воде порта, по сходням парохода беспрестанно поднимаются нагруженные спины, и лебедочные плетенки плещутся в за вечеревшем воздухе. Голоса стивидоров, легкая ругань и систематические приказы старших ведут усиленным темпом загрузку трюмов, твиндеков, спардеков, кормы, носа. Нет свободного угла, где можно было бы повернуться или присесть. Палубы заставлены ящиками, тесом, купгасами, катерами для заполярных районов, специальными санками, и перепосными полярными лодочками — на случай катастрофы во льдах, сеном для пароходного скота, скотом для пароходного стола, тюками, затянутыми брезентом.

Такие палубы — как хозяйка грязные полы — смывает океан двумя-тремя солидными взмахами волн. Но никто, кажется, не думает о шторме, о солидном характере водяных стихий, об одном из самых неуемных океанов — Тихом.

Нагруженные до отказа, пароходы идут в море, карабкаются по тайфунным гребням, падают в зевы волн и вновь возвращаются обратно в цветущий Владивосток или Николаевск — эти удивительные, не тонущие в воде и не горящие в огне пароходы.

И только лицо капитана, по мере того как растет лес ящиков и тюков, нагружается угрюмой заботой: кажется, он позвал наконец помощника и приказал прекратить погрузку.

Мы становимся на рейд и ждем здесь последних оформлений перед выходом из порта. В ожидании смотрим, как грузятся другие пароходы, как подъезжают мелкие сампуньки, привозя пассажиров, как спускают катера и моторки, доставляя поручения и печальство. Погода разгулялась. Море опять прозрачно и зелено; и изобилие береговой зелени падает с сопок и вторится в мелкой гребнистой зыби.

Может быть, от этой волнующей зелени, от суеты портовых катеров или от вынужденного ожидания и ничегонеделания, как на всякой остановке, усленно бьется мысль. Чемоданы давно успокоились под койками каюты; давно осмотрены и кают-компания, и спардек, и уборные — все достопримечательности нового жилища. Собраны мысли, допосланы телеграммы, прочитаны и исполнены блокнотные заметки — все, что положено делать в экспедиции. Сборы закончены. Суша отделена полосой зеленой воды; пискливые чайки становятся новыми спутниками; повара поджаривают котлеты и заправляют супы, и кочегары стирают пот и воспоминания о берегу. Кажется, не к чему прицепиться и можно взять давно отложенную главу романа.

Но на этом последнем перед новыми путями вокзале вновь останавливается и ласково зацепляется за предметы и перебирает их мысль. Может быть, если бы у человека не было памяти, жизнь была бы такой же компактной, как дорожный чемодан, и такой же легкой, как облака вот этого неба. Может быть, глаза человека видели бы тогда шире того, что положено им видеть, и уши рас-

крывались бы на каждый голос. Но мы воспитаны в огневые годы и, как вся страна, приучены к осторожке, подвижности и упорной памяти. И вот потому, быть может, на покзалах, на необычных досугах наших стоянок, в пароходах, седле, посадах, таратайках, покое лесов и степном солнце являются нам редкие гости: лучшие образы, лучшие понимания человека, земли, времени.

Грузчики отчаянно кричат. Они суетливы. Подымается ветер. Сампуньщики ставят парус. На нашем пароходе темный квадрат флага; это значит — море уже близко. От близости его напряженно подрагивают палуба, и воздух, и чайки у самого борта.

Прошел день. Владивосток давно позади. Небо высоко, и, если присмотреться, видно, как идут низкие облака, совсем сквозные; и сквозь них видны другие облака, твердые, как цедра лимона. И вместе с ближними облаками, то вверх, то вниз ходят мачта, и марс, и спанси. Утром лежал туман, потом он распался и к полдню опять ненадолго отиал у нас море. Но сейчас светло и тихо. Малая зыбь. Дельфины, провожавшие нас несколько миль, ушли в свои покои. Нас зовут к очередному поглощению пищи: пассажир, как и матрос, должен быть здоров; об этом успешно заботится целый штат людей, начиная от повара, кончая капитаном.

Я перешел на нос — здесь режет ветер, и под низом о борта разбивается море. Цвет его синие-синь, почти лилов, как густоцветные школьничьи чернила. И, как от чернил, чем-то новым и острым пахнет море.

О море почти нельзя говорить. Его не рассказать и по взвесить на слово: так нельзя рассказать о цвете человеческого лица, рокоте леса, запахе пемудренного подорожника. И, как человеческого лица, песпил леса и цвет пемудренного подорожника, — падо видеть, вдыхать, часами слышать море. Надо научиться, как скульптору, отыскивать полноту его лепки; надо, как философу, уметь забывать условные границы нашего обывательского глаза — дома, телефоны, деревья, поезда, людей, землю. Да, даже землю. И падо научиться еще не видеть ее вторыми глазами — глазами памяти — за тем кругом, где море падает в небо или небо тонет в море, где ничего не разберешь, кроме густой черты туч или белой полосы льда. Тогда

только привыкаешь к морю так, что при печальном звуке этих четырех букв будет бросать тебя в бешеную жуть ожидания.

Но это явилось гораадо позже: первое море осталось, как все первое, кратким, непостижимым до конца и свежим.

С вечера дул свежий ветер, но сейчас море совсем тихое и розово-серое. Впрочем, оно меняет свои тона с поспешностью. Несомненно только одно: с каждым часом море становится покойнее, переходя к глади невоамутнейшего штиля.

Остров, на который мы идем правым бортом, уже совсем близко. Это Ошима. Скаты его обрывисты и черно-зелелы. На обрезанной его верхушке, как на крыше пагоды, покоятся облака.

Вместе со штилем ложится душная жара японского солнца. Эта страна заштампованного солнца уже совсем близко. Один за другим всплывают и остаются позади острова. Берега их покрыты зеленью одного цвета. Все они холмисты, схожи, до трафаретности японски. Громады мелких птиц и чаек припаяны к неподвижной воде. У откоса, где пенится поток и выпирают от острова камни, — белый маяк.

Весь день мы не теряем из вида островов. Весь день печет солнце, и под бортом в бронзовой синеве плавится его двойник. Но вот уже вечер — и справа Тихий песет мелкие беляки, которых мы почти не ощущаем. Мы огнибаем остров совсем близко. Впереди узкий мол поднимает красный сигнал маяка. Зеленые сочные сопки в глубокой ночи; и только искусственные глаза электрических ламп заливают одну из них, нагромождая пирамиду огней. Пароход идет медленно, пробираясь за мол в лабиринте японских, китайских, английских, итальянских судов. Навстречу несется с павязчивым постукиванием моторка. Вот она подходит вплотную к борту, замедляя ход; и тонкий мяукающий голос летит сынау и теряется где-то па твиндеке.

— Какая парохода? — повторяет мяукающий голос.

Это портовая охрана. Перед нами северный японский город и первый по рейсу порт — Хакодате.

ГОРОД, КАКИМ ЕГО ВИДЕЛИ ГЛАЗА С БОРТА

Я не видел в Хакодате ни одной хризантемы. Правда, это северный порт. Японцы едят рис и имеют гейш; но республика чая — в Китае, а рикши в Хакодате почти антикварная вещь. И потом — у рикши есть глаза.

Апельсины в Хакодате кислы и величиной с боксерский кулак; многие кимоно высокого роста и японские домики раздвижны и устланы циновками; и в кондитерских покрыты стеклянными колпаками непонятные сладости. Но разве в этом дело?

Трамвай и движение в Хакодате — левое. Форды бесшумны. В магазинах изысканное доверие к покупателю и вежливость. А на барках в порту рабочие в драпье днями разгружают рыбу и грузят на пароходы бочки и кули под матерные на русском языке покрикивания Саудо. И в императорские праздники в честь микадо и падиш иллюминируется город. Но ведь это же Россия! Старая, допотопная Россия, с царскими днями, с набитыми товарами полупустыми магазинами, с полицейскими, с рабочими, не зарабатывающими себе на день, брюшками Саудо-подрядчиков, с храмом божьим, с раболепными женами и всем тем, чего не видно под внешним мирным благополучием.

Но полноте, подлинно ли это всехвальное благополучие? И так ли сладок этот рис, вызывающий стандартную улыбку продавщицы? И неужели, захлебнувшись весельем, до ночи ходит по улицам, поют и танцуют, пластически переставляя ноги и руки, и водят по струнам пальцами эти перепудренные уличные гейши? Какже же это крепкие руки и пальцы, не устающие отщипывать острые струны; какая не устающая, стабильная, растянутая по всему лицу Хакодате для каждого, для себя, для иностранцев улыбка. Какая упорная восточная замкнутость и видимое благополучие.

В Японии, наверное, скучно жить. Я люблю мою огромную, живущую мировой жизнью страну. И потому Хакодате хорош только как город, который видели глаза с борта.

Глаза японок все же хороши. Лучше всего, конечно, их разрез. Но еще лучше японские дети, когда они идут из школы с сумками, полными книжек, с головами, переполненными событиями школьного дня. Они исключительно

опрятны, как и все японцы вообще. На многих европейских платьях; часть в кукольных кимоно и на деревяшках шлепанцев. Дети, кажется, первооснова японской обывательской жизни. Потом идут: деньги, европейцы, Америка, голод, завистливая племенная, непокладный, суточный труд, рисовые поля, Япония.

Мне не раз приходилось видеть, как работают японцы. Много позже в одном из наших охотских портов я был поражен торжественной симфонией труда. С прибоем впереводки на коротких веслах проходили через бар¹ выгнутые японские кунгасы с драконами у кормы и поса. Они пустели мгновенно, достигнув берега. Люди шли нескончаемыми рядами в гору подъема, почти не останавливаясь принимали тяжелые тюки рыбы, возвращались к морю, где тюки забирались какими-то железными руками и вырастали плотными клады; и снова, не разрывая кольца, люди шли в гору подъема, и снова принимали тюки, и снова шли вниз; и рогожные горы остро просоленной рыбы таяли на берегу; и кунгасы снова плыли через бар, торопясь не упустить прибой, с точностью секундомера, с непереставаемой однородной песней.

О чем пол тогда этот человеческий конвейер в драгю на берегах нашего моря, зафрахтованный вместе с пароходом для перевозки грузов? Неужели же все еще о самурае и о том, что у великана три пальца? Или о том, что Древний Дракон тот же неизменный Король Современности — капитал, и о том, что рабочий может потерять все, кроме настойчивости труда и детей-школьников рисовой страны?

Какой же потрясающий эффект, превыше фейерверка и иллюминации в честь микадо, даст первый головокружительный удар, выдвигнутый со всей дисциплинированностью и точностью машины — этого человеческого конвейера, — против Последнего Короля, имя которого ныне возвещают празднества.

Порт Хакодате насчитывает всего два десятка лет. На русской торговле окреп и вырос Хакодате, как постоянный двор на широкой дороге: к Тихому океану, к берегам Камчатки, за Берингову воду, в Ледовитый многие годы

¹ Бар — павосная мель в устьях рек.

шли русские корабли с искателями удачи, купцами-охотниками, рыбаками, старателями, расточая свое золотое счастье в «ресторациях» с такими русскими названиями, как «Сибирь», с такими радушными японками, как все «Марья Ивановны». Крупные коммерческие рейсы закладывали солидный фундамент будущему порту; и вот сейчас Хакодате — живой порт с богатыми пароходами-экспрессами, вмещающими поездные составы для перевозки с острова на остров. Прежней «Сибирь» нет, и только русские ломаные слова, брашь и сохранившееся титулование всех женщин одним и тем же именем «Марья Ивановны» говорят о прошлом значении России для этого северного японского порта.

За годы первой мировой войны город вырос. Раздвижные дома во многом уступили место камню и цементу; и теперь главная улица — эта сплошная выдвинутая за витрины домов лавка — блещет, наряду с японскими фасадами, двух- и трехэтажными особняками — банками, конторам, универсалиями разных фирм и наций. Японские пероглифы вывесок спорят с иностранными шрифтами, и американские моды до сих пор еще не могут выжить архитектурных причесок, деревяшек вместо туфель и многометровых тканей кимоно.

Впрочем, и здесь время сделало успехи: европейская одежда все чаще сменяет азиатскую. Есть уже стандарт, массовое производство, и это «массовое производство» — фетровые мужские шляпы одного фасона, прорезиненные шелковые макинтоши одного покроя, синие костюмы мужчины с одними и теми же лацканами — дают себя чувствовать ни в коем случае не в переносном смысле: Европа признана, использована утилитарно, изучена и принята настолько, насколько может она способствовать непамятному и вечно настроженному Королю.

ТИХИИ

26 июня

...С вечера зыбь. Матросы говорят — не качает совсем; по некоторым пассажирам уже плохо, и в особенности — женщинам. В кают-компании за обедом пустеют места и молчит граммофон. На палубе, открытой сбоку, меня дважды обдало волной; все лицо в воде, и на губах соль.

...Если лежать на верхней полке каюты и смотреть в глаз иллюминатора — видно, как затягивает его стекло серое море, потом море идет вниз, и в свободном куске, у лестницы на палубу и в ободке иллюминатора, выходит небо, такое же серое, как море; и снова иллюминатор опускается, и снова хмарь затягивает глаз. Это ритм моря, ритм зыби, размеренной, широкой, душащей, как немецкая перина. Брррр...

27 июня

...Идем открытым морем. Зыбь по-прежнему. По обе стороны корабля через небо два тяжелых сизо-серых крыла. Когда нагнешься над палубой, а нос пойдет вверх, крылья прирастают к бортам. Тогда, кажется, мы летим, как Летучий Голландец, в серую кипень воды. Когда третьего дня мы уходили из Хакодате — множество огней лежало на море. Это японские рыбаки выезжают на промысел в Тихий со своими светильниками, напоминающими двуязыкое жало змеи...

Вечер. Показался один из Курильских островов. Небо сейчас бледно-голубое. Остров в тумане, как на картинках старого волшебного фонаря с керосиновой лампой внутри...

...Или слабеет эта зловредная мертвая зыбь, или я привыкаю к морю. Я хожу целыми днями по палубе и дышу брызгами. Вокруг — большие водяные поляны; как шахматные поля, они то опускаются под самый борт парохода, то вырастают за кормой. Скрипят снасти, и ходит маятников выкрашенная в коричнево-красный цвет мачта. На конце мачты маленькая круглая деревянная нашлапка: она тоже ходит от одного облака к другому.

Час тому назад прошло небольшое стадо косаток или кашалотов саженях в трехстах от нас. Их черные перья напоминают рифы или куски разбитого судна, унесенного к диким островам. Понемногу начинают вылезать к столу и на палубу наши пассажирки. Мой сосед говорит спутнице о любви. Он умеет остро изъясняться: «Что такое любовь? Задайте себе вопрос и ответьте. Любовь — это конгломерат настроений!» Я не согласен с ним. По-моему, любовь — это тяга к другому. Так, есть любовь к морю, к женщине, к работе: чем замечательней она — тем крепче тяга. Поэтому и тоска есть любовь. Однако я замечаю, что хмурое море родит не всегда хмурые мысли. Право,

я с любопытством размышляю о всяких пустячных и незначительных поступках людей, о новом профессоре, путешествующем с нами до Петропавловска, готовом читать лекции на любую тему и по любому поводу, о нашем поваре Иван Иваныче, да, да — о коке! О, кок — это большое дело в пути и в жизни. Но у Иван Иваныча примечательное лицо: я видел его, когда он поджаривает бифштекс, бьет скот и приветствует рюмочкой. В нем покоятся три качества: добродушие, безразличие и хитрость. Все зависит от их сочетания.

А чем плох этот огрызок лимона, заброшенный кем-то, быть может тем же Иван Иванычем, за край моря? И кто пойдет в нем малиновое солнце, еще полчаса назад согревавшее пас своими веселыми лучами? Или чем не интересны рассказы вот этого славного моряка, едущего к неисследованным берегам Индигирки? Они так же интересны, как его голубо-стальные зрачки и жесткие чистые щеки, щеки настоящих открывателей морских земель. Его зовут Оскар — дикое и холодное имя.

В этих островах Камчатки, мимо которых мы проплываем, как в тайнике, холодеют богатые залежи. К их берегам идут стихийные леса Дальлеса; и жирная рыба; и котикки — непревзойденные конкуренты московских и ленинградских кошек; и дельфины, и водоросли с густым содержанием йода...

29 июня

...Проходим вблизи мыса Лопатки. Густой туман. Часто останавливаемся и делаем промеры для определения местонахождения. Мыс должен быть в пяти — восьми милях, но из-за тумана его не видно. Идем как в молоко. Пароход постоянно подает гудки. В Петропавловске будем только завтра...

...Лопатку прошли. Море разыгралось — брызги летят на бак. Туман смылся, и легко дышать.

— Свеженький ветер, — говорит матрос. — Если бы он встал нас в море, в пару часов разыгралась бы погода. Покачало бы.

Матросы вообще любят рассказывать о штормах и удачах волн. Я уже в третий раз слышу рассказ о том, как во время шторма, не знаю во сколько баллов, матроса смыло волной с палубы и сразу же подхватило другой и выбросило обратно на бак. Матрос перестал ходить

в плавания с тех пор. Я не верю этому — если такой матрос действительно был, он не перестал и не перестанет ходить в море. От моря отвыкнуть могут те, кто его не видел — пли, увидев, не увидал.

Вода заплескивается к нам в пльмпнаторь, и это хорошо. Хорошо синее-синее море, и особенно — когда нет пгиде земли. Одно море, подбрасывающее, как яблочко, корабль.

ГОЛУБОЙ ПОРТ

О Петропавловске-Камчатском стоиь сказать несколько больше, чем просто — о городе.

С самого утра дул легкий ветер. Вчерашний шквал улегся, и море совсем спокойно.

С самого утра по вершинам скалистых подходов к бухте полз туман. От этого они теснились к морю усеченными, трапецеиподобными кубами с отвесными скатами. Они были вдавлены в море с обеих сторон парохода; и за ними и над ними был туман.

Но чем дальше в бухту входил пароход, тем тише и яснее становились воздух и море; и воздух нес в себе теплое дуновение — сладкий, слегка навязчивый запах деревьев и травы.

Туман сошел — и обнажились сопки в спешных вершинах и сопки более близкие, в сочности курчавых, кривых берез; и впису, где море образует узкий ковшеобразный залив — Ковш, сбегая к маяку радиостанции и подымаясь по склонам, засверкало на солнце множеством крыш и стен город.

Естественная бухта Петропавловска, этот круглый и глубокий Ковш, в который одновременно входит несколько океанских пароходов и пришвартовывается к береговой пристани, стоиь на одном из первых мест в мире. Сейчас в порту несколько русских и одно японское судно.

Пока пароход выполняет свои официальные обязанности в порту, стоиь подойти к борту и взглянуть на пристанскую жизнь. Грузчики грузят уголь. На них длинные наголовные мешки пли зюйдвестки с широкими задними полями. Глаза их раскосы и черны. Преимущественно грузят китайцы. Они плюют на черные от угля ступени, и слюна белыми комочками свертывается на черных досках. У пристани ловят на блесну рыбу: камбала, горбуша, кунджа тут и там блестит в воздухе над мостками, по ко-

торым бегут вагонетки с углем. Под навесом пристани, у стоек и столбов ходит сельдь.

В Петропавловске пароходы берут уголь, пресную воду, товары для севера и пушнину для юга. Наш пароход тоже возьмет уголь и воду и через день уйдет в полярное плавание.

Сброшены сходни — и по деревянному помосту сто шагов до города. Город насчитывает около полутора тысяч жителей. Большая часть — русские; китайцы в значительном меньшинстве. Город свеж от зелени склонов. Он имеет только одну улицу, ею он и живет. Вправо и влево от нее по склонам взбираются дома. В полчаса можно пройти весь город, с одного его конца до другого. И по обеим сторонам будут одинаковые дома с крышами из гофрированного америкапского железа. Местами и стены покрыты этим железом или залатаны от порчи. Лес здесь крайне дорог; строевого леса нет в Петропавловске, поэтому чаще всего дома обкладываются снаружи железом, внутри же, между досками, засыпается сухая земля. Эти дома достаточно теплы и прочны. На солнце они выглядят светлыми: когда смотришь на Петропавловск со стороны, он сверкает, как серебряная плитка шоколада.

— Это вечные дома! — говорят старожилы.

Памятников истории в Петропавловске четыре: Берингу, Лаперузу, небольшой обелиск мореплавателю и капитану Чарльзу Кларку (затертому во льдах Берингова пролива и убитому здесь в 1779 году), братские могилы погибших при отражении англо-французов в 1854 году.

Молодежь не знает ни памятников, ни преданий, но старики передают еще рассказы о том, как в войну с англо-французами заходила чужая эскадра в порт Петропавловск. Русские заманили суда в Ковш и неприятеля в город, окружили его, выставили на сопке пушку, затопили один корабль и обратили эскадру в бегство.

Говорят, что памятник «британским героям» поддерживал до самой войны и даже позже приходивший сюда регулярно каждые четыре года английский крейсер, но сейчас часовня разрушена, на стенах намалеваны углем чужие, непривычные прошлому мена. Могилы запущены; старинные пушки вросли в землю. Одна из них скатилась под откос, и за ней тянется проходящая через все казенные части орудий двойная тяжелая цепь.

Надписи над могилами защитников порта Петропавловск покойны, как покойна зелень деревьев, и просты,

как солдатская жизнь: «Памяти убитых при отражении англо-французов 24 августа 1854 г. Мир праху вашему». Кресты — католический и православный.

К памятнику мореплавателя и капитана Чарльза Кларка протянута от соседнего дерева перекладинка; на ней сушится чье-то белье. Рядом на свободной площадке играют в футбол матросы. В местной школе устроен аукцион — продажа ручных изделий учеников. По улице гуляют девушки, идут в библиотеку школьницы.

И, хотя уже вечер, стоит пройти к самому концу города — туда, где за последним, когда-то «вселенским», домом вьется дорога в мелком кустарнике боярышника и ольхи. Откуда предстанет вам: внизу отсеченное от губы бухты зеленой косой озеро-залив и на нем причаленная лодка. Сбоку его как бы припирает зеленая сопка; ее режет почти посредине полоса тумана. Туман сероватобел, как пар в наших столицах из труб прачечных: тогда он имеет еще тепловатый, такой ржавый, вкус и запах. Но здесь воздух чист, и влажен, и слегка пахнет травой.

У боковой горы на цепи лают привязанные ездовые собаки. Они собраны здесь, за городом, на лето в одном месте. За ними наблюдает сторож. Он кормит их сушеной рыбой; летом они без работы, зимой под снег и туман пойдут они в разъезды к Анадырю и в другие дороги на многие сотни верст. Это местные лошади, ибо лошадьми по осилить зимних путей, метелей, туманов, гор. У каждой собаки в песке вырыта нора. Ночью они оглашают окрестности концертом протяжного воя и лая.

— Это наша оперетта, — говорит мне какой-то старик, — вместо вашей, ленинградской!

Но лучше всего в Петропавловске, за зеленью его защищенных от ветра склонов, за озером и голубой бухтой — еле заметные с первого взгляда, бледные как дымка, как небо, голубеющие горные цепи с куполообразными вершинами в снегу и тумане. Здесь поистине джек-лондонский вид, преддверие Арктики, полярный пейзаж. Туман и снег сльваются на этих горах так, что не различишь, где кончается один и начинается другой. А над ними в небе — над Петропавловском, над бухтой, над пароходами — куда ни уйти, величественно выходит голубоватая Велючинская сопка, уже потухшая и такая же тихая, как порт.

Вечер. В том углу, где с норда прикрывает снежную цепь зеленая гора, над кажущимися издали голыми хребтами — малиновая полоса солнца. Легкий ветер треплет листву. Тишина.

ГОРОД НА МОРЖЕ

Здесь нет ночи — в ленивом рассвете пароход обогнул мыс Дежнев.

Суровый гранит скалами сполз в Ледовитое море; его спокойные на вид волны несут нас к берегу.

Теперь уже невооруженным глазом видны на вековом камне мхи и лишай спаленного цвета и в щелях — с вершины камня до подошвы — снег. А правей, где массив скатывается в пологий берег, в щебне, в отточенной гальке, открытый ветрам поселок, центр, «чукотский город» — Уэлен.

Пароход стал. Спущен большой кунгас. Горы принимают густой гудок парохода. И вместе с призывом его растет на берегу оживление. Навстречу пароходу скользит от берега лодка — сначала одна, потом другая — набитая жителями Уэлена. В большинстве — это чукчи-мужчины. На них меховые — перничьи и оленьи — куртки, перничьи брюки и на ногах расшитые бисером мокассы-торбаса. Золотом поблескивают надетые поверх непромокаемые короткие малицы, шитые из моржовых кишок. Американский целлулоидный козырек от полярного солнца — без шанки на круто выстриженной макушке головы — придает лицам окраску суровости.

Лодка гостей, прибывших на борт, тоже из моржовой шкуры. Искусные женщины режут пластинами толстую — до двух пальцев толщиной — шкуру моржа; потом ее распяливают и сушат на особых пялах-рамах и обтягивают легкой деревянный остов лодки. Такая лодка — байдара — легка для плавания и переноски, в ней без труда вмещается двадцать человек, и ходить по пей можно только в торбасах, чтоб не проткнуть ее нежное дно каблуком.

Мы едем на берег, и на берегу все те же кожи и изделия из кож моржа и нерпы, груды костей морского зверя и позвонки китов.

Если про землю давние предания говорили, что она стоит на трех китах, то Уэлен можно было бы назвать

городом, стоящим на морже. Когда ходишь по берегу, где ноги вязнут в морской гальке, такой же гальке, как у берегов нашего Крыма, которой всегда хочется набить карманы, когда смотришь на круглые балаганы яранг — чукотских жилищ, на доисторические промысловые сооружения, когда входишь в жилище, вглядываешься в утварь и втягиваешь приторный его воздух — тогда ясным становится, что все в этом «городе», чукотском центре, живет звериным морским боем.

В Уэлене много яранг и домов. Здесь имеется метеорологическая станция, медицинский отряд здравотдела, кооператив, радиостанция, школа. Все, что построено из дерева, привезено сюда пароходом, не считая сооружений из плавника. Леса здесь нет. Кругом — голь, камень, мох, галька.

Приход парохода — событие, к тому же наш пароход первый, посетивший в этом году Уэлен. Вот и чукотские девушки и женщины. Татупровка избородила их подбородки и синими полосами легла вдоль носа. У некоторых в ушах серьги из бисера. Молодые одеты в алые платья с цветными полосами у подола — эти алые и пестрые платья, покроя чукотской малпцы, падают поверх меховых шаровар.

Головы большинства женщин обнажены, волосы закручены в косички, а пальцы красуются в серебряных грубых кольцах. Лица женщин запечатлели черты разных рас и национальностей: видно, и впрямь не раз приходилось им любоваться лицами заморских гостей! С седых времен плавают сюда морские бродяги с разными флагами у мачт и всегда одними и теми же переполненными руками и цепкостью глаз. И не одна зима отпыхала здесь для моряков, затертых льдами и отогретых бескорыстным теплом доверчивого сердца.

Мы входим в ярангу. Яранга обтянута сверху и по бокам шкурами моржа, а снизу завалена кусками железа, ребрами кита, моржовой костью, обломками плавника, дерном. Шкуры стянуты самодельными сыромятными ремнями; на них висят снаружи большие круглые булыжники, чтобы ветры, свирельствующие здесь, не свесли стен.

От прозрачности шкур в яранге светло. Посредине, на жердях, подвес для котла над затухшим костром; у задней стенки меховой полог для спавья. Над головой и вдоль стен — как шоферские перчатки — моржовые лапы и кро-

вавые, приторпо пахнущие окорока. В яранго шипит примус и висит бипокль.

— Американ! — говорит чукча, указывая на него.

...И вновь ходишь по берегу и смотришь на большие паяла с моржовыми шкурами, парты, голодных собак, куски звериного мяса на жердях, куски костей и клыков, из которых режут чукчи удивительные, ловкие безделицы.

У дверей яранги стоит высокая девушка. От красной малицы ее свет щегольством — в ней петрудно узнать местную красавицу — Карамен, что значит: «нет, не падо, не хочу», и слово «уйпа!» (нет!) не сходит с ее губ. Рядом с ней сидит чукчанка в меховом сплошном комбинезоне. Рукав у нее спущен, и длинная низкая грудь, как банан, свисает над грязной одеждой. Глаза ее голубы, и лицо в веснушках. Это вторая достопримечательность Уэлена — голубоглазая чукчанка Рытыль. Отец Рытыль — американец, и девушка остается верной крови своего отца: она ждет мужа из Америки или Европы.

Уже вечером чукчи провожают нас на пароход. На своих байдарках, напоминающих пироги, они похожи на пидейцев из стран, выданных в пылком воображении детства. Быстро гребут они опущенными по обе стороны байдар короткими веслами. У них сегодня прекрасное настроение, потому что сегодня их праздник, потому что сегодня пришел пароход — редкий гость, приносящий и повости, и табак, и хлеб, и сахар. И сегодня же, послав им короткий гудок, уйдет пароход к новым местам, людям, морю.

КАПИТАНЫ

Эпитеты часто недостаточны для того, чтобы определить человека. Что значит — старый морской волк? На нем меховая шапка или тюбетейка из шоколадного шелка и золота и теплая куртка. Всегда бритый, с пушистыми усами, едва ли выглядит он на все сорок с небольшим лет, хотя уже перевалил полвека. За спиной у него опыт, моря, льды эповки, большие просторы почей, шторы и редкие дни в своей семье. То же, что и у каждого моряка. И еще — полвека.

От этого на лице, в движениях его, в голосе — добродушие и решимость.

Когда устаю от книги и карандаш не проснется к записной книжке, отдаюсь обычному занятию: перехожу и

людям. Брожу по баку, заглядываю в кубрик, в кают-компапию, пью чай или стою у капитанского мостика и прислушиваюсь к команде.

Никогда не замечал я, чтобы поднял он голос, чтобы походка его стала неровной, но часто наблюдаю неподвижность его взгляда; и как в горящце городские окна улицы упорно стучится мысль: разгадать, что за ним.

Ровным шагом он ходит по мостику, и ударамп, такими же ровными, как шаг, идут неторопливые, рассчитанные слова команды — слова командира, предназначенные к исполнению.

— Влево помалу.

— Еще влево поднавались.

— Так держать!

И штурман, яблонька-парепь, у которого, кажется, только и остались одни глаза и ушп, боясь рассыпать доверенные ему за весь пароход слова, четко цедит сквозь бурливое дыхание:

— Так держать!

— Так!

Иногда мне кажется, что пароход не пройдет, останется, заимует во льдах — всюду бело, и нет воды. И тогда на мостике всегда его спокойный голос. Или голос подымается вдоль мачты к марсу, и оттуда часами видна голова с биноклем и рука, указывающая направление.

Я часто удивляюсь подвижности и молодости этого старика. По нескольку раз в день взбирается он на мачту; во все тяжелые часы он на своем мостике, и всегда его вид свеж, как у человека, безмятежно спавшего ночь. Я люблю эту тихую команду:

— Отдать шпринт!

— Вместе с концом нощемпогу вира якорь...

Я люблю грохот пароходной лебедки, когда она перебирает, точно грызет на зубах, проворные зерна якорной цепи. Я начинаю любить море так же, как все его любят здесь, этот рабочий уклад судовой жизни, льды и берега, до крайности голые — такие же, как бессмертные полярные сутки.

11 июля

...Утром стояли из-за тумана у сплошной ледяной кромки. Сейчас произошла подвижка, туман расползся, и мы идем среди битого льда. Впереди. Колючицкий остров

и губа. Поля встречаются значительной величины, отдельные льдины высотой в две и больше сажени, но в большинстве лед невысок. Плывущих айсбергов здесь совсем нет.

Первые льды попались нам еще в Беринговом проливе. Потом льды пропали; но Ледовитый океан снова показывает нам их.

Наш год по приметам и наблюдениям моряков и чукчей тяжелый. Каждый четвертый или пятый год обычно дает зимовки пароходов: так зимовали наши суда — 14, 19, 24 года. И в этом году льдов несравненно больше, чем в прошлом...

...Температура сегодняшней ночью — минус десять. Сейчас четырнадцать часов (по московскому времени) и — плюс четыре по местному. Прошли с милою и стали снова на ледяной якорь. Мы пришвартованы к большому полю льда. Впереди сплошной лед. Слева от борта — трехсаженные глыбы снега и сверкающих осколков. Полчаса назад в бинокль мы видели чукчей в море; сейчас они уже у нас в кубрике пьют чай. Они пробрались к нам на легкой своей байдаре меж льдин по прогалинкам; в лодке у них несколько убитых нерп и сложенный парус.

12 июля

...Всю половину дня и ночь пробивались сквозь лед. Барометр сильно упал, и погода переменилась к худшему. Холодно. На баке и палубе — снег. Мокрый ветер с дождем и снегом облепляет наш корабль. Море фиштакново-зелено, льды тоже зелены и ярко-голубы. Мимо борта плывет ледяная гора немногим выше спардека. Видно, как срослись наворочепные одна на другую льдины. Сбоку и снизу их изъело водой, и от этого вышли края широкими орлиными крыльями и длинными голубыми языками под водой. На крыльях снег и сосульки. Мы идем на мыс Северный.

На вахте сейчас стоит младший помощник — с большой копной рыжих вьющихся волос. Он моложе всех, и эта молодость проступает в его разговоре, в словах команды, в улыбке, соединяющей замкнутое чувство ответственности за рейс, мужества и выдержки с желанием сочувствия к своим интересам, к своему делу, с какой-то почти юношеской теплотой и застенчивостью. И так же,

как капитан, стараясь сохранить голос на ровной высоте, прокладывает он путь сквозь льдины; и те же слова — «влево помалу» — катятся с грубоватых губ.

На каждом помощнике лежит свое дело: штурманское — на младшем; второй — ревизор. Ревизор — крепкий мужчина, как и подобает быть настоящему ревизору. У него растет сейчас русая щетина. Всегда, в холод и ветер, он стоит на вахте в одном легком пальто поверх свитера. Лицо его из тех, про которых хочется сказать: вот этот — ладный мужик!

Вся команда подобрана в полярный рейс особо тщательно на случай зимовки и трудностей ледовых походов. Матросы и кочегары исполнительны и опыты. Каждый знает свое дело; каждый понимает без приказа ответственность дней, ставших буднями, — так бывает на фронте в осознании больших дел.

Хуже всего оказаться между большими полями дрейфующих льдов и быть унесенным и раздавленным где-нибудь в океане. Ледовитый океан — кладбище и слава лучших мореплавателей. Здесь показаны миру исторические дрейфы «Фрама», «Тегетгофа», «Жапетты», здесь погибли Баренц, Седов, Шредер, Прончищев, Беринг, Франклин, Де-Лонг. Наряду с ними, как в каждом море, погибли другие смельчаки — смельчаки без имени и славы: им покоем — кипеть внесуетных просторов, весенние грохоты льда и хмурый камень земного края.

Однако нам нет основания бояться дрейфа. Хуже то, что на горизонте сплошные поля, и нам приходится все время разворачиваться, отходить в стороны, возвращаться и вновь искать свободные прогалны в море.

Утром нас развлекала охота на нерп. Стрелять пришлось против солнца. Конечно, нерп мы не подстрелили, хоть они и подплывали совсем близко. Вблизи их головы напоминают череп собаки, вымокшей в воде.

Старпом говорил мне сейчас, что скоро будет мыс Северный, если мы опять не застряем где-нибудь. Старпом — славный молодой капитан, командир лучших пароходов Дальнего Востока. Он всегда ровен, предупредителен, выдержан. Я смотрю на него — и вдруг вспоминаю другие воды и другие пароходы. Я вспоминаю Каму, Обь, берега Енисея, лепские палубы пароходов и капитанские мостики; капитаны-речники протягивают рупоры и, привалп-

вал к пристани, перегибаясь над перилами, зычно кричат сначала на буксирные баржи:

— Там, на руле, отдай в реку!

И затем во всю глотку стоящему здесь же на палубе:

— Подавай чалку!

В воздухе суматоха прибытия, платочки пассажиров и крепкая ругань, заглушаемая церихонскими рупорами:

— Там, на руле...

Я говорю об этом старпому — знает ли он всю неразбериху, разноречивую и беспечность таких положенных по расписанию рейсов, спокойных, как блеск домашнего самовара. Ведь здесь немножко покрепче?

— Ничего, — говорит он, — ничего. Здесь одно, там другое. Каждому свое, каждому свое.

На открытом лице его улыбка. Он идет сменять вахту.

Рыркарий — местное название мыса Северного.

Утро сегодня полно солнца, снега, синей воды и синего неба. Снявшись с якоря и с грохотом раздвигая льдины, мы прошли с мило и снова стали на якорь.

Впереди на холодном лебе, резко выдавшись в море, — мыс Северный. Он черен и гол на снегах.

Мы стоим уже вторые сутки. Спереди — льды и льды; с левого борта — тоже льды, за ними берег с плоской лагуной, пологие в песчано-зеленом и сиреневом цвету склоны и рыбы от снега холмы.

Эти сопки — те же сопки, что и на Камчатке, тугой лепкой своей похожие на куски густо замешенного теста. Над ними, над предгорьем, над долиной цветет голубая нежность неба — и на востоке, где большая сахарная гора, — длинные хвосты облаков.

Голо и вольно в просторах тундры. Трудные для упорной погги еропейца, тянут к себе песочно-сиреневые долины. Земля здесь, конечно, гола без деревьев, без кустов, в чугунных ветрах и зябкости отшлифованной льдами гальки.

Что делать и чем развлечь притупленное белыми полями внимание? Какие забавы найти в ковечных этих местах? Ведь надо сойти на берег, чтобы своими ногами опробовать его прочность; чтобы отыскать здесь человека, живущего своей жизнью и, значит, имеющего эту свою

псковпую пишу жизни, — чтобы не проехать чужим, не отгадавшим, не почувывшим плоти здешней земли. Но как принять эту голь, это полярное лето, эти безбрежные ветровые дали? Надо на берег, на берег!

И вот на шлюпках, лавируя и отталкиваясь средь льдин, мы идем на берег. Мы влезаем на сахарные голубые куски. И наконец ноги вновь находят ту же, с детства знакомую землю.

От лагуны пробивается и кроет песок легкий слой мхов. Редкая трава пучками, как в пустыне, выскакивает то тут, то там под ногами, вязнувшими в гальке. На нашем пути — пепелище старой стоянки, зимовка каких-то пловцов. Обломки плавника, позвонки китов, склянки от чернил, консервные банки, весло — дикие месяцы полярных зимовок.

Берег пустынен, гол, песчан. С моря тянет свежий ветер. С моря — дым парохода, холод льдин, спящие волны. А над песком, если присмотреться, колышется воздух, как над горящим срубом. И в сорока метрах от моря, от льдов, от снега цветет желтый полярный мак, карликовая ромашка и какой-то сиреневый, с густым и нежным запахом, цветок. Запах его до того слаб, что нужно прижать лепестки к самым ноздрям — тогда лишь открывается яркий и топкий дух цветка с края земли.

И сразу приходит на память, что где-то у нас сейчас лето, самое прекрасное, занежившееся лето, распаренное солнцем и ленивой теплотой вечеров, с запоздавшими ночами, в зное медунца. Но здесь нет тепла, нет ночи. Только память о солнце — этот несменяющий горизонты оранжевый и холодный шар; только память о цветах, угрюмая акварель жестокого лета — мыс Северный.

Мы идем добрых два часа. По лагуне, от мыса, качается нам навстречу байдара. Она причаливает к берегу. Выходят чукчи и в ожидании нас усаживаются в степенный кружок. Один из них, Рыптырген, знает русский язык. Он заикается и предлагает довести нас к мысу. Двое других — пожилые чукчи. Их носы перепачканы кровью; видимо, они только что ели сырое мясо. Но лицо четвертого парня, высокого и тонокго, стоит более длительного любования.

Имя его — Анчан. И, кроме прекрасного его имени, у него смуглая кожа, и шея словно из красного дерева, и большой лоб. Лоб его режет густая складка, и черная складка бровей ломается у горбатого носа. Камешное лицо

Анчапа неподвижно, но, не двигаясь, умает он остро видеть по сторонам: тогда выходят из невозмутимых глаз черные стрелы.

Такие лица видятся нам в призраках Золотой Орды; они должны быть в казанской шапке глуши, на картинах Васнецова — или, быть может, в Индии.

Парус поднят, и байдара несет нас к фактории Северного мыса. Над окровавленной черной на корме сидит Рыптырген.

— Это Кукерис, — говорит он, указывая на снежные сопки.

Вода в лагуне значительно светлее и зеленей, чем в море. Под бортом она свертывается в сизые волокна.

Кругом — на горах и в долине — ни человека. Редкие следы на песке говорят о том, что здесь прошли «промышленники» — люди, промысляющие песца, моржа, черпу, белого медведя — умку.

— Моржа в этом году добыли плохо, — говорит Рыптырген, — по морж есть, есть и умка во льдах.

Но есть, кроме морского зверя, и бурый медведь в сопках, и волк в тундре, и дикий олень. Есть среди чукчей в сторону материка крупные кочевники-оленеводы; иногда и сюда, к-мору, переваливают их тысячные стада, спасаясь от комара, и на зиму вновь укочевывают в горы. На Северном мысу в фактории Дальгосторга покупают они товар — чай, мануфактуру, табак, сахар, винчестеры и огнеприпасы и сдают свое олень сырье и пушнину.

Немногие чукчи живут рассеянно по побережью в таких же ярангах, как в Уэлене. И десяток таких же яранг ютится поблизости фактории. Селение на открытом месте и брошено от ветров под самый камень мыса. Мыс гол. Камень его похож на лаву. Подножия и бухта по льду. В деревянном доме, привезенном сюда в прошлые годы амерлканским судном, — фактория. Комнаты светлы и опрятны. Половину дома занимает лавка. В углу хрипит американскими фокстротами граммофон. Из окон видны море, льды, горы.

Приезжие европейцы здесь редкие гости. Нас встречают со всем радушием Севера. На столе самовар, единственное развлечение зимой и летом — чай.

И мы пьем этот кирпичный, всеобщий северный чай с рассыпчатым американским сахаром и консервированным молоком. Мы слушаем местные новости и отвечаем на вопросы.

— Вот так и живем, — говорит заведующий, — так и живем зиму, и весну, и лето. И вновь зиму. Да здесь ведь и лета нет. Десять месяцев лед и снег — зима. Днем работа — как падут чукчи, а вечером — по десять раз перечитали одни и те же книги. И вот — чай. Иногда ездим к чукчам или на охоту.

Простора здесь сколько хочешь. Все пути открыты. Запряжешь собачек и кати. Тоскливо? Да что значит — «тоскливо»? Разве жизнь не повсюду одинакова? Те же люди, те же дела. Солнца мало? Ну, это зависит от того, как принимать солнце. Я вот думаю, что вы никогда не видите его так, как мы. Ведь в октябре уж почь. И утром с лампой и днем с лампой — много керосина жжем! Ну, а зато как светать пачвет? Выйдешь на улицу — тридцать, двадцать градусов — ну, оттепель! И в воздухе испаривка такая. И первое солнце! Красота! Собака — и та понимает солнце. Так же и человек. А сейчас поглядите в окошко — двенадцать часов. Ночь, по-нашему, по-хабаровскому — п. солнце. А вы говорите — мало солнца! Нет, у нас хорошо.

Яранги так же скудны, как повсюду. На женщинах та же татуировка. Татуировка очень проста: женщины прошивают себе кожу подбородка и вдоль носа вымазанным в саже волосом; сажа оседает под кожей и дает рисунок. Это делается, по местным понятиям, для красоты — «чтобы мужики любили».

Одна из чукчапок совсем курчава — настоящая австралийка. У яранги мужчины чипят байдару. Над дымящимся щепьем синее эмалированный чайник. Маленькие ребятшки в грязных шкурах встречают и провожают нас, но подходя, впрочем, слишком близко: презжие здесь редки. У ног одного из них трется седая собака.

БАР

После мыса Биллингса, где на глазах за полтора-два часа забивало льдом все прогалины воды и в июле мы ходили по льду по океану, после Кекурного мыса с его башенками, столбами-кекурами и самого северного, Шелакского, после стоянок во льдах, холодных, погодливых дней — эта ночь на море, у бара Колымы, особенно хороша. Пепельно-глиняное море, серые, сизые чайки с опущенной на крыльях, серое небо, и у края его — оранжевое солнце.

Памяти нужно отыскать что-нибудь дико-пестрое, крикливое, как буффонада, чтобы, оттолкнувшись от него, как пловец от корпуса корабля, изведать покой этого моря, тишину облаков и угрюмую думу гористого берега.

Здесь удивительный примитив и бедность красок. Собственно говоря, всего четыре цвета: розовый, голубой, серый и белый. И если нагнуться над бортом и приглядеться к далям, видно, что море включило в себя серый и розовый цвета. Местами к нему примешивается голубой, и тогда море даст рябь.

А если взглянуть вверх, над головой — облака от смешанных на палитре голубой и белой красок; к северу они заметно сереют, спадая к голубо-белым льдам.

Юг розово-сер, и так же розово-серы склоны сползающих один за другим Каменного, Медвежьего и Столбового мысов.

Невозмутимое стекло океана повторяет фигуры облаков, груды плавника, и камни, и спущенные на воду катера и баржи. Оторвавшись от земли, от края ее, от последних, размытых временем хребтов, голых, как ребра, уходит эта гладь в фантазмагорические дали. Быть может, там вовсе нет полюса и звезды совсем уж не так далеки. Право, если бы не было солнца, их, наверное, можно было бы достать руками. Бесчисленные тысячи верст, забыв на короткое лето снега, пурги, свирепые ветры, норды, пронизывающие дома и играющие ледяными торосами, как школьники в перышки, нежатся в тишине.

Вероятно, такими ночами, любуясь, плыл зачарованный Дежнев, русский казак и мировой мореплаватель, открывать новые земли.

В воздухе перушистая ночь, солнце и теплота. Никто не спит на пароходе. Это бессонница, общая для всех полярных ночей. В кают-компании рыдают гавайские гитары. Смех и голоса. Кропотливый сорокадневный путь почти окончен. Пароход ждет лодмана из Нижне-Колымска: бар Колымы — эта скрытая опасная мель в устье реки — труден для сильно загруженного корабля. На вахте — ревизор. Для этой ночи, безусловно, спял он свою рыжую бороду, и на губах его — угловатая улыбка.

У бара пароход стоит пятые сутки; с зарей он пойдет через бар, бросив напрасное ожидание лодмана. Природа здесь вяла, медлительна, ленива. Видимо, она сказывается и на здешних людях, приучая их к лени и

нерасчетливости: каждый день простоя судна стоит государству многих и многих рублей.

Завтра вместо лоцмана станет для промера на мостике с правого борта с длинным лотом матрос. Весь он сколочен из брезента и мускулов. Он станет мерно раскачивать лот, опуская его до самой воды взад и вперед, потом сразу закинет руку и выбросит топкие кольца бечевки. И мощный, здоровый голос матроса, примеряясь к тишине утра, будет отсчитывать:

— Де-вят-над-цать...

— Во-семнад-цать...

— Сем-надцать...

И вахтенный повторит ему все названные цифры, добавляя к каждой: «Есть!»

И снова свернет лот:

— Пятнад-цать половппи...

И в машинном, поддавая пар, грянет вверх, к капитану, проворное:

— Есть, полный вперед!

Тогда пароход пройдет бар и ровными водами богатейшей реки прибудет к северному ее центру, к новым людям, укладу, селениям, жизни...

ЧЕЛОВЕК БЕЖИТ ПО СНЕГУ

ЧЕШУЙЧАТОЕ СЕРЕБРО

Перед нами река — это Колыма.

По берегу идет человек, низко припадая к земле.

Спина его вполоборота к реке, пятки вывернуты вдоль берега. В напряженных икрах, в сухой жерди фигуры, в отклоненной голове — нарастающий упор.

Плечо его мнет веревочный урез; и каждый раз, как он делает шаг вперед, пытаясь упасть па землю, урез оттягивает его назад и отворачивает плечо; и па десятую секунды человек висит в воздухе.

За ним, совсем у воды, медленно переступает девушка. Руки ее, раскачиваясь, собирают в кольца бесконечные сажени мокрой веревки; и при каждом взмахе от напряжения вздрагивают по-детски вздутый живот и голые под высоко подобранной юбкой колени.

Вместе с коленями ходят ноги в незатейливом танце, оставляя на береговом пле расплюснутые следы.

Это рыбак Иннокентий с дочкой своей Манькой.

Невод, недавно черпешпй поплавами у середины реки, быстро идет к берегу. Как рыба голова, показались двойные веревочные уши и первые сетки крыльев; руки перебирают тетиву — и гибкие тельца рыб, сверкая над головами рыбаков, летят в развалистый, прыганный к берегу карбас.

Дно застилается трепещущим, звонким, остро пахнущим серебром. Серебро растет, затопляет лодку.

С пригорка бежит Ванчурка, рыбацкий сын. Его загорелые ноги сверкают, как тельца рыб. Он тащит плетеную тальниковую корзину-пещеру; и пещера, так же как лодка, быстро наполняется серебром. Это первая сельдь — осеннее богатство низовой Колымы.

— Ну как, хозяин? — говорю я, подходя к рыбаку.

— Здоёво, здоёво, добыё пожаевать...

— Ну, как промышляете, промысел-то как?

— Нет!

— Ну, а эта рыба-то?

— Так это она по-пустому, бьют ты мой.

— Ну все же, вижу я, промысел у тебя неплох, Ипнокентий.

— Никого, совсем, бьют, никого, — возражает рыбак, — совсем маненько. Да вы проходите-е в дом-та! Ванчурка, веди-га, перевозай гостей в дом! Чайку стакайчик...

На голове Ипнокентия, как у всех мужчин, ситцевый платок. Ворот расстегнут. Крупный пот делает горбоносое лицо маслянистым и суровым. Он похож сейчас на пирата.

Недавно окончилась бессмелные солнечные дни, и до сих пор еще тянутся бессловатые медлительные ночи с молодыми, холодными, как свежий огурчик, зорями.

Ванчурка бежит впереди, указывая дорогу. Две маленькие деревянные юрты спрятаны в тальниковом кустарнике. Стены их густо-коричневы от глины. Вместо двери на отверстии в покатои стене оленья шкура.

Под кустами к кольям привязаны собаки. Большой котел опрокинут у самого входа в дом. Над плоской крышей на пряслах сушится мелко нарезанная мякоть рыбы — юкола.

Юрта Ипнокентия — летнее и зимнее его жилище — не больше двух квадратных саженой. Наклоненные стены суживают кверху свободную площадь. В углу отец рыбака чинит сети: на заимке уже готовятся к зимнему лову.

За чаем Ипнокентий рассказывает новости. Сейчас по всей дельте один разговор — сельдятка. Через месяц он сменится другим интересом — собаками. Рыба и собаки — это стронила попповой колымской жизни, с которых смотрит рыбак и охотник-пушик на свое настоящее благополучие.

Затоплены розовым мясом нельмы и муксупа листовничные погреба, желтеет в банках из-под керосина яптарь чирового и сигового жира, увешаны амбары вязками вяленых и копченых спшок и рыбьими костяками — сухим лакомством собачьего стола, пабиты хрупкими сельдячьими тушками деревянные срубы-ящички и ящички изо льда — сайбы, значит будет чем угостить с дороги промерзшего гостя, будут собаки легки и еплыны для объезда ловушек на серебряного песка, горпостая, лислицу и поездок в гости за сотни верст на подвижных, как тундрной ветер, полозьях собачьих нарт.

И будет радостен и уверен взор промышленника от сытого тепла и настойчивого труда дней рыбьего хода.

Но не каждый год изобилует рыбой, и не каждый дом богат сетями, неводами, ловушками на зверя, ружьями и силой здоровых рук. Жесткая конкуренция — борьба за ближайшее утро, суровость природы требуют непокладного упора; и особенно трудно все еще приходится бедняку.

Собаки отнимают добрые две трети рыбного улова, зимние снега, пурги и морозы берут почти девять месяцев года. Бедняк не может нанять рабочего, и держать двадцать — сорок собак, и ставить пасти по берегу Ледовитого моря.

Жизнь создала здесь свой круг, свою машину времени: чтобы иметь пищу и прокормить собак, нужна рыба, хороший улов требует хорошей снасти, стоящей значительных денег, а деньги можно достать от хорошего зимнего промысла пушницы. Но пушницу может добыть лишь тот, кто имеет хорошие нарты, собак. И снова начинается: для собак нужна рыба, для рыбы нужна снасть.

Как у полного сундука богач, — стоит бедняк у реки, чеканя свои мелкие монетки рыбьего серебра и не слыша за кругом своего затрепанного невода зычного голоса монетного двора.

Невод короток. Неводу не дойти до играющей быстрины, где вольным ходом кувыркается тяжелая, многолетняя рыба. Сети слабы и тощи. Урезы тонки и непрочны. Но каждый рыбак владеет разлапым карбасом-лодкой, по протянуть руку соседу, но соединить жидкие неводные сетки в сплошной общий невод, чтобы пойти на это проплывающее фарватером серебро, так же трудно, как трудно чужестранцу через газетные столбцы увидеть и понять незатейливую на вид мировую глубину наших дней.

И так же особняком, как запмка от запмкк, отдельными всходами, отдельными питомниками, часто с половинным и менее неводом, прорывают издревле осевшие здесь семьи с расточительнейшим гостеприимством и скупой замкнутостью в своем хозяйствовании. Впрочем, и здесь время делает шаги.

За столом, кроме меня, еще один молодой гость из Крепости, из Нижне-Колымска — пионер Селя. Якутская кровь прошла в его глаза косыми лучами. Волосы его коротко острижены и позволяют видеть всю прекрасно

развитую черепную коробку. Зимой Сеня учится во второй ступени в школе города Средне-Колымска, за пятьсот верст от дома. Он один из первых учеников своего класса и исключительно толковый переводчик с якутского языка. Рядом с ним сидит хозяйский Ванчурка с вишневым ртом и коричневым румянцем под лукавыми глазами; старшему сыну, хотя бы и десять лет, всегда уважение и место за столом, потому что десятилетний парнишка уже помощник в хозяйстве.

— Вот эти, Иннокентий, — говорю я, указывая на ребят, — обгонят тебя. Знатные рыбаки будут, да и ловить в сетку станут не только сельдятку. Им и дорога, им и будущее.

— Так и будет, — тянет Иннокентий, равнодушный к моим словам и ласковый к сыну. — Помощник ястет, помощник под стаять.

— Ну, а ты, Сеня, что скажешь?

Глаза Сени вспыхивают:

— А ероплан, Кюдаков говорил, будет, а?

— Ероплан? Да, пожалуй, уже в этом году не будет, поздно. Ну не печалься, прилетит на будущий.

— Так на будущий год взаправду прилетит?

— Взаправду, Сеня, взаправду.

У окна на скамье копошится дед. Рука быстро снует в волосяной плетенке сети. Молочно-голубые его глаза никогда не увидят этого полуфантастического, ожидаемого здесь всеми аэроплана таким, каким взлетает он в Сенином воображении.

Старый рыбак видит только сети, в которые уловлена была вся его неказистая трудовая жизнь.

— Сельдятка, сельдятка, што и нельма, што щокур, всего нынче меньше, всякой рыбы, взабыль говорю, всякой рыбы...

Река бросает под нос катера зеленые поляны приморской воды.

— От запада до стока, — говорит ламут лоцман, — здесь кочки — калтус, тундра; так она и пойдет до моря. Вот та гора — Пантелеихинская, двумя горбами, а за ней Камень по всему стоку и к Омолон-реке. Там, на Камне, ламуты и кочуют.

Камнем называют местные люди гористую местность востока — правый берег Колымы. Камень — это общее на-

звание гор. Во многих местах отроги этого Камня выходят на реку срезанными и обнаженными на ветрах породами.

По берегу, на восемьдесят верст вниз от Нижне-Колымска, к морю бегут чахлый лиственный лесок и тальник. Дальше они круто падают, переходя в низкорослый сринок — карликовую березку.

На больших пространствах одна от другой отмечают заимки свою промысловую жизнь развешанными на вешалах рядами пегов и одинаковыми картинами рыбацких будней.

Волочок, Ермолово, Ямка, Кресты, Каретово, Родника — все эти преимущественно русские селения почти бесшумно, дни и ночи, выезжают на сельдячьи тони на утлых, как рыбка, карбасах. Мужчины в засученных штанах и женщины в подобранных юбках повсюду выбрасывают из лодок не успешные просохнуть невода, гребут к середине реки и, не достигая ее, уходят к берегу. И за ними покорной тенью выходят на береговой песок отягченные рыбой невода.

Часто мальчишки десяти — двенадцати лет и девочки-подростки заменяют с успехом взрослых. В большинстве это пятчики, те рыбаки, что остаются на берегу и тянут береговой урез невода. Лица их серьезные и важны от возложенного на них занятия. Жалкие одеяния из ситца или ровдуги, подобия грубой оленьей замши, покрывают коричневые фигурки этих молодых рыбаков.

На разветвлении русла нас покидает ламут лоцман. Он садится в легчайшую «ветку» — лодку, шитую из тонких досок, — и ударами двуперого весла резко бросает ее вперед.

— Прощай на час, — машет он шапкой, — зимой увидимся в Походске.

Вечер приводит к новой заимке, вернее — к вешалам с неводами. Самой заимки не видно: ее скрывают тальники. Нужно пройти густую пахучую зелень, чтобы глазам предстала все та же единая рыбная идиллия осенней промысловой поры.

Рыба, рыба и рыба. Кажется, каждый сучок приспособлен здесь для промысла. Над плоскими крышами рубленых домов, на жердях между домами, под навесами и на солнце вялится колючая и сушеная рыба; кость для собак и мягкие, сочные спинки для людей.

Эта сушеная рыба — юкола — первое угощение при каждом чаепитии, заменяющее хлеб, дает легкий, шоколадный поздрн запах жира. Им пропитаны воздух, жилье, одежда. Но свежая, истекающая соком юкола исключительно нежна и прятна на вкус.

Наряду с ней, продетые на талынки по десять штук в кольцо, вывешиваются свежешойманые сельдядчи запасы. Мальчишки, вооруженные ножами, вместе с женщинами, присев на крыльце, продевают бесконечно десятки сельдядток на срезанные пучки талынка. За ними с неустанным вшманением следят собаки.

Подлжно, не только умы людей, но и собачье мышление покорены одним гипнотизером. Серебряный, порок розовато-зеленый, плавкий, упругий и прывыше всего скользкий — упустить время, не поймашь — металл властно владеет занжкой.

Доменные печи — его закопченные котлы — отливают приторпо-желтым жиром. Собачьи кормушки — выдолбленные стволы крупных деревьев — до краев наполнены ухой, которой позавидует не один бедняк; и двадцать отборных мохнатых едоков не перестают погружать в них свои острые разномастные морды.

Накормив собак и привязав их в тенн кустов, рыбаки идут высматривать рыбу. Занжка стоит при впадении озерной виски¹ в полноводную протоку реки. Виска всего саженей в двадцать — двадцать пять; и вся она поперек пересечена густым плетнем запора езом с двумя воротами, куда вставляет рыбак хитроумный мешок — мережу для рыбы, из которой выхода ей нет.

От откоса, цветущего редкой сиреновой полярной ромашкой и шиповником, карбас с двумя рыбаками одним взмахом доходит до ворот. Рыбак-старик проворно поднимает легкие жерди мережи, и почти черный от густоты узел с рыбой падает, сверкая, на дно карбаса.

Здесь рыба значительно крупнее сельдядтки: преимущественно чир — одна из самых вкусных и жирных озерных рыб полярной Колымы.

Седой рыболов опускает руки в студенистую, переливающуюся цветами воду и потряхивает головой.

— Добрый ез мы соорудили в попешнем году, поглядим-та еще перетягу.

¹ Виска — речка, вытекающая из озера.

Перетяга — длинная сеть, как павод, и пмля свое носит она потому, что надлежит ей перетягивать речки с берега до берега, подставляя свои прядные ячейки под верткие головы плывущей па нее рыбы.

Перетяга — хищническое орудие, истребляющее рыбные запасы и обесценивающее водоемы. Но падо вспомнить о том, что на одного человека приходится в этом изумительнейшем округе по сто километров земли, чтобы дать спокойно радоваться глазам новым и новым пудам рыбы, играющей в ячее, и в корзинах, и в грубых рыбацких руках.

— А знаешь, — говорит мне рыбак, провожая мепл в избу, — дедушка-та, медведь, тоже рыбу уважает. В прошлом годе он перетягу лапами выбрал, рыбкой тешился.

— А собаки что ж?

— Собаки прошлой год тошпие были, один коски¹, рыба плохо шла. Они не слыхали, знать. Да што собаки! Этот старик, бьят ты мой, башковатый. В Байкове-та в амбар забрался, а собаки па него. Так он собакам рыбу разбрасывает, штобы его не трогали — не мешали, зпачить. Ну, поел и ушел, значить...

— Что ж ты его, старик, не убил? Ты ж хороший охотник.

— Дедушку-та? Што ты, бьят мой, я его не трогаю; он сам по себе, я сам. За што мне его обижать!

Голубой почью спит берег. Тишина необъемлема. Воздух медвянен, и хрусталь неба такой тонкий, что можно словом разбить его звонкую стройку. В двухстах саженьях вверх неводят рыбаки. Это соседи седого деда.

На вешалах покоятся невода с деревянными тарелочками поплавов. С виски налетает ветер. Он ударяет ло вешалам, и тарелочки поплавов начинают постукивать друг о дружку.

ОСЕННЯЯ ЧАСТУШКА

Река подмывает берег, и берег, вздымаясь над ней, как конь, рушится в мутные воды. Вместе с ним рушится тальник, любовный тальник, вегатейливая сеть колымской любви.

С моря идет осенняя тугая, мутная волна.

¹ Коски — кости (местное).

На берегу — девчьи платочки, алые завитки частушки, баян, смех. Волна с моря несет белые завитки поны; она бьет в сходни и липкими пластинами ползет к берегу, к девичьим голосам, баяпу...

Кудло, миленький, проехал?
Дараган, по воду.
Не простынь смотри, милый,
По такому холоду...

Бондарное царство бочек, мучные тюки, скрытые от непогоды брезентом, сараи сквозняком на все четыре стороны, и соломинка мачты — под серым и набухшим небом сутулится Нижне-Колымск. Бренчат поплава неводо. Ходит по улицам Нижне-Колымска баян. Сегодня нет промысла: вода прибывает. Девчата стоят у сходней. Волна бросает под ноги широкие пригоршни воды. Тяжелым стоном дрожат мостки. Девчата с криком и смехом бегут на берег.

Замочу я сетку редку,
Приведу концы назад,
Возьму муза комсомольца,
Никаму не угадать...

Баян уходит все дальше в глубь селения. За ним бежит меж домов курчавая частушка:

Приходи, мой корабель,
Нечева бояца...

Голоса гаснут, слабеют. Я уже не слышу ясной оторочки строки. Я только догадываюсь по памяти:

Паля, мамн дома нет...

И еще дальше, совсем на краю села:

Будим человаца...

Я смотрю на берег, на облака, на хмурую Колыму.

Нижне-Колымск, почти на самом расщеплении богатых протоков, встает неоспоримым центром понизовой Колымы. Вся дельта тяготеет к его факториям, к его фельдшерскому пункту, к его административной и культурной вышке.

Собственно говоря, это маленькое село, с тремя-четырьмя десятками домов, с отживающей свой век церковью, с нарождающимся клубом и зачатками общестственности. Но здесь это почти город.

В школе вместе с первостепенной грамотой расцветают всеелые обои, все в мелких цветах. Шинель милиционера, сельсовет, плакат о спектакле и общем собрании по выборам в окружной съезд, постовой у складов пушныны, и качающееся на столбе объявление:

*После десяти часов вечера
на улицах Нижне-Колымска
встрещаетца всякое сквернословие*

и клубный, пенный перебойми баян:

Эх, мвлочка моя,
Како ласкова,
Из кармапа монпасье
Павы-тас-кивала...

Да, каждому пришельцу из тундр западной и восточной, с кочки, с висок, со скудных заимок, со всей широкой поднебесной нижнеколымской седухи — и этот плакат, охраняющий тишину, и околыш полуграмотного милиционера, и копченая на свече печать сельсовета — все говорит: здесь центр, ось, Крепость.

Но, кроме местной власти, культуры, просвещения, кроме десятков плоскокрышних рубленых домов, кроме отживающей церкви, кроме спектаклей — Нижне-Колымск своего рода порт.

Сюда приходят ежегодно пароход из Владивостока и шхуны из Америки с товарам¹ на весь год, и отсюда увозят они ценнейшую рухлядь — песка, белого медведя, белку, горностая, лисицу, вместе с эмалевыми рогами мамонтовых клыков.

И к пароходу на легчайших ветках и карбасах окрест выходят запмчане за мукой, новостями и работой. Сходни врезаются в реку и дрожат под многими торбасами. Мешки, ящики, тюки громоздятся на берегу, сортируются и плывут на баржах и кунгасах вверх, против полноводной стихии реки, на длинных буксирных канатах, подхваченных жалким, вечно ломающимся катерком.

Лица грузчиков, выколачивающих здесь нарядные куши за короткое, хмурое нижнеколымское лето, несут на себе отпечаток разномастных племен и кровей, пестрят причудливой экзотикой Севера.

¹ Колыма еще в 1929 году снабжалась частично американскими товарами и продуктами, частично — отечественными.

Все они под ситцевыми платками, передко в сетках от комаров — этого июльского и августовского бича, в рондужных или ситцевых рубашках, в торбасах. В большинстве они на вид слабоспльны.

— На рыбке, все на рыбке мы, вот потому такле и слабые. Ваши-та, расийские, на мясе да на молочке. А мы на рыбке.

Но, слабые на вид, они грузят товары круглыми днями пароходных стоянок и стоянок катеров, плавающих вверх, к Средне-Колымску, окружному центру и городу с семьями жителей. И, глядя на них, и на сходни, и на пароход, врезанный в стекло воды, ходят по берегу девки с подчекивающими песенками. И им смеются парии, весело скидывая на потрескавшуюся землю мешки.

Дайте ходу пароходу,
Распустите паруса,
Я люблю вашу пароду
За кудрявы валаса...

Язык всего попповья мягок. Детский смягчающий лепет вплетает в него нежные интонации. Согласные искажаются против всякого здравого смысла. Старые слова, изжитые веками, взрывают тишину колымского воздуха. Здесь не говорят, а поют на растянутых тончайших выдыхах. Вычурность слога так же естественна, как вычурность холодного, не сменяющегося летом, круглосуточного солнца или зпмой — расшитого лентами малахая.

Сапка — болый кондырек,
Ваяя, муйко кнцелек!..

Попробуйте поговорить с девушкой, которой принадлежит эта частушка.

- Чья ты, девочка, будешь-то?
- Я-та-а?..
- Ну, ну — ты...
- Чья-та-а?
- Ну да, да, чья будешь-то?
- Буду-та?
- Ну да, будешь чья, говорю. Имя-то твое как?
- Имя-та?
- Ну, имечко, имечко?..
- А затем тебе знать-та?
- Да как же, без имечка-то неудобно.
- Ницево, шолнице тоже без иметько ходить...

— Ну, пу, говори уж: Панька, что ли?

— Па-а-анька — неть! Панька Шкулевска! Налетова я...

— Так ты Дуня, значит?

— Дуня-я-яшка, грех тебе! Дуняшка Петки Березкина!

«Петке Березкину», несмотря на фамильярное «Петка», пятьдесят с лишним лет.

— Так ты Василия, что ли, дочка-то?

— Э...

— Мапя?!

— Неть, Мапя — моя пиянька. Пелага-а.

— Пела-а-га, — тяну я, успокоившись и насладившись разговором, — Пелага!..

— Э-э, — подтверждает Пелага.

«Э» — это значит «да»; на Колыме нет утверждения «да». Оно заменено многосторонним «э». «Э» колеблется от смысловых интонаций, удлинняется в удивлении, отсекает коротким отрывком негодование или погибается крючком вопроса, как будто говоря: «Да неужели?».

Слова живут здесь своим смыслом, своей автономией, своим разгоном несется пошизовая речь.

— Я-от вас спрошу: затем небо зимой горить?

Небесные пожары северных сияний только еще начинают выбрасывать в небесные моря перья своих лучей. На морде изогнутый хвост павлиньего наряда. Острием он воткнул в крайнюю избу села.

Пелага, паверное, не поняла моих объяснений. Ей, с ее узким лбом и скуластыми щеками, проще и веселее слушать «вяселые» разговоры.

— Что ж, ты замуж, говорят, выходишь?

— Неть.

— А эта тетка у вас в доме кто ж будет?

— Економка дяди Коши.

— Економка! Что ж это значит — економка?

— Ну, стряпка!

— Стряпка? Это еще что?

— А ну вас! Ну, стряпка, а не эспа, значить.

— Не жена, вон оно. А мальчик у вас чей будет, твой, что ли?

— Грех! — отворачивает Пелага румяные губы. — Нянькин мальчик.

Я уже знаю, что значит «нянькин». Нянькой называет младшая сестра старшую.

- Значит, сестрин. А отец ребенка уехал, что ли?
- Неть.
- Умер?
- Не-еть.
- Так где ж он?
- Не-е-еть.
- Так как же: «неть» да «неть»?..
- Да отца с первого раза не было.

Лицо Пелаги обычно строго, и обычно лукавы ее глаза. Ноги ее в узеньких расшитых калипниках припотыивают на месте:

Полдаски впа
 На полдаски воды!
 Говорила я милому,
 Стоб поаще ходил...

Опять частушки, опять шум воды с реки, ветер и на угле — баян.

В воскресенье вечером
 Лампадка горела,
 Посто, мпый, ве присол,
 Я тебе велела...

Пелага смеется мне в лицо широким смехом.

Камувист, камувист,
 Серебряная блуска,
 А со мной любовь восты —
 Эта ве иглузка...

В тальниках собаки заводят надрывным голосом свои хоровые песни. Они предчувствуют близкую зиму.

Река отступила. С трудом пристают сейчас к мостикам на листовничных козлах кунгасы последнего каравана, пришедшего сверху.

Промысел рыбы затих. Неводьба кончена. Главная сельдь прошла. Отдельные хозяйства ставят поперек реки придевые сетки невода; и в эти неводные сетки объячествается последняя рыба.

Вода холодна. Фигуры рыбаков скрючены. Босые ноги и голые руки сизы. По берегу ветер режет тальник. Но утро свежо и прекрасно.

В такое утро хорошо пройти па озеро, за село. Мелкий лесок и тальники подходят к нему полукругом. За ними — кочкарник, калтус, болотца, тундра.

За эти дни озеро опустело, как дача, брошенная дачниками. Боярышник повял вперемежку с опавшим «ши-

пезпиком» — шиповником. Морковный палет лежит на лиственнице; пахнут сыростью прибитые морозным утренником тальники; и только ершик рассыпался мелкими бурами листьев среди лиственницы, тальника, боярышника.

На этом озере всегда бывают утки; на это озеро всегда ходят жители Нижне-Колымска охотиться — баловаться. Утка здесь пуганая, обойти ее трудно; нужно, пригибаясь, прокрадываться сквозь тальник.

Тропинки пробиты у берега, за тальником и шиповником. В осенней жаровне цесба плавится сизое облако.

Под самыми ногами прорезывает воздух пара крыльев. За ними вторая пара, еще и еще. Инстинкт толкает колени к траве. Я почти ложусь и вижу в двадцати шагах табунок уток. Их называют здесь острохвостками.

Табунок кружит над водой, приподымается и с раската чуть пенит воду. Кажется, с полетом птиц пригнал ветер горячий воздух. Удары в груди тяжелеют, и ноги сами крадутся к добыче — кто не знает неповторимой этой человеческой страсти охоты?

В самый удар ружья утки взлетают дружно влево от кругов дробь; но одна из них кувыркается, ныряет и вновь показывается на воде. Она торопится к берегу, к осоке. И рука спешит помешать ее ходу: рука торопится сменить патрон, и в то же время глаз нащупывает место, куда бы вернее положить новую дробь. Но острохвостка уже в осоке — дробь летит мимо. За ней — через голову, через кусты, через осоку — вновь свистят крылья. Плачущий крик самца-селезня проносится к осоке: селезень ищет самку, вписывая широкие круги в сизое небо и розоватую гладь озера. Он возвращается несколько раз и наконец садится у края осоки.

Кучный пучок небольших фонтанчиков, подобных дождевым пупырышкам-гусарам в лужах воды, перекрывает его с обеих сторон. Он сразу поворачивается вверх брюхом и, оставляя голову под водой, быстро бьет перепончатыми лапами заколыхнувшуюся воду. Я бегу к берегу, к осоке.

Селезень жирен и пестр по окраске. Его тяжелая белопегая грудь пробита у самого крыла. Но самки нигде нет.

Исхожены осока, берег, кочкарник вокруг приметного места. Самки нигде нет. С другого берега на выстрел бежит учительский сыншкка. С ним вместе повторяем мы поиски. Он бежит совсем как охотничья собака, то взад, то вперед, как будто нюхом пытаюсь отыскать пропавшую

утку. Что-то подсказывает ему наконец уйти в сторону от берега: в ста шагах от осоки находит он острохвостку. У ней перебита нога и поломаны крылья.

— Здесь она, — кричит он, — здесь! Здорово вы ее, мольче¹, переломана она вся.

Круглые веснушчатые ноздри мальчонки дрожат. Охотничья страсть передается ему.

Мы идем с озера вместе, разговаривая об охоте. Охота — главнейшее занятие, промысел и развлечение колымчан. Вчера вернулся с охоты на лося сын председателя сельсовета. Я видел огромные ноги с расщепленным копытцем и морду лося, в полтора раза больше лошадиной.

Эти исполинские лоси, сохатые, по всей вероятности — родичи американских лосей, нередко достигают сорока пудов веса. Летом их бьют случайно, в речках и протоках, куда скрывается лось от комара. На воде лося может убить даже мальчик; на воде на лося можно сесть верхом — он безопасен. Достаточно пожом перебить его шею — «лен», и полтоны мяса с огромными пластинами рогов беспомощно падают к ногам охотника.

Гораздо труднее догонять сохатого по насту весной, выслеживать днями с собакой и, наконец, встречаться в лесу с глазу на глаз. Особенно опасен лось осенью, когда он ходит за самкой, «отипмается» — дерется с другими соперниками. Остановленный собаками, он бросается на человека, неся на него всю тяжесть своей громады. Он норовит смять его ударом ноги или рогов. Но охотник знает, в чем спасение: нужно резко броситься в сторону.

Тогда зверь пронесется мимо. Но нужно успеть еще попасть припасенной пулей в горячее лосиное сердце.

Не раз приходилось удивляться, какими ружьями добывает охотник себе пищу. В большом ходу и сейчас еще кремневые ружья. У многих из них нет обычного затворного спуска. Вместо собачки в ложе вставлен лук. Тетива его сбивает кремневый курок. Кремневый курок дает искру, загорается трут, от него — порох на полке, и только от вспышки пороха взрывается забитый шомполом дульный заряд.

¹ Мольче — местное слово, заменяющее: «просто», «так себя», «так».

Эти кремневки на железных подставках-ножках хранятся населением с давних пор, и едва ли не от времен Петра Первого. Кроме охоты ружьем, сохотого добывает охотник самострелом-луком, ставя лук на зпмней тропе.

— Товарищ, — встречает нас у первой избы Дмитрий, — охотийся? Сказывай!

— Да ничего, Ребров, две утки.

— Во, бьят, с добытей тебя. Страсть хорошо па охоте. Зпасшь — на душе так вежливо бываеть, когда птица убиваеться.

— Ка-а-к — да! — подхватывает паренек.

Дмитрий — совсем особецный мужик. Он могильщик. У Дмитрия всего две сетки и поржавелое ружье. Но основная работа Дмитрия, профессия, так сказать, — земляная работа. Рытье могил.

Родом Дмитрий с горных Аиюев, из глуши гористых пустынь, из вымершего племени чуванцев. Он среднего роста, за пятьдесят лет, слегка сутул.

Лицо Дмитрия выбеленное, с мелкими прожилками; и руки высушены землей. Глаза его водянисто-болотны. Лоб покат. Голова лыса, с мочальной прядью жидких и седяющих к макушке волос.

Профессия наложила на Реброва жесткий свой отпечаток. Земля высушила, выбелила, истомила тело Реброва. Земляной дух прошел сквозь его кожу: лицо землисто, руки, глаза; под ногтями желтоватая песочная, тундриная няща;¹ пальцы согнуты крючком — для того, чтобы рыть землю, рыть исконную приемницу, мать-землю, ту, где деды и «прах-деды»², где над могилою возлюбленной на кресте деревянная уточка из жалости к почившей душе, где за кладбищенской оградой баян:

Моя милка умир-ла-а,
Выраю могилу я...

Да, земля у Реброва не только прошла сквозь кожу желтизной сока — она засыпала алые чувства мерзлой тяжестью; и теперь — чужие человечьи глаза, смех девчат, зимняя страсть каюрщиков-гонщиков, баян, солнечное утро, вечера:

Па Падгорнай я пду,
Сварачю валса...

¹ Няща — пл. земля.

² Прах-деды — прадеды (местное).

флаги в честь Первого мая, «Зенотдел» — вся наливающаяся кругом зеленым соком жизнь стоит перед Дмитрием за густой песочной, земляной стеной. За ней видит Дмитрий Ребров только мир дней и покой земли.

Небо здесь особенно теперь хорошо. Купол неба бесконечно велик, почти громоздок; и звезды бесконечно многи и далеки. На порде двумя дугами лежит сияние. Потом дуги ломаются, и языки уходят в небо. Днем падал снег; ночь нависает, совсем как в частушке, — «черными бровями». У клуба звенят голоса:

- Ну, что же, Митя, значит, ты комсомолец!
- Молодчина!
- Ну что же, сыграй что-нибудь...
- Ну что же...

На Пад-
горнай я иду,

Сварачю палева,
К маси миленькой зайду,
Каму какое дело...

— Правильно!

На Пад-
горнай я иду,

Собаки лают на ходу,
Собаки лают на ходу,
Сам не знаю почему...

— Здорово, а ну еще!

Пелагеи голос крикливо рассекает ночь:

Девачки, беллочки,
Где вы падмачилися...

Ее подхватывают другие девчата; и еще задорнее:

Да мы у папи в огороде
Молочком облилися...

Увы, в Нижне-Колымске нет огородов, но дело не в огородах — в песне, в голосах, в ночи и, главное, — в молодости.

В Нижне-Колымске есть только тальпички, куда ходят гулять и любить веселые молодые парни и девчата.

Может быть, эти тальнички и есть огороды. Но дело опять-таки не в огородах и тальничках. Главное — молодость.

Ты моя, ты моя,
Ты моя и будешь,
Я уеду на войну,
Ты меня забудешь...

И опять — никто никогда не уходит отсюда па войну. Здесь пет ни мобилизации, ни повинностей. Только в годы гражданской войны отзвуком героических битв вспыхивала Колыма. Эти годы сменяет теперь новая явь, простая и яркая — такая же, как красный флажок на сельсовете. Но дело опять-таки не в песне:

Но ходити, девки, замуж,
Замужем невесело,
Одна девка вышла замуж,
Голову наве-си-ла...

Яблонькой отряхает небо серебряные звезды. На крыльце клуба качается фонарь. Культкомиссия убирает скамьи в закрытом клубе: сегодняшней спектакль и вечер самодеятельности окончены. Артисты и публика расходятся по домам.

Артисты — те же сельчане, что и публика; и самое интересное в спектакле — узнать под гримом и накладными усами предпрофсовета или под рясой, взятой из церкви на вечер, — Кондакова, Березкина или Паньку, Пелагу, Манюшу. «Октябрины» — это только пьеса, с трудом доходящая до сердец немногих, но вот отгадать, что священника играет Березкин, а куму — Брусенина или Кондакова, — да в этом сокрыт острейший интерес каждого зрительского сердца.

И потом: разве не смешно видеть, что Ванчурка, курносый-та, вдруг стал рыжим и с длинным носной; а у Кондакова усищи, как у бывшего двадцать лет назад урядника. Да, вот это — милое дело!

Ветер гонит с реки легкую сырость, но воздух достаточно чист. В такую ночь после самодеятельного спектакля как хорошо схватить крепкую податливую руку, нащупать угловатые плечи, смеющийся рот. Как занятно услышать те слова, что говорят здесь девчата другим парням:

— Оставь! Что ты, безумец, делаешь! Уттуль галиться будуть...

И, придя домой, принимая от хозяйки самовар, вдыхать вместе с паром протяжные певучие словечки:

— Ну, ка-ак гуляли-и? Весела ли-и? Печечку-у подтапи-и-ть? Клопи-та вас не беспокояю-ю-ть?.. Чай, устали севодня-я?..

И наутро слышать от соседа:

— Ну, как гуляли вчера?.. Заходил вечером — да вас не было...

Как молодо пить не отпущенный на душу, певзвешенный, ненормированный воздух тундры, ледовитого побережья моря. Как темно небо и далеки звезды.

...Еще раз за кирпичами многих месяцев вижу я лицо Пелаген. Ее румяные щски сейчас лопнут от озорства и смеха:

Жаль, жаль, жаль
Каревские глазки...

Ее полные губы, наверное, так же холодны, как северная брусника:

Из-за вас меня бравят,
Держат на привалки...

Позади у каждого — упорство дней, ошибки, взлеты, труд, трудные и первые ступени новой эры, утраты, бесчисленные лица; словом — годы.

Пелага! Как хорошо быть таким молодым и беспечным.

На огонь моего окна заходит Дмитрий.

— Ну, что скажешь? С чем пришел?

— Да так. Сам пришел! Шел — и зашел.

— Ну ладно, садись, будем разговаривать.

Река стала. Сейчас такое время, что нпкуда ни пройти, ни проехать. Запах замороженного тальника и скучного первозимнего снега щекочет поздри. С первым путем нужно будет податься на север. С первым путем на север, в пустующие летом деревушки, на Кабачково, на Сухарную, двинут на собаках заядлые рыбаки свои сети на подледный лов крупнейшей рыбы — нельмы, муксуна, омуля.

— Так, значит, — говорит мой каюрщик, — как дорога ляжет, так и двинемся.

— Двинемся.

— Спизу ешо пикаво неть. Та-акь, может, рыбки нада?..

— Спасибо, не нужно.

— Значить, эта вы все нашу жпсь пзучаете, как живем, хозяйничаем?

— Да, да, милый...

— А я вот-от вас спрочю: зачем эта на книсках — Государштвенное иждательштво печатають?

— Эх, Ванчура, да ведь это значит, что кпигу-то печатаю не я, не ты, не Березкин какой, а царод, все госу-дарство, ну, значит, это кпига общая как бы...

— Забыль говоришь, дело говоришь! Понпмаю. Да у нас-та старики думают не так. Я-та знаю, а они гово-рять: это вы от нас скрываете, что царя неть. Вот гово-рите, что неть, а на кпижке-та напечатана — Го-шу-дар-штвен-ное, значить — он есь. Я-та знаю, што неть, а они не верять! Вот я и хотю от вас спрочить, зачем же печатають — Государштвенное?

Кудри у Ванчурки рыжие. Голос в песне высок и нежен. Ванчура — один из лучших рыбаков-беднячков. Весь дом держит он на своих руках. Летом и осенью грузит кунгасы и баржи. Зпмой ставит «печатные сажени» дров на крепеньких своих собачках. Рыбачит. Стапливает факторпи, возит торговые грузы на заимки. Голова у Ванчурки толковая — ему и разъяснить просто. В ниш-кой избе бегают два остроглазых парпшкп.

— Вот, Ваня, твое и наше — республиканское изда-тельство!

Крут угор. Нарта летит под него стремглав; и впереди вскачь летят шесть белошерстных собак; им надо обогнать парту, чтобы она не прибила их.

В первый раз сосед мой выехал на высмотр. К отме-лп — к осередышу, где сквозь ровный лед — совсем близко дно, поставлены уды на налпма и чуть поодаль — сети. Длпнной пешней, напмпнающей пкпу, пробивает рыбак «пролубь» и тянет уду.

Почти метровый жирный налпм падает и бьется на льду. На глазах он скрючивается и обмерзает. Рыбак бьет его по голове палкой и идет к сетям. Они пропущены на волосяном прогоне-веревке подо льдом. Ветер дует вдоль реки, сгоняя снег. Лед гладок и скользок — настоящий каток. Под ним сквозь прозрачную синеву видна сеть.

Рыбак очищает прорубь и по ходу сети, еще не вытащив, говорит:

— Никого! Нейдет рыба.

Собаки лежат у нарты, ожидая ездоков. Неожиданный шум, подобный полету крупного сваряда, прорезывает воздух. Собаки привстают.

— Что это, папаша?

— Нитево. Лед осседасть. Вода уходит, лед осседасть, трешить. По осени всегда так. И зимой бывает.

— Страстной человек был еще такой — и когда он помер, священник говорит: «Надо его скорее похоронить, чтобы не встал». И пока не похоронил, все проклинал его и все плевал на него, чтобы не встал...

— А зачем же плевать на человека — неудобно.

— А так надо: проклинал, значит. Тоже раньше, если разводиться. Скажет батюшка: «Приди в церковь». Положит ищц жену на левом притворе, а мужа на правом и читает над ними и плюет — развенчивает, значит, — то на одну, то на другого. А вот ты послушай. В третьем году я копать могилу ходил — так покойница все вставала. Не-хорошая была женщина. Все, бывало, так сделает — у кого женщина беременна, вырвет все из живота и всунет какую-нибудь пакость, вепик или еще что. Только положим ее в гроб, уйдем в другой дом — она зашумит, приходим — она на полу лежит мертвая. Потом сидим, смотрим, она на нас идет. Бросили мы в нее полепом — упала. Подошли понемногу — мертвая лежит. Закопали скорее и кол вбили, чтобы не вставала, не тревожила живых людей. А вот ты послушай, я тебе скажу — знаю я, когда кто помирает, потому что я до земли дошел. Знаю я, когда земля приспела, значит. Страсть меня такая берет, как кто помирать начнет, как лихорадка какая меня трясет, и знаю — назавтра придут меня звать. Я уже это наверно знаю — значит, могилу рыть буду. Потому что — дошел до земли. И столько я могил нарыл, что мне надоело, не хочу больше...

Если б не семья — ушел бы золото копать, на Анюю есть место, все дно ночью в реке горит, светится. А с покойника разве что возьмешь?.. Да и как я с него возьму? С ним сидел вместе, как же с вами...

Лампа льет запах керосина и желтый полукруг света; по комнате в углы бегут тени. За окном воют томитель-

лым голосом собаки. Корона северного сияния ломается над пазами.

— Ну, и говоришь же ты вещи, Дмитрий, все нерядные. Прямо слушать тоскливо. Скажи-ка лучше, к какому времени приурочиваешь ты главный ход сельдятки? Ты старик, должен хорошо знать.

— К Семенову дню приворачивает густая сельдятка, к Семенову, его уж из годов так, сколько здесь живу. А вот ты послушай, я тебе скажу...

Земля стала перед Дмитрием несокрушимой стеной. Черной глыбой зашла она в большую его голову, смешивая крепкий рассудок с суеверным страхом к тому, что непостижимым постоянно является Дмитрию — смертью. И каждый, кто стремится к обратному, — ищет выхода, ищет света, солнца, простора, движения. Я перестаю слушать его рассказы, эти небылицы с вешкам; к тому же я хочу видеть живых людей.

Дмитрий Ребров, быть может, переживает многих, но жизнь его давно стоит по ту сторону черты.

Я провожаю Дмитрия до ручейка. Одно окно еще горит в селе. Я узнаю в нем окно избы председательницы женотдела. Кроме женотдельских дел, она пишет еще стихи. У нее есть частушки, злободневные четверостишия и нежнейшая лирика:

васи гласки
соверсепства,
гушки васи однал...

Это единственная, кажется, поэтесса в Нижне-Колымске. Слюнявя химический карандаш, может быть выводит она сейчас старательные каракули о тончайшем чувстве человеческого сердца. «Одпал» у каждого, копейно, свой, но что поделаты!

На то и дар природы —
без любви невозможно жить.

Потухло и это окно. Нижне-Колымск расплзается в глухую ночь. Завтра я покидаю его на время — «ша час», как говорят здесь.

ПОХОДСК

Собаки влегла в алыкп; ¹ парта пдет бесшумно по синим снегам. Два часа пополудни. Сумерек полярной ночи на чалыхх кусточках, на реке, на обрывах се берегов.

Плохая сейчас дорога. Мало снега, открытый лед сне- и зелено-черен. Ветер сносит снег, обнажая реку, как большой синий горб. Собаки скользят и падают на лед. Рядом с партой бежит человек. Это каюрщик-ямщик, погонщик собак.

Последние попутные заимки к Походску до крайности бедны. В Подсучьей встречает путника юрта настолько маленькая, что ее можно перепрыгнуть поперек и по диагонали. Низкие сенигибают человеческий рост вдвое. Люди спдят на полу и на самодельных табуретах, без муки, без жиров, на одной рыбке и часе. Ребятинки одеты в шкуры вымятой оленины. Кусок сахара, грошовая конфета для них праздник; по гостеприимство и горячий чай повсюду встретят приезжего.

Походск выходит на угор немногими углами маленьких домишек. Они ложатся по обе стороны устья Походской виски, сбегаясь тесно друг к другу, как бы сторонясь, по старинной памяти тупдры — памяти войн, походов, сожженных крепостей.

Второй по величине после Нижне-Колымска п один из самых северных постоянных жилых пунктов, Походск близко подходит к Западной тундре, к кочевникам-оленоводам, значительно обедневшим за годы гражданской войны. Восточная тундра, через протоки Колымы, раскидывает на восток широкие пространства тундряных и каменных просторов с крупным оленеводством.

В Походске три фактора, так что на каждые десять домов приходится по одной лавке, нередко пустующей из-за отсутствия товаров и соперничающей по заготовке пушнины. Весь северный край — это поистине край земли, припаянной к тундряным кочкам, льдинам моря, метелям, с десятком заимок, наполовину приобщенных к культуре, завезенной сюда восточными пароходами через Берингов пролив и Тихий океан, — поставщик полярной пушнины, и прежде всего песка.

Белого, пушистого, с высоким спяным ворсом, его добывают капканами, старинными ловушками — клепцами,

¹ Алыкп — собачья упряжь, шлея (местное).

весьма напоминающими древнейшие машины для бросания камней, и примитивным сооружением — пастью, в которой давит песка тяжелое бревно.

Если в Нижне-Колымске есть семьи без капкана и клепцы, то каждый дом Походска непременно ставит ловушки или бросает отраву, стрихнин.

Кривой сетью расставлены пасты во все стороны от Походска, вплоть до берегов моря и на сотни верст на восток, к Чаунскому побережью; бедняк промышляет песка поближе; середняк уходит дальше от людей к морю, за десятки верст, и лишь зажиточный хозяин может вести свое пастничное дело в сотнях верст от домов, в дургах и снегах ледяного побережья.

Высмотр пастей, впрочем, очень редок. Всего три-четыре раза выезжают пастничники на пасты, частью самостоятельно, частью в компании, на легких нартах.

Ночуют в палатках на воле — на сендухе, увозя с собой на месячные переходы собачий корм и незатейливый провиант; пережидают полярные пурги; поднимают упавшие пасты; выбирают пушнину и вповь «прокидывают» назад бесчисленные собаки версты.

Промысел прошлого года особенно хорош и, несмотря на редкий высмотр, на порчу другим зверем попавшего и не вынутого вовремя из пасты песка, добыча покрыла все надежды: песок шел с моря гуртом, пабегом исключительной мощности.

Факторы справляли медовые месяцы головокружительных заготовок. Шкурки выворачивались на деревянных самоделках-пялах в любой избушко, растягивались, сверкали пушистой белизной, текли потоком на прилавок. Нарты, крепко груженые, уходили в Нижне-Колымск, где сталкивались потоки всего понизовья в белое пушистое песцовое море пушных амбаров.

Этот год поначалу уступает прошлому, но и сейчас уже в амбарушках серебрятся песцовые шкуры и подсыхают на пялах свежие шкурки первых добыч.

Летом за Походском — только ершик, карликовая береза, красная кислица-смородина, продолговатая розовая дикуша, голубель и тундра. Тундра здесь господствующая, безмерная, непреодолима всюду, во все концы; отойдешь на десять сажень — сзади Походск, спереди и кругом — необозримая, холмистая, ершиковая тундра. Озера кружат по ней, одинокие и связанные проточками, речками-висками. Над головой — чайки-хохотуны и бессменное солнце,

На ближнем озере, под холмом с крестами — пепугачьи утки. Под крестами — старое кладбище страшнейшего поветрия кори и оспы. Целыми погребками положены в братские могилы люди; их не спасли ни молитвы, ни сладкий багульник, что жгут здесь от заразы на порогах изб. На Дикущном озере — дикая голь, топкие кочки и мутные широкие волны. В непогоду озеро кажется морем.

Но сейчас зима. Под тяжелым и одиноким крестом в тальниках коченеет богатырь-человек Мундукап. Силой никто не мог соперничать с ним. И вот много лет назад поехал Мундукап в улус, на юг, к якутам, и там заколдовал его колдун. Видно, не поверил Мундукап скорой своей смерти. Приехал обратно в веселый Походск, прожил и зиму и весну. Вскрылась река, на виске выстали сети, хохотуны пошли по небу. Как-то повезли весной Мундукапа на лодке через виску — виска всего сажень двенадцать, — сел он на корму с кормовым веслом. Налегли гребцы на весла, вышли на середку, на игривую, бурлящую быстерь. И на самой быстери обломилась под Мундукапом корма; и ушел он в воду, как сидел, с веслом. Все спаслись, а Мундукап так и не вышел из виски. Потом его вытащили неводом и похоронили в трехстах сажнях от селения. Кругом могилы курчавеют тальники.

Особое место — темный и веселый Походск. Особый уклад, особая явь его жизни, лицо особое. Из старины вырос Походск, от времени древнейших скитаний ненасытного русского сердца. От служивых людей хранит Походск крепкий обычай, голосовой, напевный говорок, старинную речь, хлебосолюство, безобидный разгул веселья, суеверья, иконопись лица, доверчивость и леность в движении.

Нигде нет по реке столько небылиц, преданий, примет, такой заунывной, напевной песни, хоть песни и то же, что в Нижнем, что в других заимках. Нигде не пляшут столько «Подгорной», нигде нет таких самодельных балалаек на две струны; нигде нет таких «скрыпок», что упирают в живот проворливые походские пальцы, и нигде не закручивает так быстро смычок издревнюю Рассоху:

А, Яссоха, Яссоха мая...

А, Яссоха, капрязь привея...

Но если нет балалайки или скрипачи в разъездах на бешеных походских собаках, хозяйка моя и «экономка»

дяди Василя, что года четыре назад пришла к нему жить, сохранив себе имя чукчанки, оттого что раньше женой была именитого чукчи, — хозяйка моя сама сыграет на губах за целый оркестр с турецким барабаном:

Татудара, татудара, татудара, татудара,
Таритату, татудара, таритатудара...

И девочки спляшут для гостя, для каждого, для себя, для Походска плавную плясовую русскую, не двигая торсом и не шевеля статичными, кокетливо приподнятыми руками. И парни будут выковыривать ногами, выкидывая ловкие коленца, вплоть до присядки.

И бабка сама, моя хозяйка и «екопомка» дяди Василя, вздувая свои толстые телеса, будет припотывать со всем пылом своих цестареющих шестидесяти лет:

Татудара, татудара...

И только в глубокой ночи, после веселья и нескончаемых рассказов и разговоров, громким голосом закричит во сне дядя Василий, ядреный старик, уважаемый всеми, которому никогда не дашь семидесяти лет.

Раньше Походск имел свой сельский Совет; сейчас, в 1928 году, он подчинен Нижне-Колымску. Здесь нет ни первой помощи, ни фельдшера, ни клуба. Школа хранит на своих стенах картины сложнейших ботанических организмов, а в своих степях — малограмотного учителя и учеников, по второму году учения еле разбирающих по слогам грамоту.

Но все же и здесь тяга к свету: школа полна пытливыми детскими лицами, почти исключительно русскими, этим национальным меньшинством якутской автономии.

О детях стоило бы сказать особо. До двух лет и даже старше прибегают парнишки к своим матерям и сосут, стоя на крепких ножках, материнские неиссякающие, вымученные соски. Молока в Походске нет. Естественным подкреплением является молоко матери.

И на этом молоке, а еще больше — на морском целительном воздухе, вырастают в грязи и нищете здоровые, шустрые и смекалистые ребята.

Антипу Вострякову двенадцать лет. Он из обрусевших юнгайров с реки Омолона, курчав, смугл — настоящий Пушкин в детстве. И если его спросить:

— Ну, что нового, Пушкин?

— Никого.

Голос у него басистый; ходит Антип в огромных рукавицах и тяткиной куклянке до пят, огромными шагами. Серьезности и лукавства — море.

— Многому научился в школе?

— Маленько!

После дальнейших вопросов Антип конфузится и прячет голову под ладони.

А вот Василий, брат Гапчи, лучшего плясуна в окрестности и доброго рыбака, — уже совсем настоящий мужик. И что из того, что Василию тринадцать лет!

— За осемьдесят верст ездил...

— Как-да! — подтверждает хозяйка.

— И один сездил?

— Ка-ак-да, один.

Но Василий и не слушает расспросов. Он важно сидит за столом в нарядных камусных бутках с красивым узором по пизу меховых брюк. Он посапывает над чашкой равноправно с другими мужиками.

— Кто ж это ему такой узор подобрал?

— Подзор-та-а? Мамка ево умерла — сестра-та вышивку смастерила. Себяткой подзор!

Себяткой — красивый!

Да, Василий — уже настоящий мужчина, такой же, как его дед, Василий, «економ» бабки, моей хозяйки. Один на своих девяти собачках каюрит он, возит груз, рыбу, летом помогает рыбачить. Собак зря не дерет, поговаривают с ними строго — серьезный мужик. И если спросишь его:

— А этот кобелек откуда у тебя?

— Свой, кормленый.

— А этот? Как его звать-то?

— Ушки! Свой, кормленый...

Ледяные окна в избе горят в весенние дни от солнца радугой и тают. Чтобы вода не подтекала на пол — в углу рамы проведена веревочка к бутылке; по веревочке в бутылку стекает вода.

Утро. Девушка ножом очистила от снега ледяное окно и спаружи смела метлой кухню — снежную порошь. За ночь окно покрывается снеговым палетом. Когда счистишь налет — окно заблестит льдом, и в избе станет сразу светлее.

На почетное место сажают гостя. Рыба — обычная еда походчан. Мясо — только оленье, и к тому же весьма редко. За мясом ездят походчане в тундру, но чукчи неохотно бьют оленей. Только знакомому оказывает такую честь чукча. И вот обычная еда на столе — рыба. Вареная, жареная, вяленая.

— Ку-у-шайте, гости...

Обед — тоже рыба, чай — тоже рыба. Хлеба по больше, чем соли; соли — щепотки. Хлеб и соль — привозные. Рыбы с осени много. Походск — урожайное место. Обильные рыбой озера связаны прорвами, протоками — «горлами», висками с Походском. Главная рыба здесь — чир и мелкая — урупкейк. Походск не только сам живет рыбой, но частично сбывает ее нижнеколымцам. Эти «горла» широко известны по всей волости:

— Богатая рыба!

— Ку-у-шайте, гости...

Из избы в избу — надо оказать почтение всем жителям; неприход — обида. В каждой избе — непромешанный стакан. Не выпить чаю — обидеть. В каждой избе на тарелочке, на блюдечке, на подносике деревянном — вяленая рыба, юкола.

— Ку-у-шайте, гости!

Сейчас в Походске много приезжих: пурга держит людей уже две недели. Никто не приезжает и никто не выезжает из селения. Через виску не видать домов. Метет.

На полу, у степки, на кукашке спит Ганча; после длительных и трудных работ и поездок кто-то угостил его спиртом. Он охмелел. Соседи притащили с собой балалайку и скрипку. Егор соревнуется с Иваном из Каретовской запякк. Топот разрывает избу шумом попеременно с пилюканьем смычка. У Ганчи на голове повязка из мокрого полотенца. Он открывает глаза — в избе танцуют. И вот Ганча уже не лежит на полу у стены; и повязка на голове его поситя по избе в залихватском татудару, татудару, татудару...

До сих пор помнят в Походске, как пришел сюда из Нижне-Колымска несколько лет назад, на масленицу, лучший скрипач. И так как не было в Походске человека, кто бы лучше его играл на скрипке, стали звать его с вечеринки на вечеринку, из избы в избу. В каждой избе — веселье, девки, песни, пляс, а то и выпить находилось; и так, через вечера, ночи, через песни, девчат, пляс, вино — покатались скрипачевы дни по всему Походску под

вихри вьюг и потрескивание камельков; и лишь под са-
мую «страстную» опомнился скрипач, что пришел он в
Походск всего на день, на два, за делом, что семья давно
ждет его дома. Опомнился и ушел назад, в Нижний.

— Наказанская жизнь теперь пошла, — говорит Ми-
трофан, старый ямщик с лицом монгола, — веселью пегу...

— А бывало, с утра-та в одну избу девки сойдуца и
парни туда же, оттуль прямо в другую на маслинке идуть,
оттуль — в третью, да так весь день, и наутро снова пля-
сать стануть...

— А то песни запоют, Ганчина зонка хоясо пела...

— А ты, Ганча, поешь?..

— Не, не па-а-ю, так эта-а. Паньча, сестра, поеть...

— Неть, не па-а-ю я!

— Шутить, вижу, — знать, поешь?

— Не сучу, правду говорю.

— Ганча, а где же твоя жена?

— Умерла!

— А от чего умерла?

Глаза Ганчи вырастают в темные пятна.

— Сама умерла, своя у ней болезнь была.

— Ну, а в чем проявилась?

— Черти у ней в животе завелись.

Ганча — бесспорно, умный и здоровый рассудком па-
рень, но разубедить его в причинах болезни жены невоз-
можно.

— Не признавала нитево. С нечистым в связь во-
шла...

— Отец-та твой приехал, Васек?

— Охто? Отец-та? Неть. Кухта держать.

— Снег-та душить, невозможно через реку идти, ветер
как звер...

— Ну, ращепочка как — ставил?

— Ставил, шкково...

— А ты объясни гостю-ю, как ращепочку ставить. Зна-
чить, пайку — расцепять, щепочку вставить и пожгуть
внутри. И говорят: «Скажи, ращепочка, правду, будет-
неть завтра батя сюда? Правду скажешь — маслом по-
мажу, неправку — выброшу». К двери скокнет щепочка —
не скоро будеть, в сторону скокнет — емо думат, от две-
ри в избу скокнет — скоро-та будеть. Што ж, гостю рас-
сказать надо, коли гость нашей жизнью антересуеца, как

ребятишки все рашеночки ставить. Покажь-та-а рашеночку... А вы — ку-у-шайте, гости.

— Горносталь пьохо поне...

— Грех тебе, Вальчура, поманеньку идеть!

— Пьошлый год пьомысль еще луце бы-ы-л-та-а. Пакость-та-а с моря добро шьа. До Покрова-та табупком все пясец шел, так к воде и шел и в воду кидайся, плыл и по льдиночкам па каменлу сторону валий, так пьосто страсть, какая громада шьа-а. Кто поменьше пастей ставил — двадцать — тридцать головок забрал, а кто пабольше — и сто и больше упромыслил...

Классовое расслоение па Колыме и сейчас еще, в 1930 году, достаточно ясно: хотя население обычно называет зажиточные хозяйства середняцкими, кулачки, однако, имеются. Имеются также и беднячки.

Экономическое благосостояние хозяйств и в низовье и в устье реки весьма различно: разница обнаруживается в размере годового денежного и натурального оборота; разница сказывается и в снабженности хозяйства промышленной снастью, особенно конским волосом для сетей, пшью, порохом, дробью, и в количестве самих промысловых орудий. Бедняк не имеет возможности покупать чужой труд; богатый — нанимает бедняка. Есть и хозяйства с двумя-тремя сетями, есть — с сорока сетями. Есть семьи без одной пасты, с тремя — шестью собаками; есть семьи с тремястами — пятьюстами пастями и тридцатью — сорока пятью собаками. Несомненна также и некоторая скрытая эксплуатация бедняков в виде отработок и услуг за всякого рода «одолжения».

— Дай гапзу-та покурить. У Сенькиной Пеструшки — шшепки.

— Так и будет!

— Никово, — говорит Антип, — никово не осталось, последний замерз. За углом лежить с ними, от мертвых не отходить.

Гапза — деревянная трубка с медным колпачком для табака, с чубуком, скрепленным топким, почерневшим ремешком, — ходит по избе. Глубоко затягиваются мужики, женщины, девушки, дети. Разложив па коленях кожу, железным круглым скребком скребет ее бабка, моя хозяйка и «экономка» Василья. Она искусная мяльщица кож. У ног ее лежит старый, огромный белоглазый кобель.

Еще у мужа бабки, у чукчи, работал кобель — им затраивал чукча в тундре проворных песцов.

— А как эту собачку, маленькую, звать-то? — спрашиваю я, указывая на щенка.

— Тую-та? Мистик.

— Вот это здорово! Кто ж догадался ее назвать Мистиком? Жирна, кругом шестнадцать — ничего мистического.

— Ну, Мистик, — поясняет бабка, — мись, мышька стал быть.

— А, мышь! Так, так.

Хозяйская дочь Катя повернула чашку вверх дном. Значит, кончила пить чай. Руки у нее выше кистей смуглы и ровны. Все она как налитой огурчик, а губы разворочены — настоящая африканка. На ней ситцевое платье и высокий передник. Младшая в кофточке с баской — это подарок из Крепости.

В два часа настолько темно, что приходится зажигать свечу. Начало ноября. Из соседней заимки приехал обрусевший якут. Он молодой парень в красной рубашке, весельчак и балагур.

— Прокурат парень, — как говорит бабка. Пурга.

По-ход-ские раз-го-во-ры.

— Помлишь? — говорит.

— Помлю.

— Болько было?

— Нитево.

— Полевая зыганка — это самая большая, значит, ва-ражейка. Это, значит, которая в поле родилась — и на копе разъезжат.

— Брось болтать!

— Копи только у Шкулева — три ли, пять ли. Окрест копей неть. Конямп здесь немозно в пургу идти. Собаки, и те ложатся.

— Што ты все сабачек-та меняешь?

— Так, фантазия у меня такая собак менять.

— Не собаки, а одни копки.

- Марфа, мужики в пабе?
- Неть. Пустые бабы в избе.
- А муж-то твой где?
- На час уехал.
- Подожду?
- Э-э-э, подожди...

Человек ждет час, другой, третий...

- Марфа, когда ж муж будет?
- Охто?
- Да Паптелеймоп?
- Паптьюха-то? Назавтра, может, будеть...
- А ты что ж мне говоришь?
- А я ж те говорю — на час уехал...

Высокий старик с острыми глазами и бородатым лицом рассказывает о Сеидушном Хозяине. Дочь его, припадочная, — совсем древняя боярышня, и глаза — голубель.

Входит пизкий чукча-работник, как медведь, весь в мехах; а старик все рассказывает:

— Сеидушный Хозяин в каждой местности свой бывает. В Мартяпове — свой, в Каретове — свой, в Крепости — свой. Его не видит никто, только иногда вроде как помрачение найдет, и тогда увидишь. Было так раз: иду я по сеидухе, и вдруг вроде как нехорошо мне стало; вдруг слабость какая, и стою я или иду, и сам не знаю, во сне это или наяву. И подходит ко мне человек. Может, он и молодой, может, и старый. И разговаривает. Поговорил и ушел. И вдруг его нигде нет, только отошел, точно рассеялся. И праз всю слабость сняло.

А другой раз — летом. Выметал это сети, выхожу на берег и вижу: с угора человек какой идет. Я его окрикнул — он не отзывается. И еще подумал я: «Что ж это за человек здесь; с сеидухи, может быть?» — а он уже подходит. А у меня ни ружья, ни какого орудия. И вдруг слабость какая опять нашла. Подошел ко мне, так с лицу не старый, поговорили мы, и ушел он. Только отошел, смотрю по сторонам — нигде его нет. И о чем говорили мы, тоже не помню.

Он, может, и многим является, да другие не рассказывают, молчат, до смерти таят: может, они с ним орудуют, промышляют с ним. Кто с ним промышляет, тот много зверя промышляет, только никогда богатым не будет, не разбогатеет. Кто своим трудом работает, тот наживает себе хозяйство, а кто с ним — нет.

Встречают его — и па собаках едет. Подъедет, тоже на двенадцати собаках, остановит нарту, поговорит и уедет. Обернешься — и нет никого, точно растаял. Иногда у него лицо знакомого какого. Увидишь потом этого знакомого, спросишь: «Зачем ходил туда-то? Я тебя встретил...» — «Нет, говорит, и там не был и вовсе». А когда и незнакомым лицом прикинется.

У пог деда трется внук. Когда-нибудь он вспомнит эти рассказы, как вспоминаются детские сказки. И Седущий Хозяин будет ему сказкой. Но для старика это быль. Быль это и для припадочной боярышни.

— Муйко кипелечек-сахарочек!

— Что это за слово — муйко кипелек? ¹

— Так это сами ребята придумали — страсть, мол, хорошо; мольче страсть; мочи нет, как ладно! Так это, походское слово.

— Ой, лпхо мне, ли-пхо!

Желщина потягивается и зевает.

Пришелец с чужих мест с беспокойством следит за женщиной.

— Тошно, ли-пхо мне!

Он не знает безобидного смысла понизовых слов: «лпхо мне», по-колымски, — спать хочу я, спать.

— А и здесь прах-бабушка его и мати его лежить...
При встрече хорошо вежливое слово приятелю сказать:

— Мы уж и то любовались — уж как приятно вы от нас отехали!

На высоких голосах выводят девки в глухую почы!

Заки-пе-ла сер-дце в сол-дат-ской груди,
Заблестела сабля во правой руке,
Заблестела сабля во пра-вой ру-ке,
Слетела го-ло-вка с неверной жеве...

¹ Муйко кипелек — очень хорошо (местное).

Голоса их могут подыматься бесконечно. Нет такой высоты, какой бы не достигли эти голоса. Концы песни всегда неожиданно оборваны, как конец ленты у северного сияния.

Морок неба. Заструги снежные.

— А я еще тебе скажу — дружной парод походский. Если женщина соберется мыть избу, еще к пей четыре-пять женщин придут и помогут. Так и в другой работе. Зато и веселимся солнца...

— Что это у вас сапожки-та больно нахальные? Стрость не уважаю такие! Марфа вам б спшла...

— Да ничего, сойдут. А что это собака лает — приехал, что ли, кто-нибудь?

— Неть, так это она, сама лаеть.

Через дощатую перегородку все слышно:

— Я к вам отдалась, — говорит Катя. — Опасный вы человек на вино.

Губы у Катя — как ковриги ржаного хлеба.

— Вы от нас брезгуете...

— Холодно.

— А мы привезли страстную печь, в тальнике лежать.

— Что ж, от этого теплее?

— Теплее, — смеется Вера.

Она маленького роста, хотя ей, наверное, лет одиннадцать.

— Ну, одиннадцать! — поправляет хозяйка. — Тетринадцать. Она перастучая.

— Очепь уж вы опасную чашку палили.

— Кушайте во здравие.

— Што повельского скажете?

— Чисто ничево!

— В город поедете?

— А кого я там делать буду!

— Я от вас боюсь.

— Не води ты меня заподруки!

Девчата еще выше поднимают голоса. Ганча подпева-
ет им:

Ой, лужки, лужки-и, лужки...

Холодная ночь над Походском. Пурга утихла. Луна и
высокое небо.

Сегодня уехало двенадцать парт и пришло пять новых.
Пурга окончательно улеглась. Походск — проходной пункт
меж морем и Нижне-Колымском. К тому же в Походско
всегда рыба — смотришь, и собак покормят. Любят По-
ходск и походскую жизнь колымчане.

В крайней избе собрание. Из Нижнего приехали ми-
лицонер и уполномоченный по выборам на окружной
съезд. Он говорит о партии, о правах гражданина, о зна-
чении выборов. В избе больше всего баб, мужики в разъ-
езде. Настает самая страдная пора для извоза, для всяких
домашних поездов.

Фигура милиционера на фоне рванья кукашек, плат-
ков, всклоченных голов — фундаментальна. Желтые
канты и красные петлицы заметно выделяют этого чело-
века среди других.

И вопрос задает президиуму отмеченный властью че-
ловек по-особому:

— Я хочу от вас спросить, может ли административ-
ная фикция задавать собранию вопросы?

— Конечно, можно, — отвечает секретарь из местных.

Среди остальных помню два лица: женщины и ламу-
та — того, что ехал с нами по осени на катере.

Женщина, бесспорно, молода. Лицо ее не только хо-
рошо — оно памятно. Но есть не укрывающаяся во всех
движениях, в опущенной руке, в губах, во взгляде упор-
но скрываемая тоска.

В Походске ей нет соперниц. Нет глаз более глубоких
и пальцев более тонких и длинных. Лет пять назад в По-
ходске зимовала американская шхуна, и американцы брали
себе на зиму стряпок. «Экономка» — не зазорное слово;
и взять себе девушку в стряпки — дело житейское. Была и
Настенька «экономкой» — как могли не любить Настеньку
американцы? Я не помню ее фамилии: самым нежным
единением двух прозвищ для Колымы чудится мне — На-
стенька Березикова. Может быть, таким же обаянием были
ей какие-нибудь иные сочетания — Чарльз Дарлей? Де-

вухки понзавья привязчивы и покорны. Зимы — всего в девять месяцев; скоро бегут походские зимы. Шхуна ушла. Бывают ли длительны мечты и память понзавьях девушек — не знаю. Явь бывает длительнее: Настенька Бережцова больна «дурной болезнью»¹.

Вечером через влску спешит человек. Он разбегается и катится по черному голому льду в снежных застругах. Это мой приятель ламут. Не стуча он входит в избу в волчьей своей шапке и обшитой волком кухлячке. Многие вечера мы делим с ним. Иногда он поет ламутские и якутские песни — истошно тягучие и зазывные. Их можно петь без конца.

Пылливый ум и дикие глаза — в них вложены, как наследство, просторы ламутских кочевков северного востока. Они резки по дерзанию, неудовлетворимы. Им без конца идти вперед, так же как никогда не найти конца кочевой песни. Конец только остановка.

— «Массам»... зачем человеку это слово — «массам»? Зачем это человек живет и думает — «массам», когда спокойнее он проживет один, думая о себе. А нет, вот думает: «массам», чтобы другим было не тяжело. И я тоже думаю: «массам, массам»... У меня никакого нет тремления другого. Тремлюсь, значит, теперь только и учусь...

— А что — я только пишу, читаю мало... Я думаю, что у всякого человека ум есть, а у меня одного нет. А надо просветить. А вот сухой олень. Если посмотришь на стадо, не увидишь сухого оленя. Когда стадо идет, никогда не увидишь сухого. Сухой олень всегда в стороне, в сторону уходит. Сухие олени в кучи собираются и отдельно идут в стороне. Так и я, как сухой олень. Мне в людях трудно, мне в лес надо, как зверу. Я звер. И думаю, что в лесу, значит, мое место. А вот тремлюсь... К массам тоже...

В 1920-х годах этот ламут был взят белыми и уведен в качестве проводника с Колымы. Тогда он придумал способ, который дал бы ему возможность уйти от белых. Он приделал к концу лыж загнутые носки — передки — и ночью ушел. Белые стали искать его по следу, но ламут

¹ Имя Настеньки Бережцовой — вымышленное. В один из прошлых годов американская шхуна, доставлявшая в Колымский округ товары и продукты, зимовала случайно в Походско. Стучай заражения девушек венерическими болезнями, как передает население, были не единичны.

перехитрил их: след неизменно приводил обратно в стай белых. Когда разгадали его хитрость, было уже поздно. Пурга закрыла его следы.

— Эдешний варод темный, он верит всему. Чудликам¹ верит. Ссндушному Хозяину верит, рщепочке верит. Мой народ темный. Ламут тоже всему верит. В горы трудно пойти. Камень! Как пойдешь в горы просветить? Сто лет еще падо, чтобы просветить...

Ноэдри ламута вздуваются. Он видит свой народ. Его племена бродят в гористых притоках Омолона, по верховьям обоих дикарских Анюев, где смешиваются они с другими кочевниками — чукчами и юагирами.

Люди его народа — прекрасные стрелки и пассивные рыболовы. Их богатство — олень, ружье и меткость глаза. Пути их — горы и долины. Компас — оленья лопатка-костяшка. На нее кладут уголек; уголек раздувают; от уголька кость дает трещину. По ней совместно обсуждают кочевники — в какую сторону благоприятнее направить шаг. Где будет зверя больше: лося, дикого оленя, белки; где будет сочнее оленьи пастбища; где не встретятся на пути беды — падеж оленей, волк, голод.

Как чукчи-поморы, они суеверны. Как чукчи бросают обжитые места, если морж перевернет лодку или объявится иная дурная примета, так и ламуты покидают свои стоянки от дурных примет и идут на новые места, какое укажет им главный шаман. «Варажейка» — простая лопатка олепа с трещинами от горячего уголька.

На груди у ламута круглый кожаный кисетик.

— Зачем тебе этот кисет? Ладанка, что ли?

— Нет, огниво. Всегда с собой кремень и трут носим, даже когда спички есть. Всегда в мешочке ровдужном и на груди. Если отсыреют спички, всегда огонь добыть можно. А без огня в тундре и по горам погибнуть можно.

На прощание, на память ламут принес мне этот кисетик. Кисетик вышит голубым бисером.

— Прощай на час, — говорит хозяин.

— Гуляйте, — провожает приветствием бабка, хозяйка моя и «экономка» дяди Василия.

¹ Чудлики — страхи, привидения.

Она пропускает меня вперед, чтобы не пересечь мне путь. Трое парней ведут под угор собак на крепком и длинном потеге¹. Нарта на руках спущена на реку. Соседи выходят проводить. Походчане — народ ласковый: нельзя не проводить приезжего гостя.

— На опасных собачках поедете! Промывать станете и не заметите, как все осемьдесят верст промоете враз...

— Каюрщик-то у вас модный!

По низовому обычаю на нарте всегда высижает кто-нибудь из провожающих вперед — проводить на несколько десятков саженей. Там собаки освобождаются и поджидают путников на чистом снегу.

Нарта ожидала на курье, у поворота к протоке. Два человека навалились с боков, чтобы удержать собак на раскате и не дать опрокинуться нарте. На повороте они соскочили:

— Прощай на час! Прощай, до повиданья!..

Прощай, Походск! Прощай, деревянная изба, стол с корявой клеенкой, за которым исписал я немало страниц; прощайте, варни и девушки, бабка и Василий; прощай, ламут, «скрыпкып», песни, говорок! Прощай, вся веселая, *поднебесная Походия*, запруженелая, цветистая жиань! До повиданья, до повиданья...

СУХАРНАЯ

— Сухарики кюшали? — Кюшали.

— Скаски сьюшали? — Сьюшали.

«...Жил-был вроде как Иван Царевич, п была у его зена Ега. А на реке, куда ходил Иван за водой, жила в воде зенщина. Она ему полюбилась и стала его Економкой. Каждый вечер ходил он на реку за водой; выходила Економка из дырки, и тут, над дыркой, и пмел он с ей сношение. Узнала Ега про Економку, сделала лук и стрелой убила Економку. Когда убила она Економку, говорит музу: «Поди принеси воды». Пошел Иван на реку, видит — вся пролубь в крови и в ней убитая Економка. Сял Иван рядом и заплакал. Потом пришел к Еге и убил ее, а Економку взял на руки, устроил гроб, положил в него Економку, и понес на холмь, и думать: «Вот красивое

¹ Потег, или средник, — ремень, за который пристегивают собак к нарте.

место, здесь ее и полозу». Но стало вдруг ему залько ее закапывать в землю, и решил ешо разь посмотреть, не ожила ли его Економка. Открыл крышку гроба — как живая лежить: вот ситясь встаеть сама. Жалько стало хоронить, и пошел он другое место, покрасивше наитить для ее. А сам думать: «А может, она ешо оживеть». И вынес он ее па ешо более красивый холмь, да опять жалко стало зарыть в землю, и опять думать: «Поишо ешо подобрей места». И так ходил он с холма па холмь много ли, мало ли годов п все искал, где бы получше положить Економку. И однажды пришел он к пзьбе, а в той пзьбе шаманили его сестри. Залезь он па триобу и слышать, как шаманить его старшая сестра. Шаманить и говорить: «Вот явийся нашь бьят п принес с собою свою Економку, и съюшаеть он сейтясь в триобу». Младшая сестра говорить: «Надо его поскорей позывать в пзьбу. Мы так его давню не видели». Позвали они его в пзьбу, а он говорить: «Один не пойдю, только с ей». Провесь он гроб впередь себя и поставил на скамьи. Налили ему цаску, а он говорить: «Налейте п ей. Пусть п она пьеть со мной». Налили они ей, и поставил он цаску на край гроба. Он выпил две цаски и перестал, ну а она, мертвая, конечно, не пьеть. И стало сестрам жаль его, што так убиватьца, а другую не береть. А он говорит сестрам: «Вот если вы шаманы и шаманите, то оживите ее, а то я вас всехь перебую». Сестры говорят: «Шаманить будем, а ты выйди за порогь». А он не выходить, боцца, што сестри Економку спрячуть. Стала старшая шаманить — питево. Не оживляца. Средняя стала шаманить — питево, не оживляца. Тогда говорить младшая: «Принесите мне одежди материнские, шаманские, я буду для мово милова бьятца шаманить!» Младшая же никогда не шаманила, но страстная сила была в ней, всехь большая, потому што она не имела сношения с мужиками. А самая страстная шаманка та, што не иметь сношения с мужиками. Она всехь сильнее. Принесли ей одеждю — вся в погремушках, и стала она шаманить. Плюнула в глаза брату — он лишился зрения. Поставила гроб на шестокь, ешо пушке шаманить стала и торманить Економку. И вразь Економка подпилась п сяла на зёпу. Сяла Економка на зёпу, п лице ее поразавела. Подбежала тогда сестра к Економке, взяла за ручькю, и встала Економка из гроба. Подбежала тогда к бьюту и дохнула в лице, п глаза у него отперлись. С тою поры стали они жить вместе. Много ли, мало ли годов прошло, говорить

Економка проде как Ивану Царевичу: «Зови бабку, пришло мне время родить». — «Не надо нам бабки, — говорит Иван, — мы и так, сами сумем». Взял он подпругу, привя-зай к матице, и только показался — по показался ребен-ок, потянул за подпругу. Ребенок так и вышел на проход и побежал по юрте, да за порог, за дверь. Наступил Иван на пупокъ погой, обрезал пупокъ, и так с пупком и убе-жал парнишка на сендуху и скрылся. Снова прошел год, и опять говорить Економка: «Зови, Валуша, бабку, при-шло мне время родить». — «Зачем нам бабка, — говорит Иван, — мы и так, сами сумем. Я теперь по-другому по-пробую». Опять привязал он подпругу, и только пока-зался — по показался ребенок, потянул он подпругу и подхватил ребенка рукой. Видить — девонька. И только родилась — сразу заговорила: «Пойду я в сендуху искать бьятца». И ушла в сендуху. Много ли, мало ли годов про-шло — узнал Иван от черного человека, што идуть на его двенадцать братьев жениных за сестру отомстить. И ве-дуть они войско с собой в тыщу человек. Накрыла Еко-номка стол, а Иван говорить: «Што ж пожаловали, бьят-цы, идите за стол». Садятъци бьятца за стол а сами ду-мать: «Вот надо Ивана Царевича расстрелять». И только они подумали, отворяца двери и входят молодая девица в молодой парень. И парень говорить Ивану: «Здравстуй-те, папаша». И думать Иван: «Кто ж ета меня папашей называть? Уж не сын ли мой, ково я упустил?» — «Да, го-ворить, папаша, я ваш сын и есь. Узнал я, што вам беда грозить, собрал я привел я тыщу солдат». И говорить он бьятьям: «Выходите во двор». И пошли все во двор. А на дворе тыща воинов стоит. Схватили они бьятцев и солдат и расстреляли их. И стали жить себе дружно, Иван вроде как Царевич, Економка и их дети. И добро наживать...».

Это северная сказка, неизвестно какими путями по-павшая к понизовым колымчанам, уже не из тех сказок, какне рассказывала мне моя мать. В ней «расстрелять», и «вроде как Иван Царевич», и «Економка» и «сношения». По ней вижу я, как идет все меняющее время. В широ-кой реке его, где-то в верховьях моей жизни, вижу я Харьков, слышу слепого бандуриста, нянькины «три впр-бочки схлаллся» и — «мамулины сказки». По ним, быть может, больше всего научился я любить цветистую лепку слов. Рядом с ними шла явь: за окном, в покосившемся

доме, у студентов взорвалась бомба — мне еще сказали, что в кухне упала на пол тяжелая ступка. С тех пор я узнал и говор пушек, и вшей, и падежды, и голод. Но тогда я верил стуку тяжелой ступки как непреложной лжи, хотя за окнами были девятьсот пятый год, драгуны, бомбы, тополя и грядущие боп.

Целые дни хожу по Сухарной. Река разлилась безбрежным снеговым морем; по ней приходят и уходят партии с рыбой, грузом, людми. Самый богатый, самый знаменитый подледный промысел рыбы для всего поповья, Сухарная, заманивает в свои трухлявые, забитые снегом избышки множество предприимчивых рук.

Свирепые пурги с осени здешние завсегдаган. Они настолько сильны, что случается нартам дойти до самой деревни и у самой деревни под угором ночевать в снегу: метель не дает разыскать избы. Днями приходится безвыходно сидеть в избе, а то перейдешь к соседу — и не найдешь дороги обратно в свою пэбу. На два шага не впадет человека. Ветер душит дыхание и, если отвернешься в сторону, в каких-нибудь пяти саженьях будешь ходить кругом и не выйдешь, пока случайно не наткнешься на чью-нибудь засыпанную снегом дверь или угол амбара.

Дома, которых здесь чертова дюжина, и два чукотских чума одной улицей вытянуты вдоль реки и приподняты равнинным берегом. Вся долина втиснута и замкнута с востока и юга тяжелыми кряжками и забелена снегом. И общий фон пустынен и покоен. Все сравнено и засыпано снегом — дома, чумы, камни, сползающий ерник и карликовый кустарник. На нем лишь пятна людей и собачьих упряжек.

Но в Сухарной все живет спешной и временной жизнью зимнего рыбного промысла, ежедневно вырывающего из воды сотни ценнейших рыб. И эта спешка и временность видны во всем. В избах, переполненных народом, еще при свете свечильников — «леек» и ламп — движение и сборы. На лавках и табуретах распарившиеся чукчи и русские наваливаются на бессменные блюда настроганных кружков рыбьего мяса. На очагах жарятся жирные куски омуля. Амбары и сарайчики завалены прекрасными тушами двадцати — тридцатифунтовых вострух-нелым.

Эта строганина¹ — лучшая сухарнская строганина, местное лакомство всех наций полярных заимок и селе-

¹ Строганина — местное кушанье: строганая сырая рыба.

ний. На улпце скулят и рвутся на потегах впряженные в нарты собаки; и одна за другой, соперничая на бегу, вылетают из деревни упряжки, чтобы скрыться в речном мороке: рыбаки выезжают на высмотр сетей.

А за деревней вздымается высокий, закуржавелый камень — мыс со скосившимся маяком. По склону его карабаются ерник, карликовая береза и ветлы иссохшей травы. Если подняться по ним до самого верха, оттуда, с мыса, свернув на север и восток, видно, как выгнули горбы другие упрямые массивы, чтобы добежать до голого края земли и упасть в ледяные просторы другой стихии.

Голь, суровость, бедность красок, сжатый примитив. И Сухарная у самой подошвы холма — тринадцать спичечных коробков и два конуса чукотских чумов.

Вечером, когда снег и горы в налете спячки, иду по забитой снегом тропе к пылающим трубам изб. Запоздавшие чукчи торопятся к своим стойбищам, где черными точками отмечены табушки связанных оленей. Сейчас небо ясно и высоко: наверное, в ночь выйдет сияние, а к утру вдали всплывут в сизых цветах неба спрятанные пурговыми днями сизые горы.

Дует жестокий ветер: его называют здесь — солодник. С материка, через просторы огромных площадей, несет он тяжелый холод. Только в избе, натопленной до отказа, тепло. За ужином у стола сидят чукчи. Чукчанке жарко. Она вытаскивает из меховых рукавов руки и опускает кухлянку до пояса. Голое ее тело потно. Ее муж, чукча, сидит как камень: ни одного слова не произносит его резные губы. Только после ужина он подходит, по обычаю, к хозяину и пожимает руку. Он благодарит его за еду и говорит о чем-то по-чукотски.

Сдобная хозяйка в американской морковной шотландке потирает над огнем руки. В углу якуты подсчитывают и делят между собой добычу последних дней. Они быстро шевелят губами, и гортанные слова сливаются с голосом чукчи. Ребятишки спуют под ногами и облизывают жирные от рыбы пальцы.

— Эх, бьят, — говорит высокий старик парню, — не потрафило нам сей раз. К чукчам бы съездить, кабы не пурги! Чукчанька там — красавица! Варажейка она у их...

Почти круглый день горит «лейка» на рыбьем жире. К обеду и ужину зажигают еще свечу, вставленную

в пустую бутылку. Трещит камелек. При свете его, так же как в Походске, рассказывают друг другу рыбаки события и вымыслы; в них часто не поймешь, где кончается быль и где начинается фантазия.

— На Анио в запрошлую зиму двое под лед ушли. Ножи-та, не как раньше, на стегне¹, носили, за спиной где-та! Нарты провалились, ну, и ушли под лед. Вытащили, так все ногти ободрали, и руки в крови. Все за лед цеплялись, да разве без ножа выйдешь! На ноже только выйти можно: нож в лед, проворачивай к себе обухом — и на ноже выходи. А нож-та у них за спиной — где тут его достать...

— В былые годы не так все было — и в промысле не так. В Сухарной — ешо одна только изба стояла — каждую осень, бывало, если промысел будет, едет от моря старик на собачьих и прудит² так, что кругом кухта летит столбом до самого неба. И так вверх и проезжает, и все знали — рыбка будить. А если не будить промысел — вниз, так в самое море уедить...

Моря от Сухарной не видно, но Сухарная — самая северная деревушка. Живет она в году всего несколько месяцев и затем заморают. До Походска от нее восемьдесят верст — хороших верст, собачьих³.

ЧУКЧИ ИДУТ

Оставив в стороне яранги, оленей, один за другим тянут с гор и тундры чукчи.

Они тащат за собой легкие оленьи сапки — турки. На них повезут они обратно в свои яранги муку, сахар, чай, табак, ситец, порох, свинец. В Сухарную наехали временные красные купцы. Госторги навезли с Нижне-Колымска, с Медвежьего мыса, где выбросил часть груза у бара пароход, пестрые вороха товаров.

В фактории на полках — медные солнца десятифунтовых чайников; этикетками щеголяют пороховые бабки;

¹ Стегно — бедро (местное).

² Прудить — тормозить нарты (местное).

³ Версты на Колыме различаются: самые длинные — собачьи версты, то есть версты в районах собачьего транспорта; за ними по длине идут оленьи версты; самые малевькие версты — конские. Версты, конечно, умеренные.

кпы тканей пеются перовными волнам. Малопулька, вичестеры, доски кирпичного чая. На полу — ящички с шалами, сахаром и папушки табака.

Легкие оленье санки-турки — добрый признак. Они говорят: идут чукчи. А с чукчами идет в красные фактори тундрной песец, лахтачи, нерпичьи шкуры, оленье сырье — пыжички, неблюй, выпоротки.

Коричневый пеликан вошел в лавку, согнувшись в дверях почти вдвое. Он поклонился, снял шапку, протянул руку и выждал вопроса приказчика. Приказчик пожал его руку, и тогда они заговорили по-чукотски.

Огромной рукой, в которой свободно уместилось бы лицо приказчика, чукча вытащил из мешка две шкуры. Два пухлых спешных меха зашевелились в ловких крючковатых пальцах приказчика. Чукча назвал предметы, пужные ему за песца.

— Беря на девяносто рублей, — отцедел приказчик, — песцы хороши.

Он встряхнул их еще раз и небрежно бросил на полку. Через четверть часа чукча покидал факторию: в мешке его побрякивали два чайничка, дюжина чая, отрез мауфактуры и несколько фунтов сахара.

Привязав к турке мешок, он вытащил из-за пазухи кпсет, набил табаком плоскую амерпканскую трубку и, все еще не падевая шапки, пошел по приятелям. День был совсем теплый — не более сорока градусов!

Пьют чукчи чай с усердием и степенством. Чайнички выпивают до конца, какой бы он ни был размером, и, выпив, опрокидывают. Здесь кончается чаепитие. Дело хозяина возобновить приятное занятие — медлительное, распаривающее поглощение горячего напитка. Уважение гостю оказано — чайничек поставлен, поставлена рыба: уважение гостем оказано — чайничек выпит и опрокинут, рыбка съедена. Гость и хозяин довольны. Но у хозяина хорошее настроение — гость принес хозяину за старые бесконечные — «свои» — счеты и взаимные одолжения две ладные шкуры пыжика. В оленье сырье терпит изовой промышленности сильнейший недостаток. Хозяин прибавит к пыжикам остатки своих шкур, и в следующий выезд будет у него «себяткая» — красивая — кукашка. Хозяин доволен своим другом.

— Меченьки, Этышкль, — говорит хозяин и выставляет гостю новую рыбку и новый чайничек. — Куша-ай!

Здесь начинается новое чаепитие.

С осени с Восточной тундры к Сухарной подходят чукчи. Оставляя в тундре главное свое стадо, на несколько дней приезжают они в окрестности деревни и ставят свои балаганы. Главная цель — закупка товаров и сбыт оленьего сырья агентам государственной торговли, перед отправкой к краю лесов со всеми оленьими табунами на зимовку.

Живут чукчи в больших чумах — ярангах. Моржовым и оленьим жиром пропитывается их одежда. Во внутреннем пологе зимой — тяжелая духота. Чукчапки ходят в нем голые, с повязкой на бедрах, с бусами в ушах.

Стариные обычаи и обряды сохранили их быт. До сих пор еще повсюду совсем открыто говорят о былом обычае — отправлении к праотцам стариков и старух по собственному их желанию. И, если верить этим рассказам, ничего удивительного нет в корне старого этого обычая. Старики — обуза для кочевой семьи: лишний рот, лишний груз, лишняя забота в борьбе за настоящий день. Экономика — база быта.

В прошлом бывало так: когда старел человек и терял трудоспособность или когда болезнь делала его непригодным для кочевок, старик говорил, что покинул он достаточно и тянет его уйти к праотцам. Он выбирал самого любимого им человека, собирал гостей, надевал одежду по лучше для этого последнего перехода человека, последней кочевки из мира знакомого в мир неизвестный. И здесь, в Заполярье, возникала некая торжественность, необычность, возвышенность обстановки. Устраивалось угощение. Старик досыта ел в последний раз и подавал знак приблизиться избранному. Отказаться от почетного предложения было равносильно посрамлению; избранный подходил и умерщвлял старика. Потом старика хоронили.

Впрочем, не все чукчи хоронят родных. Не все закапывают в землю. В Восточной тундре особенно редко погребают человека. Обычно его оставляют лежать на земле, пока не разнесут его зверь, снега, ветры. Редко, по просьбе умершего, труп сжигают. Обычай определяет естественные условия: земля здесь трудно поддается человеческой руке, подпочвенный грунт богат вечной мерзлотой.

Но обряд похорон у чукчей своеобразен. Вот что рассказал мне Митрофан Ребров за неизменным чаем в Сухарной:

— Хоронил чукча свою жену...

Одел ее в новую одежду, пеструю, меховую, с пашивками из материи, а ешмич, пагрудник у кукашки, поднял на лицо п зашил.

Потом одел ей ремень вокруг головы и надо лбом сделал петлю из ремня. В петлю вставил посох — палку, которой оленей подгоняют.

Сел чукча возле мертвой жены на пол и стал подымать ее за голову посохом, что в петле. И так делал — спросит ее:

«Положить тебя за Камнем, у двух дорог?»

Подымает посох, и на посохе весь труп подымается, но гнется. Говорит чукча:

«Не хочет».

Посидит, покурит. И кругом гости сидят. Поговорим, покурим. И снова он спрашивает:

«Положить тебя за едому?» За ровную гору, за плоскую, значит.

И опять подымает — не гнется.

«Не хочет», — говорит. И опять курит. Опять разговариваем. И снова спрашивает чукча:

«Положить тебя через реку?» — Не гнется.

«Положить у старой стоянки, за кустами?» — Не гнется.

И так много спрашивал. Потом спросил:

«Положить у Камня, где в прошлую осень полк заел пять моих лучших оленей?»

И вдруг голова подымаца... Сама голова ходит вверх, а труп лежит недвижный. Тогда говорит:

«Хотит, штобь положили ее у Камня».

Положили ее на санку и увезли туда, и все гости едут за ними. И каждому гостю по оленю убили в подарок. Ей же на турку положили аут и камень-дерево, скребок-то паш, знаете ж, и всякие женские вещи, весь ее бабий инструмент по ее работе, и убили двух оленей — самых жирных, — па которых везли ее, и все тут и оставили.

— Тюкти¹ не заривают покойщпка. В Западной тундре, бывать, жгут.

— Во, страсть какая! — вскрикивает баба при окончании рассказа Митрофанца, не выпуская в то же время изо рта меховую шкурку оленьего камуса. Она выкусывает шкурку зубами, чтобы сделать ее мягче. Из нее сошьет она легкие и теплые обутки.

¹ Тюкти — чукчи (местное).

— Так и будет!

Митрофан трет лоб и добавляет:

— Тюкты «нарта» не говорят, всегда — «сапка».

Весной, когда посветлеет после полярной ночи, в конце февраля, в марте, выезжают немногие жители приморских заимок на море через Сухарную, на нерпу. Чукчи тоже ловят зимой нерп. Охота на нерпу ведется с собакой. Собака отыскивает нерпичьи берлоги и дыры во льду, откуда выходит дышать воздухом нерпа.

В солнечные, теплые дни нерпа чаще показывается надо льдом, чем в зимние месяцы; и охотиться в теплые дни сподручнее. Нерпа подышит воздухом, обогрется и опять нырнет обратно. В этой-то дыре и устанавливается крепкая сеть из ремня или толстой нитки.

Нерпа проплывает над свободно опущенными краями сетки и выходит на лед. Увидев охотника или собаку, она стремительно, камнем, падает в серединку дырки, прямо в сеть. В сети она запутывается. Нерпичье мясо и жир русское население в пищу не употребляет, но для собак нерпа — прекрасный корм. Шкура идет на обувь.

На Малой Анюй-реке, в трехстах верстах от Нижне-Колымска, строится культурная база для кочевников; фактория распаковывает ящики товаров. Школа вложит в мозги чукчат пламенные горизонты новой эры. Одна за другой проходят исследовательские партии. Зоотехники прибыли в 1929 году из города Якутска налаживать образцовое оленье хозяйство — опытную ферму. Новое административное районирование стремится новыми путями ближе придвинуть к местам культуру, закон.

Чукчи одарены свежим и сообразительным умом. Они чрезвычайно выносливы.

Самым крупным богачом называют здесь чукчу, вернее — ламута, Каку. Кака — прозвище; имени никто не знает. Он бродит сейчас со своим артыс — санкамп, имуществом и небольшим оленьим стадом — по самой реке, заезжает в заимки, выменивает себе нужные вещи. У него хорошие собачьи партии, и собаки, в противоположность колымским, мирно уживаются с оленями. Также и тунгусские лайки не трогают оленей: они оленьи сторожа.

Слава про богатство Каки громка. Главное стадо его идет по Камню, по восточной стороне Колымы, приближаясь к зимовке, к краю лесов. Летом он слова откочует,

спасаясь от комаров, к морю. В стаде его, по местным подсчетам, десять — пятнадцать тысяч голов.

Таких богатых чукчей не много. Называют еще Венне, Тауту и некоторых других, но они значительно беднее Каки. Биография Тауты представляет некоторый интерес.

Хитрый и бедный Таута не разбогател так, как другие. Он не торговал, не скупал оленей. Он не сватался к богатым невестам. Сватовство — дело нелегкое: кто сватается, поступает простым работником-пастухом к отцу невесты и два-три года работает на хозяина как батрак. Иногда в это время он уже живет с невестой, приезжая временами к ее балагану. Если в эти годы заслужит жених доверие отца — отец отдает ему дочь, и часть богатства получает чукча. Но Таута разбогател иначе.

У бедняка Тауты сына застрелил сын другого чукчи, знакомого. Случилось так: сын Тауты подошел сзади, в то время, как его товарищ заряжал ружье. Подойдя, он дернул ружье к себе за дуло. Патрон заскочил в ствол, и ружье выстрелило. Пуля попала в лоб сыну Тауты. Он умер. Жена Тауты с горя удавилась. Тогда Таута пришел к знакомому чукче, пригрозил ему смертью, потребовал застрелить сына. Но отец отказался убить сына и отдал Тауте весь табу оленей. Таута взял с табуном и молодую жену чукчи.

Ночь надвигается гуще. Без огня за весь день ничего не завишешь, сидя в избе.

Чукчи уходят и приходят вновь; часами любопытно наблюдать черные пятна, движущиеся от их стоянки к Сухарной. Издали они серы. Бесформенны. Ближе — отделяется человек от турки. Потом к человеку прибавляются две руки и две ноги; и уже за несколько десятков метров — голова, лицо. Головы и руки их передко голы. В лице — сосредоточенность, затаенность, выдержка. За турками — легонький след, тундра, камень.

СОБАКИ

Через десятки лет, объезжая коллективные пушные заповедники, наш неведомый товарищ будет любоваться легкостью и быстротой хода комфортабельных аэросаней арктического пояса.

Переходы от Чаунского побережья до мощных факторий Медвежьего мыса по любому снегу едва ли займут у него более четырех-пяти часов.

Тонкая морозонепроницаемая одежда даст ему свободу движений и возможность часами систематически наблюдать жизнь питомника и регулировать распределение пушных пород по тем или иным участкам ледовитого побережья.

Что значат для многомогущего аэродвигателя десятки километров свежых пространств? Тундру и камень гор пройдет символический трактор времени. И тому, будущему человеку останется преданьем, что в 1928—1929 году тысячу двести немереных косых верст по такому же снегу проходил предшествующий ему товарищ на добрых собачках в три недели, в месяц, в полтора месяца.

К тому же он был беспылен в открытой войне с пургами, холодом, зверем. Пурги он перебарывал в драной палатке у парты, огонь и звериная потребность движения спасали его от холода; и утлая, изменчивая награда его трудов — свободный гражданин тундры песец — никогда не давала охотнику уверенности в успехе предстоящей зимы.

Все это станет когда-нибудь преданьем. Сейчас это действительность. Аэросани — парта; мотор — собаки.

Единственным транспортом огромной Нижне-Колымской волости, исключая обеих тундр и почти всей реки до областного ее центра Средне-Колымска, являются собаки. Лучшие из них — северные, типичные лайки, с густой шерстью, острыми ушами и мордой и крепкой грудью.

Разных ветвей, все они близко подходят друг к другу, несмотря на различные мастей и цвета глаз. Обычные глаза лаек — темные, коричневые, иногда оранжево-коричневые; но есть на Колыме порода лаек, очевидно завезенных с реки Индигирки, глаза которых голубовато-белы. Это северные альбиносы, чистокровные полярные лайки, снискавшие себе особую симпатию американцев.

В любом дворе, у любого забора, в тальниках за пэбам — всюду красуются острые уши. Лишь к югу, вверх по реке, чаще начинают попадаться собаки с примятыми, пополювину стоячими и лежачими ушами. Здесь уже скывается кровь русской собаки — типичная лайка всегда отличается острыми, стоячими ушами.

Для местных людей собаки — тот же скот, что для нашего крестьянина лошадь. Средний дом имеет шест-

надцать — двадцать собак, а чуть покрепче — уже и тридцать, а то и сорок. Лишь бедняки мирятся с тремя, четырьмя, пятью собаками, с помощью которых обслуживают они свои домашние нужды: возят воду, дрова, рыбу с места улова.

К югу чем дальше от моря, тем меньше собак держит семья. Пушной, низовой промысел стягивает к себе главное количество собак.

Без собак в настоящих условиях не может в низовье обходиться человек. Лошади в пурговых полярных районах не выдерживают холода и выюг. На лошадях нельзя продельвать больших поездок; лишь летом удается объезжать на них пастбища и подымать пасты.

Оленями также не пользуются жители понизовых заполюк. Они мало знакомы с уходом за ними; олень требует летом пастухов; олени вымирают от эпизоотий, как мухи на липком листе ядовитой бумаги, и, наконец, олени менее выносливы, чем собаки.

На Колыме правильно говорят: пет более выносливого скота, чем собака. Собаки переносят тяжелейшие выюги, глубокий снег, дни бескормицы; они рождаются на снегу, требуют наименьшего ухода — только варка пищи и кормежка; они скоро восстанавливаются при падежах и легко размножаются; к тому же падежи у собак крайне редки.

И как у цыгана «лошадь», так с губ понизовых рыбаков и пушников-охотников не сходят — лишь заснежат снега:

- Кобелек-та, сука, сынок, собатька...
- А Паптелеймон, знать, Петюшку-та бросил...
- Елисей поне подбор держить...
- Што быстро приехали — семьдесят верст шесть часов промывали, ну и подбор! Ну и собатьки, грех один!..
- Я тебе моево Петуха на твою Удалова не сменяю...
- Мой-та Удалой ваших всехь стопты! За сто двадцать не отдам...
- Бубенец-та все жь отвяжи, больно собатьки твои неважненьки...
- Брось болтать, собатьки мои — во-о!

И в доказательство, что собаки его первоклассны, собачник протягивает правую руку с оттопыренным большим пальцем кверху и поверх покрывает палец ладонью левой руки. Это обозначает, что собаки его — первый сорт.

В полной упряжке — двенадцать собак. Съедает упряжка в день около одного пуда рыбы. И, несмотря на

высокую стоимость собаки и на огромные рыбные запасы, идущие для собачьего корма, леукротимые четвероногие труженики окупают себя: без них не может просуществовать поппаовед. На них обьезжает он пасти и ловушки, на них зарабатывает деньги перевозкой груза, на них уезжает на дальние озера и места речного лова, на них возит дрова, воду, навещает гостей, посещает торговые центры, ходит на охоту, за лосем.

Покорный друг и труженик, собака во всем сопутствует человеку.

Любители собачьей езды, быстрого собачьего хода нередко подбирают особенно быстрых и ровных по силе собак. Подбранная таким образом упряжка и носит местное название — подбор. Лихие возчики па трех смегах собак в довоенное время возили именитых купцов в два с половиной дня от селения Нижне-Колымск до города Средне-Колымска, что, по местному исчислению, весьма близкому к действительности, равно пятистам шестидесяти километрам. Такие переходы считаются рекордными и вспоминаются почти как предания.

Обычная скорость собачьей упряжки десять — пятнадцать верст в час. Впрочем, и в настоящее время по лучшему пути весной, по пасту, в деревню Сухарную от Нижне-Колымска ездят добрые ездоки па дорогах подборах в один день. Ночуют; и на следующую — «прокидывают» к вечеру те же сто пятьдесят километров обратно. Но такие переходы редки. Обычная езда до Сухарной — двое суток, с грузом — трое.

В ночь темную и снежную хорошо под лучи северных сполохов лететь па бесшумной парте. Ход собак до того тих, что если закрыть глаза или смотреть в упругое покрывало неба, такое же белое, как шкура левого коренника, можно представить себе, будто стоишь на месте или тебя покачивает па качелях.

К вечеру собаки всегда прибавляют ход от мороза, от близости жилья, ночлега, корма. Упряжь собачья — алыки из крепкой лахтачной кожи — поблескивает под луной, и дрожит длинный ремень — средник, или потег, — с пристегнутыми к нему парами собак.

Иногда алыки «для красы» обшиваются красной материей или окрашиваются в красный цвет. Тогда собаки выглядят особо парадными, щегольскими. Но «алык» не русское слово, и едва ли произошло оно от алого цвета упряжки, от алого алыка. Теперь нет в волости алого

суна, и алые алыки — редкость, хотя многие собачники охотно отдали бы лучшего пса за метр паршивелького красного суконца. Щегольнуть алыком любит в понизовье каждый ездок.

Особый словарь — ездовой, собачий словарь — замыкается вокруг мира собачьих интересов.

Управлять — окричать собак — «куркать». «Крятка» — оградка для сиденья на нарте. Полозья нарты для того, чтоб они скользили, «войдают» — покрывают водой при помощи заячьей лапы. Остановки в пути зовут «побердами». Тормозить — «прудить». Весной под нарту на полозья ставят вторые, костяные полозья — «носью», для легкого хода во время «подлипа» снега. А чтобы снег не подлипал, к подошвам ямщицких торбасов подшивают щетки, «щеткару» — от оленьих ног.

— Надо тебе харю укрывать, — предупредительно советует ямщик, — а то от собак хивус больно здоровый идет.

В ветреные морозы от собак подымается пар; этот пар со встречным ветром — хивус — жестоко режет лицо. Тут не помогают ни стаж, ни выносливость каяурщиков. Помороженные лица встречаются повсюду.

— В такие морозные дни и собак-те надсадать нельзя, а то у собачек мозга ломаюца, и потом собака никуда не годна, ходу у ей не будить...

— В такие дни и снег перемерзает и парта не катца...

Особенно тяжело на выходах «каменных ветров» — ветров с каменистых гор востока к руслу реки. При пятидесяти с лишним градусах Цельсия даже легкий хивус довольно-таки сомнительное удовольствие.

На Колыму выходят п ездоки с реки Индигирки, с самых ее низовьев, на своих быстрых и выносливых индигирских собачках. Между индигирщиками и колымчанами-ездоками всегда нескрываемая конкуренция и нескрываемые насмешки.

— И говорят-та индигирцы по-модному — так, что трудно их понять...

— Наместь прикол — наскакатель, наместь г... — кила, грех один...

И пародное творчество подхватывает несмолкающие споры и насмешки.

— Ех, ти, индигирщик-щелконенок, одну выть-та, одну кормешку, на три сутки растяпуй...

— О-о-о, на Индигирьке опасно пляшут!..

Сгонит кятка на столбах,
Экономка в щеткорях,
Щелкопенок едит куркат,
У матушки сердце юкат.
Да по колымска будь езда,
Да не отстал бы от тебя,
Кабы не дети, не зона,
Да не отстал бы от тебя.
Да щелкопенок — славный паревь,
Да не умеет парту править.
О раскат парту ударят,
Да писаренок вылетат...
Да писаренок — славный парель,
Брат — учопый человек,
Да он и нервый-те прихой.
Да он и девку-ту нашел.
На большом-та на угоре
Балаган большой стаять,
Да пот во этом балагане
Раскрасавица сидить...
Даром, даром, не мой.
Дак по отынешь от меля...

— Брось болтать! Сьюшай да над нами не надсмехайся:

У меня была папаха,
Из кольца в кольцо вилась,
А колымская девчонка
Три версты за мной гналась...

Каждому, кто ездил на собаках, известно, что пет у собак ни вожжей, ни палки для управления. Собаки идут на голос:

- Подь-подь — направо.
- Курк — палево.
- Та-а — стой. Или: то-о! — в зависимости от обучения и привычки ездока.

Хорошо править партой, каюрить — дело ловкое. Парту надо уметь вовремя одернуть, вовремя надо оттянуть ее в сторону и помочь собакам, вовремя перекинуть центр своей тяжести в противоположную сторону раската. Только один простой прибор есть у ямщика — «прикол», тормоз, кол с вбитым в нижний конец, укрепленным гвоздем. Им тормозит — «прудит» — ямщик, пропуская прикол между полозьями и стойкой нарты. Прикол бороздит снег и умеряет ход собак.

Но и прудить надо умело. Можно попортить собаку сильным и резким тормозом, надорвать и потерять ход.

парты. Так же нелегко по голосу заставлять собак менять ход. Здесь-то и имеет место пресловутая школа дранья.

— Бывает, и детей родители надирают, так же как собачек... Если при госте в разговор влезеть, штево... Только посмотреть, а оттуль, как гость уйдет, научают: «Не лезь в разговор, не лезь...»

И хотя детей редко бьют в пошнзовье, сравнение правильно: собак надирают.

Надирать собак — трудная работа. Собак надирают обычно на ходу. Садится мальчик на парту. Парту пускают в ход, а каюрщик — отец или родственник мальчишки, владелец собак — с плеткой бежит рядом.

По уговору мальчишка крикнет заранее определенное слово:

— Та-та!

Или:

— Подь-та, подь-та!

И вровень с криком владелец начинает надирать собак ременной плеткой, от чего собаки в страхе бросаются вперед. Но хозяин должен не отстать от собак.

И вот рядом с несущейся в галоп, «на ускок», партией бежит человек. Ступни ног его в опрятных обуви и прямые углы меховых колен спорят с возрастающей скоростью четвероногих. Рыжебородое лицо — в зареве. Дыхание резкими бросками вылетает ледяной струйкой. Он не должен отстать от собак.

Но вот передняя, головная, начинает сдавать ход. Головная пара собак — это авангард парты. Только головные собаки гаркаются, понимают приказания хозяина поворачивать налево и направо. И если головная отстает — отстает вся парта. Тогда каюрщпку приходится падбавлять ход, обгонять собак и настигать переднюю собаку. Но виновная уже поняла ошибку и увеличивает скорость бега. Вот она вновь пошла вмах. Но человек знает, что собака всегда прибавит еще и еще ходу. И он бежит, чтобы пагнать виновную.

Человек и собака состязаются в беге.

Есть прекрасно обученные собачьи упряжки. По одному возгласу хозяина увеличивает или уменьшает ход упряжка. Иногда этот возглас почти незаметен для пассажира. Иногда он заменен легким постукиванием прико-

лом о дугу на передке парты или каким-нибудь движением каюрщика.

Был один ездок, которому стоило только нагнуться к другому боку парты, чтобы собаки, теряя головы, бросались вперед. Они знали, как каралось непослушание: ездок бросал в провинившихся прикол, на полном ходу парты попадая в заслужившую наказание собаку. Летящего на нее прикола собака боится больше всего. Иногда к рукоятке прикола приделывают кольца: кольца шумят и пугают собак.

— Сколько этой собачке лет?

— Той-та? По второму алыку.

— А этой?

— Первый алык — сынок, эта-а...

В общежитии никогда не говорят — один, два, третий год собаке. Слово год заменяет — алык. Это значит — по первой упряжке, или, иначе, — по первому году. Собак пускают в работу невероятно молодыми — с шести, семи, восьми месяцев, а иногда и того раньше. В работе собака ценится обычно до четырех лет, самое большее — до восьми.

Из записной книжки

...Вчера Березкин рассказал мне:

— Несколько лет назад по первому осеннему снегу ехал лучший ездок, Котельников, на восьми собаках. За лето собаки всегда отъедаются во время промысла рыбы и к осени отменно сильны — «зырные» собаки. С осени остерегаются запрягать в легкую парту много собак; ну, а он запряг восемь. Ехал у реки, вдруг — песец. Собаки за ним. Песец вперед. А песец всегда так: побежит, побежит и сядет. Собаки станут наступать, опять вперед бросится. Потом опять отбежит и ляжет. Ну, не удержат собак. Старик еще такой шустрый был. Опрокинул набок парту, прикол между копыльев (стоск) парты вставил — ничего не помогает, так и прут. Канавка — через канавку. Бревно на пути — через бревно перемахнули. А песец все вперед. Пятнадцать верст промахнули, к стрелке вышли. И песец прямо к протоке, на лед. А лед еще топкий по осени. Тут старик и бросил парту.

Я невольно воскликнул, как провинциальная барышня:

— Ну и что же?

Ответ не менее классичен:

— Нитево! Ко дну пошли со всей партией.

Вообще осенняя езда опасна. Вчера сосед разбился. Тоже на восьми собаках ездил. Собаки утащили его на кочки за куропатками, помяли ребра. И собак отпустил, потом пришлось кому-то их ловить.

...Сегодня проделаны семьдесят пять собачьих верст при холодном ветре. Иначе не согреться в пути, кроме ходьбы. Надо или идти за партией, отпуская ее вперед, или бежать рядом. Когда я сел в последний раз, уже под вечер, во время хода коренная сука заупрямилась и ослабила алычый ремень. Тогда Василий соскочил с нарты и приколом стал бить на ходу собаку. Он бил ее с силой, пока собака не упала и не закатилась под парту. Однако Василий не помог ей, и некоторое время она тащилась по снегу, потом выправилась и побежала. Каждый раз, как соскакивал Василий, сука в испуге бросалась вперед.

Больше Василию не пришлось погукать собаку...

...Почти все лучшие каюрщики-ямщики под старость страдают сердечными болезнями. Это, так сказать, профессиональная болезнь. Она подобна болезни борцов. Слишком большое напряжение — постоянный бег во время подправки собак и в поездках — постепенно изнашивает сердце. И вот к концу жизни оно изношено. Его смепают другие сердца и неостывающая колымская страсть к быстрой езде...

...Василий едет и поет на всем неистовом хвусе. Вечером он рассказал мне то, что всюду ходит из уст в уста. Был такой ездок, тоже Котельников, старик. Не было ему равных. Разве Кондаков мог бы с ним поравняться. Выехал он однажды из города, а на дороге впереди ворон. Собаки вспугнули ворона и пошли ему вдогонку чесать. Три версты летел над партией впереди ворон, и три версты не отставали собаки — «во какая быстрота!» Потом ворон свернул в сторону.

Уже под старость собаки исколечили Котельникова, налетели на сруб. Он ударился головой и потерял зрение.

«Во до чего бояись его собаки!» После этого он ездил всегда на своих собаках с ямщиком, но и то: как, бывало, свистнет — собаки вмах.

...Собачью парту даже лучшему каюрщику не удержат, если заметят собаки впереди песца, оленя или какую-нибудь живность. Редкие обученные головные останавливают остальных собак. Когда ездят к оленным чукчам, прудят на два прикола: с обеих сторон парты по одному тормозу. И то еле удерживают собак. Ну, а если не удержат и собаки заедят оленя, то прости-прощай: следующий раз не удержат. Потому и останавливаются чукчи с оленями так далеко от занюк и собак. Вчера на дороге пробежала мышь — собаки бросились за ней по целине и, пока не догнали и не загрызли, не остановились...

...Хочу еще отметить, что хорошие собаки в пургу и в снег находят в тундре старые места остановок. Таюже хорошая головная собака всегда находит старый след парты, уже занесенный пургой; плохая собака всегда, как здесь говорят, «прокидывает».

...Василий опять дерет собак. Он не хочет отстать от соседа. У Дмитрия, попутчика, огромные собаки — настоящие волки.

— Страшные собаки у Митрѣя! — ворчит Василий. — Подь-та, подь-та...

ШАТРЫ СВЕТА

2. XII. 1928

Замка Кресты Пижне-Колымские

Я слишком давно не писал тебе, и вот сегодня утром, как это иногда бывает, вдруг, с силой вспомнил тебя.

Есть о чем писать.

Во-первых — и вовсе не «белы снег», и поверло поет песня: снег синий, синий снег, удивительно синий.

Об этом я давно хотел написать тебе: я жалею, что тебя нет здесь. Здесь надо быть художнику, чтоб занести эти краски, эти синие снега, эти плоские срезы неба, эти голые, простые горы, голь тундры, беспощадной, все давящей, беззвучной, безмерной, оцепеневшей. И еще раз — везде, кругом, под ногами — снега. Синие снега.

Мой карандаш беспомощен в описании. Нельзя словом рассказать — да и говорить нельзя о тундре. В тишине ее только посвист полозьев, редкий взвизг собаки и редкие слова каюрника.

Иногда он говорит: «Тюкти ждесь быи, маненько олепей». Он узнает по следам, которых я не вижу, невидимые оленные стада чукчей.

Иногда он потянет длинное и мягкое «а»: «Та-а-а...» Тогда остапавливается нарта. Я слезаю на снег. Собаки отдыхают, и каюрник поправляет их упряжь. Кругом те же снега, и впереди горы. Но как же передать тебе могущество этих мест, покой просторов?

«Осегодь кухта лютая, одно стриданье!»

Здесь говорят — «стриданье»; и вот по этим местам в буквальном смысле «стридаю» я.

Во-вторых, в-третьих, в-двадцатых, — я мог бы расчленить каждую мою мысль, какой хотел бы с тобой поделиться. Но боюсь — получится конспект.

Поэтому пусть лучше месиво, пропущенное через мясорубку, нежели пропись.

Сижу в заимке Кресты. Старая заимка, всего в четыре дома. Дома маленькие. В доме моем хорошая хозяйка, уже пожилая. Один сын ее «болеи мозгами». «Так, сам заболел», — как говорят здесь. Года три назад загрустил человек, стал печалиться и плакать, и все молчит.

— Так, с ветру это пало на него, — говорит мать.

Никто как будто не обижал, и сам тихий; и добрый был сын и хороший работник. А вот «пало с ветру» — и загрустил человек. И теперь днями сидит оп, тихий и незлобивый, работает даже по малости, а то вдруг «шападет на него» — и пачнет кричать и понесет всякую чепуху. Над правой бровью у него большой бугор, и взгляд оттого насупленный.

Но я хотел тебе писать не об этом.

Я хотел еще раз сказать: снега здесь синие. Ты представляешь, какой свет будет весной, когда загорят снега. Как расцветут горы.

Строгость и простота останутся те же — нет ничего лишнего в горбах гор, в пелене тундры, в небе. Прибавятся в песенные утра волны воздуха. Они затопят путника не меньше, чем волны морей. Как говорилось раньше — благорастворение воздуха.

Сейчас жестокие морозы, ветры, скупой примитив во всем и голь во всем. Целые ночи играет огнем и горит небо.

Про эти северные сияния я не писал тебе ни разу. Очень они разнообразны. Бывает — на породе лежит лента с причудливой извилиной конца. Возьми в руку широкую ленту, проведи по воздуху в сторону от себя и взмахни немного: край ленты изогнется. Так и на небе лента. Такая же лента, как на всех вывесках красилеп. Иногда по небу идут дуги — одна, две, три. Как радуга, но без окраски. От них поднимаются стрелы, прощая темнью неба. Иногда — только стрелы, лучи, пальцы над землей. Но самое красивое — шатры.

Цветных сияний видел два: одно — с зеленым оттенком и другое — с яркими полосами крови. Последнее — редкость. О нем говорят как о пебывалом, давно не видавшем, чудным явлении. Меня спрашивали, нет ли в кровавом цвете дурного предзнаменования. Сверкающая корона лежала над головой, и яркие, кровавые полосы с севера входили в нее. Полосы были очень широки. Корона ломалась, меняла углы, рассыпалась, и вновь сходились в ней огненные полосы света.

Вчера мы сделали за день восемьдесят километров. Попутно заехали в якутскую кузницу. Она в стороне от «проезжего тракта», затерялась где-то в протоках реки. В ней живет известный по всей окрестности кузнец Черва. Черва — прозвище, и прозвище свое он получил недавно. Как червь проедает дерево, так точит, кует и пилит железо старик. Ножи, скребки для кожи, серьги, кольца, топоры, пещни, печи из керосиновых бабок — все доступно руке кузнеца.

Но главное, чем живет старик, лежит далеко за этими пехитрыми вымыслами — ножами, топорами, поломанными ружьями. Черва — колымский Стефенсон. Голова его занята затейливой выдумкой. Что стоит починить часы, наладить граммофон, десять лет завывающий в его юрте, или вывести прадедовский якутский орнамент на женском браслете? Все это известно и доступно каждому хорошему кузнецу. Старый Черва замыслил изготовить искусную лодку с маховым колесом; эта лодка при малом усилии пойдет вверх по реке без весел и человеческого пота.

Рядом с ним в затерянной в полизовых протоках юрте

живет подвижная и веселая его дочь Апча. Апча — завхоз кузицы. Она варит обед, чистит ограду, рубит лес, возит дрова, ходит за единственным телком, кормит собак, раздувает меха в кузице. Как большинство якуток, она исполняет все домашние пужды хозяйства.

Когда мы выехали с кузицы, ночь была полная. Но полярная ночь не такая, какой представляем мы ее себе. Если в наших краях сказать: «полярная ночь» — представляется: непроглядно. Темно.

Все же светлее. Густо сумерки. В сутки несколько часов — слабый свет, в остальное время — темно. Теперь подходят дни, когда всего два-три часа более или менее светло: светло настолько, что можно различить дорогу, предметы, окружение. Но черной стены перед глазами, о которую хоть разбейся — ничего не увидишь, такой стены нет.

Так вот, когда мы выехали, небо показало свой волшебный фонарь, вначале тусклый. Слегка мело. Потом пурга улеглась и свет разгорелся. Пожалуй, можно было б читать. Особенно сильна игра на О и NO. Лучи не от самой земли, нет, кажется — на два и три роста человека выше идут к небесному центру. Матовые облачка пучками сходятся в шатер над тобой. Потом верхушка его начинает меняться, терять и усиливать углы. Потом рушится; и остаются лишь пятна, зарева, дождь световых лучей. И вот снова вдруг бешено заиграют солнечные зайцы, полетят по небу прожектора, нащупывая что-то сначала внизу. Потом пойдут вверх. Погаснут справа и сразу же вспыхнут слева. Потом снова загорятся со всех четырех сторон. Пики скрестятся остриями. Тяжелый шалаш повисает над землей, не касаясь ее, — и все небо начинает вспыхивать. Все небо дрожит, горит, рушится мир, бледнеют звезды, победные лучевые пятна поджигают облака.

Так часами горит небо. Под небом — снежная, сыпя, замерзшая земля.

Всю ночь трещала изба от холода. Всю ночь горело небо. Жители боятся, когда трещит изба. Они говорят:

— Чудинки, чудинки в доме...

Трещит — значит, нечистая сила ходит, постукивает, а нечистая сила может погубить человека. Кажется, мои

объяснениям о воздействии мороза на материал они не поверили. Большой сын только мотал головой.

Глядя на бугор его лба, я вспомнил, что рассказывал мне житель одной заимки, Агафон Индигирский.

Умеет Агафон «устанавливать детские глаза».

Когда у ребенка «глаза бегают в стороны», нужно «выморить бумажкой», где больше, где меньше мозга, и разглаживать — «развести» — мозг по всей голове. Тогда глаза станут на место и не будут бегать. Не знаю, насколько верно такое средство, но Агафон показал мне вполне здорового мальчишку с самыми обыкновенными глазами; в младенчестве ребенок упал, и глаза у него «стали бегать» по сторонам. Агафон «вымерил его мозги» и «развел» по всей голове. Может быть, это массаж? Не знаю, все же любопытно.

Сейчас утро, запрягают собак в мою нарту. Посылаю отсюда с оказией письмо. Оно дойдет до города Средне-Колымска, оттуда поползет к тебе, и через три-четыре месяца будет в твоих руках.

В Походске, где я прожил семнадцать суток, организует рыбацкую промысловую артель ламут. Он много рассказывал мне о своем народе, о ламутах. Лица у ламутов тоще и выразительней, чем у чукчей. Передники женщины расшивают бисером. Так же — сапожки-торбаса, оленьи седла. Как ты знаешь, на оленях ездят верхом, с большой палкой, подобно тому как на лошадях — киргизы, но сидят ездоки на самой шее — на передних лопатках оленя. Олень хрупок, надо осторожно ездить, чтобы не повредить ему спину. Так вот, тот ламут подарил мне кисет. Я отдал ему вечным пером. Но ему нужно другое: он просит прислать, когда я приеду в Ленинград, «карточку» Ленина, большую:

— Чтобы во всю стену!

Пятнадцать тысяч километров отделяют ламута от Ленинграда.

За мной пришли. Перед тем как садиться в нарту, опять пьем чай. Таков уж обычай. Ничего не значит, что полчаса назад тоже пили чай. К чаю дала хозяйка диковинную штуку: жареная рыба, набита жиром и рыбьим мясом. Фаршировка на якутский манер. Нечто изумительное! Народ здесь неимоверно радушный.

ТОЛСТОВО

1. КАМЕНЬ

Не томился, белой лебяди.

*Из старой
колымской песни*

Камень вышел из земли. Ветер ударяется в камень и веками дробит его желтый и коричневый остов. У подножия — осколки кремня, бурые, заплесневелые железняки, песок.

Вода ежегодно подымается к утесу. Весна ежегодно сменяет снега и рушит берег. И ежегодно к подошве камня ложатся подмытые лесны. Река приносит плавучий лес с верховьев. Волна подбрасывает и катает могучие стволы по мертвому щебню берега. Проходят полярные зимы, и снова пррходит несменяющееся солнце лета. На щебне тонкой перинной взбухает древесная труха.

Ветер пссет на камень липкий туман моря, зеленые, наполовину морские, языки волны, кухту тундряных снегов. Камень морщится стариковскими складками, трескается, лысеет. В расселинах всходят жидкая листва ерника и иглы кедрового сландца.

Лиственницы, как редкие волосы, качаются на лысом темени камня. Ветер свистит в волосах. На валунах облаков плывут хохотуны.

Никто не живет на Толстовом камне. Весной приезжают рыбаки ставить па улов сети. На щебне они разводят костер. Сверху из-за кустов щурится па них одноглазое зимовье. Зимовье приземисто, нелюдино. Сырой земляной пол. Два окна: одно — на реку, на запад, другое — «на сток», в медвежий кедровник; в нем ситчик, выцветший и разорванный с середины.

2. БУБЕНЧИКИ НИЗОВЫЕ

Ванюшка, Ванюшка, Ваня белый,
кудреватый,

Ваня белый, кудреватый,
Ты не холост, не женатый.

Из старой колымской песни

С Чаунской губы, от ледяного побережья, па лихих собачках, с груженой партой, вверх за Медвежий мыс, за Сухарную, за Кабачково, где давно нет ни шишкарни, ни

стакана спирта, пи веселья, — попзовой Колымой па деревню Пантелеиху — шел Дмитрий Бережнов к дальнему родственнику своему Аксепу Филаретычу.

Был Дмитрий Бережнов двадцати одного года, высок, грудаст, лицом длпнен. Голубые глаза и русое кольцо бороды, руки — белые, большие, спорые на всякое дело. Одежда новая — щегольская кукляшка, лисий малахай; любовной рукой расшит подзор по краю волчьих штанов.

И собаки у Дмитрия Бережнова па подбор. Бурые, волчьи, остроухие, злые, на ладонь выше колымских — все четырнадцать. В красных алыках, расшитых мапдарой, а головные — с белыми пятнами у глаз, в алых пагорлепниках с бубенцом. Веселые собачки.

И нарта у Дмитрия Бережнова ладная, каткая нарта. Полозья па кости, купленной у чукчей. Стойки крепкие, крашевые, доски ровные. Кратка белая. Заповирья¹ нарта лахтачьим ремнем.

В марте веселые, светлые дни. Долго горят снега — езда целый день. Кругом езда — встречных много па Крепости, с проток, с Походска.

Поздно выехал из Сухарной Дмитрий Бережнов. Думал прокшнуть все сто тридцать немереных верст до именитой деревни Пантелеихи, до почтенного Аксена Филаретыча, но сумерки застали его у Толстова камня.

Решил он заночевать в зимовье и с утра пораньше двинуться проездом в деревню.

Дмитрий выпряг собак па потеге, устроил под камень. Злого хохла Петуха посадил у нарты. И знал Дмитрий Бережнов, что никто не коснется его тюков, не приблизится к желтым хохловым клыкам. Да что — парод на Колыме смирный, честный, кому надо трогать чужую нарту, хоть и все знают, что везет с Чауна Дмитрий Бережнов.

Триста песцов заповиряпо в тюке, под лахтачьим ремнем. Погожий год па промысел выпал на Чаунской губе. Набег песцовый прошел с морских островов на камень. С богатой добычей ехал Дмитрий Бережнов в новые края после десяти бродяжьих лет в приморской глухоте.

Камень па много облысел за десять лет. Парнишкой еще ездил сюда с отцом Дмитрий Бережнов па сетной лов, сразу за льдом, как проходила река. По знакомой за-

¹ Заповирья — завязана (местное).

битой тропке он подымался паверх, к зимовью, пока капел внизу чайник. Отец не любил зимовья:

— Тама-та дедушка живет, не тронь дедушку-та, не тро-о...

Конца слов обычно не слышал Дмитрий Бережнов. Пугливый кедровник поглощал отцовские слова и забирал в себя ребенка. Птиц не было в лесу. Под ногами осыпались песок и углы. Иногда па сырых сходах карабкались медвежьи — дедушкины — следы.

Подолгу всматривались неискнуемые глаза в рыжий мрак камня и шелудивых лиственниц. Уши ловили хохочущие крики чашек. Ноздри равили зеленый сок кедре, смола, приторная горечь багульничка. И настойчивая, закипающая кровь тянула маленького Дмитрия Бережнова в оседающую вечернюю тишину берложьих заповедников.

Те же лиственницы, кривые пеньки и кедровник нашел Дмитрий Бережнов и теперь, па двадцать втором году своей яви. Но зимовье, серое от сырости, как дерево могильного памятника, покосилось и одной стеной упало на лиственничную грудь. Оно было засыпано снегом, погребено, как детство Дмитрия Бережнова, как возглас отца:

— Тама-та-а... Дедушка-та-а...

И новое зимовье, такое же приземистое и чуждое всему, сменяло другое, пошедшее на слом. Окна его были туго забиты полинявшим ситцем.

След к нему был давно занесен.

«Месяц никого не было...» — решил Дмитрий Бережнов.

В углу валялся кусок оленины, и у крохотной печки па половнике железной бочки лежали сухие дрова.

В ночь врезались в небо углы медных лучей, и до утра пад горизонтом мелькали горящие пятна, как будто кто-то наводил на небо, па зимовье, на уступы солнечное зеркало. Дважды сходил Дмитрий Бережнов к парте успокаивать собак.

...И вдруг ночью неожиданно проснулся он от веселого сна: лежал он па узкой скамье в веселой заимке. Горела свеча за чаепитным столом. Старик у окна наигрывал на скрипке; красна девка ходила у самых его глаз в пильковом платье.

Свет от свечи шел прямо в глаза Дмитрию Бережнову. Он попробовал прикрыться рукой, но рука

пропустила свет сквозь кожу. Скрипач открыл рот и закричал во всю глотку. Вместе с криком просверлил Дмитрий Бережнов тяжелый холод.

Ситчик на окне был разорван: в окне сидела луна, улыбаясь во всю харю. Желтые глаза ее шевелились; и медленно, как будто нехотя, стала она высовывать из провала мохпатога рта крючковатые клыки. Внизу заливались собаки.

— Чудинки, чудинки, черт тебя дернул..

Рука хватилась виччестера. Одним рывком был у окна Дмитрий Бережнов. Оно стыло — пустое, с продравной с середины ситцовой занавеской. В дыру просунул он ствол и выстрелил прямо в луну. Выстрел потряс утес и успокоил собак.

Дмитрий Бережнов зажег лучинку, осмотрел зимовье, вышел за порог. Лежала покойная ночь с луной и огневыми углами на севере. По тропе спустился он вниз, поправил собак, распутал цепку Петуха, вернулся на гору, завалил окно кукашкой и заснул до утра.

В полдень он уже подъезжал к деревне Пантеленхе.

На бубенцы нарты Дмитрия Бережнова первой выбежала Дониюшка из крайней избы с крылечком. Запрудила нарту ездок, и, снявши шапочку, подошел повстречаться Дмитрий Бережнов.

— Митюша-а, ты ли та-а-а?!

— Так и буду са-ам!

Дверь хлопнула. Румяное лицо просунулось и остановилось у косяка.

— Охто приеха-а-й? — закричало лицо.

— Митре-й!

— Ми-и-тре-е-й-та прие-ха-а-й! — захлопнулась дверь.

А Дмитрий Бережнов, скрывая радость, расспрашивал тем временем Дониюшку:

— Дониюш, Аксеныч здесь? Кай-бусть? Не болеет? Матушка-та к прахбабке ушла — слышал. Ты-та розовешь!

Дониюшка тащила Дмитрия Бережнова за рукав в избу. Но он вкатил сначала нарту во двор, привязал собак на потеге к прикольным кольям, высморкался и еще раз прижал к себе Дониюшку.

— Прелесть ты, Дониюш!..

3. ЦВЕТИСТАЯ ЖИЗНЬ

О, и да перинючку боками удавлю,
О, и да не звала, что на свете
за любовь.

Из старой колымской песни

Аксеп Филаретыч, тоже Бережнов — на Колыме только и есть, что Бережновы да Березкипы, — был раньше купцом. Главное, торговал он с ламутами, за Пантеленхой, вверх по виске и в стороны, в сундухе, на едомах и камню. Выезжал на собаках и собаками славился. Славился во-селем, выпить любил, и говорили еще, что баб любил и ламуток — молодых девушек, в молодости особенно.

На ламутах, ведя с ними дружбу, больше всего и вырос Аксеп Филаретыч. Обмен если не сплошь «омман», все ж доходность. Ездил зимами Филаретыч и к чукчам и па ярмарке в Пантеленхе поил приятелей вином и угощал. А приятелю почет первое дело. Он за вино — весь твой. А если что в кредит не отказывал Филаретыч, так кредит та жо копилка: отдаст тебе втрое.

Пантеленха до этих годов по веснам, в феврале, марте, сзывала к себе гостей на ярмарку. Балаганов по сорок приходило сюда чукчой и ламутов, с семьями, оленями, с пушной рухлядью, пыжиками, оленьими шкурами, жи-лами для шитья, мясом.

Купцы выкладывали им чаек крпичный, вино казенное, ситчик, опять вино, порох, свинец для дробы и еще, и еще выпяшко. Разгорались кочевые сердца. Пили мужики, пили бабы; давали бабы свое веселье охотникам. Выворачивались карманы, набивались сундучки. Приходило серебришко, а за ним золотишко в купцовые кладушки. Уходили в тупдру аршины, мешочки дробы, пустые руки, должнички, обожженная душа и кочевая беспечность. Снова пустела деревня Пантеленха.

Теперь революция смела ярмарки. Оттяпула Сухаринской выездной факторней, Старо-Островной на Малом Аной-реке. Поставила выездных агентов — красных купцов — без вина, без менки, без должников. Но и до сего времени весной приходят — уже не по сорок балаганов, поменьше — ламутские олени и чукотские турки в деревню Пантеленху; и встречать их выезжают государственные торговцы.

Но и до сего времени — сильна старая память, цепки старые глаза, хитра бывалая голова. Черный ход и в

факторин передко бывает. И хоть пет частника, торговца, купца-батюшки, все же ровно живет Аксен Филаретыч. Кто и ныжников ему привезет, кто и оленчика из уважения заколет, кто и выпороточек на сахарок или порох променяет. И откуда это все есть, что тебе надо, у Филаретыча?!

А уж что по деревне за почет и уважение Аксену Филаретычу! И каждый-то к нему первый подойдет, и за-всегда:

— Здравству-у-й, Аксен Филаретыч... Здоров ли?..

И завсегда по-старому Аксен Филаретыч:

— Бог храпит, кай-будь...

«Кай-будь» — слово тоже старое: здоров, значит, не болею, бережет, значит, небесный глаз.

И в морок небесный и в кухту, когда заструги набьет промеж домов такие, что не пройти, всегда чинно, спокойно смотрит Аксен Филаретыч на жизнь — правственный человек, одним словом. И уж ежели задумает свое, будет по его думам, не преминет случиться.

— Ково ж теперь делать станешь? — говорит Аксен Филаретыч Дмитрию. — Оттуль взадъ поедешь али тутака осесть думаешь? Коль тутака — зенись, бьят ты мой! Беж зени: не модно зить парню, все едино беж бабы, как беж брюк... Вот я тебе Клевобатрю присватаю, ягодья!

— Не, — говорит Дмитрий Бережнов. — Клевобатра мне не по сердцю. Возьму Доюшку, душе вежливее моей...

Силен Аксен Филаретыч в своем расчете: наперед знал, что выберет Дмитрий Бережнов. Потому и посватал чужую, шуструю вдовушку Клевобатрю. Свою дочку прочить не лестно. Отдал Доюшку свою Филаретыч Дмитрию Бережнову. Заиграла деревня Паптеленха свадьбу. Пришел баян из крепости, спирток по знакомству послал агент. Ходила Доюшка по избе как зоренька. Песня звенела. В розовой рубашке плясал Дмитрий Бережнов. Всех переплясал. Три дня пировали гости. Три дня с поднятой головой, довольный встречал гостей Аксен Филаретыч. Под четвертый день разъехались гости.

На четвертый день поцеловал Дмитрий Бережнов Доюшку, посвистнул на собак и погнал нарту к северу, в заимку Мархояново, за восемьдесят верст, за рыбкой.

День был погожий. Засветло прибыл на собачках в Мархояново Дмитрий Бережнов. На полпути еще чаебал и подкармливал собак. Мархояновская заимка в тальни-

ках, подъем высок. Народ в Мархояпове — два человека, и обчелся, но приятный народ, обходительный. Не заметил Дмитрий Бережнов, как пролетел в разговорах вечер, утро свежее с солнцем в ледяных окнах избы. А с утра хозяйка дала славному гостю лепешек на рыбьем жиру, жирной рыбки; соседи все с расспросами: как да как, что на Чауше, как промысел? А тут, как на грех, с Походска парты приплыли в Мархояново. Разговоры завелись змейкой. Под самую ночь взгрустнулось Дмитрию Бережнову, загрузил он парту рыбкой, попрощался на час с хозяином. И только и видели его мархояповцы.

Ночь застала Дмитрия Бережнова у Толстова камня.

4. ЗАВЕТЕРЬЕ

А я, бедная бедняжка,
Круг я горька сирота.

*Из старой
колымской песни*

Толстово первый раз предстало мне в памятный день.

С лодманом мы взобрались по кедровнику на камень. Маленькое зимовье хранило заброшенный вид. Лодман протянул руку к окну и сказал:

— Во — дыра! Медведь тряпку на окне пзодрал. Видишь, лапой с середки задел.

Потом он посмотрел на небо.

— Здесь неладно дело было... Хотите, скажу?

Он еще раз поднял голову:

— Потом. Ненастье будет. Надо идти отсюда к Первому Камню, там заветерье.

— Что это — заветерье? — спросил я.

— Заветерье — стал быть, заветрепная сторона, местечко, где погоду переждать можно. Здесь ночевать нельзя с катером — разбить погода катер может.

По небу катились лохматые бурые шкуры. Мы поспешили к Первому Камню. Это тоже заимка. Всего в три дома, пз коих один пустовал. Но день не благоприятствовал. Против Первого Камня, по случайности, мы терпели аварию: веревка от лодки замоталась за винт катера, мотор потерял передний ход и управление на сильной волне. Нас выкинуло на фарватер.

Погода действительно разгулялась. Мохнатое небо гнало на маленький наш катер свирепые волны. Нас выбросило к берегу, к корягам, к грудам плавника;

с трудом удавалось отстать катер. Волны хлестали через борт и заливали помещение. Откачать воду не было возможности.

В этот день с моря возвращалась после счастливого похода первая шхуна Дальгосторга. Заметив бедствие, она подошла к нам, но долго не могла подать канат или лодку, боясь слишком приблизиться к берегу и быть выкинутой на прибрежный нанос.

В этот же день узнал я голубоглазого капитана американца Джима Крукса, впервые проделавшего исторический торговый рейс с устья реки Колымы в устье реки Индигирки, зимовавшего там и в следующую навигацию меж полярных льдов легко пробравшегося назад.

В эту же ночь в заброшенном зимнике, где мы сушились после аварии и упивались чаем, рассказал мне лоцман конец жизни Дмитрия Бережнова.

— Во, брат, какое дело свершилось! Ехал из Мархолова молодой парень, Митрей Бережнов. Доехал до Толстова, собачек оставил впризу, сам поднялся, зашел в зимник и из винчестера застрелился...

По собачкам только и узнали, что худо дело с Митреем Бережновым. Стели собачки рыбку, не дождался хозяина, ушли по реке. Задержали собак повыше Толстова, вернулись, видят — лежит парень мертвый. Во, страсть, смелся на парту, увезли в Паптелиху, стали подъезжать — Дюношка слышала, говорить: «Митюша едит!» Сестра в оконце глянь — видит, чужие на его парте катют, сразу поняла — неладно дело. И говорит: «Нсть, не Митюша! Я его собачек завсегда узнаю!» А сама на улицу, а Дюноша за ней. А он на парте мертвый... Уж убивалась, убивалась, и то грех — ни девкой, ни бабой осталась! Всего три дня жила.

— Отчего же это он в ямку сыграл? — спросил матрос.

— Охто? — недовольно поднял брови лоцман.

— Отчего помер-то, говорю?

— Сам помер. Никто не знает, отчево умер... Она жива.

В колымской песне поется:

Не томися, белой лебядь,
Возьму замуж за себя.

Мне было шесть лет, когда я узнал о смерти двух моих младших товарищей, от скарлатины или дифтерита. Это не было первым знакомством со смертью: несколько

лет раньше умерла моя маленькая сестра. Вначале весть не смутила меня.

Но пройдя в сад, где недавно еще играли мы вместе в казаки-разбойники, я почувствовал пустоту. В саду курчавели розовые барашки вишни. Они вызывали в памяти вишневые пятна от раздавленной ягоды или варенья на рубашках моих умерших приятелей. Но ни рубашек, ни бедовых лиц не было в саду. Я почувствовал горечь.

Запах цветущей вишни, цвет раздавленной ягоды и смерть слились для меня в одно понятие, переступить которое я долго не мог. Я понимал только одно — смерть.

Я долго не мог позабыть этот рассказ про Дмитрия Бережкова. Даже смерть — дикая и нелепая, казалось мне, не омрачила этого поэтического образа Северного понизовья. Вот почему и записал я эту драматическую историю.

Вероятно, над Толстовом сейчас такое же облачное, вишневое небо, что и здесь; опять катятся маленькие парты; па этот раз — всего пять собак, они везут меня по Староострожской заснеженной протоке к Собачьему Острогу.

Рядом с партией бежит неизменный человек — мой кюорщик.

СТРАНИЦЫ ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

Декабрь 1928 г.

...Снова я в Нижне-Колымске. Первая почта, и новые вести: пароход «Колыма», шедший в устье реки Лены, вернулся, не достигнув его, и зазимовал во льдах. Летняя экспедиция Осоавиахима потерпела аварию в арктической полосе, между Дежневым мысом и Северным. Она подобрана нашим пароходом, вернувшимся уже во Владивосток.

Об аэроплане надо сказать, что ждало его население горячо, только и было летом разговоры:

— Вот-та прилетит да вот-та прилетит!..

Колымчане построили арку на угоре: два кола с натянутым кумачом: «Добро пожаловать». Арку сломал ветер и смыл дождь. Ничего, на будущий год построят новую. Прилетит новый самолет.

О пароходе «Колыма»: старый пароход; то, что зазимовал, вполне естественно.

— Леды круговорот имеют, — говорят чукчи, — через несколько лет кругом приходят к берегу.

Не помню: кажется, указывают они — три года.

«Колыма» обеспечена годовым продовольствием. Бояться за нее нечего. Но ни одна зимовка не обходится без смерти кого-нибудь из команды или пассажиров. Тут тоже свой круговорот.

...Сейчас в Нижне-Колымске самое оживленное время. Выборы на окружной съезд. Выборы проходят с большим подъемом. Собирается буквально весь Нижне-Колымск, кроме больных и престарелых. Впрочем, и стариков порядком. Выступают оживленно и представители организаций и местные жители. По правде говоря, я не ожидал такого подъема в этой глуши.

Главный недостаток, на который настаивает население обратить внимание съезда — недостаточное снабжение рыбопромысловой снастью (конским волосом, нитью, веревками), огнеприпасами, капканами, частично — продуктами и оленьим сырьем. Отсутствие достаточного количества промысловых материалов, в особенности же волоса, задерживает развитие рыбного промысла. Нередко высказывается недовольствие по поводу отсутствия распределения волоса между жителями, благодаря чему кулацкое население имеет возможность приобрести себе большее количество волоса и сплести большее количество сетей, нежели бедняцкое и середняцкое. Нападки на отсутствие оленьего сырья объясняются следующим: фактории до последнего времени не отпускали заготавливаемое ими у чукчей оленье сырье местным жителям. Само же население почти лишено возможности приобретать себе сырье у чукчей, так как чукчи несут сырье в фактории, где имеется разный товар. Без сырья же население не может выезжать на зимние охотничьи промысла.

Откровенно говоря, я рад, что из центра сюда едет особая комиссия для контроля деятельности торговых организаций. Думаю, что она, как говорится, прочистит вздешнюю «деловую» атмосферу.

Приятно видеть, как постепенно вытягивается в прения население. Дело должно быть живым: нужно выбрать делегатов, которые поедут за пятьсот шестьдесят километров в город Средне-Колымск на окружной съезд отста-

нвать нужды низовья. Нужно выработать наказ уезжающим делегатам.

Говорят по-якутски — слова переводят на русский язык. Русские речи для непонимающих якутов переводят на якутский язык.

Сейчас здесь, так сказать, проводится антирелигиозная кампания. Конечно, нет той активности, какая проявляется у нас: нет выступлений-карнавалов, не слышно антирелигиозных лекций. Но есть один факт, показательный для низовья: последний дьякон Нижнеколымской церкви к съезду отказался от сана. Это сенсация дня!

ЧЕЛОВЕК БЕЖИТ ПО СНЕГУ

Сейчас весна, 1930 год, ветры и гомон птиц в голубящие неба.

Сейчас весна. Люди ломают камп, строят колхозы, заставляют воду двигать турбины, подводят мину под мировую косность, радиоволнами перекликаются через материк.

Вчерашний вечер — сегодняшнее утро, но мы уже живем в полдень, в вечер, в нашем завтра, за миллионы лет вперед. Экспресс времени несется во весь галоп.

Когда я вспоминаю понизовую Колыму — вижу: серая дремота утра, собаки влегли в алыки, синие снега; и по снегу, рядом со мной, то уходя вперед, то отставая, бежит человек. Рядом с ним по снегу бежит второй человек — его тень.

Под рывком его спящих ног хрустит снег. Колепи согнуты прямым углом. Человек бежит веско, уверенно, ровно — видно, он привык к постоянному бегу часами, днями, целыми зимами. Лицо розово-багрово, ленты малахая закинута назад, и уши открыты. Он добывает себе тепло — с каждым шагом волнами оно входит в его тело, под легкой мех кухлянки. Поверх кухлянки — зеленая дрелевая рубаха. Покроем ода напоминает эскимосскую малицу.

Впереди, в сером мороке, — вторая нарта, и еще впереди, почти в самом небе, еще и еще. У каждой нарты бежит человек. Зпяняя понизовая Колыма — одна сплошная летящая к морю нарта. С моря приходят за северным полугодовым спянем, за спяню снегов, за зеленью тальничков и волн на солнечных летних днях неопыаемые пароходы.

Зимой жизнь узким ручейком бежит с реки: сверху; из окружного города, из Средне-Колымска, приносит ручей немногие вести, распоряжения власти, редчайшую сухопутную почту и гостей.

Зимой понизовая Колыма, устье, как говорят здесь — усье, отрезано долгими днями пути. Дни шагают своим ходом. Люди замыкаются, разводят свои интересы и свои разговоры. Своим промыслом, отдыхом, своим миром живет Нижне-Колымская волость.

На усье крыточка белесет...

В факториях заведующие — они же счетоводы, они же подчас машинистки, они же приказчики — переписывают счета, принимают пушнину, наценивают товар, запирают на ночь кофторы.

В ночь мирно храпят колымчане, никогда и не вспоминая о том, что живут они в «географических» местах, в полярной стране, за десятки тысяч километров от центров культуры. В почках зачинаются новые ростки, цветут грубые подснежники чувства, путники отдыхают от дневного перехода, воют собаки, ветер гонит воронками кухту. И наутро вновь выезжают нарты.

Рядом с нартами по снегам бежит человек.

Человек добывает себе тепло и облегчает собакам езду. Человек может бежать нескончаемо долго. Он может обогнать переднюю нарту, и ту, что впереди черной точкой, и ту...

Человек не может обогнать только одно — время.

Время настигает и проходит вперед свистящей нартой. За ним гонит вскачь своих щупленьких собачек ящик.

Есть люди, которые не видят того, что свершается на глазах. Тем хуже для них: это слепые люди. На Колыме многие тоже не видят стремительной нарты, что обгоняет и колеголку тянет за собой колымчан. Но некоторые уже слышат бодрый выдох собак, хруст снега у полоза и свист разрезанного воздуха: по ходу они чувствуют — добрая идет нарта.

Здесь надо сказать прямо: революция дошла и до этих окраинных, пурговых колымских мест.

В Нижне-Колымске две профсоюзные ячейки, партийная, комсомол, жепотдел и даже касса взаимопомощи.

Неважно, что комсомольцев всего девять, партийных — восемь; неважно, что большинство ячеек — приезжие, неважно, что в кассе взаимопомощи капитал к 1928 году

был в шестьдесят два рубля. Зато женотдел — преимущественно из местных женщин; и в Походске есть тоже женотдел и крестком.

Но надо представить себе точно, чем являются Нижне-Колымск или Походск, не говоря уже о других заимках. Их не сравнишь с нашими широкими деревьями, с многоверстными селами Сибири, хуторами Украины. Крохотные селения, где можно по пальцам перечесть хозяйства, где в клубе, равном жилплощади моей захолустной комнаты на Петроградской, соберется чуть ли не весь Нижне-Колымск!..

Самое острое назначение выполнило время: сине снега Колымы всколыхнуты. Слова ламута о массах, жепотдел, отказ дьякона от сана в дни выборов, клуб, «карточка» Ленина — чтобы во всю стену! — вот они, всполохи грядущей зари.

Бесспорно: у времени — длинные ноги.

ПЕСНИ СЛЕПОГО ИЛЬИ ГРОМОВА

Катюшеньке Гасневич

СОВАЧИЙ ОСТРОГ

В черную потрескавшуюся кожу вделан деревянный переплет синодика-помпшальника Нижне-Колымской церкви. На первой его странице, под деревянной крышкой, тускнеют череп с выпавшими зубами и скрещенные кости.

На желтой, промасленной бумаге — славянские буквы:

...Зри, человек, чья сия глава,
по смерти твоей будет твоя такова...
Сия глава сама о себе скажет...
и подобие свое нам укажет...
Кости зрак,
Смерти знак.
Зри ее всяк —
Будешь так.

И внизу, под картинкой:

Видь, человек, телесное суетствие и внимай: тако будешь по мале времени сам костем сообразен и всякого временного имени и красoty мира сего суетного лишаем.

Страницы закапаны воском и замусолены с нижнего угла. С листа на лист переползают записки пмен «общих православных бедных» и отдельных горделивых родов — комиссара Ширшикова (1815 год), и купца Барамыгина (1839 год), и других купцов, духовенства и отдельных лиц, казаков, военных людей, и сотников, и прочих граждан.

Страницы перетерты временем и вылизаны глазами. Буквы блекнут с пестрыми заставками в заглавии записей.

В синодике-помпшальнике тридцать цветных гравюр — резаных на дереве, вероятнее всего — чужеземных мастеров:

Иаков стал крестить неверные языки...
Святый архиерей божий Василий Великий
Повествует покой толкикий...

Тридцать гравюр цветных и одновременно бедных красками, рисунком и перспективным планом в разных разрезах преподносят «грешнику человеку» поучения на церковно-христианские темы.

Среди пестроты репродукций, среди записанных в поминание родов духовных и мирян на первых же десяти страницах найдет историк:

Побиты Прошлом 1732 Году Марта 24 Дня Афанасия, Андрея, Бориса, Василия, Феодора, Иоанна, Архипа...

и прочие, и прочие... всего сорок три имени.

И через страницу:

Об убиенных и о умерших, Которыя вовремя первого походу чюкоцкой Землице впрошлом 1744 Году Иваклауску Иоанна, Спиридона, Дмитрия, Никифора...

и прочле, и прочне... всего четырнадцать имен.

И на другой странице:

Побиты Сего 1747 Году Марта 14 Дня От неприятеля Чюкочь смайором господином Пахшудским амянно Дмитрия, Феодора, Саввы, Симеона...

и прочие... и прочие... и прочие...

Все это — прошлые дела, ушедшие в Лету. Сейчас румянится над Колымой новая жизнь, и новые ветры разносят новые, тоже завезенные сюда или самотеком, как и в старину, дошедшие слова:

Ты играй, играй, гармоска,
Разливайся мельче, даль,
Мой милпотек Алеска —
Комсомольский секретарь...

Старики повымерли. Молодежь не помнит прежних лет. Богатый архив Колымского округа мирно покоится где-то, не то в городе Якутске, не то в зеленом порту Владивостока. Но предания выжили, обглоданные, как кости на сиводике.

Три раза строили пришельцы крепость Нижне-Колымск.

Кто первым из русских пришел на Колыму — история не знает. С сороковых годов XVII века Колыма все больше и больше осваивается промышленниками-звероловами

и служилыми людьми. Пушница, в особенности же — соболь, исчезающий в колымских низовьях уже к концу того же XVII столетия, вставала основной приманкой, побуждавшей «промысловых людей» пускаться в рискованные путешествия.

Но кто первым пришел сюда — никто не знает.

Тот же старик могильщик — Дмитрий Ребров, что рассказывал мне о своей профессии, называл каких-то Серебрянниковых и Адама.

— Первые были во етот — Серебрянников, и Адам — фамилия такая; из крестьян, будто так. И Мальцев Иван. Все выходцы от вас, здесь настоящих местных нет, все из пришедших. Был Мальцев особо силен. В плечах — полтора аршина. Высок, подымал пятнадцать пудов, пять свинок свища, и нес за триста сажен. А умер — сто лет ему было — сразу; сказал: «Воду приготовьте, во, помираю». И умер.

Едва ли можно верить таким рассказам. Очевидно, эти имена — имена более поздних поселенцев. В третий раз приходится сказать — никто не знает, кто пришел сюда первым и когда и где осел первым поселением. История колымских преданий говорит:

Три раза строили пришельцы — русские — крепость Нижне-Колымск.

Первая крепость основана на Староострожской или Стадухинской протоке — напрямик, волоком, в двенадцати и водным путем, рекой, — в тридцати километрах на северо-запад от современного Нижне-Колымска. В это же время жил народ и в Походске, еще ближе к чукчам.

Жил в Старом — Собачьем остроге — на Стадухинской протоке сосланный сюда будто бы при Екатерине барон, а по иным сведениям — князь, Головин или Головкин, богатый вельможа с дочерью Любжей или Любиджей (не то Любовью, не то Еленой) и солдатами. Дочь свою барон любил больше всего.

В цветущих годах от болезни или от иной причины умерла дочь барона. Барон похоронил ее в Собачьем остроге вместе с несчетным богатством — золотом и тканями, и уехал неизвестно куда. Слухи о богатстве долго смущали сердца колымчан. Никто не знал, где зарыт клад. И никто не осмеливался коснуться покоя умершей.

Много лет спустя, когда от острога уже ничего не осталось, уголовные преступники, сосланные на Колыму, как передают колымчане, отыскивали и ограбили могилу.

баронской дочки. Сделали они это тайпо: так и осталось место похорон неизвестным для остальных людей.

Еще при бароне Головшине чукчи напали на острог. Был острог в то время обнесен высокой стеной. Стоял он над самой речной протокой. Чукчи нападали всегда под кровом ночи. Но барон не растерялся и отбил со своими солдатами нападение на крепость.

Потом барон уехал куда-то, и чукчи опять напали на острог и разгромили его. Стреляли чукчи стрелами с костяными и каменными наконечниками, теми, какиеходят и ныне колымчане у подножия Собачьего острога.

Солдаты частично разбежались, частично были перебиты. Один из них ушел по протоке на пять верст и там и осел. Звали его Стадухиным. От него и протока и селение получили название Стадухинскых.

Однако острог не сгорел. Барон вернулся, и снова люди стали жить в остроге. Сгорел острог совсем недавно, всего лет семьдесят назад. Последнее время никто по жил в нем. Из соседних селений приезжали к нему на промысел или по другим делам держали мимо него путь промысловые люди. Кто-то разложил костер, и от огня выгорел острог.

По другим слухам, острог сгорел во время нападения чукчей. Тогда русские бежали и основали вторую крепость — в пяти верстах ниже Нижне-Колымска, на месте, называемом Погромная.

Стадухинская протока извилиста и узка, как уж. Берег под Собачьим острогом обрывист и курчав тальниками. От острога чернеют ушедшие в землю и затянутые травой срубы, доски, труха бревен. Весной вода вымывает осколки старинной посуды, монеты начала XVII века, медные крестики, луговки, костяные наконечники стрел. Мирные места ничем, кроме срубов и памяти поверий, не напоминают о прошлых бранях.

От Погромной теперь — ровная площадка среди тальника и одиночных листовниц. Ушедшие в землю могилы и бугры земли. Слава о Погромной, о втором Нижне-Колымске опять двойтсся.

Погромный острог был разгромлен чукчами. Чукчи напали ночью на сонных людей и перебили почти всех.

После разгрома русские отступили еще на пять верст к югу и построили новую крепость — тот Нижне-Колымск, что стоит и ныне против устья Большого-Анюя. По

другим сведениям, Погромная сгорела случайно, подобно тому как сгорел Собачий острог. Опустела Погромная после тяжелой эпидемии оспы и кори — вымерла.

Посередине села стоит нижне-колымская церковь. По преданиям, остатки староострогской церкви перенесены сюда в давние времена. На колокольне ее слюдяные окна, но ступы достаточно свежи.

Разно толкуют про эту церковь. Говорят, ей всего шестьдесят лет и построена она купцом Барамыкиным. Была до нее другая церковь, но когда и кем воздвигнута она — никто в точности не знает.

Прошло более двухсот лет — от крепости Нижне-Колымска осталось одно название — Крепость. Мирнолюбивое поселка трудно найти. Живее всех преданий в разных местах Колымы живет повесть о жизни барона и похоровах баронской дочки. До нашего времени тайна зарытого клада беспокоит колымские сердца.

В пригожий осенний день, еще до рекостава, у местечка Погромная берег дал оползень; из земли показался гроб. Гробы в Погромной вымывает река часто. Но этот гроб вышел в крепком срубе, и мысль о могиле баронской дочки, Любжи или Любиджи, вновь вспыхнула в колымских головах.

Несколько «любителей» старшины, вооружась лопатами и ломами, ушли в Погромную. Скоро под лопатами оказались еще свежие бревна: сруб был глубоко в земле. Сквозь его щели зазеленел гроб, обшитый материей. Старый гроб не мог бы сохраняться таким свежим. Сомнение остановило «археологов». К сомнениям присоединилось неприятное воспоминание о свирепой оспе. «Археологи» оставили работу, засыпали сруб и вернулись в Нижне-Колымск. В числе их был и я.

Старик Иван Ребров подтвердил предположения.

— Могила свежая, всего шестьдесят лет назад похоронили в Погромной кузнеца богатого — Сухой его звали. Жил он в незаконном браке с дочерью купца Кошелева. А Погромная и Собачий острог никогда-та не горел¹. Эта Походск разгромлен был. Из Походска один убежал и подай весть в другие займки и на Погромную, что чукчи

¹ Не горел — не горел (местное).

пдуть, и все подались на юг, пока чукчи паходилил. А как чукчи ушли, обратнo народ пошой. Погибь же старий острогь тако-та: сторела церьковка. Ворующие реплии перенесть в ино место храмь — на Кресты, па камень, а жеребий — шамань-та, указай на его место, межь Анюй-реками. Тут и стоить ноне крепость-та нашая...

ПЕСНИ СЛЕПОГО ИЛЬИ ГРОВОГА

песня первая

Что ж ты, сокол, что же ты, ластной,
Призадумался сидишь,
Бульшу голову повесил,
Хвост по ветру распустил?

Разе да не тебе привольность
На родимой стороне?
Что ты, сокол, да что ты, ластной,
В ту сторонку да не летишь?

Взвился сокол, взвился ластной.
К сине-морю полетел,
На родимую сторонку
Он последний раз глянул.

Что паутре стало тихо,
Высоко солнце зашло,
Сине-море всколебалось,
Сокол борется с волной.

По морской да тихой зыби
Тело сокола несет.
Выносило да бело тело
По холодной по воде.

Притирало бело тело
По приреку берега,
Выходила да красна девка
На приморский бережок.

Выходила, да-к увидела —
Тело сокола песот.
Вытирала да горьки слезы
Раскисейным рукавом.

песня вторая

Ванюшка, Ванюшка, Валя белый, кудреватый,
Валя белый, кудреватый,
Ты не холост, не жепатый.

Валя да холост, да не женатый,
Ты постой!
Что, Валя, певесод?

Ты стой!
Что, Ваня, невесел
И бульну голову повесил?

Бульну голову повесил,
Горечью слезами облился,
К родной матушке склонился.
К родной матушке склонился,
Черной шляпочкой прикрылся.

Ох ты, мать моя родная,
Несчастливой день родила,
Несчастливой день крестила,
Жена мужа да невзлюбила;
Жена мужа да невзлюбила,
Со кроватушки столкнула,
Ручку, вожку извехнула,
Ручку, вожку извехнула,
Да и головушку разбила.

песня третья

На том же поле серебристом
Гуляла Катя при лунной,
Увирую небом чистым,
Храни до гроба свой покой.

Над грудь слеза моя скатилась,
Последний раз тебе сказал:
Узнаешь если ты мене — я помор,
Ищи меня стреди могил...

— Харен песня! Пропала! — сказал Илья. — Забыл конец! Стала память плоха.

Допил чашку и попрощался — «до завтра».

Много песен спел мне Илья Громов. Я не успел записать. Пел он о широких-расшироких полях, где лежит убитый воин:

...Голова-то его вся иссеканная,
Бела грудь у него вся издрубленная,
На груди на его
Красное ордни лежит...

Пел певец о разлуке, о том, как

Охоч-то был Добрыня водой ходить,
Перепыривал струю он с берега на берег...

Пел о зорьке утренней, о потерянном кольце, о несчастной любви:

Мой милый па диване, за круглым столом,
Он держит на коленках суперицу сваю.

Подруги и сестрицы, скажите свет какой.
Ково ты не полюбишь — ни в ком заправды нет...

Песни Ильи Громова протяжны, грустны и пряны, как ладаи. Голос надтреснут и ласково тонок. Илья Громов — слепец.

Сын ссыльного, слепорожденный, от отца унаследовал он песни, припесенные ссылкой к холодным зимам Колымы. Ходит Илья без шапки в лютые морозы, в легонькой кукашке. Живет наполовину из милости в чужом доме, но милость встает ему в копесчку.

Илья возит на собачках дрова, колет, топит печи, носит воду. Внутренние глаза проросли сквозь темную роговую оболочку слепых глаз. Они прошли в руки, в ступни осторожных ног, в тончайший слух.

С утра хозяйка поставила чайник и маленькие хлебцы из черной муки, испеченные в ягрусечной железной печке. Целый день горит камелек. Постоянно открываются двери. Эта заимка, Волочок, лежит по большой дороге. Здесь обычно почуют и чают проезжие люди. И в песне Волочок:

Приезжает в Волочок,
А у него там родничок.

Приезжает к родничку,
А нужду вяжет в тальничку...

С утра идет обыденная, каждодневная рутинка. Попили чай, хозяйка наколола и принесла дров. Хозяин надел меховую кукашку, несоразмерно короткую с его большим ростом, и поверх матерчатую, в сиреневах присах, — такой материей у нас обивают дешевую мебель. Долго ходил, палаживал парту. Впряг собак, подкатил к избе. Еще выпил «цаску цаю» и уехал по дрова.

Хозяйка убрала чашки, обмыв — вернее, сполоснув — их, и из уважения к гостю вытерла полотенцем.

Всегда с горечью смотрит приезжий на это полотенце «для приезжего»: таким полотенцем под стать вытирать пол. Оно буро-серо. Утром, вскочив с постели и помывшись водой, набранной в рот, сопливый хозяйский сыпишка вытирал им лицо.

Вот и чашки составлены на полку, рядом с ложками. Я знаю теперь весь неторопливый распорядок будничного дня.

Если бы дочка хозяйки была здорова, она с утра взяла бы нож и доску и, подойдя к окну, медленно соскабливала бы осевший за ночь на ледяное окно снег. Потом выбежала бы, накинув замусоленную душегрейку, на двор и метлой смела кухту с наружной стороны окна.

Окна, как и всюду, ледяные. Стекол почти нет, да со льдом в окне и теплее. У запявки на реке стоит несколько голубых, нарезанных кусками, льдин — свой стекольный завод. Когда окно протает, его заменят другим.

Но дочка больна. Ее не узнать за короткое время — с лета прошло четыре месяца; и румянец, и свежесть, и молодость сошли с нее, как полевые цветы с поля. Найденька больна сердцем. Лежала на фельдшерском пункте в Нижне-Колымске. Но что может сделать фельдшер, когда нужен особый уход, сложное лечение и диета. До города пятьсот шестьдесят километров. Больная задыхается и еле встает.

— Хоть фельшпр, а в тундрах и тово пе-еть на сотни версь. А п то фельшпр — питайте белым хлебом, говори-п-ть, а где взять! Черново — и тово только...

Хозяйка вытирает глаза концами головного платка и вместо дочери очищает окно.

Можно и дальше расписать весь день. После окна хозяйка пойдет в амбар — выбирать для обеда и ужина продукты. Продукты немудреные — та же рыбка. Для гостя она принесет получше — погребную нельмочку или озерных жирных чпров. Долго она будет ее чистить, потрошить, варить, жарить. Приправы к рыбе никакой. Вместе с обедом поставит она для собак большой чугуи в сенях с рыбной мелочью, подкинув под него сухих мерзлых щепок.

Два раза хозяйка сходит за водой, привозя ее на маленькой водовозной парте с двумя собаками: в бочке, ведрах или просто в железных банках из-под керосина.

Потом придет к сумеркам хозяйки. Привезет чурки, выпряжет собак.

Зайдя в избу, она будет долго вытирать лицо, сморкаться, покрываться с мороза; станет разуваться, снимет меховые штаны, развесит на жерди у камелька, чтобы просохли. И, потягиваясь, подойдет к столу в ожидании еды и чая.

Опять начинается еда. Хозяйка — якутка, наполовину обрусевшая, растягивает слова так же, как все понизовцы. Но говорит она иначе:

— Куша-а-й-да-а! Пробуй-та!

Хозяин дожидается, пока начнет есть гость. Затем все с жадностью и степенством навалится на рыбу.

Гости обычно сажает здесь за отдельный стол и только хорошего знакомого приглашают за общий.

После обеда — настоящая ночь. Кормежка собак. Длинная, долбленная из ствола дерева кормушка палита варевом из мелкой рыбы и отбросов еды. Собаки, как порослята у матери, тянут теплую, стынущую пищу, разлитую по кормушке.

Нередки драки, визг — хозяину приходится неотлучно наблюдать за едой собак. Через полчаса, через сорок минут, через час — в зависимости от количества собак — мохнатая шатня вновь водворена на место, в тальники, в свои ямки, в гнезда из травы или прямо в снег.

Хозяин принесет в избу порванный ошейник или лопнувший алык и будет шивать его твердой оленьей кожей. За шитьем он изрядно посопит. Набьет вонючим табаком трубку, но за огнем к камельку не пойдет; парнишка, пришедший «из соседей», увидев приготовленную трубку, стремглав бросится оказать хозяину уважение, схватит огромную лучину, зажжет ее в камельке, отстраняясь рукой от жара, и поднесет хозяину.

Иногда эта лучина — в настоящую дубину. Хозяин прикурит, и парнишка бросит лучину в огонь.

Вот починен алык и падет на колышек в стенке.

На столе опять рыба и чай. На этот раз — без хлеба. За пологом стонет хозяйская дочь. За окном стонут собаки. Над столом чавкают рты.

После ужина все встанут и подойдут к хозяевам пожать руку, поблагодарить за гостеприимство.

Никогда никто из приезжих не платит за еду и постой. Родные или добрые знакомые только поделуют хозяев в губы — за еду и дневку. Гости хозяева пожелают спокойной ночи и уйдут за полог.

Разве не о такой жизни поет темные песни Илья Громов, слепец и сын слышного?

Сегодня вечер затянется в ночь. Снова придет Илья.

...Там и счастлива я, спокойна
Вечернею порой.
Заиграйте, струны римские,
На варге золотой,
На варге золотой,
Над могилкою моей...

У Ильи Громова пет ппкого. Родные давно померли — он сирота. Усы черные, и волосы — песья шерсть, клочкастые, с рыжиной. Лицо — из тех нештových страдальцев, что бредут — редко уже теперь — из старой Руси, через нескончаемые ее поля и леса. Страдание кривит черты, мнет лоб; невидящие, бельmistые глаза шарят по потолку избы.

— Очень горька без пути эта песня. Когда мне горько, я ее пою и плачу. И так отта мне кажпца, што для меня она:

...Все лебедушки с парами,
А я, бедна, бис пары...

Ай, тпхая могила,
Стразила насу любовь,
Всю любовь, ох, насу стразила,
Всю дружбу развела...

Век я плачу и горюю
По тебе, любезной мой,
И если б знала твою совесть,
Не знакомилась с тобой...

Ходит Илья Громов по избам, как по всему миру, без шапки, с протянутой рукой. Сейчас морозы — карта не катится. Трещит под торбасами снег. У Ильи кукашка распахнута, и душа раскрыта каждому доброму человеку.

Хозяйка подвигает новую чашку и юголу.

— Ишь доспелся, весь в поту. Пробуй-та!

Илья отпивает, стеснительно улыбаясь. Тяжелый пот покрывает его кожу. Кожа лоснится, как картины старых мастеров. Но кукашку Илья не снимает в помещении никогда.

Мы вспомним тот вечер заветной,
Когда мы сидели вдвоем.
Упную песню заводим,
А где соловей воспеват...

Илья Громов не знает рифм. Редко сходятся концы песенного строя в равных созвучиях. Слова коверкаются, часто пх трудно понять. Они теряют свой первоначальный смысл и поются «по памяти» такими, какими унаследованы вместе со случайно вошедшими в них ошибками. Эти ошибки подобны застарелым ошибкам летописей. Но разве в словах дело: Илья Громов — певчая птица.

...Вечор поздно был
я во печальном кабаке,
И потом да очутился я
во почтовом да во дворе...

Э, и да пишет, пишет
 Мис-ка милая в письме,
 Э, и да приедь, миленький,
 Завечно распростишь...
 У, и да я поеду
 По старым тем по садам,
 А, и да где я с миленькой
 По рощице гулял,
 О, и да где я с миленькой
 По рощице гулял,
 Ой, и да где я милою
 Прилежно целовал...

О пасмурном однообразии, о днях изо дня в день, о тоске, именуемой любовью, о дороге, прощании, вине, мигле — старая рыжебородая Русь!

В одно ли время стало скучно...

или постепенно набиралась тоска в эти самые изрусские песни, только та же:

Оставь печаль, таска на время... —

та же, что звенела у наших сибирских бродяг, у московских базарных слепцов, у харьковских неповоротливых кобзарей, та же — лежит в лице слепого Ильи с проезжей запяжки Волочок.

Нет на попизовой Колыме ни полей с ковылью, ни коней гривастых, ни битв, ни соловья, но голос песни повчерашнему верен. Идет он от корней народной мысли, непокорной крови, бедноты, бродяжничества, юродской были, еще вчера прибредшей к голубой Колыме.

Илья Громов — горюп-камень. Он видит только то, что осязают его пальцы и песни.

КОЛЫМСКАЯ МЕДИЦИНА

— Здорово! — вскрикнул я, войдя в избу. — Вот и приехал!

— Ой, вот и приехал, вот и приехал, вот и приехал, вот и приехал! — По юрте заметалась голосом баба.

— Мороз-то лютый.

— Мороз-то лютый, мороз-то лютый, мороз-то лютый, мо-о-о-о...

— Что ты, хозяйка?

И хозяйка вновь заклокотала по юрте:

— Что ты, хозяйка, что ты, что ты, что ты...

— Не бойсь, — сказал хозяин, подходя ко мне, — эта она сама так... Сваля у ей болезнь...

Хозяйка действительно скоро успокоилась, по в разговор не вступала. Во время обеда, в шутку подражая местному говору, я ответил хозяину:

— Во, бьят ты мой...

И опять рассыпался, и долго не мог улечься, и все трепетал где-то в углах хозяйкии голос:

— Во, бьят ты мой. Во, бьят ты мой. Во, бьят ты мой...

Болезнь эту зовут эмеряченьем, а женщины — эмеряч-камп. Они напоминают кликуш-припадочных. Они подхватывают и повторяют произнесенные другими слова; некоторые подражают не только словам, но и жестам говорящего.

Такое болезненное состояние наступает у большинства женщин периодически, через неопределенные промежутки времени, от того или иного возбудителя. Поводы к возбуждению весьма различны: испуг, какой-нибудь предмет, слово. Приходилось видеть одну эмерячку, начинавшую эмерячить при виде или упоминании мыши. Эмерячек особенно много встречается среди якуток.

Еще в Походске я просил одну якутку спеть свои песни. Был вечер. В избе пела и плясала молодежь.

— Нет, — ответила она через переводчика, — не буду на ночь.

— Это потому, — объяснил мне переводчик, — пать-петь петь, так всюю ночь до утра не перестанеть...

— Чем же лечите от этого?

— Никем... Лекарству такого неть. От ково другого педуга есть. От етова неть...

Тогда же он рассказал мне несколько симпатических, «своих» средств.

1. Едно:

— Едно ставить так: беруть трут от осины или тополя, отрывают кусочек, зажигают и держють межь лезвиев позниц, или еще в дырьку аута (инструмента для скобления кож) вставляють и, зажегши один конец, другим прижимають к месту, где болько. А место ето ральше нащупывають — где болько-та. Трут горять, горить, кожа кругом моршится, стягивается, позницами-то прижимають трут к телу. Потом, если угодишь в ладное место, он

вдруг — тын! — и под потолок улететь. А не ладно — не улетит. На месте поставленного одна станет пятнышко выходить. Дня через два-три на месте одна приклеивают ушканью (заячью) шкурку, вычищенную от меха. Место начинает нарывать, и выходит пакость наружу, и человек поправляется. А ставится едло против внутреннею надрыва — когда человек надорвался.

2. Как лечить вывихнутый палец:

— Если пальчик совсем насторопию вывернут, падоть взять самую тонкую иглу, которой женщины торбасачьють, вдеть несколько волосев, омазать их копотью с печи ли, с камелька ли и прошить несколько раз пальчик. След, как точки, останется на пальчике, а волос вытаскивается, не оставляется в пальчике, и пальчик заживает.

3. Пешка:

— Или вот если человек долго каляться не может, запреть, сал-быть, ему живот, пешку из мыла строгають, для детей маненьку, для взрослых — побольше, и ему пешку ставить. Хорошо помогают...

Когда нет под рукой врача, приходится пользоваться народными средствами: и в России нередко прикладывают дети к порезу древесный лист или лопух, на укус осы — землю, на ожог — тертую мякоть картофеля.

Но в Колымском округе и взрослым приходится прибегать к «своим» средствам.

В Колымском округе на его неизменные семьсот тысяч квадратных километров — один врач при больнице в окружном городе Средне-Колымске. В лепрозории под городом тоже был врач, но сейчас его нет — умер.

Один врач обслуживает и больницу и лепрозорий. Ему помогают два фельдшера. В Нижне-Колымске — фельдшерский пункт.

Только ближайшее к местным центрам население может принимать благоденственную медицинскую помощь. Остальное предоставлено целебному колымскому воздуху и местным навыкам.

Медицинской статистики по округу нет. Нет сколько-нибудь полных, массовых исследований болезней и уровня здоровья.

А такие массовые заболевания, несомненно, есть.

Когда говорят об окраинах, о берложьих краях, где слаба медицинская помощь, — нередко представляется обывателю одно: венерические болезни,

Три буквы — ТВС — бывают, однако, часто более губительными для жителей этих окраин, нежели все прочие опасения.

Для Якутии туберкулез значителен, по Колыма как будто дает возможность меньше опасаться за будущее края: туберкулез не показывает здесь тех богатых эффектов, что наблюдаются в других местах.

Видимо, приходится опять сослаться на целительный воздух реки, тундры, моря.

Нередко говорит человек:

— У сй вся болезнь...

Или:

— Так это она сама болеет...

И эта «своя болезнь» нередко скрывает в себе падуху, первые заболевания или застарелый бытовой сифилис.

Безносных, изъязвленных людей встречаешь, однако, совсем редко. Лепру хорошо отличает население и, как «скверную болезнь», изолирует. Лепрозные попадают в лепрозорий. Но сокрытые хронические, наследственные болезни есть, хотя население нередко само не знает и не умеет различать их.

Думается, что есть семьи, всю жизнь перебивающиеся со «своими болезнями» и не знающие о том тяжелом яде, что носят они в себе.

Думается, что плохая наследственность и незначительный приток крови извне также немало способствуют продлению этих «своих болезней».

Там, где есть врач или фельдшер, — немедленно к нему тянется население. Доверие к врачу заметно возрастает. И не только к врачу — к каждому образованному, к каждому приезжему обращаются жители за медицинскими советами.

К сожалению, не всегда доброкачествен медицинский персонал на наших окраинах, несмотря на солидное вознаграждение и относительно хорошие условия жизни.

Один из «бессмертных фельшеров» в 1929 году читал в одной из глухих, бескоронных заимок, как пропись, женщинам лекцию:

— Когда предстоит родить, по возможности обращайтесь к фельдшеру.

— Не зовите бабок, а если уж позвали, велите им хорошо вымыть руки с мылом.

Бабы поддакивали, как всегда во время выслушивания чужого слова:

— Э-э. Э-э. Э-э-э...

— Ребенка кормите не больше шести месяцев своим молоком.

— Начинайте прикармливать молочком или кашкой жидкой из белой муки...

— А теперь соберите пятнадцать ребятишек, я сделаю прививку от оспы.

Детей набралось в занемке меньше пятнадцати человек, и фельдшер не стал портить ампулу, рассчитанную на пятнадцать прививок.

И в самом деле, стоило ли портить на семь человек целую ампулу?

Дети должны были остаться без прививки.

Тогда вышла пожилая женщина:

— Эта ты што ж эта прикатил сюдя — разговоры разговаривать? Эта — фершелей зовите, эта — бабок не нада, эта — молоком своим не кормите, эта — подкармливайте молочком коровьим да белой мучькой. А прививать тебе — так пятнадцать ребят давай, а то и не привью, знатить. Так где ж я тебе пятнадцать — рожаю, што ли? Так до фершела триста версть ехать. А молочька — ни одной корови неть в селенье... Да ты, да ты...

Смущенный фельдшер согласен был развернуть свою аптечку хотя бы для двух-трех прививок, лишь бы успокоилась гражданка.

Фельдшерская и акушерская помощь нужна населению крайне. Об одном из обычаев, еще недавно существовавшем в Верхне-Колымском районе, рассказал мне мой каюрщик Копстанти Цыпандин:

— Роженица ходила по юрте, за печкой. Ей стали «рубить» дом в юрте же: от столба, поддерживавшего крышу, к другому столбу устроили перекладину-загородку. Обтянули пологом и пустили туда роженицу.

На шестке обычно во время родов варится в котелке сельдячья голова. Муж вошел к жене, сел на кровать. Посидел.

Потом роженица стала за жердь, так что жердь пришлась ей к животу. Муж поддерживал ее под мышки, и так, стоя, походя, «на стойках» — рожала женщина.

Когда ребенок вышел, все мужчины выбежали из юрты, оставили женщину одну и стали молиться на восток. Так полагается по обычаю.

Бабки не было. Ее увез другой человек, сын богатого якута, к своей жене, которая, как потом оказалось, родила через неделю. И никто роженице не помог.

Несомненно, одной из причин большой смертности якутских женщин во время родов и является отсутствие достаточного количества акушерок на местах.

«Своих средств» по Колыме много. Митрофан Ребров тоже знает их. Знают их и Березкин и Бережновы — кто не знает их на Колыме!

Если внутри живот отходит или на руке или ноге изнутри тело отойдет — наклеивают ровдужный¹ лоскуток на больное место. Лоскуток намазывают клеем, а клей на Колыме один. Варят его из плавного пузыря осетра.

Чтобы сварить клей, надо сначала высушить пузырь, затем его «выкусывают», у кого «душа принимает», или толкут. После этого варят клей.

Приклеенный лоскуток держится крепко до того времени, пока не пристает изнутри тело: тогда отпадает лоскуток. А так — «хоть в воде бродись», не отпадет.

Так же ровдугу приклеивают на пораненное место: прорезывают ее мелкими дырками и, намазав осетровым клеем, приклеивают. Тело в эти дырочки втягивается. Когда заживет ранка, ровдуга отпадает сама.

От перелома кости внутрь хорошо давать медь. Медь всегда можно соскоблить с чайника — чайники на Колыме обычно медные. Медный порошок дают больному с водой: медь побродит по телу, остановится на месте перелома и «скрепит» кость.

— Всегда замечам — хорошо помогают медь!..

Хорошо также на рану сыпать «серу». «Серу» добывают от лиственницы: обрывают кору и счищают с коры нижний ее слой. Затем толкут или мелко режут. Этой толченой «серой» и посыпают рану, а поверх покрывают мелко пастроганной «талижкой» — талыжиковой корой.

Через несколько дней снимают «талижку с серой», и с ней вместе вытягивается из раны гной, и рана закрывается.

— Если же нарыв нарветь, нужно положить мышью шкурку нутряной стороной к ранке. Станет она киснуть от своего тепла и тепла тела и вытянет всю дурость из нарыва. А потом и шкурку снимим...

¹ Ровдужный — замшевый, выделанный из оленьей кожи.

В прежнее время, как, случалось, в другом месте объявится зараза — корь, оспа, приехавшего из зараженной заимки никто не встречает. Не выходят встретить и проводить в избу. Так уж было заведено, и все об этом знали. На пороге посыпали золу из печи или камелька, и только когда переходил порог с золой приехавший — его встречали. Считалось, он очистился от заразы.

Теперь вот больших «поветрий», если не считать гриппозной эпидемии весны 1928 года, давшей значительный процент смертности среди местных жителей.

Но и теперь еще против заразы и для освежения избы жгут иллы бабы в избах багульник.

Знахарей по реке не видать; неофициальные бабки бывают. Занимаются они своим ремеслом между прочим, при случае. Получают обычно — что дадут: кусок материи, рыбку, муку или деньгами. Помогают и бесплатно, «из уважения» и по знакомству, «страдающей женщине»:

Во многих случаях и до сих пор (1929) еще лечат от болезней шаманы, несмотря на запрет властей и отобранные бубны. Лечение у шаманов происходит негласно, тайно, в закрытых юртах и избах слепых заимок.

Но это уже выходит за пределы доступной всем «колымской медицины» и переходит в кольцо других явлений — в шаманизм.

ЧЕРНЫЙ МЫС

Как отличить вотарпуса от агента страхового общества?

И. Оренбург

Коня сильно устали: мы шли третьи сутки каравалом, и тяжелые тюки побивали коням спины. Еще не скошенные луга с косарями-якутами часто сменялись теневым леском. И все-таки днем почти нельзя было идти.

Солнце душло. Воздух раскалялся и жег. Приходилось отдыхать от жары и при спаде лучей трогаться в путь в ночь, в росистые, заволакивавшиеся туманом луга.

Утрами выкатывался из тумана шар, круглый, как сыр, и такого же цвета. Просыпались в болотцах аисты, и гуси парами перелетали озера, низко повисая над туманом.

Когда солнце еще не поднялось настолько, чтобы ударить в упор в лицо, мы подходили к хплой усадьбе: впереди, у тропы, в тени кустов, лежали коровы и дымился дымокур: коровы отдыхали от комаров.

Навстречу, из-за леска, выходил другой караван, поменьше нашего. Впереди на белой лошаденке ехал молодой паренъ, за ним шла привязанная к хвосту бурая лошадь. Две последние были пегие.

На последней лошадке сидел человек средних лет, спокойный, с седеющими волосами. Старая волосная шляпа затеняла его лицо.

Караван остановился возле нашего, и проводники вступили в разговоры. Я плохо понимал их слова: видимо, они делились местными новостями. Прикуривали.

Потом седой приподнял в мою сторону шляпу, и седые пряди попеременно с темными выпали из его шляпы. Он тронул повод, и караваны разошлись.

Хотелось спать. Бессонная ночь требовала остановки.

— Откуда эти люди?

— Из Арылаха.

— А куда едут?

— В Сергелях.

— Там, где больной?

— Да...

— В гости?

— Этот старик — шаман, — неохотно ответил проводник.

Первая эта встреча с шаманом была очень давней встречей.

На Колыме мне не пришлось видеть настоящего шамана. Но «шодшаманивающих» встречать приходилось.

На Черном мысу полагалась вторая дневка в пути. Собакам нужен был отдых. Морозы превышали пятьдесят градусов Цельсия. Стояли «ветра».

Каюрчики прятали в шарфы помороженные посылы. Нарты теряли каткость. Приходилось часто идти пешком.

Триста с лишним километров мы ехали уже девять дней. Казалось совсем невозможным, что где-то от Москвы до Ленинграда проходит шестьсот километров поезда в одну ночь.

Дневка в пути — целое событие. День можно отдыхать, работать и быть в тепле. Не надо бежать за нартой,

не надо надевать на себя тридцать одежек. С утра можно встать попозже и записать в дневник все, что упущено за короткие дни пути.

Черный мыс — заимка почти на полпути между Нижне- и Средне-Колымском. Зимой в ней всего три хозяйства; летом на недолгое время рыбного лова приезжают еще несколько и к осени вновь уезжают. К городу от нее идет второй «тракт» — кроме речного — через третий Мятюжский наслег, волоком, «по якутам».

Ближайшие заимки от Черного мыса в пятидесяти — шестидесяти километрах по реке в ту и другую сторону, также же малолюдные зимой, как Черный мыс. Снеговые полотна у подножия мыса. Заснеженный лес сзади. У подъема к селению — прорубь для воды.

Непрочно живут здесь люди по всем этим захудалым заимкам. Часто скочевывают из одной в другую. Летом перебрасываются с места на место, от рыбьего промысла, от хода рыбы. Где идет рыба — туда и кочует селение. Нередко, зимой пустые, избы летом набиты до отказа. Рыба прошла, и вновь пустуют избы.

В Черном мысу, в юрте, у камелька потягиваются бабы. Здесь всего одна русская семья, остальные якуты. Якутская речь слышится повсюду в нижнем течении реки Колымы, от попизовья ее, от устья, выше Нижне-Колымска километров за сорок и до самого города Средне-Колымска.

В отличие от попизовых мест, весь этот район почти исключительно якутский. Юкагиры устья реки Омолопа не знают родного языка: единичные русские семьи свободнее говорят по-якутски, чем по-русски.

У камелька стоят бабы и переговариваются по-якутски. Когда подойдешь к огню, они посторонятся и приветливо заулыбаются.

В голодные годы ушел хозяйский сын на промысел за лосем. Пять дней голодный бродил, разыскивал добычу. На шестой пошел за ним старик отец. Нашел сына в лесу мертвым от голода, на земле. Увидел сына и тут же помер. Так вместе и нашли их мертвыми. Теперь в избе:

— Тута-ка пустые бабы да еще зять старухин..

Открывается дверь, и входит высокий якут. Лицо корпчьево-землисто, крупный нос и губы. Узкие глаза сидят на приподнятых скулах, как рыба на блюде. Вот лицо шамана,

Но это сосед, мирный и почтенный якут Скипа. У якутов постоянные прозвища, и Скира — тоже прозвище. Под другим именем его и не знают.

У Скиры болят зубы.

— Он просит от вас дать ему лекарства, — переводят мне. — Зуби ломить, только холодной водой спаеца.

Скира раскрывает рот и показывает свои пятидесятилетние крепышки зубы. Ни одного дупла.

Скира оттягивает тощую щеку — розовый налет лежит у коренных правых зубов.

— Он к вам просит сказать, што к уху тянет от аубья...

Путешественник должен знать все.

— Можно положить компресс. Пусть слушает внимательно.

Кажется, Скира понял, благодарит и уходит.

Не проходит и получаса, как от Скиры приходят жепщины.

Лица озабочены. О чем-то шушукуются. Посматривают в мою сторону, выжидают.

— Ну, в чем дело?

— Скире плохо. Сильно болько. Как воду холоднююю держит — нятево, терпшт, как выплюеть — не мозно...

Согревающий компресс снаружи и ледяная вода изнутри: приходится отменить лечение. Пусть держит воду, если не может иначе.

Женщина уходит, но скоро снова возвращается.

Зять хозяйки, шаря глазами по полу, нерешительно говорит переводчику. Переводчик провозносит наконец, тоже не смотря на меня.

— Хозяин просит, если мозно, полчаски спирта. Скиру очень плохо. Хотють лечить по своей вере.

Спирт получен, исключительно для больного. Вместе с переводчиком уходит зять.

Вечером спрашиваю:

— Ну как?

— Никого. Не помогат!

— А со спиртом что же сделали?

— Ложку в огонь вылили, чтобы поправиться хозяину, остальное для шамана оставили. За шаманом поехали. К ночи будет. Хозяин тозе просит от вас ложку спирту.

Держа в правой руке ложку, хозяин благодарит, затем подходит к камельку, кланяется и выливает в огонь

спирт. Спим и сироневым огнем вспыхивает мгновенно жидкость.

— Это он, — говорит переводчик, — чтобы промысел хороший был, чтобы лисиц пару хороших добыть!

К ночи без бубенца подкатывает к займке спорал нарта. У юрты Скиры выходит человек в кукашке. Его встречают все, кроме больного. Окна усиленно закрывают со всех сторон.

— Он без бубна и без одежды своей, шаманьской, — говорит хозяйка. — Так будет шаманить...

На небе опять золотые обручи. Нет лупы. Тишина. Звенит снег. Займка насупилась и нависла над рекой, а река спит — закоченевшая, окрепшая, глухая.

В небо воют собаки. Протяжный вой шпрятся в ночь.

Из избы Скиры выходит человек унять собак — не годится, чтобы поблизости выла собака во время камланья...

Из избы тянутся заунывные завывания и выкрики шамана.

— Нельзя слушать, брат, иди в избу, не годится, плохо может быть.

К утру уезжает шаман.

— Как Скира?

— Маненько поспало будто.

Хозяйка — русская. Верит ли она шаману или смеется, не понять. На губах у нее постоянная приветливая улыбка.

Улыбка прекращается лишь на минуту, когда гость кончает есть и благодарит или отказывается от продолжения чаепития.

Тогда лицо сразу меняется. Лицо делается строгим, почти обиженным. Она говорит неизменное:

— Изви-и-ните!

Но, вероятно, это только этикет: можно сказать, губы хозяйки всегда улыбаются, даже когда вспоминает она сына и мужа, погибших в лесу от голода и ужаса смерти. Улыбается — и плачет.

Шаман уехал, и разговоры о Скире замерли.

— Не стразу делаеца человек шаманом. И не на каждого человека «находит». Бывает, живет человек — и вдруг «найдет» на него. И тогда он болет. И на шаманов «находит». Стразу в лице меняюца, ни кровинки в лице, совсем путного лица не стаец.

И уходит тогда человек в лес, в седуху. И ходит несколько дней. Никто не знает, где ходит. А приходит и начинается шаманить. Так шаманом и станет.

Если не хочет стать шаманом, когда на него «найдет», то до тех пор мучит, пока не согласится, а то и совсем замучит человека, что отказываеца.

Может, видали, у кого пальцы бывает скрючены, это бывает после того, как на человека «нашло»: «нашло» — и скрючпло.

Когда на человека «найдет», тогда уже его старый шаман подымает — учит, значит, по-ихнему. И на зенщца «находить».

Самый опасный шаман — утаханка, зенщиппа...

К приезжему па Ружпиковской заимки присоединяется и мой каюрщик:

— А вот мой брят был, не верил шаманам. А у меня ножки болелл, дохтор не вылечил, а шаман вылечил. Впустил и выпустил из ножки дьявола, и дьявол, значит, кровь из ножки сосал и высосал. И оправился.

А брят не верил. А шаман говорит: «На тебя паговорили, и во тебе скажу — бописья ты ножа, води да ешо ружья. От них и помрешь летось».

Брят ешо говорит: «Верно сказал — боюсь води, в вожом было раз чуть не порезался насмерт. А ружье — мой товарищ, брось болтать, старик!»

Прошрое лето пошел на охоту, под угор по песку скатился, и его же ружье его и убило. Враз в сердце попал себе. Так и нашли.

Хозяйка опять улыбается и отворачивает испуганные глаза. Ружпиковский парень добавляет:

— А воть у Шкулева работник работал, ногой болел, — шаман-та из него черва выташил. Во черв, говорят. А шамана-то не узнаешь на харю, мимо пройдешь: што шаман, што человек — одинако...

Суеверные слухи ползут вокруг разговоров. Кто и не верит, но сказать о том прямо не решается:

— А вдруг што...

И это — «вдруг што» — постоянное, неожиданное, скрипает рот. Человек молчит. Как пойти ему против шамана, против суеверий, примет, атому почти дикому, неграмотному заимчанину?

Снег под угором Черного мыса. Черные стволы, и камень на берегах. В горах — мамонтовый бивень, медведь

болота, каменные рога лося. Внизу — река с измепчявой рыбкой:

...а вдруг не уродит рыбка...

...а вдруг подомнет медведь...

...а вдруг наступит ногой лось...

...а вдруг голод, болезнь, смерть...

Здесь нужны школы, больницы, психологи-агитаторы, хлеб.

О ЗВЕРИНОЙ ТОСКЕ И КОРОБОЧНОМ СЧАСТЬЕ

(Мысли, наброски во время дневки в Черном мысу)

— Меня ты люби-и-ть?

— Люблю ль я тебл; а зачем это тебе знать?

— А я ведь тебя люблю.

Из колымских разговоров

Никогда я не думал быть на Колыме.

Места эти — якутские реки — школьнику казались недостижимым миром. Ледяное кольцо — ссыльные города.

Теперь нет ссылки у якутских рек. И ледяные города, побережье, собачьи снежные дороги, почевки под небом — простейшая «забыль дней».

Юрта, ледяные окошки, сырые языки огня — камельки.

За стеной — тысячи пустых, безжизных, немереных верст. Кочки, горы, лески — сендуха.

Из дневника

...Вокзалы... я сидел за столом с длинной белой скатертью. До поезда оставалось часа три. В зале было много народа, и официанты торопились. Официанты слегка прикрикивали, извиняясь среди столов, с подносами, с грудой тарелок. Как грузовые корабли, проплывали к столам блюда, стаканы с чаем, бутылки пива. С пустым топнажем уходили обратно пустые тарелки, соусники, миски.

У этого молодого официанта было особое, возбужденное лицо и почти жестокий окрик.

Каждый раз, еще не спустившись со ступенек кухни в зал, он начинал свое приподнятое извинение:

— Вёноват!

Он проносился среди стульев, осанкой своей выражая опасность для полусонных граждан. Впереди его летели поднос и сокрушающее:

— Вёноват, вёноват...

Казалось, он наслаждался своим боевым видом, своей изворотливостью, ловкостью, изысканным обращением и талантливо вклеенным в народное слово ударным «ё»:

Вёноват, вёноват, вёноват...

Мне удалось подметить детали, и это повторялось аккуратно при каждом его выходе в зал (это забавляло меня); первые два слога он непременно проносил за рубежом посетительского зала, и только третий слог приходился на вторую ступеньку лестницы — на вторую, так как третью он пропускаял каждый раз.

Затем, уже в зале, он дважды повторял свое извинение, затем проносился несколько шагов и повторял его трижды, теряясь на повороте во второй зал.

Так и шло: плохо слышное: «вёно», ясно слышное: «ват»... — ступенька вторая и первая. Затем подряд: «Вёноват, вёноват». — И через несколько шагов: «Вёноват, вёноват, вёноват...».

Его лицо — лицо дельца, мелкого спекулянта или хозяина механической мастерской. Маленькие усы и прямой пробор прилизанных волос над небольшим бугристым лбом и носом; зубы у него были плохие, несколько недохватывало спереди, по оп нимало не смущался этим.

Его полные губы были наглы и чувственны — он, наверное, был донжуаном.

Да, да, подождите. Если это даже и утомительно, то все же не могу говорить иначе. Если бы я давал вам тему для рассказа, я сказал бы ее в нескольких словах, но я рассказываю свою жизнь и, следовательно, не могу ничего вычеркнуть.

Вокаалы... Вокзал был всегда остановкой, задержкой в пути. Кажется, на вокзалах только и успевал я думать. Но о чем же я думал в этот раз?..

Из неоконченной повести

Мне снился вокзал неопишуемой величины.

Из неписанной повести

Люди живут теперь на фабриках, на вокзалах, в банках, в кинематографах.

Из Эренбурга

Ганьке восемь лет. На столе перед Ганькой — озеро. Куски старых нптяных сетей обводят его берега. Нптки пыжятся, как губка: это кустарник.

По озеру плывет на ветке охотнпк. Человек — расщепленная на две ноги лучинка, ветка-стружок — тоже лучинка. Впереди, на мутной глади озера-стола, — мелкие деревпшечки: охотнпк подпльвает к уткам.

Но на озере, кроме уток, — журавли. Они нежятся па песке — вить журавлей. Их сразу видно — они мпого крупнее уток.

Охотнпку непнтересно бить журавлей. Их не едят. Утки — другое дело, жирные, крупные турпаны. Охотнпк пробпрается к ним сквозь осоку.

Два короткпх выстрела. Утки вздымаются, по три остаются на воде: они подбиты. Якут нпкогда не промажет: якут — хорошпй охотнпк. Он подбпрает уток и едет па берег. Журавли испугались выстрелов и улетели.

— У-урлы, у-урлы...

На берегу из щепок костер. На костре чай. Охотнпк пьет чай и ест утку, жаренную на вертеле. Потом он ложптся рядом с веткой и спит.

Но вот охотнпку захотелось лосиного мяса. Он идет па лося — на сохатого.

Сразу меняется декорация. Коробка — горы, камень. Сеть — возышенпость, покрытая лесом. Охотнпк видит лося. Его задержали собаки. Лось тоже кричит — Ганька меняет голос.

Часами смотрю за Ганькой. В пграх его пет лошадок, солдат, сраженпй. Сохатпй, утки, неводьба, сети, лебеди. Крик птицы, зверя, грохот выстрела. Ганька — дикарь-ныш, он не умеет даже читать.

У матери его темные глаза и измученпый лоб. Целые дни она работает по дому. У сестры ее, Марины, карпо лупчстые и пугливые глаза.

У лося, вероятно, такие глаза.

...Нога скользит, как у лося.
Она мне улыбуулася...

Из записной книжки

Этим летом в Абрамцеве я глядел па клены сада и на покойные кресла. Вот у Аксакова было время, чтобы подумать обо всем. Его переписка с Гоголем — это неторрвливая опись души и эпохи. Что оставим мы после себя?

— Вёноват, вёноват...

Казалось, он наслаждался своим боевым видом, своей изворотливостью, ловкостью, изысканным обращением и талантливо вклеенным в народное слово ударным «ё»:

Вёноват, вёноват, вёноват...

Мне удалось подметить детали, и это повторялось аккуратно при каждом его выходе в зал (это забавляло меня); первые два слога он непременно пропущивал за рубежом посетительского зала, и только третий слог приходился на вторую ступеньку лестницы — на вторую, так как третью он пропускал каждый раз.

Затем, уже в зале, он дважды повторял свое извинение, затем проносился несколько шагов и повторял его трижды, теряясь на повороте во второй зал.

Так и было: плохо слышное: «вёпо», ясно слышное: «ват»... — ступенька вторая и первая. Затем подряд: «Вёноват, вёноват». — И через несколько шагов: «Вёноват, вёноват, вёноват...».

Его лицо — лицо дельца, мелкого спекулянта или хозяина механической мастерской. Маленькие усы и прямой подбор прилизанных волос над небольшим бугристым лбом и носом; зубы у него были плохие, несколько недохватывало спереди, но он нимало не смущался этим.

Его полные губы были наглы и чувственны — он, наверное, был донжуаном.

Да, да, подождите. Если это даже и утомительно, то все же не могу говорить иначе. Если бы я давал вам тему для рассказа, я сказал бы ее в нескольких словах, но я рассказываю свою жизнь и, следовательно, не могу ничего вычеркнуть.

Вокзалы... Вокзал был всегда остановкой, задержкой в пути. Кажется, на вокзалах только и успевал я думать. Но о чем же я думал в этот раз?..

Из неоконченной повести

Мне снился вокзал неопишуемой величины.

Из неписанной повести

Люди живут теперь на фабриках, на вокзалах, в банках, в кинематографах.

Из Эренбурга

Ганьке восемь лет. На столе перед Ганькой — озеро. Куски старых шитых сетей обводят его берега. Нитки прыгают, как губка: это кустарник.

По озеру плывет на ветке охотник. Человек — расщепленная на две ноги лучинка, ветка-стружок — тоже лучинка. Впереди, на мутной глади озера-стола, — мелкие деревящечки: охотник подплывает к уткам.

Но на озере, кроме уток, — журавли. Они нежатся на песке — пять журавлей. Их сразу видно — они много крупнее уток.

Охотнику неинтересно бить журавлей. Их не едят. Утки — другое дело, жирные, крупные турпаны. Охотник пробирается к ним сквозь осоку.

Два коротких выстрела. Утки вадымаются, по три остаются на воде: они подбиты. Якут никогда не промажет: якут — хороший охотник. Он подбирает уток и едет на берег. Журавли испугались выстрелов и улетели.

— У-урлы, у-урлы...

На берегу из щепок костер. На костре чай. Охотник пьет чай и ест утку, жаренную на вертеле. Потом он ложится рядом с веткой и спит.

Но вот охотнику захотелось лосиного мяса. Он идет на лося — на сохатого.

Сразу меняется декорация. Коробка — горы, камень. Сеть — возвышенность, покрытая лесом. Охотник видит лося. Его задержали собаки. Лось тоже кричит — Ганька меняет голос.

Часами смотрю за Ганькой. В играх его нет лошадок, солдат, сражений. Сохатый, утки, неводьба, сети, лебеди. Крик птицы, зверя, грохот выстрела. Ганька — двкареныш, он не умеет даже читать.

У матери его темные глаза и измученный лоб. Целые дни она работает по дому. У сестры ее, Марины, карие лучистые и пугливые глаза.

У лося, вероятно, такие глаза.

...Нога скользит, как у лося.

Она мне улыбнулась...

Из записной книжки

Этим летом в Абрамцево я глядел на клены сада и на покойные кресла. Вот у Аксакова было время, чтобы подумать обо всем. Его переписка с Гоголем — это нетопливая опись души и эпохи. Что оставим мы после себя?

перасчетливости: каждый день простоя судна стоит государству многих и многих рублей.

Завтра вместо лодмана станет для промера на мостике с правого борта с длинным лотом матрос. Весь он сколочен из брезента и мускулов. Он станет мерно раскачивать лот, опуская его до самой воды взад и вперед, потом сразу закинет руку и выбросит тонкие кольца бечевки. И мощный, здоровый голос матроса, примеряясь к тишине утра, будет отсчитывать:

— Де-вят-над-цать...

— Во-семнад-цать...

— Сем-надцать...

И вахтенный повторит ему все названные цифры, добавляя к каждой: «Есть!»

И снова свернет лот:

— Пятнад-цать половинок...

И в машинном, подавая пар, грянет вверх, к капитану, проворное:

— Есть, полный вперед!

Тогда пароход пройдет бар п ровными водами богатейшей реки прибудет к северному ее центру, к новым людям, укладу, селениям, жизни...

ЧЕЛОВЕК БЕЖИТ ПО СНЕГУ

ЧЕШУЧАТОЕ СЕРЕБРО

Перед нами река — это Колыма.

По берегу идет человек, низко припадая к земле.

Спина его вполоборота к реке, пятки вывернуты вдоль берега. В напряженных икрах, в сухой жерди фигуры, в отклоненной голове — нарастающий упор.

Плечо его мнет веревочный урез; и каждый раз, как он делает шаг вперед, пытаясь упасть на землю, урез оттягивает его назад и отворачивает плечо; и на десятую секунды человек висит в воздухе.

За ним, совсем у воды, медленно переступает девушка. Руки ее, раскачиваясь, собирают в кольца бесконечные сажени мокрой веревки; и при каждом взмахе от напряжения вадрагивают по-детски вздутый живот и голые под высоко подобранной юбкой колени.

Вместе с коленями ходят ноги в незатейливом танце, оставляя на береговом иле расплюснутые следы.

Это рыбак Иннокентий с дочкой своей Манькой.

Невод, недавно черневший поплавами у середины реки, быстро идет к берегу. Как рыба голова, показались двойные веревочные уши и первые сетки крыльев; руки перебирают тетнау — и гибкие тельца рыб, сверкая над головами рыбаков, летят в развалистый, пригнанный к берегу карбас.

Дно застилается трепещущим, звонким, остро пахнущим серебром. Серебро растет, затопляет лодку.

С пригорка бежит Ванчурка, рыбацкий сын. Его загорелые ноги сверкают, как тельца рыб. Он тащит плетеную тальниковую корзину-пещеру; и пещера, так же как лодка, быстро наполняется серебром. Это первая сельдь — осеннее богатство низовой Колымы.

— Ну как, хозяин? — говорю я, подходя к рыбаку.

— Здоёво, здоёво, добыё пожаевать...

— Ну, как промышляете, промысел-то как?

— Нет!

— Ну, а эта рыба-то?
— Так это она по-пустому, бьют ты мой.
— Ну все же, вижу я, промысел у тебя неплох, Иннокентий.

— Никого, совсем, бьют, никого, — возражает рыбак, — совсем маменько. Да вы льходите-е в дом-та! Ванчурка, веди-та, львожай гостей в дом! Чайку стакаштик...

На голове Иннокентия, как у всех мужчип, ситцевый платок. Ворот расстегнут. Крупный пот делает горбоносое лицо маслянистым и суровым. Он похож сейчас на пирата.

Недавно окончились бессмертные солпечные дни, п до спх пор еще тянутся белесоватые медлительные ночи с молодымп, холодными, как свежий огурчик, зорями.

Ванчурка бежит впереди, указывая дорогу. Две малепькие деревянные юрты спританы в тальниковом кустарнике. Стены их густо-коричневы от глины. Вместо двери на отверстии в покатой стене оленья шкура.

Под кустами к кольям привязаны собаки. Большой котел опрокинут у самого входа в дом. Над плоской крышей на пряслах сушится мелко нарезанная мякоть рыбы — юкола.

Юрта Иннокентия — летнее и зимнее его жилище — не больше двух квадратных саженей. Наклопенные стены суживают кверху свободную площадь. В углу отец рыбака чинит сети: па заимке уже готовятся к зимнему лову.

За чаем Иннокентий рассказывает новости. Сейчас по всей дельте один разговор — сельдятка. Через месяц он сменится другим интересом — собаками. Рыба и собаки — это стронила попизовой колымской жизни, с которых смотрит рыбак и охотшк-пушник па свое настоящее благополучие.

Затоппены розовым мясом нельмы п муксупа лдственничные погребя, желтеет в банках из-под керосина яптарь чпрового и сигового жира, увешаны амбары вязками вяленых и копченых сппнок и рыбьими костяками — сухим лакомством собачьего стола, набиты хрупкими сельдячьими тушками деревянные срубы-ящпчки и ящпчки изо льда — сайбы, значит будет чем угостить с дороги промерзшего гостя, будут собаки легки и епльны для объезда ловушек на серебряного песца, горпостая, лисицу и поездок в гости за сотни верст на подвижных, как тундрной ветер, полозьях собачьих парт.

И будет радостен и уверен взор промышленника от сытого тепла и настойчивого труда дней рыбьего хода.

Но не каждый год изобилует рыбой, и не каждый дом богат сетями, неводами, ловушками на зверя, ружьями и силой здоровых рук. Жесткая конкуренция — борьба за ближайшее утро, суровость природы требуют непокладного упора; и особенно трудно все еще приходится бедняку.

Собаки отнимают хорошие две трети рыбного улова, зимние снега, пурги и морозы берут почти девять месяцев года. Бедняк не может нанять рабочего, и держать двадцать — сорок собак, и ставить пасты по берегу Ледовитого моря.

Жизнь создала здесь свой круг, свою машину времени: чтобы иметь пищу и прокормить собак, нужна рыба, хороший улов требует хорошей снасти, стоящей значительных денег, а деньги можно достать от хорошего зимнего промысла пушнина. Но пушнину может добыть лишь тот, кто имеет хорошие нарты, собак. И снова начинается: для собак нужна рыба, для рыбы нужна снасть.

Как у полного сундука богат, — стоит бедняк у реки, чеканя свои мелкие монетки рыбьего серебра и не слыша за кругом своего затрепанного невода зычного голоса мопетного двора.

Невод короток. Неводу не дойти до играющей быстрины, где вольным ходом кувыркается тяжелая, многолетняя рыба. Сети слабы и тощи. Урезы тонки и непрочны. Но каждый рыбак владеет разлапым карбасом-лодкой, по протянуть руку соседу, но соединить жидкие неводные сетки в сплошной общий невод, чтобы пойти на это проплывающее фарватером серебро, так же трудно, как трудно чужестранцу через газетные столбцы увидеть и попить незатейливую на вид мировую глубину наших дней.

И так же особняком, как заплата от заплатки, отдельными всходами, отдельными питомниками, часто с половинным и менее неводом, прозябают издревле осевшие здесь семьи с расточительнейшим гостеприимством и скупой замкнутостью в своем хозяйствовании. Впрочем, и здесь время делает шаг.

За столом, кроме меня, еще один молодой гость из Крепости, из Нижне-Колымска — пионер Сеня. Якутская кровь прошла в его глаза косыми лучами. Волосы его коротко острижены и позволяют видеть всю прекрасно

развитую черепную коробку. Зимой Сенья учится во второй ступени в школе города Средне-Колымска, за пятьсот верст от дома. Он один из первых учеников своего класса и исключительно толковый переводчик с якутского языка. Рядом с ним сидит хозяйский Ванчурка с вишневым ртом и коричневым румянцем под лукавыми глазами; старшему сыну, хотя бы и десять лет, всегда уважительно и место за столом, потому что десятилетний парнишка уже помощник в хозяйстве.

— Вот эти, Иннокентий, — говорю я, указывая па ребят, — обгонят тебя. Знатные рыбаки будут, да и ловить в сетку станут не только сельдятку. Им и дорога, им и будущее.

— Так и будет, — тянет Иннокентий, равнодушный к моим словам и ласковый к сыну. — Помощник ястот, помощник под стаясть.

— Ну, а ты, Сенья, что скажешь?

Глаза Сени вспыхивают:

— А ероплаи, Кондаков говорил, будет, а?

— Ероплаи? Да, пожалуй, уже в этом году не будет, поздно. Ну не печалься, прилетит на будущий.

— Так на будущий год взаправду прилетит?

— Взаправду, Сенья, взаправду.

У окна на скамье копошится дед. Рука быстро снует в волосяной плетенке сети. Молочно-голубые его глаза никогда не увидят этого полуфантастического, ожидаемого здесь всеми аэроплана таким, каким взлетает он в Сенином воображении.

Старый рыбак видит только сети, в которые уловлена была вся его неказистая трудовая жизнь.

— Сельдятка, сельдятка, што и нельма, што щокур, всего пынце меньше, всякой рыбы, взабыль говорю, всякой рыбы...

Река бросает под нос катера зеленые поляны приморской воды.

— От запада до стока, — говорит ламут лоцман, — здесь кочки — калтус, тундра; так она и пойдет до моря. Вон та гора — Пантеленхинская, двумя горбами, а за ней Камень по всему стоку и к Омолон-реке. Там, на Камне, ламуты и кочуют.

Камнем называют местные люди гористую местность востока — правый берег Колымы. Камень — это общее на-

звание гор. Во многих местах отроги этого Камня выходят на реку срезанными и обнаженными на ветрах породами.

По берегу, на восемьдесят верст вниз от Нижне-Кольмска, к морю бегут чахлый лиственный лесок и тальник. Дальше они круто падают, переходя в низкорослый ерник — карликовую березку.

На больших пространствах одна от другой отмечают заимки свою промысловую жизнь развешанными на вешалах рядами неводов и одинаковыми картинками рыбацких будней.

Волочок, Ермолово, Ямка, Кресты, Каретово, Родника — все эти преимущественно русские селения почти бесшумно, дни и ночи, выезжают на сельдячьи тони на утлых, как рыбка, карбасах. Мужчины в засученных штанах и женщины в подобранных юбках повсюду выбрасывают из лодок не успевшие просохнуть невода, гребут к середине реки и, не достигая ее, уходят к берегу. И за ними покорной тенью выходят на береговой песок отягченные рыбой невода.

Часто мальчишки десяти — двенадцати лет и девочки-подростки заменяют с успехом взрослых. В большинстве это лятчики, те рыбаки, что остаются на берегу и тянут береговой урез невода. Лица их серьезны и важны от возложенного на них занятия. Жалкие одеяния из ситца или ровдуги, подобия грубой оленьей замши, покрывают коричневые фигурки этих молодых рыбаков.

На разветвлении русла нас покидает ламут лоцман. Он садится в легчайшую «ветку» — лодку, шитую из тонких досок, — и ударами двуперого весла резко бросает ее вперед.

— Прощай на час, — машет он шапкой, — зимой увидимся в Походске.

Вечер приводит к повою заимке, вернее — к вешалам с неводами. Самой заимки не видно: ее скрывают тальники. Нужно пройти густую пахучую зелень, чтобы глазам предстала все та же единая рыбная пидилля осенней промысловой поры.

Рыба, рыба и рыба. Кажется, каждый сучок приспособлен здесь для промысла. Над плоскими крышами рубленых домов, на жердях между домами, под навесами и на солнце вялятся копченая и сушеная рыба: кость для собак и мягкие, сочные спинки для людей.

Эта сушеная рыба — юкола — первое угощение при каждом чаепитии, заменяющее хлеб, дает легкий, щеко-чущий носдрп запах жира. Им пропитаны воздух, жильс, одежда. Но свежая, истекающая соком юкола исключи-тельно нежна и приятна на вкус.

Наряду с ней, продетые на талпки по десять штук в кольцо, вывешиваются свежешпойманые сельдячи за-пасы. Мальчишки, вооруженные ножами, вместе с женщи-нами, присев на крыльце, продевают бесконечные десятки сельдяток на срезанные пучки тальника. За ними с не-устанным вниманием следят собаки.

Подлинно, не только умы людсй, но и собачье мыш-ление покорены одним гипнотизером. Серебряный, порой розовато-зеленый, плавкий, упругий и превыше всего скользкий — упустишь время, не поймаешь — металл властно владеет заимкой.

Доменные печн — его закопченные котлы — отлпвают приторно-желтым жиром. Собачьи кормушки — выдолб-ленные стволы крупных деревьев — до краев наполнены ухой, которой позавидует не один бедняк; и двадцать от-борных мохнатых едоков не перестают погружать в них свои острые разномастные морды.

Накормив собак и привязав их в тени кустов, рыбаки пдут высматривать рыбу. Заимка стоит при впадении озерной вписки¹ в полноводную протоку реки. Виска всего саженой в двадцать — двадцать пять; и вся она попереk пересечена густым плетнем запора езом с двумя воро-тами, куда вставляет рыбак хитроумный мешок — мережу для рыбы, на которой выхода ей нет.

От откоса, цветущего редкой спреновой полярной ро-машкой и шиповником, карбас с двумя рыбаками одну взмахом доходит до ворот. Рыбак-старик проворно поди-мает легкие жерди мережи, и почти черный от густоты узел с рыбой падает, сверкая, на дно карбаса.

Здесь рыба значительно крупнее сельдятки: преим-ущественно чир — одна из самых вкусных и жирных озер-ных рыб полярной Колымы.

Седой рыболлов опускает руки в студенистую, перелп-вающуюся цветами воду и потряхивает головой.

— Добрый ез мы соорудили в попешнем году, погля-дим-та еще перетягу.

¹ В и с к а — речка, вытекающая из озера.

Перетяга — длинная сеть, как певод, и пмя свое посит она потому, что надлежит ей перетягивать речки с берега до берега, подставляя свои прыднине ячейки под верткие головы плывущей на ное рыбы.

Перетяга — хищническое орудие, пстребляющее рыбные занасы и обесценивающее водоемы. Но надо вспомнить о том, что на одного человека приходится в этом изумительнейшем округе по сто километров земли, чтобы дать спокойно радоваться глазам новым и новым пудам рыбы, играющей в ячее, и в корзпнах, и в грубых рыбацких руках.

— А знаешь, — говорит мне рыбак, провожая меня в избу, — дедушка-та, медведь, тоже рыбу уважает. В за-прошлом годе он перетягу лапами выбрал, рыбкой те-шплся.

— А собаки что ж?

— Собаки прошлой год тошпие были, одни коски¹, рыба плохо шла. Они не слышали, знать. Да што собаки! Этот старик, бьят ты мой, башковатый. В Байкове-та в амбар забрался, а собаки на него. Так он собакам рыбу разбрасывает, штобы его не трогали — не мешали, значить. Ну, поел и ушел, значить...

— Что ж ты его, старик, не убил? Ты ж хороший охотынк.

— Дедушку-та? Што ты, бьят мой, я его не трогаю; он сам по себе, я сам. За што мне его обижать!

Голубой почью спит берег. Тишпна необъемлема. Воздух медвянен, и хрусталь неба такой топкий, что можно словом разбить его звонкую стройку. В двухстах сажениах вверх неводят рыбаки. Это соседи седого деда.

На вешалах покоятся невода с деревянными тарелочками поплавоа. С виски налетает ветер. Он ударяет по вешалам, и тарелочки поплавоа пачинают постукивать друг о дружку.

ОСЕННЯЯ ЧАСТУШКА

Река подмывает берег, и берег, вздымаясь над ней, как конь, рушится в мутные воды. Вместе с ним рушится тальник, любовный тальник, незатейливая сень колымской любви.

С моря пдет осенняя тугая, мутная волна.

¹ Коски — кости (местное).

На берегу — девичьи платочки, алые завитки частушки, баян, смех. Волна с моря несет белые завитки пены; она бьет в сходни и липкими пластинами ползет к берегу, к девичьим голосам, баяну...

Куда, миленький, проехал?
Дарагая, по воду.
Но простынь смотри, милый,
По такому холоду...

Бондарное царство бочек, мучные тюки, скрытые от непогоды брезентом, сарай сквозняком на все четыре стороны, и соломинка мачты — под серым и лабухишим небом сутулятся Нижне-Колымск. Бренчат поплава неводою. Ходит по улицам Нижне-Колымска баян. Сегодня нет промысла: вода прибывает. Девчата стоят у сходней. Волна бросает под ноги широкие пригоршни воды. Тяжелым стоном дрожат мостки. Девчата с криком и смехом бегут на берег.

Замочу я сетку редку,
Приведу концы назад,
Возьму муза комсомольца,
Никаму не угадать...

Баян уходит все дальше в глубь селения. За ним бежит меж домов курчава частушка:

Приходи, мой корабель,
Нечева бояца...

Голоса гаснут, слабеют. Я уже не слышу ясной оторочки строки. Я только догадываюсь по памяти:

Папя, мамя дома вет...

И еще дальше, совсем на краю села:

Будим человаца...

Я смотрю на берег, на облака, на хмурую Колыму.

Нижне-Колымск, почти на самом расщеплении богатых протоков, встает неоспоримым центром низовой Колымы. Вся дельта тяготеет к его факториям, к его фельдшерскому пункту, к его административной и культурной вышке.

Собственно говоря, это маленькое село, с тремя-четырьмя десятками домов, с отживающей свой век церковью, с нарождающимся клубом и зачатками общестственности. Но здесь это почти город.

В школе вместе с первостепенной грамотой расцветают веселые обои, все в мелких цветах. Шинель милиционера, сельсовет, плакат о спектакле и общем собрании по выборам в окружной съезд, постовой у складов пушнины, и качающееся на столбе объявление:

*После десяти часов вечера
на улицах Нижне-Колымска
воспрещаеца всякое сквернословие*

и клубный, пенный перебойми баян:

Эх, мплочка моя,
Како ласкова,
Из кармапа моппасье
Павы-гас-кивала...

Да, каждому пришельцу из тундр западной и восточной, с кочки, с висок, со скудных заимок, со всей широкой поднебесной нижнеколымской сендучья — и этот плакат, охраняющий тишину, и околыш полуграмотного милиционера, и копченая на свече печать сельсовета — все говорит: здесь центр, ось, Крепость.

Но, кроме местной власти, культуры, просвещения, кроме десятков плоскокрышых рубленых домов, кроме отживающей церкви, кроме спектаклей — Нижне-Колымск своего рода порт.

Сюда приходят ежегодно пароход из Владивостока и шхуны из Америк с товарами¹ на весь год, и отсюда увозят они ценнейшую рухлядь — песка, белого медведя, белку, горностаю, лисицу, вместе с эмалевыми рогами мамонтовых клыков.

И к пароходу на легчайших ветках и карбасах окрест выходят заимчане за мукой, новостями и работой. Сходни врезаются в реку и дрожат под многими торбасами. Мешки, ящики, тюки громоздятся на берегу, сортируются и плывут на баржах и кунгасах вверх, против полноводной стихии реки, на длинных буксирных канатах, подхваченных жалким, вечно ломающимся катерком.

Лица грузчиков, выколачивающих здесь изрядные куши за короткое, хмурое нижнеколымское лето, несут на себе отпечаток разномастных племен и кровей, пестрят причудливой экзотикой Севера.

¹ Колыма еще в 1929 году снабжалась частично американскими товарами и продуктами, частично — отечественными.

Все они под ситцевыми платками, нередко в сетках от комаров — этого июльского и августовского бича, в рондужных или ситцевых рубашках, в торбасах. В большинстве они на вид слабосильны.

— На рыбке, все на рыбке мы, вот потому такие и слабые. Ваши-та, расийские, на мясе да на молочке. А мы на рыбке.

Но, слабые на вид, они грузят товары круглыми днями пароходных стоянок и стоянок катеров, плавающих вверх, к Средне-Колымску, окружному центру и городу с семьями жителей. И, глядя на них, и на сходы, и на пароход, врезанный в стекло воды, ходят по берегу девки с подчekiвающими песенками. И им смеются парни, весело скидывая на потрескавшуюся землю мешки.

Дайте ходу пароходу,
Распустите паруса,
Я люблю вашу пароду
За кудрявы валаса...

Язык всего попозовья мягок. Детский смягчающий лепет вплетает в него певные интонации. Согласные искажаются против всякого здравого смысла. Старые слова, изжитые веками, взрывают тишину колымского воздуха. Здесь не говорят, а поют на растянутых тончайших выдыхах. Вычурность слога так же естественна, как вычурность холодного, не сменяющегося летом, круглосуточного солнца или зной — расшитого лентами малахая.

Сапка — белый кондырок,
Валя, муйко кипелек..

Попробуйте поговорить с девушкой, которой принадлежит эта частушка.

- Чья ты, девочка, будешь-то?
- Я-та-а?..
- Ну, ну — ты...
- Чья-та-а?
- Ну да, да, чья будешь-то?
- Буду-та?
- Ну да, будешь чья, говорю. Имя-то твое как?
- Имя-та?
- Ну, пмечко, пмечко?..
- А затем тебе знать-та?
- Да как же, без пмечка-то неудобно.
- Нитево, шолнце тоже без иметько ходить...

— Ну, лу, говори уж: Пацька, что ли?

— Па-а-ацька — неть! Пацька Шкулевска! Налетова я...

— Так ты Дуня, значит?

— Дуня-я-яцька, грех тебе! Дуляшка Петки Березкина!

«Петке Березкину», несмотря на фамильярное «Петка», пятьдесят с лишним лет.

— Так ты Василиня, что ли, дочка-то?

— Э...

— Маля?!

— Неть, Маля — моя нянька. Пелага-а.

— Пела-а-га, — тяну я, успокоившись и насладившись разговором, — Пелага!..

— Э-э, — подтверждает Пелага.

«Э» — это значит «да»; на Колыме нет утверждения «да». Оно заменено многосторонним «э». «Э» колеблется от смысловых интонаций, удлиняется в удивлении, отсекает коротким отрывом негодование или погибает крючком вопроса, как будто говоря: «Да неужели?».

Слова живут здесь своим смыслом, своей автопомней, своим разгоном несется понизовая речь.

— Я-от вас спрошу: затем небо зимой горить?

Небесные пожары северных сияний только еще начинают выбрасывать в небесные моря перья своих лучей. На порде изогнутый хвост павлиньего наряда. Острием он воткнут в крайнюю избу села.

Пелага, наверное, не поняла моих объяснений. Ей, с ее узким лбом и скуластыми щеками, проще и веселее слушать «вяселе» разговоры.

— Что ж, ты замуж, говорят, выходишь?

— Неть.

— А эта тетка у вас в доме кто ж будет?

— Економка дяди Кешу.

— Економка! Что ж это значит — економка?

— Ну, стряпка!

— Стряпка? Это еще что?

— А ну вас! Ну, стряпка, а не жена, ачапть.

— Не жена, вон оно. А мальчик у вас чей будет, твой, что ли?

— Грех! — отворачивает Пелага румяные губы. — Ильяшки мальчик.

Я уже знаю, что значит «нянькин». Нянькой называет младшая сестра старшую.

- Значит, сестри. А отец ребенка уехал, что ли?
- Неть.
- Умер?
- Не-сть.
- Так где ж он?
- Не-е-сть.
- Так как же: «неть» да «петь»?..
- Да отца с первого раза не было.

Лицо Пелаги обычно строго, и обычно лукавы ее глаза. Ноги ее в узеньких расшитых калипниках притоптывают на месте:

Полдаски впа
На полдаски воды!
Говорила я милому,
Стоб пощае ходил...

Опять частушки, опять шум воды с реки, ветер и на угоре — баян.

В воскресенье вечером
Лампадка горела,
Посто, милый, не присол,
Я тебе велела...

Пелага смеется мне в лицо широким смехом.

Камуппст, камунист,
Сережька блуска,
А со мной любовь вести —
Эта не пгуска...

В тальниках собаки заводят падрывным голосом свои хоровые песни. Они предчувствуют близкую зиму.

Река отступила. С трудом пристают сейчас к мосткам на листовничных козлах кунгасы последнего каравана, пришедшего сверху.

Промысел рыбы затих. Неводьба кончена. Главная сельдь прошла. Отдельные хозяйства ставят поперек реки прыдевые сетки невода; и в эти неводные сетки обяччвается последняя рыба.

Вода холодна. Фигуры рыбаков скрючены. Босые ноги и голые руки сизы. По берегу ветер режет тальник. Но утро свежо и прекрасно.

В такое утро хорошо пройти на озеро, за село. Мелкий лесок и тальники подходят к нему полукругом. За ними — кочкарник, калтус, болотца, тундра.

За эти дни озеро опустело, как дача, брошенная дачниками. Боярышник повял вперемежку с опавшим «ши-

лезником* — шиповником. Морковный налет лежит па
лиственнице; пахнут сыростью прибитые морозным утрен-
ником тальники; и только ерик рассыпался мелкими бу-
сами листьев среди лиственницы, тальника, боярышника.

На этом озере всегда бывают утки; на это озеро всегда
ходят жители Нижне-Колымска охотиться — баловаться.
Утка здесь пуганая, обойти ее трудно; нужно, пригибаясь,
прокрадываться сквозь тальник.

Тропинки пробиты у берега, за тальником и шиповни-
ком. В осенней жаровне неба плавится сизое облако.

Под самыми ногами прорезывает воздух пара крыльев.
За ними вторая пара, еще и еще. Инстинкт толкает ко-
леня к траве. Я почти ложусь и вижу в двадцати шагах
табунок уток. Их называют здесь острохвостками.

Табунок кружит над водой, приподымается и с раската
чуть пенит воду. Кажется, с полетом птиц пригнал ветер
горячий воздух. Удары в груди тяжелеют, и ноги сами
крадутся к добыче — кто не знает неповторимой этой че-
ловеческой страсти охоты?

В самый удар ружья утки взлетают дружно влево от
кругов дробя; но одна из них кувыркается, ныряет и вновь
показывается на воде. Она торопится к берегу, к осоке.
И рука спешит помешать ее ходу: рука торопится сме-
нить патрон, и в то же время глаз нащупывает место,
куда бы вернее положить новую дробь. Но острохвостка
уже в осоке — дробь летит мимо. За ней — через голову,
через кусты, через осоку — вновь свистят крылья. Плачу-
щий крик самца-селезня проносится к осоке: селезень
ищет самку, вписывая широкие круги в сизое небо и ро-
зоватую гладь озера. Он возвращается несколько раз и
наконец садится у края осоки.

Кучный пучок небольших фонтанчиков, подобных
дождевым пупырышкам-гусарам в лужах воды, перекры-
вает его с обеих сторон. Он сразу поворачивается вверх
брюхом и, оставляя голову под водой, быстро бьет пере-
пончатыми лапами заколыхнувшуюся воду. Я бегу к
берегу, к осоке.

Селезень жирен и пестр по окраске. Его тяжелая бело-
пегая грудь пробита у самого крыла. Но самки нигде нет.

Исхожены осока, берег, кочкарник вокруг приметного
места. Самки нигде нет. С другого берега на выстрел бе-
жит учительский сыншкка. С ним вместе повторяем мы
поиски. Он бегаёт совсем как охотничья собака, то взад,
то вперед, как будто нюхом пытаюсь отыскать пропавшую

утку. Что-то подсказывает ему наконец уйти в сторону от берега: в ста шагах от осоки находит он острохвостку. У ней перебита нога и поломаны крылья.

— Здесь она, — кричит он, — здесь! Здорово вы ее, мольче¹, переломана она вся.

Круглые веснучатые поздри мальчонки дрожат. Охотничья страсть передается ему.

Мы идем с озера вместе, разговаривая об охоте. Охота — главнейшее занятие, промысел и развлечение колымчан. Вчера вернулся с охоты на лося сын председателя сельсовета. Я видел огромные ноги с расщепленным копытом и морду лося, в полтора раза больше лошадиной.

Эти исполинские лоси, сохатые, по всей вероятности — родичи американских лосей, нередко достигают сорока пудов веса. Летом их бьют случайно, в речках и протоках, куда скрывается лось от комара. На воде лося может убить даже мальчик; на воде на лося можно сесть верхом — он безопасен. Достаточно ножом перебить его шею — «лен», и полтоны мяса с огромными пластинами рогов беспомощно падают к ногам охотника.

Гораздо труднее догонять сохатого по насту лесной, выслеживать днями с собакой и, наконец, встретиться в лесу с глазу на глаз. Особенно опасен лось осенью, когда он ходит за самкой, «отнимается» — дерется с другими соперниками. Остановленный собаками, он бросается на человека, неся на него всю тяжесть своей громады. Он поровит смять его ударом ноги или рогов. Но охотник знает, в чем спасение: нужно резко броситься в сторону.

Тогда зверь пронесется мимо. Но нужно успеть еще попасть припасенной пулей в горячее лосиное сердце.

Не раз приходилось удивляться, какими ружьями добывает охотник себе пищу. В большом ходу и сейчас еще кремневые ружья. У многих из них нет обычного затворного спуска. Вместо собачки в ложе вставлен лук. Тетива его сбивает кремневый курок. Кремль дает искру, загорается трут, от него — порох на полке, и только от вспышки пороха взрывается забитый шомполом дульный заряд.

¹ Мольче — местное слово, замещающее: «простов», «так себе», «так».

Эти кремневки на железных подставках-пожках хранятся населением с давних пор, и едва ли не от времен Петра Первого. Кроме охоты ружьем, сохатого добывает охотник самострелом-луком, ставя лук на змией тропе.

— Товарищ, — встречает нас у первой избы Дмитрий, — охотился? Сказывай!

— Да ничего, Ребров, две утки.

— Во, бьят, с добытей тебя. Страсть хорошо на охоте. Знаешь — на душе так вежливо бывает, когда птица убивается.

— Ка-а-к — да! — подхватывает паренек.

Дмитрий — совсем особенный мужик. Он могильщик. У Дмитрия всего две сетки и поржавелое ружье. Но основная работа Дмитрия, профессия, так сказать, — земляная работа. Рытье могил.

Родом Дмитрий с горных Анюев, из глуши гористых пустынь, из вымершего племени чуванцев. Он среднего роста, за пятьдесят лет, слегка сутул.

Лицо Дмитрия выбеленное, с мелкими прожилками; и руки высушены землей. Глаза его водянисто-болотны. Люб покат. Голова лыса, с мочальной прядью жидких и седеющих к макушке волос.

Профессия наложила на Реброва жесткий свой отпечаток. Земля высушила, выбелила, истомила тело Реброва. Земляной дух прошел сквозь его кожу: лицо землисто, руки, глаза; под ногтями желтоватая песочная, тундряная ияша;¹ пальцы согнуты крючками — для того, чтобы рыть землю, рыть исконную прпемницу, мать-землю, ту, где деды и «прах-деды»², где над могилою возлюбленной на кресте деревянная уточка из жалости к почившей душе, где за кладбищенской оградой баян:

Моя милка умир-ла-а,
Выраю могилу я...

Да, земля у Реброва не только прошла сквозь кожу желтизной сока — она засыпала алые чувства мерзлой тяжестью; и теперь — чужие человечьи глаза, смех девчат, зимняя страсть каюрщиков-гонщиков, баян, солнечное утро, вечера:

Па Падгорнай я иду,
Сварачю налева...

¹ И я ша — пл, земля.

² П р а х - д е д ы — прадеды (местное).

флаги в честь Первого мая, «Зенотдел» — вся наливающаяся кругом зеленым соком жизнь стоит перед Дмитрием за густой песочной, земляной стеной. За ней видит Дмитрий Ребров только мир дней и покой земли.

Небо здесь особенно теперь хорошо. Купол неба бесконечно велик, почти громоздок; и звезды бесконечно многи и далеки. На порде двумя дугами лежит сияние. Потом дуги ломаются, и языки уходят в небо. Днем падал снег; ночь пависает, совсем как в частушке, — «черными бровами». У клуба звенят голоса:

— Ну, что же, Митя, значит, ты комсомолец!

— Молодчина!

— Ну что же, сыграй что-нибудь...

— Ну что же...

Па Пад-

горпай

я иду,

Сварачю палева,

К масй милевькой зайду,

Каму какое дело...

— Правильно!

Па Пад-

горпай

я иду,

Собаки лают па ходу,

Собаки лают па ходу,

Сам не знаю почему...

— Здорово, а ну еще!

Пелагеин голос крикливо рассекает ночь:

Девачки, беляпочки,

Где вы падмачплися...

Ес подхватывают другие девчата; и еще задорнее:

Да мы у папы в огороде

Молочком облялися...

Увы, в Нижне-Колымске нет огородов, но дело не в огородах — в песне, в голосах, в ночи и, главное, — в молодости.

В Нижне-Колымске есть только тальнички, куда ходят гулять и любить веселые молодые парни и девчата,

Может быть, эти тальнички и есть огороды. Но дело опять-таки не в огородах и тальничках. Главное — молодость.

Ты моя, ты моя,
Ты моя и будешь,
Я усду на войну,
Ты меня забудешь...

И опять — никто никогда не уходит отсюда на войну. Здесь нет ни мобилизации, ни повинностей. Только в годы гражданской войны отзвуком героических битв вспыхивала Колыма. Эти годы сменяет теперь новая явь, простая и яркая — такая же, как красный флажок на сельсовете. Но дело опять-таки не в песне:

Не ходити, девки, замуж,
Замужем невесело,
Одна девка вышла замуж,
Голову наве-си-ла...

Яблонькой потряхает небо серебряные звезды. На крыльце клуба качается фонарь. Культкомпсия убирает скамьи в закрытом клубе: сегодняшней спектакль и вечер самодеятельности окончены. Артисты и публика расходятся по домам.

Артисты — те же сельчане, что и публика; и самое интересное в спектакле — узнать под гримом и накладными усами предпрофсовета или под рясой, взятой из церкви на вечер, — Кондакова, Березкина или Паньку, Пелагу, Мавюшу. «Октябрины» — это только пьеса, с трудом доходящая до сердец немногих, но вот отгадать, что священника играет Березкин, а куму — Брусенина или Кондакова, — да в этом сокрыт острейший интерес каждого зрительского сердца.

И потом: разве не смешно видеть, что Ванчурка, курносый-та, вдруг стал рыжим и с длинным носом; а у Кондакова усищи, как у бывшего двадцать лет назад урядника. Да, вот это — милое дело!

Ветер гонит с реки легкую сырость, но воздух достаточно чист. В такую ночь после самодеятельного спектакля как хорошо схватить крепкую податливую руку, нащупать угловатые плечи, смеющийся рот. Как занятно услышать те слова, что говорят здесь девчата другим парням:

— Оставь! Что ты, безумец, делаешь! Уттуль галиться будуть...

И, придя домой, принимая от хозяйки самовар, вдыхать вместе с паром протяжные невучие словечки:

— Ну, ка-ак гуляли-п? Весела ли-и? Печечку-у подтапи-п-ть? Клопц-та вас не беспокояю-ю-ть?.. Чай, устали севодня-я?..

И наутро слышать от соседа:

— Ну, как гуляли вчерась?.. Заходил вечером — да вас не было...

Как молодо ппть не отпущенный на душу, невзвешенный, ненормированный воздух тундры, ледовитого побережья моря. Как темно небо и далеки звезды.

...Еще раз за кирпичами многих месяцев вижу я лицо Пелагес. Ее румяные щеки сейчас лопнут от озорства и смеха:

Жаль, жаль, жаль
Каревские глазки...

Ее полные губы, наверное, так же холодны, как северная брусника:

Из-за вас меня брапят,
Держат на привяски...

Позади у каждого — упорство дней, ошибки, взлеты, труд, трудные и первые ступени повои эры, утраты, бесчисленные лица; словом — годы.

Пелага! Как хорошо быть таким молодым и беспечным.

На огонь моего окна заходит Дмитрий.

— Ну, что скажешь? С чем пришел?

— Да так. Сам пришел! Шел — и зашел.

— Ну ладно, садись, будем разговаривать.

Река стала. Сейчас такое время, что никуда ни пройти, ни проехать. Запах замороженного тальника и скупого первозимнего снега щекочет ноздри. С первым путем нужно будет податься на север. С первым путем на север, в пустующие летом деревушки, на Кабачково, на Сухарную, двинут на собаках заядлие рыбаки свои сети на подледный лов крупнейшей рыбы — цельмы, муксуна, омуля.

— Так, значит, — говорит мой каюрщик, — как дорога ляжет, так и двинемся,

— Двинемся.

— Спиэзу ешо пикаво петь. Та-акь, может, рыбки нада?..

— Спасибо, не пужно.

— Значить, ета вы все пашу жпсь изучаете, как живем, хозяйничаем?

— Да, да, милый...

— А я вот-от вас спросю: зачем эта на кипсках — Гошударштвенное иждательштво печатають?

— Эх, Ванчура, да ведь это значит, что книгу-то печатаю не я, не ты, не Березкин какой, а народ, все государство, ну, значит, это книга общая как бы...

— Забыль говоришь, дело говоришь! Понпмаю. Да у нас-та старики думают не так. Я-та знаю, а они говорят: это вы от нас скрываете, что царя петь. Вот говорите, что петь, а на кипжке-та напечатана — Го-шударштвенное, значит — он есь. Я-та знаю, што неть, а они не верять! Вот я и хотю от вас спросить, зачем эе печатають — Гошударштвенное?

Кудри у Ванчурки рыжие. Голос в песне высок и нежен. Ванчулка — один из лучших рыбаков-беднячков. Весь дом держит он на своих руках. Летом и осенью грузит кунгасы и баржи. Зимой ставит «печатные сажени» дров на крепеньких своих собачках. Рыбачит. Отапливает фактории, возит торговые грузы на запмки. Голова у Ванчурки толковая — ему и разьяснить просто. В ппзкой избе бегают два остроглазых парппшки.

— Вот, Ваня, твое и наше — республиканское издательство!

Крут угор. Нарта летит под него стремглав; и впередп вскачь летят шесть белошерстных собак; им надо обогнать нарту, чтобы она не прибила их.

В первый раз сосед мой выехал на высмотр. К отместп — к осередышу, где сквозь ровный лед — совсем близко дно, поставлены уды на налпма и чуть поодаль — сети. Длпнной пешней, напоминающей пику, пробивает рыбак «пролубь» и тянет уду.

Почтп метровый жирный налпм падает и бьется на льду. На глазах он скрючивается и обмерзает. Рыбак бьет его по голове палкой и идет к сетям. Они пропущены на волосяном прогоне-веревке подо льдом. Ветер дует вдоль рекп, стоня снег. Лед гладок и скользок — настоящий каток. Под ним сквозь прозрачную сппневу видна сеть.

Рыбак очищает прорубь и по ходу сети, еще не вытащив, говорит:

— Никого! Нейдет рыба.

Собаки лежат у нарты, ожидая ездоков. Неожиданный шум, подобный полету крупного снаряда, прорезывает воздух. Собаки привстают.

— Что это, папаша?

— Нитево. Лед оседасть. Вода уходит, лед оседасть, трешить. По осени всегда так. И зимой быват.

— Страстной человек был еще такой — и когда он помер, священник говорит: «Надо его скорее похоронить, чтобы не встал». И пока не похоронил, все проклинал его и все плевал на него, чтобы не встал...

— А зачем же плевать на человека — неудобно.

— А так надо: проклинал, значит. Тоже раньше, если разводиться. Скажет батюшка: «Приди в церковь». Положит ищ жену на левом притворе, а мужа на правом и читает над ними и плюет — развенчивает, значит, — то на одну, то на другого. А вот ты послушай. В третьем году я копать могилу ходил — так покойница все вставала. Хорошая была женщина. Все, бывало, так делает — у кого женщина беременна, вырвет все из живота и всунет какую-нибудь пакость, вешик или еще что. Только положим ее в гроб, уйдем в другой дом — она зашумит, приходим — она на полу лежит мертвая. Потом сидим, смотрим, она на нас идет. Бросили мы в нее полепом — упала. Подошли понемногу — мертвая лежит. Закопали скорее и кол вбили, чтобы не вставала, не тревожила живых людей. А вот ты послушай, я тебе скажу — знаю я, когда кто умирает, потому что я до земли дошел. Знаю я, когда земля приспела, значит. Страсть меня такая берет, как кто помирать начнет, как лихорадка какая меня трясет, и знаю — назавтра придут меня звать. Я уже это наверно знаю — значит, могилу рыть буду. Потому что — дошел до земли. И столько я могил нарыл, что мне надоело, не хочу больше...

Если б не семья — ушел бы золото копать, на Анюе есть место, все дно ночью в реке горит, светится. А с покойника разве что возьмешь?.. Да и как я с него возьму? С ним сидел вместе, как же с вами...

Лампа льет запах керосина и желтый полукруг света; по комнате в углы бегут тени. За окном воют томитель-

ным голосом собаки. Корона северного сляппя ломается над избами.

— Ну, и говоришь же ты вещи, Дмитрий, все невероятные. Прямо слушать тоскливо. Скажи-ка лучше, к какому времени приурочиваешь ты главный ход сельдятки? Ты старик, должен хорошо знать.

— К Семенову дню приворачивает густая сельдятка, к Семенову, его уж из годов так, сколько здесь живу. А вот ты послушай, я тебе скажу...

Земля стала перед Дмитрием несокрушимой стеной. Черной глыбой зашла она в большую его голову, смешивая крепкий рассудок с суеверным страхом к тому, что непостижимым постоянно является Дмитрию — смертью. И каждый, кто стремится к обратному, — ищет выхода, ищет света, солнца, простора, движения. Я перестаю слушать его рассказы, эти небылицы с венниками; к тому же я хочу видеть живых людей.

Дмитрий Ребров, быть может, переживет многих, но жизнь его давно стоит по ту сторону черты.

Я провожаю Дмитрия до ручейка. Одно окно еще горит в селе. Я узнаю в нем окно избы председательницы женотдела. Кроме женотдельских дел, она пишет еще стихи. У нее есть частушки, злободневные четверостишия и нежнейшая лирика:

васи гласки
совершенства,
гупки васи одиал...

Это единственная, кажется, поэтесса в Нижне-Колымске. Слюпявя химический карандаш, может быть выводит она сейчас старательные каракули о тончайшем чувстве человеческого сердца. «Одиал» у каждого, конечно, свой, но что поделывать!

На то и дар природы —
без любви невозможно жить.

Потухло и это окно. Нижне-Колымск расплзается в глухую ночь. Завтра я покидаю его на время — «на час», как говорят здесь.

ПОХОДСК

Собаки влегляп в алыкки; ¹ нарта пдет бесшумно по сильным снегам. Два часа пополудни. Сумерек полярной ночи на чахлах кусточках, на реке, на обрывах ее берегов.

Плохая сейчас дорога. Мало снега, открытый лед сне- и зелено-черен. Ветер сносит снег, обнажая реку, как большой синий горб. Собаки скользят и падают на лед. Рядом с нартой бежит человек. Это каюрщик-ямщпк, погонщик собак.

Последние попутные запмки к Походску до крайности бедны. В Подсучьей встречает путника юрта настолько маленькая, что ее можно перепрыгнуть поперек и по диагонали. Низкие сени сгибают человеческий рост вдвое. Люди сидят на полу и на самодельных табуретах, без муки, без жиров, па одной рыбке и чае. Ребятишки одеты в шкуры вымятой оленины. Кусок сахара, грошовая конфета для них праздник; но гостеприимство и горячий чай повсюду встретят приезжего.

Походск выходит на угор немногими углами маленьких домишек. Они ложатся по обе стороны устья Походской виски, сбегаясь тесно друг к другу, как бы сторонясь, по старинной памяти тундры — памяти войц, походов, сожженных крепостей.

Второй по величине после Нпжне-Колымска и один из самых северных постоянных жилых пунктов, Походск близко подходит к Западной тундре, к кочевникам-оленьводам, значительно обедневшим за годы гражданской войны. Восточная тундра, через протоки Колымы, раскидывает па восток широкое пространства тундряных и каменных просторов с крупным оленеводством.

В Походске три фактора, так что па каждые десять домов приходится по одной лавке, нередко пустующей из-за отсутствия товаров и соперничающей по заготовке пушнины. Весь северный край — это поистине край земли, припаянной к тундряным кочкам, льдинам моря, метелям, с десятком заимок, наполовину приобщенных к культуре, завезенной сюда восточными пароходами через Берингов пролив и Тихий океан, — поставщик полярной пушнины, и прежде всего песка.

Белого, пушистого, с высоким синим ворсом, его до- бывают калканами, старинными ловушками — клещами,

¹ Алыкки — собачья упряжь, шлея (местное).

весьма папоминающим древнейшие машины для бросания кампей, и примитивным сооружеиисм — пастью, в которой давт песка тяжелос бревно.

Если в Нижне-Колымске есть семьи без капкана и клепцы, то каждый дом Походска непременно ставит ловушки или бросает отраву, стрихнии.

Кривой сстью расставлены пасты во все стороны от Походска, вплоть до берегов моря и на сотни верст на восток, к Чаунскому побережью; бедняк промышляет песка поближе; середняк уходит дальше от людей к морю, за десятки верст, и лишь зажиточный хозяин может вести свое пастничное дело в сотнях верст от домов, в пургах и снегах ледяного прибрежья.

Высмотр пастей, впрочем, очень редок. Всего три-четыре раза выезжают пастничники на пасты, частью самостоятельно, частью в компании, на легких партах.

Ночуют в палатках на воле — па сепдухе, увозя с собой на месячные переходы собачий корм и незатеиливый провпант; пережидают полярные пурги; подымают упавшие пасты; выбирают пушнину и вновь «прокидывают» назад бесчисленные собачьи версты.

Промысел прошлого года особенно хорош и, несмотря на редкий высмотр, на порчу другим зверем попавшего и не вышутого вовремя из пасты песка, добыча покрыла все надежды: песец шел с моря гуртом, набегом исключительной мощности.

Фактории справляли медовые месяцы головокружителейых заготовок. Шкурки выворачивались на деревянных самоделках-пялах в любой избушке, растягивались, сверкали пушистой белизной, текли потоком па прилавок. Нарты, крепко груженые, уходили в Нижне-Колымск, где ставливались потоки всего понизовья в белое пушистое песцовое море пушных амбаров.

Этот год поначалу уступает прошлому, но и сейчас уже в амбарушках серебрятся песцовые спяпы и подсыхают на пялах свежпе шкурки первых добыч.

Летом за Походском — только ерпик, карликовая береза, красная кислица-смородина, продолговатая розовая дикуша, голубель и тундра. Тундра здесь господствующа, безмерна, непреодолима всюду, во все концы; отойдеш на десять сажений — сзади Походск, спереди и кругом — необозримая, холмистая, ерпиковая тундра. Озера кружат по ней, одинокие и связанные проточками, речками-висками. Над головой — чайки-хохотуны и бесменное солнце,

На ближнем озере, под холмом с крестами — пугающие утки. Под крестами — старое кладбище страшнейшего поветрия кори и оспы. Целыми погребками положены в братские могилы люди; их не спасли ни молитвы, ни сладкий багульник, что жгут здесь от заразы на порогах изб. На Дикушном озере — дикая голь, тонкие кочки и мутные широкие волны. В непогоду озеро кажется морем.

Но сейчас зима. Под тяжелым и одиноким крестом в тальниках коченеет богатырь-человек Мундукап. Силой пикто не мог соперничать с ним. И вот много лет назад поехал Мундукап в улус, на юг, к якутам, и там заколдовал его колдун. Видно, не поверил Мундукап скорой своей смерти. Приехал обратно в веселый Походск, прожил и зиму и весну. Вскрылась река, на виске выметали сети, хохотуны пошли по небу. Как-то повезли весной Мундукапа на лодке через виску — виска всего саженой двенадцать, — сел он на корму с кормовым веслом. Налегли гребцы на весла, вышли на середку, на игривую, бурлящую быстерь. И на самой быстери обломилась под Мундукапом корма; и ушел он в воду, как сидел, с веслом. Все спаслись, а Мундукап так и не вышел из виски. Потом его вытащили неводом и похоронили в трехстах саженях от селения. Кругом могилы курчавеют тальники.

Особое место — темный и веселый Походск. Особый уклад, особая явь его жизни, лицо особое. Из старины вырос Походск, от времени древнейших скитаний пенасытного русского сердца. От служивых людей храпит Походск крепкий обычай, голосовой, напевный говорок, старинную речь, хлебосольство, безобидный разгул веселья, суеверья, иконопись лица, доверчивость и леность в движении.

Нигде нет по реке столько же небылиц, преданий, примет, такой заунывной, напевной песни, хоть песни и те же, что в Нижнем, что в других заимках. Нигде не пляшут столько «Подгорной», нигде нет таких самодельных балалаек на две струны; нигде нет таких «скрыпок», что упирают в живот проворливые походские пальцы, и нигде не закручивает так быстро смычок издревнюю Рассоху:

А, Яссоха, Яссоха мая...

А, Яссоха, капрязь привая...

Но если нет балалайки или скрипачи в разъездах на бешеных походских собаках, хозяйка моя и «екопомка»

дяди Василия, что года четыре назад пришла к нему жить, сохранив себе имя чукчанки, оттого что раньше женой была именитого чукчи, — хозяйка моя сама сыграет на губах за целый оркестр с турецким барабаном:

Татудара, татудара, татудара, татудара,
Таритату, татудара, таритатудара...

И девочки спляшут для гостя, для каждого, для себя, для Походска плавную плясовую русскую, не двигая торсом и не шевеля статичными, кокетливо приподнятыми руками. И парни будут выковыривать ногами, выкидывая ловкие колена, вплоть до присядки.

И бабка сама, моя хозяйка и «экономка» дяди Василия, вздувая свои толстые тела, будет притоптывать со всем пылом своих нестареющих шестидесяти лет:

Татудара, татудара...

И только в глубокой ночи, после веселья и нескончаемых рассказов и разговоров, громким голосом закричит во сне дядя Василий, ядреный старик, уважаемый всеми, которому никогда не дашь семидесяти лет.

Раньше Походск имел свой сельский Совет; сейчас, в 1928 году, он подчинен Нижне-Колымску. Здесь нет ни первой помощи, ни фельдшера, ни клуба. Школа хранит на своих стенах картины сложнейших ботанических организмов, а в своих стенах — малограмотного учителя и учешков, по второму году учения еле разбирающих по слогам грамоту.

Но все же и здесь тяга к свету: школа полна пытливыми детскими лицами, почти исключительно русскими, этим национальным меньшинством якутской автономии.

О детях стоило бы сказать особо. До двух лет и даже старше прибегают парнишки к своим матерям и сосут, стоя на крепких ножках, материнские неиссякающие, вымученные соски. Молока в Походске нет. Естественным подкреплением является молоко матери.

И на этом молоке, а еще больше — на морском целебном воздухе, вырастают в грязи и нищете здоровые, шустрые и смекалистые ребята.

Антиму Вострякову двенадцать лет. Он из обрусевших юкагиров с реки Омолона, курчав, смугл — настоящий Пушкин в детстве. И если его спросить:

— Ну, что пового, Пушкин?

— Никого.

Голос у него басистый; ходит Антип в огромных рукавицах и тяткиной кухлянке до пят, огромными шагами. Серьезности и лукавства — море.

— Многому научился в школе?

— Маненько!

После дальнейших вопросов Антип конфузится и прячет голову под ладоши.

А вот Василий, брат Гаичп, лучшего плясуна в окрестности и доброго рыбака, — уже совсем настоящий мужик. И что из того, что Василию тринадцать лет!

— За восемьдесят верст ездил...

— Как-да! — подтверждает хозяйка.

— И один ездил?

— Ка-ак-да, один.

Но Василий и не слушает расспросов. Он важно сидит за столом в нарядных камусных обутках с красивым узором по низу меховых брюк. Он посыпывает паф чашкой равноправно с другими мужиками.

— Кто ж это ему такой узор подобрал?

— Подзор-та-а? Мамка его умерла — сестра-та вышивку смастерила. Себяткой подзор!

Себяткой — красивый!

Да, Василий — уже настоящий мужчина, такой же, как его дед, Василий, «эконом» бабки, моей хозяйки. Один на своих девяти собачках каюрит он, возит груз, рыбу, летом помогает рыбачить. Собак зря не дерет, поговаривают с ними строго — серьезный мужик. И если спросишь его:

— А этот кобелек откуда у тебя?

— Свой, кормленный.

— А этот? Как его звать-то?

— Ушки! Свой, кормленный...

Ледяные окна в избе горят в весенние дни от солнца радугой и тают. Чтобы вода не подтекала на пол — в углу рамы проведена веревочка к бутылке; по веревочке в бутылку стекает вода.

Утро. Девушка ножом очистила от снега ледяное окно и снаружи сметла метлой кухту — снежную порось. За ночь окно покрывается снеговым палетом. Когда счистишь палет — окно заблестит льдом, и в избе станет сразу светлее,

На почетное место сажают гостя. Рыба — обычная еда походчан. Мясо — только оленье, и к тому же весьма редко. За мясом ездят походчане в тундру, но чукчи неохотно бьют оленей. Только знакомому оказывает такую честь чукча. И вот обычная еда на столе — рыба. Вареная, жареная, вяленая.

— Ку-у-шайте, гости...

Обед — тоже рыба, чай — тоже рыба. Хлеба не больше, чем соли; соли — щепотки. Хлеб и соль — привозные. Рыбы с осени много. Походск — урожайное место. Обильные рыбой озера связаны прорвами, протоками — «горла», висками с Походском. Главная рыба здесь — чир и мелкая — урункейк. Походск не только сам живет рыбой, но частично сбывает ее нижнеколымцам. Эти «горла» широко известны по всей волости:

— Богатая рыба!

— Ку-у-шайте, гости...

Из избы в избу — надо оказать почтение всем жителям; неприход — обида. В каждой избе — непременно стакан. Не выпить чаю — обидеть. В каждой избе на тарелочке, на блюдечке, на подносике деревянном — вяленая рыба, юкола.

— Ку-у-шайте, гости!

Сейчас в Походске много приезжих: пурга держит людей уже две недели. Никто не приезжает и никто не уезжает из селения. Через виску не видать домов. Метет.

На полу, у стенки, на кукашке спит Ганча; после длительных и трудных работ и поездок кто-то угостил его спиртом. Он охмелел. Соседи притащили с собой балалайку и скрипку. Егор соревнуется с Иваном из Каретовской заимки. Топот разрывает избу шумом попеременно с пликанием смычка. У Ганчи на голове повязка из мокрого полотенца. Он открывает глаза — в избе танцуют. И вот Ганча уже не лежит на полу у степы; и повязка на голове его посится по избе в захватском татудару, татудару, татудару, татудару, татудару, татудару...

До сих пор помнят в Походске, как пришел сюда из Нижне-Колымска несколько лет назад, на масленицу, лучший скрипач. И так как не было в Походске человека, кто бы лучше его играл на скрипке, стали звать его с вечеринки на вечеринку, из избы в избу. В каждой избе — веселье, девки, песни, пляс, а то и выпить находилось; и так, через вечера, ночи, через песни, девчат, пляс, вино — покатались скрипачевы дни по всему Походску под

вихри выюг и потрескивание камельков; и лишь под самую «страстную» опомнился скрипач, что пришел он в Походск всего на день, на два, за делом, что семья давно ждет его дома. Опомнился и ушел назад, в Нижний.

— Наказанская жизнь теперь пошла, — говорит Митрофан, старый ямщик с лицом монгола, — веселью нету...

— А бывало, с утра-та в одну избу девки сойдуца и парни туда же, оттуль прямо в другую на маслинке идуть, оттуль — в третью, да так весь день, и наутро снова плясать стануть...

— А то песни запоют, Ганчина зонка хоясо пела...

— А ты, Ганча, поешь?..

— Не, не па-а-ю, так эта-а. Паньча, сестра, поеть...

— Неть, не па-а-ю я!

— Шутипь, вижу, — знать, поешь?

— Не сучу, правду говорю.

— Ганча, а где же твоя жена?

— Умерла!

— А от чего умерла?

Глаза Ганчи вырастают в темные пятна.

— Сама умерла, своя у ней болезнь была.

— Ну, а в чем проявилась?

— Черти у ней в животе завелись.

Ганча — беспорно, умный и здоровый рассудком парень, но разубедить его в причинах болезни жены невозможно.

— Не признавала ятево. С нечистым в связь вошла...

— Отец-та твой приехал, Васек?

— Охто? Отец-та? Неть. Кухта держать.

— Снег-та душить, цеможпо через реку идти, ветер как звер...

— Ну, рашепоцка как — ставил?

— Ставил, пиково...

— А ты объясни гостю-ю, как рашепоцку ставить. Значить, пайку — расщепять, щепоцку вставлять и пожгуть внутри. И говорят: «Скажи, рашепоцка, правду, будет-неть завтра батя сюда? Правду скажешь — маслом помажу, неправку — выброшу». К двери скокнет щепоцка — не скоро будет, в сторону скокнет — ешо думат, от двери в избу скокнет — скоро-та будет. Што ж, гостю расказать надо, коли гость нашей жизнью антересуеца, как

ребятишки все рашепоцки ставить. Покажь-та-а рашепоцку... А вы — ку-у-шайте, гости.

— Горносталя пьохо поне...

— Грех тебе, Ваньчура, поманеньку идти!

— Пьошлый год пьомысль еще луце бы-ы-л-та-а. Пакость-та-а с моря добро шьа. До Покрова-та табунком все пьасец шел, так к воде и шел и в воду кидайся, плыл и по льдиноцкам на камениу сторону валий, так пьосто страсть, какая громада шьа-а. Кто поменьше пастей ставил — двадцать — тридцать головок забрал, а кто пабольше — п сто и больше упромыслил...

Классовое расслоение на Колыме и сейчас еще, в 1930 году, достаточно ясно: хотя население обычно называет важиточные хозяйства середнячками, кулачки, однако, имеются. Имеются также и беднячки.

Экономическое благосостояние хозяйств и в низовье и в устье реки весьма различно: разница обнаруживается в размере годового денежного и натурального оборота; разница сказывается и в снабженности хозяйства промысловой снастью, особенно копским волосом для сетей, нитью, порохом, дробью, и в количестве самих промысловых орудий. Бедняк не имеет возможности покупать чужой труд; богатый — нанимает бедняка. Есть и хозяйства с двумя-тремя сетями, есть — с сорока сетями. Есть семьи без одной пасты, с тремя — шестью собаками; есть семьи с тремястами — пятьюстами пастями и тридцатью — сорока пятью собаками. Несомненно также и некоторая скрытая эксплуатация бедняков в виде отработок и услуг за всякого рода «одолжения».

— Дай гапзу-та покурить. У Сенькипой Пеструшки — шшепки.

— Так и будет!

— Никово, — говорит Антип, — никово не осталось, последний замерз. За углом лежить с ними, от мертвых не отходить.

Ганза — деревянная трубка с медным колпачком для табака, с чубуком, скрепленным топким, почерневшим ремешком, — ходит по избе. Глубоко затягиваются мужики, женщины, девушки, дети. Разложив на коленях кожу, железным круглым скребком скребет ее бабка, моя хозяйка и «экономка» Василия. Она искусная мяльщица кож. У ног ее лежит старый, огромный белоглазый кобель.

Еще у мужа бабки, у чукчи, работал кобель — им затравливал чукча в тундре проворных песцов.

— А как эту, собачку, маленькую, звать-то? — спрашиваю я, указывая на щенка.

— Тую-та? Мистик.

— Вот это здорово! Кто ж догадался ее назвать Мистиком? Жирна, кругом шестнадцать — ничего мистического.

— Ну, Мистик, — поясняет бабка, — мось, мышья, стал быть.

— А, мышь! Так, так.

Хозяйская дочь Катя повернула шапку вверх дном. Значит, кончила пить чай. Руки у нее выше кистей смуглы и ровны. Вся она как налитой огурчик, а губы разворочены — настоящая африканка. На ней ситцевое платьице и высокий передник. Младшая в кофточке с баской — это подарок из Крепости.

В два часа настолько тепло, что приходится зажигать свечу. Начало ноября. Из соседней заимки прпехал обрусевший якут. Он молодой парень в красной рубашке, песельчак и балагур.

— Прокурат парень, — как говорит бабка.

Пурга.

По-ход-ские раз-го-во-ры.

— Помлишь? — говорит.

— Помлю.

— Болько было?

— Нитево.

— Полевая зыганка — это самая большая, значит, варажка. Это, значит, которая в поле родилась — и на коше разезжат.

— Брось болтать!

— Коня только у Шкулева — три ли, пять ли. Окрест копей неть. Конямаи адезь немозно в пургу пдти. Собаки, и те ложатся.

— Што ты все сабачек-та меплешь?

— Так, фантазия у меня такая собак мепать.

— Не собаки, а одни кошки.

- Марфа, мужики в избе?
- Неть. Пустые бабы в избе.
- А муж-то твой где?
- На час уехал.
- Подожду?
- Э-э-э, подожди...
- Человек ждет час, другой, третий...
- Марфа, когда ж муж будет?
- Охто?
- Да Паптелеймон?
- Пацтыуха-то? Назавтра, может, будеть...
- А ты что ж мне говоришь?
- А я ж те говорю — на час уехал...

Высокий старик с острыми глазами и бородатым лицом рассказывает о Сепдушном Хозяине. Дочь его, припадочная, — совсем древняя боярышня, и глаза — голубель.

Входит низкий чукча-работник, как медведь, весь в мехах; а старик все рассказывает:

— Сепдушный Хозяин в каждой местности свой бывает. В Мартяпове — свой, в Каретове — свой, в Крепости — свой. Его не видит никто, только иногда вроде как помрачение найдет, и тогда увидишь. Было так раз: иду я по сепдухе, и вдруг вроде как нехорошо мне стало; вдруг слабость какая, и стою я или иду, и сам не знаю, во сне это или наяву. И подходит ко мне человек. Может, он и молодой, может, и старый. И разговаривает. Поговорил и ушел. И вдруг его нигде нет, только отошел, точно рассеялся. И враз всю слабость сняло.

А другой раз — летом. Выметал это сети, выхожу па берег и вижу: с угора человек какой идет. Я его окрикнул — он по отзывается. И еще подумал я: «Что ж это за человек здесь; с сепдухи, может быть?» — а он уже подходит. А у меня ни ружья, ни какого орудия. И вдруг слабость какая опять нашла. Подошел ко мне, так с лицу не старый, поговорили мы, и ушел он. Только отошел, смотрю по сторонам — нигде его нет. И о чем говорили мы, тоже не помню.

Он, может, и многим является, да другие не рассказывают, молчат, до смерти таят: может, они с ним орудуют, промышляют с ним. Кто с ним промышляет, тот много аверя промышляет, только никогда богатым не будет, но разбогатсет. Кто своим трудом работает, тот наживает себе хозяйство, а кто с ним — нет.

Встречают его — и на собаках едет. Подъедет, тоже на двенадцати собаках, остановит парту, поговорит и уедет. Обернешься — и нет никого, точно растаял. Иногда у него лицо знакомого какого. Увидишь потом этого знакомого, спросишь: «Зачем ходил туда-то? Я тебя встретил...» — «Нет, говорит, я там не был и вовсе». А когда и неизвестным лицом прикинется.

У ног деда трется внук. Когда-нибудь он вспомнит эти рассказы, как вспоминаются детские сказки. И Сендушный Хозяин будет ему сказкой. Но для старика это был. Был это и для припадочной боярышни.

— Муйко кипелечек-сахарочек!

— Что это за слово — муйко кипелек? ¹

— Так это сами ребята придумали — страсть, мол, хорошо; мольче страсть; мочи нет, как ладно! Так это, походское слово.

— Ой, лихо мне, ли-ихо!

Женщина потягивается и зеает.

Пришелец с чужих мест с беспокойством следит за женщиной.

— Тошно, ли-ихо мне!

Он не знает безобидного смысла полизовых слов: «лихо мне», по-колымски, — спать хочу я, спать.

— А и здесь прах-бабушка его и мать его лежить... При встрече хорошо вежливое слово приятелю сказать:

— Мы уж и то любовались — уж как приятно вы от нас отъехали!

На высоких голосах выводят девки в глухую почу!

Заки-пе-ла сердце в сол-дат-ской груди,
Заблестела сабля во правой руке,
Заблестела са-бля во пра-вой ру-ке,
Слетела го-ло-вка с неверной жеве...

¹ Муйко кипелек — очень хорош (местное).

Голоса их могут подниматься бесконечно. Нет такой высоты, какой бы не достигли эти голоса. Концы песни всегда неожиданно оборваны, как конец лепты у северного слякня.

Морок побе. Заструги снежные.

— А я еще тебе скажу — дружной народ походский. Если зепципа соберется мыть избу, еще к пей четыре-пять зепцип придуть и помогут. Так и в другой работе. Зато и веселимся сопща...

— Что это у вас сапожкп-та больно нахальные? Страсть не уважаю такие! Марфа вам б спшила...

— Да ничего, сойдут. А что это собака лает — приехал, что ли, кто-нибудь?

— Неть, так это она, сама лаеть.

Через дощатую перегородку все слышно:

— Я к вам отдалась, — говорит Катя. — Опасный вы человек на вино.

Губы у Кати — как ковриги ржаного хлеба.

— Вы от нас брезгуете...

— Холодно.

— А мы привезли страстную печь, в тальнике лежить.

— Что ж, от этого теплее?

— Теплее, — смеется Вера.

Она маленького роста, хотя ей, наверное, лет одиннадцать.

— Ну, одиннадцать! — поправляет хозяйка. — Тетяр-вадцать. Она нерастучая.

— Очень уж вы опасную чашку палпли.

— Кушайте во здравие.

— Што новенького скажете?

— Чисто ничево!

— В город поедете?

— А кого я там делать буду!

— Я от вас боюсь.

— Не води ты меня заподруки!

Девчата еще выше поднимают голоса. Ганча подпевает им:

Ой, лужки, лужки-и, лужки...

Холодная ночь над Походском. Пурга утихла. Луна и высокое небо.

Сегодня уехало двенадцать парт и пришло пять новых. Пурга окончательно улеглась. Походск — проходной пункт меж морем и Нижне-Колымском. К тому же в Походске всегда рыба — смотришь, и собак покормят. Любят Походск и походскую жизнь колымчане.

В крайней избе собрание. Из Нижнего приехали милиционер и уполномоченный по выборам на окружной съезд. Он говорит о партии, о правах гражданина, о значении выборов. В пазе больше всего баб, мужики в разъезде. Настает самая страдная пора для извоза, для всяких домашних поездок.

Фигура милиционера на фоне рванья кукашек, платков, всклокоченных голов — фундаментальна. Желтые канты и красные петлицы заметно выделяют этого человека среди других.

И вопрос задает президиуму отмеченный властью человек по-особому:

— Я хочу от вас спросить, может ли административная фикция задавать собранию вопросы?

— Конечно, можно, — отвечает секретарь из местных.

Среди остальных помню два лица: женщины и ламута — того, что ехал с нами по осени на катере.

Женщина, бесспорно, молода. Лицо ее не только хорошо — оно памятно. Но есть не укрывающаяся во всех движениях, в опущенной руке, в губах, во взгляде упорно скрываемая тоска.

В Походске ей нет соперниц. Нет глаз более глубоких и пальцев более тонких и длинных. Лет пять назад в Походске зимовала американская шхуна, и американцы брали себе на зимустряпок. «Экономка» — не зазорное слово; и взять себе девушку встряпки — дело житейское. Была и Настенька «экономкой» — как могли не любить Настеньку американцы? Я не помню ее фамилии: самым нежным единением двух прозвищ для Колымы чудится мне — Настенька Бережнова. Может быть, таким же обаянием были ей какие-нибудь иные сочетания — Чарльз Дарлей? Де-

вухки понваовья привязчивы и покорны. Зимы — всего в девять месяцев; скоро бегут походские зимы. Шхуна ушла. Бывают ли длительны мечты и память понзюных девушек — не знаю. Явь бывает длительнее: Настенька Бережнова больна «дурной болсанью»¹.

Вечером через влску спешит человек. Он разбегається и катится по черному голому льду в снежных застругах. Это мой приятель ламут. Не стуча он входит в избу в волчьей своей шапке и обшитой волком кухлянке. Многие вечера мы делим с ним. Иногда он поет ламутские и якутские песни — истощно тягучие и зазывные. Их можно петь без конца.

Пытливый ум и дикие глаза — в них вложены, как наследство, просторы ламутских кочевков северного востока. Они резки по дерзанию, псевдовлетворимы. Им без конца идти вперед, так же как никогда не найти конца кочевой песни. Конец только остановка.

— «Массам»... зачем человеку это слово — «массам»? Зачем это человек живет и думает — «массам», когда спокойнее он проживет один, думая о себе. А нет, вот думает: «массам», чтобы другим было не тяжело. И я тоже думаю: «массам, массам»... У меня никакого нет тремления другого. Тремлюсь, значит, теперь только и учусь...

— А что — я только пишу, читаю мало... Я думаю, что у всякого человека ум есть, а у меня одного нет. А надо просветить. А вот сухой олень. Если посмотришь на стадо, не увидишь сухого оленя. Когда стадо идет, никогда не увидишь сухого. Сухой олень всегда в стороне, в сторону уходит. Сухие олени в кучи собираются и отдельно идут в стороне. Так и я, как сухой олень. Мне в людях трудно, мне в лес надо, как зверу. Я звер. И думаю, что в лесу, значит, мое место. А вот тремлюсь... К массам тоже...

В 1920-х годах этот ламут был взят белыми и увезен в качестве проводника с Колымы. Тогда он придумал способ, который дал бы ему возможность уйти от белых. Он приделал к концу лыж загнутые носки — передки — и ночью ушел. Белые стали искать его по следу, но ламут

¹ Имя Настеньки Бережновой — вымышленное. В один из прошлых годов американская шхуна, доставлявшая в Колымский округ товары и продукты, зимовала случайно в Походско. Случай зараження девушек венерическими болезнями, как передает население, были не единичны.

перехитрил их: след неизменно приводил обратно в стан белых. Когда разгадали его хитрость, было уже поздно. Пурга закрыла его следы.

— Здешний парод темный, он верит всему. Чудпикам¹ верит. Сендушному Хозяину верит, щепочке верит. Мой народ темный. Ламут тоже всему верит. В горы трудно пойти. Камень! Как пойдешь в горы просветить? Сто лет еще падо, чтобы просветить...

Поздри ламута вздуваются. Он видит свой парод. Его племена бродят в гористых притоках Омолона, по верховьям обоих дикарских Апяев, где смешиваются они с другими кочевниками — чукчами и юкагирами.

Люди его парода — прекрасные стрелки и пасивные рыболовы. Их богатство — олень, ружье и меткость глаза. Пути их — горы и долины. Компас — оленья лопатка-костяшка. На нее кладут уголек; уголек раздувают; от уголька кость дает трещину. По ней совместно обсуждают кочевники — в какую сторону благоприятнее направить шаги. Где будет зверя больше: лося, дикого оленя, белки; где будут сочнее олени пастбища; где не встретятся на пути беды — падеж оленей, волк, голод.

Как чукчи-поморы, они суеверны. Как чукчи бросают обжитые места, если морж перевернет лодку или объявится иная дурная примета, так и ламуты покидают свои стоянки от дурных примет и идут на новые места, как по укажет им главный шаман. «Варажейка» — простая лопатка оленя с трещинами от горячего уголька.

На груди у ламута круглый кожаный кисетик.

— Зачем тебе этот кисет? Ладаика, что ли?

— Нет, огниво. Всегда с собой кремь и трут послам, даже когда спички есть. Всегда в мешочке ровдужком и па груди. Если отсыреют спички, всегда огонь добыть можло. А без огня в тундре и по горам погибнуть можно.

На прощанье, на память ламут принес мне этот кисетик. Кисетик вышит голубым бисером.

— Прощай на час, — говорит хозяин.

— Гуляйте, — провожает приветствием бабка, хозяйка моя и «экономка» дяди Василя.

¹ Чудпика — страх, привидения.

Она пропускает меня вперед, чтобы не пересечь мне путь. Трое парней ведут под угор собак на крепком и длинном потеге¹. Нарта на руках спущена на реку. Соседи выходят проводить. Походчане — народ ласковый: нельзя не проводить приезжего гостя.

— На опасных собачках поедете! Промывать станете и не заметите, как все осемьдесят верст промосте враз...

— Каюрищик-то у вас модный!

По понизовому обычаю на нарте всегда выезжает кто-нибудь из провожающих вперед — проводить на несколько десятков сажень. Там собаки освобождаются и поджидают путников на чистом снегу.

Нарта ожидала на курье, у поворота к протоке. Два человека навалились с боков, чтобы удержать собак на раскате и не дать опрокинуться нарте. На повороте они соскочили:

— Прощай на час! Прощай, до повиданья!..

Прощай, Походск! Прощай, деревянная изба, стол с корявой клеенкой, за которым исписал я немало страниц; прощайте, парни и девушки, бабка и Василий; прощай, ламут, «скрыпык», песни, говорок! Прощай, вся веселая, поднебесная Походия, запружевела, цветистая жизнь! До повиданья, до повиданья...

СУХАРНЯ

— Сухарки кюшали? — Кюшали.
— Скаски сьюшали? — Сьюшали.

«...Жил-был вроде как Иван Царевич, и была у его жена Ега. А на реке, куда ходил Иван за водой, жила в воде зенщина. Она ему полюбилась и стала его Економкой. Каждый вечер ходил он на реку за водой; выходила Економка из дырки, и тут, над дыркой, и пмел он с ей сношение. Узнала Ега про Економку, сделала лук и стрелой ублала Економку. Когда убила она Економку, говорит музу: «Поди принеси води». Пошел Иван на реку, видит — вся пролубь в крови и в пей убитая Економка. Сял Иван рядом и заплакал. Потом пришел к Еге и убил ее, а Економку взял на руки, устроил гроб, положил в него Економку, и понес на холмь, и думать: «Вот красивое

¹ Потег, или средник, — ремень, за который пристегивают собак к нарте.

место, здесь ее и положу». Но стало вдруг ему залько ее закапывать в землю, и решил ешо разь посмотреть, не ожила ли его Економка. Открыл крышку гроба — как живая лежить: вот ситясь встанеть сама. Жалько стало хорупить, и пошел он другое место, покрасивше наитить для ее. А сам думать: «А может, она ешо оживеть». И вынес он ее на ешо более красивый холмь, да опять жалко стало зарыть в землю, и опять думать: «Поишо ешо подобрей места». И так ходил он с холма на холм мпого ли, мало ли годов и все искал, где бы получше положить Економку. И однажды пришел он к избе, а в той избе шаманили его сестри. Залезь он на трубу и слышпть, как шаманить его старшая сестра. Шаманить и говорить: «Вот явийся наш бьят и принес с собою свою Економку, и съюшаеть он сейтясь в трубу». Младшая сестра говорит: «Надо его поскорей позывать в пзьбу. Мы так его давно не видели». Позвали они его в пзьбу, а он говорит: «Один по пойду, только с ей». Пронесь он гроб впередь себя и поставил на скамьи. Налили ему цаску, а он говорит: «Налейте и ей. Пусть и она пьет со мной». Налили они ей, и поставил он цаску на край гроба. Он выпил две цаски и перестал, ну а она, мертвая, конечно, не пьет. И стало сестрам жаль его, што так убиватьца, а другую не береть. А он говорит сестрам: «Вот если вы шаманы и шаманите, то оживите ее, а то я вас всех перебью». Сестры говорят: «Шаманить будем, а ты выйди за порогь». А он не выходит, боцца, што сестри Економку спрячуть. Стала старшая шаманить — питево, не оживляца. Средняя стала шаманить — питево, не оживляца. Тогда говорить младшая: «Принесите мне одежды материнские, шаманьские, я буду для мово милова бьятца шаманить!» Младшая же пкогда не шаманила, но страстная сила была в ней, всех большая, потому што она не имела сношения с мужиками. А самая страстная шаманка та, што не иметь сношения с мужиками. Она всех сильнее. Принесли ей одеждю — вся в погремущках, и стала она шаманить. Плюнула в глаза брату — он лишпийся зрения. Поставила гроб на шестоць, ешо пушке шаманить стала и тормашить Економку. И вразь Економка поднялась и сядла на зьпу. Сяла Економка на зьпу, и лице ее поразавела. Подбежала тогда сестра к Економке, взяла за ручькю, и встала Економка из гроба. Подбежала тогда к бьату идохнула в лице, и глаза у него отперлись. С тою поры стали они жить вместе. Мпого ли, мало ли годов прошло, говорить

Економка вроде как Ивану Царевичу: «Зови бабу, пришло мне время родить». — «Не надо нам бабу, — говорит Иван, — мы и так, сами сумем». Взял он подпругу, привязав к матице, и только показался — не показался ребенок, потянул за подпругу. Ребенок так и вышел на проход и побежал по юрте, да за порог, за дверь. Наступил Иван на пупок погой, обрезал пупок, и так с пупком и убежал парнишка на сендуху и скрылся. Снова прошел год, и опять говорить Економка: «Зови, Ваюша, бабу, пришло мне время родить». — «Зачем пам баба, — говорит Иван, — мы и так, сами сумем. Я теперь по-другому попробую». Опять привязал он подпругу, и только показался — не показался ребенок, потянул он подпругу и подхватил ребенка рукой. Видит — девонька. И только родилась — сразу заговорила: «Пойду я в сендуху пскать бятца». И ушла в сендуху. Много ли, мало ли годов прошло — узнал Иван от верного человека, што идти на его двенадцать братьев жепных за сестру отомстить. И ведут они войско с собой в тыщу человек. Накрыла Економка стол, а Иван говорить: «Што ж пожаловали, бятцы, идите за стол». Садитьцы бятца за стол а сами думать: «Вот надо Ивана Царевича расстрелять». И только они подумали, отворяца двери и входят молодая девица и молодой парень. И парень говорить Ивану: «Здравствуйте, папаша». И думать Иван: «Кто ж ета меня папашей пазывать? Уж не сын ли мой, ково я упустил?» — «Да, говорить, папаша, я ваш сын и есь. Узнал я, што вам беда грозить, собрал и привел я тыщу солдат». И говорить он бятьям: «Выходите во двор». И пошли все во двор. А на дворе тыща воинов стоит. Схватили они бятцев и солдат и расстреляли их. И стали жить себе дружно, Иван вроде как Царевич, Економка и их дети. И добро наживать...».

Это северная сказка, неизвестно какими путями попавшая к попизовым колымчанам, уже не на тех сказок, какпе рассказывала мне моя мать. В ней «расстрелять», и «проче как Иван Царевич», и «Економка» и «сношения». По пей вижу я, как идет все мсляющее время. В широкой реке его, где-то в верховьях моей жизни, вижу я Харьков, слышу слепого бандуриста, нянькины «три впробочки схлывлялся» и — «мамулины сказки». По ним, быть может, больше всего научился я любить цветистую лепку слов. Рядом с ними шла лавь: за окном, в покосившемся

доме, у студентов взорвалась бомба — мне еще сказали, что в кухне упала на пол тяжелая ступка. С тех пор я узнал и говор пушек, и вшей, и надежды, и голод. Но тогда я верил стуку тяжелой ступки как непреложной яви, хотя за окнами были девятьсот пятый год, драгуны, бомбы, тополя и грядущие бои.

Целые дни хожу по Сухарной. Река разлилась безбрежным снеговым морем; по ней приходят и уходят партии с рыбой, грузом, людьми. Самый богатый, самый знаменитый подледный промысел рыбы для всего пошловья, Сухарная, заманивает в свои трухлявые, забитые снегом избушки множество предприимчивых рук.

Свирепые пурги с осени здешние завсегдатаи. Они настолько сильны, что случается партам дойти до самой деревни и у самой деревни под угором почевать в снегу: метель не дает разыскать избы. Днями приходится безвыходно сидеть в избе, а то переидешь к соседу — и не найдешь дороги обратно в свою избу. На два шага не видать человека. Ветер душит дыхание и, если отвернешься в сторону, в каких-нибудь пяти саженях будешь ходить кругом и не выйдешь, пока случайно не наткнешься на чью-нибудь засыпанную снегом дверь или угол амбара.

Дома, которых здесь чертова дюжина, и два чукотских чума одной улицей вытянуты вдоль реки и приподняты равнинным берегом. Вся долина втиснута и замкнута с востока и юга тяжелыми крыжками и забелена снегом. И общий фон пустынен и покоев. Все сравнено и засыпано снегом — дома, чумы, камни, сползающий ерняк и карликовый кустарник. На нем лишь пятна людей и собачьих упряжек.

Но в Сухарной все живет спешной и временной жизнью зимнего рыбного промысла, ежедневно вырывающего из воды сотни ценнейших рыб. И эта спешка и временность видны во всем. В избах, переполненных пародом, еще при свете светильников — «леек» и ламп — движение и сборы. На лавках и табуретах распарившиеся чукчи и русские наваливаются на бессменные блюда настроганных кружков рыбьего мяса. На очагах жарятся жирные куски омуля. Амбары и сарайчики завалены прекрасными тушами двадцати — тридцатифунтовых вострух-нелем.

Эта строганина¹ — лучшая сухарская строганина, местное лакомство всех наций полярных заимок и селе-

¹ Строганина — местное кушанье: строганая сырая рыба.

ний. На улице скулят и рвутся на потехах вприжатые в нарты собаки; и одна за другой, соперничая на бегу, вылетают из деревни упряжки, чтобы скрыться в речном мороке: рыбаки выезжают на высмотр сетей.

А за деревней вздымается высокий, закуржавелый камень — мыс со скосившимся маяком. По склону его карабкаются ерник, карликовая береза и ветлы иссохшей травы. Если подняться по ним до самого верха, оттуда, с мыса, свернув на север и восток, видно, как выгнули горбы другие упрямые массивы, чтобы добежать до голого края земли и упасть в ледяные просторы другой стихии.

Голь, суровость, бедность красок, сжатый примитив. И Сухарная у самой подошвы холма — тринадцать спичечных коробков и два конуса чукотских чумов.

Вечером, когда снег и горы в палете синьки, иду по забитой снегом тропе к пылающим трубам изб. Запоздавшие чукчи торопятся к своим стойбищам, где черными точками отмечены табунки связанных оленей. Сейчас небо ясно и высоко: наверное, в ночь выйдет сияние, а к утру вдали всплывут в сизых цветах неба спрятанные пурговыми дилми сизые горы.

Дует жестокий ветер: его называют здесь — солодник. С материка, через просторы огромных площадей, песет он тяжелый холод. Только в избе, натопленной до отказа, тепло. За ужипом у стола сидят чукчи. Чукчанко жарко. Она вытаскивает из меховых рукавов руки и опускает кухлянку до пояса. Голое ее тело потно. Ее муж, чукча, сидит как камень: ни одного слова не произносят его резные губы. Только после ужина он подходит, по обычаю, к хозяину и пожимает руку. Он благодарит его за еду и говорит о чем-то по-чукотски.

Сдобная хозяйка в американской морковной шотландке потирает над огнем руки. В углу якуты подсчитывают и делят между собой добычу последних дней. Они быстро шевелят губами, и гортанные слова сливаются с голосом чукчи. Ребятышки снуют под ногами и облизывают жирные от рыбы пальцы.

— Эх, бьят, — говорит высокий старик парню, — не потрафило нам сей раз. К чукчам бы съездить, кабы не пурги! Чукчанька там — красавица! Варажейка она у их...

Почти круглый день горят «лейка» на рыбьем жиру. К обеду и ужину зажигают еще свечу, вставленную

в пустую бутылку. Трещит камелек. При свете его, так же как в Походске, рассказывают друг другу рыбаки события и вымыслы; в них часто не поймешь, где кончается быль и где начинается фантазия.

— На Аниое в прошлую зиму двое под лед ушли. Ножик-та, не как раньше, на стегно¹, пошили, за спиной где-та! Нарты провалились, ну, и ушли под лед. Вытащили, так все ногти ободрали, и руки в крови. Все за лед цеплялись, да разве без пожа выйдешь! На ноже только выйти можно: нож в лед, проворачивай к себе обухом — и на поже выходи. А нож-та у них за спиной — где тут его достать...

— В былые годы не так все было — и в промысле не так. В Сухарной — ешо одна только паба стояла — каждую осень, бывало, если промысел будет, едет от моря старик на собачьках и прудит² так, что кругом кухта летит столбом до самого неба. И так вверх и проезжает, и все знали — рыбка будить. А если не будить промысел — выпз, так в самое море уедпть...

Моря от Сухарной не видно, но Сухарная — самая северная деревушка. Живет она в году всего несколько месяцев и затем замирает. До Походска от нее восемьдесят верст — хороших верст, собачьих³.

ЧУКЧИ ИДУТ

Оставив в стороне яранги, оленей, один за другим тянутась с гор и тундры чукчи.

Они тадаат за собой легкие оленьи санки — турки. На них повезут они обратно в свои яранги муку, сахар, чай, табак, ситец, порох, свинец. В Сухарную наехали временные красные купцы. Госторги навезли с Нижне-Колымска, с Медвежьего мыса, где выбросил часть груза у бара парход, пестрые вороха товаров.

В фактории на полках — медные солища десятифунтовых чайников; этикетками щеголяют пороховые банки;

¹ Стогпо — бедро (*местное*).

² Прудит — тормозить нарты (*местное*).

³ Версты на Колыме различаются: самые длинные — собачьи версты, то есть версты в районах собачьего транспорта; за ними по длине идут оленьи версты; самые малюнькие версты — конские. Версты, конечно, померены.

кшпы ткапей пеиятя неровными волнами. Малоцульки, винчестеры, доски кирпичного чая. На полу — ящички с шалами, сахаром и папушки табака.

Легкие оленьи санки-турки — добрый признак. Они говорят: идут чукчи. А с чукчами идет в красные фактории тундряной песец, лахтачи, нерпичьи шкуры, оленье сырье — пыжики, неблюй, выпоротки.

Коричневый великан вошел в лавку, согнувшись в дверях почти вдвое. Он поклонился, снял шапку, протянул руку и выждал вопроса приказчика. Приказчик пожал его руку, и тогда они заговорили по-чукотски.

Огромной рукой, в которой свободно уместилось бы лицо приказчика, чукча вытащил из мешка две шкуры. Два пухлых слежных меха зашевелились в ловких крючковатых пальцах приказчика. Чукча назвал предметы, нужные ему за песеца.

— Бери на девятисто рублей, — отцедел приказчик, — песецы хороши.

Он встряхнул их еще раз и небрежно бросил на полку. Через четверть часа чукча покидал факторию: в мешке его побрякивали два чайника, дюжина чая, отрез мануфактуры и несколько фунтов сахара.

Привязав к турке мешок, он вытащил из-за пазухи кшсет, пабил табакком плоскую американскую трубку и, все еще не падевая шапки, пошел по приятелям. День был совсем теплый — не более сорока градусов!

Пьют чукчи чай с усердием и степешством. Чайник выпивают до конца, какой бы он ни был размером, и, выпив, опрокидывают. Здесь кончается чаепитие. Дело хозяина возобновить приятное занятие — медлительное, распаривающее поглощение горячего напитка. Уважение гостю оказано — чайник поставлен, поставлена рыба: уважение гостем оказано — чайник выпит и опрокинут, рыбка съедена. Гость и хозяин довольны. Но у хозяина хорошее настроение — гость принес хозяину за старые бесконечные — «свои» — счеы и взаимные одолжения две ладные шкуры пыжика. В олешьем сырье терпит низовой промышленник сильнейший недостаток. Хозяин прибавит к пыжикам остатки своих шкур, и в следующий выезд будет у него «себяткаля» — красивая — кукашка. Хозяин доволен своим другом.

— Мечепьки, Этынкль, — говорит хозяин и выставляет гостю новую рыбку и новый чайник. — Куша-ай!
Здесь начинается цовое чаепитие.

С осени с Восточной тундры к Сухарной подходят чукчи. Оставляя в тундре главное свое стадо, на несколько дней приезжают они в окрестности деревни и ставят свои балаганы. Главная цель — закупка товаров и сбыт оленьего сырья агентам государственной торговли, перед отправкой к краю лесов со всеми оленьими табунами на зимовку.

Живут чукчи в больших чумах — ярангах. Моржовым и оленьим жиром пропитывается их одежда. Во внутреннем пологе зимой — тяжелая духота. Чукчанки ходят в нем голые, с повязкой на бедрах, с бусами в ушах.

Старинные обычаи и обряды сохранили их быт. До сих пор еще повсюду сохранились говорят о былом обычае — отправлении к праотцам стариков и старух по собственному их желанию. И, если верить этим рассказам, ничего удивительного нет в корне старого этого обычая. Старики — обуза для кочевой семьи: лишний рот, лишний груз, лишняя забота в борьбе за настоящий день. Экономика — база быта.

В прошлом бывало так: когда старел человек и терял трудоспособность или когда болезнь делала его непригодным для кочевки, старик говорил, что пожил он достаточно и тянет его уйти к праотцам. Он выбирал самого любимого им человека, собирал гостей, надевал одежду, получше для этого последнего перехода человека, последней кочевки из мира знакомого в мир неизвестный. И здесь, в Заполярье, возникала некая торжественность, необычность, возвышенность обстановки. Устраивалось угощение. Старик досыта ел в последний раз и подавал знак приблизиться избранному. Отказаться от почетного предложения было равносильно посрамлению; избранный подходил и умерщвлял старика. Потом старика хоронили.

Впрочем, не все чукчи хоронят родных. Не все закапывают в землю. В Восточной тундре особенно редко погребают человека. Обычно его оставляют лежать на земле, пока не разнесут его зверь, снега, ветры. Редко, по просьбе умершего, труп сжигают. Обычай определяют естественные условия: земля здесь трудно поддается человеческой руке, подпочвенный грунт богат вечной мерзлотой.

Но обряд похорон у чукчей своеобразен. Вот что рассказал мне Митрофан Ребров за неизменным чаем в Сухарной:

— Хоронил чукча свою жену...

Одел ее в новую одежду, пеструю, меховую, с пашинками из материи, а еннич, нагрудник у кукашки, поднял на лицо и зашил.

Потом одел ей ремень вокруг головы и надо лбом сделал петлю из ремня. В петлю вставил посох — палку, которой оленей подгоняют.

Сел чукча возле мертвой жены на пол и стал подымать ее за голову посохом, что в петле. И так делал — спросит ее:

«Положить тебя за Камнем, у двух дорог?»

Подымает посох, и на посохе весь труп подымается, не гнется. Говорит чукча:

«Не хочет».

Поспдит, покурят. И кругом гости сидят. Поговорим, покурим. И снова он спрашивает:

«Положить тебя за едому?» За ровную гору, за плоскую, значит.

И опять подымает — не гнется.

«Не хочет», — говорит. И опять курит. Опять разговариваем. И снова спрашивает чукча:

«Положить тебя через реку?» — Не гнется.

«Положить у старой стоянки, за кустами?» — Не гнется.

И так много спрашивал. Потом спросил:

«Положить у Камня, где в прошлую осень волк заел пять моих лучших оленей?»

И вдруг голова подымада... Сама голова ходит вверх, а труп лежит недвижный. Тогда говорит:

«Хотит, штобь положили ее у Камня».

Положили ее на санку и увезли туда, и все гости едут за ними. И каждому гостю по оленю убили в подарок. Ей же на турку положили аут и камень-дерево, скребок-то наш, знаете ж, и всякие женские вещи, весь ее бабий инструмент по ее работе, и убили двух оленей — самых жирных, — на которых везли ее, и все тут и оставили.

— Тюкти¹ не заривают покойника. В Западной тундре, бывать, жгут.

— Во, страсть какая! — вскрикивает баба при оковании рассказа Митрофана, не выпуская в то же время изо рта меховую шкурку оленьего камуса. Она выкусывает шкурку зубами, чтобы сделать ее мягче. Из нее сошьет она легкие и теплые обутики.

¹ Тюкти — чукчи (местное).

— Так и будет!

Митрофан трет лоб и добавляет:

— Тюкти «нарта» не говорят, завсегда — «сапка».

Весной, когда посветлеет после полярной ночи, в конце февраля, в марте, выезжают немногие жители приморских заимок на море через Сухарную, на нерпу. Чукчи тоже ловят зимой нерпу. Охота на нерпу ведется с собакой. Собака отыскивает нерпичьи берлоги и дыры во льду, откуда выходит дышать воздухом нерпа.

В солнечные, теплые дни нерпа чаще показывается надо льдом, чем в зимние месяцы; и охотиться в теплые дни сподручнее. Нерпа подышит воздухом, обогрется и опять пырнет обратно. В этой-то дыре и устанавливается крепкая сеть из ремня или толстой шитки.

Нерпа проплывает над свободно опущенными краями сетки и выходит на лед. Увидев охотника или собаку, она стремительно, камнем, падает в серединку дырки, прямо в сеть. В сети она запутывается. Нерпичье мясо и жир русское население в пищу не употребляет, но для собак нерпа — прекрасный корм. Шкура идет на обувь.

На Малой Анюй-реке, в трехстах верстах от Нижне-Колымска, строится культурная база для кочевников; фактория распаковывает ящики товаров. Школа вложит в мозги чукчат пламенные горизонты новой эры. Одна за другой проходят исследовательские партии. Зоотехники прибыли в 1929 году из города Якутска налаживать образцовое оленье хозяйство — опытную ферму. Новое административное районирование стремится новыми путями ближе придвинуть к местам культуру, закон.

Чукчи одарены свежим и сообразительным умом. Они чрезвычайно выносливы.

Самым крупным богачом называют здесь чукчу, вернее — ламута, Каку. Кака — прозвище; имени никто не знает. Он бродит сейчас со своим артыс — санками, имуществом и небольшим оленьим стадом — по самой реке, заезжает в заимки, выменивает себе нужные вещи. У него хорошие собачьи пары, и собаки, в противоположность колымским, мирно уживаются с оленями. Также и тунгусские лайки не трогают оленей: они оленьи сторожа.

Слава про богатство Каки громка. Главное стадо его идет по Камню, по восточной стороне Колымы, приближаясь к зимовке, к краю лесов. Летом он слова откочует,

спасаясь от комаров, к морю. В стаде его, по местным подсчетам, десять — пятнадцать тысяч голов.

Таких богатых чукчей не много. Называют еще Венне, Тауту и некоторых других, но они значительно беднее Каки. Биография Тауты представляет некоторый интерес.

Хитрый и бедный Таута не разбогател так, как другие. Он не торговал, не скупал олепей. Он не сватался к богатым невестам. Сватовство — дело нелегкое: кто сватается, поступает простым работником-пастухом к отцу невесты и два-три года работает на хозяйина как батрак. Иногда в это время он уже живет с невестой, презжая времянами к ее балагану. Если в эти годы заслужит жених доверие отца — отец отдает ему дочь, и часть богатства получает чукча. Но Таута разбогател иначе.

У бедняка Тауты сына застрелил сын другого чукчи, знакомого. Случилось так: сын Тауты подошел сзади, в то время, как его товарищ заряжал ружье. Подойдя, он дернул ружье к себе за дуло. Патрон заскочил в ствол, и ружье выстрелило. Пуля попала в лоб сыну Тауты. Он умер. Жена Тауты с горя удавилась. Тогда Таута пришел к знакомому чукче, пригрозил ему смертью, потребовал застрелить сына. Но отец отказался убить сына и отдал Тауте весь табун олепей. Таута взял с табуном и молодую жену чукчи.

Ночь надвигается гуще. Без огня за весь день ничего не запишешь, сидя в избе.

Чукчи уходят и приходят вновь; часами любопытно наблюдать черные пятна, движущиеся от их стоянки к Сухаршой. Издали они серы. Бесформенны. Ближе — отделяется человек от турки. Потом к человеку прибавляются две руки и две ноги; и уже за несколько десятков метров — голова, лицо. Головы и руки их нередко голы. В лице — сосредоточенность, затаенность, выдержка. За турками — легонький след, тундра, камень.

СОБАКИ

Через десятки лет, объезжая коллективные пушные заповедники, наш неведомый товарищ будет любоваться легкостью и быстротой хода комфортабельных аэросамей арктического пояса.

Переходы от Чаунского побережья до мощных факторий Медвежьего мыса по любому снегу едва ли займут у него более четырех-пяти часов.

Тонкая морозонепроницаемая одежда даст ему свободу движений и возможность часами систематически наблюдать жизнь питомника и регулировать распределение пушных пород по тем или иным участкам ледовитого прибрежья.

Что значат для многомощного аэродвигателя десятки километров снежных пространств? Тундру и камень гор пройдет символический трактор времени. И тому, будущему человеку останется преданием, что в 1928—1929 году тысячу двести немереных косых верст по такому же снегу проходил предшествующий ему товарищ из добрых собачках в три недели, в месяц, в полтора месяца.

К тому же он был бесплеен в открытой войне с пургами, холодом, зверем. Пурги он перебарывал в драной палатке у парты, огонь и звериная потребность движения спасали его от холода; и утлая, изменчивая награда его трудов — свободный гражданин тундры песец — никогда не давала охотнику уверенности в успехе предстоящей зны.

Все это станет когда-нибудь преданием. Сейчас это действительность. Аэросани — парта; мотор — собачка.

Единственным транспортом огромной Нижне-Колымской волости, исключая обеих тундр и почти всей реки до областного ее центра Средне-Колымска, являются собачки. Лучшие из них — северные, типичные лайки, с густой шерстью, острыми ушами и мордой и крепкой грудью.

Разных ветвей, все они близко подходят друг к другу, несмотря на различие мастей и цвета глаз. Обычные глаза лаек — темные, коричневые, иногда оранжево-коричневые; но есть на Колыме порода лаек, очевидно завезенных с реки Индигирки, глаза которых голубовато-белы. Это северные альбиносы, чистокровные полярные лайки, скакавшие себе особую симпатию американцев.

В любом дворе, у любого забора, в тальпках за пзбами — всюду красуются острые уши. Лишь к югу, вверх по реке, чаще начинают попадаться собаки с прижатыми, наполовину стоячими и лежащими ушами. Здесь уже скаывается кровь русской собачки — типичная лайка всегда отличается острыми, стоячими ушами.

Для местных людей собаки — тот же скот, что для нашего крестьянина лошадь. Средний дом имеет шест-

надцать — двадцать собак, а чуть покрепче — уже и тридцать, а то и сорок. Лишь бедняки мирятся с тремя, четырьмя, пятью собаками, с помощью которых обслуживают они свои домашние нужды: возят воду, дрова, рыбу с места улова.

К югу чем дальше от моря, тем меньше собак держит семья. Пушной, низовой промысел стягивает к себе главное количество собак.

Без собак в настоящих условиях не может и низовые обходиться человек. Лошади в пурговых полярных районах не выдерживают холода и вьюг. На лошадях нельзя проделывать больших поездов; лишь летом удастся объезжать на них пастники и подымать пасты.

Оленям также не пользуются жители поппровых заповок. Они мало знакомы с уходом за ними; олень требует летом пастухов; олени вымирают от эпизоотий, как мухи на липком листе ядовитой бумаги, и, наконец, олени менее выносливы, чем собаки.

На Колыме правильно говорят: пет более выносливого скота, чем собака. Собаки переносят тяжелейшие вьюги, глубокий снег, дни бескормицы; они рождаются на снегу, требуют наименьшего ухода — только варка пищи и кормежка; они скоро восстанавливаются при падежах и легко размножаются; к тому же падежи у собак крайне редки.

И как у цыгана «лошадь», так с губ понизовых рыбаков и пушников-охотников не сходят — лишь заснежат снега:

— Кобелек-та, сука, сыпок, собатька...

— А Пантелеймон, знать, Петюшку-та бросил...

— Елпсей поле подбор держать...

— Што быстро приехали — осемьдесят верст шесть часов промывали, ну и подбор! Ну и собатьки, грех один!..

— Я тебе моево Петуха па твою Удалова не сменяю...

— Мой-та Удалой ваших всех стоны! За сто двадцать не отдам...

— Бубенец-та все жь отвляжи, больно собатьки твои неважненьки...

— Брось болтать, собатьки мои — во-о!

И в доказательство; что собаки его первоклассны, собачник протягивает правую руку с оттопыренным большим пальцем кверху и поверх покрывает палец ладонью левой руки. Это обозначает, что собаки его — первый сорт.

В полной упряжке — двенадцать собак. Съедает упряжка в день около одного пуда рыбы. И, несмотря на

высокую стоимость собаки и на огромные рыбные запасы, идущие для собачьего корма, неукротимые четвероногие труженники окупают себя: без них не может просуществовать понизодец. На них объезжает он пасты и ловушки, на них зарабатывает деньги перевозкой груза, на них уезжает на дальние озера и места речного лова, на них возит дрова, воду, навещает гостей, посещает торговые центры, ходит на охоту, за лосям.

Покорный друг и труженник, собака во всем сочувствует человеку.

Любители собачьей езды, быстрого собачьего хода нередко подбирают особенно быстрых и ровных по силе собак. Подобранный таким образом упряжка и носит местное название — подбор. Лихие собачники на трех сменах собак в довоенное время возили именитых купцов в два с половиной дня от селения Нижне-Колымск до города Средне-Колымска, что, по местному исчислению, весьма близко к действительности, равно пятистам шестидесяти километрам. Такие переходы считаются рекордными и вспоминаются почти как предания.

Обычная скорость собачьей упряжки десять — пятнадцать верст в час. Впрочем, и в настоящее время по лучшему пути весной, по насту, в деревню Сухарую от Нижне-Колымска ездят добрые ездоки на дорогах подборах в один день. Ночуют; и на следующий — «прокидывают» к вечеру те же сто пятьдесят километров обратно. Но такие переходы редки. Обычная езда до Сухарой — двое суток, с грузом — трое.

В ночь темную и снежную хорошо под лучи северных сполохов лететь на беспумной нарте. Ход собак до того тих, что если закрыть глаза или смотреть в упругое покрывало неба, такое же белое, как шкура левого коренника, можно представить себе, будто стоишь на месте или тебя покачивает на качелях.

К вечеру собаки всегда прибавляют ход от мороза, от близости жилья, ночлега, корма. Упряжь собачья — алыки из крепкой лахтачпой кожи — поблескивает под луной, и дрожит длинный ремень — средний, или потег, — с пристегнутыми к нему парами собак.

Иногда алыки «для красы» обшиваются красной материей или окрашиваются в красный цвет. Тогда собаки выглядят особо парадными, щегольскимп. Но «алык» не русское слово, и едва ли произошло оно от алого цвета упряжки, от алого алыка. Теперь нет в волости алого

сукна, и алые алыки — редкость, хотя многие собачники охотно отдали бы лучшего песца за метр паршивенького красного суконца. Щегольнуть алыком любит в понизовье каждый ездок.

Особый словарь — ездовой, собачий словарь — замыкается вокруг мира собачьих интересов.

Управлять — окричать собак — «куркать». «Крятка» — оградка для сиденья на нарте. Полозья нарты для того, чтоб они скользили, «войдают» — покрывают водой при помощи заячьей лапы. Остановки в пути зовут «нобердами». Тормозить — «прудить». Весной под нарту на полозья ставят вторые, костяные полозья — «косью», для легкого хода по время «подлипа» снега. А чтобы снег не подлипал, к подошвам ямщицких торбасов подшивают щетки, «щеткару» — от оленьих ног.

— Надо тебе харю укрывать, — предупредительно советует ямщик, — а то от собак хивус больно здоровый идет.

В ветреные морозы от собак подымается пар; этот пар со встречным ветром — хивус — жестоко режет лицо. Тут не помогают ни стаж, ни выносливость каюрщиков. Помороженные лица встречаются повсюду.

— В такие морозные дни и собак-те пацсать нельзя, а то у собатек мозга ломаюца, и потом собака нкуда не годна, ходу у ей не будить...

— В такие дни и снег перемерзат и нарта не катца...

Особенно тяжело на выходах «каменных ветров» — ветров с каменистых гор востока к руслу реки. При пятидесяти с лишним градусах Цельсия даже легкий хивус довольно-таки сомнительное удовольствие.

На Колыму выходят и ездоки с реки Индигирки, с самых ее низовьев, на своих быстрых и выносливых индигирских собачках. Между индигирщиками и колымчанам-ездоками всегда нескрываемая конкуренция и нескрываемые насмешки.

— И говорят-та индигирцы по-модному — так, что трудно их понять...

— Наметь прикол — наскакатель, наметь г... — кила, грех один...

И народное творчество подхватывает песмолкающие споры и насмешки.

— Ех, ты, индигирщик-щелкопенек, одну выть-та, одну кормешку, на три сутки растянууй...

— О-о-о, па Индигирке опасно пляшуты!..

Сгонт кятка па столбах,
Економка в шеткорях,
Щелконенок едит куркат,
У матушки сердце юкат.
Да не колымска будь езда,
Да не отстал бы от тебя,
Кабы не доти, не зена,
Да не отстал бы от тебя.
Да щелконенок — славный парень,
Да не умеет парту править.
О раскат парту ударят,
Да писаренок вылетат...
Да писаренок — славный парень,
Брат — учопный человек,
Да он и первый-те прихой
Да он и девку-ту нашел.
Па большом-та па угоро
Балаган большой стаить,
Да вот во этом балагане
Раскрасавица сидить...
Даром, даром, не мол,
Дак не отымешь от меля...

— Брось болтать! Сьюшай да над нами не падсмейсяи:

У меня была папаха,
Из кольца в кольцо вилась,
А колымская девчонка
Три версты за мной гвчалась...

Каждому, кто ездил па собаках, известно, что нет у собак ни вожжей, ни палки для управления. Собаки идут па голос:

— Подь-подь — направо.

— Курк — налево.

— Та-а — стой. Или: то-о! — в зависимости от обучения и привычки ездока.

Хорошо править партой, каюрить — дело ловкое. Парту надо уметь вовремя одернуть, вовремя надо оттянуть ее в сторону и помочь собакам, вовремя перекинуть центр своей тяжести в противоположную сторону раската. Только один простой прибор есть у ямщика — «прикол», тормоз, кол с вбитым в нижний конец, укрепленным гвоздем. Им тормозит — «прудит» — ямщик, пропуская прикол между полозьями и стойкой парты. Прикол бороздит снег и умеряет ход собак.

Но и прудить надо умело. Можно попортить собак сильным и резким тормозом, надорвать и потерять ход

парты. Так же нелегко по голосу заставлять собак менять ход. Здесь-то и имеет место пресловутая школа дранья.

— Бывает, и детей родители надирают, так же как собачек... Если при госте в разговор влезет, штево... Только посмотрю, а оттуль, как гость уйдет, паучають: «Не лезь в разговор, не лезь...»

И хотя детей редко бьют в понизовье, сравнение правильно: собак надирают.

Надирать собак — трудная работа. Собак надирают обычно на ходу. Садится мальчик на парту. Парту пускают в ход, а каюрщик — отец или родственник мальчишки, владелец собак — с плеткой бежит рядом.

По уговору мальчишка крикнет заранее определенное слово:

— Та-та!

Или:

— Подь-та, подь-та!

И вровень с криком владелец начинает надирать собаку ремненной плеткой, от чего собаки в страхе бросаются вперед. Но хозяин должен не отстать от собак.

И вот рядом с несущейся в галоп, «па ускок», партой бежит человек. Ступни ног его в опрятных обутках и прямые углы меховых колен спорят с возрастающей скоростью четвероногих. Рыжебородое лицо — в зареве. Дыхание резкими бросками вылетает ледяной стружкой. Он не должен отстать от собак.

Но вот передняя, головная, начинает сдавать ход. Головная пара собак — это авангард парты. Только головные собаки гаркаются, понимают приказания хозяина поворачивать налево и направо. И если головная отстает — отстает вся парта. Тогда каюрщику приходится падбавлять ход, обгонять собак и настигать переднюю собаку. Но виновная уже поняла ошибку и увеличивает скорость бега. Вот она вновь пошла вмах. Но человек знает, что собака всегда прибавит еще и еще ходу. И он бежит, чтобы пагнуть виновную.

Человек и собака состязаются в беге.

Есть прекрасно обученные собачьи упряжки. По одному возгласу хозяина увеличивает или уменьшает ход упряжка. Иногда этот возглас почти незаметен для пассажира. Иногда он заменен легким постукиванием прико-

лом о дугу на передке парты или каким-нибудь движением каюрщика.

Был один ездок, которому стояло только нагнуться к другому боку парты, чтобы собаки, теряя головы, бросались вперед. Они знали, как каралось непослушание: ездок бросал в провинившихся приколом, на полном ходу парты попадая в заслужившую наказания собаку. Летящего на нее прикола собака бьется больше всего. Иногда к рукоятки прикола приделывают кольца: кольца шумят и пугают собак.

— Сколько этой собачке лет?

— Той-та? По второму алыку.

— А этой?

— Первый алык — сынок, этта-а...

В общегитии никогда не говорят — один, два, третий год собаке. Слово год заменяет — алык. Это значит — по первой упряжке, или, иначе, — по первому году. Собак пускают в работу невероятно молодыми — с шести, семи, восьми месяцев, а иногда и того раньше. В работе собака цепится обычно до четырех лет, самое большее — до восьми.

Из записной книжки

...Вчера Березкин рассказал мне:

— Несколько лет назад по первому осеннему снегу ехал лучший ездок, Котельничков, на восьми собаках. За лето собаки всегда отъедаются во время промысла рыбы и к осени отменно сильны — «зырните» собаки. С осени остерегаются запрягать в легкую парту много собак; ну, а он запряг восемь. Ехал у реки, вдруг — песец. Собаки за ним. Песец вперед. А песец всегда так: побежит, побежит и сядет. Собаки станут настигать, опять вперед бросится. Потом опять отбежит и ляжет. Ну, не удержать собак. Старик еще такой шустрый был. Опрокинул набок парту, прикол между копыльев (сток) парты вставил — ничего не помогает, так и прут. Канавка — через канавку. Бревно на пути — через бревно перемахнули. А песец все впереди. Пятнадцать верст промахнули, к стрелке вышли. И песец прямо к протоке, на лед. А лед еще тонкий по осени. Тут старик и бросил парту.

Я невольно воскликнул, как провинциальная бабышня:

— Ну и что же?

Ответ не менее классичен:

— Нитево! Ко дну пошли со всей партой.

Вообще осенняя езда опасна. Вчера сосед разбился. Тоже на восьми собаках ездил. Собаки утащили его на кочки за куропатками, помяли ребра. И собак отпустил, потом пришлось кому-то их ловить.

...Сегодня проделалы семьдесят пять собачьих верст при холодном востре. Ничем не согреться в пути, кроме ходьбы. Надо или идти за партой, отпуская ее вперед, или бежать рядом. Когда я сел в последний раз, уже под вечер, во время хода коренная сука заупрямилась и ослабила алычный ремень. Тогда Василий соскочил с нарты и приколом стал бить на ходу собаку. Он бил ее с силой, пока собака не упала и не закатилась под парту. Однако Василий не помог ей, в некоторое время она тащилась по снегу, потом выправилась и побежала. Каждый раз, как соскакивал Василий, сука в испуге бросалась вперед.

Больше Василию не пришлось попукать собаку...

...Почти все лучшие каюрщпки-ямщики под старость страдают сердечными болезнями. Это, так сказать, профессиональная болезнь. Она подобна болезни борцов. Слишком большое напряжение — постоянный бег во время надпрания собак и в поездках — постепенно изнашивает сердце. И вот к концу жизни оно изношено. Его сменяют другие сердца и неостывающая колымская страсть к быстрой езде...

...Василий едет и поет на всем непстовом хвусе. Вечером он рассказал мне то, что всюду ходит из уст в уста. Был такой ездок, тоже Котельников, старик. Не было ему равных. Разве Кондаков мог бы с ним поравняться. Высхал он однажды из города, а на дороге впереди ворон. Собаки вслугнули ворога и пошли ему вдогонку чесать. Три версты летел над партой впереди ворон, и три версты не отставали собаки — «во какая бистрота!» Потом ворон свернул в сторону.

Уже под старость собаки пскалечили Котельникова, залетели на сруб. Он ударился головой и потерял зрение.

«Во до чего боюсь его собаки!» После этого он ездил всегда на своих собаках с ямщиком, но и то: как, бывало, свистнет — собаки вмах.

...Собачью нарту даже лучшему каюрщику не удержат, если заметят собаки впереди песца, оленя или какую-нибудь живность. Редкие обученные головные останавливают остальных собак. Когда ездят к оленьим чукчам, прудят на два прикола: с обеих сторон нарты по одному тормозу. И то еле удерживают собак. Ну, а если не удержат и собаки заедят оленя, то прости-прощай: следующий раз не удержат. Потому и останавливаются чулки с оленями так далеко от займок и собак. Вчера на дороге пробежала мышь — собаки бросились за пей по целине и, пока не догнали и не загрызли, не остановились...

...Хочу еще отметить, что хорошие собаки в пургу и в снег находят в тундре старые места остановок. Также хорошая головная собака всегда находит старый след нарты, уже занесенный пургой; плохая собака всегда, как здесь говорят, «прокидывает».

...Василий опять дерет собак. Он не хочет отстать от соседа. У Дмитрия, попутчика, огромные собаки — настоящие волки.

— Страстные собаки у Митрѳя! — ворчит Василий. — Подь-та, подь-та...

ШАТРЫ СВЕТА

2. XII. 1928

Займка Кресты Пижие-Колымские

Я слишком давно не писал тебе, и вот сегодня утром, как это иногда бывает, вдруг, с силой вспомнил тебя.

Есть о чем писать.

Во-первых — и вовсе не «белы снега», и неверно поет песня: снег синий, синий снег, удивительно синий.

Об этом я давно хотел написать тебе: я жалею, что тебя нет здесь. Здесь надо быть художнику, чтоб занести эти краски, эти синие снега, эти плоские срезы неба, эти голые, простые горы, голь тундры, бесплощадной, все давящей, беззвучной, безмерной, оцепеневшей. И еще раз — везде, кругом, под ногами — снега. Синие снега.

Мой карандаш беспомощен в описании. Нельзя словом рассказать — да и говорить нельзя о тундре. В тишине ее только посвист полозьев, редкий взвизг собаки и редкие слова каюричника.

Иногда он говорит: «Тюкти ждесь быи, маленько оленей». Он узнает по следам, которых я не вижу, невидимые оленные стада чукчей.

Иногда он потянет длинное и мягкое «а»: «Та-а-а...» Тогда останавливается нарта. Я слезаю на снег. Собаки отдыхают, и каюричник поправляет их упряжь. Кругом те же снега, и впереди горы. Но как же передать тебе могущество этих мест, покой просторов?

«Осегодь кухта лютая, одно стриданье!»

Здесь говорят — «стриданье»; и вот по этим местам в буквальном смысле «стридаю» я.

Во-вторых, в-третьих, в-двадцатых, — я мог бы расчленивать каждую мою мысль, какой хотел бы с тобой поделиться. Но боюсь — получится конспект.

Поэтому пусть лучше месиво, пропущенное через мясорубку, нежели пропись.

Сиюю в заимке Кресты. Старая заимка, всего в четыре дома. Дома маленькие. В доме моем хорошая хозяйка, уже пожилая. Один сын ее «болен мозгами». «Так, сам заболел», — как говорят здесь. Года три назад загрустил человек, стал печалиться и плакать, и все молчит.

— Так, с ветру это пало на него, — говорит мать.

Никто как будто не обижал, и сам тихий; и добрый был сын и хороший работник. А вот «пало с ветру» — и загрустил человек. И теперь диями сидит он, тихий и незлобивый, работает даже по малости, а то вдруг «нападет на него» — и пачнет крпчать и понесет вскую чешуху. Над правой бровью у него большой бугор, и взгляд оттого насупленный.

Но я хотел тебе писать не об этом.

Я хотел еще раз сказать: снега здесь синие. Ты представляешь, какой свет будет весной, когда загорят снега. Как расцветут горы.

Строгость и простота останутся те же — лет ничего лишнего в горбах гор, в пелене тундры, в небе. Прибавятся в весенне утра волны воздуха. Они затопят лутника не меньше, чем волны морей. Как говорилось раньше — благорастворенне воздухов.

живет подвижная и веселая его дочь Анча. Анча — завхоз кузницы. Она варит обед, чистит ограду, рубит лес, возит дрова, ходит за единственным телком, кормит собак, раздувает меха в кузнице. Как большинство якуток, она исполняет все домашние нужды хозяйства.

Когда мы выехали с кузницы, ночь была полная. Но полярная ночь не такая, какой представляем мы ее себе. Если в наших краях сказать: «полярная ночь» — представляется: непроглядно. Темно.

Все же светлее. Густые сумерки. В сутки несколько часов — слабый свет, в остальное время — темно. Теперь подходят дни, когда всего два-три часа более или менее светло: светло настолько, что можно различить дорогу, предметы, окружение. Но черной стены перед глазами, о которую хоть разбейся — ничего не увидишь, такой стены нет.

Так вот, когда мы выехали, небо показало свой волшебный фонарь, вначале тусклый. Слегка мело. Потом пурга улеглась и свет разгорелся. Пожалуй, можно было бы читать. Особенно сильна игра на О и NO. Лучи не от самой земли, нет, кажется — на два и три роста человека выше идут к небесному центру. Матовые облачка пучками сходятся в шатер над тобой. Потом верхушка его начинает меняться, терять и усиливать углы. Потом рунится; и остаются лишь пятна, зарева, дождь световых лучей. И вот снова вдруг бешено заиграют солнечные зайцы, полетят по небу прожектора, щупывая что-то сначала внизу. Потом пойдут вверх. Погаснут справа и сразу же вспыхнут слева. Потом снова загорятся со всех четырех сторон. Пики скрестятся остриями. Тяжелый шалаш повисает над землей, не касаясь ее, — и все небо начинает вспыхивать. Все небо дрожит, горит, рунится мир, бледнеют звезды, победные лучевые пятна поджигают облака.

Так часами горит небо. Под небом — спелая, сияя, замерзшая земля.

Всю ночь трещала изба от холода. Всю ночь горело небо. Жители боятся, когда трещит изба. Они говорят:

— Чудинки, чудинки в доми...

Трещит — значит, нечистая сила ходит, постукивает, а нечистая сила может погубить человека. Кажется, мои

Сейчас жестокие морозы, ветры, скупой примитив во всем и голь во всем. Целые ночи играет огнем и горит небо.

Про эти северные сны я не писал тебе ни разу. Очень они разнообразны. Бывает — на порде лежит лента с причудливой извилиной конца. Возьми в руку широкую ленту, проведи по воздуху в сторону от себя и взмахни немного: край ленты изогнется. Так и на небе лента. Такая же лента, как на всех вывесках красилеп. Иногда по небу идут дуги — одна, две, три. Как радуга, но без окраски. От них поднимаются стрелы, пронзая темень неба. Иногда — только стрелы, лучи, пальцы над землей. Но самое красивое — шатры.

Цветных сновидений видел два: одно — с зеленым оттенком и другое — с яркими полосами крови. Последнее — редкость. О нем говорят как о небывалом, давно не видавшем, чудном явлении. Меня спрашивали, нет ли в кровавом цвете дурного предзнаменования. Сверкающая корона лежала над головой, и яркие, кровавые полосы с севера входили в нее. Полосы были очень широки. Корона ломалась, меняла углы, рассыпалась, и вновь сходились в ней огненные полосы света.

Вчера мы сделали за день восемьдесят километров. Попутно заехали в якутскую кузницу. Она в стороне от «просеженного тракта», затерялась где-то в протоках реки. В ней живет известный по всей окрестности кузнец Черва. Черва — прозвище, и прозвище свое он получил недаром. Как червь проедает дерево, так точит, кует и пилит железо старик. Ножи, скребки для кожи, серьги, кольца, топоры, пещи, печи из керосиновых бабок — все доступно руке кузнеца.

Но главное, чем живет старик, лежат далеко за этими пещирыми вымыслами — топорами, поломанными ружьями. Черва — колымский Стефенсон. Голова его занята затейливой выдумкой. Что стоит починить часы, наладить граммофон, десять лет завывающий в его юрте, или вывести прадедовский якутский орнамент на женском браслете? Все это известно и доступно каждому хорошему кузнецу. Старый Черва замышляет искусную лодку с маховым колесом; эта лодка при малом усилии пойдет вверх по реке без весел и человеческого пота.

Рядом с ним в затерянной в пониженных протоках юрте

живет подвижная и веселая его дочь Анча. Анча — завхоз кузницы. Она варит обед, чистит ограду, рубит лес, возит дрова, ходит за единственным телком, кормит собак, раздувает меха в кузнице. Как большинство якуток, она исполняет все домашние нужды хозяйства.

Когда мы выехали с кузницы, ночь была полная. Но полярная ночь не такая, какой представляем мы ее себе. Если в наших краях сказать: «полярная ночь» — представляется: непроглядно. Темно.

Все же светлее. Густые сумерки. В сутки несколько часов — слабый свет, в остальное время — темно. Теперь подходят дни, когда всего два-три часа более или менее светло: светло настолько, что можно различить дорогу, предметы, окружение. Но черной стены перед глазами, о которую хоть разбейся — ничего не увидишь, такой стены нет.

Так вот, когда мы выехали, небо показало свой волшебный фонарь, вначале тусклый. Слегка мело. Потом пурга улеглась и свет разгорелся. Пожалуй, можно было бы читать. Особенно сильна игра на О и NO. Лучи не от самой земли, нет, кажется — на два и три роста человека выше идут к небесному центру. Матовые облачка пучками сходятся в шатер над тобой. Потом верхушка его начинает меняться, терять и усиливать углы. Потом рушится; и остаются лишь пятна, зарева, дождь световых лучей. И вот снова вдруг бешено заиграют солнечные зайцы, полетят по небу прожектора, нащупывая что-то сначала внизу. Потом пойдут вверх. Погаснут справа и сразу же вспыхнут слева. Потом снова загорятся со всех четырех сторон. Пики скрестятся острями. Тяжелый шалаш повисает над землей, не касаясь ее, — и все небо начинает вспыхивать. Все небо дрожит, горит, рушится мир, бледнеют звезды, победные лучевые пятна поджигают облака.

Так часами горит небо. Под небом — спешная, сияющая, замерзшая земля.

Всю ночь трещала изба от холода. Всю ночь горело небо. Жители боятся, когда трещит изба. Они говорят:

— Чудинки, чудинки в доме...

Трещит — значит, нечистая сила ходит, постукивает, а нечистая сила может погубить человека. Кажется, мои

объяснениям о воздействии мороза на материал они не поверили. Больной сын только мотал головой.

Глядя на бугор его лба, я вспомнил, что рассказывал мне житель одной заимки, Агафон Индигирский.

Умеет Агафон «устанавливать детские глаза».

Когда у ребенка «глаза бегают в стороны», нужно «вымерить бумажкой», где больше, где меньше мозга, и разглаживать — «развести» — мозг по всей голове. Тогда глаза станут на место и не будут бегать. Не знаю, насколько верно такое средство, но Агафон показал мне вполне здорового мальчишку с самыми обыкновенными глазами; в младенчестве ребенок упал, и глаза у него «стали бегать» по сторонам. Агафон «вымерил его мозги» и «развел» по всей голове. Может быть, это массаж? Не знаю, все же любопытно.

Сейчас утро, запрягают собак в мою нарту. Посылаю отсюда с оказией письмо. Оно дойдет до города Средне-Колымска, оттуда поползет к тебе, и через три-четыре месяца будет в твоих руках.

В Походске, где я прожил семнадцать суток, организуется рыбацкую промысловую артель ламут. Он много рассказывал мне о своем народе, о ламутах. Лица у ламутов тоньше и выразительней, чем у чукчей. Передники женщины расшивают бисером. Так же — сапожки-торбаса, оленьи седла. Как ты знаешь, на оленях ездят верхом, с большой палкой, подобно тому как на лошадях — киргизы, но сидят ездоки на самой шее — на передних лопатках оленя. Олень хрупок, надо осторожно ездить, чтобы не повредить ему спину. Так вот, тот ламут подарил мне кисет. Я отдал ему вечным пером. Но ему нужно другое: он просит прислать, когда я приеду в Ленинград, «карточку» Ленина, большую:

— Чтобы во всю стену!

Пятнадцать тысяч километров отделяют ламута от Ленинграда.

За мной пришли. Перед тем как садиться в нарту, опять пьем чай. Таков уж обычай. Ничего не значит, что полчаса назад тоже пили чай. К чаю дала хозяйка диковинную штуку: жареная рыба, набита икрой и рыбьим мясом. Фаршировка на якутский манер. Нечто изумительное! Народ здесь неизмеримо радушный.

ТОЛСТОВО

1. КАМЕНЬ

Не томися, белой лебядь.

*Из старой
колымской песни*

Камень вышел из земли. Ветер ударяется в камень и веками дробит его желтый и коричневый остов. У подножия — осколки кремня, бурые, заплесневелые железняки, песок.

Вода ежегодно подымается к утесу. Весна ежегодно смеяет снега и рушит берег. И ежегодно к подошве камня ложатся подмытые лесины. Река приносит плавающий лес с верховьев. Волна подбрасывает и катает могучие стволы по мертвому щебню берега. Проходят полярные зимы, и снова приходит несменяющееся солнце лета. На щебне толкой периной взбухает древесная труха.

Ветер песет на камень липкий туман моря, зеленые, наполовину морские, языки волны, кухту тундряных снегов. Камень морщится стариковскими складками, трескается, лысеет. В расселинах всходят жидкая листва ерника и глыбы кедрового сланца.

Лиственницы, как редкие волосы, качаются на лысом теменн камня. Ветер свистит в волосах. На валунах облаков плывут хохотулы.

Никто не живет на Толстовом камне. Весной приезжают рыбаки ставить на улов сети. На щебне они разводят костер. Сверху из-за кустов щурится на них одноглазое зимовье. Зимовье приземисто, пелюдино. Сырой земляной пол. Два окна: одно — на реку, на запад, другое — «на сток», в медвежий кедровник; в нем ситчик, выцветший и разорванный с середины.

2. БУБЕПЧИКИ НИЗОВЫЕ

Ванюшка, Ванюшка, Ваня белый,
кудреватый,

Ваня белый, кудреватый,
Ты не холост, не женатый.

Из старой колымской песни

С Чаунской губы, от ледяного побережья, на лихих собачках, с груженой партой, вверх за Медвежий мыс, за Сухарную, за Кабачково, где давно нет ни шинкари, ни

стакана спирта, пи веселья, — попизовой Кольмой на деревню Пантелеиху — шел Дмитрий Бережнов к дальнему родственнику своему Аксёу Филаретычу.

Был Дмитрий Бережнов двадцати одного года, высок, грудаст, лицом длинен. Голубые глаза и русое кольцо бороды, руки — белые, больше, спорые на всякое дело. Одежда новая — щегольская кухлянка, липси малахай; любовной рукой расшит подзаор по краю волчьих штанов.

И собаки у Дмитрия Бережнова на подбор. Бурые, волчьи, остроухие, злые, на ладонь выше колымских — все четырнадцать. В красных алыках, расшитых мапдарой, а головные — с белыми пятнами у глаз, в алых паргелепках с бубенцом. Веселые собачки.

И нарта у Дмитрия Бережнова ладная, каткая нарта. Полозья на кости, купленной у чукчей. Стойки крепкие, крашенные, доски ровные. Кратка белая. Заповирья¹ нарта лахтачым ремнем.

В марте веселые, светлые дни. Долго горят снега — езда целый день. Кругом езда — встречных много из Крепости, с проток, с Походска.

Поздно выехал из Сухарной Дмитрий Бережнов. Думал прокинуть все сто тридцать немереных верст до именитой деревни Пантелеихи, до почтенного Аксёна Филаретыча, но сумерки застали его у Толстова камня.

Решил он заочевать в зимовье и с утра пораньше двинуться проездом в деревню.

Дмитрий выпряг собак на потеге, устроил под камень. Злого хохла Петуха посадил у нарты. И знал Дмитрий Бережнов, что никто не коснется его тюков, не приблизится к желтым хохловым клыкам. Да что — варод на Колыме смиренный, честный, кому надо трогать чужую нарту, хоть и все знают, что всезет с Чауна Дмитрий Бережнов.

Триста песцов заповирья в тюке, под лахтачым ремнем. Погожий год на промысел выпал на Чаунской губе. Набег песцовый прошел с морских островов на камень. С богатой добычей ехал Дмитрий Бережнов в повые края после десяти бродяжьих лет в приморской глухоте.

Камень намного облысел за десять лет. Парвишкой еще ездил сюда с отцом Дмитрий Бережнов на сетной лов, сразу за льдом, как проходила река. По знакомой за-

¹ Заповирья — завязана (местное).

бптой тропке он подымался паверх, к зимовью, пока кипел внизу чайник. Отец не любил зимовья:

— Тама-та дедушка живет, пе тронь дедушку-та, пе тро-о...

Конца слов обычно не слышал Дмитрий Бережнов. Пугливый кедровник поглощал отцовские слова и забирал в себя ребенка. Птиц не было в лесу. Под ногами осыпались песок и иглы. Иногда на сырых сходах карабкались медвежки — дедушкины — следы.

Подолгу всматривались пенскушенные глаза в рыжий мрак камня и шелудивых лиственниц. Уши ловили хохочущие крики чаек. Ноздри ранили зеленый сок кедра, смола, приторная горечь багульника. И настойчивая, закипающая кровь тянула маленького Дмитрия Бережнова в оседающую вечернюю тишину берложьих заповедников.

Те же лиственницы, кривые пеньки и кедровник пошел Дмитрий Бережнов и теперь, на двадцать втором году своей яви. Но зимовье, серое от сырости, как дерево могильного памятника, покосилось и одной стеной уало на лиственную грудь. Оно было засыпано снегом, погребено, как детство Дмитрия Бережнова, как возглас отца:

— Тама-та-а... Дедушка-та-а...

И новое зимовье, такое же приземистое и чуждое всему, сменило другое, пошедшее на слом. Окна его были туго забиты полинявшим ситцем.

След к нему был давно занесен.

«Месяц никого не было...» — решил Дмитрий Бережнов.

В углу валялся кусок оленьицы, и у крохотной почки на половиньы железной бочки лежали сухие дрова.

В ночь врезались в небо углы медных лучей, и до утра пад горизонтом мелькали горящие пятна, как будто кто-то наводил на небо, на зимовье, на уступы солнечное зеркало. Дважды сходил Дмитрий Бережнов к нарте успокаивать собак.

...И вдруг ночью неожиданно проснулся он от веселого сна: лежал он на узкой скамье в веселой заимке. Горела свеча за чаепитным столом. Старик у окна наигрывал на скрипке; красна девка ходила у самых его глаз в васьильковом платье.

Свет от свечи шел прямо в глаза Дмитрию Бережнову. Он попробовал прикрыться рукой, но рука

пропустила свет сквозь кожу. Скрипач открыл рот и закричал во всю глотку. Вместе с криком просверлил Дмитрий Бережнова тяжелый холод.

Ситчик на окне был разорван: в окне спдела луна, улыбалась во всю харю. Желтые глаза ее шевелились; и медленно, как будто нехотя, стала она высовывать из провала мохнатого рта крючковатые клыки. Внизу заливались собаки.

— Чудинки, чудинки, черт тебя дернул..

Рука хватилась вишчестера. Одним рывком был у окна Дмитрий Бережнов. Оно стыло — пустое, с продранный с середины ситцовой занавеской. В дыру просунул он ствол и выстрелил прямо в луну. Выстрел потряс утес и успокоил собак.

Дмитрий Бережнов зажег лучинку, осмотрел зимовье, вышел за порог. Лежала покойная ночь с луной и огненными углами на севере. По тропе спустился он вниз, поправил собак, распутал цепку Петуха, вернулся на гору, завалил окно кукашкой и заснул до утра.

В полдень он уже подъезжал к деревне Пантелеухе.

На бубенцы нарты Дмитрия Бережнова первой выбежала Донюшка из крайней избы с крылечком. Запрудил нарту ездок, и, снявши шапочку, подошел повстречаться Дмитрий Бережнов.

— Митюша-а, ты ли та-а-а?!

— Так и буду са-ам!

Дверь хлопнула. Румяное лицо просунулось и остановилось у косяка.

— Охто приеха-а-й? — закричало лицо.

— Митре-й!

— Ми-и-тре-е-й-та прие-ха-а-й! — захлопнулась дверь.

А Дмитрий Бережнов, скрывая радость, расспрашивал тем временем Донушку:

— Донуш, Аксеныч здесь? Кай-бусть? Не болеет? Матушка-та к прахбабке ушла — слышал. Ты-та розовешь!

Донушка тащила Дмитрия Бережнова за рукав в избу. Но он вкатил сначала нарту во двор, привязал собаку на потеге к прикольным кольям, высморкался и еще раз прижал к себе Донушку.

— Прелесть ты, Донуш!..

3. ЦВЕТИСТАЯ ЖИЗНЬ

О, и да перипочку боками удавлю,
О, и да не знала, что на свете
за любовь.

Из старой колымской песни

Аксеп Филаретыч, тоже Бережков — на Колыме только и есть, что Бережковы да Березкины, — был раньше купцом. Главное, торговал он с ламутами, за Паптелеухой, вверх по виске и в стороны, в сундухе, на едомах и камню. Выезжал на собаках и собаками славился. Славился весельем, выпить любил, и говорили еще, что баб любил и ламуток — молодых девушек, в молодости особенно.

На ламутах, ведя с ними дружбу, больше всего и вырос Аксен Филаретыч. Обмен если не сплошь «омман», все ж доходность. Ездил зимами Филаретыч и к чукчам и на ярмарке в Паптелеухе поил приятелей вином и угощал. А приятелю почет первое дело. Он за вино — весь твой. А если что в кредит не отказывал Филаретыч, так кредит та же копилка: отдаст тебе втрое.

Паптелеуха до этих годов по веснам, в феврале, марте, сзывала к себе гостей на ярмарку. Балаганов по сорок приходило сюда чукчей и ламутов, с семьями, оленями, с пушной рухлядью, пыжиками, оленьими шкурами, жидами для шитья, мясом.

Купцы выкладывали им чайк кирпичный, вино казенное, ситчик, опять вино, порох, свинец для дробы и еще, и еще винишко. Разгорались кочевые сердца. Пили мужики, пили бабы; давали бабы свое веселье охотникам. Выворачивались карманы, пабивались сундучки. Приходило серебришко, а за ним золотишко в купцовые кладушки. Уходили в тундру аршинны, мешочки дробы, пустые руки, должнички, обожженная душа и кочевая беспечность. Снова пустела деревня Паптелеуха.

Теперь революция смела ярмарки. Оттянула Сухаринской выездной факторией, Старо-Островной на Малом Ашуй-реке. Поставила выездных агентов — красных купцов — без вина, без менки, без должничков. Но и до сего времени весной приходят — уже не по сорок балаганов, поменьше — ламутские олени и чукотские турки в деревню Паптелеуху; и встречать их выезжают государственные торговцы.

Но и до сего времени — сильна старая память, цепки старые глаза, хитра бывалая голова. Черный ход и в

фактории передко бывает. И хоть пет частника, торговца, купца-батушки, все же ровно живет Аксен Филаретыч. Кто и пыжиков ему привезет, кто и оленчика из уважения заколет, кто и выпороточек на сахарок или порох променяет. И откуда это все есть, что тебе надо, у Филаретыча?!

А уж что по деревне за почет и уважение Аксену Филаретычу! И каждый-то к нему первый подойдет, и всегда:

— Здравству-у-й, Аксен Филаретыч... Здоров ли?..

И завсегда по-старому Аксен Филаретыч:

— Бог хранит, кай-будь...

«Кай-будь» — слово старое: здоров, значит, не болею, бережет, значит, небесный глаз.

И в морок небесный и в кухту, когда заструги пабьет промеж домов такие, что не пройти, всегда чинно, спокойно смотрит Аксен Филаретыч на жизнь — нравственный человек, одним словом. И уж ежели задумает свое, будет по его думам, не преминет случиться.

— Ково ж теперь делать станешь? — говорит Аксен Филаретыч Дмитрию. — Оттуль взадь поедешь али тутака осесть думашь? Коль тутака — зенись, бьят ты мой! Беж зены не модно зить парню, все едино беж бабы, как беж брук... Вот я тебе Клевобатрю присватаю, ягодья!

— Не, — говорит Дмитрий Бережнов. — Клевобатра мне не по сердцю. Возьму Доношку, душе вежливейе моей...

Силен Аксен Филаретыч в своем расчете: наперед знал, что выберет Дмитрий Бережнов. Потому и посватал чужую, шуструю вдовушку Клевобатрю. Свою дочку причить не лестно. Отдал Доношку свою Филаретыч Дмитрию Бережнову. Заиграла деревня Паптеленха свадьбу. Пришел баян из крепости, спирток по знакомству послал агент. Ходила Доношка по избе как зоренька. Песни звенели. В розовой рубашке плясал Дмитрий Бережнов. Всех переплясал. Три дня пировали гости. Три дня с подпятой головой, довольный встречал гостей Аксен Филаретыч. Под четвертый день разъехались гости.

На четвертый день поцеловал Дмитрий Бережнов Доношку, носвистнул на собак и погнал нарту к северу, в замку Мархояново, за семьдесят верст, за рыбкой.

День был погожий. Засветло прибыл на собачках в Мархояново Дмитрий Бережнов. На полпути еще чаевал и подкармливал собак. Мархояновская замка в тальни-

ках, подъем высок. Народ в Мархойнове — два человека, и обчелся, по приятный народ, обходительный. Не заметил Дмитрий Бережнов, как пролетел в разговорах вечер, утро свежее с солнцем в ледяных окнах избы. А с утра хозяйка дала славному гостю лепешек на рыбьем жиру, жирной рыбки; соседи все с расспросами: как да как, что на Чаупе, как промысел? А тут, как на грех, с Походска парты пришли в Мархойново. Разговоры завялились змейкой. Под самую ночь взгрустнулось Дмитрию Бережнову, загрузил он нарту рыбкой, попрощался на час с хозяином. И только и видели его мархойповцы.

Ночь застала Дмитрия Бережнова у Толстова камня.

4. ЗАВЕТЕРЬЕ

А я, бедная бедняжка,
Круг я горька сирота.

*Из старой
колымской песни*

Толстова первый раз предстало мне в памятный день.

С лоцманом мы взобрались по кедровнику на камень. Маленькое зимовье хранило заброшенный вид. Лоцман протянул руку к окну и сказал:

— Во — дыра! Медведь тряпку на окне изодрал. Видишь, лапой с середики задел.

Потом он посмотрел на небо.

— Здесь неладно дело было... Хотите, скажу?

Он еще раз поднял голову:

— Потом. Ненастье будет. Надо идти отсюда к Первому Камню, там заветерье.

— Что это — заветерье? — спросил я.

— Заветерье — стал быть, заветренная сторона, местечко, где погоду переждать можно. Здесь ночевать нельзя с катером — разбить погода катер может.

По небу катились лохматые бурые шкуры. Мы поспешили к Первому Камню. Это тоже заимка. Всего в три дома, из коих один пустовал. Но день не благоприятствовал. Против Первого Камня, по случайности, мы терпели аварию: веревка от лодки замоталась за винт катера, мотор потерял передний ход и управление на сильной волне. Нас выкинуло на фарватер.

Погода действительно разгулялась. Мохнатое небо гнало на маленький наш катер свирепые волны. Нас выбросило к берегу, к корягам, к грудам плавника;

с трудом удавалось отстывать катер. Волны хлестали через борт и заливали помещение. Откачать воду не было возможности.

В этот день с моря возвращалась после счастливого похода первая шхуна Дальгосторга. Заметив бедствие, она подошла к нам, но долго не могла подать канат или лодку, боясь слишком приблизиться к берегу и быть выкинутой на прибрежный нанос.

В этот же день узнал я голубоглазого капитана американца Джима Крукса, впервые проделавшего исторический торговый рейс с устья реки Колымы в устье реки Индигирки, зимовавшего там и в следующую навигацию меж полярных льдов легко пробравшегося назад.

В эту же ночь в заброшенном зимнике, где мы сушились после аварии и упивались чаем, рассказал мне лоцман конце жизни Дмитрия Бережкова.

— Во, брат, какое дело свершилось! Ехал из Мархояпова молодой парень, Митрей Бережков. Доехал до Толстова, собачек оставил внизу, сам поднялся, зашел в зимник и из винчестера застрелился...

По собачкам только и узнали, что худо дело с Митреем Бережковым. Съели собачки рыбку, не дождались хозяина, ушли по реке. Задержали собак повыше Толстова, вернулись, видят — лежит парень мертвый. Во, страсть, свесли на парту, увезли в Пантеленху, стали подъезжать — Дююшка слышала, говорит: «Митюша едит!» Сестра в оконце глянь — видит, чужие на его парте катют, сразу поняла — неладно дело. И говорит: «Нет, не Митюша! Я его собачек всегда узнаю!» А сама на улицу, а Дююша за ней. А он на парте мертвый... Уж убивалась, убивалась, и то грех — ни девкой, ни бабой осталась! Всего три дня жила.

— Отчего же это он в ямку сыграл? — спросил матрос.

— Охто? — недовольно поднял брови лоцман.

— Отчего помер-то, говорю?

— Сам помер. Никто не знает, отчего умер... Она жипа.

В колымской песне поется:

Но томися, белой лебядь,
Возьму замуж за себя.

Мне было шесть лет, когда я узнал о смерти двух моих младших товарищей, от скарлатины или дифтерита. Это не было первым знакомством со смертью: несколько

лет раньше умерла моя маленькая сестра. Вначале весть не смутила меня.

Но пройдя в сад, где недавно еще играли мы вместе в казаки-разбойники, я почувствовал пустоту. В саду курчавели розовые барашки вишни. Они вызывали в памяти вишневые пятна от раздавленной ягоды или варенья на рубашках моих умерших приятелей. Но ни рубашек, ни бедовых лиц не было в саду. Я почувствовал горечь.

Запах цветущей вишни, цвет раздавленной ягоды и смерть слились для меня в одно понятие, переступить которое я долго не мог. Я понимал только одно — смерть.

Я долго не мог позабыть этот рассказ про Дмитрия Бережикова. Даже смерть — дикая и нелепая, казалось мне, не омрачила этого поэтичного образа Северного понизовья. Вот почему и записал я эту драматическую историю.

Вероятно, над Толстовом сейчас такое же облачное, вишневое небо, что и здесь; опять катятся маленькие нарты; на этот раз — всего пять собак, они везут меня по Староострожской заснеженной протоке к Собачьему Острогу.

Рядом с партой бежит неизменный человек — мой каюрщик.

СТРАНИЦЫ ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

Декабрь 1928 г.

...Слова я в Нижне-Колымске. Первая почта, и новые вести: пароход «Колыма», шедший в устье реки Лены, вернулся, не достигнув его, и зазимовал во льдах. Летная экспедиция Осавпахима потерпела аварию в арктической полосе, между Дежневым мысом и Северным. Она подобрана нашим пароходом, вернувшимся уже во Владивосток.

Об аэроплане надо сказать, что ждало его население горячо, только и было летом разговору:

— Вот-та прилетит да вот-та прилетит!..

Колымчане построили арку на угоре: два кола с натянутым кумачом: «Добро пожаловать». Арку сломал ветер и смыл дождь. Ничего, на будущий год построят новую. Прилетит новый самолет.

О пароходе «Колыма»: старый пароход; то, что зазимовал, вполне естественно.

— Льды круговорот имеют, — говорят чукчи, — через несколько лет кругом приходят к берегу.

Не помню: кажется, указывают они — три года.

«Колыма» обеспечена годовым продовольствием. Бояться за нее нечего. Но ни одна зимовка не обходится без смерти кого-нибудь из команды или пассажиров. Тут тоже свой круговорот.

...Сейчас в Нижне-Колымске самое оживленное время. Выборы на окружной съезд. Выборы проходят с большим подъемом. Собирается буквально весь Нижне-Колымск, кроме больных и престарелых. Впрочем, и стариков порядком. Выступают оживленно и представители организаций и местные жители. По правде говоря, я не ожидал такого подъема в этой глуши.

Главный недостаток, на который настаивает население обратить внимание съезда — недостаточное снабжение рыбопромысловой снастью (копским волосом, нитью, веревками), огнеприпасами, капканами, частично — продуктами и оленьим сырьем. Отсутствие достаточного количества промысловых материалов, в особенности же волоса, задерживает развитие рыбного промысла. Нередко высказывается неудовольствие по поводу отсутствия распределения волоса между жителями, благодаря чему кулацкое население имеет возможность приобрести себе большее количество волоса и сплести большее количество сетей, нежели бедняцкое и середняцкое. Нападки на отсутствие оленьего сырья объясняются следующим: фактории до последнего времени не отпускали заготавливаемое ими у чукчей оленье сырье местным жителям. Само же население почти лишено возможности приобретать себе сырье у чукчей, так как чукчи несут сырье в фактории, где имеется разный товар. Без сырья же население не может выезжать на зимние пушные промысла.

Откровенно говоря, я рад, что из центра сюда едет особая комиссия для контроля деятельности торговых организаций. Думаю, что она, как говорится, прочистит здешнюю «деловую» атмосферу.

Приятно видеть, как постепенно стягивается в прецния население. Дело должно быть живым: пужно выбрать делегатов, которые поедут за пятьсот шестьдесят километров в город Средне-Колымск на окружной съезд отста-

ивать нужды пизовья. Нужно выработать наказ уезжающим делегатам.

Говорят по-якутски — слова переводят на русский язык. Русские речи для непонимающих якутов переводят на якутский язык.

Сейчас здесь, так сказать, проводится антирелигиозная кампания. Конечно, нет той активности, которая проявляется у нас: нет выступлений-карнавалов, не слышно антирелигиозных лекций. Но есть один факт, показательный для пизовья: последний дьякоп нижнеколымской церкви к съезду отказался от сана. Это сенсация дня!

ЧЕЛОВЕК БЕЖИТ ПО СНЕГУ

Сейчас весна, 1930 год, ветры и гомоп птиц в голубящие неба.

Сейчас весна. Люди ломают камни, строят колхозы, заставляют воду двигать турбины, подводят мину под мировую косность, радиоволнами перекликаются через материк.

Вчерашний вечер — сегодняшнее утро, по мы уже живем в полдень, в вечер, в нашем завтра, за миллионы лет вперед. Экспресс времени несется во весь галоп.

Когда я вспоминаю понизовую Колыму — вижу: серая дремота утра, собаки влегли в алыкп, синие снега; и по снегу, рядом со мной, то уходя вперед, то отставая, бежит человек. Рядом с ним по снегу бежит второй человек — его тень.

Под рывком его спальных ног хрустит снег. Колени согнуты прямым углом. Человек бежит веско, уверенно, ровно — видно, он привык к постоянному бегу часами, днями, целыми зимами. Лицо розово-багрово, лепты малахая закинуты назад, и уши открыты. Он добывает себе тепло — с каждым шагом волнами оно входит в его тело, под легкой мех кухлянки. Поверх кухлянки — зеленая дрелевая рубаха. Покроем она напоминает эскимосскую малицу.

Впереди, в сером мороке, — вторая нарта, и еще впереди, почти в самом небе, еще и еще. У каждой парты бежит человек. Зималя понизовая Колыма — одна сплошная летящая к морю нарта. С моря приходят за северным полугодовым сиянием, за спяью снегов, за зеленою тальпичков и волн на солнечных летних днях неопикуемые пароходы.

Зимой жизнь узким ручейком бежит с реки: сверху, из окружного города, из Средне-Колымска, приносит ручей немногие вести, распоряжения власти, редчайшую сухопутную почту и гостей.

Зимой понизовая Колыма, устье, как говорят здесь — усье, отрезано долгими днями пути. Дни шагают своим ходом. Люди замыкаются, разводят свои интересы и свои разговоры. Своим промыслом, отдыхом, своим миром живет Нижне-Колымская волость.

На усье кряточка белает...

В факториях заведующие — они же счетоводы, они же подчас машинистки, они же приказчики — переписывают счета, принимают пушнину, наценивают товар, запирают на ночь конторы.

В ночь мирно храпят колымчане, никогда и не вспоминая о том, что живут они в «географических» местах, в полярной стране, за десятки тысяч километров от центров культуры. В почвах зачинаются новые ростки, цветут грубые подснежники чувства, путники отдыхают от дневного перехода, воют собаки, ветер гонит воронками кухту. И наутро вновь выезжают нарты.

Рядом с нартами по снегам бежит человек.

Человек добывает себе тепло и облегчает собакам езду. Человек может бежать нескончаемо долго. Он может обогнать переднюю нарту, и ту, что впереди черной точкой, и ту...

Человек не может обогнать только одно — время.

Время наступает и проходит вперед свистящей партией. За ним гонит вскачь своих щупленьких собачек ямщик.

Есть люди, которые не видят того, что свершается на глазах. Тем хуже для них: это слепые люди. На Колыме многие тоже не видят стремительной партии, что обгоняет и полегоньку тянет за собой колымчан. Но некоторые уже слышат бодрый выдох собак, хруст снега у полоза и свист разрезанного воздуха: по ходу они чувствуют — добрая идет нарта.

Здесь надо сказать прямо: революция дошла и до этих окраинных, пурговых колымских мест.

В Нижне-Колымске две профсоюзные ячейки, партийная, комсомол, женотдел и даже касса взаимопомощи.

Неважно, что комсомольцев всего девять, партийных — восемь; неважно, что большинство ячеек — презренные, неважно, что в кассе взаимопомощи капитал к 1928 году

был в шестьдесят два рубля. Зато жепотдел — преимущественно из местных женщин; и в Походске есть тоже жепотдел и крестком.

Но надо представить себе точно, чем являются Нижне-Колымск или Походск, не говоря уже о других заимках. Их не сравнишь с нашими широкими деревнями, с многоверстными селами Сибири, хуторами Украины. Крохотные селения, где можно по пальцам перечесть хозяйства, где в клубе, равном жилплощади моей захолустной комнаты на Петроградской, соберется чуть ли не весь Нижне-Колымск!..

Самое острое назначение выполнило время: сине снега Колымы всколыхпуть. Слова ламута о массах, жепотдел, отказ дьякона от сапа в дни выборов, клуб, «карточка» Ленина — чтобы во всю стену! — вот они, всплохи грядущей зарп.

Бесспорно: у времени — длинные ноги.

ПЕСНИ СЛЕПОГО ИЛЬИ ГРОМОВА

Катюшеньке Гасневич

СОБАЧИЙ ОСТРОГ

В черную потрескавшуюся кожу вделан деревянный переплет синодика-поминальника Нижне-Колымской церкви. На первой его странице, под деревянной крышкой, тускнеют череп с выпавшими зубами и скрещенные кости.

На желтой, промасленной бумаге — славянские буквы:

...Зри, человеце, чия сия глава,
но смерти твоей будет твоя такова...
Сия глава сама о себе скажет...
и подобие свое нам указывает...
Кости зрак,
Смерти знак.
Зри ее всяк —
Будеши так.

И внизу, под картинкой:

Видь, человеце, телесное суетствие и впамя: тако будеша по мале времени сам костем сообразен и всякого временного имения и красоты мира сего суетного лишаем.

Страницы закапаны воском и замусолены с плечевого угла. С листа на лист переползают записки имен «общих православных бедных» и отдельных горделивых родов — комиссара Ширшикова (1815 год), и купца Барамыгина (1839 год), и других купцов, духовенства и отдельных лиц, казаков, военных людей, и сотников, и прочих граждан.

Страницы перетерты временем и вылизаны глазами. Буквы блекнут с пестрыми заставками в заглавии записей.

В синодике-поминальнике тридцать цветных гравюр — резанных на дереве, вероятнее всего — чужеземных мастеров:

Иаков стал крестить неверные языки...
Святой архиерей божий Василий Великий
Повествует покою толкций...

Тридцать гравюр цветных и одновременно бедных красками, рисунком и перспективным планом в разных разрезах преподносят «грешнику человеку» поучения на церковно-христианские темы.

Среди пестроты репродукций, среди записанных в помпание родов духовных и мирян на первых же десяти страницах пойдет историк:

Побиты Прошлом 1732 Году Марта 24 Дня Афанасия, Андрея, Бориса, Василия, Феодора, Иоанна, Архипа...

и прочие, и прочие... всего сорок три имени.

И через страницу:

Об убиенных и о умерших, Которыя вовремя первого походу вчюкоцкой Землице впрошлом 1744 Году Ивакланску Иоанна, Свиридона, Дмитрия, Никифора...

и прочие, и прочие... всего четырнадцать имен.

И на другой странице:

Побиты Сего 1747 Году Марта 14 Дня От неприятеля Чюкочк смайором господниом Павлуцким аимянно Дмитрия, Феодора, Саввы, Симеона...

и прочие... и прочие... и прочие...

Все это — прошлые дела, ушедшие в Лету. Сейчас румянится над Колымой новая жизнь, и новые ветры разносят новые, тоже завезенные сюда или самотеком, как и в старину, дошедшие слова:

Ты играй, играй, гармоска,
Разливайся мельче, даль,
Мой милотовек Алеска —
Комсомольский секретарь...

Старики повымерли. Молодежь не помнит прежних лет. Богатый архив Колымского округа мирно покоится где-то, не то в городе Якутске, не то в зеленом дорту Владивостока. Но предания выжили, обглоданные, как кости на сиподике.

Три раза строили пришельцы крепость Нижне-Колымск.

Кто первым из русских пришел на Колыму — история не знает. С сороковых годов XVII века Колыма все больше и больше осваивается промышленниками-звероловами

п служилыми людьми. Пушнина, в особенности же — соболь, исчезающий в колымских низовьях уже к концу того же XVII столетия, вставала основной приманкой, побуждавшей «промысловых людей» пускаться в рискованные путешествия.

Но кто первым пришел сюда — никто не знает.

Тот же старик могильщик — Дмитрий Ребров, что рассказывал мне о своей профессии, называл каких-то Серебрянниковых и Адама.

— Первые были во етот — Серебрянников, и Адам — фамилия такая; из крестьян, будто так. И Мальцев Иван. Все выходцы от вас, здесь настоящих местных нет, все из пришедших. Был Мальцев особо силен. В плечах — полтора аршина. Высок, подымал пятнадцать пудов, пять свинок свинца, и пес за триста сажень. А умер — сто лет ему было — страу; сказал: «Воду приготовьте, во, помираю». И умер.

Едва ли можно верить таким рассказам. Очевидно, эти имена — имена более поздних поселенцев. В третий раз приходится сказать — никто не знает, кто пришел сюда первым и когда и где осел первым поселенцем. История колымских преданий говорит:

Три раза строили пришельцы — русские — крепость Нижне-Колымск.

Первая крепость основана на Староострожской или Стадухинской протоке — напрямик, волоком, в двенадцати и водным путем, рекой, — в тридцати километрах на северо-запад от современного Нижне-Колымска. В это же время жил народ и в Походске, еще ближе к чукчам.

Жил в Старом — Собачьем остроге — на Стадухинской протоке сосланный сюда будто бы при Екатерине барон, а по иным сведениям — князь, Головин или Головкин, богатый вельможа с дочерью Любжей или Любиджей (не то Любовью, не то Еленой) и солдатами. Дочь свою барон любил больше всего.

В цветущих летах от болезни или от иной причины умерла дочь барона. Барон похоронил ее в Собачьем остроге вместе с несчетным богатством — золотом и тканями, и уехал неизвестно куда. Слухи о богатстве долго смущали сердца колымчан. Никто не знал, где зарыт клад. И никто не осмеливался коснуться покоя умершей.

Много лет спустя, когда от острога уже ничего не осталось, уголовные преступники, сосланные на Колыму, как передают колымчане, отыскали и ограбили могилу

баронской дочки. Сделали они это тайно: так и осталось место похорон неизвестным для остальных людей.

Еще при бароне Головине чукчи напали на острог. Был острог в то время обнесен высокой стеной. Стоял он над самой речной протокой. Чукчи нападали всегда под кровом ночи. Но барон не растерялся и отбил со своими солдатами нападение на крепость.

Потом барон уехал куда-то, и чукчи опять напали на острог и разгромили его. Стреляли чукчи стрелами с костяными и каменными наконечниками, теми, какие находят и ныне колымчане у подножия Собачьего острога.

Солдаты частично разбежались, частично были перебиты. Один из них ушел по протоке на пять верст и там и осел. Звали его Стадухипым. От него и протока и селение получили название Стадухинских.

Однако острог не сгорел. Барон вернулся, и снова люди стали жить в остроге. Сгорел острог совсем недавно, всего лет семьдесят назад. Последнее время никто не жил в нем. Из соседних селений приезжали к нему на промысел или по другим делам держали мимо него путь промысловые люди. Кто-то разложил костер, и от огня выгорел острог.

По другим слухам, острог сгорел во время нападения чукчей. Тогда русские бежали и основали вторую крепость — в пяти верстах ниже Нижне-Колымска, на месте, называемом Погромная.

Стадухинская протока извилиста и узка, как уж. Берег под Собачьим острогом обрывист и курчав тальниками. От острога чернеют ушедшие в землю и затянутые травой срубы, доски, труха бревен. Весной вода вымывает осколки старинной посуды, монеты начала XVII века, медные крестики, пуговицы, костяные наконечники стрел. Мирные места ничем, кроме срубов и памяти поверий, не напоминают о прошлых браях.

От Погромной теперь — ровная площадка среди тальника и одиночных листовниц. Ушедшие в землю могилы и бугры земли. Слава о Погромной, о втором Нижне-Колымске опять двоятся.

Погромный острог был разгромлен чукчами. Чукчи напали ночью на сонных людей и перебили почти всех.

После разгрома русские отступили еще на пять верст к югу и построили новую крепость — тот Нижне-Колымск, что стоит и ныне против устья Большого Аюя. По

другим сведениям, Погромная сгорела случайно, подобно тому как сгорел Собачий острог. Опустила Погромная после тяжелой эпидемии ослы и коры — вымерла.

Посередние села стоит нижне-колымская церковь. По преданиям, остатки староострожской церкви перенесены сюда в давние времена. На колокольне ее слюдяные окна, но ступы достаточно свежи.

Разно толкуют про эту церковь. Говорят, ей всего шестьдесят лет и построена она купцом Барамыкпым. Была до нее другая церковь, но когда и кем воздвигнута она — никто в точности не знает.

Прошло более двухсот лет — от крепости Нижне-Колымска осталось одно название — Крепость. Мирнолюбивее поселка трудно найти. Живее всех преданий в разных местах Колымы живет повесть о жизни барона и похоропах баронской дочки. До нашего времени тайна зарытого клада беспокоит колымские сердца.

В пригожий осенний день, еще до рекостава, у местечка Погромная берег дал оползень; из земли показался гроб. Гробы в Погромной вымывает река часто. Но этот гроб вышел в крепком срубе, и мысль о могиле баронской дочки, Любки или Любиджи, вновь вспыхнула в колымских головах.

Несколько «любителей» старинны, вооружась лопатами и ломами, ушли в Погромную. Скоро под лопатами показались еще свежие бревна: сруб был глубоко в земле. Сквозь его щели зазеленел гроб, обшитый материей. Старый гроб не мог бы сохраниться таким свежим. Сомнение остановило «археологов». К сомнениям присоединилось неприятное воспоминание о свирепой оспе. «Археологи» оставили работу, засыпали сруб и вернулись в Нижне-Колымск. В числе их был и я.

Старик Иван Ребров подтвердил предположения.

— Могила свежая, всего шестьдесят лет назад похоронили в Погромной кузнеца богатого — Сухой его звали. Жил он в незаконном браке с дочерью купца Кошелева. А Погромная и Собачий острог никогда-та не горел¹. Эта Походск разгромен был. Из Походска один убежал и подай весть в другие замки и на Погромную, что чукчи

¹ Не горел — не горел (местное).

идуть, и все подались па юг, пока чукчи находили. А как чукчи ушли, обратно народ пошой. Погибъ же старий острогъ тако-та: сгорела церковька. Верующие решили перенести в ино место храмъ — на Кресты, па камень, а жеребий — шамань-та, указай па ето место, межъ Анюй-рекамн. Тут и стоит ноне крепость-та наша...

ПЕСНИ СЛЕПОГО ИЛЫИ ГРОМОВА

песня первая

Что ж ты, сокол, что же ты, ластной,
Призадумался сидишь,
Бульну голову повесил,
Хвост по ветру распустил?

Разе да не тебе привольность
На родимой стороне?
Что ты, сокол, да что ты, ластной,
В ту сторонку да не летишь?

Взвился сокол, взвился ластной.
К силе-морю полетел,
На родимую сторонку
Он последний раз глянул.

Что паутре стало тихо,
Высоко солнце зашло,
Сине-море всколебалось,
Сокол борется с волной.

По морской да тихой зыби
Тело сокола несет.
Выносило да бело тело
По холодной по воде.

Притирало бело тело
По приреку берега,
Выходила да красна девка
На приморский бережок.

Выходила, да-к увидела —
Тело сокола несет.
Вытирала да горьки слезы
Раскшсейным рукавом.

песня вторая

Ванюшка, Ванюшка, Вапя белый, кудреватый,
Ваил белый, кудреватый,
Ты не холост, не жепатый.

Ваня да холост, да не женатый,
Ты постой!
Что, Ваня, невесел?

Ты стой!
Что, Вани, повесил
И бульну голову повесил?

Бульну голову повесил,
Горечью слезами облился,
К родной матушке склонился,
К родной матушке склонился,
Черной шляпочкой прикрылся.

Ох ты, мать моя родная,
Несчастливой день родила,
Несчастливой день крестила,
Жена мужа да невзлюбила;
Жена мужа да невзлюбила,
Со кроватушки столкнула,
Ручку, пожку извехнула,
Ручку, пожку извехнула,
Да и головушку разбила.

п е с н я т р е т ь я

На том же поле серебристом
Гуляла Катя при луне,
Увирую небом чистым,
Храни до гроба свой покой.

Над грудь слеза моя скатилась,
Последний раз тебе сказал:
Узнаешь если ты мене — я помер,
Ищи меня среди могил...

— Харен песня! Пропала! — сказал Илья. — Забыл конец! Стала память плоха.

Допил чашку и попрощался — «до завтра».

Много песен спел мне Илья Громов. Я не успел записать. Пел он о широких-расшироких полях, где лежит убитый воин:

...Голова-то его вся иссекающая,
Бела грудь у него вся издрубленная,
На груди на его
Красной ордin лежит...

Пел певец о разлуке, о том, как

Охоч-то был Добрыня водой ходить,
Переырывал струю он с берега на берег...

Пел о зорьке утренней, о потерянном кольце, о несчастливой любви:

Мой милый на диване, за круглым столом,
Он держит на коленках суперницу свою.

Подруги и сестрицы, скажите свет какой.
Коло ты по полюбишь — ни в ком заправды нет...

Песни Илья Громова протяжны, грустны и пряны, как ладан. Голос надтреснут и ласково тонок. Илья Громов — следец.

Сын ссыльного, слепорожденный, от отца унаследовал от песни, принесенные ссылкой к холодным зимам Колымы. Ходит Илья без шапки в лютые морозы, в легонькой кукашке. Живет наполовину из милости в чужом доме, по милость встает ему в копеечку.

Илья возит на собачках дрова, колет, топит печи, носит воду. Внутренние глаза проросли сквозь темную роговую оболочку слепых глаз. Они прошли в руки, в ступни осторожных ног, в тончайший слух.

С утра хозяйка поставила чайник и маленькие хлебцы из черной муки, испеченные в игрушечной железной печке. Целый день горит камелек. Постоянно открываются двери. Эта занюха, Волочок, лежит по большой дороге. Здесь обычно почуют и чают проезжие люди. И в песне Волочок:

Приезжает в Волочок,
А у него там родничок.

Приезжает к родничку,
А уюду вяжет в тальничку...

С утра идет обыденная, каждодневная рутина. Попили чай, хозяйка наколола и принесла дров. Хозяин надел меховую кукашку, несоразмерно короткую с его большим ростом, и поверх матерчатую, в сиреневых присах, — такой материей у нас обивают дешевую мебель. Долго ходил, налаживал карту. Впряг собак, подкатил к избе. Еще выпил «даску чаю» и уехал по дрова.

Хозяйка убрала чашки, обмыв — вернее, сполоснув — их, и из уважения к гостю вытерла полотенцем.

Всегда с горечью смотрит приезжий на это полотенце «для приезжего»: таким полотенцем под стать вытирать пол. Оно буро-серо. Утром, вскочив с постели и помывшись водой, набранной в рот, сопливый хозяйский сынишка вытирал им лицо.

Вот и чашки составлены на полку, рядом с ложками. Я знаю теперь весь петоропливый распорядок будничного дня.

Если бы дочка хозяйки была здорова, она с утра взяла бы нож и доску и, подойдя к окну, медленно соскабливала бы осевший за ночь на ледяное окно снег. Потом выбежала бы, накинув замусоленную душегрейку, на двор и метлой смела кухту с наружной стороны окна.

Окна, как и всюду, ледяные. Стекол почти нет, да со льдом в окне и теплее. У займки на реке стоит несколько голубых, парезанных кусками, льдин — свой стекольный завод. Когда окно протает, его заменят другим.

Но дочка больна. Ее не узнать за короткое время — с лета прошло четыре месяца; и румянец, и свежость, и молодость сошли с нее, как полевые цветы с поля. Надька больна сердцем. Лежала на фельдшерском пункте в Нижне-Колымске. Но что может сделать фельдшер, когда нужен особый уход, сложное лечение и диета. До города пятьсот шестьдесят километров. Большая задыхается и еле встает.

— Хоть фельширь, а в тундрах и тово не-еть па сотни версь. А и то фельширь — питайте белым хлебом, говори-и-ть, а где взять! Черново — и тово только...

Хозяйка вытирает глаза концами головного платка и вместо дочери очищает окно.

Можно и дальше расписать весь день. После окна хозяйка пойдет в амбар — выбирать для обеда и ужина продукты. Продукты пемудреные — та же рыбка. Для гостя она принесет получше — погребную нельмочку или озерных жирных чиров. Долго она будет ее чистить, потрошить, варить, жарить. Приправы к рыбе никакой. Вместе с обедом поставит она для собак большой чугуи в сених с рыбной мелочью, подкинув под него сухих мералых щенок.

Два раза хозяйка сходит за водой, привозя ее на маленькой водовозной парте с двумя собаками: в бочке, ведрах или просто в железных банках из-под керосина.

Потом придет к сумеркам хозяин. Привезет чурки, выпряжет собак.

Зайдя в избу, он будет долго вытирать лицо, сморкаться, покрывавать с мороза; станет разуваться, снимет меховые штаны, развесит на жерди у камелька, чтобы просохли. И, потягиваясь, подойдет к столу в ожидаши еды и чая.

Опять начищается еда. Хозяйка — якутка, наполовину обрусевшая, растягивает слова так же, как все понизовцы. Но говорит она иначе:

— Куша-а-й-да-а! Пробуй-та!

Хозяин дождется, пока начнет есть гость. Затем все с жадностью и степенством навалится на рыбу.

Гостя обычно сажают здесь за отдельный стол и только хорошего знакомого приглашают за общий.

После обеда — настоящая ночь. Кормежка собак. Длинная, долбленная из ствола дерева кормушка налита варевом из мелкой рыбы и отбросов еды. Собаки, как поросята у матери, тянут теплую, стынувшую пищу, разлитую по кормушке.

Нередки драки, виаг — хозяину приходится неотлучно наблюдать за едой собак. Через полчаса, через сорок минут, через час — в зависимости от количества собак — мохнатая шатня вновь водворена на место, в тальники, в свои ямки, в гнезда из травы или прямо в снег.

Хозяин принесет в избу порванный ошейник или лопнувший алык и будет сшивать его твердой оленьей жилкой. За шитьем он изрядно поспит. Пабыет понюхив табачком трубку, но за огнем к камельку не пойдет; парнишка, пришедший «из соседей», увидев приготовленную трубку, стремглав бросится оказать хозяину уважение, схватит огромную лучину, зажжет ее в камельке, отстраняясь рукой от жара, и поднесет хозяину.

Иногда эта лучина — в настоящую дубину. Хозяин прикурит, и парнишка бросит лучину в огонь.

Вот почиен алык и надет на колышек в степке.

На столе опять рыба и чай. На этот раз — без хлеба. За пологом стонет хозяйская дочь. За окном стонут собаки. Над столом чавкают рты.

После ужина все встанут и подойдут к хозяевам пожать руку, поблагодарить за гостеприимство.

Никогда никто из приезжих не платит за еду и постой. Родные или добрые знакомые только поделуют хозяев в губы — за еду и дневку. Гостю хозяева пожелают спокойной ночи и уйдут за полог.

Разве не о такой жизни поет темные песни Илья Громов, слепец и сын ссыльного?

Сегодня вечер затянется в ночь. Снова придет Илья.

...Там и счастлива я, спокойна
Вечернею порой.
Занграйте, струны римские,
На варге золотой,
На варге золотой,
Над могвою моей...

У Ильи Громова нет пикого. Родные давно померли — он сирота. Усы черные, и волосы — песья шерсть, клочкастые, с рыжиной. Лицо — из тех неистовых страдальцев, что бредут — редко уже теперь — из старой Руси, через нескончаемые ее поля и леса. Страдание кривит черты, мнет лоб; невидящие, бельмыстые глаза шарят по потолку избы.

— Очень горька без пути эта песня. Когда мне горько, я ее пою и плачу. И так эта мне кажется, што для меня она:

...Все лебедушки с парамь,
А я, бедна, бис парь...

Ай, тихая могила,
Стразила насу любовь,
Всю любовь, ох, насу стразила,
Всю дружбу развела...

Век я плачу и горюю
По тебе, любезной мой,
И если б знала твою совесть,
Не знакомилась с тобой...

Ходит Илья Громов по избам, как по всему миру, без шапки, с протянутой рукой. Сейчас морозы — парта не катится. Трещит под торбасами снег. У Ильи кукашка распахнута, и душа раскрыта каждому доброму человеку.

Хозяйка подвигает новую чашку и юколу.

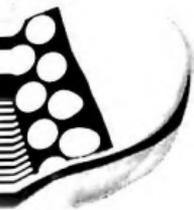
— Ишь доспелся, весь в поту. Пробуй-та!

Илья отпивает, стеснительно улыбаясь. Тяжелый пот покрывает его кожу. Кожа лоснится, как картины старых мастеров. Но кукашку Илья не снимает в помещении никогда.

Мы вспомним тот вечер заветной,
Когда мы сидели вдвоем.
Уникую песню заводим,
А где соловей воспева...

Илья Громов не знает рифм. Редко сходятся концы песенного строя в равных созвучиях. Слова коверкаются, часто их трудно понять. Они теряют свой первоначальный смысл и поются «по памяти» такими, какими услышаны вместе со случайно вошедшими в них ошибками. Эти ошибки подобны застарелым ошибкам летописей. Но разве в словах дело: Илья Громов — певчая птица.

...Вечор поздно был
я во печальном кабаке,
И потом да очутился я
во почтовом да во дворе...



Э, и да пишет, пишет
 Мне-ка милая в письме,
 Э, и да приедь, миленький,
 Завсично распростишься...
 У, и да я поеду
 По старым тем по садам,
 А, и да где я с миленькой
 По родине гулял,
 О, и да где я с миленькой
 По родине гулял,
 Ой, и да где я милою
 Прилежно целовал...

О пасмурном однообразии, о днях изо дня в день, о тоске, именуемой любовью, о дороге, прощании, вине, могиле — старая рыжебородая Русь!

В одно ли время стало скучно...

или постепенно набиралась тоска в эти самые изрусские песни, только та же:

Остань печаль, таска на время... —

та же, что звенела у наших сибирских бродяг, у московских базарных слепцов, у харьковских неповоротливых кобзарей, та же — лежит в лице слепого Ильи с проезжей заимки Волочок.

Нет на понизовой Колыме ни полей с ковылью, ни копей гривастых, ни битв, ни соловья, но голос песни повчерашнему верен. Идет он от корней народпой мысли, непокорной крови, бедноты, бродяжничества, юродской были, еще вчера прибредшей к голубой Колыме.

Илья Громов — горюн-камень. Он видит только то, что осязают его пальцы и песни.

КОЛЫМСКАЯ МЕДИЦИНА

— Здорово! — вскрикнул я, войдя в избу. — Вот и приехал!

— Ой, вот и приехал, вот и приехал, вот и приехал, вот и приехал! — По юрте заметалась голосом баба.

— Мороз-то лютый.

— Мороз-то лютый, мороз-то лютый, мороз-то лютый, мо-о-о-о...

— Что ты, хозяйка?

И хозяйка вновь заклокотала по юрте:

— Что ты, хозяйка, что ты, что ты, что ты...

— Не бойсь, — сказал хозяин, подходя ко мне, — эта она сама так... Свая у ей болезнь...

Хозяйка действительно скоро успокоилась, но в разговор не вступала. Во время обеда, в шутку подражая местному говору, я ответил хозяйшу:

— Во, бьят ты мой...

И опять рассыпался, и долго не мог улечься, и все трепетал где-то в углах хозяйки голос:

— Во, бьят ты мой. Во, бьят ты мой. Во, бьят ты мой...

Болезнь эту зовут эмерячьем, а желицип — эмеряч-ками. Они напоминают кликуш-припадочных. Они подхватывают и повторяют произнесенные другими слова; некоторые подражают не только словам, но и жестам говорящего.

Такое болезненное состояние наступает у большинства женщин периодически, через неопределенные промежутки времени, от того или иного возбудителя. Поводы к возбуждению весьма различны: испуг, какой-нибудь предмет, слово. Приходилось видеть одну эмерячку, начинавшую эмерячить при виде или упоминании мыши. Эмерячек особенно много встречается среди якуток.

Еще в Походске я просил одну якутку спеть свои песни. Был вечер. В избе пела и плясала молодежь.

— Нет, — ответила она через переводчика, — не буду па ночь.

— Это потому, — объяснил мне переводчик, — пать-петь петь, так всюю ночь до утра не перестанеть...

— Чем же лечите от этого?

— Никем... Лекарству такого неть. От ково другого недуга есть. От етова петь...

Тогда же он рассказал мне несколько симпатических, «своих» средств.

1. Едно:

— Едно ставять так: беруть трут от осипы или тополя, отрывають кусочек, зажигають и держють межь лезвием позниц, или еще в дырьку аута (инструмента для скобления кож) вставляють и, зажегши один конец, другим прижимають к месту, где болько. А место ето раньше нащупывають — где болько-та. Трут горить, горить, кожа кругом морщится, стягиватся, нозницами-то прижимають трут к телу. Потом, если угодишь в ладное место, он



вдруг — тын! — и под потолок улететь. А не ладно — не улетит. На месте поставленова една станет пятинышко выходять. Дня через два-три па месте една приклеивают ушканью (заячью) шкурку, вычищенную от меха. Место начинаеть парывать, и выходить пакость наружу, и человек поправляется. А ставится едно против внутренова надрыва — когда человек надорвался.

2. Как лечить вывихнутый палец:

— Если пальчик совсеме настороню вывернут, надоть взять самую тонкую иглу, которой женщины торбаса щють, вдеть несколько волосьев, омазать их копотью с печи ли, с камелька ли и прошить несколько раз пальчик. След, как точки, останеться на пальчике, а волос вытаскивается, не оставяется в пальчике, и пальчик заживаеть.

3. Пешка:

— Или вот если человек долго калиться не может, вапреть, сал-быть, ему живот, пешку из мыла строгають, для детей маненьку, для взрослых — побольше, и ему пешку ставяеть. Хорошо помогат...

Когда нет под рукой врача, приходится пользоваться народными средствами: и в России передко прикладывают дети к порезу древесный лист или лопух, на укус осы — землю, на ожог — тертую мякоть картофеля.

Но в Колымском округе и взрослым приходится прибегать к «своим» средствам.

В Колымском округе па его незапамятные семьсот тысяч квадратных километров — один врач при больнице в окружном городе Средне-Колымске. В лепрозории под городом тоже был врач, но сейчас его нет — умер.

Один врач обслуживает и больницу и лепрозорий. Ему помогают два фельдшера. В Нижне-Колымске — фельдшерский пункт.

Только ближайшее к местным центрам население может принимать благоденственную медицинскую помощь. Остальное предоставлено целебному колымскому воздуху и местным навыкам.

Медицинской статистики по округу нет. Нет сколько-нибудь полных, массовых исследований болезней и уровня здоровья.

А также массовые заболевания, несомненно, есть.

Когда говорят об окраинах, о берложьих краях, где слаба медицинская помощь, — нередко представляется обывателю одно: венерические болезни,

Три буквы — ТВС — бывают, однако, часто более губительными для жителей этих окраин, нежели все прочие опасения.

Для Якутии туберкулез значителен, по Колыма как будто дает возможность меньше опасаться за будущность края: туберкулез не показывает здесь тех богатых эффектов, что наблюдаются в других местах.

Видимо, приходится опять ссылаться на целительный воздух рек, тундры, моря.

Нередко говорит человек:

— У ей вся болезнь...

Или:

— Так это она сама болеет...

И эта «своя болезнь» нередко скрывает в себе падуху, первые заболевания или застарелый бытовой сифилис.

Безносных, изъязвленных людей встречаешь, однако, совсем редко. Лепру хорошо отличает население и, как «скверную болезнь», изолирует. Лепрозные попадают в лепрозории. Но сокрытые хронические, наследственные болезни есть, хотя население нередко само не знает и не умеет различать их.

Думается, что есть семьи, всю жизнь перебивающиеся со «своими болезнями» и не знающие о том тяжелом яде, что носят они в себе.

Думается, что плохая наследственность и незначительный приток крови извне также немало способствуют продлению этих «своих болезней».

Там, где есть врач или фельдшер, — немедленно к нему тянется население. Доверие к врачу заметно возрастает. И не только к врачу — к каждому образованному, к каждому приезжему обращаются жители за медицинскими советами.

К сожалению, не всегда доброкачествен медицинский персонал на наших окраинах, несмотря на солидное вознаграждение и относительно хорошие условия жизни.

Один из «бессмертных фельдшеров» в 1929 году читал в одной из глухих, бескоронных запонок, как пропись, женщинам лекцию:

— Когда предстоит родить, по возможности обращайтесь к фельдшеру.

— Не зовите бабок, а если уж позвали, велите им хорошо вымыть руки с мылом.

Бабы поддакивали, как всегда во время выслушивания чужого слова:

— Э-э. Э-э. Э-э-э...

— Ребенка кормите не больше шести месяцев своим молоком.

— Начиайте прикармливать молочком или кашкой жидкой из белой муки...

— А теперь соберите пятнадцать ребятшек, я сделаю прививку от оспы.

Детей набралось в заимке меньше пятнадцати человек, и фельдшер не стал портить ампулу, рассчитанную на пятнадцать прививок.

И в самом деле, стоило ли портить на семь человек целую ампулу?

Дети должны были остаться без прививки.

Тогда вышла пожилая женщина:

— Эта ты што ж эта прикатил сюдя — разговоры разговаривать? Эта — фершелей зовите, эта — бабок не нада, эта — молоком своим не кормите, эта — подкармливайте молочком коровьим да белой мучькой. А прививать тебе — так пятнадцать ребят давай, а то и не привью, знатить. Так где ж я тебе пятнадцать — рожю, што ли? Так до фершела триста версть ехать. А молочька — ни одной корови неть в селенье... Да ты, да ты...

Смущенный фельдшер согласен был развернуть свою аптечку хотя бы для двух-трех прививок, лишь бы успокоилась гражданка.

Фельдшерская и акушерская помощь нужна населению крайне. Об одном из обычаев, еще недавно существовавшем в Верхне-Колымском районе, рассказал мне мой каюрщик Константин Цыландин:

— Роженица ходила по юрте, за печкой. Ей стали «рубить» дом в юрте же: от столба, поддерживавшего крышу, к другому столбу устроили перекладину-загородку. Обтянули пологом и пустили туда роженицу.

На шестке обычно во время родов варится в котелке сельдьячья голова. Муж вошел к жене, сел на кровать. Посидел.

Потом роженица стала за жердь, так что жердь приплась ей к животу. Муж поддерживал ее под мышки, и так, стоя, походя, «на стойках» — рожала женщина.

Когда ребенок вышел, все мужчины выбежали из юрты, оставили женщину одну и стали молиться по обычаю. Так полагается по обычаю.

Бабки не было. Ее увез другой человек, сын богатого якута, к своей жене, которая, как потом оказалось, родила через педюлю. И никто роженице не помог.

Несомненно, одной из причин большой смертности якутских женщин во время родов и является отсутствие достаточного количества акушерок на местах.

«Своих средств» по Колыме много. Митрофан Ребров тоже знает их. Знают их и Березкин и Бережниковы — кто не знает их на Колыме!

Если внутри живот отходит или на руке или ноге изнутри тело отойдет — наклеивают ровдужный¹ лоскуток на большое место. Лоскуток намазывают клеем, а клей на Колыме одш. Варят его из плавного пузыря осетра.

Чтобы сварить клей, надо сначала высушить пузырь, затем его «выкусывают», у кого «душа принимает», или толкут. После этого варят клей.

Приклеенный лоскуток держится крепко до того времени, пока не пристанет изнутри тело; тогда отпадает лоскуток. А так — «хоть в воде бродись», не отпадет.

Так же ровдугу приклеивают на пораненное место: прорезывают ее мелкими дырками и, намазав осетровым клеем, приклеивают. Тело в эти дырочки вытягивается. Когда заживет ранка, ровдуга отпадает сама.

От перелома кости внутрь хорошо давать медь. Медь всегда можно соскоблить с чайника — чайники на Колыме обычно медные. Медный порошок дают больному с водой: медь побродит по телу, остановится на месте перелома и «скрепит» кость.

— Всегда замечам — хорошо помогают медь!..

Хорошо также на рану сыпать «серу». «Серу» добывают от лишайницы: обрывают кору и счищают с коры нижний ее слой. Затем толкут или мелко режут. Этой толченой «серой» и посыпают рану, а поверх покрывают мелко настроганной «талинкой» — тальниковой корой.

Через несколько дней снимают «талинку с серой», и с ней вместе вытягивается из раны гной, и рана закрывается.

— Если же нарыв нарветь, нужно положить мышью шкурку внутренней стороной к ранке. Станит она киснуть от своего тепла и тепла тела и вытянет всю дурость из нарыва. А потом и шкурку снимн...

¹ Р о в д у ж н ы й — замшевый, выделанный из оленьей кожи.

В прежнее время, как, случалось, в другом месте объявится зараза — корь, оспа, приехавшего из зараженной заимки никто не встречает. Не выходят встретить и проводить в пэбу. Так уж было заведено, и все об этом знали. На пороге посыпали золу из печи или камелька, и только когда переходил порог с золой приехавший — его встречали. Считалось, он очистился от заразы.

Теперь пет больших «поветрий», если не считать гриппозной эпидемии весны 1928 года, давшей значительный процент смертности среди местных жителей.

Но и теперь еще против заразы и для освежения пэбы жгут иные бабы в избах багульник.

Знахарей по реке не видать; неофициальные бабки бывают. Занимаются они своим ремеслом между прочим, при случае. Получают обычно — что дадут: кусок материи, рыбку, муку или деньгами. Помогают и бесплатно, «из уважения» и по знакомству, «стрпдающей зенщине».

Во многих случаях и до сих пор (1929) еще лечат от болезней шаманы, несмотря на запрет властей и отобранные бубны. Лечение у шаманов происходит негласно, тайно, в закрытых юртах и избах слепых заимок.

Но это уже выходит за пределы доступной всем «колымской медицины» и переходит в кольцо других явлений — в шаманизм.

ЧЕРНЫЙ МЫС

Как отличить вотарпуса от агента страхового общества?

И. Эренбург

Копи сплюпо устали: мы шли третьи сутки караваном, и тяжелые тюки посбивали коням спины. Еще не скошенные луга с косарями-якутами часто сменялись теневистым леском. И все-таки днем почти нельзя было идти.

Солнце душло. Воздух раскалялся и жег. Приходилось отдыхать от жары и при спаде лучей трогаться в путь в ночь, в росистые, заволакивавшиеся туманом луга.

Утрами выкатывался из тумана шар, круглый, как сыр, и такого же цвета. Просыпались в болотцах аисты, и гуси парами перелетали озера, низко повисая над туманом.

Когда солнце еще не поднялось настолько, чтобы ударить в упор в лицо, мы подходили к хилой усадьбе: впереди, у тропы, в тепи кустов, лежали коровы и дымился дымокур: коровы отдыхали от комаров.

Навстречу, из-за леска, выходил другой караван, поменьше нашего. Впереди на белой лошаденке ехал молодой парень, за ним шла привязанная к хвосту бурая лошадь. Две последние были негге.

На последней лошадке сидел человек средних лет, спокойный, с седеющими волосами. Старая волосяная шляпа затеняла его лицо.

Караван остановился возле нашего, и проводники вступили в разговоры. Я плохо понимал их слова: видимо, они делились местными новостями. Прикуривали.

Потом седой приподнял в мою сторону шляпу, и седые пряди попеременно с темными выпали из его шляпы. Он тронул повод, и караваны разошлись.

Хотелось спать. Бессонная ночь требовала остановки.

— Откуда эти люди?

— Из Арылаха.

— А куда едут?

— В Сергелях.

— Там, где больной?

— Да...

— В гости?

— Этот старик — шаман, — неохотно ответил проводник.

Первая эта встреча с шаманом была очень давней встречей.

На Колыме мне не пришлось видеть настоящего шамана. Но «подшаманивающих» встречать приходилось.

На Черном мысу полагалась вторая дневка в пути. Собакам пужен был отдых. Морозы превышали пятьдесят градусов Цельсия. Стояли «ветра».

Каюрчики прятали в шарфы помороженные посылы. Нарты теряли каткость. Приходилось часто идти пешком.

Триста с лишним километров мы ехали уже девять дней. Казалось совсем невозможным, что где-то от Москвы до Ленинграда проходит шестьсот километров поезда в одну ночь.

Дневка в пути — целое событие. День можно отдыхать, работать и быть в тепле. Не надо бежать за нартой,

не надо надевать на себя тридцать одежек. С утра можно встать попозже и записать в дневник все, что упущено за короткие дни пути.

Черный мыс — заимка почти на полпути между Нижне- и Средне-Колымском. Зимой в пей всего три хозяйства; летом на недолгое время рыбного лова приезжают еще несколько и к осени вновь уезжают. К городу от нее идет второй «тракт» — кроме речного — через третий Мятюжский наслег, волоком, «по якутам».

Ближайшие заимки от Черного мыса в пятидесяти — шестидесяти километрах по реке в ту и другую сторону, такие же малолюдные зимой, как Черный мыс. Снеговые полотна у подножия мыса. Заснеженный лес сзади. У подъема к селению — прорубь для воды.

Непрочно живут здесь люди по всем этим захудалым заимкам. Часто скочевывают из одной в другую. Летом перебрасываются с места на место, от рыбьего промысла, от хода рыбы. Где идет рыба — туда и кочует селение. Нередко, зимой пустые, избы летом набиты до отказа. Рыба прошла, и вновь пустуют избы.

В Черном мысу, в юрте, у камелька потягиваются бабы. Здесь всего одна русская семья, остальные якуты. Якутская речь слышится повсюду в нижнем течении реки Колымы, от попизовья ее, от устья, выше Нижне-Колымска километров за сорок и до самого города Средне-Колымска.

В отличие от попизовых мест, весь этот район почти исключительно якутский. Юкагирь устья реки Омолопа не знают родного языка: единичные русские семьи свободнее говорят по-якутски, чем по-русски.

У камелька стоят бабы и переговариваются по-якутски. Когда подойдешь к огню, они постороваются и приветливо заулыбаются.

В голодные годы ушел хозяйский сын на промысел за лосем. Пять дней голодный бродил, разыскивал добычу. На шестой пошел за ним старик отец. Нашел сына в лесу мертвым от голода, на земле. Увидел сына и тут же помер. Так вместе и пашли их мертвыми. Теперь в избе:

— Тута-ка пустые бабы да еще зять старухин...

Открывается дверь, и входит высокий якут. Лицо коричнево-землисто, крупный нос и губы. Узкие глаза сидят на приподнятых скулах, как рыба на блюде. Вот лицо шамана.

Но это сосед, мирный и почтительный якут Скира. У якутов постоянные прозвища, и Скира — тоже прозвище. Под другим именем его и не знают.

У Скиры болят зубы.

— Он просит от вас дать ему лекарства, — переводят мне. — Зуби ломить, только холодной водой спаеда.

Скира раскрывает рот и показывает свои пятидесятилетние кревыши зубы. Ни одного дупла.

Скира оттягивает тощую щеку — розовый налет лежит у коренных правых зубов.

— Он к вам просит сказать, што к уху тянет от аубя..

Путешественник должен знать все.

— Можно положить компресс. Пусть слушает внимательно.

Кажется, Скира понял, благодарит и уходит.

Не проходит и получаса, как от Скиры приходят женщины.

Лица озабочены. О чем-то шушукуются. Посматривают в мою сторону, выжидают.

— Ну, в чем дело?

— Скире плохо. Сильно болько. Как воду холоднюю держить — питево, терпить, как выплюеть — не можно..

Согревающий компресс снаружи и ледяная вода изнутри: приходится отменить лечение. Пусть держит воду, если не может иначе.

Женщина уходит, но скоро снова возвращается.

Зять хозяйки, шаря глазами по полу, нерешительно говорит переводчику. Переводчик произносит наконец, тоже не смотря на меня.

— Хозяин просит, если можно, полцаски спирта. Скиру очень плохо. Хотють лечить по своей вере.

Спирт получен, исключительно для больного. Вместе с переводчиком уходит зять.

Вечером спрашиваю:

— Ну как?

— Никого. Не помогат!

— А со спиртом что же сделали?

— Ложку в огонь вылили, чтобы поправиться хозяину, остальное для шамана оставили. За шаманом поехали. К ночи будет. Хозяин тозе просит от вас ложку спирту.

Держа в правой руке ложку, хозяин благодарит, затем подходит к камельку, кланяется и выливает в огонь

спирт. Спним и спрневым огнем вспыхивает мгновенно жидкость.

— Это он, — говорит переводчик, — чтобы промысел хороший был, чтобы лисиц пару хороших добыть!

К ночи без бубенца подкатывает к зайке спорая нарта. У юрты Скиры выходит человек в кукашке. Его встречают все, кроме больного. Окна усиленно закрывают со всех сторон.

— Он без бубна и без одежды своей, шаманьской, — говорит хозяйка. — Так будет шаманить...

На небе опять золотые обручи. Нет луны. Тишина. Звепит снег. Запка насупилась и повисла над рекой, а река спит — зачоченевшая, окрепшая, глухая.

В небо воют собаки. Протяжный вой шпрится в почву.

Из избы Скиры выходит человек унять собак — не годится, чтобы поблизости выла собака во время камлания...

Из избы тянутся заунывные завывания и выкрики шамана.

— Нельзя слушать, брат, иди в избу, не годится, плохо может быть.

К утру уезжает шаман.

— Как Скира?

— Маленько поспало будто.

Хозяйка — русская. Верит ли она шаману или смеется, не понять. На губах у нее постоянная приветливая улыбка.

Улыбка прекращается лишь на минуту, когда гость кончает есть и благодарит или отказывается от продолжения чаепития.

Тогда лицо сразу меняется. Лицо делается строгим, почти обиженным. Она говорит неизменное:

— Изви-и-ните!

Но, вероятно, это только этикет: можно сказать, губы хозяйки всегда улыбаются, даже когда вспоминает она сына и мужа, погибших в лесу от голода и ужаса смерти. Улыбается — и плачет.

Шаман уехал, и разговоры о Скире замерли.

— Не стразу делаеца человек шаманом. И не на каждого человека «находит». Бывает, живет человек — и вдруг «найдет» на него. И тогда он болет. И на шаманов «находит». Стразу в лице меняюща, ни кровинки в лице, совсем путного лица не стаец.

И уходит тогда человек в лес, в сепдуху. И ходит несколько дней. Никто не знает, где ходит. А приходит и начиняет шаманить. Так шаманом и станет.

Если не хочет стать шаманом, когда на него «найдет», то до тех пор мучит, пока не согласится, а то и совсем замучит человека, что отказываеца.

Может, видалц, у кого пальцы быват скрючены, это быват после того, как на человека «нашло»: «нашло» — и скрючило.

Когда на человека «найдет», тогда уже его старый шаман подымает — учит, значит, по-ихнему. И на зенщици «паходить».

Самый опасный шаман — утахапка, зенщица...

К приезжему из Ружниковской заимки присоединяется и мой каюрщик:

— А вот мой брят был, не верил шаманам. А у меня ножки болели, дохтор не вылечил, а шаман вылечил. Впустил и выпустил из ножки днавола, и днавол, значит, кровь из ножки сосал и высосал. И оправился.

А брят не верил. А шаман говорит: «На тебя наговорили, и во тебе скажу — боишься ты ножа, води да емо ружья. От них и помрешь летось».

Брят емо говорит: «Верно сказал — боюсь води, и ножом было раз чуть не порезался насмерт. А ружье — мой товарищ, брось болтать, старик!»

Прошлое лето пошел на охоту, под угор по песку скатился, и его же ружье его и убило. Враз в сердце попал себе. Так и напли.

Хозяйка опять улыбается и отворачивает испуганные глаза. Ружниковский парень добавляет:

— А вот у Шкулева работники работал, ногой болел, — шаман-та на него черва выташил. Во черв, говорят. А шамана-то не узнаешь на харю, мимо пройдешь: што шаман, што человек — одинако...

Суеверные слухи ползут вокруг разговоров. Кто и не верит, но сказать о том прямо не решается:

— А вдруг што...

И это — «вдруг што» — постоянное, неожиданное, сжимает рот. Человек молчит. Как пойти ему против шамана, против суеверий, примет, этому почти дикому, неграмотному заимчанину?

Снег под угором Черного мыса. Черные стволы, и камень на берегах. В горах — мамонтовый бивень, медведь,

болота, каменные рога лося. Внизу — река с измепчивой рыбкой:

...а вдруг не уродит рыбка...

...а вдруг подомнет медведь...

...а вдруг наступит погой лось...

...а вдруг голод, болезнь, смерть...

Здесь нужны школы, больницы, психологи-агитаторы, хлеб.

О ЗВЕРИНОЙ ТОСКЕ И КОРОБОЧНОМ СЧАСТЬЕ

(Мысли, наброски во время дневки в Черном мысу)

— Меня ты люби-и-ть?

— Люблю ль я тебя; а зачем это тебе знать?

— А я ведь тебя люблю.

Из колымских разговоров

Никогда я не думал быть на Колыме.

Места эти — якутские реки — школьнику казались недостижимым миром. Ледяное кольцо — ссыльные города.

Теперь нет ссылки у якутских рек. И ледяные города, побережье, собачьи снежные дороги, почевки под небом — простейшая «забыль дней».

Юрта, ледяные окошки, сизые языки огня — камельки.

За стеной — тысячи пустых, безжизненных, немеренных верст. Кочки, горы, лески — сеиуха.

Из дневника

...Вокзалы... я сидел за столом с длинной белой скатертью. До поезда оставалось часа три. В зале было много парода, и официанты торопились. Официанты слегка прикрикивали, извиваясь среди столов, с подносами, с грудой тарелок. Как груженные корабли, проплывали к столам блюда, стаканы с часм, бутылки пива. С пустым тоннажем уходили обратно пустые тарелки, соусники, миски.

У этого молодого официанта было особое, возбужденное лицо и почти жестокий окрик.

Каждый раз, еще не спустившись со ступенек кухни в зал, он начинал свое приподнятое извинение:

— Вэноват!

Он проносился среди стульев, осанкой своей выражая опасность для полусонных граждан. Впереди его летели поднос и сокрушающее:

— Вéноват, вéноват...

Казалось, он наслаждался своим боевым видом, своей изворотливостью, лопкостью, изысканным обращением и талаптливо вклеенным в народное слово ударным «é»:

Вéноват, вéноват, вéноват...

Мне удалось подметить детали, и это повторялось аккуратно при каждом его выходе в зал (это забавляло меня); первые два слога он непременно проносил за рубежом посетительского зала, и только третий слог приходился на вторую ступеньку лестницы — на вторую, так как третью он пропускал каждый раз.

Затем, уже в зале, он дважды повторял свое извинение, затем проносился несколько шагов и повторял его трижды, теряясь на повороте во второй зал.

Так и шло: плохо слышное: «вéно», ясно слышное: «ват»... — ступенька вторая и первая. Затем подряд: «Вéноват, вéноват». — И через несколько шагов: «Вéноват, вéноват, вéноват...».

Его лицо — лицо дельца, мелкого спекулянта или хозяина механической мастерской. Маленькие усы и прямой пробор прилизанных волос над небольшим бугристым лбом и носом; зубы у него были плохие, несколько недохватывало спереди, но он нимало не смущался этим.

Его полные губы были наглы и чувственны — он, наверное, был доджуаном.

Да, да, подождите. Если это даже и утомительно, то все же не могу говорить иначе. Если бы я давал вам тему для рассказа, я сказал бы ее в нескольких словах, но я рассказываю свою жизнь и, следовательно, не могу ничего вычеркнуть.

Вокзалы... Вокзал был всегда остановкой, задержкой в пути. Кажется, на вокзалах только и успевал я думать. Но о чем же я думал в этот раз?..

Из неоконченной повести

Мне спился вокзал неопишуемой величины.

Из неписанной повести

Люди живут теперь на фабриках, на вокзалах, в банках, в кинематографах.

Из Эренбурга

Ганьке восемь лет. На столе перед Ганькой — озеро. Куски старых нитяных сетей обводят его берега. Нитки пыжаты, как губка: это кустарник.

По озеру плывет на ветке охотник. Человек — расщепленная па две ноги лучинка, ветка-стружок — тоже лучинка. Впереди, на мутной глади озера-стола, — мелкие деревяшечки: охотник подплывает к уткам.

Но па озере, кроме уток, — журавли. Они нежатся на песке — пять журавлей. Их сразу видно — они много крупнее уток.

Охотнику неинтересно бить журавлей. Их не едят. Утки — другое дело, жирные, крупные турпаны. Охотник пробирается к ним сквозь осоку.

Два коротких выстрела. Утки вздымаются, по три остаются на воде: они подбиты. Якут никогда не промажет: якут — хороший охотник. Он подбирает уток и едет на берег. Журавли испугались выстрелов и улетели.

— У-урлы, у-урлы...

На берегу из щепок костер. На костре чай. Охотник пьет чай и ест утку, жаренную на вертеле. Потом он ложится рядом с веткой и спит.

Но вот охотнику захотелось лосяного мяса. Он идет на лося — на сохатого.

Сразу меняется декорация. Коробка — горы, камень. Сеть — возвышенность, покрытая лесом. Охотник видит лося. Его задержали собаки. Лось тоже кричит — Ганька меняет голос.

Часами смотрю за Ганькой. В играх его пет лошадок, солдат, сраженный. Сохатый, утки, певодьба, сети, лобеди. Крик птицы, зверя, грохот выстрела. Ганька — дикарь-ныш, он не умеет даже читать.

У матери его темные глаза и измученный лоб. Целые дни она работает по дому. У сестры ее, Марины, карие лучистые и пугливые глаза.

У лося, вероятно, такие глаза.

...Нога скользит, как у лося.

Она мне улыбнулась...

.....

Из записной книжки

Этим летом в Абрамцеве я глядел на клены сада и на покойные кресла. Вот у Аксакова было время, чтобы подумать обо всем. Его переписка с Гоголем — это неторопливая опись души и эпохи. Что оставим мы после себя?

Расписки: «Получил сто». Нет у нас ни клонов, ни кресел, а отдыхаем мы от опустошающей суеты редакций и передних — в купе вагона или на палубе.

И. Эрнбург. «Слезы Вертера»

— Отчего ж ты ему отдалась — ты же его в первый раз видела?

— Так, сама.

— А ребенок-то от него?

— Э-э.

— А как же звать твоего парня?

— А пот уж хоть убей — не скажу...

Разговоры

Пятнадцать лет назад здесь была почтовая станция. Гоньба по реке, по снегу — собачья. Шла гоньба к городу и в Крепость — собачки спорые были, купцы не любили медленно ездить.

Исправники лежа ехали на нартах, с двумя каюрщиками у передней луки. Каюрщикам при исправнике сидеть цельзя. Или бегут рядом, или вскочат на полоз и катят на одной ноге.

Самый тяжелый перегон здесь: шестьдесят верст, без жилья, на ветрах, в стужу, когда перемерзает снег и нарта не катится.

Был исправник Николаев — везли его два каюрщика. Один — знатный был ездок, славился собаками. Другой — хилый. Поехал, не удержался на раскате — и нарта кувырк на сторону.

— Подходи, — говорит.

Подошел каюрщик — разззз...

По морде.

Хорошо, что этим отделался, а то хотел выбросить на сспдухе. Пропал бы в мороз человек.

В морозы пар идет от земли, серо, не видать нарты за десять сажень — одно облако. В пурги — не видать коренников, зги не видать.

...Зга, конечно, у дуги, у лошади. У нарты зги нет; и это только по привычке говорят люди — ни зги не видать.

Разговоры за чаем

...Вы выходите на заплечной семечками или кедровым орешком станции и садитесь в экипаж. Экипаж —

громкое слово. Ему столько же лет, сколько вам, вашему кучеру и обоим престарелым лошадам. И вот вы уже сидите с корзиной в ногах, с постелью в голове и слышите, как на каждом толчке бьется о задок привязанный к экипажу чемодан. Может быть, когда-нибудь он наковец оторвется и перестанет надоедать.

Если лето — вас мучают жар, запах травы. Если осень — одолевают дремота и озноб, и вы ждете, как подайнип, тепла постоянного двора. Если зима — снег, белые ночи, белые, как сахарный белок, холмы.

Ну, а если весна — тогда тающие снега, половодье, свежий и ленивый воздух и скрежет полозьев по мокрой земле.

И вам надо обязательно ехать.

И никак нельзя бросить все это ко всем чертям. Откупиться, отплатиться, отделаться от проклятой, осточертелой езды. Вернуться к себе. В свою комнату, к полке книг, запыхавшихся от времени, к столу, где стынет недописанное письмо к любимой.

Путь ваш отвратен до приторности, знаком, беден и пазойлив. Вы едете по службе, по военному приказу, к больному, на судебное следствие — возиться с тухлыми внутренностями человека, которого вы никогда не знали. И вам не кончить, не прервать дороги, навязшей, как непроваренное мясо в зубах.

Или, может быть, это не зима и не осень, не весна с бесконечным небом, а самое простое, хмурое летнее утро. Туман — и однотонный окрик наметчика:

— Дё-вять, дё-сять, двё-над-цать...

И потом гудок парохода, отрывочный, как бы говорящий:

— Брось, паря!..

И в ответ ему поспешное:

— Есть!

Шум упавшей вдоль палубы наметки; сырой ветер, треплющийся флаг. И вы вветриваетесь в туман и ничего не видите, кроме ряби воды у самого носа парохода и дымчатых пленок от воды, свивающихся в воронки.

А когда туман рассеется — снова берега, деревни, заспанные лица пристанщиков.

Тогда входит в грудь давящее чувство: все перевидано, взвешено, воспринято бессчетные разы. Мы ездим уже десять, уже пятнадцать лет, всю жизнь ездим. Не успеем заснуть, как уже снова сидим в поезде, на пароходе, в

телеге. У нас постоянные вокзалы, постоянные коридоры экспресса, постоянные поля перед глазами. Где наша женщина, которую мы любили, где рука, с которой шли рядом, слово, оброненное у перрона и затрепанное поездным ветром. За буферами пыль, за кормой — вода, за брччкой, за экипажем, за колесом — одно: дорога, дорога.

Постойте, я хочу остановиться, подумать, вспомнить еще что-то...

Из неоконченных записок

— Были ему три дороги написаны, — говорит парень, — куда пойти: влево пойдешь — коня потеряешь, вправо пойдешь — сотоварища потеряешь, прямо пойдешь — смерть найдешь. И пошел он прямо, потому знал — тамо-ка ево бела лебядь — девица есть. И было ему написано на той дороге...

Хозяйская дочка раскрывает глаза. За лучами их — опасение: дойдет ли до девы белой лебяди парень и что ему на той дороге написано?

Я тоже с тревогой слежу за парнем: я хочу, чтобы он дольше рассказывал. Слова его зажигают лучистые Марины глаза, и я думаю:

«...Что же на твоей дороге, Марина, написано?..»

Все ведь уходит, что бы ни пришло. Ответит и твои глаза, Марина. Как хозяйка, будешь и ты так же горбиться и вынашивать одного за другим ребенка и под старость слепнуть и задыхаться под пологом.

Жизнь необычайно повторима, но сейчас — ты хороша...»

Записки во время вневки

Любезная моя Венера
Кольцо на руку дала,
«Носи кольцо, — она сказала, —
Носи кольцо — не теряй;
Покаместь кольцо золотое —
Своею ты меня считай».

Из песен Ильи Грамова

Дорогая, я постоянно на людях: это дает мне возможность наблюдать. Думаю — прислуга в чужих домах испытывала нечто подобное. Приходилось ей много молчать,

мало высказываться, всегда считаться с другими. К тому же ей оставалась большая возможность наблюдения. Так и я: чтобы собрать нужные данные по изучению этих хозяйств, приходится все время жить, как говорится, на людях, все время считаться с ними, забывать о себе.

Если я не расположу к себе человека, я никогда не получу от него верных сведений. А народ здесь очень обидчивый. Какой-нибудь малейшей небрежностью, неточным расчетом слов или поступков можно обидеть, задеть за живое.

Даже когда говорят тебе что-нибудь несуразное о чужих, нечистой силе и прочих причудях, нужно сохранять спокойное лицо и разъяснять осторожно заблуждения. Как с детьми.

Несмотря на это мне нравится здесь. Сегодня мы днем, то есть отдыхаем целый день в пути во время нашей двухнедельной дороги на собаках.

Я часто думаю об этих людях, среди которых живу и чьим гостеприимством пользуюсь. Знаешь, несмотря на их чудовищную отсталость, на эту почти первобытную жизнь, часто мне кажется, что стоят они несравненно ближе к какой-то настоящей человечности.

Ты опять скажешь, что это идеализм, но это неверно: здесь люди твердо знают свое назначение или свое место в жизни. Мужчина работает на промысле: ловит рыбу и охотится. Женщина работает по дому. Здесь нет тех ненужных исканий занять себя, придумать себе интерес жизни; интерес, кажется, прирожденный — с ним, видимо, рождаются люди: работа, еда, сон, любовь, нужда.

Но и любовь совсем не та, что у нас. Любить — здесь значит жить с человеком. Здесь неприемлемы никакие рифмы: «грезы» — «розы» — «мимозы». Здесь колючий лесной шипезняк — как называют шиповник колымчане: когда цветы у шипезняка спадают — является плод.

Когда вчера вечером пришел я в юрту, с мороза — в духоту человеческого пота, я вдруг почувствовал, что хочу остаться здесь, иметь за пологом вот такую же простую девушку, длинную ночь с воем собак, с ветрами и кухтой.

Удивительные мысли приходят мне — я как будто начинаю переоценивать то, что всегда знало меня, — движение, люди, мир... Несомненно, ты объяснишь себе это типичной адепских мест, холодом, глушью, заброшенно-

стью. Я объясняю себе тем же. Но никогда не испытывал я такой звериной потребности в таком покойном, безвестном существовании...

Из неоконченного письма

Отдельные зарисовки и мысли:

Ноги ее по щиколотки увязали в хлюпающей грязи дороги. Она смотрела, как проступала кирпичевая жижа между плотными и загорелыми пальцами, — и будто не ему, а себе говорила:

— Ну и што, гуляю с Петюшей...

Парень повернулся и медленно пошел вдоль улицы. Длинная его спина раскачивалась, как сухая лютневница. За ним падали шла Груша. Она улыбалась, склонив голову, как бы про себя. Дорога к селу была одна.

«Ну так што ш, — думала Груша, — рожу».

Поезд давно прошел, а девушка от водокачки все стоит у переезда и видит его кудри.

Когда я проводил с тобой тугне от любви дни и ночи, когда утра приносили жидкий воздух городских улиц и нам казалось — мы втягиваем сквозь форточки воздух травы, почек, моря, я думал, что какая-то самая настоящая жизнь — впереди.

Густой вечер, вернее — полярная ночь. Марина принесла в юрту дров и подбросила в камелек. Когда камелек накалится, Марина полезет на крышу и закроет его старой оленьей кожей. Чтобы тепло не вышло за ночь.

Хозяин снимает ножом шкурку с горностая. Горностай мерзко пахнет. Видимо, хозяин привык и не чувствует запаха. Завтра с зарей едем дальше.

Впрочем, зря — относительное понятие, так как солнце не всходит и не заходит.

Хозяин рассказывает через переводчика:

— Был здесь, в якутах, на запад, в улусе один старик. Было у него всех больше коров. И жил он возле озера. И вот захотел он наполнить озеро молоком. И велел он доить всех своих коров и кобыл, которых тоже у него много было, и сливал он все молоко коровье и кобылье в озеро. Но озеро оставалось прозрачным. Однако до осени не переставал сливать молоко в озеро старик: все хотел, чтобы наполнить озеро молоком. И только к осени стало

чуть-чуть белым озеро. Вроде как рыбный жидкий суп стало озеро. Такой упорный старик был.

У хозяйка — одна маленькая телка.

Марина сидит со своей дочкой, и чем больше гляжу я на нее, тем больше хочу я, чтобы она проходила почаще мимо меня по юрте, чтобы чаще накрывала она чай п ужня, чтобы чаще лучились ее глаза. Видно, зверь сидит в человеке глубоко п плотно.

Лицо у Марины довольное, не видно ни слез, ни горечи. Лоб гладок п нежен; руки плоски п проворны. Она довольна своей судьбой — одна со своей дочкой. Она из тех истовых женщин, кто будет весело рожать детей, принимать мужа в пожелавшем ее мужчине п плоскими, проворными этими руками паразитовать неведомое потомство.

Сейчас она поднесет мне чашку. Я вижу, как она трещет вся, когда подходит к столу.

В юрте душно п жарко. За стенами тяжелейшие морозы п ветры. Дневка идет к ночи. Какие сны прищесет ночь?

Из дневника

ПОМАЗКИНСКИЙ ОСЕТР

По всей Колыме постоянно врезаются с востока мысы.

Помазкинский мыс упал в реку выше Черного, в пятнадцати километрах. Зимой он загибается белым крючком, ясно различимый на серой ровдуге неба.

На Помазкинском мысу еще в прошлом году стоял крест. Сейчас снега не дают глазам возможности увидеть — стоит ли он, покренившийся набок. Или, быть может, упал уже.

Под каждым крестом или гробовой доской, как парек какой-то мыслитель, лежит целая всемирная история. И под помазкинским крестом тоже зарыта своя история.

В старые времена пришло сюда сорок человек сверху, чтобы построить здесь город Средне-Колымск. Весной пришли люди, промысел оказался плохим, еда вышла, начался голод. И города они не построили.

Однажды заметали люди сети п вытащили осетра. Осетр был пудовый, редкостно жирный п одноглазый. Люди давно не ели вдоволь свежей п жирной рыбы. Они сварили осетра п досыта наелись.

Все тридцать девять человек наелись досыта одним осетром, а сороковому оставили кусок вместе с одноглазой

головой. Сороковой уходил в это время не то на промысел, не то за лесом для стружка.

Под утро пришел сороковой и увидев: лежат все тридцать девять товарищей мертвыми и у потухшего костра стынет оставленная ему одноглазая голова осетра. Тогда понял он, отчего умерли его товарищи, не стал есть оставленное ему жирное осетровое мясо, похоронил товарищей в одной могиле на мысу и ушел обратно кверху, где и построили русские новый город, стоящий и поныне, — Средне-Колымск.

— Все это забыль, — уверяют старики из соседних заповок. — И крест, посмотри, стоять...

У Помазкинскою мыса и теперь по лету мечут сети, но никогда никому не попадался больше одноглазый осетр. Да и вообще осетра по Колыме очень мало.

Водится осетр — хатыс, как зовут его местные люди, — в немногих местах, в ямах, в реке, где и мечут на него сети, не стесняясь истреблением остатков этой прекрасной породы рыб.

Само население осетров почти никогда не ест. Вылавливаемые единично, они в большинстве случаев предназначаются для подарка или угощения гостей, как особо вкусная рыба.

За Помазкинским мысом опять идут ровные снега Колымы. Дорога ответвляется на улус — «к якутам», как принято говорить здесь.

Эта дорога пойдет к скотоводам и озерным рыболовам. Лишь ближайšie к реке якуты выходят на речной промысел; проживающие на тридцать — сорок верст от реки уже совершенно не посещают реку.

Другая дорога ведет зигзагами по самому руслу, по заимкам Юрях-Терде, Быстрая, Урпах, Жирково, Петрово, Кульдино, Заборцево — к окружному городу, далеко в ночь выходящему своими огнями.

Ямщик едет по тракту — по реке. В Юрях-Терде лучшие по жирности чиры — с озера Ружникова. Озеро славится далеко по окрестности, как «горля» в пониовье.

Юрях-Терде — на высокоом, обрывистом берегу. Путнику приходится пешком подыматься на гору к заимке и втаскивать на руках нарту.

В Юрях-Терде хороший подельщик по дереву. Работает он не на сбыт — по случайному заказу. Кому нарточку поставит, кому ветку или стружок изготовит. И все,

что сделано этим якутом-мастером, щеголяет отделкой и аккуратностью.

Кустарей таких, каких привыкли понимать под этим словом мы, вообще нет или почти нет в Колымском округе. Мастера если и есть, то работают между прочим — между делом, по знакомству и в виде приработка. Основной источник существования остается тот же: рыбный промысел и пушной.

От Черного мыса вверх, к городу, местами по заимкам, примыкает к этим занятиям еще и вскармливание крупного рогатого скота. Но скота здесь совсем мало.

В Нижне-Колымске тоже есть коровы. Они даже крупнее и удойнее коров района Черного мыса. Но пониловый район имеет сейчас более твердый упор на рыбу, пушнину и собак, нежели на лошадей и коров, в противоположность районам с якутскими поселениями, живущими главным образом озерной рыбой и молочным скотом.

И Черный мыс, и Юрях-Терде, и Урпах — все заимки средней полосы нижнего течения реки Колымы, между Нижне- и Средне-Колымском, — значительно беднее устьевых и пригородных селений. Снабжение здесь минимально. До факторий — двести и триста километров. Снежные пурги и морозы усложняют сообщение. Промысловая снасть неравномерно распределена среди жителей. Собак значительно меньше, чем в устье, и, следовательно, транспорт значительно слабее.

Поездки в фактории редки. Бедняки не могут сами совершать такие длительные поездки. Они обычно заказывают товары и сдают пушнину в фактории через попутчиков, за что либо отработывают им, либо оплачивают всякими услугами.

Все эти заимки — проезжие заимки, и, как на проезжие, падает на них нелегкая участь. В них постоянные посетители — чаевщики, ночевщики, дневщики, а приезжего, по колымскому обычаю, надо напоить и накормить. Это большим расходом ложится на хозяйство.

Тальник и лиственница все время идут по берегу. Лес становится гуще. Заимки ютятся у леса. В Урпах рассказывает совсем льяной старик о том, как выкопали на реке Березовке мамонта.

Он сам принимал участие, в качестве рабочего и возчика. Он с увлечением и ядовитым юмором вспоминает о том времени. Женщины слушают, фыркают в фартуки и кулачки, а старик улыбается.

— Только, — говорит он, — мало уплатила Академия. За всего мамонта — чуть не триста рублей. Теперь ни у кого и охоты нет искать нового мамонта.

Про реку Березовку, о ее богатствах идут бескопечные разговоры.

На Березовку уходит в этом году особая экспедиция из Якутска.

Через Березовку же, через одно из многих ее горлустьев, проходит ежегодно караван выездного агента из города Средне-Колымска к горным ламутам, на притоки реки Омолона, в самые дебри Алая и Молондо.

Оттуда можно перекинуться по безлюдным просторам на верховья пустых Аниуй-рек и дальше выбраться в Нижне-Колымск или уйти по притокам Омолона к Охотскому морю по немереным километрам, к порту Глжнга.

Каюричик мой рассказывает степенно то одно, то другое по мере. В избах всюду встречается теперь якутская речь. Это уже другие места — другой край. И избы преимущественно якутские юрты.

Хозяин ест предложенный мною компот, основательно посплевывая его. Он находит соленый компот достойным уважения. В юрте двое косоглазых детей; ободрапанные, в тряпье и коже, они напоминают волчат.

— Этой осенью перегораживали реку поперек, — передает хозяин через переводчика, — «черезовое» называется такой промысел. Это все равно что большой ёз — запор реки. Только через всю реку. Оттого и называют — «черезовое», что через всю реку перегораживают, по льду плетень ставят и в оставленные в плетне ворота морды и мережи вставляют.

Хищнический способ дает большой улов.

— Вот спичек нет ли, — переводит ямщик, — хозяин просит. Здесь спичек совсем нет, все с огнивом возят. И вот в камельке все огонь-уголья поддерживают, а то нет совсем спичек.

Я уже знаю об этом общем бедствии — недостатке спичек на Колыме — и даю ему несколько коробков.

— А вот, — усмехается ямщик, — бывали случаи, что чукчи в тундре за коробок спичек горностаи давали.

В тридцати километрах от города вздымает восточный берег высокие горы у самой реки. С гор несет холодным ветром. Собаки удваивают шаг.

Навстречу попадаются первые конские нарты. Конская нарта шире собачьей, впряжена она на лямке. Огзобель

нет. На лошади седло с крючком на передней луке. На крючок, на переднюю луку, надевают лямку. Ямщик садится верхом и тянет на лямке нарту. Езда такая истощающе медлительная. Едут обычно шагом, иногда — трусцой.

Полпсовые собаки не знают лошадей. Они чувствуют их запах за несколько километров и несутся вскачь. Каюрщик еле удерживает нарту на раскатах. Для этого на поворотах он повисает над самым снегом на полозе, придерживаясь за переднюю луку и перенося центр тяжести в противоположную раскату сторону.

На коне, запряженном в нарту, сидит якут. Он в рожковой кукашке с большим емычем-нагрудником и в круглой якутской шапке. Дно ее подобрано из двухцветных лисьих лап.

Лис в этих местах значительно больше, чем в устье. Лис ловят капканами и травят стрихнином. В прежние годы лис травил собаками. Охотник выезжал с собакой или двумя собаками. Находил лисий след и шел по нему до места, где недавно еще лежала лиса, — до ее последней остановки. Затем он спускал собак с привязи.

Собаки бросались по следу, а охотник несся за ними на коне. В конце концов собаки настигали и ловили лису.

Песцов также затравливали собаками. Здесь песцов почти нет совсем. В тундре чукчи и до сего времени травят песцов собакой.

— Песца трудно поймать собачке, — говорит каюрщик, — он верткий, на лед выбежит и начнет кружить, а собака на льду никак не может его взять. А лиса — та в лес дует...

Хорошая промысловая собака у якутов и теперь цепится дорого, хотя интерес к такому виду охоты значительно пал за последнее время. За хорошую собаку якут отдавал коня.

— А как с зайками ушли — камень большой был, ета и есть Березин камень, где торосят. Торос-та слыхали? Может, у вас тоже торосят в Росне?

Каюрщик объясняет мне образование тороса. В реке с осели набивает течением лед у речной отмели. Этот пабитый горкой лед — ледяная запруда в реке — и называется торосом. К торосу приходит рыба чир «доить икру» на тихом месте за льдом. В это время и мечут сети: уловы бывают весьма велики.

Торосными ловами славятся отдельные места — в устье реки Большой Ануй, здесь — вблизи запячки Кульдино, в Верхне-Колымском районе на реке Ясачной.

Торослые ловы отовсюду стягивают рыбаков к месту речного тороса.

Днями и ночами дежурят они на льду в шалашах, палатках и у костров, высматривают сети, выбирают чира и снова пытаются свое рыбацкое счастье.

Каждый час грозит им ледяным сдвигом. Вода напирает на торос и постепенно сдвигает его по донной отмели вниз по реке. Шестами пробуют рыбаки в проруби — не подошел ли еще торос, можно ли еще заматать сеть на том же месте? Пропустить срок — пропали сети, спесет их ледяная путипа, останется рыбак бессетным.

Два-три дня стоит торосовый лов. Сдвигаются сети все ниже и ниже по ходу быстри; и наконец пробивает быстри ледяной затор и размывает торос. Тогда рыбаки снимают сети.

За торосом, за камнем, за проточками — все тот же убегающий берег реки. Вблизи Средне-Колымска он заворачивает к востоку и тихими тальниками приводит к городу.

Издали в пригожую погоду видать золотые огни городских домов, плоскокрыших, как во всех заимках. Они вспыхивают, и гаснут, и опять вспыхивают.

Неволью вспоминаются затопленная огнем сопка Хакодате, влетающие в гору электрические фонарики и сильнее густое небо.

Небо над городом без перемен серо. От собак стелется и ползет пар. И огни Средне-Колымска, конечно, не электрические — те же «лейки» на рыбьем жиру, стеарин свечей и керосиновые лампы.

Но не одним электричеством жив человек. Двухнедельный путь с морозами, дневками, теплом и грязью замок, добрыми людьми и веселыми собачками кончей.

Надо изъездить громаду путапых верст, намерзнуть, натосковаться по чистой постели и горячим щам, надорваться в ожидании холодеющих в почтовой конторе писем, чтобы почувствовать невольный трепет, подъезжая к этому окружному городу.

Но, помилуйте, Средне-Колымск — центр, город с семьюстами жителей, с клубом, радиостанцией, исполкомом. Да ведь это почти столица, автопомный Якутск, Москва!

Собаки влетают на угор и несутся по незнакомым улицам. Во всех околицах воем встречают их собачьи стаи.

Каюрщик постукивает о дугу приколома и лихо тормозит у высокого, выложенного снегом дома.

В КОЛЬЦЕ ЯКУТСКОЙ ЭКЗОТИКИ

ОСТРОВ НА СУШЕ

...Островом называется часть суши, отделенная от материка со всех сторон водой.

Из учебника географии

Самое высокое место — площадка, на которой стоит церковь. От церкви идет улица, если можно назвать улицей полосу вытоптанного снега, с одной стороны сползающую к реке.

Через речку — мост.

Это река Алкудин. Она делит город на две части — старый Средне-Колымск с церковью, знаменный, затопляемый веснами в половодье, и новый, взобравшийся на высокий берег, с исполкомом и радиостанцией.

В старом городе постепенно стихает жизнь — это окраина с двумя факториями, с летописями церкви, кладбищем и сплетенками провинции.

Сердце нового города — угловой дом на угоре. Окружной исполком. Уши города — радиомачта на холме, за тальничками, за ложком. В ложок и тальнички, как и в Нижне-Колымске, ходит гулять и любить в погожие дни молодежь.

Идут тальнички от самого клуба, где крутятся, без конца повторяясь, фильмы, привезенные сюда из Хабаровска, где звенят юные голоса, струнный оркестр и баян прохаживаются полькой по неровным половникам.

Есть в Средне-Колымске школа-семилетка с роем пионеров и комсомольцев. И единственная в округе общественная баня с пропускной способностью до пяти человек в час. Всего в округе две бани. Обе в Средне-Колымске; вторая — при радиостанции.

Старый город построен давно. Архив хранился с давних времен в канцелярии церкви. Теперь он частью

сожжеп— сожжены записи па берестовой бумаге, частью обклеены его зажелтевшими листами комнаты домов и учреждений города. Историю лет минувших не прочесть по его чахлым остаткам.

Любопытному глазу предстанут только клировые ведомости и летописи начала XIX столетия.

В летописях — события промелькнувших времен, заметки о стихийных народных бедствиях, «примечательные случаи» края и заметки о промыслах и климате истекшего года.

Церковь когда-то была здесь одним из «культурных учреждений»; церковнослужители знали грамоту; метрические книги и клировые ведомости давали первые статистические материалы о количестве «ишородцев и русских» в округе по годам.

Метрических книг, однако, не сохранилось. «Особые примечания» в ведомостях дышат торжественным слогом:

А. Замечательного уменьшения или увеличения прихожан и обстоятельств к тому нет.

Б. По скудности сердца к веро, нечувствованию духовной алчбы и жажды, ишородцы по усердны к исповеди и за св. крещением при проездах священника прибегают, но более по настоянию и побуждению, нежели по любви...

Е. Человеколюбие грубо и слабо...

З. Сведения, касающиеся духовной части вообще, и общий взгляд на состояние епархии непостижимы...

От времени «непостижимого общего взгляда на епархию» до тридцатилетия XX века прокатилось столетие. Лица, события, годы сдапы в архив. От прежних построек одни старинные воротца хранит старый город в церковной ограде.

Скоро и сама церковь сойдет в архив. Будущее города лежит на высоком берегу новой его половнины.

Чем же живет этот город, этот колымский центр с семьястами жителей, со среднегодовой температурой $-10,2^{\circ}$, так скромно отмеченной Брокгаузом и Ефроном? Какова его внутренняя температура, его лицо? Чем дышит город Средне-Колымск?

Зима — полярная почь, и лето — полярное суточное солнце. Неизменно лицо Колымы для Нижне-Колымска, для Черного мыса, для города. Дома такие же плоскокрышие, как по всем заимкам, разве немного пошире, покрупней. Улицы — тот же снег.

Но лицо Средне-Колымска все же отлично от лица любого сселения Колымы; отлично оно и от лица ближайших заимок.

Средне-Колымск — прежде всего окружной центр. И затем это — остров на суше якутской земли.

Центр представляется глазу европейца всегда точкой на карте, к которой бегут из всех углов стрелки поездов, пароходов, радиоволи, проводов телеграфа. Центр разрешает ожидания, обновляет помыслы, шлет распоряжения, указы и разматывает новые клубки проводов к окраинам карты. Короче — центр управляет, окраина исполняет.

Представьте себе страну, где до 1929 года нет настоящей карты¹, нет поездов, проводов телеграфа. Сотни и тысячи верст зимой — снега, летом — лугов, кочек и гор.

В этой стране город — село; и к нему, как к центру, бегут отовсюду собачьи упряжки, олени нарты и редкие конские некованные копыта. Вот центростремительная сила города Средне-Колымска.

К окружному съезду стекаются люди из разных, диаметрально противоположных мест: чукчи ледовитого побережья, юкагиры реки Ясачной и Коркодона, якуты улуса, русские, тунгусы, ламуты «с камня».

Но обычный Средне-Колымск, ежедневный, будничный не пестрит таким разнообразием лиц, как в местах помповья.

Русские и якуты — вот основные жители города. Русских в два раза больше, чем якутов. И здесь-то приходится отметить город Средне-Колымск как остров на суше якутской земли.

На запад потоком плывут якутские речь, обычаи, походка. К югу и северу, охватывая и тонкую полосу правобережья реки, тянется смуглый пласт якутской земли.

Косой разрез глаз, почти коричневые скулы, гортанный говор, чернь волос, меткий, расчетливый взгляд — якуты в давние времена покорили и оттеснили другие пародности к северу, к горам, в тайгу.

¹ Насколько точнее имеющиеся карты р. Колымы, позволяют судить последние съемки реки партией по исследованию р. Колымы НКПС в 1928—1929 годах, под началом лиц И. Ф. Молодых, давние расхождение в нанесении реки на карту до трехсот километров против прежних нанесений.

Они заполнили несметные просторы земель, неся свою культуру, свой язык, свои обычаи. Их численная и культурная мощь не могла пройти незамеченной для чужих маломощных родов. Роды обьякучивались постепенно, и постепенно якутский язык становился родным языком.

Средне-Колымск вырос камнем в кольце якутской экзотики. Его захлестывает якутская волна; как остров — кругом омывают воды якутского быта.

Но Средне-Колымск населен своим в два раза превосходит якутов русскими. Русская речь, русские песни, русская предприимчивость до сего времени не потеряли первенствующего значения.

Если в двух словах ответить — где живут русские на Колыме, нужно сказать: в устье реки и в городе Средне-Колымске.

Чем же живет город? В паше время — это острый вопрос.

В наше время едва ли не все города можно еще разбить надвое: на старый и новый город. Старая часть города скатывается с помостов, медленно и нехотя уступая свое место новому ветру. И ветер метет и свищет, как всегда веселый. Потому что ветер всегда свеж, живителец, силен.

Город Средне-Колымск также несет в себе две половины: старую и новую.

В 1927—1928 годах приехал из Якутска архиерей. Для большинства колымчан — Архиерей, с прописной буквы. Церковь еще не изжита. И хотя красные знамена не покарало церковное проклятье, престиж архиерея еще значителен.

Не всякий устоит против шамана и против архиерея. Помпа, торжественность всегда дают простолюдина. Ему нечем обороняться.

Архиерей ездил по епархии на мпожестве подвод, со свитой и провожатыми. Целый поезд составляли архиерейские подводы. Архиерей молебствовал, устаивал граждан опробованием пищи, благословлял, кропил водой и — принимал подарки.

Однажды мне сказал парень — рыбак и пушник, подчитывая свои расходы:

— Во епо в прошлый раз две огневки (лисицы) отдал архиерею, когда объезжал нас. И епо шестнадцать подвод кормил сеном и людей поил чаем.

— Как, — спросил я, — разве он брал подаяние, да еще в таком количестве?

— А как же не взять, — ответил парень, — как же не взять, когда дают.

В клировых ведомостях 1861 года, в «особых примечаниях» стоит:

Д. Благоприятствие к духовенству имеют полное.

Ж. Пожертвования в пользу церкви очень скудны, а духовенству не бывают.

При архиерее старый город не мог не ожить. У церкви, кроме хора, образовалось особое общество — сестричество; в него втягивались и юные силы.

Цели сестричества, конечно, не революционные.

— Сестричество, — объяснила мне одна старуха, — это значит, что мы все заодно с попами.

В 1929 году снова прошла весть о приезде архиерея на Колыму. К счастью, весть не подтвердилась. Гастроли не состоялась.

Не вся, однако, молодежь попала под влияние архиерея, чью сытую фигуру хорошо помнят колымчане. Часть нашла другой исход. Этот исход подсказала жизнь, и, как все живое, подхватила его молодежь. Молодежь пошла в школы, клуб, комсомол.

Грамотных в городе около одной трети всех жителей; членов профсоюзов — около 200 человек. Учеников в школе — 131. Кооперированных душ — 256 и посещений клубных постановок и докладов в 1928—1929 годах почти до 6000¹.

Цифры — голос нашего времени; они вместе с тем и голос нового города Средне-Колымска.

Жители города, русские и якуты, — рыболовы и охотники. Вместе с тем многие разводят незначительный скот.

Летом большинство скочевывает на ближайшие к городу рыбопромысловые запмки — на рыбный лов. Там делаются главные запасы хозяйств на зиму. И к осени вновь прикочевывают хозяйства в город.

Пушнину промышляют здесь значительно меньше, чем по реке и в окрестностях. Город требует свободных рабочих рук. Городской заработок отнимает время от пушных промыслов. Потребность во всякого рода рабочих, от чер-

¹ По сведениям экспедиции НКПС в 1928—1929 годах.

порабочих до квалифицированных, растет ежегодно. В городе механические мастерские, склады факторий и учреждений.

Горожане работают поденщиками, грузчиками, истопниками, срочковыми рабочими, мастеровыми; поставляют груз из города на периферию, берут подряды на отопление помещений, уходят на рубку леса и сплав дров; плотничают, слесарничают, служат в учреждениях, матросуют на купгасах и катерах. Город хорошо оплачивает свободные рабочие часы граждан.

Рыбаки постепенно превращаются в мелких служащих. Гостевание развито широко в каждом доме. Постоянные чайки, рыбка, веспой — свежие уточки, нередко вино, коньяк и самое любимое из всего — спирт. Спирт имеет здесь не сравнимую ни с чем стоимость.

Где спирт — там и веселье, и пляс, и неизменный средне-колымский «Братец»:

Бывало, эа-давал обе-ды,
Сампанскоо лилось рекой,
А нынче по-ту и корки хлеба,
На шкалик по-ту, братец мой.

Шкалик, однако, запретили. Спирт, привезенный госпароходством из Владивостока, в продажу не поступал. И все же, несмотря на запрет, изо дня в день пьют в городе Средне-Колымске. И висит над снегом, над избами, над пустыми бутылками неизменный «Братец».

Бывало, позд-нею порою
Друзья-приятели то-пой... —

сильными голосами подхватывает из-за угла старый, пурговой Средне-Колымск — Средне-Пропадинск, как звали его прежде:

Теперь, завн-дя, сторопою
Плетутся ми-мо, братец мой.

А новый город соперничает с ним: в клубе — вечер. На сцене молодежь, в гриме и русских сарафанах. Частушечницы-крестьянки кланяются и танцуют. Зрители аплодируют.

— Вот, под церкву строился, а под клуб пошел по-ньте! Оно с пользой здание использовали для парода...

Старик сидит в первом ряду и смотрит на сцену. На сцене стол с графином и стакапом на красной скатерти.

За столом докладчик говорит о значении Лелина и Коммунистической партии.

Старик смотрит на оратора и мигает глазами.

Выступают школьники со стихами, зазубренными к торжественному дню. Физкультурники показывают «вольные движения». Сцена вмещает восемь физкультурников.

Инсценировка стихотворения «Гибель Коммуны». Выстрел револьвера в самое лицо артиста в порыве артистического азарта. Испуганные вскрикивания в толпе зрителей. Хохот.

После вокальных и декламационных номеров, как написано в программе:

*Сальные и индивидуальные выступления
и танцы*

«Сальные и индивидуальные» номера не состоялись. По танцы усердно вытанцовываются любителями. Здесь уже и танцы не те, что в попизовье.

— Вы вальсу танцуете?

— Танцую.

— И поличьку тозе?

— Тозе.

Но не только «поличька» и «вальса» процветают в клубе. Читальня, музей, собрания, зачатки краеведения. драмкружок — все находит себе место под сводом среднеколымского клуба.

На улицах пусто — все в клубе или дома. Клуб полон. На метеорологической станции качается от ветра объявление начальника милиции:

*Сего числа
с метеорологической станции
пропал термометр
(что считаю совершенно недопустимым)*

Сиделка хлопает больничной дверью, вынося на мороз горшок. На окнах лавок — ставни. На кладбище — сугробы снега. Силь пад рекой и хмурь.

В светлой избе закашлялся граммофон. Девушка с гитарой поет:

А потер зановеточку
Тихонько шевеляль...

У десятилинейной керосиновой лампы приказчик подводит итоги торгового дня. Фигиль коптит, и толкая струя

шоколадного дыма тянется к потолку. На постели лежит его жепка в туфлях на босу ногу.

Предисполкома, сидя в подтяжках у неубранного стола, советуется с секретарем облпрофа о таксировке поденщины.

Машинистка с матовой кожей метиски угощает гостей мясным пирогом.

Город горит в печи огнями. К девушкам пришли парни. В городе страсти зажигаются неведомыми путями. Много гуляют девушки в Средне-Колымске. Жизнь женщины начинается здесь с тринадцати — четырнадцати лет. Родители смотрят сквозь пальцы.

Кругом города — бессменная почва. Серая, однотонная, бестеневая, какой может быть одна полярная ночь.

Кругом города — бессменные луга, кочки, лески. Улус с толстыми королами, быками, конями, озерными волосатыми сетями, ружьями-кремневками, дробовиками, с песнями, разговорами — этим бескопечным, незамыкающимся «кэпсе!» — «сказывай новости!».

Узкие, копеечные квадратики окон, грязь, тишина, вековые навыки, приметы, суеверия, нарождающаяся грамота, пытливость духа — жизнь.

ПТИЧЬЯ СТРАСТЬ

Снега слепят глаза с каждым днем все сильнее. Для поездок на парте нужны синие очки. Колымчане превращаются постепенно в автомобилистов без автомобиля. Глазные консервы и мех кукушек.

Заметно тает. Половина мая сторает в длинных после зимы днях. За город все реже выходят нарты, выбирая для пути еще морозные ночи.

На город Средне-Колымск, па зайки, на всю привольную ширь Колымы надвигаются дни птичьей охоты.

Алкудин вскрылся у самого устья, у самого города; и в центре города уже защелкали охотничьи ружья.

Утренники холодны — в рубашке не выйти на улицу. И если бы не солнце, не проталины пути, не вскрывшийся в устье Алкудин, трудно сказать, зима ли еще, или весна.

Сгорает еще неделя, и охота равноправно входит в обиход городской жизни — как ужин, как сон, как раз-

говор. Город вымирает. Охотники на партах ночами выезжают за десять верст на гусей, лебедей, уток.

На места перелетов птицы горожане уезжают одиночно, по двое, партиями, увозят с собой чайники, каравашки хлеба, кирпичный чай, палатки. На месте строят шалаши и живут в них неделями.

Утрам на перелете взмывают углы гусей и стрелы лебязьих стаек, и трещат из-за тальпиков ружья, и занимает дух охотничья страсть.

С заветных мест приходят обратно охотники уже после ледохода — сразу за льдом, на ветках и стружках, увезенных туда по нарте. Стружки полны гусями, лебедем, уткой.

Этот год неудачный. Снег стоял скоро, и птица разлетелась по озеркам, лужкам, кочкарнику. Недовольные лица охотников говорят о плохой добыче.

— Э, этот год никуда! С Георгием и Петькой ходил втроем, только шестьдесят гусей взяли, а Березкин, говорят, всего одного лебедя да десять гусей задавил. Со всем никуда!

Шестьдесят гусей на троих охотников — отменно плохая добыча. В хорошие весны бьет хороший охотник по восемьдесят, по сто, по сто пятьдесят гусей, уток — по сто пятьдесят, по двести и еще лебедей — сколько придется.

Над городом тоже повисли тяжелые треугольные гусиных стай. Мальчишки бегут по улицам, свистят и подзывают гусей голосом. Некоторые гуси поддаются ребяческим голосам и поворачивают, к вящему удовольствию охотников, в сторону плосккрытых домов. Тогда с улиц, с крыш, из тальпикового кольца вокруг города бойко щелкают выстрелы. Гуси сразу меняют полет и проносятся через реку к серому лесу.

Охотники притихают и ждут новых гостей. По всему городу у Алкудина, в старой окраине, на радиостанции днями бродят вооруженные люди. Они небриты, лица их помяты бессоницей. Карманы кукашек и курток пыжаты от патронов.

И вдруг — снова по городу:

— Лебеди, лебеди, лебеди!..

В голубой, почти сквозной пелене неба плывут шесть лебедей. Их хорошо видеть, но летят они слишком высоко. Крылья их слегка желты и неподвижны: они про-

плывають просторы, как бы не шевелясь, без замахов, подобно стреле, пущенной над землей.

Никто не стреляет в лебедей, по каждого охватывает огненная жажда солнца, лета, сочной травы. С этими лебедями кончается зима — восемь-девять месяцев мороза, снега, сумерек; сплохои неба, окоченелые пальцы, замерзающий на бровях пот.

Птица для колымчан — веспа. А веспа для колымчан — ежегодные трудности. С осени главная еда — рыба. К концу зимы рыба кончается. Весенние месяцы — самые трудные, томительные, длинные дни.

Приходится перебиваться «на чем бог пошлет». С весной приходит на помощь «птичья стихия». Птица весной — главное питание и единственное лакомство одновременно.

Осенью и зимой колымчане промышляют силками только белую куропатку. Силками из тальника с волосистой петлей. Куропатка прыгает в кустах, попадает в петлю и, не переставая идти вперед, душит себя.

Но куропатка — мелкая птица, мяса в ней на гроши, мало подспорья мужику от куропатки. Поэтому бить ее не стоит из ружья: даром заряд тратить. Настоящая птица — утка, гусь, лебедь.

Вчера мы вышли с товарищем на охоту. Охота здесь под самыми домами, на окраине города. Птица — утка.

Саженья в десяти от домов озеро — лужа; здесь, у лужи, и происходит охота.

Охотников, таких же, как мы, запятых днем и свободных к вечеру, человек десять — двенадцать. Иногда число их уменьшается — они уходят на Алкудип, на курью¹, и там раздаются торопливые выстрелы.

Мы прочно устроились у лужи. На берегу бревна, коряги, обломки досок. Снизу, с реки, с острым свистом проносятся две утки. Ход их до того быстр, что нельзя уследить — самец или самка летит сзади, какой породы и окраски.

Безнадежные выстрелы несутся вслед птицам. Но вот снова свистят крылья, слева и справа над головой, со всех сторон. Одна стая за другой по пять, по десять, по пятнадцать уток взрезает воздух. Есть утки с протяжным, попристающим криком, с хохолком над клювом, коричнево-пегие, серо-белые, свистуны.

¹ Курья — залив (местное).

Они налетают всю ночь и на рассвете, не ослабляя полета, с треском, свистом, шипением, гоготом, и навстречу им летят поспешные выстрелы. Каждый охотник спешит опередить другого и выстрелить первым. Уткам почти не дают снискаться и сесть на растаявшую лужу.

Но утки мало боятся людей, выстрелов. Снова налетает стая. Утки обсыпаются несколько раз вокруг озера и на быстром ходу вдруг спускаются к воде, сразу обвисают, опуская лапы и крылья, ставовясь внезапно бессильными, вытягиваются, как будто хотят схватиться за что-то, и, бороздя воду лапами, бесшумно садятся кучкой.

Выстрелы на этот раз удачны. Утки бьются в воде, некоторые летят, кувыркаются и падают на берегу.

Приезжому дика такая охота, без всякой осторожности к дичи, без прикрытия кустов, у самого дома. Дика невероятная мощь падающей утки. Свист пернатых эскадрилий и бессчетная их численность.

Над леском сходит белая ночь. Река вывесила на другом берегу розово-желтый фонарь — солнце совсем не греет. У ног наших — восемь уток. Похвастаться этим нельзя: восемь уток для колымских охотников не охота — так, одна забава.

Веслой уток передко бьют из окон между чаями: пьют чай, подстрелят и снова пьют чай.

«НАВОЛНЕНИЕ»

Весны в Средне-Колымске — всего три дня.

Зима сразу падает в лето, почти без перехода.

Вчера еще свисала над городом сетка снега, дул ветер, и хотя Алкудин уже вскрылся, можно было думать — над городом зима.

Сегодня солнце и голубое небо, такое же, как в Ленинграде. День затянулся, и вечер хранит на себе его теплоту. Облака и запад неповторимы. Угоры согнали снега. Воздух необычно широк и легок.

Повсюду выстрелы любителей птичьей охоты. Но сегодня и охотиться нет желания. Сегодня весна, на берегу девицы в весенних пальто, лебяжий пушок шапочек, визги, бойкие взгляды.

В четвертом часу пополудни Колыма затрещала, потянулась, сгорбилась и пошла. Лед налег на берег. Массивы

льда вышли на воды и избороздили береговой песок. На них сади пополали другие льдины. Толщина их доходит до двух метров.

Ледоход — событие в жизни колымчан. Из домов, юрт, пэбушек, с улиц, с окраинных закоулков посыпался к берегу народ.

— Лед идет, лед идет, лед идет!

Парни и мужики стреляют из ружей в воздух — приветствуя ледоход. Девушки смеются. Детвора подходит к самому берегу. Даже старики выбрались посмотреть, как напирает на берег лед.

— Лед идет, лед идет, лед идет!

Полчаса ликовал город. Полчаса разносились салюты в честь первой стихии, руководительницы колымской жизни.

Река пошла. Что принесет этот ледоход? Что принесет река? Будет ли рыба — будет ли пища, корм для сабак? Как вскроется море? Придут ли пароходы?

Со вскрытием реки рамки будничной зимней жизни города расползаются в огромнейшие двери; и в эти двери врывается несчетное число вопросов. Как же не приветствовать реку — кормилицу края!

Полчаса шла река, и лед громоздил баррикады, и мастеровые спорое колотили молотками, стучали долотом, клепали, красили отдохнувшие за зиму бока катеров, моторок и «всякой малой посуды».

И вот река стала вновь. Так же неожиданно, враз, как и пошла. Салюты смолкли.

Народ беспокойно глядит на лед. Можно уже подвести итоги первого сдвига. В Алкудине сильно набило трухи и метровых льдин. У радио пополали горы. Ближе подошли льдины к зимующим на берегу катерам.

Мост на Алкудине разбирают до самого вечера. Через речку исполкомом устанавливается переправа на лодках. А народ все стоит и смотрит — не пойдет ли река?

Каждому хочется увидеть первым, как двинется лед, и крикнуть об этом соседу, постучать в соседнюю дверь:

— Лед пошел!

Заглянуть к соседке:

— Лед, лед, Женечка, лед!

Окликнуть идущего по улице:

— Товарищ, посторонись, лед идет!

Но река неподвижна. Нахохлилась, посинела, и катятся через нее воздушные снежные клубки облаков.

Постепенно разошелся народ. Вечер, прогулки, работа, хозяйство, утки — у каждого человека свое занятие. По-редел берег.

Ночью река стояла по-прежнему. Мороз спаял лед. Утро пошло с ветерком, и с утра снова пошла река.

Опять вышел народ на берег — весть о ледоходе по городу пронеслась молнией. И только собрался народ, опять стали льды. Сверху напирал тысячами пудов верховой лед.

— Ка-а-к-та пройти, — почесал в голове приказчик фактории. — Чтой-та часто запираетъ.

— Вода выходит, — поддержал кто-то.

К двенадцати часам вода залила берег и подошла к ближним домам.

Из нового города на лодке приехала местная власть организовать тройку по борьбе с наводнением. Горожане стали собирать карбасы, стружки, ветки и постепенно переводить скот на высокую площадку у церкви.

— Наволнение, какое там наволнение — просто запор!

— Какой запор! Наволнение, собираца надо.

Весть о наводнении загуляла по городу. Река стояла упорно, и волна, шедшая за льдом, понемногу подступала к домам.

Жители Колымы медлительны в словах, жестах, движении. Пока вода у берега — к чему заботиться и перетаскивать пожитки. Пройдет «запор» — и все обойдется. И «наволнения» никакого не будет.

Но фактории уже перетаскивали громоздкие тюки, пушнину, товары на крыши сараев. И вдруг река пошла.

Сразу за льдом схлынула вода, оставляя на берегу мелкие льдины, куски леса, ил. Страхи наводнения сразу рассеялись. Река шла полным ходом, неся груды льда, деревьев, смытые куски берегов, обломки бревен.

Люди стояли на берегу, наблюдая за предметами на льдинах и смеясь прошедшей угрозе. Но река неожиданно стала вновь. Лед приподнялся, подхлестнутый сзади водой, и тяжело сел на берег. Потоки воды вырвались из русла и ударили в город.

В городе поднялась первая паника.

Шум, крики распорядителей, мычание коров, удары колокола, всплески весел, собачий лай, рев детей смешались и покатались к церкви. Лодки оттолкнулись от оград

и по улицам пошли через ложок к самым нявким местечкам и полузатопленным избушкам.

И вместе с лодками пошел на город с реки лед. Сначала мелкие льдины всплывали поверх воды; но вода прибывала, русла улиц становились глубокими речушками, и метровые льдины, подмытые водой, вертятся воронками, поплыли по старинным улицам, к церкви, к ложку, к Алкудшну. Старый и новый город разъединил лед.

Переполненные женщинами, детьми, скарбом, собаками, телятами, тощие карбасы приходили с разных концов к высокой пристани — к церковной площадке. Больные и женщины с детьми разместились в церкви. Коровы замычали среди могильных крестов. Костры задымились под чайниками. Вымокшие люди сушились у огня.

Прибыль воды остановилась, и на повоселье люди осмотрелись и стали постепенно приводить себя в порядок. И вдруг река пошла, пошла...

Неподвижные глаза устремилась на взметнувшийся лед, и на губах появилась нескрываемая радость:

— Пошла, пошла, пошла-а...

На льдинах проплыла опрокинутая ветка, кусок ограды. Вода начала убывать. Женщины забеспокоились о своих родственниках на низовых замках. Мужчины облегченно вздохнули.

Кто-то пожелал молебен, и, когда вынесли иконы и появился священник, в толпе раздалось робкое:

— Чтой-та ледок снова стаеть...

— Ково ты, што ты! — загорлавили бабы. — Не видишь — идеть.

Но река стала в третий раз, и вода снова вернулась к городу. Начали трогаться тяжелые, освещенные на берегу льды.

Один за другим затопляло дома. Через час в старом городе осталось три незатопленных дома. Льды и лодки свободно проникали во все места. Уровень реки дошел до четырнадцати-пятнадцати метров против осеннего, вода поднялась на семь — семь с половиной сажений.

В 1883 году, как повествуют летописи и народная память, произошло в городе Средне-Колымске «небывалое наводнение», и с тех пор сорок шесть лет не повторялось такого разлива реки.

В 1883 году лед пошел на город, поднятый напором воды. Лед ударил в деревянные стены, как таран, и снес пятьдесят домов.

Люди спасались в церкви, скот стоял там же. Последней надеждой для спасения была колокольня: вода подходила к крыльцу церкви. Но затор прорвало, и вода вернулась в русло Колымы.

В 1929 году убытки от «наволнения» оказались ничтожными. Попортило три дома, завалило улицы и берег льдом, нагромодило ледяные горы у береговых юрт в два человеческих роста, выбросило катера и шхуну на берег и поставило перед ними ледяной барьер. Ни один человек не погиб, скот остался целым; только у моего хозяина исчезло двое коней.

Впрочем, через два дня их нашли невредимыми на маленькой лужайке, кругом занесенной льдом.

ТАМ, ГДЕ НЕТ ГОРОДОВ

«По якутам» летом лучше всего ездить верхами. Груз ваш пойдет выюком на лошадях. Одну лошадь привяжут к хвосту другой. Проводник сядет на переднюю, вы — на четвертую, и к хвосту вашей лошади подвяжут еще двоих. Вот вам и караван.

Караван повезет вас куда надо — к хмурому Абыю, к Оймякону на реку Индигирку, по Колымскому улусу, к Верхне-Колымску. По всей Якутии.

И где бы вы ни ехали, всюду перед вами будет высокое голубое небо, котловины аласов-лугов или кочки, холмы свежей зелени, озера, камыши, леса.

Желто-серые, выложенные навозом и глиной юрты издали напоминают мазаки Украины, если бы не их грязный цвет и едкий запах дымокуров для коров, оленей, собак.

Картина повсюду одна и та же. Вариации невелики: вместо юрт — рубленки с плоскими крышами. Вместо рубленок — урасы, конусообразные, крытые древесной корой. Встречные якуты — в высоких монгольских седлах.

Из юрт выбегают ребятки, оборванные, чумазы; нередко штаны у них с вырезом сзади и спереди — для удобства. Но загар и грязь покрывают вырезы, и кажется, что вырезов и нет вовсе, если бы не предательские природные контуры.

Эти молодцы уже курят, хотя им три-четыре года. Родители не препятствуют, сами дают побаловаться ребенку. Курят якуты все — дети, подростки, женщины, мужчины, старики. Курение, как и любопытство, повсеместно.

Покурить всегда приятно, как приятно всегда потрогать каждую новую вещь, как любопытно посмотреть на пучу (русского). Вот пуча ест, вот пуча читает книгу, пуча встал, уронил нож или пролил чай. Все вещи у пучи другие: как же не поинтересоваться всем, что так непохоже на свое!

Вместе с любопытством идут народные новости; из уст в уста передается все, что нового услышано, увидано в окрестности или узнано от приехавших. Быстрота, с которой передается новость, не сравнима ни с чем.

Вы приехали в местность за десятки верст от того селения, где ночевали, по пути вы не встретили ни одного человека, а в местности, куда вы приехали, уже все известно про вас. Знают ваше имя, ваше занятие, опасный ли вы человек, есть ли у вас табак и чай, сколько лошадей в вашем караване, что будете вы делать, что нужно отвечать вам и что можно от вас получить.

При каждой встрече в пути непременно останавливаются встречные караваны, и путники делятся своими новостями.

Начало разговоров стабильно:

— Кэпсе! (Сказывай!)

— Суох, эн кэпсе! (Ничего нового, сам сказывай!)

Несколько раз повторено, что ничего нового нет; и после этого начинаются новости дня:

...В Арылахе у Митропана корова пала: боятся, не язва ли. По деревням всюду приказано собак привязывать...

...К вам едет отряд расспрашивательский о хозяйстве, сколько коров, да сколько масла делаешь в год, да что покупаешь... всякий разговор. Боятся не надо, но говори не про все, что имеешь, немного посбавь...

...В этом году трава хорошая будет, дожди с весны были...

...У Татины Влюкуроп две дочки родились. Иван очень доволен: говорят, на платье ей сатину в цветах купил...

...Завтра ждите с востока агента с товаром...

Поговорено, раскурено несколько цигарок из «балаганского» табака, от которого мутит голову, пожаты руки, иногда облобызаны уста, — и караваны разошлись.

Каждый придет в свою заимку, и еще не будут расседланы кони, в заимке станет известно, что:

...В Арылахе у Митропана корова пала: бояться, не язва ли. По деревням всюду приказано собак привязывать. Капрал объезжал заимки и говорил об этом...

...К вам едет отряд расспрашивательский о хозяйстве...

...В этом году трава хорошая будет...

...У Татины Винокуроп...

А наутро из заимки выйдет короткими путями — а короткие пути по аласам-лугам, хребтам, долинам рек знают на память якуты — на заимку Сылгы-Ытар (что значит: «коши паслись») другой караван на двух-трех лошадках, или одиоочно поедет какой-нибудь Уйбан или Митрэй, и уйдет с ним в Сылгы-Ытар известие о том, что:

...В Арылахе у Митропана корова...

...К вам едет отряд...

...В этом году трава...

...У Татины Винокуроп...

От Арылаха, откуда вы выехали третьего дня, до заимки Сылгы-Ытар, куда вы только что приехали, сто восемьдесят верст, но вчера уже — вместе с вестью о павшей корове, хорошем урожае, двойне у Татины Винокуроп — пришла весть и о вас, о вашем назначении, характере, богатстве, имени.

В юрте сидят за маленьким, отполированным временем и жиром столом. Сидят упорно, медлительно жуют рыбку или мясо и дикий лук. Мясо, впрочем, — редкое блюдо: скот бьют мало. Тяжелая от кумыса деревянная резная чаша ходит по рукам.

Это — чарон, кумысопитная чаша. Каждый попробует из нее по силе своего духа и передаст соседу по кругу.

Когда чарон опустеет, хозяйка пальцем его снова пеицщима, хмельным кумысом.

Юрта обычная — грязь исключительная, особенно в Верхне-Колымском районе. Воздуху в юрте мало, по, по обычаю, дверь на двор не отворяют. Сидят расстегнувшись и посапывают за чайком. Кумыс тоже редок на Колыме — в кобылах недостаток.

Зимой юрта еще грязнее и душнее. Скот стоит вместе с людьми, привязанный в углу. Окошки — мозаика из осколков стекла, вшитых в бересту. Часто его заменяет зимой лед, а летом — кусок ситчика. Сопливые дети, по-якутски занятные, косят на нучу глазешки. Если им дать

конфетку, они закопфузятся и подставят свои обветренные губы для поцелуя.

Печей в юртах мало. Камельки повсюду зияют пастями. К камельку с мороза подходит якут погреть спину и потереть руки, с неизменным:

— Ы-ы-ы-ч-ч-а...

У камелька, с трубкой во рту, возится женщина — джиллах хотун: домашняя хозяйка. Она покрикивает на ребятшек, варит обед и ловко сплевывает сквозь зубы на земляной пол юрты.

На Колыме, в противоположность другим якутским районам, редкие юрты соединены с коровником — хотонем. Когда коровник построен рядом с дверью из него раскрывается прямо в юрту, воздух в ней тяжел, так как камелек не может вытянуть все запахи в трубу.

Иногда хотон отделен от жилой юрты лишь перегородкой из жердей или широко расставленных досок. В таких юртах еще труднее дышать.

Юрта от юрты стоит далеко. Иногда песколько юрт объединяются в поселок — Рыжая, Оттуркель, Родчево.

В Родчеве — фактория. Якуты приносят в факторию те же неизменные шкурки или деньги от проданного мяса и масла. Живут якуты в большинстве бедно. Одеты плохо. Оленьего сырья не хватает, оленей мало у якутов.

Соседи, ламуты с гор, туго продают оленей: важенок-самок совсем нет у верхнеколымцев, и оттого нет приплода у стада.

Стада оленьи хозяйства держат жидкие: двадцать оленей — уже много. У середняка — три — пять оленей, а у большинства хозяйств — и того меньше.

Главная езда у якутов на конях и оленях. Собачьи нарты держат редкие хозяйства. Зимняя езда бойка только на оленях.

Конские нарты двигаются медленно — шагком.

Но сейчас июнь. Солнце жгуче. Духота томительна и для человека и для коня. Лучше в такие дни лежать в тени дерева или потягивать кумыс и чай, а ехать ночью.

Утрами солнце купается в тумане, но якуты не боятся тумана. Все дороги выверены, зазубрены наизусть. Волосяная шляпа или платок покрывают головы проводников. Комары роем осаждают путника — тогда он опускает на лицо тюль, купленный в фактории. Комар — летний бич Якутии.

За оградой дымится дымокур. Коровы лежат и жуют жвачку. Хозяйка подкладывает в дымокур прутья, куски навоза, щепки. Если ей сказать, что паши коровы дают восемнадцать — двадцать бутылок молока в день, она рассмеется, подумает, что с ней шутят. Шесть бутылок в день для якутской королевы хорошо.

Местный лекарь оттягивает губу коровы, чтобы смазать ей язык. Корова стоит в избе, привязанная к столбу и отделенная от людей доской. Кровяной язык вываливается из ее рта, распухший от болезни. В рот вставлена толстая палка, и об эту палку трет свой язык корова.

Ветеринарная помощь не доходит сюда. Ветфельдшер живет в городе. До города — сотни верст. Обезымы фельдшера редки.

— Самы лечим, — говорит седой якут, — своими средствами.

Лицо Якутии по реке Колыме сильно замепено. Русское влияние сказалося на якутах, да и сам округ слишком далек от Якутска — от центра якутской самостоятельности.

Чтобы увидеть Якутию в полном ее расцвете, надо проехать две тысячи километров на запад, в районы центральной Якутии, в места, где еще недавно «колдовали» шаманы. Там до сих пор встретятся «священные» деревья у высоких подъемов. Остатки старинных поверий, деревья эти обвешаны кусочками тряпок, копейным волосом, бумажками — всяким хламом, принесенным в жертву духу дороги.

По обычаю, каждый проезжающий для удачного пути должен повесить клочок гривы с лошади или лоскуток на отмеченное дерево.

Там встретятся беспечные, бесконечные, забываемые луга, косари-якуты; и закружит голову пьяным запахом скошенной трава.

На высоком берегу, на холмах, на сухих местах, в тени березы и лиственницы загорбится кладбище, потерявшее счет годам. Деревянные памятники, срубы — серебряные от времени. У тойонской могилы¹ на дереве — голова копы и кости. Тропа падает с холма вниз, к озеру, и веками не испуганные утки выводят к каравану своих птенцов.

¹ Тойонская могила — могила богача (якутское).

Там же встретятся и шаманские деревья, над которыми посмеивается теперь молодежь и подойти к которым остерегаются из-за неизменного человеческого:

— А вдруг что случится...

Старые шкуры телят и черепа — старые жертвоприношения на этих деревьях. По обычаю, надо обойти дерево и не задеть ни одного сучка.

И там же, среди невежества и примет старины, встретят вас веселые парни и девушки, расспросы о Советской власти, о мировых новостях, о сенокосилках, о Ленинграде: «Вот-та, наверное, где коров-та, коров-та!..», о поездах и аэропланах; встретят вас «вольные движения» и маршировка пионеров гражданки физкультуры. Девушки сыграют на хамысе¹ — единственном якутском музыкальном инструменте — томительные напевы. Они держат хамыс во рту и рукой ударяют по дрожащему его стальному язычку. Это любовный инструмент. На нем играет якутка своему возлюбленному неведомые русскому песни.

На Колыме и говор не тот. Нет таких широких празднеств кумысопития — ысыах. Нет песни такой бесконечной, как в Центральной Якутии. Но и здесь повсюду бойкая гортанная речь, любопытство и жизнерадостность.

— Правда ли, дохор², — спрашивает парень, что умирает наш народ? Я хотел бы знать, как это по-вашему, ученому, выходит?

Детская смерть, как и смерть матерей, — постоянное событие колымской жизни. Больше того — обыденность. Редко встречаешь в семье больше троих детей. Редко встретишь мужчину старше тридцати лет, женатого на первой жене. Обычно жена у него вторая, третья.

— А первая где?

Ответа иного можно не ждать:

— Умерла.

Что ответить случайному дохору — сотоварищу в пути? Подсчет человеческих ресурсов покажет жизнеспособность народа. Оздоровление местных условий жизни поднимет уровень социального здоровья. Пока можно сказать одно: сквозь все бедствия, нужду, в грязи, бедноте, недоедании, без врача и учителя, как бы наперекор всем бедам, живет и хочет жить якут. Это уже говорит за себя кое-что!

¹ Хамыс — на колымском наречии. На якутском — хомус.

² Дохор — друг (якутское).

— Ничего, — говорю я, — не бойся, дохор, будет жить твой народ. Его поддержат твои соседи и те силы, что выйдут из таких славных, как ты.

Парень улыбается и по-русски коверкает слова:

— Хорошо, ета корошай ты, нуча!

МОНГОЛЬСКИЙ ОГОНЬ

Хозяин, у которого я ел сегодня в топленом масле мелко нарезанное вареное мясо (мясо было, несомненно, коровье), конечно, тойон¹.

Увы, тойоны и теперь живы. Нет прежнего деления на классы по обязанностям и налогам, нет переделов лугов, когда богатому человеку доставалось лучшее сено, а кулачки-тойоны все еще существуют.

Тойон и богаче живет, и скота у него больше, и ест он лучше. Работников мало нанимают в хозяйства, а у тойона и работник нередко ездит за рыбкой, и приятель, сосед-бедняк, поможет амбар поставить или привезет дров из лесу. И жена бедняка поскоблит шкурки. Тойон за это, как поедет в город, привезет соседу на его же деньги мануфактуры, кирпич чая, пороху.

Гостеприимен тойон. Все у него ладится. Телка впервые отелилась — теленок бело-желтый лежит на сене в углу избы.

— Летом я живу здесь, весной — в дядином сайлыке (летнике), зимой и осенью — в зимнике, в десяти верстах от Оюн Цыхыта («поляны шамана»). Это дает веселье, такое разнообразие жизни.

Глаза тойона загорелись.

— Может быть, ты останешься, — добавил он. — Завтра в пяти верстах отсюда будут скачки. Якутские лошади — самые скорые на всем свете: минута — верста!

Глаза его загорелись еще сильнее, но мне надо было ехать.

Тенистыми перевалами закружилась тропа. До вечера караван дважды останавливался у озер. Жара давила плечи, как набитые мукой мешки. Коня изнемогали. Проводник не переставая пел песни:

Тыты-ы-йык аллатя,
Тангарá сырдата.

¹ Тойон — богач, кулак (якутское).

Песню не остановить. Неприпужденная и своевольная, она плывет по стране, подобно птице под облаками. У душистых лугов Ытык-Келя в эти новые, яркие дни старательно выводил я все те же слова в своей записной книжке:

Якут поет о том, что видит,
Что любит он, что неавидит.
Плывет по речке пароход —
О пароходе он поет.

Летит стрела над облаками —
То журавли летят на юг,
И губы, сбив молчанья камень,
Об этих журавлях поют.

Олень над кручею размытой
Взметнул рога — поет якут,
И в сердце золотым копытом
Стихи стучат, стихи бегут.

Ему доступны все просторы,
Глубины, выси, облака.
Вот так, леском и косогором,
Он входит с песнею в века.

Проза не поспевает за ритмом дня; и тем упорнее поэзия — это волшебство слов — вновь и вновь вторгается в прозу.

Под вечер зачмокали под ногами коней болота. Кони проваливались по колена, вьюки опрокидывались, повод обрывался. Клубами покотился из боковой долины туман, и вместе с ним вспыхнул на краю холма желтый язык огня. То был костер у юрты бедняка Сивцева.

Услыша колокольчик, к самой подошве холма сошел встретить гостей бедняк. Ровдужные питапы еле прикрывали сухие ноги. Затасканная рубашка с открытым воротом открывала почти черную грудь и жилистую шею. Лицо дышало потом, раскаленное солнцем.

— Здравалер, капсе! — приветствовал бедняк, помогая лошадям взобраться по крутому обрыву.

Проводник почтительно снял свою шапку. Бедняк был ему знаком.

Юрта Сивцева — зимник и летник одновременно. Коровника у юрты нет, нет и ограды. Сивцев бескотный.

Тальниковые, в рост человека, морды¹ для рыбы сохнут на дворе. Четверо ребятшек, наполовину голых, выглядывают из дверей.

— Рыбу-то сейчас ловят хорошо, — переводит проводник. — Да у него маленькие и старые сетки. Говорит — одна дырка, а не сеть... Еще у соседа взял за половину улова пять сетей. Вот и промышляет на озерах. Ходит пешком за два кёса², через день ходит.

Юрту Сивцева тоже не сравнить с рубленой избой моего вчерашнего тойона. Затхлый воздух, темнота. В окне — пузырь налива. Камелек низкий, над самой землей. Полог на нарах вдоль стены замусолен; вся посуда — пара обитых, когда-то эмалированных тарелок, медный чайник, кастрюля, сковорода и несколько чашек.

Чашки тоже достопримечательность. Каждая обтянута по несколько раз узкими полосами жести и склеена рыбьим клеем. За полосами жести — черный налет.

Жена бедняка дружелюбно приветствует — она сует гостю скрюченную работой и болезнью руку с желваками как у ревматика. Дети прячутся по углам:

Вечером подошел ко мне проводник; я чистил купленный за пять пряников якутский хамыс. Рядом поблескивала бутылка со спиртом. Им я пытался очистить хамыс от грязи и ржавчины.

Проводник подошел и сел.

— Может, завтра поедешь ты на скачки — здесь близко. Хороших лошадей увидишь, поиграешь маленько...

— Нет.

Проводник мой — занятный человек. Он одарен английским хладнокровием. На все мои опасения и просьбы он отвечает пренебрежительным:

— Бирунда!

Он поглядел на хамыс, на бутылку, откупоривает, нюхает.

— Это спирт? — сказал он. — В самом деле, спирт?

— Бирунда! — ответил я на этот раз его любимым словом. — Это предная жидкость.

— Какой бирунда? — воскликнул он. — Это не вредный житка. Эта самый настоящий спирт — и эта фак. Я пробаю?

¹ Морда — плетеная из тальника ловушка для рыбы.

² Кёс — десять верст (якутское).

— Нет, — сказал я, — нельзя. Это уксус.

— Какой такой уксус! Эта спирт, смеешься!

И в глазах его, так же как у тойона, вспыхнул огонь.

Утром, прощаясь со мной, хозяин о чем-то убедительно говорит проводнику. Я понимаю только два слова:

— Ат, учугей ат, берд учугей...

Слова постоянно повторяются и возвращаются к тому же:

— Ат, ат, ат...

«Опять о лошадях», — думаю я.

— Он хочет тебя спросить, — говорит мне проводник, — сегодня скачки, не поедешь ли ты на них, сыграть там можно, и лошади хорошие пойдут. У тойона Вивокурсва тоже лошади будут. Очень хорошие лошади, говорят, будут... И сыграть можно...

— И хозяин бы с нами поехал, — добавляет проводник.

Чтобы испытать моего проводника, достаточно показать ему карты. Узкие глазницы сразу разойдутся, даже губы подернутся от удовольствия.

— Сыграем, — скажет он.

Азарт присущ многим из якутов. Многие с трудом удерживаются от азартной игры, нередко приносящей им несчастье.

Возбудимость якутов проступает на скачках, когда они «мажут» за лошадей, в редких ссорах, в веселье, в верховой езде, в разговорах о Якутии. Многие считают и сейчас еще так: прежде всего — якут... Потом он уже — скотовод, рыбак, рабочий. Прежде всего — якутское хозяйство, потом уже — общее дело, общая борьба трудящегося человечества. Годы былого унижения выработали в якуте твердость самообладания, упрямство, хитрость и любовь к своему заброшенному краю. Новое веяние революции постепенно входит в якутские сердца.

Азартнее всего якуты в картежной игре. Карты — верное разорение для якута. Спирт достать трудно. Продажи в Колымском округе нет. А карты всегда найдутся у доброго человека. И в карты проигрывает якут своему собрату или русскому проезжему жулику последние деньги, пушнину, собак, скот. Горячность вредит якуту. Он не может вовремя оставить игру, выйти, переждать. Он играет как истый игрок, теряя надежду отыграться и не имея сил покинуть игрище. В жизни и торговле у него достаточно ловко-

стп. В картах хитрость уступает место наивности и доверию. Этим нередко пользуются любители дешевого заработка.

Но зато и шулеру лучше не попадаться в мощничество. Тут, пожалуй, и посильнее вспыхнут якутские арачи.

БЕРД УЧУГЕЙ КЫСС

— Берд учугей кысс! — сказал мой спутник и указал на Дарью.

— Но это еще не то! — добавил он поспешно.

Ей едва шестнадцать лет. У нее голые ноги и смуглота рук, напоминающая бронзу. Под грубой парусиной зреют маленькие холодные груди. Но лицо ее горячо от румянца и глаз. И глаз и румянец ее молоды. Ее зовут Дарьей.

Дарья — это христианское, от русских полученное имя. Наверное, у ней еще одно из тех милых якутских прозвищ — Кытэп, Керемес, Нюр, — почти не поддающихся нашему языку. Но она молчит об этом, как зверек поглядывая по сторонам.

Лошади развьючены и пасутся внизу. Здесь крутой берег котловины, обрыв. Внизу — озеро и алас, луг. Наверху — юрта. Дарья сидит на траве.

— Дарья, юте бар? ¹

— Э-э-э, — отвечает Дарья.

— Сымыт бар? ²

И Дарья меняет тон:

— Э!

— Дарья, тойон бар? ³

— Эсь! — кричит Дарья, вскакивая и махая рукой. — Эсь!

Мужа у Дарьи нет. Она девушка.

— Берд учугей кысс ⁴, — сказал мой спутник, — но это не то!

Солнце зашло. И сразу после зноя и духоты потянуло прохладой. В такую июльскую ночь придется надеть свитер, чтобы не мерзнуть до зари.

Мы идем на северо-запад. Мой спутник — еще молодой

¹ Молоко есть? (якутское).

² Яйца есть? (якутское).

³ Муж есть? (якутское).

⁴ Очень красивая девушка (якутское).

якут. Он прекрасный наездник и лихой стрелок. Но, главное, он умеет молчать длительно и упорно. А когда говорит, на губах и в узких глазах его улыбка.

— В этом кургане, — говорит он, — был похоронен известный батырь — богатырь — и грозный разбойник Дегин Удугуй, что в точном переводе значит — ходящий на дыпочках у воды, бывалый. И только один человек мог победить его. То была девушка Нюр.

— Но что Нюр! — перебивает он сам себя. — Посмотрите сами — и вы увидите наших девушек. Когда встречаешься с русским, — сказал какой-то ваш писатель, — всегда говоришь о женщинах. Я это тоже замечал. Но что ваши женщины — сердобольные и холодные! В их нет жизни. Разве их сравнишь с якуткой!

Я ничего не ответил ему.

Разговор замолк; и только под утро, подъезжая к сошным сайлыкам, он сказал мне:

— Жаль, что ты не поедешь севернее, за Алдан, к тунгусам. Тунгуски очень красивы. Там есть настоящие красавицы. Один раз я ехал по делу. Мне сказали, что у большой дороги стоят тунгусы. Я проехал уже семьдесят верст, а жилья все не было. Был большой мороз, я торопил оленей. И только под вечер я услышал лай — даже сердце вдрогнуло. Это была тунгусская ураса. Я сказал хозяевам, что тороплюсь в город и что утром поеду дальше.

Но там я увидел ее. О, такой я больше нигде не видел! В урасе было много пароду, тесно. Но она двигалась как тень, ничего не задевая, стройная как тростинка. Утром я помогал ей ловить оленей, но когда олени были пойманы, я отпустил их и сказал, что остаюсь до вечера. Что Дарья! Какой румянец, глаза были у нее. Звали ее Улла. От мороза и бега она стала еще красивей. Я пробогал шутить с ней, но она смущалась и смеялась. А вечером я сказал, что возьму ее в жены. И она согласилась ждать. Но в городе меня задержали дела, и, когда я вернулся, тунгусы откочевали. Их уже не было на месте. Я никогда больше не встретил ее.

— Совсем как в ваших сказках, — сказал он улыбаясь. — А может быть, я это выдумал, чтобы тебе веселее было ехать?

В юрте нам дали якутскую пресную лепешку и на двуривенный целую чашку сбитых сливок — кёрчах — национальное лакомство. Любая девчонка в несколько минут собьет вам его,

— Ты хотел смотреть, как будут доить коров, — сказала хозяйка. — Тогда иди. Сейчас я буду доить.

Мы вышли во двор. За изгородью стояли несколько коров и телят, привязанных отдельно. Перед тем как подоить, женщина подвела теленка к корове и дала отсосать ему вымя. Потом она села на маленький табурет, зажала между ног берестяное ведро и стала быстро доить корову.

Я посмотрел на молоко.

— Что это за налет на молоке? — спросил я. — Это грязь?

— Это не грязь — это с вымени.

— Отчего же ты не оботрешь ей вымя?

— Зачем? — удивилась хозяйка. — Молоко идет изнутри, значит оно чистое.

В середине дойки и в конце хозяйка опять подвела теленка к корове. Теленок сосал молоко, с такой силой ударя по вымени, что корова вздрагивала.

— Ой! Ой! — невольно воскликнул я. — Ей же больно!

— Ничего, — усмехнулась хозяйка, — иногда это даже приятно.

МЕГЕЛЯХ

Здесь останавлиюсь я с своей историей для отдыха, хотя и не по недостатку материала, а просто по обычаю древних эпических поэтов — спускать порой паруса и ставить рифмы на якорь.

Желаю одного — чтобы эта песня была принята публикой как следует и имела подобающий ей успех.

Байрон

Дочери старика Герасима Петрова фундаментальны в своих толстозадых платьях. Шиты платья из турецкого ситца якутским покроем, до полу.

Дебелые девки. У старшей — два сына. Младшая детей еще не имеет. Руки у ней — как у лучшего борца якута. Такие девки только и есть, что в Мегеляхе, у Герасима Петрова.

Рубленая изба Герасима в две комнаты. Окна светлые, у окна стол, вытертый насухо. На стенке ружья-двустволки.

Во дворе Герасима нарты составлены одна к другой — собачьи и конские. У кустов — собаки, в коровнике — коровы.

К чаю белые лепешки подает хозяйка — старшая дочь. Жена у Петрова померла пять лет назад. Чай черный, смоляной — как кофе. Наливает чай сам хозяин из большого чайника. Сегодня хозяин вернулся утром с охоты. Привез он с собой одного оленя.

Герасиму Петрову семьдесят лет. Мало у Герасима Петрова седин над высоким лбом. Мало морщин на лбу. Рост его не гнется под тяжестью лет и испытаний. Лицо степенно и покойно. Да и то, нет равного промышленника Герасиму Петрову во всем широком Матюжском наслеге.

Вышел Герасим Петров из самых бедняков. От отца остались Герасиму одна собака, пара лыж, ровдужная рубашка, штаны и кремневка.

По сие время хранит Петров свою кремневку. Огромный затвор ее слегка поржавел, курок привязан ремнем к стволу и ложу, вместо собачки — тетива лука. С этой кремневкой, собакой, давно уже околелшей, и парой подбитых мехом лыж добыл себе свое богатство Герасим Петров.

В сторону от Мегеляха, к Орбыну, к займке Юрях-Терде, от волочного тракта на Черный мыс лежит широкая едома — высокое плоское место и лес.

За хребет¹, за озерки, по кочкарнику, по первому снегу пошел сирота Герасим Петров пятьдесят лет назад впервые один на лося. Пошел он один, с собакой и кремневкой, на отцовских лыжах. Но зверя нигде не было.

Три дня ходил Герасим по всей стороне Арбынской едомы, что на восток сладала постепенно в лужки, тальники, кустарник. На третий день приехал в Мегелях черномысовский житель, и сказали ему в Мегелях соседи Герасима:

— Видно, пропал Герасим, окреп где-нибудь на сендухе. Три дня не видать Герасима, а ушел он на едому с куском хлеба, в одной рубашке, с собакой и ружьем. Как не пропасть человеку по зиме в такой одежонке и без продуктов.

Потолковали меж собой. На лося редкий человек один ходит: опасен зверь — сохатый — по осени, когда ходит

¹ Хребет — хребет (местное).

на самкой, опасен и зимой. И на человека бросается, и раздавить может, и рогом повредить. Ходят на сохатого по двое, по трое в товарищах: третий — сзади, с сугосером-носилочками на спинке, с рыбкой, когда есть — с хлебом, с чайничком. Всегда в дороге подкрепиться можно, а вот пошел Герасим один, с собакой и ружьем, и третий десть нет его назад.

Послушал черномысовский житель, что говорят люди, подумал и сказал:

— Знать, вчераь дорогой я его видел в сторону от едомы — через ложок бежал человек и очень торопился; собака ж не видно было, только где-то лаяла. Верно, то и был Герасим.

Потолковали соседи, «пожалпились» меж собой, поприкнули — как же может это Герасим через всю едому перевалить три дня не евши, и решили, что, верно, то был не Герасим, а какой-нибудь другой житель, а Герасим, видно, «доспелся» где-нибудь на сендухе.

А в ночь постучал кто-то в крайнюю пазбу в окошко. Открыли — Герасим стоит, рубашка разорвана, лыжа одна надтреснута, лицо что снег, а сам смеется.

— Ну рассказывайте, что нового, кэпсе!

— Суох, эн кэпсе, — говорят, — нет новостей, сам рассказывай.

А сами думают: «Уж Герасим ли то, а может, чудника, привидение?» А он опять говорит, и губы дрожат, а сам смеется.

— Суох, — говорит, — нет, нету новостей.

Видят, и собака у ног его лежит, пристала шибко, похудела, хоть и так не жирна была.

— Заходи, — говорят.

А он в ответ:

— Наутро помогите, — говорит, — двух сохатых добыл, за едомой на лабазе¹ Сеннином оставил.

Потолковали меж собой, поосмотрелись соседи, а наутро пошли с нартой по следу Герасима и помогли ему привезти сохатых: один азойный² был — никак не уложить на нарте, пудов тридцать пять, другой — маленький, детеныш.

¹ Лабазы — промысловые навесы и амбарушки на высоких ногах-подставках в лесу. На них во время охоты для сохранности от зверя складывают добычу.

² Азойный — громадный (местное).

Так и начал свою промысловую жизнь Герасим Петров. Много, не перечить сколько, добыл он за свой век лосей, оленей диких, медведей.

Ставил он и пасти на лисицу и ушкана-зайца, и чаркалы на горностая, и петли на куролатку, и кулемы на «дедушку». И «дедушка» не раз пытался выместить на нем свое зло.

— Самый опасный зверь, — говорит Герасим Петров, якут и промышленник, — самый опасный зверь из всех зверей — «дедушка», медведь.

Сохатый... Тоже надо осторожным с ним быть. Один раз на промысле задержали собаки сохатого, а он вдруг повернулся, увидел меня и на меня бросился. Хотел я отскочить в сторону, а сохатый уже надо мной. И не знаю, как я успел упасть, только ружье вскинул вверх, а зверь пролетел. Очухался когда — смотрю: цел. Сохатый перепахнул. А ружья пугде нет. Кругом ночь, ничего не видеть. Всю ночь искал ружье — в двадцати шагах нашел. Видно, сохатый его ногой задел, когда летел, и отбросил вбок.

Герасим трогает себя за бока, отыскивая кисет, расшитый по якутской моде пестрыми лоскутами. Ганза у него с серебряным колпачком и насечкой — работа сына. Герасим набивает большими узловатыми пальцами ганзу табаком.

— Ну, и ничего. Нащупал рукой ружье — цело. Засыпал пороху, осмотрелся, — ничего не видеть, только собака лает. Пошел по следу. К утру добыл зверя.

Звериной и пушной добычей окреп постепенно Герасим Петров. Теперь он самый «уважаемый» и «крешкий» человек в наслеге; поспорит с ним разве скотовод Парфеных или пастахский тойон, что переехал, как говорят, осенью ближе к городу.

Добычу продавал Герасим соседям побогаче и снова шел в лес. Через пятнадцать лет стал Герасим слегка грузен, обзавелся семьей, ходил вдвоем на лосей: сам — с ружьем, жена — с сугосером сзади, с поклажей за спиной.

Завел коров, коней, поставил пябу в две горницы. Мечут на озерах ловкие его сыновья сети, гоняют груз на нарте, ездят за пушным в Нижне-Колымск и в окрестности по хозяйским делам.

Но и теперь, дойдя от ровдужной рубашки и штанов к пиджаку на косоворотке, к камусным шароварам и торбасам, расшитым соседкой, уже не так бойко, как в иные годы, ходит на лося, на дикого оленя к едоме Герасим с дочкой или сыном. Бьет он зверя, почти не целясь, —

стрелок Герасим отменный. Вместо кремневки есть у него и винчестер, и берданка, и двустволка.

— Однажды ходил я на медведя. Искал — не нашел. Сошел па озерко, бросил пальму — копы такое, с чем на медведя всегда ходим; на берегу, думал, посмотрю заодно, как сети стоят.

Вдруг на берегу собаки залаяли. Смотрю — медведя подняли па лед, прямо па меня гонят.

Подумал еще: «Вот грех — пальму у берега бросил», а медведь уже на озерко вышел. Лед-та свежий, снегом не завесен с осени. Вынул нож, наскоро две ямки выкопал во льду для ножек, для винтовки¹, вставил ножки, насыпая на полку порох, а медведь уже по льду сам па меня катится. Прицелился, спустил курок — осечка. А второй раз уже не успел зарядить, медведь совсем накатился, а сзади за ним две мои собаки — вцепились в него и катятся по льду.

Едва успел отскочить, чтобы мимо пропесло его. А он на снег выбрался и пошел на меня на четвереньках. Ружье еще не установил, а он уже на меня налетел. Развернулся я и ружьем его по башке, а он мне руку разодрал, отмахнулся, между указательным и большим пальцем. И оба мы прозь по льду откатились от удара.

Схватился я за нож — нет ножа: нож-та я на льду оставил, как ямки делал. И как это я забыл о ноже — не знаю! Ну, думаю, сейчас пропаду. Хорошо, собаки умные были. Сзади уцепились и тащат назад. Так через лед на другую сторону по скользкому месту утащили. Так и ушел медведь — куда-то его собаки утащили.

Медвежья республика на Колыме благоденствует во всей своей мощи. Обычно пикто не трогает медведя, разве Герасим когда на него пойдет. И медведь тоже не обижает людей.

Корма у него достаточно, леса кругом, летом — ягода. Огромный, бурый, выходит он редко па людей. Редко упадет на путника, скорее уйдет сам.

Нередко связывает якут медведя с каким-нибудь божеским духом. «Дедушка», хозяин природы, хозяин сендухи — таким его считает якут. Убить бурого «деда», пожалуй, и грех. Разойтись — безопасно и похвально. Но старик Герасим не верит, видно, причудам своих соседей п однокровников.

¹ Кремневые, древние винтовки имеют подставки-ножки.

— А то еще: еду я за сохатым на коне. Собаки бегут. Вдруг залаяли в кустах. «Что, думаю, такое? Может, сохатый побитый лежит». Бывает так, что дерутся из-за самки и один другого повредит. Сохатые страсть дерутся. Сильный-то слабому всегда ногу норовит изломать. Сцепится рогами и на какую палку супротивника гонит, чтобы подвернуть ногу. Подвернет и поломает. Так и победит, и самочка ему, значит, достанется.

Подъехал — смотрю: медведь. Медведь и впрямь. Лежит в траве, в кусты ушел и не шевелится, а собаки на него лают. Он только ворчит.

Посмотрел я — шерсть густая, черная, здоровый медведь. Взял ружье, подумал — где ж лучше пулю положить, где сердце ему приходится. Приложил, выстрелил. Лежит, молчит. Рычать перестал. Думаю, что промазал. Только не может быть, верно целил.

Снова набил заряд, примерил, выстрелил — не шевелится, не рычит. Собаки тоже притихли. Стал я с коня слезать осторожно. Нож в руке держу. Подхожу помалу. Смотрю — медведь лежит, глаза закрыты, точно и дела до меня нет. Потрогал — не шевелится. Ну, смелее тогда пошел. Мертвый. Обемпи пулями попал: одной жилу, на которой сердце висит, перебил, второй в мешок — в сердце — угодил.

К деду подходит, ковыляя на крпвых ножках, внук, сын дочери Герасима Петрова. Любит дед внука — видно, уж всем дедам любовь эта к малым товарищам своим, помощникам будущего, на роду положена. Хороший внук у деда, в мать пошел. Такой же широколицый, некрасивый, глаза — смородинки. Отца дед не знает, да что отец — мало ли отцов на седухе ходит! На то и девка, чтобы с парнями гулять. На то и молода, широкозада, руки что гири.

Дед сажает внука на колени и гладит по голове.

— Прежде был способ медведей добывать с ножом. Случилось одному охотнику убить медведицу. У-у-у, самая злая — медведица, особенно когда с медвежатами. Вошел в берлогу, а там на него два глаза глядят. А с собой у охотника только нож. Не пожалел руки, заткнул в рот медведю, в самое горло, и ножом в сердце. Только руку попортил, а жив остался.

В прежнее время так тоже промышляли: руку обвяжут одну ремнем накрепко, чтобы не прокусил медведь зубом, — и в рот, как встанет тот на промышленника,

чтобы поднять. А другой — ножом в это время под сердце. Теперь так не ходят уже. Сам я тоже не пробовал.

В берлогах медведя обычно не берут. Нечестно, считают якуты, бить медведя спящим. Если идут на берлогу, сперва будят медведя шестом, чтобы проснулся, чтобы равным против равного выступил. Потом уже стреляют.

Много позже на прекрасных берегах верховых речек, на истоках рек, падающих в долину Колымы, в песке, в пле приходилось мне видеть медвежьи следы. Размер их превышал всякие мои предположения: нужно представить себе огромный лапоть, с самым большим следом, какой только может быть у человеческой ноги, раздавшийся в сторону, разбухший, размошенный. Вот след медвежьей лапы.

В Сеймчанском районе, о котором еще два года назад не было никаких более точных представлений, кроме как о перевале с Охотского моря на Колыму, тихим вечером с юкагиром-лоцманом шли мы в высоких стволах лиственниц на гусиное озеро. Вечер погасил на горах солнце. Ноги путались в сучьях никем не тронутого от сотворения леса. Впереди кружилась моя лайка.

Лес от берега спускался под горку к северу. Озеро можно было угадать по крику гусей. Трава загустела по склону, узкая и зелено-желтая. Мы спустились все глубже в продолговатый овражек и, когда дошли до него, остановились: вся трава продолговатого овражка была вытоптана медвежьими лапами.

Это не мог сделать один медведь. Здесь проходили десятки четвероногих «дедушек». Не медвежья тропа — широкая медвежья дорога пересекала наш путь. По ту сторону овражка стлались сухие заросли пивняка.

У нас было по одному дробовику и четыре джакановских пули, к тому же мой спутник считался метким стрелком. В конце концов мы же шли не на медведя: мы — сами по себе, медведь — сам по себе.

На озере мы разошлись. Я с собакой — направо, юкагир пошел в обход.

Три выстрела дал я по уткам, и один раз ответил мне юкагир с левого угла. Ночь подступала, я позвал собаку и вернулся к юкагиру. В озере купались махровые изжелта-белые облака.

Юкагир мой стоял у озера, махал рукой и кричал по-якутски. Тогда я побежал к нему. Собака бросилась впе-

ред и залаяла. Теперь я уже хорошо различал юкагира: он стоял спиной к озеру и указывал в лес. Когда я подбежал, он сказал мне:

— Вон там был, пришел и лег у куста, теперь не видно — наверно, ушел.

Охотничья страсть скатилась, как хмель, во время опасности. Зарядив ружье джаканом, прикрикнув на собаку, полезли мы опять в заросли сухого тальвика, в темноту ночи, к медвежьей дороге, разъединившей вас с рекой, товарищами, палаткой и горячим ужином.

За спиной у юкагира болтались два тяжелых, уштаных ягоды гуся.

В Мегеляхе я прожил три дня. Работа была закончена. И первая тоска по далеким местам потянула глаза от тихой и простой жизни Колымы в родные ленинградские улицы.

Тысячи окон, за которыми тысячи человеческих сердец, спешка дня, сумятица чувств, встреч, неугомонное движение: с какой жадной увидел я в заброшенном Мегеляхе горящие окна огромного города, трамваи, сады — увы, расчесанные под гребенку.

Я снова тянулся к соблазняющему меня с детства городу, зная, что через год, вспоминая пологи тихих мегеляхских почей, степенные леса верховьев рек, Яблоновый хребет и синие снега Походска, не усую на месте; что снова потянет меня ко второму соблазну — новому пути, движению, далям.

Тогда я записал в дневник:

Так, верпо, в час тревожный
Бродяге снится край,
Где детская игра
Не схожа со стреноженной
И дикой жизнью беглеца,
Где у заветного крыльца
Его встречала девица.

СИНИЙ УГОЛЬ

ВЕРХНЕКОЛЫМСКИЕ ОГОРОДНИКИ И УГОЛЬЩИКИ

Ничего не может быть в поэзии труднее пачала; разве только конец.

Байрон

Три «крепости» стоят на реке Колыме: Нижне-Колымск — в устье, Средне-Колымск — ныне город и Верхне-Колымск — ныне якутский поселок, — в нижнем течении оба.

Не так давно еще путь до Верхне-Колымска от устья казался европейцу огромным, а Верхне-Колымская крепость относилась к верхнему течению реки.

Сейчас новая карта наносит Верхне-Колымск, у реки Ясачной, на межу нижнего и среднего течений.

Верхне-Колымск — обычный якутский поселок, и верхнеколымцы — обычные якуты.

Радуга жизни их отликает теми же цветами, что цветут во всех наслежных селениях: то же «кэпсе», та же рыбка, те же коровы.

Верхне-Колымск можно было б проехать, не отметив на карте человеческой памяти, если бы не три особенности, как в сказке колымской:

И была ему на роду три дороги напаяны...

Первая особенность — в Верхне-Колымске есть огороды: Вторая — к Верхне-Колымску подходят юкагирь реки Ясачной.

Третья — за пределами Верхне-Колымска кончается для большинства колымчан Колыма.

Верхне-Колымск — рубеж, предел, граница. За ним неведомые для колымчанина просторы попой стихии, безлюдной реки, синего угля.

О синем угле нет представления у колымчанина: есть слабая тень воображения — названия каких-то за тридевять земель лежащих заповей, недоступных рек и неизменных верст.

Верхнеколымчане — плохие угольщики.

Зато единственные огороды ютятся в этом селенпи.

Колымчане не знают овощей. Овощи — привозная заморская диковинка, стоящая больших денег. Картофель, капуста, морковь, огурцы, репа — деликатесы не для рыбака-охотника, не для якута-скотовода. Частично приходят они на Колыму с пароходами, сушеные, консервированные, натуральные, но главным образом — незначительные в своем количестве.

«Местные овощи» здесь только дикий лук. Им пользуются и русское население и якуты.

Лук распускается у берегов, у камня, в урожайных местах, лук зеленеет полями — полосками в отмеченных, набуренных, запомненных сыздавна местах. Лук набирается в корзины, в пучки. В карбасах привозятся в заимку, крошится, солится на зиму, подается к рыбе как лакомство и приправа. Да и то в редких избах, в редких семьях, в редком хозяйстве: овощей Колыма не знает.

Высокий якут в армячке, в ровдуге торбасов, без шапки стоит у изгороди и смотрит любовно на зеленые гряды. Перед ним картофель набирает цвет. Всего три гряды, и каждая в три шага. За картофелем — всходы пшеницы и ячменя.

Якут поглаживает подбородок и улыбается — это молодой огородник Афанасий Данилов. В третьем году попробовал он посадить картофель, и с тех пор затянула его картофельная любовь, и каждый год по весне перебирает он гряды и сажает сохраненное за зиму от морозов в ящичке у камелька семя.

В этом году мороз пробрался в пзбу и попортил картофель: половину пришлось выбросить. Ячмень и пшеница посажены для опыта.

Пшеница и ячмень вызревают на Колыме.

Рядом с якутом стоит сосед в милицейской форме: это местный поборник огорода и пашен на беспашенной, безгородной Колыме. Но здесь он только милиционер и любитель огородного дела, русский, сын ссыльного.

— Здесь все может обнатуриться. Проб не надо, — говорит он, многозначительно поводя колючими бровями, — пробы ни к чему. Достаточно садить и сеять. Все вызрет здесь — и овощь, и красноколоска, и ячмень. Каво здесь делать, как не сажать, — чиста прибыль себе, подспорье в хозяйстве.

Якут молчит, и еще шире растягивает его лицо улыбка.

К огороду подходит человек, повязанный слинявшим платком. Тощий, жердеподобный седой старик качается от ветра, издали кланяется и нерешительно подходит к ограде.

— Во самый настоящий огородарь здесь — Попов, из русских, один, с сестрами здесь проживает. С давности занимался огородами. Кустарит беспременно, но все же огород его побойчей, чем эти грядки.

— Весной его грядки затоплят вода — река выходит и омывает землю. Нанесет нашу и промочит как след быть землю — и овощь у его охотно родица. Посмотреть приятно!..

Огород Попова раз в десять больше даниловского. Тридцать пять гряд его выбрасывают осторожную зелень моркови, букеты зацветающего картофеля и широколистные пучки капусты. Попов объясняет:

— А эта гряда так: сам ткнул зернышко — выскочило. Ткнул другое — из земли выскочило. Горох это попробовал и боб. Тут же и зернышко хлебное ткнул — вот и оно выскочило.

Беспомощные стариковские руки вадрагивают. В прежние годы возили Поповы по малости овощи в город продавать знакомым и купить какую материю, чай, мучку. Мучка у них как редкость. А в давнее время так совсем не видать было. Сестры Попова — допотопные девы. Руки их так же высушены землей, как руки нижнеколымского грабара Дмитрия.

Милиционер, значимо изгибая бровь, усмехается.

— По-мудреному он говорить: «Ткнул зерно — да выскочило». Это он хочет сказать: пробу он делал на новый сорт семян. Садил беспременно, пробовал. Это поощрять надо б, такое занятие. Поощрили б, тут все бы унапал, что вот Попову награда за разведение огорода. Здесь ведь вам не столица какая, где тысяча жителей! Здесь всяк другого знает. Поощрять надо дело.

Никто, однако, не поощряет огородарей. За свой страх и узко для себя разводят они малочисленные овощи. Соседи неохотно идут на новое дело, требующее забот и ухода. Всего два огорода по всей Колыме.

— Овощь-та любят-та все, — прерывает милиционера жена Давилова, — каждый саха¹ картофель любит-та, а работать не хочит-та.

¹ Саха — якут (якутское).

Милиционер опять морщит бровь; это значит — он добавит еще что-нибудь:

— Пока не умер старик Нехорошев, такой был в городе, разводил он огород в городе. Хорошие результаты происходили. Теперь умер, и не осталось в городе огородов. Одни гряды. Никто не наследовал его дело.

Над Верхне-Колымском ползут грозные иссера-перные облака. Небо — как сплошная огородная взрытая грядка. Под небом — рубленки, юрты, редкие деревья: Верхне-Колымск. У избы огорода тощего старика Попова стоят огородники, праотцы будущих культурных огородников Колымы.

Мой спутник подарил старику пуд ржаной муки. Старик мнется и переступает с ноги на ногу.

— Лучше не надоть. Лучше не надоть, а то потом вычитать еще стануть, а я — денег нет!

Старик перешительно тащит к моему спутнику обратно куль. Стоит многих трудов уверить огородника, что мука ему подарена за его труды, за его рассказы о начале огородного дела — за историю огородничества Колымы.

Тогда он протягивает руку и благодарит. Бескровные губы его шевелятся бескровной улыбкой: мука для него — неожиданное счастье.

— Ладно, старик, рассчитаемся. Скажи-ка лучше — что же дальше за этим селом, за Верхним, за крепостью? Есть еще селения, кто живет в них, куда ездите вверх по речке?

Старик боязливо смотрит по сторонам:

— Никуда не ездим, никуда, товарищ...

— Это он никого не знает, — поправляет его милиционер. — Он никуда не двигает отсюда и не двигался опрeждь. За Верхне-Колымском есть юкагпри, кочуют. Но жилищ нет — домов нет, па сотни верст не живут, но осели. Течение дальше быстрее будет. Недалеко плавают рыбачить. В прежнее время больше рыбачили в пятнадцати — двадцати верстах вверх, сейчас не рыбачат почти. По Ясачной занимаются ловом рыбы. Воише там не живет никто, можно сказать. Пустая земля лежит пока что.

Верхнеколымские жители не видели никогда угля. Никогда не топили им печи, не слышали о заводских котлах, о пароходных, о паровозных топках. Уголь — черный уголь — им неведом.

Но и синий уголь — водная масса, громада, взбухающая неисчислимыми толпами синей воды, двигателями груза, энергией, грядущими Колымостроями — коллекторами синего угля — неведом перхнеколымчанам.

Вниз — река Колыма, якуты, катера, пароходы, город, хлеб.

Вверх — голь, река, пустыня.

И впрямь никудышные угольщики верхнеколымчане!

СИНИЙ УГОЛЬ

Стихия синего угля — река.

Никогда катера не поднимались выше селения Верхне-Колымска, и вся водная громада среднего течения реки прозябала заброшенной, отрезанной от центров пустыней.

Только в последние годы за шестьсот — семьсот километров вверх от Средне-Колымска за пушпиной поплыли на проворных лодках агенты торговли и, не дойдя до устья быстрой реки Коркодопа на несколько верст, у местечка Столбового, основали свои склады продуктов, повели торговлю среди кочевого юкагирского, ламутского, тунгусского населения.

Кроме редких торговых парт и лодок, зиму и лето кочают по вольным просторам никем не опекаемые и не достижимые бродячие племена юкагиров и ламутов. На сотни километров лежит широководная река Колыма, не возмущенная шумом машины, подмывая берега и ожидая человека.

Наш катер идет по местам, впервые варытым впитом мотора. Река вьется в зелени берегов. Лес растет с каждым днем. Это уже не низовой чахлый лесок. Высокие, гордые тополевые рощи, березовые леса, десятсаженные махты лиственниц и древовидная ива покрывают долины густой зеленью.

Меж ними ползает и растекается протоками прозрачная, полповодная Колыма. Горы наваливаются на стороны ее русла. Чем южнее — тем больше гор. Медведи, не апающие человека, бегут по берегу за катером. Солнце жжет круглые дни, а ночью пробирает холод.

Скоро уже месяц водному пути — и все еще свободно, без мелей, идет катер насупротив синей громады. Наметка дает глубину, годную для речного парохода. Река на тысячу километров вверх от Средне-Колымска,

используемая с трудом на одну треть, годна для регулярного пароходства.

Трава густеет сочным всходом. На сотни гектаров не встретишь человека. Для кого ж эта роскошь воды и берегов?

Тогда приходит на мысль каждому: под носом катера — безмерная сила стихии. Эти синие волны — синий уголь. Откуда идет эта река, эта дорога возможностей, это неисчерпаемое богатство воды — синий уголь?

Стоит закрыть глаза — перед глазами несутся синие затопляющие пласты, в них врываются испуганные турбинами дикие потоки. Протва бурной их воли встают преграды, плотины, плюзы. Вода ревет и бьет водопадами: она подымает пары снежного угля. Вертятся колеса и приводы новейших Колымостроев, вырастают заводы, рудники, города. Синий уголь несет по реке веселые пароходы, кунгасы, баржи, паузки, лодки, катера. Деревня, селения всходят по берегам. Тучный от травы, пятнами чернеет в долинах скот. Ягоду и грибы собирают ребята. Охотник чинит ловушки на зверя и пробует новую малопульку для белок. Рыбак выбирает спасть. В фактории распаковывают товары.

Откроешь глаза — перед глазами несутся синие затопляющие пласты, в них врываются неспуганные турбинами дикие потоки речушек. Никто не плывет по реке. Медведь показывает рыжую, клочкастую спину за густой лиственницей. Он собирает голубику.

Для кого же это богатство, холодеющее и цветущее в заброшенных углах колымской яви?

Верхне-Колымск давно позади. Его не помнит здесь ни один зверь и ни один стебель. Редкие юкагиры сплывают по старпике за священником на утлом стружке в Верхне-Колымск. Гуси полощутся у берегов, жирные от обилия корма. Они почти ручные — им, наверное, можно насыпать иронической соли на обливавшие хвосты.

Кто ходил по этой стихии вверх? Куда доносили его весла и руки? Нигде нет заметок пребывания человека. Здесь счет времени ведут только звезды и стволы деревьев.

Единичные экспедиции пробирались с Колымы к Охотскому морю через Яблоновый — «Яблочный» — хребет. В разных местах выходили смельчаки, и тропы тотчас

зарастали за ними, и волны сходились. Пройденные пути забывали люди, и земля, тщетно охраняя от человека свои недра, смывала следы путников.

Идет река вверх, к самым хребтам, к водоразделу. Триста — пятьсот верст надо проделать волоком с Охотского побережья, и синий уголь подхватит суденышки и повлечет их бесплатной мощью в жилые места колымской земли.

Но человек до сих пор не овладел смелостью проложить к синему углю — к верховью колымских вод — прочную дорогу, чтобы сплавить по быстри гуженные товаром суда, как сделал это он в других северных реках.

Впитим, Киренск, Бодайбо, Якутск, Булун живут Лепой — широчайшей рекой Якутия.

Лозунг городов — лицом к реке; даже дома протянулись к берегу. С реки идут просвещения, товары, культура, почта, связь. С верховьев плывут паузки, шаланды, плавающие магазины, пароходы.

Колымские верховья, покой средней Колымы — голая многотысячеверстная пустошь. Синий уголь лежит безработный и ждет смелой руки.

УРАСА ЮКАГИРОВ

Юрта, общая с коровником, — обычное жилище якутских скотоводов. У юкагиров вместо юрты — ураса. Копусом поставленные жерди снаружи покрыты кусками коры и шкур. Сверху дыра для дыма. Такое жилище удобно для кочевки — с весны юкагиры кочуют в долинах рек.

Юкагиры древни, как все азиаты. Откуда вышли и как пришли они на притоки реки Колымы — не помнят их песни. Малочисленные племена ходят по Коркодону, по Сугою, по Поповой реке, по самым известным на Колыме, самые кучные юкагиры — на реке Ясачной.

Ясачная река прозвана от ясака. В старинные годы собирали русские люди ясак с пнородцев — подать. По Ясачной давно нет ни ясака, ни соболя, но имя сохранила народная память: так и осталась река Ясачной.

С осени, с богатых рыбных ловов оседают на зиму юкагиры по реке Ясачной у селения Нелемное и в окрестности его. Зимой ставят ловушки на горностая, лису, зайца. Живут они отчужденно от якутов, от факторий, своим

племенем, тоже с перепутанной кровью — юкагирской и ламутской. Но язык ходовой у них якутский.

К юкагирам весной привезли меня оленьи нарты. Олень весной бегут медленно. В холодок, в зимы — это быстрейший колымский транспорт. Маленькая рубленая изба с лыжниками окоп встречается путнику. В избе заметная чистота.

Чистые чашки ставит на стол девушка. После чая она протирает их мелко наскобленной древесной стружкой. Эту древесную мочалку она выбрасывает после мытья посуды.

Пол в избе подметен. Ребятышки не лжут языком тарелки, на которых путнику подается еда. Стол насухо вытерт.

Только одно хозяйство осталось еще на Ясачной, остальные скочевали. К весне выходят последние продуктовые запасы юкагиров. Пушнина сбыта или еще лежит и дожидается агента или попутчика в Верхне-Колымск, в Родчево, в фактории. Рыба кончилась. Дичь еще не настала. Самые тугие дни наступают в юкагирской жизни.

Тогда собирают юкагиры свои пожитки, складывают на высокие нарты с оглоблей, впрягают две, три, четыре собачки, мужчина впрягается вместе с собачками, и тянут за оглоблю и ремешную петлю нарту. Юкагиры двигаются в летнюю кочевку.

Некоторые съезжают в Верхне-Колымск или другое ближайшее заимки, в якутский Оттуркель, в Родчево, в Сылгы-Ытар, в Зырянку и заберут до откочевки в долг под пушнину или под лодку муки, кирпичного чая, табака, пороха, свинца. Некоторым привезут товар якутсососеди: все, что дано, прибыльно вернется дающему.

Дорогой охотятся юкагиры на лосей, на диких оленей, на белку. Шкурок они не портят: есть меткачи, бьющие дробинкой в глаз белки.

На остановках раскидывают семьи урасы. Ловят рыбу. В большую галь подкочевывают к дальним местам. Там оседают на время у реки, промысливая лосей и добывая неизменную общеколымскую рыбу. Строят лодки, стружки, ветки. Лодки юкагирские славятся; все юкагиры — ловкие мастера лодок. Лодок всегда мало на Колыме. Из хорошего дерева делают прочные «посуды» юкагиры и плывут вниз по реке, к селению Нелемному, на осенний рыбный промысел.

И дальше к Верхне-Колымску проплывают юкагиры для менки и продажи лодок и отдачи долгов. Осень приходит, встает река. Оседают хозяйства на зиму. Торосят на реке в удачные годы и промышляют мелкую рухлядь.

Вот и вся незатейливая жизнь. Оленей почти нет у юкагиров, бедность здесь вопиющая.

Вдоль Колымы в разные стороны, в верховьях речушек расположились отдельные семьи, отделенные от всего мира и друг от друга гигантскими просторами.

Чем дальше от реки, тем первобытнее их вид. Одежда заменена кожей оленя и сохатого. Пища — рыба, лосина. Иногда древесная мякоть — заболонь; мука — лакомство, годами и десятками лет отсутствующее в хозяйстве, как и соль.

Свои краски добывают юкагиры — знают они, где есть в горах самокрасящие камни, глина, где какие реки текут, где какие камни лежат. Неулов рыбы, недостаток лосей нередко заставляет их голодать зимами и веснами. Худоцавы, гибки, выносливы юкагиры.

Граница кочевков падает к бурливому Коркодону. За семь километров до устья, по Колыме, над густой зеленью леса, на угрюмых горах, облепленных облаками, далеко виден высокий желтый камень — Столб.

Издали он похож на храм или памятник. И юкагиры тайно считают его своей церковью. Об этом они говорят с усмешкой, а на камне, на желтой его осыпи, в трещинах и расщелинах, понасованы мелкие монетки, пустые патроны, тряпочки — обычные старинные жертвоприношения.

У самого верхнего камня, по поверью, зарыт ребенок, умерший в давние годы. Могилы его не видно, а ниже, под лиственницами, в покое древесной тени и воздуха, — гряда заплесневелых, поржавелых камней, сложенных памятником; и старые олени зацветшие рога.

Здесь могила шамана. Когда похоронен он — неизвестно. На могилу ходить не полагается. С могилы, с камня, с осыпи уходят бесконечные дали гор, долин, рек, зелени леса, облаков.

Часами можно сидеть на могиле или у верхнего зуба. Тишина часами, днями, годами, столетиями висит над головой, и у ног тянутся — река, горы, облака, острая зелень ивы и густая, почти черная, лиственница.

Лирика, лирика! В наши дни разве нельзя говорить о том, чем полнится сердце, перед чем останавливаются

глаза? Вперед, конечно, были горы, но за горами — моя страна, ребяческие годы, молодость, перепутанные лица, бессчетные, бесчисленные руки — как колючая проволока.

Нельзя говорить обычными словами, и нельзя заставить не побывавшего на Столбе увидеть подавляющую громаду первобытной земли. Здесь нужны особые краски: может быть — стихи, может быть — глаз живописца.

Внизу на щебне, намытом и отшлифованном рекой, — ураса юкагиров. За ней — другая. Обе со щелями, крыты корой, местами — шкурой оленя. Здесь живет «богатое» хозяйство. Богатство, конечно, относительная вещь. Люди сидят на мелкой рыбке, напоминающей наших снетков. Рыбку толкут, мелко режут и едят без соли, варевую. Этой же рыбой впроголодь кормят собак.

Солнце село малиновым шаром. Серебруются тополя. На угловой камень могилы вышел суслик. Он поводит усиками и пугается упавшей ветки.

Из-за камня выглядывает пузатая мышь.

К камню с гор приходят зимой кочующие ламуты и юкагиры. К фактории приезжают редкие якуты с верхнего селения Балыгычан.

Камень постепенно начинает принимать иное значение: не церковь, а местная материальная база образуется на месте старинных поверий.

Мой спутник подарил мне несколько снимков. Все временные наши приятели столбчане-юкагиры усажены рядом перед своим жилищем. Камень скрыт за урасой. Жаль, что его не видно, и только по лицам этих суровых людей можно догадаться о пупе юкагирской земли.

В этот день были еще такие пышные клубы облаков и сиреневое небо.

Здесь оканчивается земля юкагиров. Выше пойдут якутские выселки. Скотоводы-якуты, отщепившиеся от ядра якутского народа. Это балыгычанцы, суксуканцы, сеймчанцы.

Выселки малочисленны, затеряны, самостийны.

Молодой парень в Балыгычанах, за рекой Балыгычан, за густыми болотами, за комарами, в просторной юрте угощает кумысом гостей. У него лоснится лицо от избыточного пота, скулы приподняты улыбкой.

— Суох-суох. Нет у нас старосты в селении, и члена наследного Совета нет, и кандидата нет, рождения не регистрируем, нет, и смерти — тоже нет, и суда у нас нет, никто к нам не приезжает, до ближнего города сто кёс, до ближней школы сто двадцать кёс, и сенокосы мы меж собой не делим.

— А кто ж ваши споры, ссоры ваши кто разрешает? — удивляется приезжий.

— А этого у нас никогда не бывало — ссор.

Моторный катер — невиданная новость; на него посмотреть приходят жители. Как это сама лодка пойдет, без весел? Любопытно взглянуть на хитрую выдумку русского человека.

Сеймчанскую заимку не видно с берега, вся она рассыпалась по лугам, меж перелесков.

Раннее утро, свежий ветерок и солнце. Катер дает перестройку, торопливо, как сердце во время испуга, бьется и останавливает ход. Плоская мель принимает якорь. Впереди щебень, дальше лужа, и у самого берега реки узкая полоса залива — курья.

— Стой, — говорит лоцман, — кто-то кричит на берегу.

— Никто не кричит.

— Нет, кричит; верно, кто-то тонет.

Далекий и тонкий голос надрывается над курьей. Бросаемся на берег и бежим к курье.

Лужа по колено, и ее легко перебежать; до курьи — метров сто.

Первым приходит лоцман, среднеколымчаннин. Издали видно, как он снимает с себя на ходу куртку. Вот и курья.

В воде изгибается и кричит тонким, тягучим криком женщина. Она рвется в воду и кричит неизменно:

— Охо-охо!..

— Ребенок, ребенок маленький где?

— Улахан, большой, — говорит она, на минуту переставая кричать. Глаза ее дики, она рвет на себе седые волосы. Мокрое длинное якутское грязное платье липнет к ее истощенной спине.

Река невозмутима, невозмутим покой неба. Курья прозрачна, но сына старухи не видно.

— Как же ты перешла здесь? Где он упал? — Лоцман силой уводит старуху на берег. — Где упал-та, скажи?

— Да вот тут, вот тут, а я рядом прошла. Еще говорю — не торопись, не торопись, охо, увидишь машину, увидишь мотор-да, а он засмеялся, побежал, вслеснул руками — да в воду, так и не вышел.

Вода — лед. Дыхание останавливается. Муть подымается под ногами и застилает дно. На два шага кругом — светлая курья до самого донного камня. В курье яма всего с сажень — и в ней утопувший охо.

— Лодку, лодку дава-а-ай! — кричит лоцман на катер.

Вот и вынут из реки охо: парепь лежит на щобне, на брезенте. Он молод, с широким носом и призакрытыми глазами. Лицо посинело, и наливаются тяжелым покоем, и каменеет на глазах. Каменное лицо, каменная фигура: может быть, это уже не человек, а камень. Рядом изгибается и гладит голые его ноги мать.

— Охо, охо!

— Так уж пришло ему время, — говорит лоцман. — А торопился катер посмотреть. И всего-то посмотреть надо народу...

Река цветет за курьей и за щобнем. Синий уголь.

СРЕДНИКАНСКОЕ ЗОЛОТО

На тысячу километров вверх от Средне-Колымска — кочкарник, луга, лес, горы, тайга.

Колыма постепенно спадает в широте русла, заползая в коридоры гор. У Средникана, пенящего на порогах голубые воды, она уже небольшая река.

Отсюда пятьсот «конских» верст до берегов Охотского моря, до Олы, до телеграфа. Тайга — у Средникана. Обглоданные, замшелые лиственницы, кочкарник, мох, ягода.

Дорога пробита от берега к стану — к новым приискам, к новому золоту — жидкой тайгой. С двух сторон зажат Средникан хребтами, лысеющими к вершине. Солнце рано падает за холмы. Ветер не заходит, отбитый горами. Зимой владычествуют покойные, безветренные шестидесятиградусные дни.

Рядом с рекой карабкается по берегу тропица. По ней плут двое. На плече одного из них — кайло. Потертый пиджачок его был когда-то синего цвета. На ногах ничиги. На лице рыжая, доплаткой, борода.

Сосед его высок и посередине перехвачен ремнем. Ремень делит нескладно длинную и широкую фигуру на два куска: широкие черные шаровары до щиколоток и пегую рубаху до стриженных под горшок волос.

— Сволочь этот парень, зачем хватает, когда я уже взявши был лопату. Кричит ешто: «Поганая собака!» Ну, и показал я ему, што аначит поганая собака!

— Ты бы все ж, милый, — говорит коренастый в пиджачке, — ты бы все же не руками. Местком есь, или по матерям бы его пустил, а не драться...

— По матерям, по матерям!.. Ш-шо по ма-те-рям! Ш-шо по матерям, спрашиваю, для такпх? Им на ругань насморкаться, прости ты меня!.. Ну, местком — верно, погорячился...

— Вот ты всегда, брат, горячишься, — смеется сотоварищ, — а теперь на собрание попадешь. А народ хороший здесь...

— Ну и нехай!

Длинный сплюнул.

Я знаю этих обонх. Они добрые старатели: на приисках пасмных, хозяйских рабочих нет. Работают только старатели, под присмотром.

Сворят они о пустом деле: Харитонов побил парня, когда тот хотел взять его, Харитонова, лопату. Парень подал в местком. Драка на приисках строжайше воспрещена. Идут они на Бориский прииск, за пять километров от стана.

Стан — разбойничье слово. Бурный голос войн, сражений, поисков, удач связан с ним. Здесь станом зовут контору и главный Средниканский прииск.

Работ по золоту на стане сейчас нет. Только разведка. Все работы брошены на Бориский прииск.

Контора приисков — деревянный, пахнущий свежим лесом дом, чисто вымытый, с прилавком для приходящих сюда рабочих, приискателей, посетителей. За прилавком — бухгалтерия и управляющий. Напротив конторы — столовая, общая для служащих. Старатели живут артелями и кормятся поартельно, самостоятельными семейками.

На стане — вся местная культура: доктор, фельдшер, местком, баня, хлебопекарня, машинка-ремington. На стане — расплата за сданное золото, продовольственный склад, лавка, спирт. Стан руководит работой, дает дележки,

шлет за пятьсот километров в Олу на Охотском море донесения, отчеты, запросы и через месяцы получает ответ. Радио и телеграфа на стане нет.

С горы стаи похож на заброшенный лагерь. Завьюченные кони, дымки, брезенты, костер. Кругом тишина, глушь, тайга.

— На место это пришел когда-то первый золотоискатель, — говорит управляющий, — вот вам история приисков¹.

Десертир царской армии, имя и фамилия его забыты, двадцати двух лет, кличкой Бориска, бежал с матерка в город Охотск.

В Охотске — парод ходовой, непокойный, старательский. Охотск избалован золотом, богатыми приисками, разгульной жизнью. В Охотске познакомился Бориска с Кановым и Гайдулиным Софеем.

По речке Гусинке на Кухтуй спустились они на «Рассвет», на охотский прииск, но начальник уезда запретил Бориске работы на прииске и пригрозил высылкой на материк.

Спасаясь от власти, Бориска с компаньонами уехал в Ямск, а в Ямске не было в то время ни управы, ни урядника. Всякий парод скрывался в Ямске. В Ямске же случайно познакомился Бориска с представителем фирмы «Шустов и К^о». Искал представитель выхода с Охотска на реку Колыму и золотых месторождений. С ним вместе и с компаньонами ушел Бориска в тайгу и пробыл в ней с 1913 по 1915 год.

Много рек избороздило тайгу. С Яблонового хребта текут стеклянные струи, рассыпаясь все шире и шире в ручьи и речки, к сильной мощи реки Колымы. Буянду, Сопкачан, Купку исходили вдоль и поперек компаньоны, таща за собой нарточки с продуктами, осматривая ключи, ковыряя землю.

Старательское дело — нескончаемая история бедствий, труда, лишения, нищенства, смерти. Через перевалы в болота, в тайгу ведет на ключи старательский путь. Морозы, голод, болезни, отчаяние, убийства — будничные дни недели.

¹ Об истории возникновения приисков было сообщено мне в августе 1929 года управляющим приисков, и эти данные мною литературно обработаны.

Поиск не дал золота. Пласт не был найден, но золотые знаки встречались повсюду.

С 1915 года компания Бориски развалилась. Представитель покинул тайгу, а сам Бориска, спасаясь от преследования в германской войны, опять уходит в горы. На этот раз он идет к Сеймчану и на Сонкачан, к амбару представителя «Шустов и К^о». Там у амбара стоит одна якутская юрта. Бориска облюбовал себе это место и поселился.

В жаркие сеймчанские лета уходил Бориска в Сеймчан к жителям косить траву. Спорый в работе, он зарабатывал себе на зиму пищу и к зиме вновь возвращался к поискам золота. Но боязнь людей, боязнь поимки, каторги угнала Бориску дальше, вглубь. Он поселился около тракта — тропы с Олы на Сеймчан, чтобы покупать продукты у каравана и не помереть с голоду.

Летом на устье Среднйккана видели его сеймчанские якуты. Он, как и они, ловил рыбу. В свободное время неустанно исследовал реку, ключи, косы. Последние следы его, в десяти километрах выше устья Среднйккана, относятся к 1916 году. (Здесь позднейшими разведками «Союззолото» открыло кочковое промысловое золото.) В том же 1916 году на километр выше стал Бориска бить первый шурф.

Но упорный труд не помог Бориске: в первых трех шурфах, на глубине тридцати четвертей, Бориска не мог дойти до почвы. Здесь обосновался он на яму, построил два лабаза: один — для продуктов, другой — для жилья. На высоких ногах поставлены лабазы — видно, Бориска опасался медведя. Ноги у одного из них сильно попорчены медвежьими зубами. На земле разбил палатку.

Обосновавшись на месте, снова принялся Бориска искать золото. Видно, знал он, что золото должно быть здесь. Немного выше по реке и в сторону леса начал бить Бориска новую яму. («Союззолото» и здесь открыло промысловые залежки.) Но Бориска не мог отыскать золота. Он ставил барабан для вытаскивания породы — волок, долбил камень, а золота не было. В голоде и нужде пришел его в яму проходивший на Сеймчан якутский олений караван. Бориска, ободранный, сидел в палатке с печкой из керосиновой банки. Вся посуда его была — консервные банки. Якуты сказали ему:

«В этой яме и умрешь, Бориска: сам себе яму копаешь. Шел бы лучше к своим».

Но Бориска не смирялся. Золото, золото, золото! Оно должно было быть в земле. Все признаки говорили об этом. И Бориска снова принялся за работу.

Два месяца прошло, и вновь появился у Борискиного зимовья караван. Старик Колопах, якут, вел караван с охотских побережий. Но Бориска не вышел навстречу людям. Караван остановился, и люди пошли к палатке. Бориски не было в палатке. Нашли его у ямы, логамы — пад выбитым шурфом, одной — разутой, другой — в обуви. Там и похоронили его в яме.

Вышло так, как сказали якуты: сам для себя вырыл Бориска яму.

Так кончилась жизнь и поиски старателя Бориски. Жизнь, мало чем отличная от дороги других золотоискателей. Золото, богатство редко вставало в вершину угла приискательской жизни. Чаще был крест. Могила Бориски близко у реки; густой кочкарник, сочный от воды, обходит бугор. В честь Бориски назван прииск — Борискинский, Борискиным, как чаще зовут его старатели.

Отчего же умер Бориска? Никто не знает. Якуты говорят:

— Всю жизнь искал Бориска золото и не мог найти — и вдруг, после долгих лет, нашел. Увидел и от жадности, от золота, оттого, что нашел наконец, — умер. Сердце не выдержало¹.

У старшего смотрителя, когда он говорит о золоте, дрожат руки. Всегда заметно дрожат. Это тоже бывший старатель, все спелые годы вложивший в поиски золота. Впрочем, золото здесь — общая страсть.

Весть о золоте и о смерти Бориски пошла ходить по рукам: товарищи составили записки; и эти записки взбаламутили неспокойное море охотских сердец. Новая партия вышла на Средникан, и случайно один из компаньонов пошел по ключу. Это был Поликарпов, старый приискатель, сухой, с медью ухарских усов. У ключа остановился старатель и попробовал помыть золото.

На лотке замутилась вода. Поликарпов смыл осторожно землю, кусочки породы: зерна крупного золота зашевели-

¹ Едва ли можно верить таким рассказам о причинах смерти Бориски; вероятнее всего, он умер от истощения сил, болезни и голода.

лесь на деревянном дне. Поликарпов прикинул — целых двенадцать золотников.

Успех Поликарпова встряхнул компаньонов. Всюду проба показала золото. Дни и ночи мыли товарищи золото, пока голод не погнал их обратно к морю заявить властям об открытии промысловых мест.

Весть о новом золоте охватила побережье. Новая артель хищников с бойлером для оттаивания земли двинулась на Средникан. До прихода «Союззолота» и запрета въезда в район Средникана хищники перерыли ключ вдоль и наискось. По словам старателей, вывезено было от пяти до пятнадцати пудов золота. Лоток давал до двенадцати золотников.

В сентябре 1928 года прибыл в Средникан первый караван «Союззолота» с администрацией будущих Средниканских приисков. Старательские вольные разведки в районе пятисот квадратных километров были воспрещены. В этом же году двинулась на Средникан золотая разведка «Геолкома» и «Союззолота». В 1929 году заработали старательские артели.

Женщин на приисках мало.

— Бабы никогда не выдерживают на прииску, — говорит старатель. — Как какая баба, бывало, ни придет с мужиком, сейчас на кого-нибудь братва укажет: «Женим!» Сразу вино на стол, закусок, карточки. Мужик-то придет бедный еще, денег нет, золота не намыл, а у других у всех золото. Ну, бабе приятно уважение, деньги. Парень к ней подсядет, то да се, на гармошке сыграет, золота принесет, ну и, смотришь, баба уже с десятым мужиком живет. Поживет, поживет, что не так — бросит, к другому идет, в другую артель — мамкой, вместо кока. У нашей-то, что на стане вдела, уехала вчера, — мужей двадцать было, право!

Где нет мамки, всегда есть у артели кок. Артель невелика: восемь — десять человек. Национальность — русские, корейцы, китайцы. Возраст преимущественно за тридцать лет. Родина — весь мир. Семья?..

Здесь так и говорят:

— Э-э-э, да ну, женатый он! Пятнадцать лет жену не вдал, какой женатый!

Работа в артели у всех равная. Только у кока меньше старательской работы. Кок больше заведует хозяйством, обед готовит, продукты заготавливает. Местных продуктов, кроме ягоды и грибов, не добывает старатель. Есть,

правда, рыба в реке, но не организован лов. Все достается из стана, из распребазы: мука, сахар, крупа, консервы.

С утра выходят старатели на работу. Сначала выбирается яма. Старатель стоит на земле в одной рубашке: ему жарко. Под ногами его мерзлая земля. Брызги снега и земли летят из-под кайла. Яма медленно, дюйм за дюйм, уходит вглубь. Ее обстраивают, обкладывают лесом — «крепят». Для скорости выбивки ям на земле разводят костры или кладут бут в ямы — раскаленные камни сбрасывают в мерзлую породу и сверху прикрывают ветвями лиственницы. Пар подымается от земли и отогревает — прогревает — землю. Тогда легче колоть ее кайлом и ломом и выбрасывать наверх лопатой.

Проходят четыре-пять дней — яма готова. Наверху над ней волок. На нем на ладейках подымают из ямы породу, землю. Когда дойдут старатели до золотосного пласта — зовут смотрителя. Смотритель приходит «к исполнению своих служебных обязанностей». Он стоит у бутары и смотрит, как подают породу и промывают на бутаре, перетряхая породу скребком.

Бутар всего шесть на приписке. Бутара — большой станок с ситами — грохотами — для промывки золота. Порода смывается водой, воду льет старатель на породу. Другой перетряхает породу большим скребком. Золото проваливается в дыры грохотов. Оно тяжело — вода не смывает его. Внутренние полочки, куда через грохота сыплется золото, заперты на замок. Ключ у смотрителя. Когда кончена промывка, открывают бутару и вынимают золото. Золото взвешивается здесь же, при старателях, и отдается артельщчку — старшине артели.

— Ну, присмотр, — смеется смотритель, когда мы идем с ним к стану. — Какой присмотр — два человека на восемь артелей! В яме работают со свечой. Там все крупные самородки видны. Видали ведь, самородки в поготь есть, в полногты. Бывает, замечают и не подают самородок с породой — отбирают, конечно!..

Старатели говорят всегда другое. Старатель неизменно говорит о плохом заработке, о недостатке золота, о дороговизне, о нехватке спирта на приписках, о «глухарях».

«Глухари» — бич старателей. Роят яму день, два, четыре — нет золотой породы. Роят еще два дня — пройденны все нужные глубины, золота нет и нет. Может быть, оно глубже, а может быть, его нет здесь вовсе. Старатель

теряет время и заработок. Старателю всегда мало выработанного, а тут — на тебе еще «глухарь»!

— Мы вот с вами на золоте стоим, по золоту ходим, кругом здесь золото, а где оно — неизвестно. Надо разведку. А то бьем, бьем — и «глухарь» за «глухарем». А «глухарь» — значит, пропала работа. Бей снова!

Молодой парень плюет в сторону. В руке у него гармошка. Он из прежних хищников. Он выпил сегодня по случаю сдачи золота и получения денег.

— Что ж поделывать, — говорю я, — за то и находите много зараз.

— Зараз? — смотрит он на меня. — Это вы говорите? Да если б мне дали, где мыть, я бы сразу вам пять — десять золотников намыл. Да хотите, возьмем лоток, я вам сейчас намою. Вот здесь золото и вот здесь. И здесь есть и здесь...

Он тянет меня к брошенной хищнической яме. Все здесь перемыто на десятки метров. Он кричит мне в самое ухо:

— Вот пусть здесь позволят, пусть здесь!.. Может, думаете, неправду говорю? Смотрите...

Он дает мне гармошку и правой рукой тащит из-за пазухи маленький мешок, в каком носят прискаатели — «прискакатели» — золото. Он опрокидывает его себе на ладонь и подносит к моим глазам крупные матовые самородки.

— Что, неправду сказал?

На стане свои обычаи и свой закон. На стане никогда не тронут человека. Не ограбят, не оскорбят, не обидят. К любой землянке, к любой двери лесной рубленки подходи и входи в горницу. Первое место пришедшему гостю. Первый кусок. А если нет хозяев, открой шкафчик или стол и бери все, что надо, — хлеб, пирог, мясо, соль. Ешь и иди себе с миром. Хочешь — напиши, кто был здесь, чтоб эпали, кого послала судьба. Не знаешь грамоты, некогда тебе дожидаться хозяев — ступай так. Когда-нибудь доведет случай еще повстречаться: мир круглый.

Гостеприимство и мир кончаются за станом, в тайге. Да и в тайге свой закон. Доброго человека не за что тронуть в тайге. Гость в тайге тоже друг. Только с золотом ходи в тайге тихо, а то, не ровен час, паткнешься на любителя, на охотника по «прискакательской» дичи. Только в охотских краях тихо пока. Народу мало

дурного. Тунгусы кочуют всех больше. Тунгусы — тихий народ.

Всего восемьдесят человек работает на прииске. Можно и теперь поставить на прииск сотни старателей. Но нужна разведка. Золото в Средниканских местах кочковое, пласта нет. Надо застолбить площадь и разбить — какую под старательские работы, какую под хозяйские. Зиму работали здесь геологомская и союззолотовская экспедиция. Будущее прииску предвидится широкое. Новые места, рудное золото, насыщенный золотом пласт — выше Средникана на одном из притоков Колымы — родят мысль о колоссальнейшем богатстве приисков.

Молодой инженер с курчавыми волосами едет в новые разведки. У него небольшая лошадка, темная, упитанная, привыкшая к ходу в горах и тайге. К седлу приторочены ружье и дождевик. За ним идет проводник с двумя конями.

На прииске я пробыл десять дней. Общественная жизнь мало развита у старателей. Нет ни клуба, ни кружков, ни театра, ни радио. Профсоюзные собрания редко оживляют однообразные дни. На собраниях всегда споры, недовольство старателей и неизменное слово — «глухаря», «глухаря»!

Гармонистов мало. Нет оркестра. Библиотека плохо расходует мертвый запас книг. Надо понять приискателя, чтобы отнестись к нему иначе, чем к рабочему. Приискатель работает за свой риск. Накопил золото — оправдал свои расходы. Неудача — прогорел, выгода ушла. Нужен новый и новый труд или счастье.

— Кому пофартило, тому и выйдет, — говорят приискатели.

Лайка моя гоняет по деревьям белок. Средникан изобилует ими. Осенью белки черные, с пушистым хвостом. Собак здесь мало, главный транспорт — олени и лошади. Трава густая. Шиповник давно отцвел. К вечеру приходят в свои лесные набушки приставшие за день приискатели. Через реку лежат холмами горы. Белая, как полоса мела, идет в горы хорошо видная кварцевая жила. Открыта она недавно. В мозг ударяет простое, ненужное и дикое полыми:

— Ты идешь по золоту, по золоту, по золоту, по золоту!..

Ни один приискатель не богатеет — это правило для тысяч. Успехи, открытия, стаканы, пуды золота — все уходит с рук еще быстрее, чем добыто. У старателя не уходит из рук только: кайло, лом, лопатка, маленькие сани, на которых везет он с крохами своего провианта громадную, трудовую, неизменную нужду. Но приискатель идет по золоту, по золоту!.. Может быть, завтра оно будет в его руках. Кажется, я начинаю понимать эту золотую болезнь.

По золоту, по золоту, дрожащие руки смотрящего, бутары, двадцать мужей, по золоту, по золоту...

Но мой путь идет мимо. Прощай, Средникан, стан, Борскино.

«ЯБЛОЧНЫЙ» ХРЕБЕТ

На столе у меня стертый камень с пепельками и черными вкрапинами. Он говорит мне о «Яблочном» хребте.

В географии нас учили: Тянь-Шань, Саяны, Яблоновый хребет, Становой хребет. До сих пор помню запах школьных стен, меловых стен коридора, класса, классной доски и клея карт. До сих пор слышу голоса учеников:

— Тянь-Шань, Саяны, Яблоновый хребет, Становой хребет...

От камня моего тоже пахнет сыростью и мелом, как в школе. Школа и Яблоновый хребет давно позади: школа и «Яблочный» хребет всегда перед глазами, как все, что прошло.

...21 августа. Устье маленькой речки, плоское, как тарелка. Остановился часа на два дать отдых лошадям. Сегодня тепло, и небо в облаках. Когда лежишь на земле и смотришь в небо, срастаешься с землей и теряешь ощущение, где кончаешься ты и где начинается она. У моей лошади один недостаток: кусается, когда седлаешь.

...Не успел дописать о лошади: лошадь ходка, на плече у нее — «33 батарей», клеймо: несомненно, она из военного брака. Не успел дописать, потому что каким-то путем узнали про наш приход жители и пришли к каравану. Отец и сынишка. Они якуты. В грязной корзи-

не-пещере они принесли нам рыбу. Рыба здесь удивительного вида и довольно-таки невкусная.

...Якут живет в двух километрах, мы только что навестили его избенку, черную от темноты и грязи. Вел нас мальчишка большими шагами. Когда его спросишь: «Эхэ бар?»¹, он пугливо глядит по сторонам и молча шагает вперед. Около избы — ураса. Ураса, как и все урасы, крыта корой, но самое интересное в ней — сушилка. Это не летник, это сушилка для рыбы. На подвес из редкого тальникового плетня кладут рыбу и снизу разводят огонь. Рыба прокапчивается, пачками насаженная на прутки. Таких палочек с рыбкой в урасе много.

...23 августа. Проводнику шестьдесят лет; никак-рослый заботливый рябой старик с вечно блестящим от пота лицом. Одним из первых прошел он перевал на Колыму в конце прошлого века. Нет здесь ни заметок, ни троп, ни дорог. Ведет проводник своими путями, бродами, косами, чащей. Все больше углубляется караван на юг, и все выше поднимается земля. Подъем незаметен, постепенен, долинами гор берет он все новые и новые высоты, а кажется — идешь по ровной долине. Перевалов крутых всего два-три. Самый трудный — у Среднякана. С него видны приск и река. На верхушке — площадка с голубикой и старым крестом на перевале. Сегодня перешли последний раз Буянду. Река быстра. Однажды проводник сказал мне:

— Ну, у тебя конь высокий — пробуй брод.

Конь ощупью пошел в воду. На самом сильном течении конь начал терять дно под ногами. Я оглянулся — сзади оставалась почти вся река; впереди — несколько шагов. Я понукивал коня и через минуту был на гальке берега. Каравану пришлось огибать реку.

...28 августа. Перед глазами полотно палатки. Лежу на брезенте; сквозь парусину проступают листья березы и гибкие ее ветки. Солнце бьет на деревья, и парусина гуще вбирает в себя рисунок. Парусиновый лес живет на стене.

¹ Медведь есть? (якутское).

...Здесь подъем к перевалу значителен. Крутая гора осыпается камнем и песком в истоки речки. Густой лес — древоидная ива с шатрами у самого неба, и внизу — густые рододендроны. Завтра перевалим «Яблочный» хребет.

...Недалеко в сторону стоит юрта, в лесу, у тропы. В ней живут хозяин, его жена и сестра жены. Все делают сестры: добывают рыбу, возят дрова, кормят, ухаживают за здоровенным мужиком. Якут только потягивается, прикдывается маленьким, слабеньким — и ест. Сестра жены исключительной красоты, и по красоте ее сходят с ума парни. Так уж известно всем, что за Сайба-Хо-проезжке парни. Тропинка тракта проскальзывает мимо дома в кусты кедровника и ольхи, но парни останавливают коней и заходят в юрту. Здесь ночуют все, потому что в Сайба-Ары — хорошая девка, и девка даст ловкому парню свое тепло.

А утром парень отдарит чем-нибудь хозяина и двинет коней или оленей, если он оленный, дальше, на Олу или в Средникан. Ночи долги здесь, дни тягучи зпмой, летом — живой кустарник шевелится вокруг юрты, кричит тетерев...

...Брусника сизая, как спелая кровь.

...Брусника спелая, как кровь.

...Спелая брусника, как сизая кровь.

...Воздуха здесь — не передышишь! Кубы воздуха.

На каждой талинке здесь плакат:

«Бесплатно — кубы кислорода!»

...29 августа. Перевал на «Яблочном» хребте. Почему его называют жители Яблочным? Как в насмешку — ни одной яблони. На перевал все меньше и меньше подымается деревьев. Высохшие единичные лиственницы с обломанными сучьями и ползучий кедровник с шишками в голубиное яйцо. Гор здесь — одни верхушки. Два озера синей-синей воды, между ними — перешеек. Туманы садятся на камни гор. Свежий воздух. На перевале — деревянный крест, и на нем старое, с черепом и орнаментом, распятие и буквы, вырезанные на дереве:

1893 г. Петр Ник. Калинин

У креста навалены жерди срубом. Под ногами — мох. Отсюда в две стороны стекают два пути: на Колыму

п к Охотскому морю. Укжие ручейки бегут из ключевых озер в обе стороны.

Отселе я вижу потоков рожденье...

Набухшие морские облака наддымаются над долиной.

...31 августа. Последние переходы трехнедельного конного пути. Сразу за перевалом потянуло теплом. Снег остался на Яблоновом хребте, за его распадками, в долинах с ледяными наледями, что не тают и летом. Голубые озера, резавшие нам глаза, сменились голубыми полями неба, полноводной рекой Олой, свежестью зелени и запахом осенней, подсохшей травы.

...На Оле поражает изобилие рыб. С моря вверх на сотни километров плывет рыба метать икру. Кровяные лиловые подтеки выступили на крупных рыбьих боках. Течение бросает ее назад, но рыба упорно идет к тихим заводям верховьев. Там начинается любовная игра. Самцы подплывают к самкам, ныряют под них, толкают рыльцем в бока, лапастятся и переплывают рядом с подругами реку с берега на берег. Самки медлительны, тяжелы, как беременные женщины. Если вынуть самку из реки, из нее брызнет струя крупной икры. Рыба изовьется в руках, выбрасывая красные густые потоки. Молоками польет самец икру — любовная игра скоро кончится; но рыба не уйдет назад в море так же весело, как шла она сюда. Для дойки икры пришла сюда рыба, и, выдоив, натешившись любовной страстью, заснет она здесь же, в заводях берега. Множество рыбьих трупов валяется по реке. Они гниют и зловонно пахнут. Вот вам и пресловутая холодность рыба: любитесь до смерти. А еще говорят: «Холодна, как рыба».

...Жители собирают рыбу для собак. Впрочем, всю не собрать — ее слишком много. Тропа покатила по зеленым лугам и перелескам. Морошки мало, по голубики — поля. Мой спутник — наш моторист. Он останавливает коня. Я следую ему. Мы наваливаемся на кусты и часами, отстав от каравана, поедаем голубую душистую ягоду. Живот распухает, чернеет рот, а голубика наливает кругом новые шарики ягод. Ее — кусты, холмики, целые леса, море...

Кончена дорога. Я в Ленинграде. Спутник мой Сережа Алексеев, тот, с кем поехали мы кучерявую спзую голубику, с кем нередко делились мыслями о наших краях в

тишине «Яблочных» перевалов, давно лежит в байкальской земле.

Помню, на крутом участке, на бешеном течении, где с трудом поднимался катер, на самой быстри наших колымских путей, порвался штуртрос. Вода ревела кругом и бешено неслась вниз, к подмытым, с нависшими корневищами деревьев берегам.

Дерева упали там, над рекой, вышли в реку кривыми стволами. Я проснулся от шума и увидел Сережу на корме нашего катера: он ногами управлял рулевой рейкой, в то время как чинили штуртрос. Растеряйся, промедли он — катер ушел бы под землистые навесы, под навалившийся на реку лес.

Теперь, вспоминая после пестрых месяцев бродяжничества того, кому обязаны мы, все остальные, нашим благополучием пути, а может быть, и больше, чем благополучием, — хочу сказать я сквозь узкие эти строки:

— Сережа Алексеев! Как хорошо цветет голубика на «Яблочных» склонах по осень.

ГОЛУБЫЕ ЗЕМЛИ

Повесть

1

Резко била в глаза слепящая острота снега и льда за самым озером. Наледь, не тающая летом, ползла под ногами голубым полем; озеро было тоже голубое, той особой сине-голубой расцветки горных озер, к которой не сразу привыкает человек.

Озеро лежало рядом с другим, таким же по цвету, с такой же рябью. Узкая лента шла между ними; но то озеро, что было позади, вводило глаза назад, в глухие долины, в тайгу, кочевья, к новым перевалам, урасам, островам тополевых рощ и пряному запаху костров якутских юрт.

Перистые облака спиралями уходили в сторону низовья, где небо было свободно от тумана. По обе стороны тропы — узкой, щербистой косы, намытой дождями, разливами ручьев и ветром, — подымались к облакам вершины кражей.

По ту сторону, за вторым озером, бурливо сбегал ручей, просачиваясь местами сквозь наледь, местами пробираясь под ней; там шли клубистые, припухшие морские облака, спадала дорога к приморью, широко, как крылья чудесной птицы, раскрывавшемуся в цветистом своем изобилии.

Море доносило сюда глубокое дыхание, ветры оседали на острогах, пригибая к земле тщедушный кедровник. Рыжий мох и мясистые рододендроны к осени становились багровыми.

Меж сине-голубых озер стоял деревянный крест с давно резанными буквами. Здесь был перевал.

Три раза проходил этот перевал человек, если его еще можно было назвать человеком. Теперь он выглядел значительно повзрослевшим. Кожа обтягивала его скулы так плотно, что мяса, казалось, не было под ней вовсе. Глаза ушли непомерно глубоко, стали в цвет вылинявшей небесной пелены. Под вытянувшимся носом вились русые нестриженные усы, падая в бороду, такую же русую и перовную; и лицо оттого стало тоньше и бескровней.

Когда наледь, слепившая глаза излишним обиллем света и резавшая ноги, осталась в стороне, человек остановился. Он посмотрел на обувь и покачал головой. Ичиги висели ключьями кожи, в прорезах выступало голое тело, стертое в кровь.

— Чертова наледь! — сказал человек, чтобы что-нибудь сказать, и оглянулся по сторонам.

Первородная земля лежала у его ног. Туманы расходились, и солнце, избыточное и жестокое, как эта земля, выплывало наискось от озер, делая их голубизну почти невыносимой. Человек отвел глаза, поправил заплечный мешок и стал спускаться в долину.

На крутом повороте, откуда, как голубая впадина, видна была вся долина вплоть до самых лесов, уже густых и сочных, человек остановился вновь.

Он присел на поваленный листовничный ствол и, медленно стянув ичиги, долго рассматривал ноги.

— Саднит, — сказал он наконец, опуская ноги в ручей, поворачивая ступни под острыми струями, прыгавшими по камням. — С такими ногами не дойти!

— С такими ичигами не дойти! — поправил он себя тут же и стал разрывать на себе исподнюю рубаху.

Он обмотал обмытые ноги тряпьем, надел ичиги и вдруг вспомнил, что голоден и хочет курить. Есть, однако, было нечего. Он развязал мешок, но не нашел в нем ничего, кроме крошек табака и листика бумаги.

Нож, мешок и берданка составляли теперь весь его багаж. Даже лоток — золотой лоток! — все было брошено в путь, как непосильный груз. На дне мешка, рядом с бумагой, лежал паспорт. Человек свернул цигарку, вынул из-за пазухи кремень и огниво, выбил искру, закурил и стал рассматривать паспорт.

По засаленным строкам текли его новые годы и завяния: Михайло Солдатов был старше на семь лет. Два года почти пробродили они вместе по медвежьим притокам Колымы, по бурливой Буянде, Средникану и Бахапче, пытая колымское золото, кочковое и неверное, как удача.

Летом они выходили к якутам, косили за хлеб и рыбу заливные, сочнеешие дуга и осенью вновь возвращались на глухие притоки.

Год был неудачный. Эзма отбила у товарищей последний вкус к приискательской жизни. Под весну Михайло Солдатов затосковал.

Морозными утренниками он лежал в палатке, как мертвый, не шевелясь, не отзываясь на слова товарища, боясь открыть глаза и снова подумать о дне впроголодь, о новых огорчениях и неудачах. Потом он резко подымался с постели, брал инструмент и шел по ключам, упорно, как безумный, в одни и те же места, добываясь золота, которое, по его мнению, должно было обязательно быть здесь.

Но золота не было.

Растаяли снега, пахнуло приволем тайги, встревоженный ветер закачал обглоданные деревья.

Однажды Михайло проснулся первым, солнце было по низу палатки. Он разбудил товарища и сказал:

— Сегодня никуда не пойдем, отдохнем, наберемся силы, а завтра уйдем на Охотск.

Они закрыли глаза и заснули, но под вечер Михайло вновь проснулся первым, взял лоток, кирку и ушел на ключ.

Это было совсем необычно со стороны Михайлы, потому что был он уравновешен и последователен во всем. Это вызывало неожиданное любопытство, потому что трудно было угадать, что могло заставить Михайлу переменить раз принятое решение.

К ночи товарищ взял фонарь, кирку и пошел разыскивать Михайлу.

Он нашел его все на том же ключе; Михайло сидел на корточках у самого ручейка, обхватив голову руками.

— Разбился: полез по краю — плита обломилась, — глухо проговорил Михайло и протянул руку с мешочком.

— Отдай Аике, — продолжал он, видя замешательство товарища. — Верно, не увижу.

Он помолчал и вдруг спросил:

— А зачем полез?

И, не ответив, умер.

«И зачем он полез?» — подумал человек, вспоминая последние слова Михайлы, и спрятал паспорт умершего в мешок.

Он потрогал тяжелый, как кандалы, узкий, вшитый в пояс штанов мешочек и усмехнулся.

— Конеч! — сказал он. — Конеч этим мучениям...

И стал подниматься от ручья.

Надо было до вечера пройти долину и на втором перевале заночевать. Однако, поднявшись, он сел снова. Ноги отказывались двигаться. Нужен был отдых, хотя бы самый короткий. Человек решительно скинул с себя пиджачок, прислонил к стволу тонкой лиственницы берданку и растянулся на мшистом ковре у ручья.

Он посмотрел еще раз вниз, в долину, извивом спадавшую меж скалистых груд и почти черного леса; где-то, еще ниже, лес проступал свежее, зелеными пятнами — там вкрапливались лиственные породы; в распадах гор дремал под солнцем меловой снег.

Ветер проходил здесь выше, гоня раздутые, причудливые облака, то и дело скрывая солнышко. И оттого было здесь тихо и прохладно.

До моря оставалось отсюда двести — двести пятьдесят немереных верст; долины рек неизменно приводили человека к берегу моря; дикие, богатые — *золотые* — селения рождались на нем, как грибы после дождя.

Но море прозвано было недаром Охотским морем — сюда стоило ходить и за морским зверем и за нагульной, жиреющей годами рыбой. Охотские берега и берега таежных рек — Гижиги, Индигирки, Колымы, Олы — славилась также птицей и ценными залежами недр.

За этим соблазном шли сюда сотни людей. Зверинный закон вставал здесь перед каждым: *взять себе, добыть себе, иметь свое для себя*, а там — хоть пропади пропадом охотские эти берега с их птицей, и рыбой, и богатейшими залежами недр!

Такой была жизнь — шелудивая человеческая жадность и ненасытная нужда человека; такими были и голубые, дикие эти земли, о которых столько мечтали искатели счастья и которые лежали теперь перед глазами — черные, трудные, куда ни оброни взгляд.

Человек швырнул в ручей докуренную цигарку. Жалкий окурок нырнул под камень, и вода вновь текла над тем местом, куда он упал, крутая, холодная, прозрачная под солнцем.

— Михайло Солдатов, пора двигаться! — усмехаясь, сказал он себе. — Был Сергеем, стал Михайлой, постарел за один день!

Но двигаться не хотелось.

— Деэрттир Михайло Солдатов! — повторил он громче и рассмеялся.

Михайло Солдатов, паспорт которого лежал теперь в кармане Сергея, был дезерттир, скрывался от царской службы и всей ненавистью, какую имел, ненавидел закон и эту царскую службу.

Документы у него были подложные, но в Охотске никто не знал толком об этом человеке, потому что в Охотске Михайло бывал редко, а Анка должна была перебраться туда уже после его ухода на промысел.

На прииске «Светоч», где Анка ходила в артели «мамой», столкнулся Михайло Солдатов с сыльным, по прозвищу Беглый. Однажды Михайло рассказал Сергею о том, что часто спорил с Беглым, потому что Беглый был из господ! На том они и разошлись, став из приятелей врагами.

Видно, в этих спорах и набрался Михайло «своих мыслей». Но Солдатов редко вступал в беседы, а раз вступив, говорил резко и сбивчиво, не давая противнику возражать. Казалось, Михайло срешил в такие минуты высказать все перед самим собой, все, что накопилось в его смутной душе.

— Резать офицеры! — кричал тогда Солдатов. — Полковников, торгашей, судьев! Жилы выкручивать, чтоб передохли и другим неповадно было!

— В Гижиге, — непременно заключал Солдатов, — в Гижиге еще старик один сказывал — война к смуте приведет. И я так думаю. Будет, увидишь, большая смута. Большой разлад с пачала войны взошел в силу. Нет тебе ни одной земли, что спокойно лежит, потому что в самой земле пот рабочий бродит, как квашня. Беспременно — и будет он еще больше бродить, будет разлад, помяни! Золото вершит жизнь: золото будет — сами барамп будем! Золото...

Он принимался говорить о золоте, и руки его начали дрожать.

В последние перед смертью месяцы стал Михайло Солдатов особенно угрюм.

В канун рождества с Олы прошел на оленях по тропам, по тракту, якут Агафонов, оставил в условленном месте — в амбаре на высоких деревянных ногах (чтобы медведь не потревожил) — чай, мешок муки, несколько консервных банок и огневые припасы.

В масленицу кончился у товарищей запасы, они вышли на тропу, чтобы забрать обещанный якутом товар; и почти у самого амбара вновь свела судьба Михайлу Солдатову с бывшим приятелем и крепким врагом Беглым.

Беглый был почти гол, несмотря на тяжелый мороз, голодом и разбит четырнадцатидневным переходом. Он шел на Олу и просил Михайлу уступить ему часть продуктов, но Солдатов отказался наотрез.

— Возьми золото, все возьми, — сказал тогда Беглый. — Умираю, видишь.

Он вытащил из сумки нарядный мешок, который держал в руках через силу, и повторил:

— Возьми золото, все бери: дай только муки и чаю. Хочешь, пойдем вместе — все места покажу, все пополам будет...

Михайло взял золото в руки, он держал его на окочепелых ладонях и все не мог вернуть Беглому. Потом вдруг отвел глаза, как от соблазна, и, судорожно подергиваясь, отдал мешок.

— Пропадаю же, помоги, брат!.. — вскрикнул Беглый. — Золотые места пашел — все покажу!..

Руки дрожали у Михайлы Солдатову все сильнее, и он не мог уже ни остановить их, ни скрыть этой дрожи и, может быть, потому нелепо задвигал руками перед лицом Беглого.

— Где места? — спросил он только.

— Пойдешь — покажу, — настораживаясь, протянул Беглый.

— Говори враз! — прикрикнул Солдатов.

— Так не скажу — пойдем, на троих делить будем! — сказал Беглый.

— Ну и ешь свое золото! — крикнул Солдатов и отвернулся.

Он не обернулся ни на крик Беглого, ни на хруст веток под его удаляющимися шагами. Когда шаги замерли и в воздухе повисла тишина, какой никогда еще не помнил Сергей, Солдатов вырвал у товарища берданку и, не

проронив слова, двинулся вслед скрывшемуся за увалом Беглому.

Через час Солдатов вернулся, неся за плечами берданку, впрягся в лямку и вместе с товарищем потянул санки.

Они разожгли костер, когда темнота наполнила уже со всех сторон на палатку и на деревянный сруб, поставленный высоко на столбах, где они спали в зимние ночи, спасаясь от медведей и холодов. Густые искры били в черную пустоту неба прямым столбом, освещая товарищей. Они сидели молча, уйдя думами в недавние события, пока Солдатов не вынул из кармана тяжелый мешок и, то подымая его медленно на ладони, то опуская перед глазами товарища, прохрипел:

— Золото ведь! Вся спла мирская... Годы ходить надо...

— Не надо, — сказал Сергей, отстраняясь рукой от мешка.

— Ты ведь не выдашь, — вновь прохрипел Солдатов, каким-то особым чутьем угадывая, что товарищ не выдаст его.

— Ты не выдашь, — повторил он, — а тут, кроме нас двоих и леса, — никого.

Таков был Михайло Солдатов.

За Буюндой на первых днях пути попалась навстречу Сергею артель Бориски. Бориска был старым ходоком, смельчаком, известным по всему побережью. Бориска шел на Сеймчан с бывалыми приятелями, для которых голод и нужда были такими же привычными, как для Сергея.

Они дали Сергею сухарей, горсть табаку и рассказали про слухи, дошедшие в Олу, об отказе царя от власти и о том разладе, который шел теперь по России.

Тогда и решил Сергей оставить эти края, равно жестокие, как и привольные, и раз навсегда уйти отсюда, вернуться в Россию, в Москву.

Громады уступов расплзались и топили в сизой дымке, человек засыпал. Все становилось вдруг другим, голубым каким-то, как в годы, когда на кожаном табурете, низком, у самого пола, в воюющей сапожной мастерской мечтал паренек Серега о чудесных голубых местах и необычайной дороге жизни.

Горы распадались, и он сквозь сон думал о том — досталась бы ему Настенька, дочь хозяина, или нет, если бы он не ушел из Марьиной Рощи. И релал, что не досталась бы. Все равно не досталась бы, непременно выдали бы ее, Настеньку, замуж за какого-нибудь хозяйчика мастерской.

Он видел Настеньку то за кассой этой нерадостной мастерской, в которой копоти было больше, чем воздуха, то в спальне, рядом с мужем, лицо которого пытался себе представить.

Потом снова подымались горы, по по ним было легко идти — «как во сне». За утесом плавилось море, набегая на берег розовыми валами; и дух шел от него такой, будто все цветы на свете расцветали сразу.

Под вечер Сергею показалось: что-то ударило его в бок. Он привскочил на месте и раскрыл глаза. Солнце быстро уходило за правый утес, с ложбин подымался туман. Сергей встал, собрался, сделал несколько осторожных шагов. Ноги болели. Он пошел размеренным шагом, бережно рассчитывая силы для долгого пути, как человек, привыкший к длительным переходам.

Тропа спадала отлогими петлями; многолетний, отшлифованный камень хрустел под ногами. Голод после сна становился острее, Сергей попробовал запеть.

Голос ложился хрипло над растопившимся внизу простором. Гудел кедровник, неся на ветках набухавшие орехами шишки. Это не были уже мелкие шишки перевального кедр, величиною с голубиное яйцо; стволы деревьев становились крепче, трава по склонам — сочной, мхи отступали.

Пологие течи все ниже припадали к земле, расплывались; потянуло сыростью, прелый воздух ударил откуда-то из ущелья, и медленные сумерки стали набираться поземным туманом.

Человек шел. Казалось, все остановилось для него теперь: время, мысли, события последних лет. Только движение связывало его с жизнью: он упорно подымал и равномерно опускал ноги, передвигая их с методичностью машины, потому что в этом единственном напряжении воли, гнавшей его ко второму перевалу, был теперь и единственный смысл.

Здесь не росла еще ягода, деревья были редки, дичь не залетала сюда. Только какие-то птицы с хвостами

сорок паредка вскрикивали на макушках хлилых деревьев, но тратить заряд человек не решался.

Камни катились под ногами густым потоком, Сергей умерил шаг и стал осторожно переставлять ноги. Склон круто сходил вниз, врывался в полосы густого тумана. Внезапно Сергея рвануло, как будто земля осела под ногами; с грохотом оборвались камни, зашипели, и он покотился под откос, хватаясь руками за землю и пытаясь удержать берданку.

Падение было коротким и быстрым, но берданка выскользнула из рук, пролетела куда-то к самой реке, бурливое течение которой было теперь легко различимо. Сергей спустился к вязким берегам, ища берданку и брод; брод лежал почти у самого спуска, чуть ниже, за косой, глубоко уходившей в речку, но ружья нигде не было.

Сергей поднял глаза — первые звезды сгустились над долиной; сзади ковшом выгибалась Большая Медведица — значит, он шел прямо на юг. За рекой густел лес и поднимался второй перевал.

Сергей взглянул на реку: она накупала пеной, ревя па камнях, сокрушительно падая от брода вниз, в долину.

«Не перейти, — подумал он и остановился. — Сил нет».

Пот проступал на лбу, к горлу подымалась тошнота; этот брод был, конечно, легчайшим бродом для всякого крепкого человека, да и сам он не раз проходил по нему. За рекой вилась легкая тропа, за рекой тянулись болотистые места, кусты голубики.

Он посмотрел па ту сторону, где темнела ягода, где начинался подъем на гору, и вскрикнул: оранжевый язык огня подымался у самого перевала.

— Люди, эй, люди!.. — закричал он дико и вошел в реку.

2

Когда Сергей дошел до костра, головни уже потухли. Луна была затерта облаками. Последние поленья, вспыхивая, выхватывали у ночи узкий круг, в котором можно было различить разбросанные сумы, котел, угол брезентовой палатки.

Сергея не окрикнули. Он остановился и, приглядываясь, отыскал старика, сидевшего на камне, с ногами, протянутыми к самым поленьям.

— Странники! — сказал Сергей, сиплая картуз. — Свои люди будем...

Он сел тут же, рядом со стариком, прямо на камни, как стоял. Соп клонил его к земле. Он посмотрел на старика — старик показался ему знакомым. Сергей наклонился к нему и, как бы приглашая поглядеть, провел рукой сверху вниз по своей одежде, лохмотьями висевшей на нем.

Старик подкинул сучьев, костер разгорелся сразу, почь отошла в глубину леса. Сергей с усилием раскрыл глаза и увидел еще двух людей, позивших на землю у палатки, различил на земле тугие сумы, перевязанные веревкой; чуть подалее лежало вьючное седло, опрокинутое кошмой вверх.

— Свои, так садись, — помолчал, проворчал старик, хотя Сергей давно уже сидел рядом. — Садись, пей, говори. Откуда, куда идешь, добрый человек? Далско ли путь держишь? Как болота за перевалом? Дорога на Элегчан расползлась или ничего, держится? Да и как твое имя?

— Михайло Солдатов, — сказал человек.

Старик посмотрел на пришельца и отрицательно покачал головой.

— Исхудал же ты, добрый человек, что мертвец стал, — произнес он, подвигая котел к огню. — Берн ложку, пробуй.

Он помолчал, давая человеку оправиться, прийти в себя, и когда Сергей, не жуя, проглотил несколько ложек каши, заговорил вновь:

— Из Олы мы вышли — кони были крепкие. Что случилось, не приложим ума: два коня по дороге пали. Вьючены легко, дорога легкая, кони испытаны, не впервой ходят. Не иначе как от отравной травы. Четверо дружок ушли вперед. Ермака решили назад утром отправить, одного коня еще взять и идти повыше Средникапа, а придется — и дальше перевалить... Как дела позволят...

Сергей не отвечал. Он ел, тупо уставясь глазами в котел, как едят опустошенные голодом, опасаясь, что еды не хватит, и почти не испытывая утоления. Когда котел значительно опустел, Сергей кинул и положил ложку.

— Куда же направлеши держишь — на Олу, может? — повторил вопрос старик. — На Олу, так с Ермаком вместе можешь.

Сергей помолчал, как бы раздумывая с ответом и приглядываясь к старику.

— На Олу, — сказал он наконец и нахмурился.

— Попутчиком будешь Ермаку, значит! — обрадовался старик. — Вдвоем всегда веселей в пути. Тут тебе и разговор, тут тебе и помога.

Можно было теперь предложить гостю и табачку. Старик набил трубку, трубка была якутская, резанная на кости, прилежно обкуренная. Сергей потянулся к табачку еще охотней, чем к котлу; подошли парни, увязывавшие сумы, — и вот сидели они уже все рядом, как старые друзья, покуривая и делясь новостями.

Болота на Средникан лежали действительно тяжелые; после снежной весны и дождей стояло мокрое лето, даже пеший человек застревал на Юрях-Терде и за Калишкиным перевалом. В Оле тоже все лето падали дожди, только последние дни стало сухо, рыба шла плохо, играли штормы.

Гость рассказал старику, что по Буюнде прошел Бориска; старик нахмурился, но ничего на это не ответил. Потом старик рассказал гостю о том, что еще весной царя свергли, что с Олы идет новая партия старателей, а также поинтересовался тем, не повстречались ли гостю товарищи, ушедшие вперед.

Впрочем, задав вопрос, старик тут же поправился: едва ли могли они повстречаться ему — человек налегке всегда пройдет короткой дорожкой, стороной, срежет углушек. А товарищи ушли с грузом. Старик поведал гостю еще и о том, что везут они с собой на зиму бойлер для оттаивания земли, что настоял на том Ермак, хотя старик и против таких новшеств: руками надежней, да и тяжести по болотам таскать — грязное дело!

— Какой Ермак? — спросил гость.

— Недавно пришел, — сказал старик, — ходовой! На Лене, на Витиме был, по всей тайге и камню исходил, на Амуре и в Нерчинске, говорят, тоже был. Не слыхал?

— Не слыхал...

— Ну, увидишь, — наставительно сказал старик, — подлинный человек.

Сергей не полюбпытствовал больше о Ермаке и стал расспрашивать про Олу. Окольными путями он узнал, что Анка в Оле: теперь можно было и в самом деле двинуться туда, пренебрегая Охотском. Умышленная ложь как раз пришлась к месту, идти будет легче вдвоем.

Поев и не дождавшись возвращения Ермака, ушедшего снимать шкуру с павшего коня, Сергей улегся тут же у костра, отказавшись от палатки. Небо вызвездило, вышла ущербная луна, крупным грохотом катились на западе падучие звезды, оставляя за собой короткий след.

Сергей вздохнул глубоко, расстегнул пояс, погладил живот — золото патерло коричневую полосу; потрогал кisetик на груди: там были крупные слитки, и, так и не вытащив руки из-за пазухи, уснул на спине с открытым ртом.

Его разбудил Ермак.

Утро подымалось с туманом. Ноги привычно ныли от холода и усталости, но живот был полон, в зубах дымилась пигарка, и потому было легко идти.

Еще не встало солнце; пустое от облаков небо предвещало жаркий день. Ермак торопился.

Он был непомерно высок, смугло-черен, курчавая смоляная борода падала на крепчайшую грудь. Широко расставляя ноги, он шел легко, будто не касаясь земли; порой он принимался наигрывать на губах песню, слов которой пельзя было различить, равно как и напева, по вскоре бросал ее.

К полудню они пересекли второй хребет и снова вышли к реке. Ермак остановился, разогнул шпрочайшие свои плечи, потянулся и, глядя смородяными глазами в самое нутро спутника, сказал:

— Пополднюем, что ли, Михайло Солдатов?

Они разложили костер, согрели чай и через час шли вновь вдоль реки, стараясь держаться тени деревьев. Река росла, размывая русло, но чистота воды оставалась все та же; на дне камни играли под солнцем, и видно было, как рыба медленно подымалась навстречу течению.

Под вечер, собираясь покинуть реку, Ермак указал на рыбу, плескавшуюся при закате.

— Идет метать, — сказал он, прищуривая глаз. — Выметает и подохнет, как мы. Всё спешим, а конец один. Михайло-то Солдатов помер.

Спутник ничего не ответил на эти слова: казалось, ему было безразлично, о чем говорил Ермак. Он отвернулся и, бросив камень в реку, стал наблюдать движение рыб. Он стоял у реки неподвижный, прямой и спокойный.

Ермак не спрашивал о смерти Михайлы Солдатова, как будто и спору об этом не могло быть. Что из того, что назвал себя спутник Михайлой Солдатовым! Ермак смотрел на него прищуренным взглядом, и усмешка не погасала в нем.

Он отошел от реки с таким видом, как будто разговор был само собой окончен. Нужно было подняться круто по склону, минуя болото, чтобы выбрать место сухое для костра и ночлега, вдоль мелкого ручья, спадавшего в реку.

Они прошли молча сотни шагов, перепрыгивая через кочки и цепляясь за кусты, но когда место было найдено — узкая площадка на откосе, откуда глазам представал безмерный простор долины, — Ермак повторил свои слова:

— Помер Михайло Солдатов, крутой человек, а Анка в Охотск не пошла, с другим связалась, и вот уж новый стремится к ней, тоже Михайло Солдатов.

Он рассмеялся неожиданно коротко, как будто выдохнул излишний воздух, застрявший в груди, и тяжелой пятерней почесал в затылке.

— Михайлу Солдатова узнал я в неладном одном деле, — добавил Ермак. — Многие уже позабыли, а иные и поныне помнят его на Витиме...

— А ты с Витима? — насторожился Сергей и пристально посмотрел на Ермака.

— С Витима, — отрубил Ермак и подождал, не скажет ли еще что-нибудь человек. Но человек молчал.

Над самыми кряжами, отступившими от реки, ложилась по краю туч лиловые полосы. Безоблачное с утра, небо вспыхивало теперь то здесь, то там багровыми пятнами, коня у краев, у дальнего леса бронзовую тяжесть.

Развалившись на траве, непомерно большой, иссиня-смуглый, Ермак смотрел в это небо, и глаза его под сощуренными веками были неукротимы и насмешливы.

— По Лено хаживал Михайло. С Лены, говорят, и начал, с Иркутска бежал. Разные про него говорили небылл: что он солдатом был, офицера оскорбил, а потом из-под стражи ушел. А то будто еще человека зарезал из ревности. Одно можно сказать: крутого характера мужик, товарищ опасный и на золото жадный. Так говорили; я же его не встречал допрежде.

А привелось мне с ним встретиться под самое рождество, в гнилом месте, в селе одном, название, может, слышал — Щучинка. В тех местах много нашего брата привскателей бродило с нуждой пополам. Но были и

удачники — находили фунтовое золото, намывали по фунту в день.

Разговор тогда такой по всему округу шел, что золота много на ключах и у рек, выше Витим-города верст на тридцать — сорок, а иные говорили — на двести и более; и народу туда перло — паша, и кореец, и кого только по приноспло! Занесло туда и Михайлу в такое дело.

Шли, браток, трое приятелей с Михайлой. Михайло тогда уже не в новичках ходил. Возвращались они с разведок, с голоду падали, в самый мороз шли...

Вот ты и не в мороз, а высох с голоду, а им к тому еще и мороз сил прибавил и вконец голод докопал. Голод, да холод, да ни одного патрона к ружью, и ободрапы, как ты! Это, браток, плохое дело...

Последний привал делали они — от Щучинки верст, может, тридцать пять осталось; стали к ночи костер раскладывать у камня, подле самой реки, в заветерье. Валежник там и сухостой. Костер навалили дб чебу, снег даже с камня сошел, обнажился камень, плитняк нагрелся, и в самый костер вдруг плита падает и костер заглушает. Стали костер направлять; был парень среди них такой любопытный, все бы ему знать да расковыривать; полез он на камень, стал разглядывать, где плитка отвалилась, — смотри-ка, черт, золото!..

Ермак присел на траве и протянул руки вперед. Глаза его вдруг окаменели, усмешка ушла, тяжелый взгляд перекашивался с предмета на предмет, ница успокоения, а может быть, золота, которое он видел теперь перед собой.

Огромные руки его следовали за взглядом. Пальцы, которым дано было гнуть подковы, вдрагивали, как от недужного жара. Ермак разжимал их, сводил, прикидывая в уме величину слитков, их тяжесть и форму.

Эта неожиданная перемена Ермака была знакома Сергею, не первый год бродившему уже в горах и тайге. Он отвернулся от рук Ермака, вспомнив такие же дрожащие пальцы Михайлы Солдатово, когда тот рассказывал о золоте.

Это была обычная в этих местах и в этом деле страсть людей золота, нищих, завистливых на удачу; людей, жизнь которых — вечные поиски, версты и нужда, отмеченные к концу пути бугром земли, не менее жесткой, чем жизнь.

«Крадем у земли, как воры... — подумал Сергей. — Силком берем и друг дружку рады убить. Оттого тоска, и жадность, и руки дрожат, как у воров!..»

Он попытался отогнать от себя видения, пахлынувшие с самого начала рассказа о крутой и несчастной судьбе Михайлы Солдатова и о селе Щучинке, потому что все это — и вечная тяга преодолевать просторы, чтоб найти удачу, а стало быть, и хорошую жизнь с полным достатком, и сама жизнь Михайлы Солдатова, и руки Ермака, и узкий мешок в поясе штанов, — все это было известно, старо и трижды проклято.

Но видения сами росли перед ним, и он уже не в силах был преодолеть их, вслушиваясь в слова Ермака.

— Всю жизнь другой ходит, а нет его, золота! Нет! Должно быть — а нет! А на золоте вся жизнь, вся твоя растреклятая правда. А тут золото само идет, самая голловка. Набрали они — и учесть трудно сколько. Разно потом говорили. Котламп кипятили воду и кипятки на камень лили, чтоб плита с мороза трескалась. Разбирали плиту, и золото пластом шло... Видят — не собрать всего, из сил выбились, пропадать приходится, не дойти, если еще па день остаться. Собрали сколько могли и ушли в Щучинку полуживые.

Пришел я в Щучинку уже на четвертый день — пьет вся Щучинка, все вверх дном идет. Целовальник Разгуда — ему прозвище такое было — один трезвый, а товарищи, что с Михайлой Солдатовым, в середине сидят за столом. А кругом их орут и пьют, полный пир — угощайся кто хочет!..

Понятно, меня знали. Только с Михайлой Солдатовым ни разу я не встречался еще, а он меня по росту, видно, признал... Но парня того, что первый золото открыл па камне, так я и не приметил тогда и очень потом сожалел... Заметный парень, видать, был...

Влжу, пропивают всё. А приволокли, как послушать, с избытком. Да и по размаху видно! Стаканамп отсыпают, а целовальник, как кот, увивается, трезвый. Так и подумал тогда, как на него взглянул: соображает что-то за них.

Четверо дней и ночей пили. Весь запас вылакали, а пьяному всегда еще надо: хоть глотка не приемлет, а живот тянет. «Давай, — говорит Михайло Солдатов, — еще давай вина!» А целовальник показывает — еще, дескать, отсыпь, а сыпать больше нечего: пусты! Тут стал народ расходиться, и я лошел проспать: наутро выход у нас был. А к утру разыгралось в Щучинке такое дело. Будит меня товарищ: «Вставай, говорит, дела худые сделались,

Разгуда жить долго приказал. Арбуз расколол ему [] па-
режь — тот, что первым золото открыл!» Ну, думаю, от
таких дел подалежке: нагрянет следствие, и пойдет волк по ло-
кита, задержка может прозойти, — давай сматываться []
Ушли мы, а уже на Алдане, через год, узнал я про т[]то,
как это обернулось.

— Слышал и я про то дело, — перебил спутник Ермак []та,
поскося поглядывая на него. — Слышал про то, как сказа []вел
Разгуда: «Нет больше вина, коли золота нет!» И подошел []вел
тогда к нему Михайло с тем парнем, и стал Михайло []то
корить Разгуду за то, что обобрал он их и мало вина []та
выдал. А Разгуда намекнул, что если б они ему место []то
свое для заявки продали, он бы им три тысячи еще дал, []та,
и пей вина сколько хочешь, на все хоть три тысячи!..

Ночью с пьяных глаз и подписал Михайло за всех []
условие, а утром, как хмель малость отошел, поняли они,
подо что подписались: продали себя за грош! Ну и ударил
тут парень сгоряча Разгуду бутылкой по черепу. Убить
ве убил — оглушил... Это уж потом ему кто-то, как он
поднялся, нож в спину пустил. А и убил бы — не жаль
паука... Чужим горбом и мошенством богатство себе за-
работал!

Ермак с удивлением взглянул на своего спутника.

— Не стерпел парень: совесть не позволила, — добавил
Сергей и усмехнулся. — Справедливости искал на свете!

— Откуда знаешь? — спросил Ермак. — Следствие, что
ли, вел?

— На следствии не был, — ответил спутник.

— И ничего ты не знаешь! — прикрикнул на него
Ермак. — И парня того я наших краях с тех пор на Вити-
ме никто не видел. Камень — ему фамилия. А увел его
от закона Михайло Солдатов и на себя работать заставил,
как раба. А как тот в один раз отказался, так и уложил
его потом во мху...

— А может, и жив тот парень, — холодно проговорил
спутник, но Ермак перебил его с нетерпением:

— Уложил во мху — сам Михайло в Гвжиге о том
рассказывал, не спорь! Жадный, говорит, парень был: из
жадности, что золото пропил, Разгудину душу загубил!
И справедливости тут никакой тебе!

— Ну, может, и так, — согласился спутник.

— Тогда не спорь, — сказал Ермак, взглянув на небо,
и, точно прикидывая что-то в уме, перевел взгляд на че-
ловека, сидевшего рядом.

— А тебе который год будет, браток? — спросил он вдруг.

— Двадцатый, — ответил тот, вставая. — Надо шалаш настлать, вон — навораживает.

Ермак встал молча. Молча они нарубили зелени, навалили веток. Шалаш подпился над утесом, подобный берлоге. Деревья тяжелыми кропами качались над ним в небе. Разрывая тучи над дальними кряжами, прошла молния.

— Гроза будет, — сказал Ермак, залезая в шалаш.

Спутник присел у входа, охватил руками колени. Он смотрел вперед неподвижно, упорно, как будто отыскивал на том дальнем склоне признаки знакомых очертаний — может быть, человека, может быть, зверя, поднятого непогодой.

Когда вторая молния врезалась в помрачневшую зелень кряжа, он на минуту закрыл глаза и провел рукой по лбу. Внизу, покоробленная ветром, несла река курчавую пену, ветер шел по долине.

— Хорошо, — сказал он, не оборачиваясь к Ермаку. — Скоро буду в России... В Москву, на Волгу съезжу...

— А из Олы-то выпустят? — усмехнулся Ермак.

— А почему нет? — спросил парень.

— А парню тому, что Разгуде арбуз расколол, столь же годков, поди, как и тебе будет, — неопределенно заметил Ермак.

Слова его покрыл густой удар, повторенный долиной; бронзовые тучи ложились на утес, неся прохладу; трава стелилась понизу, обнажая пересохшую землю.

— Ждет воды земля, — сказал парень, — утоленья ждет.

— А и напойт! — ответил Ермак. — Дождь будет — напойт... А тот, браток, темней тебя волосом был?

— Напойт, — сказал парень. — А волосы у него такие ж, как мои. Может, еще о чем спросишь — про глаза или руки? И глаза такие ж, и руки те ж. Да, может, и парень тот — я сам буду. Камень — я сам и есть, может? Сергей Камень, и очень это даже просто.

Он усмехнулся и докопчил про себя:

«Теперь, поди, можно о том сказать!.. Потому как и Разгудам теперь опоры нет больше...»

Крупные капли дробно ударили о землю, шалаш, кусты. Сергей протянул руки, чтобы набрать в пригорошки воды, и взглянул вниз: в долину с грохотом неслась вода, застилая деревья и почерневшие камни стальным потоком. Река закипела сразу и вышла из берегов.

В Оле Ермак пробыл трое суток и, закупив коня, отбыл обратно на перевал.

Прощаясь, он обнял Камня и, трижды поцеловав, сказал:

— С тобой бы мне, вижу, крепко было б, как на камне, подарком и фамилия тебе — Камень. Видать, ты ходовой и счастливый. Но не зову, вижу — не пойдешь. Правильно ль вижу?

Как всегда, сощурил глаз, ожидая от Камня раздумья, может быть — колебания при этом неожиданном повороте разговора, но Камень не замедлил покачать головой.

— Назад не пойду, — сказал он только.

Ермак не стал настаивать и понес тюки из избы во двор. Камень проводил его до околицы. Уже садясь на коня, Ермак вдруг рассмеялся:

— Может, когда и я выберусь да еще где-то встретимся, вот потеха будет. Ну, а ты иди, махай версты назад к своей Москве, посмотри на новую жизнь, а фамилию свою все ж перемени. Если и говорят в народе, будто каторжников освобождают поне от всех наказаний, по не верю что-то! Никто так не простит человеку его убийство. Здесь-то, конечно...

Он развел рукой, тронул коня. Жест вышел неубедительный и неуклюжий, но Камень понял, о чем хотел сказать ему на прощание случайный его товарищ Ермак.

«Здесь-то, конечно, — подумал Камень, — простор, по месту сыску».

— Ну, сам определишь себе место — где быть, — продолжал уже на ходу Ермак. — Прощай, не поминай лихом за то, что старое вспомнил...

Конь пошел рысцой; на повороте улицы Ермак задержал его и, обернувшись, крикнул Камню:

— Анку-то навести, не тяни, парень!..

Он завернул за угол — Камень не услышал последних слов. Он вернулся в избу, сел у окна и безразлично посмотрел вдаль. Плоской картой лежала Ола, голая, пустая какая-то, скучная.

Вот были окопаны все мытарства, казалось — можно наконец отдохнуть, пожить в свое удовольствие, по не привычная тоска лежала на сердце.

Солнце высоко плавилось в небе. Хозяйка, которую он щедро одарил деньгами и подарками, старая Акелина Ильинична, памятная ему по прошлому пребыванию в Оле, каждый день приносила на стол неизменные свои постряпушки, пироги, шаньги. Сергей пил длительные чаи здесь же, у окна, смотря на безразличную Олу, выбеленную полуденным солнцем. Затем ложился на мягкую постель.

Ничто, казалось ему, не изменилось на этом берегу за время его отсутствия. Все текло тем же проторенным руслом. Те же люди, те же разговоры, те же привычки. Два раза он справлялся о пароходе, но никто не мог ему точно сказать, когда придет пароход.

Два раза он ходил к морю, смотрел на рыбацья вешала, на груды рыбы, на спасты. Что-то оборвалось вдруг внутри Камня, как только пришел он в скучную эту, забытую мпром Олу.

Можно было выпить накрепко или пойти в лес — ольские девушки были до этого большие охотницы. Он попробовал первое, но вино не принесло ему облегчения, не встряхнуло его, а что касается второго, то непривычная неподвижность отнимала у него всякое желание лишний раз переступить через порог.

Даже к Анке он не собрался сходить, передать ей весть о смерти Михайлы Солдатова и золото, принесенное в поясе штанов.

Впрочем, не одна лень мешала Камню зайти к Анке: слова Ермака, брошенные по адресу сожительницы Солдатова, поселили в груди Камня глубокие раздумья. Нужно ли было заходить сейчас к Анке? Нужно ли было видеть вновь ее пшеничные волосы, васильковые глаза? И зачем это Ермак, уезжая, напомнил ему об Анке!

Акелина Ильинична пододвинула к Сергею дымящуюся миску и, присев у края, легонько побарабанила пальцами по столу.

— Уехал Ивашка? — спросила она.

— Уехал Ермак, — ответил Камень, наваливая себе жирные куски оленины.

Акелина Ильинична поправила скатерку и повертелась на месте. Камню стало ясно, что Акелина Ильинична затевала завести с ним большой разговор, а решиться не могла. Он посмотрел на нее пристально и неохотно пророчил:

— Ну, говори.

— Ох, Сереженька, — начала она, улыбаясь, склоняя

голову то вправо, то влево. — Ох, соколик родимый, как и приступить к тебе, как начать — не знаю.

— Денег, что ли, нужно? — коротко спросил Камень.

— Не денег! — резко оборвала его Акелина Ильинична. — Будто в деньгах вся жизнь.

Она помотала еще головой и заговорила снова, ласково растягивая слова:

— Разве деньгами всего купить можно, Сереженька? Деньги, Сереженька, грешное дело, весь грех через деньги идет. Не о деньгах я тебе говорить хочу — о душевном деле, соколик ты мой, о душевном. Полтора года тебя не видела, как ушли вы с Михайлой, ни весточки от вас, ни духу, как в прорубь канули. О ком уж не узнали за то время! И о Силние, что на «Светоч» ушел, и о Ермаке Кривом с Аяна весть пришла, и с Глжиги Алезка Пех о себе знать дал. Семенов Трофим, что весной приехал первым рейсом, о нем поведал. Удача парню вышла. Только о тебе, голубок, да о Михайле, царство ему небесное, не праспись ночью, ни слуху не было...

— А есть люди, — продолжала она, — беспокопись о тебе, голубок, сердцем болели, уж прости ты меня, старуху, коли правду скажу. А ты вот приехал, как чужой, изменился страсть и ровно мертвый какой ходишь, ничто ровно тебя не тревожит, ничто не радует, ни к кому не наведешься...

Она посмотрела на Камня и вздохнула.

— Подослал тебя, что ли? — усмехнулся Камень.

— А кто подошлет? — удивилась старуха. — Кто подошлет, родимый? У меня, чай, у самой голова на плечах, ум свой, хоть старый, но не займенный. Без подсылки, сынок, тебе говорю, как мать, про то я говорю, что вижу, — другой ты пришел, не как прошлый раз. Въелась тебе в сердце отравка — вижу, голубок! Хоть сходил бы куда, навестил бы... Ждут ведь тебя, Сереженька, жду-ут!..

Молчание и безразличие Камня смущали старуху. Она отошла от стола, шаркая подошвами по полу. Ей хотелось еще раз расспросить парня, к которому, как мать, пыталась она пежные чувства и которого побаивалась. Ей хотелось добавить еще несколько слов, но неприветливость Камня мешала ей.

Она загромыкала посудой, сняла чайник с огня, принесла на стол чашки. Камень все так же упорно смотрел в окно.

— Чайку-то вы-ыкушаешь? — протянула Акеллина Ильинична.

— Налей, — сказал он мягче. — И говори еще.

Она налила ему чашку и вновь присела у края.

— Что и рассказывать, сокол, что и рассказывать, любезный, сам обо всем знаешь, сам ведаешь...

— Ты, Ильинична, без присказок, — перебил ее Камень. — Попроцо...

— Я и то без присказок, — осклабилась старуха. — Я попросту, родной. С присказками говорить — увек не выговоришь всего, а на душе много чего тебе сказать, много чего есть: Анка-то по тебе дуреет!

Камень не поднял глаз. Он тяжело дышал, не замечая подле себя сморщенного лица Ильиничны, почти не слыша, а лишь догадываясь о том, что говорила она.

— Дуреет по тебе Анка, ночи не спит, под глазами с пятак круги. Меня извела, пропуска не дает... Изведется баба, помани, сделает пад собой что... Сходил бы?

Самое трудное было сказано, и Акелина Ильинична перевела наконец дух: сказаны были слова, к которым все не могла она подойти.

Больше говорить было нечего, но Камень молчал.

Старуха уверенней поглядела на парня и подвинула ему чашку.

— Пей, что ля, сокол, — сказала она. — Я тебе еще и другое скажу. Молода она, через то и качает ее ветром, словно былинку на лугу!

— Дрянь она! — стукнул по столу кулаком Камень и поднялся из-за стола. — Дрянь она, и нечего ей по мне изводиться... И мне к ней дороги тоже нету. Вот я тебе поручение дам, Ильинична. Снеси ты ей это окаянное золото, через которое с Михайлой она жила, себя ему продала! Снеси ей и скажи, клавяться, мол, Михайло Солдатов ей приказал и долго жить, и золото передать велел, чтоб она и на этом и на том свете, и с ним и без него — его была!..

Он вытащил из-под подушки тяжелый длинный мешок, сорвал с шеи кожаный кисетик, бросил их оба рядом на стол.

Акеллина Ильинична растянута улыбнулась, развела руками и, лукаво сощурясь, покачала головой.

— Не все деньгами купишь, соколлик, — запричитала она, — не все, родной. Не знаешь ты Анку, любезный мой, не знаешь — не из тех Авка.

Она встала за-за стола, выпрямилась и, не прибавив слова, оставила золото на столе и вышла в сени.

Камень слышал сквозь плотно притворенную дверь, как покряхтывала в сонях Акелиппа Ильинична, поскрипывала дверью кладовки, перекатывала бочонки и кадки. Потом запижала выходная дверь, и через минуту Камень увидел старуху, медленно ковьялявшую вдоль домов. Сумерки падали, подобно голубому туману. Был хмурым вечер, с кряжей тяпуло прохладой.

Камень сгреб со стола мешки, бросил их под подушку и, не раздеваясь, повалился на постель. Сон сразу опутал его, крохотная изба Ильиничны расширилась в большую комнату, в углу на столе стоял гроб, в гробу лежала Настенька, желтая как воск, с заплетенными косами, брошенными по обе стороны лица. Камень смотрел на нее, и горькая жалость за человека, вот так, ни для чего, прожившего жизнь, наполняла его грудь.

Он заплакал во сне, слезы пошли облегчающие, обильные, он плакал как ребенок, жалобно всхлипывая, как плакал когда-то в детстве, с обиды. Тогда к Сергею подошел отец Настеньки, хозяин и мастер Расцветаев, взял за ухо и потащил из комнаты по коридору в мастерскую.

В мастерской густо пахло ворванью, хоть окна были открыты настежь. Хозяин толкнул Сергея к окну, втащил на подоконник и строго прикрикнул: «Прыгай!»

Сергей взглянул под ноги: три этажа лежали внизу. Сердце у него занялось, он хотел что-то сказать и от страха открыл глаза.

— Что за наваждевье, — проворчал Камень, подымая голову и обводя взглядом знакомую комнату. — К чему это Настенька приснилась? О ней и не думал...

Он повернулся на другой бок, но не мог заснуть и долго лежал, разглядывая выбеленную стену, такую же старую, как сама Ильинична, с оплывшей штукатуркой, с тремя портретами — выцветшими, безликими, заспженными мухами.

Когда в избе стемнело, Камень встал, накинул на рубаху повенький пиджак, еще не пошennyй, что припес ему из лавки Ермак за его, Камня, золото, и новые сапоги гармонию, со щегольскими посками и отворотами, заломил на ухо картуз, вытащил из-под подушки мешочки и, засунув их глубоко в брючные карманы, вышел из избы.

«С какой радости приснилась Настенька?» — вновь подумал Камень, выходя на улицу, и захотелось ему увидеть

Настеньку, — может быть, для того еще, чтобы не думать о другой, об Анке, которая путалась с другим человеком, как говорил Ермак.

Он почувствовал вдруг, как неизмеримо далеко сейчас от Москвы, от Марьиной Рощи, до которой, хоть разорвись сердце, не добраться, не добежать. Остановился посреди улицы и постоял так минут пять, не зная, куда идти.

Он простоял бы и больше, но кто-то тронул его за локоть и горячее дыхание пахнуло ему в лицо. Сергей отшатнулся и узнал Анку.

— Что, испугался? — сказала она. — Не узнал, Сереженька?

— Ты куда? — спросил ее Камень, заранее угадывая ответ.

— К тебе шла, — сказала она коротко.

— Ко мне? — повторил Камень.

— К тебе, — мотнула она головой и осеклась.

— Со своим дома соскучилась?

— Нет у меня своего! — сказала Анка резко. — Или уж наптели? Эх, Сергей!

Она медленно подняла глаза и посмотрела на него с укоризной.

— Эх, Сергей! Не так, думала я, встретимся. Торопилась...

Ему стало неловко от ее слов, от теплоты ее голоса и от собственной грубости. Ему вспомнилась вдруг короткая их встреча, и ласка, какую она дарила ему, крадучись от Михайлы Солдатова, и робкие утешения, которыми пыталась она расселить его горечи, когда, бежав с Витима вместе с Солдатовым, в первом встречном готов был Камень признать предателя.

Любил ли он ее — об этом Камень не думал. Вернее — не любил, потому что не тосковал по ней. Но тепло к первой женщине, которую он знал, говорило в нем сейчас сильнее, чем он мог представить себе это час назад, ломало досаду на женскую неверность и как бы утишало злобу к чужому человеку, которого Анка подпустила к себе.

— Идем, — сказал он Анке. — Ну, куда пошла?

Он повернул к дому; потупясь, Анка шла за ним чуть позади. Камень молчал. Молча они переступили порог. Акелины Ильиничны еще не было дома.

Сергей зажег лампу, скинул картуз, снял пиджак. Но Анка стала у порога, выпрямилась и так и не двинулась с места.

— Заходи, что же стала? — сказал он и обнял ее.

Она чуть отстранилась, упираясь руками в его грудь.

— Почему не пришел сразу, как вернулсЯ? — спросила она. — От чужих ведь узнала, Сергей.

Камень не ответил на вопрос и ближе привлек ее к себе.

— Постой, — сказала Анка, отстраняясь решительней. — Потерпи, мне тебя спросить надо. Как помер Михайло, расскажи.

Камень посмотрел на нее пристально, как будто хотел проверить те мысли, что толкали ее на этот вопрос. Потом он прошел через комнату, сел на кровать, усадил рядом с собой Анку и стал рассказывать.

Он говорил неторопливо, припоминая подробности, и все не мог кончить рассказа, потому что всякая подробность была событием в той кощовой жизни, которую вели два человека, одни среди леса и камня, среди голода и илщеты, и потому что Анка была единственным человеком, кто интересовался еще этими двумя жизнями.

— А ссор у тебя с Михайлой не было? — спросила она вдруг. — А золото он, говоришь, у Беглого взял и его из берданки твоей уложил? И никого при этом не было? А Михайло не ослаб к весне, силы-то у него были? А на тебя никто не нападал, драк у тебя с Михайлой не было? Может, вздорили меж собой? Спрт-то был?

Камень отвечал невпопад, увлеченный ходом воспоминаний, и Анка заставляла его вновь повторять историю смерти Солдатова.

— Так, — проговорила она наконец отдельно. — А ведь я знала, что не придет Михайло обратно.

Она прижалась к Камню, закрыла глаза и, откинув голову назад, процедила сквозь зубы:

— Знала, что убьешь ты Михайлу, из-за меня убьешь... Знала и ждала тебя, Сережа!.. Сама с тобой как на преступление шла. Думала — любишь...

— Сам Михайло помер, — перебил ее Камень. — Греха в том на себя не взял. Разгудина смерть пусть за мной числится, хоть и не от меня она. Так ему, пауку, паучья смерть и по заслугам!

Камень вытащил из кармана мешочки и положил их на Алкины колени.

— Вот тебе Михайлово золото: все тут, что велел тебе передать. Отработал я ему честно за то, что он меня от властей тогда скрыл, не продал. С ним мы в расчете.

Анка не дотронулась до золота, даже не взглянула на мешочки, как будто не *золото*, дьявольский знак, что гнал на Охотское море людей со всего света, лежало перед ней, а пепел, не стоящий внимания.

— Что теперь делать будешь? — спросил Камень. — Со своим, — он подчеркнул это слово, — «мамкой» в артель пойдешь или здесь зимовать будешь, дожидаться?

— Нет у меня своего! — вскрикнула Анка. — Раз сказала — значит, нет.

— Куда ж девался? — усмехнулся Камень.

— Прогнала я его, — сказала она тихо. — Как про тебя слышала, прогнала.

— Со мной на преступление, говоришь, шла, — вновь усмехнулся Сергей, — а с другим гуляла? Так говоришь, Анка?

— А! — сказала она. — Жизнь — одно, а сердце — другое. Может, я с ним еще хуже через то мучилась по тебе.

Горечь стояла в ее глазах. Камень отвел глаза, проговорил вяло:

— Уеду я, как пароход придет. Кончил я здесь. Не могу больше.

— И я уеду, — упрямо сказала Анка. — Тянет меня отсюда. Яблоки во сне вижу, яблоков страсть хочется.

Она стала собираться, но Сергей удержал ее за руку.

— Погоди, — сказал он, — поговорить надо нам... Виновен и я перед тобой, Анка... Может, в том и виновен, что не убил Михайлу.

4

Пароход на Владивосток не приходил. Вечерами, когда Акелина Ильинична отправлялась по старушечьим своим делам, Анка навещала Камня. Было это как золото или просторы, звавшие к себе, как *голубые земли*, от которых нельзя было удержаться, чтобы не отыскать их, но которые были выдумкой, пустой и ненужной.

Каждое утро Сергей говорил себе:

«Брошу. Не по пути, скажу ей».

Но приходил вечер, сумерки подступали к косому окну, за рамкой все так же лежала голая, плоская Ола. Приходила Анка. Камень спрашивал:

— Пришла?

— Пришла, — отвечала Анка.

На море стояли штормы. Волны рушились о берег, взбивая пену. Сергей уходил на берег, подолгу смотрел на море, вдыхая холодное его испарение. Море вздымалось к небу — тогда облака садились на его неровное очертание; потом оно шло вниз, и волны с дребезгом разбивались о пологий берег.

«Вот чего жаль оставлять, — думал Сергей. — В Москве этого нет — моря!..»

Он переводил глаза на горы.

«И вот еще чего жаль — приволья! Тесноты здесь нет. Воздуху много. И нужды много, — добавлял он. — Ее-то не жаль, всюду ее, видеть, еще вдосталь, искать не надо..»

Он снова смотрел на море и на горы и думал:

«Это и затягивает: там нужда, а тут — ая глянь! — золото найдешь, богатым будешь — и все в твоих руках будет. Всякая вещь, какую захочешь... Через то и гибнут люди. А другого закона разве нет? Неужто нет?! Вот и Ермаку нужен потоп какой, чтоб вымыло его отсюда!..»

Он вспомнил Ермака, «охотскую историю» которого слышал не раз. Случайно попал Ермак на это побережье: отстал от парохода «до следующего». Заделался сторожем у купца, а тут, как на грех, открылся новый прииск, подбодренный ходоками.

Вместе с народом «попытать счастья» ушел на прииск и Ермак — Ивашка Ермак, пятнадцатилетний парень, ушел «до парохода», да так и застрял на проклятом этом берегу.

Так оставались сотни людей, добывали себе богатство и пропивали. Вновь шли на золотые места и вновь, вернувшись, пропивали добытое.

Кампю вспомнились Бодайбинские ключи, город Витим, ресторан «Новинка» — деревянный домишко в шесть окон, где пропивали свое золото приискатели, добытчики счастья, — далеко по округе шла шумливая о нем слава.

В тот год, когда пришел Сергей в Витим, был в «Новинке» Степан Здравовой, молодой приискатель, рыжебородый удачник мужик. Был в «Новинке», в шестиконном ресторане, был и проигрывал в карты случайному сотоварищу Дмитрию Ануфриеву.

К утру стала всем известна эта игра. Проиграл к утру Здравовой все золото, что привез с собой, и захотелось ему отыграть его во что бы то ни стало. Тогда поставил он на карту свою жену Груню, потому что никто не мог бы устоять против красоты Груни и поставил бы за нее любой куш на кон. Поставил Степан Здравовой и проиграл.

Ануфриев сказал тогда Здравовому:

— Уйди на часок, Степан, поотдыхаем мы немного с Груней, а как час пройдет, приходи, водкой угошу.

И Груня тоже сказала:

— Что ж, проиграл — иди. Тут обману пету, а в окошко только не гляди: не люблю, когда завистники чужое счастье выглядывают!

Степан Здравовой плюнул в угол и вышел. Ночь и снег или, быть может, вино, бродившее в теле, помutilи его разум. Шел Степан Здравовой по сонным улицам и все думал (никто так и не узнал потом, как стали известны людям думы Степана и все подробности, которых не видел никто, но которых нельзя было и придумать). Все шел и думал Степан Здравовой: «Вот баба! Из-за тебя же все проиграл! Хотел богатство вернуть, чтобы тебе не скучно со мной было, а ты же меня топншь, издеваешься...»

И вдруг пришла в голову Степану мысль заглянуть краем глаза в окно: правда ли изменяет ему Груня?

Он вернулся к «Новинке», заглянул в окно и увидел Груню с Ануфриевым. И огнем опалило Степану грудь: сразу выдернул он раму вместе со стеклами, разбил вторую и подсвечником, что стоял на табурете, убил Груню, а Ануфриева, полуживого, отнял у него хозяин.

Говорили еще, что Ануфриев Степану ноги целовал, а Груня только усмехнулась, когда Здравовой приказал ей молиться перед смертью. Усмехнувшись, сказала Степану: «Хоть и убьешь — твоей больше не буду. Волчий ты человек, Степан, по волчьей дороге идешь». Эти слова, однако, Ануфриев никому не передал, так как отнялся в ту ночь у Ануфриева язык, а через два дня впал он в горячку и умер.

Камень уходил к рыбакам, смотрел на распластанные тела рыб, назначенных к засолу и провялке, на рыбачек, огрубевших от моря и работы, на низкие домишки, и снасти, и вертявые рыбацьи карбасы. Полуголые ребятишки бегали среди взрослых, суетясь больше, нежели помогая.

«Мирно живут эти люди, хоть и голы, — думал Камень. — И не богатеют. Другие за них, как Разгуда, богатеют».

Парохода не было, выпужденное безделье нагоняло на Камня тоску. Может быть, от этой тоски повздорил Камень с Анкой — она запыла сразу, соря деньгами, дралась с парнями, заставляя их «уважать» себя; до утра горело окно в ее избе, и Акелина Ильинична вновь принялась тяжело вздыхать, поглядывая на Камня не то с укоризной, не то с сожалением.

— Милый ты человек, — сказала она ему однажды. — Погибнешь ты здесь, как цвет в темнице. Простор тебе лужею, воздух здоровый, а здесь травы ядовитые. Привыкла я к тебе, Сереженька, привыкла, как к родному сыну. Мой вот такой же был, как ты. Как ты — ходил в тайгу, а потом запис и пропал человек.

— К чему ты это? — спросил Камень. — Не пойму, к чему ты это ведешь?

— А к тому и веду, — паставительно сказала старуха, — к тому и веду, соколик, что надо тебе ехать отсюда скорей. За твердый труд браться. Так и сыну говорю, да разве он слушал...

— Эх, Ильинична! — вдохнул Камень. — Рад бы поехать, да парохода нет.

— Будет пароход — не поедешь! — вот о чем говорю, вот чего опасуюсь, Сереженька! — Акелна Ильинична вдохнула всей своей обширной грудью. — Боюсь, останешься. Другой бы все равно было: квартирантов здесь искать не надо, сами находятся! Да жаль мне тебя — человек ты ладный...

— Все одним миром мазаны, — угрюмо сказал Камень.

— Миром-то миром, — согласилась Ильинична, — да разум у каждого свой: один человек разум такой имеет, что дальше носа своего не видит, а другой разумом весь мир обоймет и каждую в нем точку определит: какая ей доля, бродить ли станет или вовсе сухая она, что только в печь бросить пора.

— Мудрено говоришь, — проворчал Камень.

— Проще скажу, — подседа к нему старуха. — Только простое-то в глаза лезет, обжигает и, ежели человек некрепкий, обидеть может. Проще скажу, Сереженька: большой мерки ты человек. Только без дела своего сидишь и через то томишься. Езжай, сынок; затянут тебя лес да камень — плохо кончишь здесь с тоски. На золото ты не жаден, на вино не падох, езжай, родной, да Апку возьми с собой: баба она доходчивая до всего и душевная...

— Что ты мне Апку все прочишь! — вскрикнул Сергей. — Будто мне дорога без Апки заказана, будто без нее и не жил я на свете! Может, своя на душе у меня баба есть... или девушка. А пет, так найду, когда надо будет!

— Ой, знаю, любезный, — заторопилась Акелна Ильинична, — знаю, сынок, оттого и говорю тебе: езжай отсюда! Река свое русло не враз находит! Не враз поуспокоиться, еще ноги испаломаеть, понамеришь еще верст, пока к

своему руслу придешь. Оттого и говорю: езжай отсюда! По-повому, в народе говорят, теперь жизнь пойдет. Может, в той жизни сподручней тебе будет. Нам-то, старпкам, все одно кончатся, а твоя-то жизнь в полном цвете еще впереди непочатая лежит...

Слова старухи тронули Камня: вот не было же на свете никого, и вот сидела теперь против Сергея старуха; годы гнули ее шею, спина началась горбиться, но ум оставался ясным и незапятнанным, как стеклышко на солнце, и сердце все еще было полнокровно и отзывчиво.

В тридцать лет осталась Акелша Ильпична с десятилетним сыном в голодной нищете вдовицей. В пужде подняла на ноги сына, и вырос сын характером и повадками в отца, первого буйна и пьяницу по всему рыбацкому побережью.

«Так уж, видно, на судьбе ей написано», — решили мужики и соседки.

Утешая, говорили:

— От бога, видно, тебе такое испытание, Ильпична.

Ильпична безропотно несла свои дни, постепенно оседая, старея, превращаясь из цветущей женщины в старуху, у которой если и осталось еще что-нибудь от прошлого, так разве одни глаза, которые все не хотели стариться. Но пришло время — помер сын, и глаза выцвели.

— Полно тебе, Ильпична! — сказал Камень. — Полно о других сердце тревожить! Говорю тебе: уеду я с первым рейсом, и не помпай меня лпхом!

5

Два дня спустя Камень стоял на палубе. Морская высь клала набок старые борта парохода. Сергей видел перед собой знакомый берег и привычные вдали горы.

Все, что было окружено этим морем и этими горами, чудесно уходящими в неизмеримые дали, и все, что было замкнуто годами кочевой жизни Сергея Камня, вновь возникало перед ним и уходило вместе с берегами.

Неуклюжей походкой брел, как живой, мертвый Михайло Солдатов, паспорт которого, да и то подложный, на всякий случай все еще вез в кармане Камень. Беглый стоял на перекрестке троп, у лабаза, куда привез свои товары по уговору старик якут. Ермак щурил глаза, не то шутя, не то всерьез. Акелина Ильпична на берегу, верно, утпрала сейчас свои старушечьи слезы.

Где-то дальше, у самых истоков кочевой жизни, был еще Степан Здравовой, неизгладимый на памяти рыжебородый мужик, Ануфриев и Груня, устоять против красоты которой не смог бы ни один парень. Были еще Разгуда, Бориска и десятки других людей, имен которых Камень уже не помнил.

Так шло перед Сергеем и с ним рядом множество людей. Многие легли под бугор с крестом, что простоят еще годы и сгниет, сломанный ветром.

Много их ляжет еще под такими же буграми. Кого выбросит волна обратно с этого берега к мирной, покойной жизни? Да и есть ли она, покойная эта жизнь, большая, как море во время шторма? Или, может быть, и нет ее вовсе, как пет и голубых диких земель?

Горечь поднималась со дна души Сергея и злорадия. Не может быть, чтобы не было нигде той привольной земли, искать которую пришел он сюда пять лет назад.

— Должна быть, черт ее дер! — бормотал он, сжимая кулаки. — Не может быть, чтоб по было!

Намного ниже палубы, в трюме, лежала Анка с лиловыми подглазницами от буйства и бессонных ночей, томившая морской зыбью, а может быть, совестью, которую не умела она примирить с жизнью.

Иногда Камень спускался к Анке в трюм, где круто пахло рыбой и где можно было часами лежать на тюках, прикрытых брезентом, и следить за лампой под потолком, равномерно ходившей из стороны в сторону. Он тяжело вздыхал порой, искоса поглядывая на Анку.

Сутки стоял парход. Тяжелая волна подбрасывала плоскодонные баркасы. На них везли к пароходу соленую рыбу. Баркасы грузно хлопали о волну, грузчики сплевывали вместе с соленой водой крепкую ругань. Камень вновь выходил на палубу.

К вечеру парход дал последний гудок. Машина застонала, цепи покатались через лебедки. И плоский берег стал исподволь и все быстрее поворачиваться перед глазами Сергея Камня.

Отпльвали привычные дома, вешала с вяленой рыбой, сети, все дальше уходила Ола. Чайки шли над кормой.

— Свистит! — сказал Камень и посмотрел на мачты.

Ветер усиливался. Незнакомый человек подошел к Камню. Он был одет в потрепанный бушлат, на голове — засаленная зюйдвестка.

— Свежеет! — проговорил он, посапывая трубкой. — Ишь, простор какой — синь-гладь, божья благодать. Еще подзавернет!

Камень хотел сказать: «И пусть!» Но только посмотрел туда, куда трубкой указывал незнакомец.

Там ходило почти фиолетовое месиво в зелено-фишашковых завятках. Местами оно горбилось, поднимаясь навстречу, и рваные полотна брызг горели сизым и рыжеватым огнем.

Было оно страшно, как кровь, впервые пролитая, или как пропасть, от которой мутит в груди. Было оно жестоко и вдосталь просолено. Прожжено горечью и свистом ветра. И нельзя было от него отвести глаз.

Дикая земля таяла уже в далеком тумане. Впереди не осталось ничего, кроме этого месива. Оно ходило, и пело, и привораживало.

— Э-эх, море! — сказал человек. — Кто на море не бывал, тот и горя не видал.

— А ты видал? — резко отсек Камень.

Ему хотелось толкнуть человека, заткнуть ему глотку. Он отвернулся и пошел на корму.

— Земного человека по походке видать, — тянулся за Камнем добродушный голос. — Ты в море-ка окунись, окунись в него!

За кормой тоже было море.

Камень облокотился на кнехт и молча смотрел на волны, по временам стирая с лица густые брызги.

Море успокаивало его. Тоска сходила. Штурвальная цепь пела:

«Прр... Бррр... Пррр... Бррр...»

Он стал прислушиваться. Ему показалось, что цепь выбивает слова:

«Прро-ббуй... Про-ббуй!»

Он усмехнулся. Свежий голод подымался в нем.

«Окунись в море, окунись!.. Прро-ббуй!..»

— Ладно уж, попробую! — проговорил он и погрозил морю.

ПТИЦА ЛЕТИТ — Я ЛЕЧУ ЗА НЕЙ

(Из рассказов о женщинах Якутии 70-х годов)

На просторном холсте якутского художника я увидел, как плывут по небу птицы. Мне понравились эти сплывные, красивые птицы — то были белые якутские журавли. Журавлей этих называют здесь «стерхи».

Когда я шел к Матрене Матвеевне Корниловой по этим новым улицам Якутска, с пятиэтажными домами на бетонных сваях, врезанных в вечную мерзлоту, — меня одолевали сомнения: а состоится ли наша беседа? Я не стремился что-либо выпытывать у этой на вид суровой, или, во всяком случае, не слишком лирически настроенной женщины. Я шел к ней как к другу, хотя и знал, что дружба не всегда завязывается сразу. И все приходило ко мне давно написанные стихи:

Птица поет — я тянусь к весне.

Птица летит — я лечу за ней.

И вспоминались стерхи.

С Матреной Матвеевной я встретился накануне — она была одна в кабинете, поглядела на меня приветливо, спросила:

— Что же вы хотите от меня узнать? Заслуженный агроном ЯАССР — с пятьдесят седьмого года? То же по РСФСР — с шестьдесят второго? Еще — Герой Социалистического Труда — с шестьдесят шестого? Еще — член Президиума Верховного Совета ЯАССР?.. И все? Кажется,

этим всегда интересуются ваши собратья. Или — замужем ли, имею ли детей и так далее?

Но мне нужны были не анкетные данные и не званья, как бы высоки они ни были. Я хотел знать о человеке.

«Похоже, это замороженная женщина», — подумалось мне.

И тут я уловил на ее лице чуть лукавенькую, умную усмешечку, которую столько раз видел на лицах моих друзей-якутов.

Вероятно, невольно усмехнулся и я, и мы договорились о встрече на завтра.

Я снова шел к Матрене Матвеевне, припомнил:

Птица молчит, как в тяжелом сне.

Птица летит — я лечу за ней...

«Всю жизнь летим мы за птицей, — думал я, — всю жизнь ищем, видим, находим, ищем...».

Я поднялся на второй этаж и разыскал комнату, где работала Корнилова.

— Я ничего не хочу, — сказал я. — Ни выпрашивать, ни допытываться. Я хочу одного: слушать, о чем вам захочется рассказать мне. Ваша жизнь, как у всякого человека, не только ваша. Вы это знаете. В той или иной мере она осколок. Нашей жизни, страны, времени. А вы первое его поколение.

— Не знаю, сумею ли я это?

Матрена Матвеевна задумалась — я знал, что задумываться нет надобности: ее умные глаза достаточно хорошо видели жизнь.

— Расскажите мне о себе, о своей работе, — сказал я. — О том, чем занимаемся мы всю свою жизнь.

— Вы были когда-нибудь в Олекме? — спросила меня Матрена Матвеевна.

— Давно. Я проплыл там в двадцать шестом году. И в двадцать седьмом тоже.

— А что вы делали там?

— Я работал в экономическом отряде так называемой КЯР — Комиссии Академии наук по изучению Якутской республики. Составлял годовые бюджеты хозяйств нашей деревни.

— Так вот, там я и родилась, на Олекме, в пятнадцатом, — сказала Корнилова.

— Это красивые места, — сказал я. — Один поэт, наш ленинградец писал: «Золотая моя Олекма!»...

— Золотая-то она золотая! А вот мать у меня умерла, было мне полтора года от роду. Кончила пять классов, с шестого — открылся там тогда техникум сельскохозяйственный — поступила в него. Просто была выпущдена: стипендия, общежитие, в столовой кормили неплохо! Пожалуй, прав ваш поэт: в этом отношении Олекма была золотой!

— Зато теперь ваша работа...

— До «теперь» потопать пришлось. — Матрена Матвеевна оставила меня, как бы говоря: «Что зря болтать!» — Кончила — было двадцать лет мне, прямо за себя стыдно: ну какой я агроном! Хотя бы и младший! Но дело не в том... Как бы сказать вам?... Вот, сколько думаю: до чего важно, в какие руки попадает молодежь... Перед выпуском, в техникуме когда еще училась, отбывала производственную практику в большом колхозе имени Димитрова. И был там секретарь парторганизации... Он меня и направил по этой моей дороге: здесь впервые — и, видно, навсегда — полюбила я свою работу.

— Он так построил мою практику, что мы с ним вместе, — Матрена Матвеевна чуть оттенпла это слово, — вместе разрешали практические мероприятия. Производство он знал, а я — теорию. Вот мы и решали сообща, что надо делать! Делали. И результаты получались хорошие. Всем бы такого руководителя в самом начале дороги!..

Корнилова смахнула с лица улыбку: к ней принесли на подпись бумаги. Она, как бы извиняясь, сказала: «Мпутку!» — а я в огорчении подумал: «Вот мешают, только разговорилась как будто! Собыют...» И, словно пазло, лишь только сотрудник покинул Матрену Матвеевну, слова ее послышались мне скучнее, суше:

— Итак, стала агрономом в районе при МТС. Сложилось там много маленьких колхозов. Агротехнику в те годы колхозники блюли хорошо. Ну, сеяли, конечно, пшеницу, ячмень, овес, ядрицу. Сеяли там и раньше, а вот агрономов... что и говорить, их было мало. А уж женщины-агрономов — можно сказать, из якуток мы были первыми.

Я посмотрел на Корнилову: передо мной сидела женщина плотная и, видимо, физически очень выносливая, до смолы черноволосая, с крупным лицом, характерным узким разрезом глаз и знакомой усмешечкой. Таких вот женщин недавно еще называли: «джелях-хотуп» — хозяйка юрты.

В Матрене Матвеевне — внешне — не было ничего, что отличало бы ее от тех женщин. В жизни, конечно, все выглядит проще, несравнимо проще, если убрать память, снять сопоставления. Да и кто попытался бы сделать такое сопоставление: джелях-хотун — и заслуженный агроном республики.

Я почти не слушал того, что следовало со всей заботливостью записать в летопись ее жизни... «Работала и в семеповодческом колхозе... И главным агрономом... И в районспекции...» За меня это делали мои привычные к труду руки репортера. Слова Корниловой пробивались, как издали, как сквозь морок: слова простых, больших дел, настойчивости и труда.

Мне все хотелось сказать: «Матрена Матвеевна, история совершается слишком быстро, чтоб видеть ее бег. Мы забываем, а то и не хотим помнить недавнее; кое-кто становится чуть важным; кое-кому претят уже воспоминания того, что было, а то, что стало, принимается как положенное само собой, да еще и не полностью насыщающее потребность».

Мне хотелось сказать: «Матрена Матвеевна, вы из тех первых, кто перестал быть только джелях-хотун. И чувствуете бег времени, потому что помните и видите: сопоставление — не есть ли это глаз времени?»

Мне хотелось полистать перед этой женщиной не так давно еще записанные мною страницы. Быть может, не ей — ее детям:

...Черный мыс. Ноябрь. Приречное, все в снегах селение. Якут у камелька потирает с мороза руки, с неизменным возгласом: «Ы-ы-в-ччал..» Он только что вернулся со двора в юрту, ходил «по своим делам»: теплых уборных пет и в помине, на термометре — минус сорок! С трубкой во рту возится над побитой, древней, как мир, сковородкой еще совсем не старая хозяйка, жарит рыбу, кипятит в чайнике воду, насыпав туда строганого кирпичного чая. Покрикивает на шустрых своих ребятшек и ловко сплевывает на земляной пол юрты. Душно. Юрта невысока, кажется — до потолка можно достать рукой...

...С утра хозяйка соскребла ножом снег с окон — в окнах, вместо стекол, куски льда; выбежала и смела метлой кухту с наружной стороны окопной льдины. Поставила на стол юколу — куски вяленой рыбы, лепешки из темной муки. Попили чай, посапывая. Хозяин вновь вышел

во двор запрягать собак в нарту. Сегодня он едет высматривать ловушки, поставленные на пушного зверя. Селенье северное, из трех юрт. Далеко отсюда до ближнего жилья, вся езда на собаках. Вот подкатил на парте к юрте, вошел, еще раз попил чайку — «на дорожку».

...Хозяйка, проводив мужа, посмотрит коровенку. Вернется, помоев чашки, составит на полку. Я мог бы описать теперь весь петоропливый распорядок дня: она снова выйдет — выбирать на обед и ужин «продукты». Все ту же неизменную рыбку, сложенную на зиму в ледяной сундук-сайбу. Поставит большой чугуи с рыбьей мелочью — это еда для собак. Два раза съездит под откос к проруби с бочечкой за водой, на двух собаках, что остались дома. Станет чинить меховую одежду — быстро рвут дети одежду! Пообедают, накормят смышленных сопливых ребятишек. Опять помоев посуду...

...К вечеру вернется хозяин. Дни здесь необычайно коротки. Поуживают. Хозяйка накормит на морозе собак. Хозяин станет возгнаться с привезенными тушками у промысловой пушницы или чинить сбрую для собак. Вернется хозяйка. Снова попьют чайку. Уложит детей, слазит на крышу юрты — прикрыть отверстие пад трубой камелька: «чтобы не выдуло тепло за ночь». Хозяин уйдет за полог. Потом и хозяйка, затушив копилку на рыбьем жиру, тоже пройдет за полог. Ночь. Густо пахнет в юрте потом, кожей, жиром — хорошо! Только воют собачья стаи да потрескивают с мороза жерди юрты...

...Все, что лежит за стенами юрты, за скованным руслом реки, за камнем хребтов, — все спит. Весь мир певедом, певидим, с ним нет связи. Может быть, он и не существует вовсе? Джелых-хотун не знает его. У него свои заботы, своя, ничем не нарушимая рутина дней. Разве что заедет когда, по пути, приезжий издалека да поделится какой-нибудь «новостью», к тому же с предлинною бородой. Вот вам и дальний север!..

— Бывали ли вы, Матрена Матвеевна, в таких вот глухоманях вашей земли еще в тридцатые — тридцать пятые годы?

— Повидала и я немало. И опыта, конечно, понабралась, — говорила Корнилова. — Встретила людей интересных, живающих, у кого научиться можно, видно, везло мне в этом.

Так встретила Матрена Матвеевна с прославленным товарищем Егоровым, пионером овощеводства. Когда Корнилова впервые посетила его дом, она заметила на столе хозяина нечто невиданное еще. То был патиссон.

— Я вытаращила глаза на эту диковинку, а он посмотрел на меня добро. И понял, что я агроном, а ничего не знаю. Но он не сказал мне о том, а объяснил — что это! Сделал из патиссона салат, стал угощать. И все радушно, как отец с дочкой, говорил мне: «Это, дочка, патиссон, салат из него делать хорошо, блюдо такое, как закуска, ее подают к столу на первое!» Он стал рассказывать о своей работе; и я поняла, как когда-то, еще в самом начале моей производственной практики, у секретаря парторганизации колхоза имени Дмитрова, — я поняла, что вновь встретила с человеком, который привет мне любовь к повому делу. Поняла, насколько весомо оно в якутском сельском хозяйстве, сколько добра принесет оно людям.

С этой первой встречи с Егоровым стала Корнилова отъявленной поборницей овощеводства в Якутии. Потом, уже после войны, Корнилова окончила Тимирязевскую академию.

Сейчас Матрена Матвеевна работает в Министерстве сельского хозяйства. Знания ее высоки. Но если спросить, какая же из послевоенных работ была особо близка сердцу этой по-прежнему прямой и решительной женщины, — в ответе ее явно почувствуется: самой интересной для Корниловой была работа в Покровском опытно-производственном хозяйстве Научно-исследовательского института сельского хозяйства — Матрена Матвеевна возглавляла там овощеводческую бригаду.

Работа с людьми всегда увлекательна. Особенно когда видишь их достижения в труде, затраченном любовью. Многих женщин удалось тогда привлечь к овощеводству; не зря бригада Матрены Матвеевны добилась звания «Бригада коммунистического труда»: таких урожаев овощей в Якутии еще не бывало.

Якутия — строгий край; это уже шестая моя поездка в республику — многое знаю я о ней: вечная мерзлота, короткое лето, засухи, поздние заморозки весной и ранние осенью. Заниматься здесь овощеводством — дело сложное. Но умная постановка работ — из года в год — сама говорила за себя: росла не только посевная площадь, росли урожаи с гектара. Для Матрены Матвеевны эти цифры и сейчас звучат так же, как для поэта звонкая рифма!

— Все в жизни просто. Пожалуй, уж и не слишком даже трудно! — вновь с усмешечкой смотрит на меня Матрена Матвеевна. — Но и трудности бывали, конечно.

Мне хочется сказать ей: «Женщины Якутии семидесятых годов — замечательные женщины. Им можно гордиться!» Но она как бы угадывает и эти мои мысли:

— А по правде, кому легко, разве что бездельникам? Труд — он есть труд. Вы посмотрите на нашу Александру Яковлевну: каким делом ворочает! Думала ли когда-нибудь о таком хотя бы одна из наших женщин?

Да, Александра Яковлевна Овчинникова действительно «ворочает» огромным делом. Эта женщина-якутка — Председатель Верховного Совета ЯАССР. Иначе говоря — президент республики!

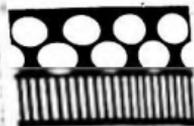
Мне вспоминается сразу ее простота в общении с людьми; и то, как отзываются о ней в Якутии; и то, как легко говорить с ней. И ее внешность — женственность, скромность. И ее человечность.

Я встречался с ней уже не раз. Диапазон мышления у нее государственный, хотя и говорит она просто. Спросите Александру Яковлевну, что в ее представлении сейчас *главное*: чего достигла республика за последние десятилетия и какие задачи стоят перед ней? И вы узнаете о всех достижениях этой бывшей северной окраины России. О достижениях, которые удивляют мир. И о горных работах, и о строительстве электростанций и трубопровода — в области вечной мерзлоты; и о месторождениях газа, запасы которого столь велики, что следует задуматься уже сейчас о создании химической промышленности, и о транспортировке газа на Восток, может быть — на экспорт. И о больших надеждах на большую нефть, и о «мечтах», которые, несомненно, осуществляются в не столь отдаленном будущем — о железной дороге: ей суждено пройти через республику.

— Но самое главное, — скажет Александра Яковлевна, — самое главное — это формирование духовного облика нашего современника, развитие новых отношений между людьми, беспрецедентный духовный рост наших женщин.

Может быть, об этом думает сейчас и Матрена Матвеевна. Потом она говорит, как бы вспоминая:

— Был еще в те годы такой случай в Покровском — затор льда весной, во время ледохода. На Лене. Большое



наводнение. Всю посадочную и поливную технику нашу унесла река. Поломало парники, теплицы. Приходилось ли вам такое видеть — иначе и представить себе трудно!

— Приходилось, в двадцать девятом, в Средне-Колымске, — сказал я.

— Вода поднялась на четырнадцать метров — за полчаса все затопила. Люди спасались на возвышенном месте. Мы уже запрашивали вертолеты, чтобы вывезли. Но на других местах было еще хуже... Ущерб нам нанесло большой. И вот опять — Овчинникова! Очень переживала Александра Яковлевна за наше хозяйство, приезжала, сама помогала в восстановлении. Понимаете, как дорого было нам это!

И опять усмешечка:

— О своем детище ведь каждая мать болеет!

Но усмешка исчезает, глаза становятся темнее, строже:

— Только если обо мне что надумаете писать, прошу — скромно. — Она замолкает на секунду-другую и протягивает мне дружественно руку. — А то и не приходите ко мне больше!

Теперь голос ее слегка отзывает сталью. Но, может быть, это так только кажется.

— Понятно! — говорю я, пожимая руку Матрены Матвеевны. — А я так думаю, что еще увидаю вас. И вполне расскажете вы о себе, о своей работе. О том, чем занимаемся мы всю свою жизнь.

Я иду по широкому коридору и слушаю, как поскрипывают половицы. Или это где-то далеко верещит птица?

...Птица поет — я тянусь к весне.

Птица летит — я лечу за ней...

Облака еще тянутся за окнами, но дождя нет. «Все же весна хороша в Якутии!» — думаю я. И вижу, как смело летят стерхи.

СОДЕРЖАНИЕ

От автора 3

БАГРЯНОЕ СОЛНЦЕ

Роман

Часть первая. Чувство времени	11
Часть вторая. Черное — красное	80
Часть третья. Смерть или жизнь	179

ГОЛУБЫЕ ЗЕМЛИ

(Путевые зарисовки, раздумья, рассказы)

Человек бежит по снегу	
Край земли	263
Человек бежит по снегу	295
Песни слепого Ильи Громова	368
В кольце якутской вкастики	405
Сивый уголь	439
Голубые земли	464
Птица летит — я лечу за ней	495

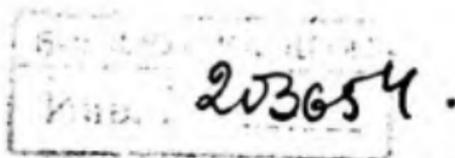
Вагнер Н.

В12 Избранные произведения в 2-х тт. Т. 1.
Багряное солнце. Голубые земли. Л., «Худож.
лит.», 1973.
504 с.

В 1-й том входят роман «Багряное солнце» о гражданской войне на Востоке нашей страны, очерки и рассказы о Якутии, объединенные под общим названием «Голубые земли», среди которых цикл путевых зарисовок «Человек белит по снегу» — первый книга писателя, отмеченная М. Горьким как «неоспоримо полезная книга».

В 0732-050 42-73
028(01)-73

P2



НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧ ВАГНЕР

Избранные произведения
в двух томах, т. 1

Редактор
Н. Булгакова

Художественный редактор
Р. Чумаков

Технический редактор
В. Алексеева

Корректор
И. Евстифеева

Сдано в набор 28/XII 1972 г. Подписано к печати 8/IV 1973 г.
Тип. бумага № 3. Формат 84 × 108/16. 15,75 печ. л.
28,46 усл. печ. л. Уч. изд. л. 27,384 + 1 вкл. — 27,405 л. Тираж
50 000 экз. Заказ № 508. Цена 1 р. 01. Издательство «Художественная литература», Ленинградское отделение, Ленинград,
Д-188, Невский пр., 26. Ордена Трудового Красного Знамени
Ленинградская типография № 2 имени Евгении Соколовой
Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета
Министров СССР по делам издательства, полиграфии и книж-
ной торговли

Ленинград, Л-52, Измайловский проспект, 29